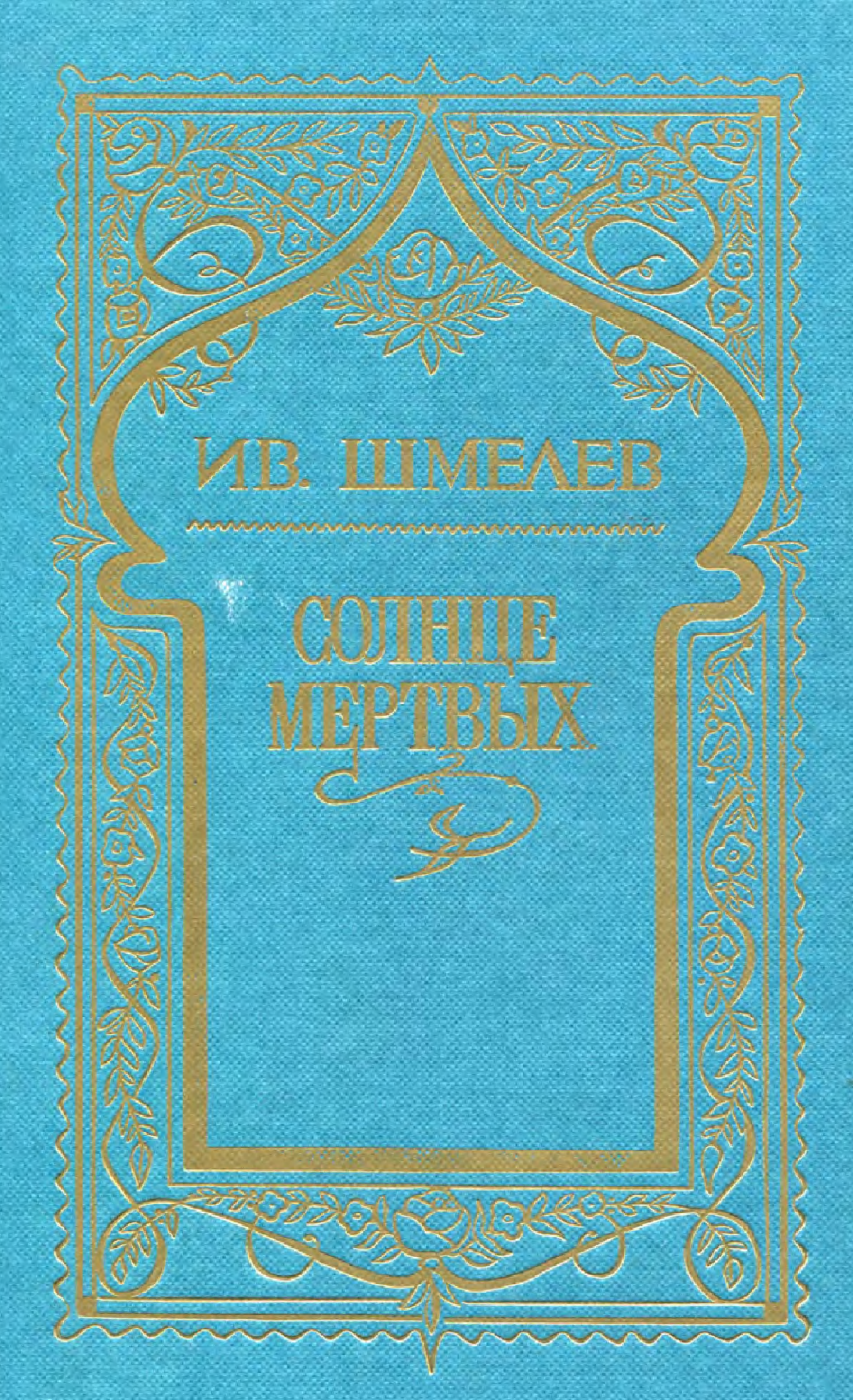

ИВ. ШМЕЛЕВ
СОЛНЦЕ
МЕРТВЫХ



Ив. Шмелев.

ИВ. ШМЕЛЕВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



СОЛНЦЕ МЕРТВЫХ



ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

ЭПОПЕЯ

Москва

РУССКАЯ КНИГА

1998

УДК 882
ББК 84Р
Ш 72

Составитель и автор предисловия

Е. А. Осьминина

Разработка оформления

Ю. Ф. Алексеевой

Шрифтовое оформление

В. К. Серебрякова

Шмелев И. С.

Ш 72 Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. Солнце мертвых: Повести. Рассказы. Эпопея.— М.: Русская книга, 1998. — 640 с., 1 л. портр.

Первый том настоящего собрания сочинений И. С. Шмелева (1873 — 1950) посвящен в основном дореволюционному творчеству писателя. В него вошли повести «Человек из ресторана», «Росстани», «Неупиваемая Чаша», рассказы, а также первая вещь, написанная Шмелевым в эмиграции, — эпопея «Солнце мертвых».

Ш $\frac{4702010000 - 005}{М - 105 (03) 98}$ б/о

УДК 882
ББК 84Р

ISBN 5 — 268 — 00136 — 1 — общ.
ISBN 5 — 268 — 00158 — 2 — т. 1

«ХУДОЖНИК ОБЕЗДОЛЕННЫХ»

Именно так называла дореволюционная критика Ивана Сергеевича Шмелева. За ним довольно прочно закрепилась слава автора «Бедных людей двадцатого века» (имелась в виду прежде всего повесть «Человек из ресторана»), «духовного сына 1905 года», «бытовика» и традиционалиста. Его имя даже воспринималось как атрибут «портрета» типичного реалиста: «Старомодный, времен Тургенева, халат, длинная трубка с черешневым чубуком, а в петлице, вместо цветка, — Иван Шмелев»[1]. Здесь имелся в виду не только реалистический стиль шмелевского письма, но и общий демократический, гуманистический его пафос, столь характерный для русской литературы: любовь и сострадание ко всем униженным и оскорбленным, бедным и обездоленным, к маленьким людям.

Действительно, эти определения прекрасно подходят ко всему дореволюционному творчеству Шмелева (которому посвящен начальный том настоящего собрания сочинений) и даже к первой его эмигрантской, в какой-то степени итоговой вещи — эпопее «Солнце мертвых» (ее мы тоже включили в этот том). Но, конечно, основой и первопричиной такой репутации послужила повесть «Человек из ресторана», которая принесла Шмелеву всероссийскую славу. Вот что писал о его славе К. Чуковский: «...об этой вещи весь Петербург кричит», «Ваша вещь поразительная. Я хожу из дому в дом и читаю ее вслух, и все восхищаются. Я взял ее с собою в вагон, когда ехал к Леониду Андрееву, и в иных местах не мог от волнения читать. Говорил о ней Андрееву, — он уже слышал о ней — и даже те отрывки,

---

[1] Кранихфельд Вл. Новый талант//Киевская мысль. 1914. 14 февр. № 45. С. 3.

которые из нее напечатаны в разных газетных статьях, восхищают его. Мне кажется, что я уже лет десять не читал ничего подобного»[1].

С «Человека из ресторана» мы и начали настоящий том. Но скажем прежде еще несколько слов[2]. И. С. Шмелев стал профессиональным литератором за несколько лет до прославленной повести. Писать и печататься он начал в ранней юности (см. «Автобиографию», а также очерк «Как я стал писателем» из 2-го тома), а всерьез взялся за перо действительно под впечатлением революции 1905 года. Служа в то время чиновником особых поручений в Казенной палате во Владимире, он начинает с детских повестей и рассказов: его первый непосредственный читатель — горячо любимый сын. Это повести «Служители правды» (1906), «В новую жизнь» (1907), рассказы «К солнцу», «Гассан и его Джедди» (оба — 1906). За ними последовали произведения для взрослых — «Вахмистр» (1906), «Жулик» (1906), «По спешному делу» (1907), «Распад» (1907), «Иван Кузьмич» (1907), — все они, и детские и взрослые, как нельзя лучше соответствовали званию «духовного сына 1905 года», которым наградил Шмелева известный критик В. И. Львов-Рогачевский.

Вера в науку, культуру, рукотворное светлое будущее, которое возможно достичь революционным путем; обязательный конфликт патриархальных отцов и детей, идущих в революцию; изображение вязкого, затягивающего быта — все эти черты так называемого «знаньевского» реализма присущи первым произведениям Шмелева. Хоть и публиковалнсь они большей частью в либеральном московском журнале «Русская мысль», но Шмелев 900-х годов — по направлению писатель круга «Знания», А. М. Горького. Горькому нравилась повесть «Гражданин Уклейкин» (1908) — о бедном сапожнике, «разбуженном» манифестами правительства после первой русской революции. Горький хвалил Шмелева в письмах к А. В. Амфитеатрову. И наконец, непосредственно влиял на Ивана Сергеевича[3], когда тот писал «Человека из ресторана», опубликованного в самом «Знании» в 1911 году в № 36. Собственно, и название-то — «Человек из ресторана» вместо шмелевского «Под музыку» — предложил Горький. Интересующихся историей создания этой вещи мы адресуем к подробной работе современных исследователей А. П. Черникова

---

[1] Чуковский К. Письма И. С. Шмелеву от 23 октября 1911 г. и 7 ноября 1911 г. — ОР РГБ, ф. 387, к. 10, ед. хр. 17.

[2] В силу технических обстоятельств издания обзорная статья, касающаяся всего творчества Шмелева, будет помещена в третьем томе сочинений; здесь же мы ограничиваемся небольшим очерком раннего творчества писателя.

[3] См. переписку Шмелева и Горького в архиве ИМЛИ.

и М. М. Дунаева,[1] здесь же заметим только, что Шмелев создал несколько вариантов повести. В первом из них сильнее революционные мотивы и подробнее описана деятельность революционеров, сына главного героя. В третьей редакции, по сравнению с окончательной, больше внимания уделено религиозным переживаниям героя. Сначала Шмелев хотел сделать его официантом маленького заведения, а потом, желая изобразить «вопиющие» социальные контрасты, выбрал местом действия роскошный ресторан. Известно, что прототипом ему послужила «Прага».

Но, конечно же, не социальные контрасты, не прогрессивные идеи и революционная борьба, и не поддержка демократической прессы послужили причиной успеха повести. Оживило ее искреннее, неподдельное чувство — сострадание к человеческому горю и скорбям, желание утешить и ободрить, «милость к падшим» и погибающим. Как замечательно сказал об этом тот же К. Чуковский: «Реалист, «бытовик», никакой не декадент и даже не стилизатор, а просто «Иван Шмелев», обыкновеннейший Иван Шмелев написал, совершенно по-старинному, прекрасную, волнующую повесть, то есть такую прекрасную, что всю ночь просидишь над нею, намучаешься и настрадаешься, и покажется, что тебя кто-то за что-то простил, приласкал или ты кого-то простил. Вот какой у этого Шмелева талант! Это талант любви. Он сумел так страстно, так взволнованно и напряженно полюбить тех Бедных Людей, о которых говорит его повесть, — что любовь заменила ему вдохновение. Без нее — его рассказ был бы просто «рассказ Горбунова», просто искусная и мертвая мозаика различных лакейских словечек, и в нем я мог бы найти тогда и подражание Достоевскому, и узковатую тенденцию («долой интеллигентов!»), и длинноты, и сентиментальность. Но эта великая душевная сила, которую никак не подделаешь, ни в какую тенденцию не вгонишь, она все преобразила в красоту. Рассказ для меня — безукоризнен, я бы в нем не изменил ни черты, даже самые его недостатки кажутся мне достоинствами»[2].

Однако и с художественной точки зрения повесть написана превосходно — чего стоит один «сказ» от лица главного героя! Мастерство Шмелева совершенствуется очень быстро, и в 1912 — 1916 годах он становится одним из известнейших «молодых» прозаиков. Вместе с И. А. Буниным, Б. К. Зайцевым, А. Н. Толстым, С. Н. Сергеевым-Ценским их объединяли в группу неореалистов. Десятые годы в творчестве Шмелева связаны с

---

[1] См.: Дунаев М. М., Черников А. П. Творческая история повести И. С. Шмелева «Человек из ресторана»//Записки Отдела рукописей РГБ. Вып. 45. — М., 1986. С. 47 — 60.

[2] Чуковский К. Русская литература//Ежегодник газеты «Речь» за 1911, 1912 гг. С. 441.

«Книгоиздательством писателей в Москве» и сборниками «Слова», которые и издавали неореалисты.

Если горьковское «Знание» открывала поэма Алексея Максимовича «Человек», то в первом номере «Слова» мы найдем древнегреческий гимн «К Пану» в переводе В. В. Вересаева (он и Н. С. Клестов-Ангарский стояли у истоков всех издательских начинаний). Гимн прекрасной, разумной природе, ее вечному круговороту, ее творящему началу, некий пантеизм даже — вот что встречается в произведениях неореалистов. И у Шмелева в том числе. В повести «Росстани» (1913), например, помещенной в том же первом номере, именины героя сливаются с его поминками, но сама смерть воспринимается благостно, как некое звено в цепи вечно обновляющейся жизни. И умиротворением веет от последних дней главного героя, богатого купца, которого, между прочим, Шмелев теперь рисует с искренней симпатией. И в форме писатель близок стилю неореализма: передача в слове звука, запаха, цвета — впечатления (impression) заставляла некоторых исследователей называть этот стиль импрессионизмом. Для него же характерна и некоторая бессюжетность, отсутствие финала, ощущение мельком подсмотренной картинки жизни (как в рассказах «Волчий перекат» (1913), «По приходу» (1913), «Карусель» (1914), опубликованных соответственно в журнале «Современный мир», газетах «Речь», «Киевская мысль»). И поэтичность, напевность языка, порой переходящего в лирическую прозу, — качество, которое прекрасно схватил К. Д. Бальмонт в цикле стихотворений, посвященных «Росстаням», из книги «Ризы единственной»:

ПРОЛЕТЬЕМ В ЛЕТО

Тих и тепел был май...
И. С. Шмелев. Росстани

Тих и тепел был май,
Тихим был и июнь,
А к июлю взмалинились грозы,
И белел по ночам
Распростершийся лунь,
Отделяясь от белой березы.
Вся река — тишина,
Серебро, колыбель,
Восполнялся покой богоданно,
И далеко в полях
Пробегал коростель,
Кликал милую он неустанно.
Как закличет дергач,
Он всю ночь пропоет,
Хоть один да за целую стаю,

А в оконце небес
Словно плавится мед,
Зори в зеркало смотрятся с краю.
Словно кто-то «Прощай!»
Не сказал, а пропел,
И звенит там в ответ «До свиданья!»
Вся истома любви,
Переплеснут предел,
Сердце хочет любить — вот страданье.
У налившейся мглы
Заострились края,
Загорелись на небе хоромы.
Что дошло, то взошло,
Первоключ бытия
Прокатил по бездонности громы.

ЗАКРОМА

Ты наполнил свои закрома,
В них есть рожь, и ячмень, и пшеница,
И родная июльская тьма,
Что в парчу выпивает зарница.
Ты наполнил свой слышащий дух
Русской речью, дремотой и мятой.
Знаешь точно, что скажет пастух,
С коровенкой шутя вороватой.
Знаешь точно, что мыслит кузнец,
В наковальне метнувший свой молот.
Знаешь власть, что имеет волчец
В огороде, что долго не полот.
Ты ребенком впивал те слова,
Что теперь в повестях — как убрусы,
Богоцвет, неувяда-трава,
Свежих лютиков желтые бусы.
Вместе с дятлом ты мудрость наук
Упредил, приучившись упрямо
Знать, что верный удар или звук
Сопричислены к таинствам Храма.
И когда ты смеешься, о брат,
Я любуюсь на взгляд твой лукавый: —
Пошутив, ты немедленно рад
Улететь за всезвездною славой.
И когда, обменявшись тоской,
Мы мечтою — в местах незамытых,
Я с тобою — счастливый, другой,
Там, где помнит нас ветер в ракитах.

Капбретон, 1927[1]

---

[1] Два других стихотворения из этого цикла см.: Бальмонт К. Д. Стихотворения. — ОР РГБ, ф. 374, к. 12, ед. хр. 67.

В эти годы у Шмелева постепенно крепнет чувство «народности, русскости, родного» — оно заметно и по «Автобиографии», написанной по просьбе С. А. Венгерова в 1913 году. Иван Сергеевич все чаще обращается к своим провинциальным впечатлениям, ездит по России (в 1912 году — Вологда, Архангельск). Его «неонародничество, неославянофильство» (выражение современных исследователей) еще усиливает империалистическая война 1914 года. По отношению к войне он впервые расходится с А. М. Горьким.

Первые военные месяцы Шмелев — в селе Оболенском Калужской губернии. Как вспоминал его близкий друг поэт И. А. Белоусов: «К середине лета начали ходить слухи о подготовлявшейся русско-германской войне. У моста через Протву поставили караул, в народе появились разные приметы о предстоящей войне: то куры начали петь петухами, то крест с колокольни свалился.

Иван Сергеевич жадно ловил слухи, ходил по деревням, прислушивался, сам заводил разговор и после изобразил свои наблюдения в очерке «В суровые дни»[1].

Цикл «Суровые дни», печатавшийся в журнале «Северные записки» (он составит потом отдельный том в дореволюционном собрании Шмелева[2]), был признан лучшей книгой о войне. Кроме прежних тем — сострадания к обездоленным, любви к простолюдинам, живущим на земле и в согласии с законами земли, — появляется в «Суровых днях» и нечто новое. То, что как раз заметил Белоусов: интерес к знамениям, предсказаниям. Первое пробуждение мистического чувства, связанное и с общим народным отношением к войне, и с личными переживаниями Шмелева — неизбывным беспокойством за единственного сына Сергея, призванного в армию в 1915 году и отправленного на фронт в 1916-м в качестве прапорщика артиллериста. Особенно явно тревога, страшные предчувствия, предвидение проявились в рассказе «Лик скрытый», адресованном непосредственно Сергею. Шмелев писал ему на фронт: «Маме я посвятил — Челов. из рест. — тебе — Лик Скрытый. Себе — Росстани»[3].

По письмам к сыну становится понятно настроение писателя в дни войны и Февральской революции. Он по-прежнему находится в «левом», демократическом лагере. «Проклинает старый строй», называет себя «интеллигентом-пролетарием», осуждает Корнилова, приветствует Керенского, но не сочувствует больше-

---

[1] Белоусов И. А. Литературная среда//Никитинские субботники. М., 1928. С. 187.

[2] В настоящем издании мы старались представить по нескольку рассказов из каждого тома, начиная с четвертого (в третьем был опубликован «Человек из ресторана»).

[3] Шмелев И. С. Письмо С. И. Шмелеву от 23 августа 1917 г. — ОР РГБ, ф. 387, к. 9, ед. хр. 24.

викам как партии одного класса, а не всего народа. Февральскую революцию, конечно же, принимает на «ура» и едет корреспондентом «Русских ведомостей» в Сибирь вместе с поездом за освобожденными политкаторжанами. Правда, в очерках о Сибири уже начинает звучать беспокойство, страх перед возможным кровавым хаосом (через несколько лет он напишет об этой поездке статью «Убийство» с иной оценкой Февраля). По письмам к сыну, а потом и по многочисленным очеркам, статьям-рассказам видно, что писатель призывает к порядку, хозяйствованию, спокойствию и примирению. В газетном цикле «Пятна» (1917), напечатанном в тех же «Русских ведомостях». В предполагавшемся цикле «По Москве», из которого Шмелев написал только рассказ «Голуби» уже в Алуште (впервые он был опубликован в газете «Южный край» в декабре 1918-го). Шмелевы приехали в Крым в июне 1918 года, спасаясь, вероятно, и от разрухи, и от большевиков одновременно.

Все теми же призывами к миру, гармонии, красоте, здравому смыслу, чувству хозяина полны произведения Шмелева, написанные в Крыму. Это прежде всего повесть «Неупиваемая Чаша» (1918), выпущенная впервые в крымском сборнике «Отчизна» вместе с произведениями других писателей, оказавшихся на Юге России, а там в это время блистало целое созвездие: И. А. Бунин, В. Г. Короленко, А. Н. Толстой, С. Н. Сергеев-Ценский, К. А. Тренев... Об условиях работы над «Чашей» Шмелев впоследствии вспоминал: «Писалась «Чаша» — написалась — случайно. Без огня, — фитили из тряпок на постном масле, — в комнате было холодно +5, — 6. Руки немели. Ни одной книги под рукой, только Евангелие. Как-то, неожиданно написалось. Тяжелое было время. Должно быть НАДО было как-то покрыть эту тяжесть. Бог помог»[1]. Не в лучших условиях создавались в октябре 1919-го и 6 сказок — потом Шмелев публиковал их по крымским газетам (только «Сладкий мужик» впервые напечатан в отдельном берлинском издании 1921 года).

Но, переживая в Крыму смену шести правительств, провожая сына в Добровольческую армию (по объявленной А. И. Деникиным мобилизации), мучаясь тревогой за судьбу, а потом и за здоровье Сергея, вернувшегося из Туркестана с туберкулезом, бедствуя и холодая, Шмелевы не предполагали, что самое страшное их ждет еще впереди. Действительность превзошла самые мрачные предчувствия.

---

[1] Шмелев И. С. Письмо Р. Г. Зоммеринг от 19 декабря 1933 г. — Цит. по.: Келер Л. И. С. Шмелев о себе и о других//Русская литература в эмиграции: Сборник/Под. ред. Н. Полторацкого. — Питтсбург, 1972. С. 237.

Шмелевы отказались эвакуироваться вместе с войсками Врангеля. Иван Сергеевич, юрист по образованию, поверил не в возможность беззакония, но в обещания амнистии всем оставшимся в Крыму. Сергей Шмелев был арестован в первый же месяц установления Советской власти и расстрелян в конце января 1921-го; однако родители его узнали страшную правду много позже, терзаясь неизвестностью, страхом, горем и справедливо подозревая самое худшее.

Шмелевы пробыли в Крыму до весны 1922 года, пережив и красный террор, и чудовищный голод. Сохранились записки Ивана Сергеевича «Материалы жизни» (1922), в которых обозначены многие ситуации из будущей эпопеи «Солнце мертвых», первой эмигрантской книги писателя (впервые — парижский альманах «Окно», 1923 — 1924 гг.). В ней он рассказал о событиях в Крыму, ни словом не обмолвившись о личной трагедии.

Как мы уже отмечали, и в «Солнце мертвых» Шмелев выступает прежде всего как «художник обездоленных», рассказывает о страданиях самых беззащитных: стариков, детей, женщин, что остались в медленно затягивающейся петле голода. Рассказывает о расстрелянных по подвалам, о схваченных безвинио и пропавших без вести — создает своего рода «летопись красного террора» в маленьком крымском городке. В нем без труда угадывается Алушта, узнаются ее действительные обитатели: в частности, известен профессор Иван Михайлович Белоусов (1850 — 1921), автор «Словаря ломоносовского языка», удостоенный академической премии 1914 года; Николай Сергеевич Кашин, сын известного винодела, расстрелянный[1]; почтальон Прокофий Павлович Дрозд (1883 — 1963)[2] и другие. Книга Шмелева встает на одну полку «белой библиотеки» рядом с такими документальными свидетельствами о революции, как «Окаянные дни» И. А. Бунина, «Купол св. Исаакия Далматского» А. И. Куприна, «Петербургские дневники» З. Н. Гиппиус.

Проявляется в «Солнце мертвых» и былая надрывность, стиль «бреда», заставляющий вспомнить рассказы «Лик скрытый», «Это было» (1919 — 1922, аллегория, где под видом бунта безумцев из сумасшедшего дома изображается борьба красных и белых). Однако они приобретают здесь иное качество. Шмелев

---

[1] Попова Л. Лики истории//Алуштинский вестник. 1995. Нояб. № 47. С. 3.

[2] Путинин Ф. В. Алуштинские прототипы героев произведений И. С. Шмелева и С. Н. Сергеева-Ценского//Гражданская война и отечественная культура. IV Крымские Шмелевские чтения. Материалы. — Симферополь: Крымский архив, 1995. С. 58 — 60.

писал критику Ю. И. Айхенвальду: «Именно, в моей работе, первое и существенное — не политика, не «крик личный», а «постижения совсем другого порядка»! Меня охватил страх... как будто я на самом деле присутствую (и доселе) при «стихийном распаде», разрушительные силы которого — будто уже повсюду. И когда я (теперь) гляжу на каменные террасы Прованса, засаженные оливками, по приказу чуть ли не Юлия Цезаря, — их теперь не сажают, не садят, верней, они дают урожай только к 130 годам! — когда я смотрю на удивительно покойный уклад жизни людей здешних, хожу по гладким дорогам, слушаю шум ключей и водоводов, вижу вековые культуры, и встречаю «тревожное и огневое» на некоторых, больше молодых, лицах, провожающих пытливыми глазами несущиеся автомобили, я чувствую тревогу... Бродильный грибок повсюду... и все — трепет и нетерпение. В самой природе как будто идет броженье, и веками прилежавшиеся камни вот-вот запляшут! М. б. сдвиги — в самой материи. Нужны ей. Как будто всегда, — для меня теперь это особенно ощутительно, — идет страшная борьба творящего и разрушающего начала, и, отодвинутое усилиями культур давнее, изначальный хаос «демона земли», тоскует в порабощении...»[1].

Шмелев не случайно назвал «Солнце мертвых» эпопеей: все происходящее осмысливается им не просто в общероссийском — но в мировом масштабе. Драма превращается в трагедию. Писатель изображает схватку Добра и Зла как постепенную гибель всего живого — вместе с людьми и природой[2] — и наступление мифологического Царства Мертвых (дорога в которое и вела через Крым, Киммерию — место, где никогда не светило солнце). Шмелев пропел свою «Песнь песней» смерти. Как писал о ней эмигрантский литератор И. С. Лукаш: «Эта замечательная книга (недавно) вышла в свет и (уже) хлынула, как откровение, на всю Европу, лихорадочно переводится на «большие» языки...[3]

Читал ее за полночь, задыхаясь.

Точно из глубины поднялась сдавленная волна, затопила, обрушилась, не давая передохнуть, набрать воздуха, выбраться прочь...

Читал, задыхаясь от мертвого ветра, от стоймя идущего ветра смерти.

О чем книга И. С. Шмелева?

---

[1] Шмелев И. С. Письмо Ю. И. Айхенвальду от 13 июля 1923 г. — РГАЛИ, ф. 1175, оп. 2, ед. хр. 174.

[2] Подробно мы рассматривали мифологичность «Солнца мертвых» в ст.: «Солнце мертвых»: реальность, миф, символ//Российский литературоведческий журнал. 1994. № 4. С. 114 — 117.

[3] Книга была переведена на 13 языков.

О смерти русского человека и русской земли.

О смерти русских трав и зверей, русских садов и русского неба.

О смерти русского солнца.

О смерти всей вселенной, — когда умерла Россия — о мертвом солнце мертвых...»[1]

Елена Осьминина

---

[1] Цит. по: Кутырина Ю. А. Иван Сергеевич Шмелев. — Париж, 1960. С. 41 — 42.

АВТОБИОГРАФИЯ

Прадед мой по отцу был из крестьян Богородского у<езда> Московской губернии. В 1812 году он уже был в Москве и торговал посудным и щепным товаром. Дед продолжал его дело и брал подряды на постройку домов. На постройке Коломенского дворца (под Москвой) он потерял почти весь капитал «из-за упрямства» — отказался дать взятку. Он старался «для чести» и говорил, что за постройку ему должны кулек крестов прислать, а не тянуть взятки. За это он поплатился: потребовали крупных переделок. Дед бросил подряд, потеряв залог и стоимость работ. Печальным воспоминанием об этом в нашем доме оказался «царский паркет», из купленного с торгов и снесенного на хлам старого Коломенского дворца.

«Цари ходили! — говаривал дед, посматривая в щелистые рисунчатые полы. — В сорок тысяч мне этот паркет влез! Дорогой паркет...»

После деда отец нашел в сундучке только три тысячи. Старый каменный дом да эти три тысячи — было все, что осталось от полувековой работы отца и деда. Были долги.

Отец не окончил курса в Мещанском училище. С пятнадцати лет помогал деду по подрядным делам. Покупал леса, гонял плоты и барки с лесом и щепным товаром. После смерти отца занимался подрядами: строил мосты, дома, брал подряды по иллюминации столицы в дни торжеств, держал портомойни на реке, купальни, лодки, бани, ввел впервые в Москве ледяные горы, ставил балаганы на Девичьем поле и под Новинском. Кипел в делах. Дома его видели только в праздник. Последним его делом был подряд по постройке трибун для публики на открытии памятника Пушкину. Отец лежал больной и не был на

торжестве. Помню, на окне у нас была сложена кучка билетов на эти торжества — для родственников. Но должно быть никто из родственников не пошел: эти билетики долго лежали на окошечке, и я строил из них домики.

Отец умер от продолжительной и мучительной «мозговой» болезни. Она развилась у него от падения с лошади во время одной деловой поездки. Он поплатился за свою страсть к верховой езде.

Я остался после него лет семи. Ранние годы дали мне много впечатлений. Получил я их «на дворе».

В нашем доме появлялись люди всякого калибра и всякого общественного положения. Во дворе стояла постоянная толчея. Работали плотники, каменщики, маляры, сооружая и раскрашивая щиты для иллюминации. Приходили получать расчет и галдели. Тьма народу. Заливались стаканчики, плошки, кубастики. Пестрели вензеля. В амбарах было напихано много чудесных декораций с балаганов. Художники с Хитрова рынка храбро мазали огромные полотнища, создавали чудесный мир чудовищ и пестрых боев. Здесь были моря с плавающими китами и крокодилами, и корабли, и диковинные цветы, и люди с зверскими лицами, крылатые змеи, арабы, скелеты, — все, что могла дать голова людей в опорках, с сизыми носами, все эти «мастаки и архимеды», как называл их отец. Эти «архимеды и мастаки» пели смешные песенки и не лазили в карман за словом. Слов было много на нашем дворе — всяких. Это была первая прочитанная мною книга — книга живого, бойкого и красочного слова. Здесь, во дворе, я увидел народ. Я здесь привык к нему и не боялся ни ругани, ни диких криков, ни лохматых голов, ни дюжих рук. Эти лохматые головы смотрели на меня очень любовно. Мозолистые руки давали мне с добродушным подмигиваньем и рубанки, и пилу, и топорик, и молотки и учили, как «притрафляться» на досках, среди смолистого запаха стружек, я ел кислый хлеб, круто посоленный, головки лука и черные, из деревни привезенные лепешки. Здесь я слушал летними вечерами, после работы, рассказы о деревне, сказки и ждал балагурство. Дюжие руки ломовых таскали меня в конюшни к лошадям, сажали на изъеденные лошадиные спины, гладили ласково по голове. Здесь я узнал запах рабочего пота, дегтя, крепкой махорки. Здесь я впервые почувствовал тоску русской души в песне, которую пел

рыжий маляр. «И-эх и темы-най лес... да эх и темы-на-ай...» Я любил украдкой забраться в обедающую артель, робко взять ложку, только что начисто вылизанную и вытертую большим корявым пальцем с сизо-желтым ногтем, и глотать обжигающие рот щи, крепко сдобренные перчиком. Многое повидал я на нашем дворе и веселого и грустного. Я видел, как теряют на работе пальцы, как течет кровь из-под сорванных мозолей и ногтей, как натирают мертвецки пьяным уши, как бьются на стенках, как метким и острым словом поражают противника, как пишут письма в деревню и как их читают. Здесь я получил первое и важное знание жизни. Здесь я почувствовал любовь и уважение к этому народу, который все мог. Он сделал то, чего не могли делать такие, как я, как мои родные. Эти лохматые на моих глазах совершали много чудесного. Висели под крышей, ходили по карнизам, спускались под землю в колодезь, вырезали из досок фигуры, ковали лошадей брыкающихся, писали красками чудеса, пели песни и рассказывали дух захватывающие сказки. Здесь я впервые увидел тоненькую < по> трепанную книжку, которую читал по складам наш дворник. Это была сказка о том, как солдат спас Петра Великого от разбойников. Вскоре я узнал, где продают эти книжки. Я покупал их на случайные пятаки по выбору и указанию человека с красным носом, с утра до ночи сидевшего в своей убогой лавочке среди книжных сокровищ.

Во дворе было много ремесленников — бараночников, сапожников, скорняков, портных. Они дали мне много слов, много неопределенных чувствований и опыта. Двор наш для меня явился первой школой жизни — самой важной и мудрой. Здесь получались тысячи толчков для мысли. И все то, что теплого бьется в душе, что заставляет жалеть и негодовать, думать и чувствовать, я получил от сотен простых людей с мозолистыми руками и добрыми для меня, ребенка, глазами.

В доме я не видал книг, кроме Евангелия, которое нас, детей, заставляли читать постом, и молитвенников, по которым я изучал молитвы, не понимая смысла церковных слов. В многочисленных поминаньях были картинки, где изображалось шествие душ по мытарствам, черти в огне, грешники, старающиеся вырваться из пламени. Это оставило впечатление страха и жуткой тайны.

Единственная книга не духовного содержания, которую я видел в доме до моей школьной жизни, кроме азбуки, был атлас по естественной истории с раскрашенными картинками. Это была одна из дядиных книг. Этот дядя помер до моего появления на свет. Он очень любил чтение и театр. Хоть и занимался подрядным делом при жизни моего деда, но как-то спрохвала, и был очень слабого здоровья — «прочитал все свое здоровье на книгах». Говорят, и за дедом водилась страсть к романам из французской жизни, и про историю любил почитать, но книг после него не осталось: сволокли куда-то в амбар, а там поели мыши. Только и уцелел атлас животного царства.

Должно быть, я был очень впечатлителен. Я горько плакал всякий раз, как прогоняли со службы кого-нибудь из тех, с кем я был так или иначе связан. Когда их прогоняли, я представлял себе, что им уже некуда больше пойти, что они будут теперь сидеть со своими сундучками где-нибудь за воротами. Бывало, забьешься в уголок и плачешь тихо-тихо. Это осталось и до сего дня. И теперь, когда видишь, что кому-то дают расчет, засосет под сердцем и на душе тоска. И до сего дня думаешь — куда пойдут и найдут ли место? А в то далекое время мягкого детства смотришь бывало, как неторопливо собирают прогоняемые свой маленький скарб, и себя чувствуешь в чем-то виноватым.

В первые годы обучения грамоте сильное впечатление производили на меня басни. Читаешь про лисицу и виноград, и ясно-ясно видишь, как эта лисица смотрит, выкатив красный язык, и изо рта у ней текут слюни, и горят глаза. И представляешь яркий, солнечный день. То, что было заключено в буквах, оживало, имело запах, живую форму.

Одиннадцати лет я поступил в гимназию. Здесь меня точно прихлопнуло. Меня подавили холод и сушь. Это самая тяжелая пора моей жизни — первые годы в гимназии. Тяжело говорить. Холодные сухие люди. Слезы. Много слез ночью и днем, много страха.

С поступлением в гимназию мне стала доступной книга. Жюль Верн, Майн Рид, потом Марриэт и Эмар были любимыми писателями. Они открыли передо мной прекрасный мир недосягаемого. Океан и тропические леса. Льды и пустынные берега, просторы и тишина. Отважные

честные люди. Благородные храбрецы, герои-индейцы и старые охотники. Там не было холодных мертвых стен, злых глаз, фраков с золотыми пуговицами, пропитанных табаком. Я мечтал быть там с моими любимцами из плотников, ломовиков, сапожников. Там нам было бы славно.

Короленко и Успенский закрепили то, что было затронуто во мне Пушкиным и Крыловым, что я видел из жизни на нашем дворе. Некоторые рассказы из «Записок охотника» соответствовали тому настроению, которое во мне крепло. Это настроение я назову — чувством народности, русскости, родного. Окончательно это чувство во мне закрепил Толстой. Его «Казаки» и «Война и мир» меня закрутили и потрясли. И помню, закончив «Войну и мир», — это было в шестом классе, я впервые почувствовал величие, могучесть и какое-то божественное, что заключено в творениях писателей. Писатель — это величайшее, что есть на земле и в людях. Перед словом писатель я благоговел. И тогда, не навеянное уроками русского языка, а добытое внутренним опытом, встали передо мной как две великие грани Пушкин и Толстой.

Рассказ «Городовой Семен», написанный под впечатлением от рассказа Успенского «Будка», — было сентиментальнейшее произведение, насколько я его помню. Городовой одинок. Он живет в своей будке, в холоде и нужде. С ним дружит фонарщик, тоже обездоленный и калека. Его прогнали с завода, где ему обожгло чугуном ногу. Теперь он влачит жалкое существование. Городовой и он часто ведут беседы о жестокой жизни. Городовой тяготится своей службой, на которую его загнала судьба. Они сговариваются с фонарщиком бросить город и поселиться в деревне. Но злая судьба мешает. Городовой простудился, спасая осенью утопающего на реке, и умирает одинокий в своей будке под вой ветра. Фонарщик ковыляет за дощатым гробом. Возвращается вечерком к тележке с лампами и начинает зажигать огни. Первый фонарь — у знакомой будки. Грустно смотрит он на пустую будку, на фонарь и не зажигает. К чему? Ему теперь не надо света... Перед ним теперь не этот вонючий скупой свет, а вечный... Фонарщик смотрит с перекрестка. В соседнем участке зажигаются огоньки. Ему приходит мысль дерзкая — осветить улицу так, как никогда не освещал из экономии на масле. Нет, пусть в память друга, в память

показавшегося ему теперь вечного света, этой ночью вся улица будет гореть ярко-ярко. Пусть... Он зажигает в полный свет, пускает широкие языки пламени. Дальше и дальше, похрамывая, идет со своей лесенкой, и больше и больше свету на улице. Не видно фонарщика. Огни растут, начинают лизать стекла. Улица принимает красноватое освещение. Тишина. Слышно, как начинают лопаться стекла. Коптят огни... Зловеще коптят вонючие огни.

Рассказ заканчивается грустным аккордом. Завтра фонарщика прогонят. И придет на его место другой фонарщик, и будет зажигать исправно вполсвета, и не будут лопаться стекла, и улица будет каждый день в точный час погружаться в обычную тусклоту вполсвета...

Со слезами писал я этот рассказ. Ночью писал. Конечно, этот рассказ мне вернули. Секретарь редакции подмигнул моему гимназическому пальто и сказал, закусывая чай розанчиком:

— Пока слабовато... а ничего...

Пережитый восторг творчества не давал покоя. Я написал юмористический рассказ и понес в «Будильник». Мне прислали в конверте набранный рассказ, перечеркнутый красным карандашом с пометкой: «цензурой не пропущено».

Я решил посвятить себя литературе, закинул учебники и принялся за самообразование. Ночью писал, а днем валялся на кровати, сказавшись больным, и читал до одури. Это было какое-то внежизненное существование. Я писал роман из сибирской жизни, стихи на тридцатилетие освобождения крестьян, драму, в которой он и она помирали от чахотки. Так продолжалось недели две. Меня грозили выкинуть из гимназии за манкировки. Гимназия мне опротивела. Я заявил, что буду учиться сам, один.

И все же пришлось подчиниться. И я бросил свое писание. Только в восьмом классе опять отрыгнулось. Я написал рассказ из народной жизни «У мельницы», и он был напечатан в толстом журнале «Русское обозрение».

Это меня подняло. Но тут ряд событий — университет, женитьба — как-то заслонили мое начинание. И я не придал особое значение тому, что писал. Я чувствовал свою неподготовленность. Я видел и понимал высокие образцы и считал свою литературу — мараньем.

У меня были небольшие средства, и я отдался с остервенением покупке и чтению книг. Бокль, Достоевский, Дар-

вин, Летурно, Тайлор, Чехов, Островский, иностранные классики, Щедрин, Гончаров. Я увлекался Флобером, Золя, Доде, Мопассаном. Это было не систематическое чтение. Меня увлекали и естественные науки, и Михайловский, и Сеченов, и сельское хозяйство, и электричество. Заканчивая Тимирязева, я открывал историю Соловьева и Ключевского, за ними бросался к Эдгару По, к дебатам по философии, читал Библию и все новое, что появлялось в литературе. Была жажда знания и переживаний.

На втором курсе университета я совершил поездку на Валаам (летом 1895 года), в результате чего появилась книга путевых очерков «На скалах Валаама». Я никуда ее не посылал — издал сам. Изданная без предварительной цензуры, она была задержана по распоряжению Победоносцева. Пришлось вырвать листы и перепечатывать. Журнал «Новое слово» разнес книгу, взглянув на нее с марксистской точки зрения (трактовался вопрос об общине), «Русская мысль» отметила достоинства языка и описаний. Книга села, и я продал ее букинистам. Это меня подкосило, я бросил думать о писательстве.

Университет прошел для меня тускло, незаметно. В кружках я не вращался, в политической жизни не принимал участия. Я все время читал.

На третьем году университетской жизни отсидел три недели в Бутырской тюрьме за участие в демонстрации. Этим и ограничилась моя политическая карьера.

По окончании университета (в 1898 году) отбыл воинскую повинность и зачислился в адвокатуру. Полтора года этой деятельности отравили меня. Пришлось вести борьбу за существование, тяжелую борьбу. Хождение по мировым судьям претило. Шли с делами кляузники. Я чувствовал себя униженным, когда приходилось напоминать какому-нибудь торговцу о забытой пятерке. Вести дела этих людей мне было противно. Я не выдержал и поступил на службу в казенную палату. Служил во Владимире. Семь с половиной лет службы, разъезды по губернии столкнули меня с массой лиц и жизненных положений. Эти семь лет дали мне очень многое, заставили много перечувствовать и многому дать оценку. Служба моя явилась огромным дополнением к тому, что я знал из книг. Это была яркая иллюстрация и одухотворение ранее накопленного материала. Я знал столицу, мелкий

ремесленный люд, уклад купеческой жизни. Теперь я узнал деревню, провинциальное чиновничество, фабричные районы, мелкопоместное дворянство.

Зависимость угнетала. Я ждал выхода, какого-то неясного, но чуемого. Мне нужны были средства, чтобы жить, а служить я уже не мог. Я был мертв для службы. Это было второе отравление жизнью, делом, к которому не лежала душа. Я искал выхода.

Движение последних лет как бы приоткрыло мне выход. Меня подняло. Новое забрезжило передо мной, открыло выход давящей тоске и заполнило образовавшуюся в душе пустоту. Я знал, что уже начинаю жить.

В тревоге бродил я по темным комнатам квартиры по вечерам. Надо бросить это нудное чиновничье прозябание.

Помню, в августе 1905 года я долго бродил по лесу. Возвращался домой утомленный и пустой опять в свою темную квартиру. Над моей головой, в небе, тянулся журавлиный косяк. К югу, к солнцу... А здесь надвигается осень, дожди, темнота... И властно стояло в душе моей: надо, надо! Сломать, переломить эту пустую дорогу и идти, идти... на волю...

Я дрожал в каких-то смутных неясных переживаниях. Журавли не уходили из глаз. Я пришел домой.

Вечером в тот же день я почувствовал необходимость писать... И в один вечер написал рассказ «К солнцу». Может быть, потому, что в это время мне были противны люди, я писал о животных, о птицах. Получился рассказ для детей. Я его послал в журнал для юношества, в «Детское чтение». Он был принят. Я немедленно написал другой — из впечатлений поездки на море. Он был принят с удовольствием. Я уже не думал о выходе. Он уже был. Я написал в тот же месяц большую повесть — она пошла, и мне было предложено отдельное издание ее.

Вот и выход. Тогда я решил писать. Я писал детские рассказы. Начал писать и в общей литературе. И когда почувствовал, что как будто стою на дороге, бросил службу.

На этой дороге меня ободрил покойный Альбов. Мне сказал яркое, одушевляющее приветливое слово Горький, и одобрил В. Г. Короленко.

<1913>

ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА

Ольге Шмелевой

I

Я человек мирный и выдержанный при моем темпераменте — тридцать восемь лет, можно так сказать, в соку кипел, — но после таких слов прямо как ожгло меня. С глазу на глаз я бы и пропустил от такого человека... Захотел от собаки кулебяки! А тут при Колюшке — и такие слова!..

— Не имеете права елозить по чужой квартире! Я вам доверял и комнату не запирал, а вы с посторонними лицами шарите!.. Привыкли в ресторанах по карманам гулять, так думаете, допущу в отношении моего очага!..

И пошел... И даже не пьяный. Чисто золото у него там... А это он мстил нам, что с квартиры его просили, чтобы комнату очистил. Натерпелись от него всего. В участке писарем служил, но очень гордый и подозрительный. И я его честью просил, что нам невозможно в одной квартире при таком гордом характере и постоянно нетрезвом виде, и вывесил к воротам записку. Так ему досадно стало, что я комнату его показал, — и накинулся.

«За человека не считаете» и то и се!.. А мы, напротив, с ним всегда очень осторожно и даже стереглись, потому что Колюшка предупреждал, что он может быть очень зловредный при своей службе. А у меня с Колюшкой тогда часто разговор был про мое занятие. Как он вырос и стал образованный, очень было не по нем, что я при ресторане. Вот Кривой-то, жилец-то наш, — фамилия ему Ежов, а это мы его промежду собой звали, — и ударил в этот пункт. По карманам гуляю! Чуть не зашиб я его за это слово, но он очень хитрый и моментально заперся на ключ. Потом записку написал и переслал мне через Лушу, мою супругу. Что от огорчения это он и неустройства, и

предлагал набавить за комнату полтинник. Плюнул я на эти пустые слова, когда он и раньше-то по полтинникам платил. Только бы очистил квартиру, потому прямо даже страшный по своим поступкам... И на глаза-то всегда боялся показаться — все мимо шмыгнуть норовил. Но с Колюшкой был у меня очень горячий разговор. Я даже тогда пощечину ему дал за одно слово... И часто он потом мне все замечания делал:

— Видите, папаша... Всякий негодяй может ткнуть пальцем!..

А я смолчу и думаю себе: молод еще и не понимает всей глубины жизни, а вот как пооботрется да приглядится к людям — другое заговорит.

А все-таки обидно было от родного сына подобное слушать, очень обидно! Ну лакей, официант... Что ж из того, что по назначению судьбы я лакей! И потом, я вовсе не какой-нибудь, а из первоклассного ресторана, где всегда самая отборная и высшая публика. К нам мелкоту какую даже и не допускают, и на низ, швейцарам, строгий наказ дан, а все больше люди обстоятельные бывают — генералы, и капиталисты, и самые образованные люди, профессора там и вообще, коммерсанты и аристократы... Самая тонкая и высокая публика. При таком сорте гостей нужна очень искусственная служба, и надо тоже знать, как держать себя в порядке, чтобы не было какого неудовольствия. К нам принимают тоже не с ветру, а все равно как сквозь огонь пропускают, как все равно в какой университет. Чтобы и фигурой соответствовал, и лицо было чистое и без знаков, и взгляд строгий и солидный. У нас не прими-подай, а со смыслом. И стоять надо тоже с пониманием и глядеть так, как бы и нет тебя вовсе, а ты все должен уследить и быть начеку. Так это даже и не лакей, а как все равно метрдотель из второклассного ресторана.

— Ты, — говорит, — исполняешь бесполезное и низкое ремесло! Кланяешься всякому прохвосту и хаму... Пятки им лижешь за полтинники!

А?! Упрекал меня за полтинники! А ведь он и вырос-то на эти полтинники, которые я получал за все — и за поклоны, и за услужение разным господам, и пьяным, и благородным, и за разное! И брюки на нем шились на эти полтинники, и курточки, и книги куплены, которые

он учил, и сапоги, и все! Вот что значит, что он ничего-то не знал из жизни! Посмотрел бы он, как кланяются и лижут пятки, и даже не за полтинник, а из высших соображений! Я-то всего повидал.

Когда раз в круглой гостиной был сервирован торжественный обед по случаю прибытия господина министра, и я с прочими номерами был приставлен к комплекту, сам собственными глазами видел, как один важный господин, с орденами по всей груди, со всею скоростью юркнули головой под стол и подняли носовой платок, который господин министр изволили уронить. Скорей моего поднял и даже под столом отстранил мою руку. Это даже и не их дело — по полу елозить за платками... Поглядел бы вот тогда Колюшка, а то — лакей! Я-то, натурально, выполняю свое дело, и если подаю спичку, так подаю по уставу службы, а не сверх комплекта...

Я как начал свою специальность, с мальчишек еще, так при ней и остался, а не как другие даже очень замечательные господа. Сегодня, поглядишь, он орлом смотрит, во главе стола сидит, шлосганисберг или там шампанское тянет и палец мизинец с перстнем выставил и им знаки подает на разговор и в бокальчик гукает, что не разберешь; а другой раз усмотришь его в такой компании, что и голосок-то у него сладкий и тонкий, и сидит-то он с краешку, и голову держит, как цапля, настороже, и всей-то фигурой играет по одному направлению. Видали...

И обличьем я не хуже других. Даже у меня сходство с адвокатом Глотановым, Антон Степанычем, — наши все смеялись. Оба мы во фраках, только, конечно, у них фрак сшит поровней и матерьялец получше. Ну, живот у них, правда, значительней и пущена толщенная золотая цепь. А тоже лысинка, и вообще в масть. Только вот бакенбарды у меня, а у них без пробрития. А если их пробрить да нацепить на бортик номер, очень бы хорошо сошли заместо меня. И у меня бумажник, но только разница больше внутренняя. У них бумажник, конечно, вздут, и выглядывают пачечки разных колеров, и лежат вексельки, а у меня бумажник сплющен и никаких колеров не имеется, а заместо вексельков вот уже три недели лежат две визитные карточки: судебного кандидата Перекрылова на двенадцать рублей, по случаю забытых дома денег, и господина Зацепского, театрального певца, с коронкой, на

девять рублей по тому же поводу. Вот уже они три недели не являются и думают не платить, но это — подожди, мадам! Таких господ и у нас немало, и если бы платить за всех забывающих, так не хватило бы даже государственного банка, я так полагаю.

Есть которые без средств, а любят пустить пыль в глаза и пыжатся на перворазрядный ресторан, особенно когда с особами из высшего полета. Очень лестно подняться по нашим коврам и ужинать в белых залах с зеркалами, особливо при требовательности избалованных особ женского пола... Ну, и не рассчитают паров. И нехорошо даже смотреть, как конфузятся и просматривают в волнении счет и как бы для проверки вызывают в коридор. Даже с дрожью в голосе. Потому стыдно им перед особами. Ну, на страх и риск и принимаешь карточки. И выгодно бывает, когда в благодарность прибавят рублика два. Это ни для кого не вредно, а даже полезно и помогает обороту жизни. И тут ничего такого нет. Сам даже Антон Степаныч, когда завтракают с деловыми людьми, очень хорошо говорят про оборот капитала, и у них теперь два дома на хорошем месте, и недавно их поздравляли еще с третьим, по случаю торгов.

А потом, с ними ведут дружбу Василь Василич Кашеротов, «первой помощи человек», как у нас про них говорят. У них всегда при себе пустые вексельки, чтобы молодым людям из хорошего семейства дать в момент и получить пользу. А совсем на моих глазах в люди вышли и в знакомстве с такими лицами, что... Даже состоят как бы в попечителях при женском монастыре и любитель, особливо обожают послушниц — и достигают, по своему влиянию и жертвам. Даже по случаю такой их специальности насчет вексельков будто некоторые очень шикарные дамы из семейств бывают с ними в знакомстве. Да-а!.. Что значат деньги! А сами из себя сморщены, и изо рта у них слышно на довольно большое расстояние, ввиду гниения зубов.

Конечно, жизнь меня тронула, и я несколько облез, но не жигуляст, и в лице представительность, и даже баки в нарушение порядка. У нас ресторан на французский манер, и потому все номера бритые, но когда директор Штросс, нашего ресторана, изволили меня усмотреть, как

я служил им, — у них лошади отменные на бегах и две любовницы, — то потребовали метрдотеля и наказали:

— Оставить с баками.

Игнатий Елисеич живот спрятал из почтения и изогнулся:

— Слушаюсь. Некоторые одобряют, чтобы представительность...

— Вот. Пусть для примера остается.

Так специально для меня и распорядились. А Игнатий Елисеич даже строго-настрого наказал:

— И отнюдь не смей сбрить! Это тебе прямо счастье.

Ну, счастье! Конечно, виду больше и стесняются полтинник дать, но мешает при нашем деле.

Вообще вид у меня очень приличный и даже дипломатический — так, бывало, в шутку выражал Кирилл Саверьяныч. Кирилл Саверьяныч!.. Ах, каким я его признавал и как он совсем испрокудился в моих глазах! Какой это был человек!.. Ежели бы не простое происхождение, так при его бы уме и хорошей протекции быть бы ему в государственных делах. Ну и натворил бы он там всего! А у него и теперь парикмахерское заведение, и торгует духами. Очень умственный человек и писал даже про жизнь в тетрадь.

Много он утешал меня в скорбях жизни и спорил с Колюшкой всякими умными словами и доказывал суть.

— Ты, Яков Софроныч, облегчаешь принятие пищи, а я привожу в порядок физиономии, и это не мы выдумали, а пошло от жизни...

Золотой был человек!

И вот когда во всем параде стоишь против зеркальных стен, то прямо нельзя поверить, что это я самый и что меня, случалось, иногда в нетрезвом виде ругнут в отдельном кабинете, а раз... А ведь я все-таки человек не последний, не какой-нибудь бездомовный, а имею местоположение и добываю не гроши какие-нибудь, а когда семьдесят, а то и восемьдесят рублей, и понимаю тонкость приличия и обращение даже с высшими лицами. И потом, у меня сын был в реальном училище, и дочь моя, Наташа, получила курс образования в гимназии... И вот при всем таком обиходе иной раз самые благородные господа, которые уж должны понимать... Такие тонкие по обращению и поступкам и говорят на разных языках!.. Так деликатно

кушают и осторожно обращаются даже с косточкой, и когда стул уронят, и тогда извиняются, а вот иногда...

И вот такой-то вежливый господин в мундире, и на груди круглый знак, сидевши рядом с дамой в большущей шляпе с перьями, — и даму-то я знал, из какого она происхождения, — когда я краем рыбьего блюда задел, по тесноте их друг к дружке, за край пера, обозвал меня болваном. Я, конечно, сказал — виноват-с, потому — что же я могу сказать? Но было очень обидно. Конечно, я получил на чай целковый, но не в извинение это, а для фону, чтобы пыль пустить и благородство свое перед барыней показать, а не в возмещение. Конечно, Кирилл Саверьяныч, по шустроте и оборотливости ума своего, обратил все это в недоумение, которое постигает и самых прославленных людей, и все-таки это нехорошо. Он даже говорил про книгу, в которой один ученый написал, что всякий труд честен и благороден и словами человека замарать нельзя, но я-то это и без книги знаю, и все-таки это нехорошо. Хорошо говорить, как не испытано на собственной персоне. Ему хорошо, как у него заведение, и если его кто болваном обзовет, он сейчас к мировому. А ты завтра же полетишь за скандал и уже не попадешь в первоклассный ресторан, потому сейчас по всем ресторанам зазвонят. А ученый может все писать в своей книге, потому его никто болваном не обзовет. Побывал бы этот ученый в нашей шкуре, когда всякий за свой, а то и за чужой целковый барина над тобой корчит, так другое бы сказал. По книгам-то все гладко, а вот как Агафья Марковна порасскажет про инженера, так и выходит на поверку...

Ужинали у нас ученые-то эти. Одного лысенького поздравляли за книгу, а посуды наколотили на десять целковых. А не понимают того, с кого за стекло вычитает метрдотель по распоряжению администрации. Нельзя публику беспокоить такими пустяками, а то могут обидеться! Они, по раздражению руки, в горячем разговоре бокальчик о бокальчик кокнут, а у тебя из кармана целковый выхватили. Это ни под какую науку не подведешь.

Поглядишь, как Антон Степаныч деликатесы разные выбирает и высшей маркой запивает, так вот и думается — за какой такой подвиг ему все сие ниспослано — и дома,

и капиталы, и все? И нельзя понять. И потом, его даже приятели прямо жуликом называют. Чистая правда.

Как был ежегодный обед правления господ фабрикантов, у которых Антон Степаныч дела ведет по судам и со всеми судится, то были все капиталисты, и даже всесветный миллионер Гущин. И за веселым обедом — сам слышал — этот самый господин Гущин хлопнет Антон Степаныча по ляжке и вытянет:

— Да уж и жу-у-лик ты, золотая голова!

И все очень смеялись, и Антон Степаныч подмигивал и хвастал, что не на их лбу гвозди гнуть. А как прибыли потом француженки на десерт, так одна попробовала тоже господину Гущину потрафить и тоже Антон Степаныча жуликом, а у ней все выходило — зу-у-лик, — так погоди! Очень из себя господин Глотанов вышли и в нетрезвом виде, конечно, крикнули:

— Всякая... такая... тоже!..

Очень резкое слово произнесли и употребили жест. И такой вышел скандал, что только при уважительном отношении к нашему ресторану осталось без последствий. А у девицы все платье зернистой икрой забрызгали... Целый жбан перекувырнули! Всего бывало.

Смотришь на все это, смотришь... А-а... Несчастные творения Бога и Творца! Сколько перевидал я их! А ведь чистые и невинные были, и вот соблазнены и отданы на уличное терзание. И никакого внимания... Придешь, бывало, домой, помолишься Богу и ляжешь... А за стенкой Наташа. Тихо так дышит... И раздумаешься... Что ожидает ее в жизни? Ей не останется от нас купонов и разных билетов, выигрышных и других, и домов многоэтажных, как получили в наследство барышни Пупаевы, в доме коих я тогда квартировал.

II

Поживали мы тихо и незаметно, и потом вдруг пошло и пошло... Таким ужасным ходом пошло, как завертелось...

Как раз было воскресенье, сходил я к ранней обедне, хотя Колюшка и смеялся над всяким религиозным знамением усердия моего, и пил чай не спеша, по случаю того, что сегодня ресторан отпираем в двенадцать часов дня. И были пироги у нас с капустой, и сидел парикмахер и друг

мой, Кирилл Саверьяныч, который был в очень веселом расположении: очень отчетливо прочитал Апостола за литургией. И потому говорил про природу жизни и про политику. Он только по праздникам и говорил, потому что, как верно он объяснял, будни предназначены для неусыпного труда, а праздники — для полезных разговоров.

И когда заговорил про религию и веру в вышнего Творца, я, по своему необразованию, как повернул потом Кирилл Саверьяныч, возроптал на ученых людей, что они по своему уму уж слишком полагаются на науку и мозг, а Бога не желают признавать. И сказал это от горечи души, потому что Колюшка никогда не сходит в церковь. И сказал, что очень горько давать образование детям, потому что можно их совсем загубить. Тогда мой Колюшка сказал:

— Вы, папаша, ничего не понимаете по науке и находитесь в заблуждении. — И даже перестал есть пирог. — Вы, — говорит, — ни науки не знаете, ни даже веры и религии!..

Я не знаю веры и религии! Ну, и хотел я его вразумить насчет его слов. И говорю:

— Не имеешь права отцу так! Ты врешь! Я, конечно, твоих наук не проник и географии там не учился, но я тебя на ноги ставлю и хочу тебе участь предоставить благородных людей, чтобы ты был не хуже других, а не в холуи тебя, как ты про меня выражаешь... — Так его и передернуло! — А если бы я религии не признавал, я бы давно отчаялся в жизни и покончил бы, может быть, даже самоубийством! И вот учишься ты, а нет в тебе настоящего благородства... И горько мне, горько...

И Кирилл Саверьяныч даже в согласии опустил голову к столу, а Колюшка мне напротив:

— Оставьте ваши рацеи! Если бы, — говорит, — вам все открыть, так вы бы поняли, что такое благородство. А ваши моления Богу не нужны, если только Он есть!

Ведь это что такое! Я ему про веру и религию, а он свое... Клял я себя, зачем по ученой части его пустил. Охапками книги таскал и по ночам сидел, сколько керосину одного извел. И еще Васиков этот ходил к нему из управления дороги, чахоточный... И злой стал, прямо как чумный, и исхудал...

Я на него пальцем погрозил за его слово о Творце, и Кирилл Саверьяныч так это на него посмотрел, — очень он мог так, и рот, бывало, скосит, — а тот как вскочит! И стал всех... и даже... известных лиц ругать и называть всякими словами, так что было страшно, и Кирилл Саверьяныч пришел в беспокойство и все покашливал и поглядывал в окно.

— Напрасно старались! — прямо кричит. — Знаю, какого вам благородства нужно! Тут вот чтобы!.. — в пиджак себя тыкать стал. — Так я буду лучше камни по улицам гранить, чем доставлю вам такое удовольствие!

Прямо как сумасшедший. А? Зачем я-то старался? Зачем просил господина директора училища, чтобы от платы освободили? И только потому, что они у нас в ресторане бывали и я им угождал и повара Лексей Фомича просил отменно озаботиться, они, в снисхождение моим услугам, сделали льготу. И три раза прошения подавал с изложением нужды, и счета... сколько раз укорачивал, — можно это при сношении с марочником на кухне, — и внимания добился. И за все это такие слова!

Но тут уж сам Кирилл Саверьяныч стал ему объяснять:

— Вы, — говорит, — еще очень молодой юноша и с порывом и еще не проникли всей глубины наук. Науки постепенно придвигают человека к настоящему благородству и дают вечный ключ от счастья! — Прямо замечательно говорил! — Вера же и религия мягчит дух. И вот, — говорит, — смотрите, что будет с науками. Я, — говорит, — сейчас, конечно, парикмахер, и если бы не научное совершенство в машинах, то должен бы ножницами наголо стричь десять минут при искусстве, как я очень хороший мастер. А вот как изобрели машинку, то могу в одну минуту. Так и все. И придет такое время, когда ученые изобретут такие машины, что все будут они делать. И уж теперь многое добывают из воздуха машинами, и даже сахар. И вот когда все это будет, тогда все будут отдыхать и познавать природу. И вот почему надо изучать науки, что и делают люди благородные и образованные, а нам пока всем терпеть и верить в промысел Божий. Этого вы не забывайте!

Я вполне одобрил эти мудрые слова, но Колюшка не унялся и прямо закидал Кирилла Саверьяныча своими словами:

— Не хочу вашей чепухи! А-а... По-вашему, пусть лошадка дохнет, пока травка вырастет? Вам хорошо, как вы духами торгуете да разным господам морды бреете не своими трудами! Красите да лак наводите, плеши им прикрываете, чтобы были в освеженном виде!..

Кирилл Саверьяныч осерчал, как очень самолюбивый, и даже поперхнулся.

— Евангелие, — говорит, — сперва разучите, тогда я с вами буду толковать! Я философию прошел! Вы сперва с мое прочтите, тогда... Я вашего учителя научу, а не то что...

И пальцем себя в грудь. Ну, и мой-то ему тоже ни-ни... Тот пять — он ему двадцать пять! Тоже много прочитал.

— А-а... Вы на Евангелие повернули! Так я вам его к носу преподнесу! Веру-то вашу на все пункты разложу и в нос суну! Цифрами вам ваши машины представлю, лохмотьями улицы запружу! Такого вам Евангелия нужно?! Вы, — говорит, — на нем теперь бухгалтерию заносите за бритье и стрижку!..

И прямо как бешеная собака. Очень он у меня горячий и чувствительный. Ну, и здесь тоже Бог не обидел. Бегает по комнате, пальцами тычет, кулаком грозит и пошел про жизнь говорить, и про политику, и про все. И фамилии у него так и прыгают. И славных и препрославных людей поминает... и печатает. И про историю... Откуда что берется. Очень много читал книг. И вот как надо, и так вот, и эдак, и вот в чем благородство жизни!

Кирилл Саверьяныч совсем ослаб и только рот кривил. Но это он так только, для вида ослаб, а сам приготовлял речь. И начал так вежливо и даже рукой так:

— Это с вашей стороны один пустой разговор и изворот. Это все насилие и в жизни не бывает. Подумайте только хорошенько, и вам будет все явственно. Я очень хорошо знаю политику и думаю, что...

А Колюшка как стукнет кулаком по столу — посуда запрыгала. Он широкий у меня и крепкий, но очень горяч.

— Ну, это предоставьте нам, думать-то, а вы морды брейте!

Очень дерзко сказал. А Кирилл Саверьяныч опять тихо и внятно:

— Погодите посуду бить. Вы еще не выпили, а крякаете. И потом, кто это вы-то? Вы-то, — говорит, — вот

кончите ученье, будете инженером, мостики будете строить да дорожки проводить... Как к вам денежки-то поплывут, у вас на ручках-то и перчаточки, и тут туго, и здесь, и там кой-где лежит и прикладывается. И домики, и мадамы декольте... С нами тогда, которые морды бреют-с, и разговаривать не пожелаете... Нет, вы погодите-с, рта-то мне не зажимайте-с! Это потом вы зажмете-с, когда я вас брить буду... И книжечки будете читать, и слова разные хорошие — девать некуда! А ручками-то перчаточными кой-кого и к ногтю, и за горлышко... Уж всего повидали-с — девать некуда! А то правда! Правда-то, она... у Петра и Павла!

Прямо завесил все и насмарку. Необыкновенный был ум! Колюшка только сощурился и в сторону так:

— Вам это по опыту знать! А позвольте спросить, сколько вы с ваших мастеров выколачиваете?

И только Кирилл Саверьяныч рот раскрыл, вдруг Луша вбегает и руками так вот машет, а на лице страх. Да на Колюшку:

— Матери-то хоть пожалей! Погубишь ты нас! Кривой-то ведь все слышал!..

Ах ты, Господи! О нем-то мы и забыли, которого гнать-то все собирались. Очень по всем поступкам неясный был человек. Раньше будто в резиновом магазине служил, и жена его с околоточным убежала. Снял у нас комнатку с окном на помойку и каждый вечер пьяный приходил и шумел с собой. Сейчас гитару со стены и вальс «Невозвратное время» до трех ночи. Никому спать не давал, а если замечание — сейчас скандалить:

— Еще узнаете, что я из себя представляю! Думаете, писарь полицейский? Не с той марки! У меня свои полномочия!

Прямо запугал нас. И такая храбрость в словах, что удивительно. Время-то какое было! А то бросит гитару и притихнет. Луша в щелку видала. Станет середь комнатки и волосы ершит и все осматривается. И клопов свечкой под обоями палил, того и гляди — пожар наделает. Навязался, как лихорадка.

Так вот этот самый Кривой — у него левый глаз был сощурен — появляется вдруг позади Луши в новом пиджаке, лицо ехидное, и пальцем в нас тычет с дрожью. И по глазу видно, что готов.

— Вот когда я вас устерег! Чи-то-ссс?! Вы меня за сыщика признавали, ну так номером ошиблись! Я вам поставлю на вид политический разговор! Чи-то-ссс!..

Знаю, что вовсе дурашливый человек, да еще на взводе, молчу. Колюшка отворотился — не любил он его, а Кирилл Саверьяныч сейчас успокаивать:

— Это спор по науке, а не насчет чего... И не желаете ли стаканчик чайку...

Вообще тонко это повел дело.

— И мы, — говорит, — сами патриоты, а не насчет чего... И вы, пожалуйста, не подумайте. У меня даже парикмахерское заведение...

А Кривой совсем сощурился и даже боком встал.

— Оставьте ваши комплименты! Я и без очков вижу отношение! Произвел впечатление?! Чи-то-ссс? Я, может, и загублю вас всех, и мне вас очень даже жалко, по моему образованному чувству, но раз мною пренебрегли и гоните с квартиры, как последнюю сволочь, не могу я допустить! И ежели ты холуй, — это мне-то он, — так я ни у кого...

Очень нехорошо сказал. Как его Колюшка царапнет стаканом — и залил всю фантазию и пиджачок. Вскочили все. Кирилл Саверьяныч Колюшку за руки схватил, я Кривому дорогу загородил к двери, чтобы еще на улице скандала не устроил, Луша чуть не на коленки, умоляет снизойти к семейному положению, и Наташа тут еще, а Кривой выпучил глаза, да так и сверлит и пальцем в пиджак тычет. Такой содом подняли... А тут еще другой наш жилец заявился, музыкантом ходил по свадьбам и на большой трубе играл, Черепахин по фамилии, Поликарп Сидорыч, сложения физического... И сейчас к Наташке:

— Не обидел вас? Пожалуйста, отойдите от неприятного разговора...

И сейчас на Кривого:

— Я вам голову оторву, если что! Насекомая проклятая! Сукин вы сын после этого! При барышне оскорбляете!..

И его-то я молю, чтобы не распространял скандала, но он очень горячий и к нам расположен. Так и норовит в морду зацепить.

— Пустите, я его сейчас отлакирую! Я ему во втором глазе затмение устрою! Сибирный кот!..

А Кривой шебуршит, как вихрь, и нуль внимания. И Кирилл Саверьяныч его просил:

— Вы молодого человека хотите погубить, это недобросовестно! Это даже с вашей стороны зловредно! Дело о машинах шло и сути жизни, а вы вывернули на политическую подкладку...

А тот себя в грудь пальцем и опять:

— Я знаю, какая тут подкладка! Он мне новый пиджак изгадил! Я не какой-нибудь обормот!.. У меня интеллигентные замашки!

— Это мы сделаем-с... — Кирилл Саверьяныч-то. — Отдадим в заведение и все выведем. У меня и брат двоюродный у Букермана служит...

— Дело, — кричит, — не в пиджаке! Вы на пиджак не сводите! Тут материя не та! У меня кровь благородного происхождения, и ничто не может меня удовлетворить! Я, может, еще подумаю, но пусть сейчас же извинения просит!..

Я, конечно, чтобы не раздувать, Колюшке шепотом:

— Извинись... Ну, стоит со всяким...

— И пиджак мне чтобы беспременно новый!

А Колюшка как вскинется на меня:

— Чтобы я у такого паразита!..

— А-а... Я паразит? Ну, так я вам пок-кажу!..

Сейчас в карман — раз, и вынимает бумажку. Так нас всех и посадил.

— А это чи-то-ссс?! Паразит? Сами желали-с, так раскусите циркуляр! До свидания.

И пошел. Кирилл Саверьяныч за ним пустился, а я говорю Колюшке:

— Что ты делаешь со мной? Я кровью тебя вскормил-воспитал, от платы тебя освободил по моему усердному служению... А?! И ты так! Что теперь будет-то?

— Напрасно, — говорит, — себя беспокоили и всякому каналье служили! Не шпана за меня платила, которая сама сорвать норовит... А Кривой, пожалуй, и не виноват... Где падаль, там и черви.

— Какие черви?

— Такие, зеленые... — И смеется даже!..

— Да ты что это? — говорю ему строго. — Что ты из себя воображаешь?

— Ничего. Давайте чайку попьем, а то вам скоро в ваш ресторан...

— Ну, ты мне зубы не заговаривай, — говорю. — Ты у меня смотри!

— Чудак вы! Чего расстроились? Я вас хотел от оскорбления защитить...

— Хорошо, — говорю, — защитил! Теперь он к мировому за пиджак подаст, в полицию донесет, какие ты речи говорил... Сам видишь, какой каверзник! Он теперь тебе и в училище может повредить...

А тут Кирилл Саверьяныч бледный прибежал, руками машет, галстук на себе вертит в расстройстве чувств.

— Ушел ведь! Должно быть, в участок! И меня теперь с вами запутают... Меня все знают, что я мирный, а теперь из-за мальчишки и меня! Ты помни, — говорит. — Я про машины говорил, и про науку, и насчет веры в Бога и терпения... Теперь время сурьезное, а мне и без политики тошно... Дело падает...

Схватил шапку и бежать. И пирога не доел. Что делать! Хотел за ним, совета попросить, смотрю — а уж без двадцати двенадцать: в ресторан надо. А день праздничный, бойкий, и надо начеку быть.

Иду и думаю: и что только теперь будет! Что только будет теперь!

III

И как раз в тот день чудасия у нас в ресторане вышла. Игнатий Елисеич новое распоряжение объявил:

— С завтрашнего дня чтобы всем номерам подковаться для тишины!

Шибко у нас смеялись, а мне не до смеху. Слушаешь, что по карточке заказывают и объясняют, как каплунчики ришелье деландес подать, а в голове стоит и стоит, как с Кривым дело обернется. А тут еще господин Филинов, директор из банка, — у них очень большой живот, и будто в них глист в сто аршин живет, в животе, — который у нас по всей карте прошел на пробах, очень знаток насчет еды, подняли крышечку со сковородки — и никогда не велят поднимать, а сами всегда и даже с дрожью в руке — и обиделись. Сами при пятнадцатом номере заказывали, чтобы им шафруа из дичи с трюфелями, а отправили назад.

— Я, — говорят, — и не думал заказывать. Это я еще вчера пробовал, а заказал я... — заглянул в карту и ткнул в стерлядки в рейнском вине. — Я стерлядки заказал!

Пожалуйте! А я так явственно помнил, что шафруа, да еще пальцем постучали, чтобы французский трюфель был. И метрдотель записал на меня ордер на кухню. Хоть сам ешь! Да на кой они мне черт и шафруа-то! В голове-то у меня — во-от!

И что такое с Колюшкой сталось, откуда у него такие слова? Рос он, рос, и не видал я его совсем. Да когда и видеть-то! На службу уходишь рано, минуту какую и видишь-то, как он уроки читает, а придешь ночью в четвертом часу — спит. Так и не видал я его совсем, а уж он большой. И не вспомнишь теперь, какой же он был, когда маленький... Точно у чужих рос. И не приласкал я его как следует. Времени не было поласкать-то.

И вот не по нем была моя должность. А я так располагал, что выйдет он в инженеры, тогда и службу побоку, посуду завести и отпускать напрокат для вечеров, балов и похорон. И домик купить где потише, кур развести для удовольствия... Очень я люблю хозяйство! И Луше-то очень хотелось... И сам ведь я понимаю, какая наша должность и что ты есть. Даже и не глядят на лицо, а в промежуток стола и ног. У нас даже специалист один был, коннозаводчик, так на спор шел, что одним пальцем может заказать самое полное на ужин при нашем понимании. Без слова чтобы... И как что не так — без вознаграждения. Отсюда-то вот и резиновые подкладки на каблуки. Игнатий Елисеич так и объяснил:

— Был директор в Париже, и там у всех гарсонов, и никакого стуку. Это для гостей особенно приятно и музыке не мешает.

А потом заметил у меня пятно на фраке и строго приказал вывести или новый бок вставить. А это мне гость один объясняли, как им штекс по-английски сготовить, и ложечкой по невниманию ткнули. Гости обижаться могут!

Чего ж тут обижаться! Что у меня пятно на фраке при моем постоянном кипении? А что такое пятно? Вон у маклера Лисичкина и на брюках, и на манишке... А у господина Кашеротова, если вглядеться, так везде, и даже тут... Обижаются... А я не обижаюсь, что мне господин Эйлер, податной инспектор, сигаркой брюку прожгли? А

образованный человек — и учитель гимназии, и даже в газетах пишут — господин... такая тяжелая фамилия... так налимонился ввиду полученных отличий, что все вокруг в кабинете в пиру с товарищами задрызгали, и когда я их под ручки в ватер выводил, то потеряли из рукавного манжета ломтик осетрины провансаль, и как начали в коридоре лисиц драть, так мне всю манишку, склонивши голову ко мне на грудь, всю манишку и жилет винной и другой жидкостью из своего желудка окатили. Противно смотреть на такое необразование! А как Татьянин день... уж тут-то пятен, пятен всяких и по всем местам... Нравственные пятна! Нравственные, а не матерьяльные, как Колюшка говорил! Пятна высшего значения! Значит, где же правда? И, значит, нет ее в обиходе? К этому я ужасно в последнее время склоняюсь.

И почему Колюшка так все знал, будто сам служил в ресторане? Кто же это все узнает и объясняет даже юношам? Я таких людей не знаю. Все вообще на это без внимания у нас. Но кто-нибудь уж есть, есть. Если бы повстречать такого справедливого человека и поговорить! Утешение большое... Знаю я про одного человека, очень резко пишет в книгах и по справедливости. И ума всеогромного, и взгляд строгий на портрете. Это граф Толстой! И имя ему Лев! Имя-то какое — Лев! Дай Бог ему здоровья. Он, конечно, у нас не бывает и не знает, что я его сочинения прочитал, какие мне по тесноте времени и Колюшка предлагал. Очень замечательные сочинения! Вот если бы он зашел к нам да сам посмотрел! И я бы ему многое рассказал и обратил внимание. Ведь у нас не трактир, а для образованных людей... А если с умом вникнуть, так у нас вся жизнь проходит в глазах, жизнь очень разнообразная. Иной раз со всеми потрохами развертывается человек, и видно, что у него там за потроха, под крахмальными сорочками... Сколько людей всяких проходит, которые, можно сказать, должны учить и направлять нас, дураков... И какой пример!

И вот тогда, в то самое воскресенье, на моих глазах такое дело происходило. И кто ж это? Очень образованный человек и кончил курс наук в училище, в котором учат практической жизни, и потому называется оно — практическая академия. Значит, все на практике. Всю жизнь должна показывать на практике. И ведь сын бла-

городных родителей и по званию коммерции советник, Иван Николаевич Карасев. Неужели же ему в практической академии не внушили, как надо снисходить к бедному человеку, добывающему себе пропитание при помощи музыкальных способностей и музыки!..

Чего-чего только не повидал я за свою службу при ресторанах, даже нехорошо говорить! Но все это я ставлю не так ужасно, как насмеяние над душой, которая есть зеркало существа.

Этот господин Карасев бывают у нас часто, и за их богатство им у нас всякое внимание оказывается, даже до чрезвычайности. Сам директор Штросс иногда сидят с ними и рекомендуют собственноручно кушанья и напитки, и готовит порции сам главный кулинар, господин Фердинанд, француз из высшего парижского ресторана, при вознаграждении в восемь тысяч; он и по винам у нас дегустатор, и может узнать вино даже скрозь стекло. И берет даже с поваров за места! Очень жадный. А Игнатий Елисеич с Карасева глаз не спускает и меня к ним за мою службу и понимание приставляет служить, а сам у меня выхватывает блюда и преподносит с особым тоном и склонив голову, потому что прошел высшую школу ресторанов.

Приезжают господин Карасев в роскошном автомобиле с музыкой, и еще издали слышно, как шофер играет на аппарате в упреждение публики и экипажей. И тогда дают знать Штроссу, а метрдотель выбегает для встречи на вторую площадку.

Пожалуй, они самый богатый из всех гостей, потому что папаша их скончался и отказал десять миллионов и много фабрик и имений. Такое состояние, что нельзя прожить никакими средствами, потому что каждую минуту у них, Игнатий Елисеич высчитал, капитал прибывает на пять рублей. А если они у нас три часа посидят, вот и тысяча! Прямо необыкновенно. А одеваются каждый раз по последней моде. У них часы в бриллиантах и выигрывают бой, ценою будто в десять тысяч, от французского императора из-за границы куплены на торгах. А на мизинце бриллиант с орех, и булавка в галстухе с таким сиянием, что даже освещает лицо голубым светом. Из себя они красивы, черноусенькие, но рост небольшой, хоть и на каблуках. И потом, голова очень велика. Но только

они всегда какие-то скучные, и лицо рыхлое и томительное ввиду такой жизни. И, как слышно, они еще в училище были больны такой болезнью, и оттого такая печальная тоска в лице.

К нам они ездили из-за дамского оркестра, замечательного на всю Россию, под управлением господина Капулади из Вены.

Наш оркестр очень известный, потому что это не простой оркестр, а по особой программе. Играет в нем только женский персонал особенного подбора. Только скромные и деликатные и образованные барышни, даже многие окончили музыкальную консерваторию, и все очень красивы и строги поведением, так что, можно сказать, ничего не позволят допустить и гордо себя держат. Конечно, есть, что некоторые из них состоят за свою красоту и музыкальные способности на содержании у разных богатых фабрикантов и даже графов, но вышли из состава. Вообще барышни строгие, и это-то и привлекает взгляд. Ту-то и бьются некоторые — одолеть. Они это играют спокойно, а на них смотрят и желают одолеть.

И вот поступила к нам в оркестр прямо красавица, тоненькая и легкая, как девочка. С лица бледная и брюнетка. И руки у ней, даже удивительно, — как у дити. Смотреть со стороны одно удовольствие. И, должно быть, нерусская: фамилия у ней была Гуттелет. А глаза необыкновенно большие и так печально смотрят.

Я-то уж много повидал женщин и девиц в разных ресторанах: и артисток, и балетных, и певиц, и вообще законных жен, и из высшего сословия, и с деликатными манерами, содержанок, и иностранных, и такой высшей марки, как Кавальери, признанная по всему свету, и ее портрет даже у нас в золотой гостиной висит — от художника из Парижа, семь тысяч заплачено. Когда она раз была у нас и ужинала в золотом салоне с высокими лицами, я ей прислуживал в лучшем комплекте и видел совсем рядом... Так вот она, а так я... Но только, скажу, она на меня особого внимания не произвела. Конечно, у ней тут все тонко и необыкновенно, но все-таки видно, что не без подмазки, и в глаза пущена жидкость для блеска глаз, я это знаю... но барышня Гуттелет выше ее будет по облику. У Кавальери тоже глаза выдающие, но только в них подозрительность и расчет, а у той такие глаза, что

даже лицо освещается. Как звезды. И как она к нам поступила — неизвестно. Только у нас смеялись, что за ней каждый раз мамаша-старушка приходила, чтобы ночью домой проводить.

И вот этот Иван Николаевич Карасев каждый вечер стали к нам наезжать и столик себе облюбовали с краю оркестра, а раньше все если не в кабинете, то против главных зеркал садились. Приедут к часу открытия музыки и сидят до окончания всех номеров. И смотрят в одно направление. Мне-то все наглядно, куда они устремляются, потому что мы очень хорошо знаем взгляды разбирать и следить даже за бровью. Особенно при таком госте... И глазом поведут с расчетом, и часы вынут, чтобы бриллиантовый луч пустить прямо в глаз. Но ничего не получается. Водит смычком, ручку вывертывает, а глаза кверху обращены, на электрическую люстру, в игру хрусталей. Ну, прямо — небожительница и никакого внимания на господина Карасева не обращает. А тот не может этого допустить, потягивает шлосганисберг пятьдесят шесть с половиной — семьдесят пять рублей бутылочка! — и вздыхает от чувства, а ничего из этого не выходит.

И вот сидели они тогда, и при них для развлечения директор Штросс, а я в сторонке начеку стою. Вот Карасев и говорит:

— Не понимаю! — резко так. — И в Париже и в Лондоне. И я удивлен, что...

Очень резко. А как гость горячо заговорил, тут только смотри. Даже наш Штросс задвигался, а он очень спокойный и тяжелый, а тут беспокойство в нем и сигару положил. Подбородок у него такой мясистый, а заиграл. Притронулся к руке господина Карасева, а голос у него жирный и скрипучий, так что все слышно.

— Глубокоуважаемый... У нас не было еще... но как угодно... для музыки...

И сигару засосал. А Карасев так ему горячо:

— Вот! Это у меня правило, и я желаю оценить... И я всегда...

А Штросс не отступается от своего.

— У вас, — говорит, — тонкий вкус, но я не ручаюсь...

И что-то шепотом. Уж и хитрый, хоть и неповоротливый по толщине. Сказывали, будто он уж заговаривал с

барышней в коридоре, но она очень равнодушно обошлась. А Карасев плечами пожали и меня пальцем. Вынимает карточку и дает мне:

— Сейчас же к Дюферлю, чтобы букет из белых роз и в середку черную гвоздику! И чтобы Любочка собрала! Она мой вкус знает. Живей!

Вижу, какое дело начинается. А-а, плевать. Покатил я за букетом, а в мыслях у меня, сколько он мне за хлопоты отвалит. Вот и дело с Кривым уладим, дам ему трешник за пиджак... А как вспомнил про его слова — хоть домой беги. Вот что внутри у меня делается.

Подкатил к магазину, а там уж запираются. Но как показал карточку — отменили. Хозяин, немец, так и затормошился. Руки потирает, спешит, барышень всстормошил...

— Сейчас, сейчас... Где нож? Проволочки скорей!..

Мальчишку пихнул, схватил кривой ножик и прямо в кусты.

Сказал я ему, что барышне Любочке приказали делать, а он и не вылезает. Тогда я уж громче. Выскочил он из цветов, вынул из жилетки полтинник и сует:

— Скажите, что она... Ее сейчас нет, но скажите, что она... Я по их сделаю, уж я знаю... Для молодой девицы букет или как?

И барышням по-французски сказал, а те смеются. Сказал я — для кого.

— А-а... в ресторане? Хорошо.

И вдруг красную розу — чик!

— Из белых наказали, — говорю. — И гвоздику черную в середку.

— Да уж знаю! — И опять с барышнями по-своему, а те улыбаются. — Будет с гвоздикой.

И посвистывает. Роскошный букет нарезали, на проволочки навертели, распушили, а красную-то растрепали на лепестки и внутри пересыпали. И вышел белый. А черная гвоздика, как глаз, из середки глядит. Лентами с серебром перехватил — и в бант. Потом поднес лампочку на шнурке к стеклянному шкафу и кричит:

— Наденька, выберите на вкус... Ниоточка!..

Стали они спорить. Одна трубку с серебряной змейкой указывает, а другая не желает.

— Им, — говорит, — Фрина лучше... Я его знаю вкус.

А немец и разговаривать не стал.

— Змею — это артистке, а тут Фрина лучше, раз в ресторане...

И вытащил из шкафчика. Почему Фрина — неизвестно, а просто женская фигурка вершков восьми, руки за голову, и все так, без прикрытия. Букет ей в руки, за голову, закрепил во вставочку, и вышло удобно в руках держать за ножки. Потом на ленты духами спрыснул и в станок, в картон поместил.

— Осторожней, пожалуйста... И скажите, что Любочка. Не помните...

Сам даже дверь отворил.

Только я наверх внес, сейчас Игнатий Елисеич подлетел, букет вытянул и на руку от себя оставил. И языком щелкнул, как фигурку увидал.

— Вот так штучка! — И пальцем пощекотал.

Очень все удивлялись и посмеялись. Потом через всю белую залу для обращения внимания понес. Встал перед Иваном Николаевичем, а букет на отлете держит. Очень красиво вышло. А тот ему:

— Дайте на стол! — даже строго сказал и платочком обтерся.

Очень им букет понравился, и директор хвалил. А тот все:

— Вот мой вкус! Очень великолепно?

— Очень, — говорит, — хорошо, но она как взглянет... Она от нас в театр все собирается...

— Пустяки... — И пальцами пощелкали.

А тут пришел офицер и занял соседний столик, саблей загремел. Оркестр играет номер, а барышни уж заметили, конечно, букет и поглядывают. Не случалось этого у нас раньше. Ну, в кабинетах бывали подношения разным, а теперь прямо как на театре. А Капулади и не глядит. Водит палочкой, как со сна. Конечно, ему бы поскорей программу выполнить и фундамент заложить. А барышня Гуттелет такая бледная и усталая смычком водит, как во сне. А офицер вытащил из-за борта стеклышко, встряхнул и вставил в глаз. Отвалился на стуле и на оркестр устремил в пункт, где она в черном платье с кружевами и голыми руками сидела.

Уж видно, на что смотрит. Вот, думаю, и еще любитель. Много их у нас. Почти все любители. А он вдруг меня стеклышком:

— Вот что... гм...

Вижу, будто ему не по себе, что я им в глаза смотрю, а сам о них думаю. Точно мы друг друга насквозь видим.

— Это, — говорит, — давно этот оркестр играет? — И глаза отвел.

А я уж понимаю, что не это ему знать надо. Я их всех хорошо знаю, — все больше обходом начинают.

— Так точно, — говорю. — Третий год...

Как не знает... И раньше бывал у нас. Знает, отлично знает.

— А-а-а... — А потом вдруг и перевел: — Кто эта, справа там от середки, худенькая, черненькая?

Вот ты теперь, думаю, верно спросил.

— Нам неизвестно... Недавно поступили.

А тут оркестр зачастил — к концу, значит. Карасев и дал знать метрдотелю:

— Подайте мамзель Гуттелет!

Игнатий Елисеич поднял букет кверху и опять его на руку отставил и так держит, что отовсюду стало видать, и дожидается. И все стали смотреть, а директор поднялись и вышли. А барышни так спешат, так спешат, понимают, что сейчас необыкновенное подношение будет, и, конечно, интересуются, так что Капулади палочкой постучал и реже повел. А та-то, как опустила глаза от люстры, посмотрела на букет и как бы не в себе стала. Только Капулади все равно. Водит и водит палочкой, как спит. Потом сделал вот так, точно разорвал слева направо, и кончилось.

Сейчас метрдотель перегнулся, даже у него фалды разъехались и хлястик показался от брюк, — очень пузастый он, — и букет через подставки подает двумя руками. Очень торжественно вышло и обратило большое внимание. А барышня даже откинулась на стуле и опустила руки. И Игнатию Елисеичу пришлось попотеть. Все протягивал букет в очень трудном положении, как из-за стульев что вытаскивал, и стал у него затылок вроде свеклы. И даже боком изогнулся, чтобы барышню от публики не заслонить. Потом его Иван Николаевич распушил. А как он протягивал, сам-то Иван Николаевич тоже напряглись в направлении букета и лафитничек держат у губ, будто пьют за здоровье. А у метрдотеля голос густой, и на всю залу отдалось:

— Вам-с... букет вам-с от Ивана Николаевича Карасева!..

Но только это сразу кончилось. Капулади увидал, как та удивлена, сам взял букет и поставил на пол у нотной подставки. Потом сразу палочкой постучал, и вальс заиграли. А господин Карасев приказали мне директора пригласить.

Конечно, стало очень понятно, для чего букет. И все принялись барышню рассматривать. А меня даже один гость знакомый, старичок, пивоваренный заводчик, господин Арников, очень отважный насчет подобных делов, подозвали и задали вопрос:

— Это карасевская, что ли, новенькая, хе-хе?.. Ничего товарец...

Вот. Как знак какой поставлен. Это и я пойму. Артисткам там — другое дело, а тут ее и не слыхать в музыке. Это уж обозначение, что, мол, желаю тебя домогаться и хочу одолеть!

Так явственно помню я все, потому что этот самый Карасев и потом меня очень беспокоили, а у меня дома такое тревожное положение началось. С Кривого-то и началось... И много хлопот мне в тот вечер выдалось по устройству замечательного пира, а на душе — как кошки... Посмотришь на окна и думаешь: а что-то дома? Ноет и ноет сердце. И все кругом — как какая насмешка. И огни горят, и музыка, и блеск... А посмотришь в окно — темно-темно там и холодно. Рукой подать, за переулком, дом барышень Пупаевых, а на заднем дворе, во флигельке, — вонючий флигелек и старый, — Луша халаты шьет на машинке для больницы... И думается: а что завтра-то?

А господин Карасев с директором свое:

— Она, конечно, слышала обо мне? Я ей могу место устроить в хорошем театре... И у меня такая мысль пришла, чтобы нам троим поужинать...

А Штросс ему наперекор, хоть и вежливо:

— У нас от них подписка отбирается... и у нас аристократический тон и семейный... Вы уж простите, глубокоуважаемый...

А господин Карасев, конечно, привыкли видеть полное удовлетворение своих надобностей и настойчиво им:

— Я не по-ни-маю... я не с какой стороны... а из музыки...

И директор им объясняет:

— Будьте спокойны, я поста-ра-юсь, но...

А офицер вдруг поднялся и — к Капулади. Как раз и играть кончили. Поздоровался за руку и в ноты пальцем что-то... И барышням поклонился и про ноты. В руки взял и головой так, как удивлен. Капулади прояснел, стал улыбаться, и усы у него поднялись, а барышни головки вытянули и слушают, как офицер про ноты им. Пальцем тычет и плечами пожимает. Пожимал-пожимал, на подставку облокотился и саблей-то букет и зацепи! И упала Фрина набок. Но сейчас поднял и к барышне Гуттелет с извинением, и все оглядывается, куда поставить. И спрашивает ее. А она вся пунцовая стала и головкой кивнула. Он мне сейчас пальцем:

— Унесите. Мамзель просит убрать!

Куда убрать? Я было замялся, а он мне строго так:

— Несите! Что вы стоите? Мамзель просит убрать!

А тут метрдотель налетел и срыву мне:

— В уборную снести!

И понес я букет мимо господина Карасева. Прихожу, а офицер с барышнями про игру разговаривает, и лицо такое умное.

— Я, — говорит, — сам умею... Могу слышать каждую ноту... Это даже удивительно, как... Дамская игра, — говорит, — много лучше...

А с Капулади по-французски. А тот, как кот, жмурится и головой качает:

— Та-та... снаток... приятно шюство... та-та... Еще буду играть.

Проснулся совсем, палочку взял и очень тонкую музыку начал.

А господина Карасева взяло, вот он и говорит Штроссу:

— Это кто такой, лисья физиономия?

— А это князь Шуханский, гусар...

— А-а... прогорелый!.. — И перстнями заиграл.

А потом так радостно:

— У меня план пришел!.. Всему оркестру ужин?.. Ну, это-то возможно или как?.. Я член из консерватории... Вы скажите...

А Штросс уж не мог тут ничего и говорит:

— Конечно, они всегда получают у нас ужин... Ежели согласятся...

— От вас зависит!.. Вашу руку!..

А я-то стою позади и вижу аккурат его затылок. Он у них очень широкий, и на косой пробор, и выглажен. Стою и думаю... А-ах, сколько же вас, таких прохвостов, развелось! Учили вас наукам разным, а простой науке не выучили, как об людях понимать... Отцы деньги наколачивали, щи да кашу лопали, с людей драли, а вы на такое употребление. И все ниспровержено! Смотрю ему в затылок и вижу настоящую ему цену!

Потом директор Штросс потолковали с Капулади и барышнями и говорит:

— Ничего не имеют против, а напротив...

— Вот видите, какой у меня всегда хороший план! Теперь, прошу вас, обдумаем, чтобы все было как следует и чтобы очень искусственно и сервировка тонкая...

А тот ему, уж в хорошем настроении:

— Я бы предложил в гранатовом салоне. Ваша мысль очень хорошая...

И пошли на совет... Еще бы не хорошая! На сорок персон ужин со всеми приложениями!

Ну, и вышло так, что, я полагаю, долго в конторе счет выписывали и баланц выводили. Велели такого вина пять бутылок, которое у нас очень редко и прямо в натуральном виде подают, в корзине, и бутылки как бы плесенью тронуты. Несут на серебряном блюде двое номеров и осторожно, потому что одна такая бутылка стоит больше ста рублей и очень старинного происхождения. А такое у нас есть, и куплено, сказывали, у одного поляка, у которого погреба остались от дедов невыпитыми и который пролетел в трубу. Более ста лет вину! И крепкое и душистое до чрезвычайности.

Сто двадцать пять рублей бутылка! За такие деньги я два месяца мог бы просуществовать с семейством! Духов два флакона дорогих, по семи рублей, сожгли на жаровенке для хорошего воздуха. Атмосфера тонкая, даже голова слабнет и ко сну клонит. Чеканное серебро вытащили из почетного шкафа, и хрусталь необыкновенный, и сербский фарфор. Одни тарелочки для десерта по двенадцати рублей! Из атласных ящиков вынимали, что бывает не часто. Вот какой ужин для оркестра! Это надо видеть! И такой стол вышел — так это ослепление. Даже когда Кавальери была — не было!

Зернистая икра стояла в пяти серебряных ведерках-вазонах по четыре фунта. Мозгов горячих из костей для тартинок — самое нежное блюдо для дам! У нас одна такая тартинка рубль шесть гривен! Французский белянжевин — груша по пять целковых штучка... Такое море всего, такие деликатесы в обстановке! И потом, был секрет: в каждом куверте по записке от господина Карасева лежало на магазин Филе — получить конфект по коробке.

Отыграл оркестр до положенного часу, убрали барышни свои скрипочки и собрались. А уж господин Карасев так это у закусочного стола хлопочут, как хозяин, и комплименты говорят:

— Мне очень приятно, и я очень расположен... Пожалуйте начерно, чем Бог послал...

Все так стеснительно, а Штросс как корабль плавает с сигарой и очень милостиво так себя держит, с барышнями шутят. И вдруг господин Карасев пальцами так по воздуху и головой по сторонам:

— Кажется, еще не все в сборе...

А Капулади уж большую рюмку водки осадил и икрой закусывает с крокеточкой, полон рот набил и жует, выпуча глаза.

— А-а-а... Мамзель Гуттелет нэт... голёва у ней... и мамаша прикодиль...

— А-а-а... Пожалуйста... кушайте...

Только и сказал господин Карасев. И так стало тихо, и барышни так это переглянулись. И такая у него физиономия стала... И смех и грех! Сервировали ужин! А Капулади чокается и вкладывает. И Штросс чокается, и господин Карасев тоже... чокается и благодарит. И лицо у них... физиономия-то у них, то есть... необыкновенная! А там-то, в конторе-то... счетик-то... баланц-то уж нанизывает Агафон Митрич, нанизывает безо всякого снисхождения. Да с примастью, да по тарифу-то, самому уважаемому тарифу... Да за хрусталь, да за сервизы, да за духи, да за...

Вышел я в коридор, смотрю — офицер-то и идут.

— Что это, свадьба здесь? — спрашивает про пир-то в гранатовом салоне.

— Никак нет, — говорю. — Это господин Карасев всю музыку, весь оркестр, ужином потчуют.

Сморщил лоб и пошел.

И хотел я ему сказать, какой у них приятный ужин получился, но, конечно, это неудобно. Наше дело ответить, когда спрашивают. А очень была охота сказать.

IV

Пришел я из ресторана в четвертом часу. Луша дверь отперла. Всегда отпирала она мне, сон перебивала. И вот спрашиваю ее про Кривого. Оказывается, не приходил. И гадала она на него весь вечер, и все фальшивые хлопоты и пиковки. Пустое, конечно, занятие, но иногда выходит очень верно. И все казенный дом выходил — значит, как бы в участке заварил кляузу. Фальшивые-то хлопоты...

— Чует, — говорит, — мое сердце... Вон у Гайкина-то сына заарестовали. Уж не он ли это?.. Еще Гайкин-то тебя все про Кривого пытал, будто он у него денег просил на резиновую торговлю...

И растревожила она меня этими словами так, что не могу уснуть. А это верно, у Гайкина, лавочника, сына действительно заарестовали. Совершили обыск и нашли книги недозволенные. А он был студент, и мой Колюшка у него раньше книгами пользовался, но потом я сам забрал две книги и самому Гайкину отнес. А Кривой всегда у них в лавке пребывал, будто за папиросами, и все приставал к старику резиновый магазин в компании открыть.

Так это мне вдруг — а ведь Кривой это! Утром сам проговорился спьяну... А про сыщиков я знал, что они рассеяны везде, но только их трудно усмотреть. А Кирилл Саверьяныч даже одобрял для порядка и тишины. Но я-то знаю, что они могут быть очень вредны. Агафья Марковна, сваха, рассказывала, потому что сватала одного сыщика, и он ей открыл, как они избавляют от разорения. И когда меня обокрали и унесли часы, сыщик все разыскал, и я дал ему за хлопоты красную, но если насчет людей, то может быть очень вреден. Сказал я Луше, что нет ли у Колюшки каких книг, но она меня успокоила. Пытала она Колюшку весь вечер, и он ей побожился, что ничего нет.

— Он, — говорит, — охапку какую-то снес вечером к Васикову... И скажи ты, — говорит, — этому Васикову, чтоб он к нам лучше не ходил. Он все Колюшку сбивает...

Так мы и решили. И я даже хотел просить Кирилла Саверьяныча, чтоб он принес ему хороших книг, настоя-

щих. Про историю у него были, от которых он умный стал. И вдруг звонок ударил.

Соскочил я босой, отпер. Оказывается, Кривой, и в очень растерзанном виде. Нового пиджака на нем уж нет, а какая-то кофта, и лицо прямо убийственное. Так это у меня сперва поднялось против него, не хотел допускать. Но не могу слова найти, как ему сказать, а дорогу ему загородил. И он молчит. А потом вдруг тихо так и твердо:

— Вот и я! Ну, что же? Могу я войти в свою квартиру?

Гордо так, а голос не свой. Однако не входит, а как бы и просится. И хоть и в кофте, но все равно как во фраке, и по тону слышно, что может затеять скандал. И боится как будто. Дрожание у него в голосе. Ну, думаю, завтра я тебя, друга милого, обязательно выставлю, только ночь переночуешь. И говорю ему строго, что спать пора и зачем так оглушительно звониться. А он вдруг как проскочит у меня под рукой и говорит:

— Чи-то-сс? — прямо к лицу и винным перегаром. И как шипенье голос у него стал. — Звонки для звона существуют! Заведите английские замки!

И скрылся в свою комнату. Плюнул я на эти дерзкие слова. А Луша мне покою не дает:

— Болит у меня сердце... Поговори ты с ним по-доброму. Он спьяну-то тебе скажет, жаловался он на нас или нет. А то я ни за что не усну... Томление во мне...

Но я терпеть не могу пьяных и сказал, что не пойду на скандал. И уж стал я засыпать, Луша меня в бок:

— Послушай-ка, Яков Софроныч... Что это он там... урчит что-то... Даже за душу берет, а ты как бесчувственный. Выпроводи ты его, что ли...

Стали мы слушать. Поглядел я в переборку, где обои треснули, — свету нет, но слышно, как у него постель скрипит и какие-то неприятные звуки. Так и рыкает. За сердце взяло, как неприятно. Как из нутра у него выскакивает. Постучал я — без последствий. А Луша требует: угомони да угомони.

— Может, он при расстройстве что скажет... Поди!

Зажег я свечку и прошел к нему. Вижу — лежит Кривой на кровати одемшись, ткнулся головой в ситцевую подушку и рыкает.

— Прохор Андрияныч... — спрашиваю. — Что это у вас за комедия опять? Мы тоже спать хотим... Так

непозволительно себя ведете и еще по ночам спать не даете...

Вывернул он голову и одним глазом на меня уставился, как не понимает. А лицо у него в слезах и страшный взгляд.

— Ничего, ничего... У меня тут... — И показал на грудь.

Первый раз услыхал я настоящий его голос. И очень жалко посмотрел, будто его гнать хотят. Знал я, что у него жена с околоточным сбежала и сынок у него на пятом году помер. Это он Черепахину открыл. И сказал я ему тогда по душам:

— Вы лучше объяснитесь начистоту. За пиджак я вам заплачу хоть три рубля... Зла мы вам не хотели, а вы на нас так ополчились... Будете вы нам зло делать, вы скажите? Вы сами объявили, что сообщите, и перевернули наш семейный разговор... и мы вас опасались, это правда... Скажите все, и мы разойдемся по-мирному... Что же делать, раз ваша такая специальность... Но не губите людей!

А он привстал и головой так:

— Так, так... Вы очень добрый человек... Продолжайте...

— Вы, — говорю, — не думайте, что мы бесчувственные какие... Только скажите от сердца и не доводите до неприятности... А вот даже как: я вам даже пирожка принесу закусить, чтобы вы не думали...

Сказал, чтобы его в чувство ввести и открыть его планы. А он подался ко мне, уставил глаз и шипит:

— Чи-то-сс? Пир-рожка-а? Это вы что же, на смех? На тебе пирожка! Ты вот, сукин сын, такой мерзавец, Кривой... Вы меня все Кривым!.. а мы тебе пирожка?.. А? Вам за пирожок надо покою ночного? Купить меня пирожком? А утром вы мне пирожка предложили? Вы два пирога пекли и не предложили!.. Из-за вас меня Гайкин из лавки попросил!.. Я вам прощаю!

И так рукой торжественно, и сел на кровать. Слышу вдруг — топ-топ. Колюшка из-за двери голову выставил и меня за плечо:

— Что это вы его, с квартиры гоните?

— Ничего я не гоню! — говорю. — А вот опять... не в себе...

А тот действительно голову в руки и трясется. Смотрю, Колюшка сморщился и подходит к Кривому, и голос у него дрожит:

— Оставьте, пожалуйста... Что за пустяки и как вам не стыдно!..

Тогда Кривой поднялся, запахнул свою кофту и так трагически:

— Можете гнать! Меня сегодня из участка выгнали, теперь вы!.. Конец!

— Как, — говорю, — выгнали? за что?

Ничего не пойму. А он срыву так:

— Гоните в шею! Сейчас прямо на улицу, в темноту! Вы только погоните — и я в момент! Не беспокойтесь...

И не вовсе пьян, а так странно. Схватил подушку, гитару со стены сорвал, под кровать полез, шарит там, юлит, подштанники вытащил и в простынку увязывает, книжку из-под матраса трепаную достал, графа Монте-Криста. И увязал в узелок.

— Думаете, места не найду? Я и без места могу... Все равно...

Шебаршит и шарит вокруг себя. Опять из узла все выкидывать стал.

— Можете себе присвоить! Не надо мне ничего... За квартиру получите из имения... Я рассчитываюсь... До свиданья!

Пошел было, но я его за руку — стой!

— С ума, — говорю, — не сходите и скандалу не делайте... Куда вы пойдете, раз ночь на дворе?..

Посмотрел он на окно и назад повернул, на кровать сел. Тощий он был и взъерошенный, и глаза какие-то такие. Видать было, что положение его очень отчаянное, а только храбрится в нетрезвом виде. Знал я, что у Луши он тридцать копеек занимал и вечером обещал принести и не принес. Очень упрямый и сам стирал свои рваные подштанники в комнатке, чтобы люди не видали. И насилу признался, что в участке служит, а все хвастал, что приказчиком в резиновом магазине. А это он раньше в резиновом-то был, а потом, после расстройства, запил и в писаря пошел.

И спать-то мне хочется, а он сидит и томит. Вот я и говорю:

— Не принимайте к сердцу... Прогнали — другое место найдете... Мало ли местов!..

А он мне гордо так:

— Во-первых, меня не прогоняли! Я сам приставу в морду плюнул! У меня тетка в имении, у ней сто тысяч в банке!.. Чи-то-ссс?! Извините-с... Я не какой-нибудь обормот!

— Ну и хорошо, и не напускайте на себя...

— Ну, это не ваше дело! Выговоры мне! А может, я наврал? Чи-то-ссс?! И не знаете, гнать меня или нет. Вот молодой человек мне пиджак изгадил, а я, может, все его пиджаки и брюки уничтожил одним почерком пера?! Чи-то-ссс?!

Вижу, что спятил — и ломается. А Колюшка стоит бледный, и губы у него трясутся.

— Ничего-с... я шучу — и все наврал. Никогда я сыщиком не был! Не был я сы-щи-ком! Чи-то-ссс? Запомните это! Хорошенько запомните!! А-а... стереглись! Гайкину напели! Он бы мне дело в компании открыл — шинами торговать... Лезет человек в мурью, а вы его так вот, так... кулаком в морду?! Нате вот, плюньте мне в морду, нате! Молодой человек! Плюньте!.. Вы про политику можете говорить... понимаете все... плюньте!.. Вашего парикмахера склизкого позовите... плю-уй-те!..

Реветь начал и все тянет: у-у-у... Колюшка его трясти стал за плечо.

— Что вы говорите? Неправда!.. Мы не такие!..

А тут Луша из-за двери выглядывает. Увидел он ее и поднялся.

— А вы, Лукерья Семеновна, не тревожьтесь... Я вам тридцать копеек завтра... вот с гитары... я еще не все пропил... успокойтесь...

И вдруг Черепахин и входит в одном белье.

— Простите за костюм... Да ты угомонишься? Как вошь в пироге! Наталью Яковлевну и всех будишь! Черт ты после этого!

Но я его остановил и говорю, что человек до умопомешательства дошел. А он очень горячий и всегда за нас.

— Знаю, какое у него помешательство! Ему бы теперь ассаже на двугривенный! Так ты прямо скажи, и так дам, а то важничаешь...

А Кривой посмотрел так укоризненно и загорелся:

— Все супротив меня! Ну, так знайте! Я всем присчитал: и приставу, подлецу, и дорогой супруге, и всем!.. И всем вам язык покажу! Будьте покойны! Итоги подведены. Простите меня, молодой человек! А тридцать копеек и за квартиру за двенадцать дней получите... Вот с гитары...

И подает Луше гитару. А она замахала руками и не берет.

— Я предложил... как знаете... Ну-с, прощайте, до радостного утра!

Сделал шаг вперед и стал руку протягивать, а сам глазом нас сверлит. А Черепахин ему:

— Пошел ты! Ломается, как обезьяна... Это в тебе даже и не искренне, а так, одна трагедия глупая...

— Ну, как угодно... Как угодно...

И вдруг свечу у меня и потушил.

— Занавес, — говорит, — опущен!

Такой странный оказался человек. Напустил-напустил на себя... Легли мы, а на душе муть.

Слышу, чиркнул спичкой за переборкой. Пригляделся я глазом в щель — Кривой лампочку на стенке зажег. Потом стал узелок свой вытряхивать и все головой качает. Потом поднялся, послушал и гитару на стенку повесил, а подштанники и графа Монте-Криста под кровать сунул. Остановился середь комнаты и осматривается. На углы посмотрел, на иконку в уголочке. Глаза ладонями закрыл и затряс головой. Потом за волосы себя дергать стал, да накрепко. Потом подошел к оконцу на помойку и смотрит. Прижался носом к стеклу и смотрит. И в тишине слышно, как над головой, где у нас машинист с железной дороги жил, граммофон камаринского играет. А там именины были. А Кривой все в окно глядит, в темень... Так я и заснул.

А наутро, только на службу идти, уж Колюшка в училище ушел, — неприятность. Управляющий домов барышень Пупаевых, Емельян Иваныч Ландышев. Так и так, с первого числа надбавка вам в пять рублей!

— Почему такой, надбавка? Прошлый год набавляли...

— По плану. Обязательно велено... Я ни при чем, с меня спрашивают. У барышень расходы большие, и им не хватает. Даже обижаются на меня...

— Это ваш произвол, — говорю. — Я знаю очень хорошо барышень, они образованные и стараются для попечительства. У них вывеска даже...

А он мне и говорит:

— Это ничего не составляет, а каждый хочет себе пользы. Сами они не доходят, а с меня спрашивают... Хотите — платите, не хотите — как хотите...

Вот как! Как заколдованный круг. И накалили же меня этими прибавками и надбавками! Да-а... Я это теперь очень хорошо понимаю. Сами не доходят... Музыкальные вечера у них и ужины... И в попечительствах пекутся... барышни Пупаевы, дай им Бог здоровья... Они все науки проходили в пансионах и за границу ездят, и им, конечно, не хватает. И сами лотереи устраивают и салфеточки вышивают... И как же им можно проникать в дела, когда это даже и не барышнины дела! Нежны они очень и тонки, и им, конечно, не хватает... Эх, не то говорил ты, Кирилл Саверьяныч, не то! От этого оборот! Оборот капиталов! Что тебе за прически и локоны по сто рублей с головы платят? Так и мне двугривенные платят эти барышни Пупаевы и другие... Ну, так и я им платил рублями, и они принимали, потому что это их не касается! Знаю я, какой это оборот! на собственной шкуре знаю я всех этих барышень Пупаевых и других, дай им Бог здоровья! Да они и без здоровья здоровы, потому что поют и играют...

А квартир нет. Много домов настроено, а жить негде, потому что все хотят иметь доходы по плану. И так меня это расстроило...

V

Постучался я к Кривому, чтобы поговорить как следует в трезвом состоянии, но он спал и дверь запер на крючок. И Луша-то сказала, пусть проспится после куража, а то злой будет. И стали мы рассуждать — гнать его или оставить. Что с него возьмешь, как он без места! И тетка-то его с ветру. И раньше, бывало, все про тетку, а потом отрекался. Такой гордый человек! И так все обернул ночью, что словно мы его обидели. А это в нем происхождение такое капризное. Хвастал, что у него мать из дворянской крови и содержанкой жила у губернатора и, может, он даже сын губернатора, а не золотарика. Черепахину все изливал: «Мне бы надо по малой мере чинов-

ником быть и начальствовать, а я до такой ступени опустился. Но только я письмо в газеты накатаю и отца своего, подлеца, так изображу, что его с места прогонят, или пусть мне тыщу рублей пришлет, — велосипедными шинами торговать буду!»

Такие вокруг себя сети распространил, думает — и не узнают, а просто стыдно ему было при его положении. Вот и врал.

Пришел я в ресторан, а в официантской наши очень горячо рассуждают. А это Икоркин. Маленький такой и черненький, как блоха, но очень цепкий и может говорить. И Икоркиным-то его прозвали на смех — очень любил, как поступил, икорку с ложечек и тарелок слизывать. Оказывается, общество устраивается для всех официантов, для поддержки. Вот Икоркин и требовал, чтобы записывались, по полтиннику в рассрочку. Но только нас метрдотель разогнал и оштрафовал Икоркина на рубль за грубость. Потом мне:

— Бери букет, который барышня забыла, вези на квартиру! Карасев записку прислал, велел.

Поставили в картонку, пошел я по адресу. И не спросил, нужен ли какой ответ, дорогой уж вспомнил. Пришел, на третий этаж поднялся. Старая барыня отперла. Что такое? Букет барышне от господина Карасева из ресторана. Плечами пожала и зовет:

— Аля, что такое? Букет тебе!..

Вышла та, тоненькая такая, в фартучке, прямо как девочка. Вырвала у барыни картонку, и ушли они. Слышу, разговор у них горячий по-французски. И та кричит и другая... А я жду, будет ли ответ какой. А ко мне девочка вышла черненькая и мальчишка. Стоят и смотрят. Мальчик еще спросил меня, кто я такой, а потом и говорит:

— Там наша Аля работает, где обедают...

А девочка мне куклу принесла показать, такая занятная. И вдруг барышня выбегла ко мне и так гордо:

— Можете идти, не будет ответа!..

Так гордо, что я и не думал от нее. И лицо такое злое сделала. Мальчишку дернула за руку, так и отскочил, и за мной дверью — хлоп! Как вылетел я все равно! Плюнул даже. Провались они все, а я еще ее пожалел.

И день этот выдался очень горячий, потому что в золотом салоне свадебный ужин на двести персон — сын

губернатора женился на дочери фабриканта Барыгина, по двадцать рублей с персоны без вина! А в угловой гостиной юбилей делали директору гимназии. И метрдотель в наказание, что букет я от офицера принял, отрядил меня к юбилею. А юбилей — что! Чиновники!.. Только разговоры, и еще рассматривают — двугривенный или пятиалтынный...

Начались завтраки. И уморил тут меня пакетчик!

Вот поди ты, что значит капитал! Прямо даже непонятно. Мальчишкой служил у пакетчика, а теперь в такой моде, что удивление. Домов наставил прямо на страх всем. И ничего не боится. Ставит и ставит по семь да по восемь этажей. Так его господин Глотанов и называет — Домострой! А настоящая его фамилия — Семин, Михайла Лукич! Выстроит этажей в семь на сто квартир и сейчас заложит по знакомству с хорошей пользой. Потом опять выстроит и опять заложит. Таким манером домов шесть воздвиг. И совсем необразованный, а вострый. И насмешил же он меня!

По случаю какого торжества — неизвестно, а привез с собою в ресторан супругу. И в первый раз привез, а сам года три ездит. Как вошла да увидала все наше великолепие, даже испугалась. Сидит в огромной шляпе, выпучив глаза, как ворона. А я им служил и слышу, она говорит:

— Чтой-то как мне не ндравится на людях есть... Чисто в театре...

А он ей резко:

— Дура! Сиди важней... Тут только капиталисты, а не шваль...

Она ежится, а он ей:

— Сиди важней! Дура!

А она свое:

— Ни в жисть больше не поеду! Все смотрят...

А он ее — дурой! Умора!

— А мне так, — говорит, — наплевать на всех, что смотрят!

Даже не так сказал, а по-уличному.

— На всех, — говорит, — мне... Я привык к свету...

Нехорошо сказал. Я-то, я-то понимаю даже их необразование. И манит меня:

— Человек! Дай мне чего полегше... — Прищурился на нее и говорит: — Дай мне... соль!

А она так глаза выпучила — не понимает, конечно. А он-то и доволен, что дуру нашел. А сам недавно за артишоки бранился.

— Я, — говорит, — думал, что мясо на французский манер, а ты мне какую-то репу рогатую подаешь!

Вона! И как принес я им камбалу, он и говорит супруге:

— Вот тебе соль, ешь — не бойся... Это рыба, в море на сто верст в глубине живет!

Умора, ей-Богу. И сам-то не ест и никогда в компании не ел, а тут для удивления заказал. А она шевельнула вилкой и говорит:

— Чтой-то как она и на рыбу не похожа... А не вредная?

Да как распробовала, в пару-то, аромат от нее, и назад:

— Да она тухлая совсем... Михайла Лукич!

Не понимает, что такой от нее запах постоянный. Тухлая! Уж и смеялся он, вот как покатывался!

— Эту рыбу-то только француженки употребляют... ду-ура!..

А она чуть не плачет, красная, как свекла, стала и в прыщах.

— Мне бы, — говорит, — лучше белуги бы...

А он-то ей:

— Не срами ты меня перед лакеями, ешь! Тут за порцию три с полтиной!..

И ни малейшего стыда! А она ест и давится. И случилось нехорошо — в салфетку даже. А он ей угрожает:

— Дура! Никогда больше не возьму. Необразованная!..

Сейчас подозвал меня и так важно:

— Дай ей... ар-ти-шоков!

Вот! Это уж на смех. Потому где ей с артишоками управиться? Вот какие люди. А сам-то, сам! Как-то привез в кабинет девочку лет пятнадцати, так... портнишечку, и напоил. Самому лет пятьдесят, а она девчоночка совсем. И ту-то, ту-то тоже кормил по-необыкновенному, потешался. Устриц давал, лангустов, миног... Нарочно с метрдотелем совещался, как бы почудней. Портнишечку!..

Все своими глазами видел и сам служил. И как иной раз мерзит и мерзит. И образованные тоже... И никто не скажет... И ничего! Хамы, хамы и холуи! Вот кто холуи

и хамы! Не туда пальцами тычут!.. Грубо и неделикатно в нашей среде, но из нас не отважутся на такие поступки... И пьянство, и жен бьют — верно, но чтобы доходить до поступков, как доходят, чтобы догола раздевать да на четвереньках по коврам чтобы прыгали — это у нас не встречается. Для этого особую фантазию надо. Теперь меня не обманешь, хоть ты там что хочешь говори всякими словами, чего я очень хорошо послушал в разных собраниях, которые у нас собирались и рассуждали про разное... Банкеты были необыкновенные, со слезой говорили, а все пустое... Уж если здесь нет настоящего проникновения, так на момент только все и испаряется, как после куража. Вон теперь полным-полны рестораны, и опять бойкая жизнь, опять все идет как раньше... Эх, Колюшка! Твоя правда! Теперь и сам вижу, что такое благородство жизни... И где она, правда? Один незнакомый старик растрогал меня и вложил в меня сияние правды... который торговал теплым товаром... А эти... кушают, и пьют, и разговаривают под музыку... Других не видал.

И смеялась девчоночка-то, портнишечка-то, смеялась... как коньяком ее повеселили... И потом, потом туда... У нас такой проход есть... плюшем закрытый проход... Чистый, ковровый и неслышный проход есть. И потом в этот проход прошли...

В номера проход этот ведет, в особые секретные номера с разрешения начальства. И само начальство ходит этим проходом. Тысячи ходят этим проходом, образованные и старцы с сединами и портфелями, и разных водят и с того, и с этого хода. На свиданье... И был там у нас — и сейчас есть — Карп, аховый насчет делов этих. Как порасскажет, что за этими проходами творится! Жены из благородных семейств являются под секретом для подработки средств и свои карточки фотографические под высокую цену в альбом отдают. И альбомы эти с большим секретом в руки даются только людям особенным и капитальным. Там стены плюшем обиты, и мягко вокруг, и ковры... и голос пропадает в тишине, как под землей. И уж с другого конца выходят гости с портфелями, и лица сурьезные, как по делам... А девицы и дамы чрез другие проходы. И все это знают и притворяются, чтобы было честно и благородно! Теперь ничему не верю, хоть ты мне в лепешку расшибись в приятном разговоре. Тысячи в год

проживают, всё прошли, все опробовали — и еще говорят, что за правду могут стоять! Один пустой разговор.

И вот проходы... И сам Карп чуть однажды не полетел, а очень испробованный и крепкий человек. Криком одна кричала и билась, так постучал он в дверь. И такой вышел скандал за беспокойство, что чуть было наш ресторан со всеми проходами не полетел!

И вот как подавал я им артишоки, замутило-замутило меня, дрожание такое в груди. Неприятность, конечно, дома, а еще у меня сердце нехорошее, жмется и бьется: капли ландышевые пью. И так мне подкатило, хоть тут в зале ложись, терпения нет. Пакетчик меня пальцем манит, а я идти не могу. И вдруг товарищ подходит и говорит:

— Скорей, жена тебя спрашивает что-то...

Перемогся я, подошел к столу.

— Нарзану мне дай, а ей солянки...

Побежал я в официантскую, а Луша сидит в платочке, бле-едная...

— Скорей, скорей! Кривой повесился!.. Околоточный послал...

Не понял я сперва, только испугался. А она чуть не плачет:

— Скорей, скорей! Полна квартира народу... никого нет...

Стал одеваться, пальто никак не вздену. А та-то мне:

— Скорей, скорей... запутает он нас... околоточный сказал...

Прибежал я на квартиру. Народ со двора в окна лезет, а в квартире полиция. Вошел в его комнатку, а уж он на полу лежит, как был, в рваной кофте... На ремешке он задавился от брюк. На спине лежит, руки так свело и в кулаки, как грозится. А на лицо как взглянул... страшный-страшный. Языком дразнится. Один глаз сощурен, а другой выперло, смотрит. Еще ночью так все рожи корчил.

Околоточный наш, Александр Иваныч, у окошечка сидит, курит, в руке записку держит, и строгий. И околоточный-то знакомый: ему по дешевке вино иной раз доставлял, после балов которое... Нам метрдотель с уступкой продавал.

— Ждать тебя мне тут? Что это у вас тут за безобразие?!

И пальцем в Кривого, и морщится. Точно я сам его удавил.

— Что знаешь, какие причины? Нет ли чаю стакана...

И всегда обходительный был, а тут даже про чай строго. А я совсем расстроился, ничего не понимаю.

— Неприятность тебе будет... — И запиской по ладошке хлопнул. — Сын где? Его я должен спросить... Чернил!

Сейчас ему чернил и чаю подали, ждем...

— Прикройте его чем... Связался с дрянью, вот и... Голову закройте!

Даже и его взяло. А Черепахин тут как тут.

— Почему вы так выражаете про мертвое тело? Занесите в протокол!

— А ты, — говорит, — кто такой? Вон отсюда! Тут допрос. Кто он такой?

А тот очень горячий и сейчас зуб за зуб:

— Почему мне «ты» говорите? Я совместный квартирант и хочу показание дать о причинах. Я все знаю.

И начал так развязно, смешком:

— Вот как было. Утречком так, часов в десять, конечно, выхожу я из ватерклозета, смотрю...

Но околоточный ему сейчас:

— Вон! Сам вызову! Очистить комнату!

Всю публику выгнали из квартиры. Остались дворник да пачпортист наш, а Черепахину арестом пригрозил за противодействие. Насилу я его увел.

— Ну-с, теперь по пунктам...

И читает записку, что вот с квартиры его гнали...

— Так. Вы гнали его, значит, с квартиры... Гнал?

Объяснил все и про ночь рассказал. Записал — и дальше:

— Это не важно, а вот...

Вслух прочитал все письмо. Оказывается, он на всех доносы написал и про нас и теперь боится суда. И очень обижен на всю жизнь. И про стакан помянул, и про разговоры. Прочитал околоточный и сморщился.

— Вот какая канитель! Должен дознание вести, тут про политику... Какие слова твой сын про политику говорил? Лучше чистосердечно... все равно записка в производство пойдет... Вот какая канитель!..

Отрекся я, и Луша тоже, а Черепахин из-за двери кричит:

— Знаю, меня извольте допросить!

Так я даже удивился на него. Так был расположен — и вдруг. А околоточный обрадовался.

— Позвать его! Что про политнку! Твое показание по пункту!

А тот, вижу, хитрое лицо сделал и начал:

— Не *твое*, а *ваше*! Про политику — нуль, а вот как было: утречком, конечно, выхожу я из ватерклозета, смотрю...

Прямо на смех. Уж потом сам мне говорил: чтобы обозлить. Сейчас его околоточный выгнал и пригрозил. А я на Кирилла Саверьяныча сослался: уважаемый человек и знакомый околоточному. Сейчас за ним погнали: неподалечку, через улицу жил.

Пришел очень сильно испуганный, с околоточным за руку и по отчеству и очень умно стал объяснять:

— Разве вы меня не знаете? Разве, — говорит, — я могу в моем присутствии позволить насчет чего?.. Я привержен к администрации, и мне даже обидно с вашей стороны такое недоразумение...

А околоточный в записку:

— Что же делать, раз я по обязанности долга... Я очень хорошо знаю...

А Кирилл Саверьяныч посмотрел на Кривого и говорит:

— Даже после смерти напакостил! И все из пиджака!

А околоточный сейчас в протокол:

— Из какого пиджака? Объяснитесь.

Кирилл Саверьяныч бородку оттянул и сделал лицо очень умное и даже как обиделся.

— А вот как. Сидели мы за пирогом и рассуждали... про жизнь. И Кривой слушал у двери. И тогда молодой человек, их сын — ученик реального училища, стал укорять его, вот этого самого Кривого, зачем он так исполняет свои обязанности, то есть пьянствует, и сказал, что это так не годится... и вообще... нельзя так в политике жизни... Вот она и есть политика... политика жизни... обиход... Так сказать, если выразить по-ученому...

— Верно! — подтвердил и околоточный. — Это понятно.

— Вот. Необразованный человек не поймет, конечно, а образованный... это понятно... И я ему, этому самому Кривому, стал объяснять даже из Евангелия... насчет

властей и про жизнь... А он вдруг обозвал всех нас холуями... — это вы обязательно запишите! — и тогда молодой человек, а их сын, действительно бросил на пол стакан в его направлении и попал в пиджак и забрызгал... Вот он обиделся и сказал, что донесет на всех, и побежал в участок. Это сущая правда.

Так складно у него вышло. Ну, конечно, что тому, раз он мертвый? А то бы канитель. Время очень строгое было. И околоточный подтвердил:

— Был он там, верно, и наскандалил. Мы его совсем прогнали. Но это не относится...

И зачеркал в протокол. А Кирилл Саверьяныч в окошечко смотрит. И вдруг с чего-то обиделся и опять:

— Не понимаю, при чем тут я... От работы отрывают...

А околоточный ему:

— Нам пуще эти канители надоели, но закон такой. — И мне запрос: — Какой донос он на вашего сына послал и куда? Тут в записке есть...

И показал перышком на Кривого.

— Да какой же донос, раз он пьяный был! — говорю.

— Мало ли что! Пьяные-то и проговариваются. О чем донос?

Да что я, святой дух, что ли? Такой придира!

А тут Колюшка и входит из училища. Как узнал все, так и окаменел.

А околоточный сейчас его на допрос:

— Объясните показание! Вот что он в письме пишет...

Прочитал ему. Колюшка смотрит на него и как ничего не понимает.

— Ну-с, — говорит. — Какой донос он послал и куда?

А Колюшка стоит помертвелый и шепотом так:

— Мы его, мы... Господи!

И за голову схватился. А околоточный — чирк в протокол.

— Что это значит? — спрашивает. — Тут у вас путаница... Как же это вы? Что — вы?

Кирилл Саверьяныч тут осерчал.

— Что же, вы подозреваете, что они его удавили? Он нравственно думает... от обиды... Он же сам в письме пишет!.. Может быть, и меня вы в чем подозреваете?

— Не подозреваю вас, — говорит, — а все-таки странно. Как же это вы... Вы скажите чистосердечно...

А мой-то взглянул на Кривого, сморщился и убежал из комнаты. А околоточный мне строго:

— Вернуть его! Я именем... требую. Позвать!

Побежал я за Колюшкой. А он уткнулся головой в окно, так в шинели и стоит. Обернулся да как зыкнет:

— Уйдите! Не могу я, не могу!

Я его и так и сяк — нет!

— Вот, — говорит, — что мы сделали! И это я, я...

Прихожу в комнату к ним, а околоточный что-то оправляется и шепотком с Кириллом Саверьянычем. И лицо у него ничего, не строгое. А Кирилл Саверьяныч сделал такую злую физиономию и вдруг на меня:

— Не понимаю вашего сына! — На «вы» стал. — И Александр Иваныч удивляется... Как он у вас неразвит и глуп!

А околоточный ничего.

— Он, должно быть, протокола испугался... Ну, как-нибудь покончим... — Дал подписать и щелкнул портфель. — Доносы меня беспокоят... Хотя вы не беспокойтесь, потому что я так и записал, что нашел труп с явными признаками удавления... самоубийства. Мм-да-а...

А Кирилл Саверьяныч меня ногой. А околоточный в окно смотрит и думает.

— Ну-с, мы его сейчас заберем... Погода-то какая! Опять грязь...

А Кирилл Саверьяныч опять меня ногой.

Велел околоточный брать Кривого и в карету помощи. Понесли его и гитару забрали и что было, какое имущество. Ну, конечно, я проводил околоточного в сени и попросил, чтобы вообще... не было какой канители... И он любезно мне:

— Ничего, теперь, кажется, все ясно... Кляузник такой был... Отлично его знаю.

Вернулся я в квартиру, а Кирилл Саверьяныч как накинется на меня:

— Вот как вы цените отношение! И меня запутали! Я из-за вас теперь в протокол попал? Запутали вы меня! Из-за всякого мальчишки... Он у вас на язык невоздержан, а я тут по чужому делу! У меня и так расходов много... Нет, мне надо быть подальше... Я теперь вижу... как к людям снисходить...

А тут Колюшка и влетел:

— Пожалуйста! Можете уходить... Вон!

— Как «вон»! Ты... смеешь? Он при тебе смеет? меня? Это он мне-то! Щенок! дрянь эдакая, шваль, молокосос! Тебя еще пороть надо, мерзавца безмозглого! Я тебе еще покажу, какие ты слова говорил!

Я совсем растерялся, а Колюшка одно и одно:

— Вон! Вон! Папаша в вас не нуждается, в вашем снисхождении!

А у того глаза заюлили, не знает, что сказать. Даже позеленел.

— Твое, — говорит, — мерзавец, счастье, что свидетелей нет, а по закону я отца не могу притянуть! И я сам, сам ухожу... сам! Ноги моей не будет! — Потом скосил на меня глаза и кипит: — Только у таких и могут быть такие... хулиганы!

Ни за что обидел и ушел. Чуть было мой его не растерзал. Схватился, но я его за руку удержал. Потом ушел к Наташе в комнату и затворился. Вот как обернулось! Такая неприятность, и даже Кирилл Саверьяныч, которого я уважал, оказался таким занозливым. А тут еще донос какой-то Кривой послал...

Пошел я к Луше — на постель прилегла от сердца, — она мне:

— Мочи моей нету... засудят Колюшку... Вот какой негодяй оказался... Что он про него написал? Возьмут его, как Гайкина сына...

Дал ей капель и пошел к Колюшке. Дергаю дверь — не отпирает. С крючка сорвал. Сидит над столом и голову на руки положил.

— Чего ты бесишься? — говорю. — И человека вооружил... Ведь он со злобы на тебя донести может, про твои слова! Донос на тебя есть уж... Ведь к нам полиция может каждую минуту... Может, у тебя какие книги есть от Гайкина...

А он на меня, вместо того чтобы успокоить:

— Вы-то хороши! Он при вас на мертвого врал, а вы... Мамаша мне сказала... И оставьте меня в покое!

И по виску себя кулаком.

— Неужели это из-за меня он? Господи! Папаша!

Даже мне обидно стало, по правде сказать. Посторонние интересы, что Кривой повесился, он к сердцу принимает, а что нам будет — без внимания. И говорю ему:

— Чужой тебе приболел, а мы для тебя что? плюнуть да растереть. Вот ты как! Я же о тебе забочусь... Ответь ты мне, есть у тебя какие книги?

А он мне:

— Уйдите вы прочь! — Кулак сжал и в подушку ткнулся.

— Да пощади ты, — говорю, — хоть отца! Я из себя для вас жилы тяну, свету не видал... Что ты геройствуешь-то? Ведь из тебя оттябель выйдет! — стал ему рацеи читать. — Какой из тебя полезный член выйдет? Скандал за скандалом... в квартире человек удавился, нам неприятность... С человеком меня поссорил! А он сколько раз меня поддержал... Протекцию тебе оказал, как в училище поступать... через знакомство с учителем...

А он ногой — раз! — о кровать.

— Так ты так! — говорю. — Ну, теперь я все вижу! Это твой Васиков долгоногий тебя с пути сбил! Как стал к тебе ходить с книжками, так ты как другой стал... Ну, так чтоб духу его у меня в квартире не было! Ответишь ты мне? — кричу. — Всех выгоню! И Пахомова не пущу! Его, подлеца, выгнали за грубиянство, а он к тебе ужинать ходит? Ты его, дармоеда, кормишь!

Пронял его. Встал он, посмотрел так на меня и головой качает. Потом я уж понял, что не надо бы так. Бедный парнишка был Пахомов этот и больной. Прачка его мать была, а его выгнали из училища за плохое поведение... Так он до места к Колюшке ходил, очень бедный... Вот Колюшка мне и говорит:

— И вам не стыдно? — Правду, конечно, он сказал. — Не стыдно вам?! Куска пожалели! Не ждал я от вас этого. Сами рассказывали, как нужду терпели, корочки от каши после рабочих в реке размачивали... Будьте покойны, не придет... Но только знайте... я и сам освобожу от расходов... Может быть, и для меня жалко?

И заплакал. Смотрю, стоит у стола, скатерть теребит. И курточка на нем вздрагивает, заплаточка на локте... и поясок перекосился. Вот как сейчас его вижу. И штаны выше щиколоток поднялись, голенища видны. И так мне его вдруг жалко стало. Такое расстройство, а тут еще сами друг другу обиду делаем.

— Да, — говорит, — вы там, в вашем ресторане, с господами очерствели...

Потом вдруг и вынимает из пазухи конверт.

— Вот вам от директора письмо.

Так все во мне и оборвалось.

— Какое письмо? зачем?

— Прочитайте... — И отвернулся.

Никогда никаких писем раньше не было, а тут вдруг... Отпечатал я письмо, руки у меня — вот что... дрожат, смотрю — бумага с номером, и написано на машинке, что приглашает меня на завтрашний день к двенадцати часам сам директор... Для разговора о сыне Николае Скороходове.

Спросил я его, о чем говорить приглашают, а он только плечами пожал.

— Может быть, — говорит, — из-за Мартышки... учитель у нас есть... У меня с ним столкновение вышло...

— Какое столкновение? Что такое?

— Он меня негодяем при всем классе обозвал... Я отговаривал на войну деньги собирать, а он высказал, что только негодяи могут не сочувствовать... А сам сына по знакомству от мобилизации освободил. Ну, я и сказал ему— это как называется? А он из класса ушел. Должно быть, за этим и вызывают...

— И ты, — говорю, — так сказал? Колюшка! Что ж ты наделал?!

— Да, сказал. Я ничего не боюсь, пусть хоть и выгонят... Думаете, что очень мне их диплом нужен? И так его достану.

— Как так? Значит, — говорю, — все мои труды и заботы на ветер?

— Нет. Я вам очень благодарен. Я теперь по крайней мере все понимаю. Они требуют, чтобы я извинение попросил у Мартышки, но я у него просить не стану!

Поглядел я на образ и сказал в горе:

— Вот тебе Казанская Божия матерь... при ней говорю, как мне тяжело! Колюшка, — говорю, — попроси извинения!..

— Нет, не могу. Может быть, меня и не выгонят еще... Только полгода всего и учиться-то осталось... И оставим, пожалуйста, этот разговор... Все обойдется...

Так это все скрутилось сразу. А тут еще Наташка из гимназии пришла и чуть не плачет:

— Мне замечание начальница сделала... чуть не оборванкой назвала... Не пойду я в гимназию! Новое платье мне нужно, у меня все заштопано, и швы побелели... И все на высоких каблуках, а у меня стоптано все...

Шварк книги под кровать — и реветь от злости. Каторга окаянная! Как сказал я ей про Кривого, так и села. И такое томление тогда на меня напало, хоть сам в петлю полезай... Вот какая полоса нашла.

Плюнул я на всех и пошел в ресторан. Хоть на людях забыться! А какое там забыться! Хуже, хуже это чужое веселье раздражает...

VI

Прямо как несчастье какое наслал на нас Кривой.

И такое меня зло разобрало: зачем я их по ученой части пустил? Год от году Колюшка занозистей становился, и Наташка с него перенимала. Рядиться стала, локоны начала взбивать, с гимназистами на каток бегать стала, в картинную галерею... И все-то не по ней, и все претензии: и квартира у нас плохая, и людей настоящих не бывает, и подруг ей совестно в гости позвать. Требовать стала, чтобы Луша обязательно в шляпке ходила. Поправлять в разговоре стала даже:

«До сих пор, говорит, «куфня» говорите и «ндравится»... Учительница какая нашлась, а сама себе дыр не зачинит. Совестно приглашать!

— Чего тебе, глупая, — спрашиваю, — совестно, а? Вот тебе комната, и приглашай... Я тебе запрещаю?

— Вы ничего не понимаете! Какая у нас обстановка? Диван драный да половики со шваброй?

Пожалуйте! Это дрянь-то! Семнадцать лет всего — и разговаривать! А я знал, знал, чего ей совестно! Матери-то она все высказала. Что я служу в ресторане! Наврала подругам, что я в фирме служу. В фирме! Дура-то! Боялась, что подруги узнают. А у них там больше дочери купцов, вот ей и совестно. И ведь наврала, в бумаге наврала! Велели им на листках написать про домашних, кто чем занимается, а она и написала про фирму. Стыдно, что отец официант в ресторане! Вот какое зрение у них! Швыряй отец деньгами, да с любовницами, да по проходам, — им не будет стыдно! Что же, это ее в училище так обучили?

И насмотрелся я на это опровержение! Сколько раз, бывало, начнет какой что-нибудь такое высказывать супруге или там которая с ним из барынь, вроде замечания... Да вот как-то доктор Самогрузов и скажи супруге:

— Чешешься ты, как кухарка... волосы у тебя в разные стороны...

Так она вся в жар:

— Как тебе не стыдно при лакеях мне!..

Стыдно при лакеях! А не стыдно и похуже чего, и не только при лакеях, а прямо на всеобщем виде? Не стыдно, что ногами трутся, как кобели? Ей-Богу! Как в компании парочками рассядутся, чтобы вперемежку, для интереса в разговоре, так после ликеров-то, под столом-то... ногами-то... Из рюмочек тянут, а глаза запускают с вывертом. Знаю я им цену настоящую, знаю-с, как они там ни разговаривай по-французски и о разных предметах. Одна так-то все про то, как в подвалах обитают, и жалилась, что надо прекратить, а сама-то рябчика-то в белом вине так и лущит, так это ножичком-то по рябчику, как на скрипочке играет. Соловьями поют в теплом месте и перед зеркалами, и очень им обидно, что подвалы там и всякие заразы... Уж лучше бы ругались. По крайности сразу видать, что ты из себя представляешь. А нет... знают тоже, как подать, чтобы с пылью.

А то вот как голод был... Мы, конечно, всегда сыты при нашем деле, а вот как приехал к поваренку отец и начал он на кухне плакаться, как тут у вас всего очень много, а у них там хлеб из осиновой коры пекут, так у нас разговор пошел, и Икоркин всех донял. Так сказал, даже Игнатий Елисеич хвалил:

— Тебе бы, — говорит, — Икоркин, попом быть!

По копейке с номера стали отчислять в день, рубль двадцать копеек.

И Икоркин каждый месяц отправлял в комитет заказным и нам квитанцию представлял.

— Смотрите, послал, а не себе в карман, как другие делают.

И в газетах было. Ну, и в залах у нас кружки стояли и тоже сборы делались. Поужинают в компании, к ликерам приступят, Господи благослови, вот один какой и начнет соболезновать: вот мы, дескать, тут прохлаждаемся и все,

а там дети с голоду помирают. И сейчас какой-нибудь барыньке шляпу в ручку, и она начинает:

— Жертвуйте, господа! Иван Петрович, Петр Иваныч! Ну, от своей бедности! Ну-у же...

И ей это большое удовольствие, и кривляется, и так, и тянет, и глазами... Ну, и соберут рублей десять, а по счету ресторану рублей сто уплатят.

А то артистка одна к нам со своей компанией ездила, так та себя на распродажу пускала. И очень много смеху у них бывало. Ручку голую поцеловать до локотка — три рубля, к плечу там — пять, а к шейке — красненькая... И так всю исцелуют, что... Один красное пятно ей насосал, штраф наложили по суду сообща. И вышел раз скандал. Сидел с ними в кабинете один, очень мрачный из себя, фабрика у него была канительная, Иван Иваныч Густов, вот который застрелился от скуки жизни. Так он так-то вот встал и говорит:

— Дам вам на голодающих вот это! — и вытащил бумажник. — Тут у меня десять тысяч, сейчас из банка взял. Я вам расценок устрою всем. Всем вам в хари плюну — и на голодающих?!

Матушки, что вышло! И бумажником об стол хватил. Ему тут двое карточки суют, с артисткой обморок, на диван ее потащили, с кулаками лезут, а он их отстранил одним взмахом, положил бумажник в карман, да и говорит:

— Плевка жалко!

И пошел. А потом в газетах было, что десять тысяч на голодающих от неизвестного посетителя ресторана нашего. Вот это я понимаю!

И вот пошел я в ресторан, а сердце совсем расстроилось, и никак в себя прийти не могу. А при нашем деле верткость нужна и тревоги чтобы — ни-ни. Потому как тревога — так все равно как из кармана. А нельзя не идти — две экстренности: свадьба и юбилей. И с маху, не успел и за дело взяться как следует, а тут три дюжины тарелок в угловую гостиную понес, да замлело что-то во мне — и врастяжку. По десять целковых дюжина! Второй раз только за всю службу. Первый раз хрусталю наколотил на двадцать четыре целковых, баккара, посклизнулся на апельсинную корочку и сварил. Да вот в этот раз. Сейчас

метрдотель. Сварил? Сварил. Заплотишь. У нас это просто — из залога берут.

И так мне после этого сделалось, что лег бы куда, забился бы куда в дырку, чтобы не видно было, лежал бы и плакал. Обида одолела. А тут туда-сюда, счета, марки из отделения в отделение сортируешь, то по буфету, то по кухне, то по сервировке, то в счете не так что-то... Все помни, что кто заказал. Первое наше дело — ноги и память. Весь как на струне. А как что неладно вышло, так весь день и пойдет одоление.

Закончились обеды, сервировали в угловой, и уж съезд. Пошли и пошли. А народ все капризный и раздражительный, учителя эти. Редко у нас бывают, та-ак, раз в год по обещанию, зато уж тут с напряжением: дескать, мы тоже все понимаем. Приступили к закуске, то-се... И пошли гонять. Распорядитель юбилея у них был — метрдотеля за пояс заткнет, и голос зычный. Того нет, другого нет, метрдотеля сюда, да почему икры только в трех вазах, да почему больше форшмаки да тефтели, да рыбного чтобы больше, да балыка, да лососины, да омаров... Знают, что в цене! Это по шесть-то рублей с персоны, конечно, без вина! Думал, что ему еще глазков маринованных поднесут за шесть-то рублей!

Совсем я закружился. И вот как рок какой! Ну, точно вот нарочно! Несу пирожки, смотрю — он! Его превосходительство, Колюшкин директор. И такой на меня страх напал, что чуть блюдо не выскочило. В глаза ему попасть боюсь. И как нарочно — куда ни станешь, отовсюду его видать. Такой он широкий, выпуклый, как ящик какой. Взглянешь — и он точно глядит. И вот будто у него что против меня в мыслях есть.

И как стал пирожками с икрой обносить, чуть блюдо держу. И как приказали им на тарелочку положить, я им волованчиков огратен, и крокеточков, и зернистой икры вдоволь наложил — они очень эту закуску обожали — и стал опять следить за ними. И когда они последнюю крокеточку в рот сунули, подняли голову и на меня уставились очень ласково. Очень я испугался. Вот, думаю, сейчас спросит. А они пожевали-пожевали, проглотили и пальцем мне. Вмиг предстал и жду. А они так ласково посмотрели мне в лоб и говорят:

— Дай-ка мне еще икорки... и вот этих еще...

Я им еще крокеточков и икры, как на порцию.

Но только они меня как бы и не признали. Очень возможно, что и забыли, потому что я года три тому, как к ним в последний раз являлся и прошение о плате подавал.

Так весь вечер их вид для меня как казнь была. И как начали рыбу подавать, потребовали, чтобы я им мозельвейну дал.

А праздновали не то чтобы юбилей, а награждение. Директора гимназии, старичка, повысили в попечители. Вот все и собрались на обед, чтобы праздновать. И сейчас после рыбы речи наступили. А как речи, тут уж движение прекращается. Стой и слушай. И очень хорошо говорили, что надо растить поколение для пользы народа и чтобы больше свету. И тосты говорили, и пили за все. И решили телеграмму послать. Это у нас всегда. Поговорят-поговорят — и сейчас кому-нибудь телеграмму.

А у меня так сердце и мозжит, и так захолодает, что сколько раз выбегал я на кухню. Выбежишь в сени, снежку приложишь под манишку к сердцу — и отпустит. А небо все-то звездами усеяно... И так там хорошо, и далеко, и тихо, а у нас — ад. А тут, на кухне, скандал еще. Повар Семен опять бунтовать пришел. Его за пьянство прогнали, так он на моих глазах с ножом кинулся на старшого и рассек ему котлетным ножом руку, и сам зарезаться хотел...

Пришел опять наверх, а тут огни и блеск и оркестр играет... Даже удивительно, как в волшебном царстве.

Стали с юбилея расходиться, и не мог я томления одолеть, как стал директор Колюшкин собираться.

Стал у двери и жду. И решение во мне такое, чтобы, как пройдет мимо, напомнить им про себя и про Колюшку попросить. Идет он к двери, ласково так посмотрел на меня и говорит:

— Человек, там я на окошке грушу оставил и еще что-то...

Побежал я к окну — приметил уж я, что они там грушу положили и мандаринов, — прибавил еще пару слив белых и поднес. Он их сейчас в задний карман мундира запихнул и дал мне полтинник. А я и говорю ему вослед:

— Ваше превосходительство... дозвольте попросить...

А он обернулся и так сердито:

— Я вам, кажется, дал?!

И пошел. А тут меня распорядитель кликнули. Он, значит, думал, что я еще на чай захотел... не понял...

Убраться бы и идти домой, ноги не ходят, и состояние такое ужасное, а разве с юбилея-то их скоро прогонишь? Заплатили денежки, так надо их оправдать. Вина допивали под руководством ихнего распорядителя. И загонял он меня с бутылками! Все бутылки по счету проверил, высчитал на бумажке, что осталось, и распорядился по-хозяйски. Очень насчет этого дела оказался способный человек, хоть и учитель.

— Початые, — говорит, — мы жертвуем для прислуги, за эти вот со счета долой, пусть ресторан примет, а вот этот пяточек, — хорошие отобрал! — ты в кулечек упакуй и завтра в свободную минуту вот по карточке снесешь на квартиру.

Порылся в кошельке и тридцать копеек дал.

И допивали они початое очень долго, но только был уже свободный разговор, и очень горячо рассуждали про этого, которого поздравляли. И разобрали его по всем статьям и начистоту. Под конец у нас всегда так, начистоту... И так много было работы в ту ночь, часа два в порядок приводили угловую гостиную. Очень все задрызгали и окурков натыкали по всем местам, даже в портьеры. Так что Игнатий Елисеич нам выговор задал, что не смотрели. Поди-ка поговори! И какие жадные! Так это прямо удивительно. Все, что рассчитал метрдотель с распорядителем ихним, все как есть очистили. И ведь не то чтобы съесть, а и в карман. Конечно, по части фруктов. И каждый так улыбнется и скажет:

— Ребятам, что ли, взять... на память...

И уж как один сделал, так и пошли — на память. И у одного даже мундир просочился — на грушу сел. Конечно, надо же свои шесть целковых отъесть. И ведь тоже знают — как и что. Закуску обработали умеючи. Икры там, омаров и балыка — и звания не осталось. Вмиг сервировали. И разговаривают, а уж руку натрафят без промаха. И у нас, конечно, тоже свой план. Закуску подставлять с переменами, чтобы сперва погорячей чего и потяжелей, а уж там на прикрас пустить из легкого. Так они тоже это очень хорошо понимают... Сосисички на

сковородах, тефтельки там и форшмаки не осадили сгоряча... Пять раз лососины прирезали и балыка. И, конечно, ресторан наш немного заработал. А к концу еще неприятность.

Прислали горничную с квартиры от одного, что на юбилее был. Барин портсигар серебряный оставил на столике. Искать — нет. Всех номеров опросили — никто не видал. А у нас бывает, что и бумажники оставляют, и мы их в контору сдаем. А такую-то дрянь, ему и цена-то пятнадцать целковых! — кто позарится. Так и не нашли. Может быть, и из гостей кто по забывчивости в карман сунул на манер чужих спичек. На этот счет у нас бывало.

Одна барыня подняла так-то вот брошку в зале, повертела, поглядела так по сторонам и... в платочек. И я это видел. И она это видела, и вся как маков цвет, а не отдала. А как я скажу метрдотелю? И барыня-то незнакомая... Может, и ее это брошка. А утром к нам от фабриканта присылают — не у вас ли брошку жена потеряла в пятьсот рублей? Вот и портсигар... Но только нам репутация дороже денег.

VII

Сказался я метрдотелю, что завтра приду к двум часам. Пришел домой в четыре, а у нас еще свет. А это все мои в одну комнатку сбились и спят при огне. Страшно им, что Кривой повесился. Наташка на диванчике прикорнула. Колюшка так на столе голову положил. Как сиротинки какие. Только Луша не ложилась, потому что жутко ей в спаленку нашу идти — рядом с той комнатой, где Кривой обитал.

Поднял Колюшка голову и смотрит тяжело так. И сразу похудел, одни глаза.

— Чего ж ты не ложишься? — спрашиваю.

Молчит. А Луша мне:

— Измаял он меня. Хоть ты-то его успокой. Все твердит — из-за нас да из-за нас... И так-то тот все мерещится, а он еще тут... Спасибо еще Черепахин Наташку все развлекал, конфеты ей принес с бала...

Посмотрел я — дверь в комнатку Кривого закрыта и даже стул приставлен. Так вот и мерещится, как он там лежит на полу и кулаками грозится. Стал я Колюшку

успокаивать. Рассказал, что директора видел и он очень веселый был и ласковый, а он мне вдруг сердито так:

— Будете завтра говорить с ним, так держите себя как следует... А то привыкли кланяться!..

Очень он меня этими словами уколол.

— А вот ты, — говорю, — привык с отцом зуб за зуб! Ты вот, может, последнего человека жалеешь, какого-то Кривого, который нам напакостил через свою гордость... Он, — говорю, — и удавился-то нарочно у нас, а ты своему отцу в глаза тычешь!

А он мне с такой укоризной и даже головой стал качать:

— А вы еще про религию говорите! Религиозный человек!..

Тогда я в расстройстве был и так, конечно, про Кривого сгоряча сказал, а он меня не мог извинить.

— А ты, — говорю, — после этого скот, а не сын! Дармоед ты!.. Вот что!

Он повернулся и пошел в коридорчик, где спал. А мне бы хоть бить кого, хоть убежать бы... Рванул я Наташку с дивана, обругал... А она со сна смотрит — ничего не понимает. Пошел, водки выпил прямо из графина. Залить бы все... Я очень много тогда перестрадал и потом. Ах, как я болел Колюшкой! И не приласкал я его за всю жизнь, а обижал часто... Друг дружку обижали... Характер-то у него во-от... каменный...

Легли мы с Лушей спать, и она стала приставать, чтобы переехать с квартиры. Не останусь и не останусь здесь ни за что! Во всех углах, говорит, куда ни пойдешь, все представляется, как дразнится. И мне-то — вот стоит в дверях и смотрит, как той ночью... А у нас очень крысы полы грызли тогда, — ну прямо как царапается кто под полом. Лежим и думаем, и сон не берет. А Луша и говорит:

— Поликарп-то Сидорыч как странно стал себя вести... Сегодня весь день, как ты ушел, по комнате кружился и себя за голову щупал. А пришел с бала и Наташке колечко поднес... Говорит, на улице нашел. И совсем новенькое, с красным камушком. Просил принять по случаю семейного несчастья. Ничего это, что она взяла? Рублей пять стоит...

— Что ж тут такого? — говорю. — Он к нам очень расположен...

— Да. Если, говорит, откажетесь принять, я все равно в помойку брошу. У меня, говорит, никаких сродственников нет, а вам удовольствие... Положил ей на руку, а сам в комнату скрылся...

А это он из расположения. Очень он любил сестру свою, Катеньку. Она в портнихах жила и померла от несчастной любви, выпила нашатырного спирта. Рассказывал мне. С молодым человеком жила, а тот женился... Черепахин-то того на улице поймал и кулаком убил до смерти, но суд его оправдал, и присудили только к церковному покаянию. Очень это сильно на него подействовало, и он к нам так и прицепился, что нет у него никого на свете. И зашибал он часто, как тоска нападала. А как выпьет, так все грозился подвиг какой ни на есть совершить, чтобы себя ознаменовать. И очень его специальность мучила, насчет трубы. Только и разговору: связала и связала меня труба на всю жизнь. И Наташка-то его все дразнила:

— Что это вы, Черепахин, такой большой, — а он очень высокий и могущественный, — и такими пустяками занимаетесь, в трубу играете?.. Если бы вы на рояли могли играть, а это даже и не музыка!..

А он весь покраснеет и руки начнет потирать.

— Все равно, и это как музыка, только, конечно, не для женского уха... А если бы у меня были деньги, я бы на рояли стал... У меня очень пальцы способны для рояли...

И как растопырит, такой смех — как вилы. А та его на трубе заставляет играть, а он стесняется.

— Ну, тогда я от вас конфет не возьму и разговаривать с вами не буду.

И начнет он марш трубить, а она рада и покатывается. Такая насмешница. А он для нее был как ягненок, очень хорошего характера для нее-то.

Стала она как-то смеяться, что такая у него фамилия — от черепахи, так он совсем расстроился и дня два из комнаты не показывался. А потом вдруг заявился и говорит:

— Вы, Наталья Яковлевна, про фамилию мою сказали... Не хотел я говорить, а теперь должен сказать. Она такая необыкновенная, потому что я от разбойников произошел...

Очень нас насмешил. Чудак был!..

— Не от черепахи я, а от разбойников. Мой дедушка был в шайке и кистенем бил со страшной силой, и как ударит по голове, так череп — ах! Вот его и прозвали. И это в суде записано, и можете даже справиться во Владимирской губернии... И песня даже есть про моего деда, и помер он на каторге... И сам я тоже очень страшной силы человек и могу пять пудов одной рукой вытянуть!..

Схватил при нас железную кочергу и петлей свернул, как бечевку. А как Луша забранилась на него, он опять напрямь вытянул.

— И если вас, Наталья Яковлевна, кто посмеет обидеть, вы мне только прикажите... Я с тем человеком поступлю как с кочергой!..

Лежим мы с Лушей и раздумываем, и слышу я, как в коридорчике словно как чвокает что. Луша мне и говорит:

— Никак Колюшка?.. Что такое с ним творится...

А я ей ни-ни, что к директору завтра потребован, чтобы пуще не расстраивать прежде времени.

Вышел я в коридорчик и слушаю: очень тяжело вздыхает. Чиркнул спичкой, а он как вскочит...

— Ай! Испугали вы меня!..

Я ему и стал говорить от сердца:

— Зачем ты и себя и нас мучаешь? Колюшка, милый ты наш сын... голубчик ты мой! Вот ты плачешь...

А он с гордостью мне:

— Ничего я не плачу! Представляется вам...

А тут спичка и погасла.

Подошел я к нему и сел рядышком. Обнял его в темноте, и так мне его жалко стало... Худой он был — ребра слышны, хоть и жилистый и широкий по кости.

И он ко мне притискался. Молча так посидели. Поласкал я его тут молча, по щеке потрепал. Так меня тогда взяло за сердце.

Только раз один за всю жизнь так его приласкал. И стал я ему на ухо говорить, чтобы Луша не услыхала:

— Попроси завтра прощения у учителя!.. Ну мало ли и мне обид делали? Люди мы маленькие, с нами все могут сделать, а мы что... А ты бери пример с Исуса Христа...

— Не могу, папочка... не могу!

Через слезы сказал. И никогда так раньше меня не называл — папочка. И как-то даже совестно мне сделалось и хорошо, очень нежно сказал.

— Я не человек буду после... я не могу!.. Так меня унижали, так мучили... Вы не знаете ничего. Таких, как я, кухаркиными детьми зовут. Нет, нет! Не стану!..

Вскочил и меня за руки схватил.

— Знайте, что я на гадости не пойду... Я ваш сын, и я рад... Может, я совсем другой был бы... Папочка, вы ложитесь... вы устали... Ах, папочка!.. Так мне тяжело, так тяжело...

За плечи меня схватил, сам дрожит...

И тогда я перекрестил его в темноте.

— Попроси прощения... Мать убьешь, Колюшка... У ней сердце больное...

— Не мучайте... не могу!..

А Луша из комнаты звать стала:

— Что такое? Что вы шепчетесь? Да поди ты, Яков Софроныч... жуть...

Так и расстались. И не лег я спать. Такое нашло на меня, что я долго молился в ту ночь, все молитвы перечел, какие знал. И за Колюшку, и за упокой души Кривого. А с Лушей припадок случился от удушья, кричала все, чтобы фортки открыть... Всю ночь фортки от ветру бились, точно кто в окошки стучал.

VIII

Так я помню этот день явственно. Разбудила меня Луша:

— Зима на дворе... Смотри, какой снег валит...

Светло так стало в квартире, а за окнами стена белая, сыплет густо-нагусто. Стал я в сюртук облекаться, а Луша и спрашивает — зачем. Сказал, что по делу ресторана в одно место.

А сюртук очень ко мне идет, и стал я очень представительный. Пошел. По дороге в часовню Спасителя зашел, свечку поставил. Прихожу в училище. Швейцар при училище был очень из себя солидный, с медалями, и орденами, и нашивками, и такой взгляд привычный, но встретил очень услужливо. Потому у меня фигура складная и, потом, шуба хорошая, с воротником под бобра, как барин я солидный. Как обо мне доложить, спросил. Сказал я,

что вот по письму. Тогда он карточку визитную попросил, а у меня нет, и подал мне бумажку — написать, кто и по какому случаю. Понес наверх, а меня в боковую комнату проводил.

Как на суд я пришел. И к людям я привык, но в таких местах робею. А тут хуже суда, все от них зависит, и нельзя никуда жаловаться. Барыня там еще сидела в шляпе, очень хорошо одета, в черном платье со шлейфом. Присел я с краю, очень в ногах слабость почувствовал, в коленках. Всегда так у меня в коленках дрожание бывает, когда тревожно: служба нам на ноги первое дело влияет.

И строго там у них все. Шкапы огромные, а за стеклами разные фигуры из алебастра, горки, и звезды, и головы. А на шкапах чучела птиц и банки. И портреты на стенах в рамах, и часы огромные, до полу, в шкапу. Так маятник — чи-чи. Тихо так, а он — чи-чи. А у меня сердце разыгралось. И барыня не в себе. Встала, к окошку подошла, пальцами похрустела и вздохнула. И вдруг мне говорит:

— Как долго... Видите, хочу вас спросить... Я своего мальчика перевожу из гимназии в третий класс... Как вы думаете, могут без экзамена принять?.. У него всё награды...

А тут я, по привычке, привстал и говорю — не могу знать. Она так оглянула и ни слова. Да, ей вот тревога, могут ли без экзамена принять, а у меня... А тут швейцар обе половинки настежь, и входит сам директор, его превосходительство. И совсем другой, чем в ресторане. В мундире, голову в плечи и вверх, и взгляд суровый. Пальцем приказал швейцару двери закрыть. И сперва к барыне. Поговорил ничего, ласково, и отпустил. Потом ко мне. Как-то сбычился и с ходу руку сует. А я запнулся тут — у меня шапка в руке была... Я ему поклонился, а он так взглянул мне в лицо, и так как-то вышло неудобно. Руку-то я его не успел взять, а уж он свою убрал за спину и смотрит мне в лоб.

— Что вам угодно? — важно так спросил и опять мне на лоб посмотрел.

Подал я ему письмо и сказал насчет сына...

Тогда он так пальцем сделал и скоро так:

— Д-да! — как вспомнил. — Д-да! Скороходов?..

Понял я, по глазам его понял, что он меня теперь признал. Сморщился он как-то неприятно, пальцами зашевелил и как из себя стал выкидывать на воздух:

— Да, да, да... Мы не знаем... Положительно не знаем, что с ним делать! Положительно невозможен! Я не могу понять! Положительно не могу!

К шкапу стал говорить, а рукой все по воздуху сечет и голосом все выше и выше. А у меня в ногах дрожанье началось и в сапогах как песок насыпан. И внутри все захолодало. А он все кричит:

— Это недопустимо! У нас училище, а не что!.. Вы своего сына знаете?

— Простите, — говорю, — ваше превосходительство! Он всегда уроки учит...

А он и сказать не дал:

— Не про уроки я говорю! Он разнузданный! Он дерзость сказал!

— Простите, — говорю, — ваше превосходительство! Он не в себе был... У нас расстройство вышло... семейное дело...

Хотел объяснить им про Кривого, но он и слова не допустил.

— Это не касается!.. Он дерзость сказал учителю!

— По глупости, ваше превосходительство... Я, — говорю, — его строго накажу. Дозвольте мне объяснить...

Но он так разошелся, так закипел, что никакого внимания.

— Дайте сказать! — кричит. — И это не все! Тут гадости!..

И вынимает из кармана два письма.

— Вы знаете... это кто писал мне... донос? Кто это? что это?

И в руки сует. Так мне сразу Кривой и метнулся в голову.

— Что это? Вы об этом знали? Что это, я вас спрашиваю?

Верчу я письма и совсем растерялся.

Вижу — такой крючковатый почерк, с хвостиками, как раз Кривого писание. Так и мне записку писал про извинение, крючками и усиками.

— Это, — говорю, — у нас жилец жил, писарь участковый... Он на нас со злобы... Дозвольте сказать...

А он и слушать ничего не хочет, осерчал совсем.

— Прошу меня избавить!.. Примите меры!.. Я бы, — говорит, — дал знать в полицию, но не хочу марать училище...

И так горячился, так горячился.

— К нам, — говорит, — посторонние с улицы лезут и дрязги несут...

Очень много в короткое время насказал и про свои заботы. И пальцем все, пальцем, как не в себе. Разгасился весь, дергается... Я слово, он десять... Сказать-то не дозволяет.

— Ваше превосходительство, — говорю, вижу, что он устал от разговора. — Он заботливый и всегда уроки учит и уважает всех... А вот у нас, извините сказать, Кривой, жилец был, который вчера удавился, так он это со зла написал.

А он уж отдохнул и слушать не хочет. И опять стал рукой трясти.

— Довольно, довольно! Не желаю слушать дрязги! Это не касается... Я вам прямо говорю! Если ваш сын в классе не попросит прощения у учителя, мы его уволим из училища!..

— Ваше превосходительство! Помилуйте! Он все сделает и прощения попросит у всех учителей... Я ему прикажу и устыжу при всех... Я, — говорю, — целый день при деле и даже часть ночи, в ресторане, а он без моего глазу рос...

А он мне так на это спокойно:

— Должны соблюдать правила!.. Для нас все одинаковы, кто угодно. У нас и сын нашего швейцара учится, и мы рады... Но мы никому не дозволим непокорства, хоть бы и сыну самого министра!..

И опять стал нотацию читать, и что не хочет никого губить, а не может дозволить заразу, потому что у них пятьсот человек. И я стал просить потребовать сюда Колюшку, чтобы ему прочитать при них наставление.

Он сейчас пуговку нажал и приказал:

— Позвать Скороходова из седьмого класса!

И давай по комнате ходить, как в расстройстве, и волосы ерошить. Красный весь сделался, воды отпил. А я притих и стою. А часы только — чи-чи... Только бы скорей кончилось все... Потом отдышался и опять:

— Груб он и дерзок! Не внушают ему дома!.. Надо обязательно внушать и следить!.. С батюшкой спорит на уроках... А в церковь он ходит?

И тут я сказал, чтобы его защитить, неправду.

— Как же, — говорю, — ваше превосходительство! Каждый праздник, я слежу.

Только плечами пожал и фыркнул. Подошел к окну и стал смотреть. Тихо стало. Только все — чи-чи... А тут как раз и входит мой.

Остановился у шкапа, руку за пояс засунул, бледный, и губы поджаты, даже на ногу отвалился и смотрит вбок. Директор оглянул его и приказал куртку оправить и стать как следует.

Оправился он, надо правду сказать, вразвалку, небрежительно. И так жутко мне стало. Посмотрел он на меня и точно усмехнулся.

Директор ему говорит:

— Вот, и отец на вас жалуется!.. — А я, правду сказать, не жаловался. — Расстраиваете родителей... Он тоже удивляется вашему поведению... Стойте прямо, когда с вами говорят!..

Так резко крикнул, меня испугал. А тот плечом так дернулся, как дома, когда выговор ему задашь. То есть ни-чего не боится.

— Какое же мое поведение особенное? — даже дерзко так спросил. — Меня назвали...

А тот ему моментально:

— Молчать! — как крикнет.

Что поделаешь! Стиснул рот и замолчал.

— Ваше дело слушать, а не возражать! Я все знаю!

А Колюшка опять:

— Меня раньше оскорбили...

А тот ему слова не дает сказать:

— Молчать! Я вас выучу, как говорить с начальством! При вашем отце я говорю вам в первый-последний раз: сейчас пойдете в класс, и я приду и... — Учителя он назвал, забыл я фамилию. — И вы попросите прощение за глупую дерзость.

Я стал делать ему глазами и умолять, но он не внял.

— Нет, — говорит, — я не могу просить прощения... Он меня оскорбил первый... Это несправедливо...

Так меня в жар бросило. А директор так к нему и подскочил.

— Ка-ак? Вы, мальчишка, осмелились!.. Грубиян! Ни за что считаете, что училище заботилось о вас! Дали вам образование! Должны считать за счастье!..

А тот дернулся и бац:

— Почему же за счастье? — И так насмешливо поглядел, как на меня.

А у директора даже голос сорвался, как он крикнул:

— Не рассуждать! С швейцаром говорите? Я выучу разговаривать!.. Мальчишка, грубиян!..

Я стою как на огне, а ему хоть бы что! Позеленел весь и так и режет начисто:

— И вы на меня не кричите! Я вам тоже не швейцар!

Ну, тогда директор прямо из себя вышел, даже очки сорвал. Надо правду сказать, так было дерзко со стороны Колюшки, что даже невероятно. Ведь начальство — и так говорить! И директор велел ему идти вон:

— Вон уйдите! Я вас из училища выгоню!..

А тот даже взвизгнул:

— Можете! Выгоняйте! Не буду извиняться! Не буду!

И ушел. Я к директору, а он и на меня руками. Весь красный, воротник руками теребит, задыхается. А я стал просить:

— Ваше превосходительство... помилуйте... У нас расстройство... не в себе он, мучается...

А он совсем ослаб и уже тихо:

— Нет, нет... Берите его... мы его вон... исключим... Вон, вон! Не могу... Никаких прощений... Довольно!..

И ушел. Я за ним, а он дверью хлопнул. И остался я один...

Попрекал меня Колюшка, будто я чуть не на колени становился, но это неправда... Не становился я на колени, нет, неправда... Я их просил, очень просил вникнуть, а они так вот рукой сделали и вышли. И никого не было, как я просил вникнуть. А на колени я не становился... Я тогда как бы соображение потерял... Да... Так вот шкапы стояли, а так вот они, и я к ним приблизился... и стал очень просить... Я, может быть, даже руку к ним протянул, это верно, но чтобы на колени... нет, этого не было, не было... Они вышли очень поспешно, а меня шатнуло, и я локтем раздавил стекло в шкапу...

И вдруг передо мной встал какой-то высокий в мундире с пуговицами, перышко в зубах держал... Глаза такие злобные, и так гордо сказал:

— По поручению директора объявляю, что Скороходов Николай будет исключен.

Повернулся на каблуках и пошел с перышком. А тут мне швейцар и показывает на шкап:

— Уж вы заплатите, а то с нас взыщут...

И заплатил я ему за стекло полтинник. Он мне шубу подал и пожалел даже. Спросил меня:

— У вас сынка исключают? У нас очень строго. А вы идите по карточке этой, — и карточку мне в руку сунул, — у них такое же училище, и они у нас раньше учились... Могу рекомендовать... У них двести рублей только... А может, и скинут, если попросить...

А как вышел я, ничего не видя, во дворе слышу:

— Папаша! погодите!

А это Колюшка с бокового хода, с книжками. Бежит, пальто на ходу надевает, и книжки у него рассыпались прямо в снег. Помог я ему собрать, а он гребет их со снегом, мнет, листки выпали, остались так.

— Не надо теперь... не надо...

Но я подобрал их и сунул ему в карман. И снег шел, такой снег... Пошли двором... Смотрю я на Колюшку, что он так тихо идет. А он назад кинулся, где книжки рассыпал... Стал искать опять, ничего не нашел... Опять пошли к воротам. И уж не смотрю на него, а стараюсь по тропке идти, кругом снегу намело.

— Ну, что же... все равно...

Говорит, а сам нос чешет.

— Ничего... я сразу сдам... все равно...

И замолчал. И я ничего не мог сказать: слова не было такого. Иду, он рядом. Дошли до ворот. Тут он оглянулся, посмотрел на училище... и так горлом сделал: гу... И лицо у него было... Щурился он, чтобы не заплакать... И снег нам в лицо прямо был, густой снег. И так глухо сказал:

— Несправедливо меня... они...

Выкрикнул. И заплакал, махнул рукой.

— Все равно... ничего...

Дошли до угла, а я все не могу говорить. И повернул я в переулок, чтобы в ресторан идти. Не мог я домой идти. Там Луша...

— Папаша, вы куда?

Насилу я выговорил:

— Куда?.. в ресторан пойду...

И разошлись. Одумался я, пришло мне в голову тут, что ему обязательно домой надо. И обернулся я, чтобы наказать ему, чтобы домой он шел, а его уж не видно. Такой снег валил, такой снег... свету не видать...

IX

Вот какое мне испытание выпало! А за что? Что я, не исполнял своей службы и обязанностей?

Разговорился я как-то с Иван Афанасьичем — старичок у нас на дворе жил, учитель из уездного училища, в отставке от службы. Так он и про себя рассказывал мне очень много горького. И вот скажу, как ни тяжело мне было, а легче как-то стало на сердце: другим еще тяжелей бывает!

У него сын как вышел в люди и поступил булгахтером на фабрику на две тысячи, так его загнал прямо в щель. Так и сказал:

— Вы, папаша, живете на моем иждивении, потому что ваша пенсия только на квартиру хватает...

И всю пенсию его стал забирать за стол и квартиру и отдавал ему носить свои старые брюки. А поместил его в коридоре на сундуке. А как старичок пожелал уехать в комнатку ко мне и жить на свой страх на пенсию, не допустил.

— А-а... Вы хотите меня срамить! Чтобы в меня пальцами тыкали! Я теперь на виду у правления и прибавки просил ввиду вашего содержания, так вы мне нарочно, чтобы повредить в глазах!..

Так и не дозволил. И на табак давал только тридцать копеек в месяц и велел в кухне курить, где самовары наставляют. Табак очень зловонный... Вот! Так мое-то горе с полгоря! А тот-то всю жизнь на сына положил, за булгахтерию сто рублей истратил и за место заплатил, чтобы приняли.

И путал я на службе в тот день! Антон Степанычу Глотанову за обедом служил очень плохо, даже совестно. Блюда перепутал, со второго начал. А он и говорит:

— Клюнул, что ли?

Я им даже, помню, и не ответил ничего, и они на меня так внимательно поглядели. Стою неподалечку в простенке, смотрю в окно, как снег валит, а в глазах все комната та со шкапами...

Антон Степаныч ножичком постучали:

— Нарзану я просил!

А у меня в глазах жгет. Принес я им нераспечатанную бутылку. И так мне стало стыдно, что не мог сдержаться... Смахнул салфеткой глаза и откупорил им.

— Что это, брат, с тобой сегодня? — спросили.

Но я счел неприличным сказать им про себя. Извинился за небрежение и объяснил, что заторопился. Нельзя же сказать, что нездоровится, потому что у нас на этот счет очень строго. Нездорового человека нельзя допускать к гостям служить, и было не раз подтверждено администрацией нашего ресторана. Могут брезговать господа. А про сына говорить... И выплакал-таки я лишний полтинник. Всегда они мне полтинник оставляли, а тут положили рубль.

Пришел из ресторана. Луша плачет. И понял я, что ей все известно. Глаза опухли. Про Колюшку спросил. Оказывается, весь вечер все письмо писал и потом уходил со двора, а теперь спать лег. А Луша пристала и пристала ко мне:

— Иди к директору, проси еще... Куда его теперь? В конторщики на дорогу?

Сказал, что схожу, попытаюсь. И легли спать. А как вспомнил про письмо да опять про Кривого, как он ночью один с собой распорядился, страх на меня напал. А Колюшка если... Кто его знает! И не ел он сегодня ничего. Какое письмо? Не могу улежать. Слышу, в коридорчике кашлянул. И пошел я к нему послушать. А мне от лампадки из нашей комнатки видно было, как он лежит лицом в подушку. Как был, так и лежит, и даже сапог не скинул. Подошел я к нему и позвал:

— Коля! Ты не спишь?

— Не сплю...

— Что же ты не спишь?

— Не хочу...

— Коля! Ты спи, голубчик... Не надо расстраиваться... Бог милостив.

Молчит.

— Коля, — говорю. — У меня сердце за тебя болит... Ты бы разделся...

— Нет, все равно...

И вздохнул тяжело. Тут я сел к нему, стал его по спине гладить и уговаривать:

— Ничего. Я все силы употреблю, чтобы тебя приняли... Хочешь, к генералу одному пойду, у него влияние большое, и он к нам ездит... Ему только слово сказать... Он для меня снизойдет...

А он как вскочит!

— Смеетесь, что ли, надо мной? — Задрожал весь. — Да я лучше...

— Что? Что ты лучше? — спрашиваю его.

— Ничего... А экзамен я сдам и без них. Вы думаете, я не понимаю?.. Мне, может, больней вас...

И задрожал у него голос.

— Вы, — говорит, — всё радости ждали от меня, а я вам вот что...

И так стал рыдать, так рыдать... И Луша прибежала, и Наташка проснулась... А он в голос, в голос... Встал, на нас смотрит, трясется, точно его кто бьет. И челюсти у него так стучат, так стучат...

— Простите меня... Измучил я вас, измучил. Я все сделаю, работать буду...

Потом оправился и сказал, что спать будет, чтобы успокоились. А как те ушли, и говорит мне:

— Слушайте. Вы ничего не повернете. Я им письмо послал и все сказал...

— Кому письмо послал?

— Им, директору и всем учителям... Все сказал.

— Что ж ты теперь наделал? — спрашиваю.

— Все им сказал. Думаете, я еще ребенок? И ваше положение знаю... А вы мое-то знаете? Хоть словом сказал я вам про свою тоску? Не хотел вас расстраивать...

Схватил меня за руку, стиснул.

— Нет, нет. Ничего не говорите... Выслушайте, что я вам скажу... Мне некому и сказать-то... Папаша, милый!..

— Ну, хорошо, — говорю. — Успокой ты меня... Извинись...

А тут и вспомнил, что письмо-то он послал им.

— В чем? Что меня все годы мучили? Не знаете вы их!

И стал рассказывать про свое. Как относились к нему и как надзирателишка его поедом ел и издевался.

И так мне стало за него обидно!

— Меня, — говорит, — еще с первого класса всё так отличали, и еще некоторых. И все тот носатый. Он все чистеньких любил, а я без воротничков ходил... Оборвышем называл. Он, — говорит, — подлец, даже мою фамилию коверкал нарочно... Скомороховым звал!.. Чтобы смеялись.

И что же оказывается! С пятого класса насчет таких делов просвещал, чтобы туда... И адреса давал. А про Колюшку распространил, что он таким пороком занимается... А?! Ему товарищи сказали. И мой Колюшка пристыдил его при всех за ложь. Ведь это что же!

— Он, — говорит, — меня вшивым раньше называл, на гимнастике на палке кружиться приказывал, а у меня голова не выносит. До ненависти меня довел! А сегодня, как я выбежал из приемной, он стоял за дверями и подслушивал. И спросил меня, гадина: «Как дела, господин Скоморохов?» Ну, и обозвал я его подлецом в глаза...

Что ж я мог ему сказать! А потом и спрашивает:

— Мне директор про какие-то письма говорил... Какие письма, вы не знаете?

А я про них совсем позабыл, про письма-то Кривого. Достал я из сюртука, зажег лампочку, и стали мы их читать. И что же оказывается? Так он там всего наплел, что и не поверишь. В одном написал, что Колюшка ругает начальство так-то и так-то и говорит про политику, а в другом написал, что все наврал в письме, а начальство всё прохвосты и он донесет на всех про взятки. Прямо он уж тогда был не в себе...

Досидели мы так в душевном разговоре до пятого часу, и вдруг заявляется с балу Черепахин. И очень сильно заряжен.

— По какому поводу бдите? Опять, что ли, кто повесился?

И хоть выпивши он был, но я ему все рассказал, что так и так. А он вдруг на трубе хотел туш. Насилу я его упросил. Разошелся вовсю. Очень хорохорился, врал, как капельмейстеру при публике в ухо плюнул. А голос у него зычный, и разбудил он Наташку. Она из комнаты на него

закапризничала. А он сейчас тише воды ниже травы и меня вызвал к себе в комнату. И говорит:

— Желаю знать ваше направление... Хотя мною и гнушаются, но я как-никак себя ознаменую впоследствии, будьте покойны... Это уж я себе назначил. А вот что скажите... Если секретно от родителей, за барышней ухаживать можно? Только одно слово?

— Да почему вы так спрашиваете? — говорю.

— Нет, вы скажите, допустимо? Я для одного приятеля...

Сказал ему, что это, конечно, неудобно.

— Верно! И очень даже, — говорит, — опасно в отношении судьбы... Теперь очень много хлюстов... А если офицер, как вы полагаете? Я их знаю, потому что сам из солдат. Можно?

Ну, я сказал, что нехорошо.

А он мне на это:

— Как я верно понимаю!..

И стал просить, что если с квартиры переберемся, чтобы ему комнатку уделить... А с квартиры мы с Лушей порешили съехать. Такая несчастная квартира попалась.

X

И переехали мы из дома барышень Пупаевых. А квартиры все очень дороги, и потому сняли квартиру в расчете сдачи комнат, как это теперь заведено и очень облегчает расходы. Наш буфетчик вот снял квартиру за сорок рублей, а сам за комнаты сорок пять рублей выгоняет. Ну, и мы, слава Богу, устроились ничего.

Одну комнату взял на себя Черепахин и пустил к себе жильца, знакомого, — на скрипке играть ходит в кинематограф. И еще комнату сдали молодой чете, — Васиков через Колюшку рекомендовал, — молодой человек и его сожительница. Хоть и не в законном браке, но нам какое дело? Плати деньги и чтобы тихо было. И опять Колюшке спать в проходе пришлось. Наташке надо комнатушку — девица на возрасте, и, конечно, ей надо аккуратно себя держать. Вот ей мы отгородили ширмочкой уголок в столовой. И стала наша квартира как ковчег Завета: куда ни войдешь — всё постели.

И я совсем успокоился, потому что Колюшка стал очень сильно учиться к экзамену. И Васиков, с железной доро-

ги-то, тоже ходил к нему по вечерам заниматься сообща. И пошла наша жизнь тихо-мирно.

И одного только мне не хватало: рассорился с нами Кирилл Саверьяныч. Хоть он и вострый был на язык и очень гордый, но утешитель был при разговоре. И так мне стало скучно. И задумал я его опять приблизить к себе. Потолковал с Колюшкой, чтобы он ему хоть извинительное письмо написал, авось он отойдет. А Колюшка уперся — нет и нет. Хитрый он! Да ведь хоть какое развлечение, а у меня ни души знакомых. И в гости не к кому сходить. Свои-то, официанты, надоели и в ресторане. А Ивану Афанасьичу до нас далеко стало, учителю-то, и прихварывать он стал.

Тогда я сам в праздник до ресторана пошел к Кириллу Саверьянычу.

У него заведение было на углу, у Вознесения, очень шикарное, с зеркальными окнами, и на большой вывеске под бархат золотыми буквами явственно было по-французски: «Кауфер[1] Кириль»! Это так для образованной публики, а он, конечно, по фамилии просто Лайчиков.

И вот вхожу я в магазин, а он сам работает во всем белом и бреет господина. Увидал меня и так вежливо, но с тоном в голосе показал мне рукой на стул:

— Будьте добры...

Точно я бриться к нему пришел. Подлетел тут молодец ко мне с простынкой, но я его отстранил. А Кирилл Саверьяныч и не глядит на меня. Бреет и покрикивает:

— Мальчик... щипцы!..

Наконец, вижу, освободился — и так равнодушно:

— Чем могу служить?

Вижу, что тон задать хочет, а глазами пытает. Тогда я стал ему по сердцу говорить, что вот у меня потеря такого человека, которого я уважал до глубины души, и что мне очень горько... И сказал ему, что такое несчастье нас постигло. Колюшку выгнали, и он тоже извиняется. Это чтобы его растрогать и расположить. Тогда Кирилл Саверьяныч вынул гребешок и стал хохолок причесывать, а сам как бы раздумывает.

И сказал уже совсем мягким тоном:

---

[1] Парикмахер (искаж. *фр.* coiffeur).

— Видите, как сама судьба все направляет! Причина к причине идет. Хотя мне очень прискорбно.

И все гребешком расчесывает хохолок.

— Очень, очень грустно по человечеству... Но помните правило жизни! Обруч гнуть надо, распаривши... все это самое... Значит, надо приспособиться, а он у вас думает сразу... И вот — финал!

Очень посочувствовал мне, а потом и говорит:

— Я размыслил и нахожу, все это самое... что было недоразумение на словах. Извиняю его, потому что он и так пострадал. Пожалуйте кушать чай...

И отвели мы душу в разумной беседе о жизни, и я был им так обласкан и утешен, что как посветлело мне все. И обещал опять по-старому заходить и успокоить Колюшку. И даже приказал меня постричь и пробрить, хотя я сам производил эту операцию, и даже велел освежить лицо одеколоном.

И так все шло по-обыкновенному. Жильцы люди попались аккуратные, платили исправно, хоть и совсем бедные были. И с Колюшкой у них дружба началась. Луша сказывала, как дома они, так все вечера у них в комнате торчал. И все мне стала петь:

— Ох, боюсь я, влюбится он еще в жиличку... Такая она шустрая да вольная... И свободным браком живет...

Очень стала беспокоиться. И на Наташку стала жаловаться. Как вечер — шмыг на каток. А долго ли до греха? Девочка она у нас красивая, и даже очень хороша собой, — и одна по улицам бегать стала. Сказал я ей, а она мне:

— Не ваше дело! Я не маленькая и не желаю в четырех стенах сидеть... У нас все катаются...

И оказывается, стали ее гимназисты и даже студенты домой провожать, и она с ними у ворот простаивала и хохотала. Луша их раз шуганула, из лавочки шла, так та ей такой скандал устроила!..

— Вы что же, хотите, чтобы я сбежала от вас? Я общества желаю!.. Вы необразованные и не понимаете приличий...

А тут я прихворнул что-то, с неделю провалялся. Жар открылся и головокружение. И так меня болезнь напугала! Ну, как помру? И дети на ноги не поставлены, и Луша-то без средств... Хоть бы домик был, все бы ничего, а то

никакой собственности... В богадельню ей идти придется, да и то если протекция. А на детей какая надежда!

И решил я тогда на постели, в жару, если поправлюсь, копить и копить. А было у меня на книжке шестьсот с чем-то рублей. Если бы еще тысячи полторы, можно бы у заставы где домик с переводом долга купить. И порешил я тогда во всем себя сократить и каждый день откладывать хоть по рублю и завести секретную книжку, чтобы и Луша не знала. Убавился, мол, доход — вот и все. А то она Наташке то на ленты, то на каток — много расходов. И курить решил бросить, только какие папиросы на столах забывают... И потом сразу и обрадую через годок.

А Луша все пристает:

— Домик обязательно надо... И сны я стала видеть... все черные собаки мохнатые снятся... Это всегда к собственному дому...

И как поправился я, пошел к Кириллу Саверьянычу посоветоваться. Тот сразу одобрил и посоветовал:

— Это можно ускорить. У меня есть знакомый нотариус... он берет деньги по мелочам и людям в нужный момент под вторые закладные отдает из двенадцати процентов, а сам по восьми платит... Только четыре процента себе за хлопоты оставляет...

И знакомый оказался — Стренин, Василь Семеныч. Всегда с Глотановым, Антон Степанычем, у нас завтракают, очень богатый человек. Но только он меньше тысячи не принимал.

— Вот и прикапливай! — посоветовал мне Кирилл Саверьяныч и стал опять по дружбе «ты» говорить. — Очень хорошо, что такое желание у тебя. Для пользы отечества всякий должен иметь свое обзаведение, и потому начальство завело кассы... И я даже своим мастерам карточки для марок роздал из касс, а они, дураки, разве что понимают! Завелся пятак — и уж грызется в кармане... А вот за границей почему порядок и покой? Потому что там даже в училищах приказывают копить. Да! И там у всякого почти рабочего свой собственный дом!..

И такие его разговоры так меня укрепили, что окончательно я порешил копить и копить. И когда пошел в ресторан, зашел в часовню и просил отслужить молебен во исполнение задуманного дела. Ах, как я себе в уме представлял обзаведение домиком! И садик бы развел,

березок бы насажал, и душистого горошку, и подсолнухов... И были у меня хорошие куры на примете, лангожаны, замечательные куры у нашего повара одного... Да ведь за тридцать-то девять лет кипения мог бы себе хоть такое удовольствие доставить... Чайку-то в своем садике со своей ягодой напиться... Да-а... Попил я чайку... попил...

XI

А время было самое горячее для ресторанов, после Рождества. Работа и работа. Такие бывают месяцы в нашем деле, что за полгода могут прокормить. Сезон удовольствий и бойкой жизни. Возвращаются из-за границы, из теплого климата, и опять обращаются к жизни напоказ. И потом, господа из собственных имений... По случаю как продадут хлеб и другое, и также управляющие богачей. Очень любят глотнуть воздуха столицы. А потом конно-заводчики на бега, а этот народ горячий для ресторанов и любят рисковать очень на широкую ногу. Такое кипение жизни идет — оборот капиталов!.. А потом из Сибири подвалят, народ особенный, сибирский... В один день год норовит втиснуть, да чтобы со свистом. А это купечество и доверенные приезжают модные и другие товары закупать на летний сезон.

Вот такой сорт публики для нас очень полезный. Копейке в зубы не засматривают... Ну, и измотают, конечно, так, что по ногам-то ровно цепами молотили. Наутро едва подымешься.

Таких-то дней не только мы ждем. Метрдотель-то еще больше нашего ждет... А ведь это штука не малая.

Вот метрдотель... Ведь вот кто хорошо не знает — не может понять даже, что такое метрдотель!.. А это уж как кому какое счастье. Это не просто человек, а, можно сказать, выше ученого должен быть и уметь разбирать всех людей. Настоящий, породный, так сказать, метрдотель — это как оракул какой! Верно скажу. Чутьем брать должен. Другой скорей, может быть, в начальники пройдет, и в судьи, и даже, может быть, в губернаторы, а метрдотель выше его должен быть по голове. Взять официанта, нашего брата... Хороший лакей — редкость, и большой труд надо положить, чтобы из обыкновенного человека лакея сделать по всем статьям, потому что обыкновенный человек по

природе своей приспособлен для натурального дела и имеет свой обыкновенный вид, как всякий обыкновенный человек. А лакей — он весь в услугу должен обратиться, и так, что в нем уж ничего сверх этого на виду не остается. Уж потом, на воздухе, он может быть как обыкновенно, а в залах действуй, как все равно на театре. Особенно в ресторане, который славен. Ну, прямо как на театре, когда представляют царя или короля или там разбойника. А метрдотель... это уж высший номер наш, как королек или там князек из стерлядки, значит, белая стерлядка, редкость. Он должен проникнуть в гостя и посетителя и наскрозь его знать. Так знать его по ходу, чтобы не дать ошибки. И потом, ответственность! Как тоже к гостю подойти и с какой стороны за него взяться, в самую точку попасть! И чтобы достоинство было и движения... Это любят. Такие движения, чтобы как дипломат какой. И потом, чтобы был весь во всей фигуре. Маленький метрдотель даже и не может быть. Тогда он должен в ширину брать... И тощих тоже нельзя, потому на взгляд не выходит. И такой должен быть, чтобы от обыкновенного официанта отличался. По зале пройдет, так что как бы и гость, но так, чтобы и с гостем не перепутали...

Может выйти неприятность, да и бывали. Раз вот так-то с артисткой вышла история. У нас на парадных обедах дамам букеты цветов подают, так вот одна артистка шла в зал, а у двери наш метрдотель Игнатий Елисеич букет подал с таким движением и такой взгляд сделал, что она ему головой так кивнула и такую улыбку приятную сделала. Подумала, что это ей любитель. И потом, как узнала все, ее кавалеры выговор сделали метрдотелю, зачем так подал. Это уж перестарался.

Очень трудное дело при тонкости публики. У ней все на расчете: и не глядит, а все примечает и чует. Надо такую линию вести и изображать, чтобы и солидность, и юркость чтобы светила. Чтобы просвечивало!

А капитал у него, может, побольше кого другого. Хороший метрдотель только времени выжидает, и как свой курс прошел и капитал уловил, выходит обязательно в ресторатора... И на чай ему нельзя принять просто, а надо по-благородному. Ему на чай идет как за труд мозга и с куша, и больше по кабинетам, и за руководительство пира.

А это очень трудно. Надо очень тонко понимать, как и что предложить, чтобы фантазия была! Только немногие знатоки могут сами выбирать обед или ужин деликатес. Да вот, и просто, а... Придет какой и важно так — карту! И начнет носом в нее и даже совсем беспомощно, и никогда сразу и по вкусу не выберет. И выберет, так общеизвестное. Знают там провансаль, антрекот, омлет, тефтели там, беф англез... А как попал на трехэтажное, ну и сел. Что там означает в натуре и какой вкус? Гранит виктория паризьен де ля рень? Что такое? Для него это, может, пирожное какое, а тут самая сытость для третьего блюда!.. Или взять тимбаль андалуз корокет? Ну что? Он прямо беспомощен и, чтобы не сконфузиться, не закажет, а если заказал, тоже осрамился. Потому что это даже и не блюдо, а пирожки...

Мы, конечно, прейскурант должны знать наизусть, как «Отче наш», и все трудные имена кушаньев, ну, иной раз и посоветуешь осторожно. Но могут и обижаться. Один вот так заказывал-заказывал мне при барынях закуску, рыбку и жареное, а потом и говорит важно так: «А потом еще для четвертого — тюрьбо». Ему название понравилось. Я и скажи, что рыбка это будет, потому вижу, не понимают они... А он на меня как зыкнет: «Знаю, знаю!» Однако отменили потом.

Вот тут-то метрдотель и нужен. Он так может изобразить и направить, что вместо красной на четвертной взведет, да еще красненькой-то и накроет, если гость стойкий. А вот для тех, которые из Сибири, метрдотель прямо необходим. Уж такого-то он, как дите, должен взять в свою заботу и спеленать. Тут его фантазия как раз. Такие блюда может изобразить — не поверишь. Ну, и мазь тут уж обязательно бывает. С примастью, так сказать...

Опять товарец... Известное дело, что такое «товарец»... И вот тут опять метрдотель. Спрашивают в кабинетах, и наше дело доложить, а они уж знают, метрдотель-то... Конечно, и из них не всякий за это дело берется, но наш Игнатий Елисеич на этот счет большой специалист. И я получал от барышень этих и птичек на чай, но, как перед совестью скажу, никогда самостоятельно не рекомендовал гостям и не подставлял в нужный момент. Очень это

нехорошо, я понимаю, и потом, у меня самого дочь росла... Батюшке на духу говорил, и он сказал, что такие деньги, если нельзя отказаться, лучше подавать на церковь.

И вот как укрепился я на мысли, что надо скорей накопить для домика, как раз тут и подошла полоса.

Остановились у нас из Красноярска два купца в гостинице при ресторане и стали прохлаждаться. И мне от них было очень полезно — по душам я им пришелся ввиду баков.

— У нас, — говорят, — такой же вот польцимейстер, Аксен Симоныч, вылитый ты!

И с первого же разу меня Аксен Симонычем стали звать. Придут обедать и сейчас — Аксен Симоныч! И платили очень хорошо, по целковому с прибора.

И вот раз как-то ужин велели сервировать в отдельном кабинете. И с ними еще здешний был доверенный по модному делу. Всё с ним возились, кто кого обставит. Народ зубастый: для удовольствия ему не жалко тыщу-другую протранжирить, а на дело он от своего процента не уклонится, хоть ты ему что угодно. И пришли в достаточные градусы, все с водки, да на коньяк, да опять на водку. И закусили хорошо, но им это пустяк, потому что могут три раза обедать. И как пришли в хорошее состояние духа, сейчас меня:

— А как бы нам, Аксен Симоныч, зефиров... французской марки!..

Я и не понял. Зефиров! Зефиром у нас называется вроде пирожного — буше там и вообще воздушное. Но как доверенный-то сказал, что живого салатцу, да как языком пощелкали, я, конечно, понял. И доверенный-то знаток, прямо приказал:

— Позови метрдотеля, у него справку возьмем!..

И это он верно, потому что у Игнатия Елисеича нашего даже запись телефонов есть и вообще как справочная контора. Барышни сами просят, и даже он от них пользуется в разных отношениях. Но ведь и ресторану не убыток. И даже не только телефоны мог указать, а для уважаемых людей мог целый кинематограф карточек предложить в пакетике, как образцы. Сами барышни давали, это уж я знаю. У него в письменном столе хранился этот пакетик.

Попросил я к ним Игнатия Елисеича, и он им этот пакетик доставил. А сам, конечно, ушел, чтобы достоинство соблюсти. И началась обычная история... Начали они тут ревизию производить. А доверенный тоже знаток оказался, здешний, и не впервой ему это, так очень старался для них, чтобы расположить в свою пользу. Как все равно вина выбирал и к градусам прикидывал.

— А ну-ка, какие у вас тут примечательные есть, ну-ка?

Очень старался говорить, который постарше. У него отвислая губа, красная и мокрая, даже рукой ее подбирал. И в глазах у них туманность и в голосе запал. А доверенный-то объясняет:

— Эту вот я знаю... ничего... А эта с жилкой... А эта полукровка... Ах, шельма какая, Нюшка...

А старший крякает и пенсне надел, по карточке щелкает пальцем.

— А, че-орт... тощая какая! Девочка совсем... а, че-орт!..

Как камни ворочают, с одышкой.

— А у этой фигура... И с истерикой даже...

Такой знаток оказался доверенный, даже нельзя было поверить. Очень про дело хорошо говорил и тут специалист.

А я стою, смотрю на них от портьеры и думаю: «Ведь это что! Колюшка-то этого не видал...» А у него даже остервенение против этого. И вот ему тогда лет девятнадцать было, а он ни-ни! Это я знал, и Луша знала по некоторым приметам, а так я не мог с ним про это обсуждать — стыдно было.

И вот весело они так выбирали. Эту, а потом откажется и скажет: вот эту лучше. Увидали, что я у портьеры стою, и говорит старший:

— Не засти! Пошел!..

Вскорости потребовали метрдотеля и, конечно, заказали. И как прибыли спустя время три по заказу, то коридором были проведены в кабинет. А прибыли, как всегда в таких случаях полагается, самые опытные, и началась мазь.

Выбор выбором, а метрдотель-то тоже очень хорошо понимает, которая занята, а которая свободна. Заказывать ужин. А уж тут блюда самые рискованные. Конечно, суть-то в вине, но и блюда тоже... Такие блюда можно

сотворить, что и в картах не сыщешь. Вот тут-то и мазь!.. И по произвольному тарифу. А что они могут понимать, которые из Сибири? Им покрепче да позабористей, да чтобы кошельку не в обиду. А обида у них часто наоборот.

Скажи ты ему — крем де ля рень... Он за сладкое считает, а тут суп. И ему даже приятно. А порция-то в два-три целковых! Или риссоли... А, говорит, соленый рис! Да не угодно ли пирожков, а не рису! Для некоторых даже развлечение. А из них, этих самых зефиров, есть такие, которые наш прейскурант вот как знают, и потом, у них тонкая фантазия. И они знают, что надо, чтобы о них метрдотель помнил. И должна она как следует повести гостя, а особенно такого сорта. Есть из них очень падкие, гости-то. У него ноги, как у петуха, извините за слово, сводит и в губах судорога, а она с прохладной истомой:

— Ах, как страшно есть хочу!.. Ужасно!

И есть-то она не хочет, а говорит так свирепо, чтобы раздразнить. И сейчас карту. И того-то не могу, и это противно, и так, и эдак, и ручку отставит, и шеей так, и глазами обожгет. И давай, и давай — то того, то того... Эта ведь не такая, как в маленьких ресторанах. Там и сорт иной, помельче. Там просьбой и глазками, и там она есть по-настоящему хочет, как человек. Там она, может, день не ела. Там она выпрашивает с осторожностью: можно ли мне котлетку съесть или ветчинки... А тут она прямо командует. Дайте острые тефтельки по-кайеннски! Вот за остроту-то и навар. Так их порция — полтора, а за остроту-то примасть — три с полтиной! Да гранит виктория по-парижски! А по-парижски-то, может, и сам главный повар не знает как. Переложил лист салату на другое место, вот тебе и по-парижски! Бывало.

Мы-то уж понимаем, какая тут демонстрация идет. И вот еще такие господа очень любят приводить барышень к градусу, и ресторану, конечно, выгодно, чтобы вина выходило в норму. Так для этого подставляются чашки полоскательные хорошего фасону, конечно, для отлива, будто для прополаскиванья рта. И они умеют вовремя найти какую соринку или уронить в бокал крошку какую, и сейчас вон. Или опрокидывают по нечаянности. Уж как следует стараются.

И вот приехали три женщины, очень выразительные. Ну, и как всегда. Сперва более-менее короткий разговор

и примериванье, а потом все живей, и так далее. На разжиг пошло ходом. С вывертами и тому подобное. И уж как стали до десерту доходить, то пошло как следует, беззастенчивое приближение. Каждый по своему вкусу себе распределил. Один, который постарше и губу рукой подбирал, облюбовал совсем легенькую, и лет восемнадцать ей, и она через плечо, закинув голову в пышной прическе, бокал к нему свой тянет и через лоб смотрит, а он ей шейку щекочет, козу делает... И вообще у всех что-нибудь, как игра.

И вот мне тогда случай подошел, как бы полное исполнение желаний.

Покружились они так на словах, разожглись, насмотрелись на кофточки и шейки, — одна извинилась и корсет свой стала перед зеркалом чуть ослаблять и чулок сквозной поддернула, — и пыхтенье стало усиливаться у всех, как на трудной работе, и приказали автомобиль вызвать, за город, значит, катнуть для продолжения. И потом один, помоложе, стал фокусы показывать. Что-то под столом руками делал, вытаскивал что-то из сюртука и потом стал свою штучку за ушками щекотать и по волосам гладить. И как ни погладит — пять рублей золотой и вытянет из шевелюры. И ей за горлышко опустит. И другим это очень понравилось, и стали просить. Он и им тоже напускал за шейку. И так они тут стали ежиться от щекотки и делать разные движения всем телом и такой пошел азарт с пыхтеньем, что все распалились до неузнаваемости. И потом стали трясти барышень, и у них разные монеты из-под платья стали выскакивать — и рубли, и двугривенные, и золотые даже, и началась ловля монет. А это все для фокуса.

Вот фокусник-то вдруг и говорит:

— А где же десятирублевый?

И стал прикидывать, куда он мог задеваться. И тогда стали играть в сыск-обыск.

— А не застрял ли за корсетиком? Дозвольте ревизию сделать? позволите?

— Пожалуйста, только не щекотайте...

И все пошли в сыск-обыск. И мне из-за двери все слышно и видно в щель. Такой смех!.. И взвизги пошли.

— А не попал ли в чулочек? С вашего позволения... Или сюда?

— Ах, нет, нет...

— Нет, уж вы покажите... за спинку не закатился ли?..

И разные подробные замечания насчет туалетов. Да что говорить, не то еще бывало. А старики так хуже молодых. Нарочно себя распаляют.

Наконец уехали на автомобиле дальше. И вот как стал я прибирать кабинет, то нашел пару пятирублевых и три полтинника, в углы откатились. Держу их на ладони и думаю — положить в карман? Ведь как сор они для гостей, суют их без толку... И положил их я в карман. Одиннадцать с полтиной!..

Стал прибирать, а в голове разные мысли все про находку. Вот это им, тем, за обыск уплатили, а я их вот взял... Стал по всему кабинету елозить, под кушеткой пересмотрел, под коврами... Еще сорок копеек нашел. Подхожу к столу, смотрю... И даже во мне дрожь. Смотрит из-под стола бумажка... Беловатая и кружок черный, краешком. И сразу постиг — не простая это бумажка. А тут еще номер пришел помогать в уборке, а во мне трясение... Увидит. Говорю ему: неси подносы с посудой. Понес он, а я нагнулся и подхватил. И на ощупь узнал, что не одна бумажка. Развернул к сторонке — пять сотельных, в четвертушку сложены. Выронил гость, значит, как под столом деньги вынимал для фокусов. Так во мне все и заходило... Руки-ноги дрожат, в глазах черные кружочки... Вот как Господь послал. Все думал, как бы скопить, а тут сразу — на! Смял их, завернул брюку и в сапог поглубже... Хожу как угорелый. И потерять боюсь. Побежал в ватер, переложил из сапога в карман, потом вспомнил, что фрак оставляю в официантской, как бы не забыть, засунул под мышку на голое тело, и оттуда вынул, спрятать не знаю как, чтобы не потерять.

Крутился я с ними — страсть... И боязно, что схватятся, и жалко. А может, они их там потеряли где! За мной ни разу никогда не замечено, а им что! Они, может, в один час больше простреляют... И без бумажника нашел. Вот Луша-то все собак мохнатых видела! К деньгам и видела, черные кружочки-то! Так у меня в голове-то как дым. Полбутылки шампанского мы выпили с номером, который со мной убирал. И шампанское-то никогда не любил...

Они, значит, в первом часу укатили, а я все минуты считаю. Два пробило, кончено Не хватились. Давно бы пора схватиться... Пьяные теперь совсем.

Метрдотель меня зацепил:

— Чего у тебя брюка заворочена? По зале бегаешь...

Испугался я даже. И как убрались — домой. Так побежал, побежал... Это мне сам Господь, думаю. И уж стал подходить к дому, и вдруг как искра в глазах. Вижу вот Колюшку... И как нарочно что повернуло в мозгах и вылезло, как мы с Кривым поругались, что он пьяный кричал, — что знаю, мол, вас, интендантов-официантов, как по чужим карманам гуляете, — он после того скандалу не в себе был. Ходил-ходил так все, щелкал-щелкал пальцами да вдруг подходит и говорит:

— Может, я и не имею права просить отчета, а меня смущает мысль...

— Какая такая мысль? — спрашиваю.

— А вот. Вы нас кормите-питаете... а правда, что Кривой кричал?

Ну, я ему и ответил. Я тогда сгоряча пощечину ему закатил. Вот тебе — питаете! Вот тебе! И потом такое со мной вышло, что от сердца всю ночь страдал, а Колюшка ничего, даже потом смеялись и у меня на постели сидел.

— Я, — говорит, — вас очень хорошо знаю... Простите...

Ну, мы тогда с матерью порадовались за такое его чувство, потому он у нас очень прямодушный вышел, даже до злости.

И вот перед нашими воротами совсем встал он мне перед глазами, как тогда смотрел на меня. И остановился я у фонаря. Не знаю, как быть. И слышу, как они у меня в боковом кармане хрустят, проклятые. Значит, краденые деньги в дом тащу... кормить-питать. Никогда я ничего подобного раньше, и Колюшку по щеке отлупил. Не могу идти на квартиру. Страшно себя стало. Да что же это? Значит, всю жизнь насмарку? А она-то, моя жизнь-то каторжная, одна у меня была, без соринки была... Одно мое, эта жизнь без соринки. Всем могу плюнуть, кто скажет, не только сыну! Сам Господь, думаю, теперь на меня смотрит... И ждет он, как я распоряжусь... Может, нарочно и послал бумажки, чтобы знать, как распоряжусь...

Стою у фонаря. Извозчик-старичок едет и спит, а мороз здоровый. Еще окликнул я его, чтобы не замерз, а он как вскинется да как ударит от меня... Такой меня страх охватил. И пустился я назад, бегом.

И в глазах у меня жгет, чувствую я, что очень хорошее дело делаю. И еще себя хвалю: так, так. Вот Господь послал, а я не хочу, не хочу. Вот... И никому не скажу, что сделал. А сам про себя думаю, мне теперь Господь за это причтет, причтет. И бегу и думаю, как правильно поступаю. Кто так поступит? Все норовят, как бы заграбастать, а я вот по-своему! И боком думаю, с другой стороны, будто слева у меня в голове: дурак ты, дурак, они все равно их пропьют или в корсеты упихают. А я, с другой стороны, будто справа у меня, думаю: будет мне возмездие и причтется...

Может, и причлось... Так полагаю, по одному признаку, — причлось. В городе незнакомом старичок один на морозе теплым товаром торговал... Причлось, может быть... Может, и за это...

Прибегаю к ресторану — темным-темно, огни потушены. В гостиницу нашу, где купцы остановились. Коридорный Степан спрашивает:

— Что тебя прохватило? Еще не приезжали... Зачем понадобились?

— Деньги оставили под столом...

— А-а... Получить захотел? Много ли?

Народ у нас очень любопытный.

— Пять сотен!

— Да ну?! Пя-ать сотен!.. В бумажнике?

— Голые... Хотел в контору сдать, а уж закрылась...

— Гм... — говорит. — Надо бы в контору... Только пятьсот?

Будто я больше нашел!

Стал ждать. Вот часу в шестом приезжают. Старика под руки волокут, и он весь растерзан, крахмальная сорочка сбоку вылезла, галстух мотается, и часы из кармашка выскочили и по коленкам бьют. А волокли его фокусник тот, тоже в надлежащем виде, но на ногах стоек, и швейцар снизу в спину поддерживал, как на себе нес. А тот мычит все — кра-кра... а докончить не может. И потом нехорошими словами...

— Не ххxo...чу!.. Кра!..

И губа у него совсем вывернулась, как красный лоскуток в бороде. Уперся на последней ступеньке ногами, назад на швейцара откинулся и того шубой накрыл. И тут с ним нехорошо сделалось, лисиц стал, конечно, драть, на ковры... А не сдается, все кракает. Ножкой топочет, прямо на шубу, на угол попадает. И коридорный тут помог. Подхватили все его за шубу и понесли в номер.

Доложил коридорный про меня фокуснику, и позвали меня в номер. Старик в шубе на кресле сидит, с себя обирает и на ковер сплевывает, а по воздуху пальцами все, как щупает, и опять кракает, а фокусник окно раскрыл, обе рамы, и из графина, запрокинув голову, воду дует и рыкает в графин. Увидал меня.

— Тебе еще чего, рыло?

И выложил тут я одиннадцать девять гривен, которые подобрал, заодно уж и пачку.

— Вот, — говорю, — сударь: после вас по уголкам подобрал...

Он на меня уставился, лоб потер, на деньги посмотрел и полез в карман. Сперва в потайной, в брюках сзади. Вытащил сверточек в газете, пошевелил и на стол бросил. И много там было разных. Потом полез в боковые, в жилеточные, в разные и давай выворачивать все, а сам ворчит и черта поминает. И тут у него и гладенькие, и скомканные, и в полоску, и трубочками, и звонкие. Со стола падают, мелочь рассыпал, из кошелька стал вытряхивать. Считал-считал. Потом уставился на лампу.

— Все равно, — говорит, — давай!.. Ничего больше?

Сказал, что все вот. Вытянул он тут пятишницу из кучки и дал.

— Ты... человек... из парка? — спросил.

Сказал откуда. Посмотрел он на меня сонно, так вот обе руки поднял и замахал.

— Ступай, все равно... Кланяйся Краськe...

Очень был сильно выпимши, хоть и на ногах. Спросил меня Степан, — у двери он стоял и слушал, — много ли дал. Узнал, да и говорит:

— Охота была носить... Он и не помнит-то ничего...

И как пришел я домой, Луша в тревоге. Что да что? Сказал ей, что с гостями задержался.

— А у нас-то, — говорит, — до четырех гости у жильцов были, и Колюшка жиличку прогуливать ходил, угорела она... Только как бы чего не вышло...

— Чего это такое — не вышло?..

— Да больно за ней ухаживает и дипломат подает... В щелку к ним, — говорит, — смотрела, а он так с нее глаз и не сводит. А жилец-то не замечает ничего, как слепой... А она такая вольная, как говорит с ним, прямо его Николаем зовет... Хоть бы ты, — говорит, — как-нибудь Колюшке замечание сделал...

И я-то, надо правду сказать, замечал это и беспокоился.

Другое бы что надо замечать...

XII

Прикопилось у меня на книжке к февралю рублей восемьдесят, потому что очень хорошо шли чаевые. В жизни очень бойко стало. У нас, по случаю войны, бывало много офицерства, и вообще по случаю большого наплыва денег на казенные надобности очень широко повели жизнь господа, которые близки к казенным надобностям. Совсем неизвестные люди объявились и стали себя показывать. И потом пошла страшная игра в клубах, круговорот денег, а это для нашего дела очень полезно: выиграет и для удовольствия покушать придет под оркестр, и проиграет — может прийти для отвлечения от тоски.

И потом у нас новые празднества в ресторанах пошли, чего раньше не было: пошли банкеты. Это такие парадные ужины, и пошел новый сорт гостей, которые очень замечательно могли говорить про все. Сердце радовалось, как резко говорили.

Что хорошего увидишь в ресторане, а вот и у нас, оказывается, не клином сошлось. Очень заботились и даже горячились. И вот как много оказалось людей за народ и даже со средствами! Ах, как говорили! Обносишь их блюдами и слушаешь. А как к шампанскому дело, очень сердечно отзывались. И все-то знают, как надо и что, потому что очень образованные. И сколько раз посылали телеграммы... Очень хороший был нам доход и для ресторанов. Служишь, рыбку там подаешь, а сердце радуется, потому что как бы для всех старались.

И не осталось без последствий, потому что у нас Икоркин совсем разошелся. «Мы, говорит, гостям должны смотреть в глаза, как собаки, и ждать подаяния, а это надо уничтожить. Чаевых не брать, а пусть платят со счета в кассу. И чтобы был день для отдыха и семьи и лучше

обходились». Вот шпикулентная голова! «Теперь, говорит, погоди! Не за ту тянешь, оборвешь!» И тогда многие в общество приписались. Ах, какой верный человек оказался, настоящий товарищ и друг! Потому что сам все испытал и понимал все.

— Чего, — говорит, — смотреть и ждать от ветру! Мы сами должны! Кому до нас дело?

Очень верно и резко говорил. А если, говорит, сидеть, только и будешь что по шеям получать.

А тут и затосковал Черепахин. Опасался, что заберут его в мобилизацию, как он был солдат. Часто, бывало, говаривал:

— Очень мне грустно вас покидать и помирать вдали, в пустыне... Хоть бы чем мне проявиться, а то так все околачиваюсь с проклятой трубой.

И вот, в феврале так, и говорит мне с тревогой:

— Выйдемте на чистый воздух...

Удивился я этому очень, и потом, он в последнее время стал какой-то непонятный и капризный. Вышли на улицу, как раз в воскресенье было, вот он и говорит:

— Не подумайте, что я для себя, а только может быть беда!..

И захрустел пальцами. Какая беда?

— А вот какая. Я в праздник на катке играю, и очень больно видеть. С Натальей Яковлевной офицер один все гуляет под ручку и коньки ей крепит...

Так он меня поразил.

— Это разве хорошо? Они неопытные, а он так с ней обходится, что все заметно...

И вспомнил я тут, как он мне раньше допрос делал.

— И во тьме ее сопровождает...

И начал говорить, что скандал из-за Наташки на катке был у офицера со студентом, который с ней раньше катался. И вдруг вынул газету и показал:

— Прочтите, если вру. Тогда я из оркестра убежал, чтобы Наталью Яковлевну домой увести, а то бы и она в протокол попала.

Прочел газету — верно, сказано про скандал из-за барышни.

Сейчас на квартиру — и матери открыл. И пошло тут. Та на Наташку со всякими словами, очень она раздражи-

тельная была. А та хоть бы что! Перекинула косу, заплетает и так дерзко смотрит.

— Это, — говорит, — вам кто же?.. Черепаха сообщила? — так насмешливо. — Ну и каталась! Что же тут особенного?! Это подругин брат, и подруга с нами каталась...

И так просто объяснила.

— Можете проверить!.. Только грязные людишки могут так клеветать!

А Черепахин все слышал. Вышел из комнаты и на меня с укором посмотрел. И прямо к Наташе:

— Наталья Яковлевна, зачем? Я хотел вас защитить от неприятности... Очень испугался за вас...

И даже губы у него запрыгали. И ушел в комнатку. И Наташке стало совестно. Пошла она к нему и постучала.

— Поликарп Сидорыч, отворите! не сержусь я!.. Что за глупости!..

Но он не отворил ей дверь. И Луша даже ее пристыдила:

— У, дура, а еще образованная! За что человека-то обидела?

И не придали мы значения этому случаю.

И вдруг все в жизни моей и перевернулось. Началась мука и скорбь.

Был день воскресный, и такой ясный, солнечный, веселый день. Еще я газету купил и стал смотреть про биржу. Оказалось, сразу я разбогател на шестьдесят рублей за день. А это так вышло.

Кирилл Саверьяныч очень посочувствовал желанию моему насчет домика и отыскал для меня средство.

— Самый хороший путь — бумаг купить на бирже... Если при счастье, можно капиталами ворочать...

И стал объяснять, но я ничего не понял.

И заворожил он меня разговором.

— Только надо через Чемоданова. Он хоть овсом торгует, но очень знает, до тонкости...

Тот нам и посоветовал.

— Теперь, — говорит, — по случаю войны заводу тыщу пушек заказали, мне один верный человек шепнул. Спешите, пока публика в неизвестности насчет пушек. Сливочки-то и слизнуть...

Кирилл Саверьяныч так значительно сказал:

— Представляется случай!..

Дня четыре я крепился, а бумаги-то на шесть рублей вверх. Злость взяла, словно у меня из кармана вынули. Взял я деньги с книжки и пошел к утешителю моему. А тот уж купил для себя и сотню нажил. Согласился за мой счет поехать в контору. Поехали.

Помещение замечательное, все медь красная и дуб мореный. Потолки стеклянные, и даже хоры, как в церкви, на столбах. И такой щелк на счетах, и все очень чисто одеты, в модных воротничках, молодые люди и очень деликатные. И когда мы сидели, прошел в мягких сапожках один кургузенький и строгий, мягко так, как кот крадется, и вдруг к нам:

— Делают вам? — и строго из-под пенсне посмотрел на прилавок, где уж один нам, на косой пробор франтик, на бумажке высчитывал.

Очень заботливо обошелся. А мимо нас то и дело молодые люди с ворохами выигрышных и других билетов. Звонки звонят, кассиры так пачки в резинках и пошвыривают — необыкновенно. И барыни разодетые всё деньги меняют и получают. Старичков под руки водят за деньгами слуги и охраняют. Такая вежливость...

Дали мне бумажку, взыскали семьсот тридцать рублей, а бумаг записали на меня две тысячи. Ничего я не понял, но Кирилл Саверьяныч сказал, что так все обставлено по правилам, что нельзя бояться.

— Тут даже образованные не все понимают, а можно только на практике. У них головы-то какие! Со щучки одни щечки кушают!.. Политика финансов! и всем выгодно. Оборот капиталов!.. У нас недавно началось, а за границей все извозчики занимаются, потому там и богатство...

И за неделю я нажил сорок пять рублей, а как посмотрел в газету в воскресенье, сразу за один день на шестьдесят рублей обогатился.

И в таком веселом расположении был я в то воскресенье, что прямо все хотелось обласкать и сказать хорошее слово. И пироги удались на славу. И только сели мы за пирог и я рюмочку водки праздничную выпил, как раз и входит в квартиру с морозу наш новый жилец.

XIII

Очень был здоровый мороз в тот день, а он заявился в одном пальтишке. И подумалось мне... Вот мы сыты, слава Богу, и в тепле, а жилец этот с барышней совсем бедные люди. И по виду очень симпатичные были. Ему-то лет двадцать пять было, худощавый, черноватый, сурьезный по взгляду, а барышня-то совсем молоденькая, лет восемнадцати, беленькая. В одной комнатке, а по разным паспортам жили. Их, конечно, дело. Он книги продавал от магазинов, образцы разносил, а она на курсах училась. И имущества у них всего было ящик с книжками да подушки с одеялами. Так что мы им поставили диванчик и кровать. И Колюшка с ними очень быстро обзнакомился через Васикова своего.

Тихие были жильцы. Он-то часто в разъездах бывал с книжками, а барышня с утра уходила и до ночи. И так с ними Колюшка за четыре месяца сдружился, особенно с жиличкой, что Луша стала опасаться за его поведение. Долго ли до греха! Она очень свободная и красивая, и мой-то недурен, а жилец в отлучках, тут-то и бывает. И даже Николаем его стала звать, и Луша раз слышала, как та с ним чуть не на «ты» стала. А то заберет его и уйдет до трех ночи. А жилец как слепой. Мало того! Раз отпустил ее с ним дня на два куда-то — проводить к тетке, в другой город.

Намекнул я насчет всего этого Колюшке, а он хоть бы слово.

— Перед Богом,— говорю, — ответишь, людей можешь расстроить...

Никаких разговоров, и даже улыбается. А Луша так из себя и выходит:

— Прелюбодеяние у них может быть... Да еще на моей квартире! Чуть что — выгоню!..

Но только та очень умела к себе расположить и ласковая была со всеми страшно. И к Луше так и ластилась:

— Милая вы моя старушка-хлопотушка! У меня мама такая же...

И давай ее целовать. А Луша и растает. То, бывало, на нее зуб точит за Колюшку, а то Наташку ею корить начнет:

— Вот ты какая дылда бесчувственная к матери, а вот жиличка-то лучше тебя меня уважает, хоть и образованная...

Зато от жильца мы слова не слыхали: сумрачный и дикий, и как дома, все по комнатке из угла в угол ходит.

Так вот, пришел он с морозу, и видно, что продрог. Смотрю я, как пирог так душисто дымится, и повернулось у меня на сердце Вот, думаю, живут люди, обедают не каждый день, хотя и очень образованные, и пирожка-то у них никогда не бывает. И сказал я Луше:

— Вот что. Позовем жильцов, пусть пирожка поедят... Им в охотку.

И она одобрила:

— Ну что ж... Все-таки они образованные люди и всегда аккуратно платят...

Пошел я к ним и пригласил. А Колюшка, конечно, уж у них: как квартиру снял. И очень он, видно, удивился, но потом и сам стал просить. Жилец-то постеснялся было, смотрит на свою, а та, Раиса-то Сергевна, меня за обе руки взяла и так ласково:

— Оченно вами благодарны, и мы вас так любим. Ваш Николай нам так много про вас хорошего насказал...

И так мне их тут жалко стало. Как сиротинки сидят в комнатке одной. И так все прилично, и книжечки, и портретики по стенке, где барышня спала. И картинка Божией матери, как она над младенцем плачет.

И стали кушать пирог, но больше молча, только барышня еще имела со мной разговор про посторонние предметы. И за Колюшкой я таки хорошо заприметил, что все на нее посматривал, и чашку ей подаст, и все... А тот, жилец-то, все стеснялся. И одежа на нем потерта была сильно, а тут все-таки Наташка... Но ели с аппетитом. Только раз и сказал жилец:

— Прекрасный пирог. У мамаши я такие пироги ел...

И Раиса Сергевна даже вздохнула и сказала, что очень любила лепешки на сметане. А Луша им еще по куску. Очень ей пришло, что похвалили.

И Черепахин был приглашен, но только все конфузился женского пола. Нескладный он был, лапы красные и в глазах спирт, потому что он стал очень сильно зашибать по случаю тревоги. И тут всё рюмку за рюмкой. И такая в нем смелость дерзкая объявилась, а может, и с конфузу,

но только даже приглашения не дожидался, а сам все наливал. Луша мне все мигала, но я же не мог его остановить. Ну, он духу и набирался. А Наташка его все на смех. Вот, дескать, у нас Черепахин может кочерги гнуть, и от разбойников произошел, и другое там. А тот хлоп и хлоп. Даже все удивлялись, что так много пьет и без закуски. И как нахлопался, вдруг и говорит жильцу:

— Скажите, господин, от чего в человеке бывает смертельная тоска?

Очень удивил разговором. А Наташка как прыснет!

Луша ей пальцем пригрозила, а жилец только пожал плечами и улыбнулся. «Очень трудно, говорит, отвечать».

— А скажите, — говорит, — вот что. Человек должен стремиться или на все без внимания? И как может быть жизнь на земле, если человек не должен стремиться? Должны быть планы, верно?

Такой непонятный разговор повел, что нельзя понять. И жилец что-то стал объяснять, но он опять свое:

— Ежели человек какой скучает в пустом занятии, как ему надо стремиться? Если всё насмешки и пустое занятие? Ответьте, как образованные люди знают...

И стал лоб растирать, потому что у него в глазах как кровь и, должно быть, кружилась голова. А тут, как по телефону, и заявляется к пирогу Кирилл Саверьяныч. Так и рассыпался перед жильцами:

— Очень приятно с образованными людьми и все это самое...

И пошел говорить и себя показывать, потому что очень много знал из книг. И про законы, и про жизнь, и про машинное производство. И стал укорять про непорядки высших лиц и ругать всех за бунты. А жилец хоть бы слово. И Колюшка ни гугу. А тот так соловьем и заливается. И так ему пришло по вкусу, что против него никто не может, что даже налил себе рюмку и стал просить жильца выпить и очень удивился, что тот не пьет.

— Очень, — говорит, — трогательно видеть такое образование и мудрость. Когда наука дойдет до пределов, все изменится. А то у нас очень много непонимающих людей...

А жилец улыбнулся и сказал:

— Все идет своим порядком.

— Очень верно изволили сказать. — Такой вежливый стал в разговоре. — И позвольте спросить, вы не на государственной службе изволите состоять?

А тут вдруг Черепахин и вышел из молчаливого состояния. Расправил плечи и как в воздух:

— Не за ту тянешь, оборвешь!

Очень всех развеселил, а Кирилл Саверьяныч на себя не оборотил и очень хитро намекнул:

— А вы не тяните и не оборвете... все это самое... — и по рюмочке позвенел пальцем.

Но тут жильцы поднялись, и Колюшка с ними, и ушли в комнату. И Кирилл Саверьяныч и говорит:

— Очень вы должны быть рады, что такой у вас жилец. Он очень образованный и может хорошо повлиять. И я замечаю влияние, но... — и тут мне на ухо: — вы посматривайте!..

— А что?

— Насчет барышни... Я кое-что замечаю... Даже... у них близкие взгляды...

Сказал я, что и меня беспокоит.

— Так он вам и экзамена не сдаст. Увидите! Теперь такое время, что даже могут жить втроем. Это как у французов, я это хорошо понимаю. Мне один француз из винного магазина, которого я брею, все подробно объяснил, как у них происходит, очень свободно... От этого-то и безнравственность и смуты... И может совсем прекратиться население, как во Франции... Это нужно понимать!

А тут вдруг телеграмму! Так мы все перепугались. А это жильцу. Жилец мигом собрался и ушел с книгами. А тут вскорости и Колюшка с жиличкой пошли. Смотрим в окно, как они пошли, а Кирилл Саверьяныч мне:

— И вдруг тут будет роман! Не сдаст он тогда экзамена, помяните мое слово!.. Лучше скорей примите меры.

Потолковали мы с ним про жизнь, и Черепахин тут сидел, дремал. И удивил тут меня Кирилл Саверьяныч:

— А придется, должно, дело прикрыть... — И стал сурьезный.

— А что такое, почему?

— Невозможно! Мастеришки скоро по миру пустят. Какой теперь народ-то стал — зуб за зуб! У него штаны одни да фальшивая цепочка без часов болтается, а за горло хватает! Чтоб по восьми часов работать и прибавку! а?

Наскандалили, два убора спалили и ушли гулять... И вот в праздник заведение запер...

А тут Черепахин голову поднял и бац:

— А вы машинами!

— Чего-с?

— Ничего-с. Заведите такие машины, как рассказывали, и не тревожьте людей. Или чтобы вам городовых прислали стричь и брить...

А Кирилл Саверьяныч потряс пальцем в его направлении и говорит:

— Вот оно, необразование-то наше!

— Ваш карман, — говорит, — очень образованный.

Но Кирилл Саверьяныч не обратил внимания и стал говорить рассказ про желудок и члены, которые отказались работать на него, и тогда наступила гибель всех.

— Все, — говорит, — производства прекратятся, тогда что будет?

А Черепахин ему:

— Головомойка!.. — И кулаком по столу.

А тот ему наотрез:

— Я не могу с необразованным человеком рассуждать. В вас, во-первых, спирт, а во-вторых — необразование. Тут надо в суть смотреть, а это не в трубу дуть!

И вдруг, смотрю в окно, — подъезжает извозчик и на нем Колюшка. Что такое? Входит и говорит, что книги надо отправить, потому что жильцы квартиру покидают, едут в Воронеж. У барышни дядя помирает, и они сейчас прямо на вокзал, чтобы не опоздать, а он за багажом приехал.

Весь их скарб забрал и умчал. Еще Луша сказала:

— Не с места ли его прогнали... В лице даже переменился...

Что же делать!.. Велел я Наташе записку про комнату писать на ворота. Написала она записку, живо это оделась, перед зеркалом повертелась и шмыг. Куда? В картинную галерею.

А уж мне пора в ресторан — и так запоздал. Вышли мы вместе с Кириллом Саверьянычем и только повернули за угол, он мне и показывает пальцем:

— Глядите-ка, а ведь это ваша Наташа там...

Пригляделся я и вижу — в конце переулка идет моя девчонка под ручку с офицером. Так меня и ударило. Она,

она... у ней беленькая эта самая буа[1] из зайца. Я за ней. А они на извозчика сели и поехали. Добежал до угла, спрашиваю — мальчишка стоял — куда рядили?

— В театры...

А в какой — неизвестно. Кирилл Саверьяныч стал меня успокаивать:

— Это вы так не оставляйте, тут может очень сурьезно быть...

Побежал на квартиру, сказал Луше, а та — ах-ах... А Кирилл Саверьяныч еще накаливает:

— Это вы ее распустили... У меня тоже Варвара в голову забрала — хочу и хочу на курсы, так я ей показал курсы!.. И теперь очень хорошо за бухгалтером живет...

А Луша бить себя в грудь.

— Все-то ей косы оборву!.. — И на меня: — Ты все, ты! Ты при них про пакости ваши ресторанные рассказываешь...

А кто ей ленточки да юбочки покупал да кружева разные? А утешитель-то мой на ухо строчит:

— Опасно, ежели с офицером... У них особые правила для брака.

И Черепахин еще тут ко мне, чуть не плачет:

— Я вам говорил!.. Берегите!..

А Кирилл Саверьяныч так даже с торжеством:

— А может, они и не в театр? Вон в газетах было, как в номерах за шанпанским отравились после всего... Драма может быть...

Вот тогда мне в первый раз ударило в голову, так все и зазвенело и завертелось... Скоро отошло. А Луша уж шубу надела, куда-то бежать с Черепахиным, отыскивать. Но тут Кирилл Саверьяныч рассудил:

— Все равно, если худое что, уж невозможно остановить. Положитесь на волю Творца. А если они в театр, так он должен ее довезти до места, откуда принял. Это всегда по-вежливому делается. Вот и надо их сторожить и указать на неприличие...

Так и решили. И Черепахин вызвался сторожить. И все мы к трем часам вышли и ходили по окружности, измерзли. И к четырем Поликарп Сидорыч усмотрел с конца переулка и рукой махнул мне. Вижу, слезли они с

---

[1] Меховой женский шарф (искаж. *фр.* boa).

извозчика и офицер ей руку жмет, а она так и жеманничает и с жоржеткой играет перед его носом. Я сейчас выступил и говорю:

— Это что такое?

Так и села.

— До свиданья... — говорит.

И пошла. А тот на меня так строго:

— Позвольте!..

— Нечего, — говорю, — позволять, а вам стыдно! Порядочные люди с родителями знакомятся, если что, а не из-за угла! И прошу вас оставить мою дочь в покое!

Повернулся и пошел, а он за мной. Смотрю, и Черепахин тут, поблизости, у фонаря сторожит. А офицер в волнении мне сзади:

— Виноват, позвольте... Я требую объяснения... Вы должны...

Я ноль внимания, иду к квартире. Тогда он настойчиво уж:

— Позвольте... моя честь!.. Я должен объясниться!

И публика стала останавливаться, а он мне уж тихо, но с дрожью:

— Я требую на пару слов! Я не могу на улице... Или я вас ударю!..

Обернулся я тут к нему и говорю:

— Вы что же, скандалу хотите? Вы еще так поступаете и мне еще грозите?! Ну, ударьте! Ну?

А кровь во мне так вот и бьет. Только бы он меня ударил! Я еще никого не бивал, но, думаю, мог бы при своей комплекции это дело сделать не хуже другого. А Черепахин совсем близко и руки в карман засунул, трепещет.

— Прошу двух слов, наконец! Вот на бульвар...

А мы уж и квартиру прошли, и как раз тут бульвар. Сели.

— Говорите, а потом я вам скажу! — говорю ему.

— Вот что... Вы ошиблись... Это ваша дочь?

— Дочь, и я не позволю безобразия допускать! Вы не имеете права...

А он мне:

— Виноват... вы всё узнаете... Я познакомился на катке, и мы познакомились... Говорю, как офицер... тут ничего позорного для вашей дочери нет... Я хотел с домом познакомиться...

— Вы, позвольте узнать, — спрашиваю, — подругин брат?

— Да... то есть нет... Но я хотел с вами познакомиться, только не было случая...

Так я тут осерчал! А Черепахин наискосок присел, меня охраняет. И говорю:

— У вас случая не было? Так вы, — говорю, — меня можете каждый день в ресторане видеть, где я таким вот, как вы, господам кушанья подаю. Не рука вам будет-с знакомиться!..

А он так издалека на меня посмотрел и поднялся.

— А-а... Вот как...

— Да, — говорю, — вот так! А если вы еще раз посмеете к ней подойтить, у нас с вами другой разговор будет!

А он мне гордо так, с высоты:

— Не забывайте, с кем говорите! Я вас в участок могу отправить!

— Пойдемте, — говорю. — Желаете?

А он мне вдруг:

— Нахал!.. — И пошел большими шагами, а я ему вослед:

— Так помните, господин!

Но он как не слыхал. А меня Черепахин за руку, как клещами.

— Хотите, я сейчас с ним скандал? Я ему покажу!..

Не допустил я его. А как пришел на квартиру — содом, чистый содом! Луша стоит с иконой и кричит не в себе:

— Перед Казанской клянись! Клянись, стерва ты эдакая! Клянись, что не путалась ты, поганка, шлюха!

А та вся встрепанная, плачет, и крестится, и дрожит. И покатилась в истерике.

— Замучили меня, истерзали!

А кто ее терзал? Ей же все готовое, все... А мать опять к ней:

— Клянись своей смертью, клянись! Ногами тебя затопчу! Славили чтобы нас за тебя? Кому ты нужна трепаная?

Но тогда я это безобразие устранил. Лушу в комнату запер и Наташке все объяснил. Утихла она и ко мне на шею кинулась.

— Папаша, я не знала... Он мне понравился...

А Луша за дверью кричит:

— Я тебе понравлюсь! Я тебе, дармоедке, все косы оборву! На цепь тебя закую!..

А тут вскорости заявился Колюшка. Мать к нему с жалобами:

— Порадуйся, как твоя сестра с офицерами на извозчиках катается...

Не понял он ничего, побелел только. Но как все узнал, увел Наташу в комнатку жильцовскую и стал с ней говорить. И потом свел нас всех и помирил. И такой он стал неспокойный и тревожный и не обедал совсем. Спросил его, — что же, не вернутся? стало быть, можно и сдавать? А он так резко:

— Сдавайте!..

И задумался. А Луша мне:

— Это он по той так скучает. И хорошо, что уехали... А лучше бы совсем не приезжали...

XIV

И был у нас тот вечер как на похоронах. Наташка за ширмочки забилась. Колюшка в жильцовской засел, а Черепахин на каток с трубой пошел, и скрипач ушел в свой кинематограф. И в ресторан я не пошел после такого расстройства. Прилегли мы с Лушей отдохнуть. И уж часов семь было, всполошила меня Луша:

— Дым у нас в квартире, пожар!..

Вскочил я — полна квартира дыма, лампы не видать. В жильцовскую комнату кинулся, а там Колюшка мечется.

— Лампу, — говорит, — оправлял и спичку в угол бросил, на бумаги. Я в печку сгреб, а трубу забыл открыть.

И вдруг звонок. Колюшка отпирать кинулся, пошептался с кем-то в темноте, схватил пальто и — марш.

Что такое? Не пойму ничего, как представление какое весь день. А Луша мне все свое:

— Что-то они это путают, сдается мне... Может, она с тем-то разошлась, а для отводу с квартиры перебралась...

Плетет неведомо что. Через полчаса Колюшка заявился.

— Что, — говорю, — у тебя за маскарад?

Васиков будто приходил на вечер звать, но он только его проводил и отказался. И такая меня тоска забрала, согнал я всех своих и Наташку из темноты вытащил.

— Что вы, — говорю, — как чумовые какие по норам сидите?

Послал за орехами, сели в короли играть, силой заставил, а то уныние. Только и радостного, что бумаги прибыль дали. Нарочно Наташку в короли провел — нет! Надутые все и взятки пропускают. А Луша Колюшку пытать про жиличку:

— Без жилички своей скучаешь?.. Что смотришь-то!

Шваркнул он карты и ушел. И опять все расклеилось. И ужинать не стал. А как стал я спать ложиться, подходит и говорит:

— Вы, пожалуйста, никому не сказывайте, что я жильцовское имущество возил.

— Почему такое — не говорить?

— А потому, что сейчас очень полиция следит и не дозволяет распространять хорошие сочинения... Могут быть неприятности... И вообще лучше ничего не говорите.

— Да кому мне говорить-то? Очень кому нужно!

— Ну, это другое дело... А я вас предупреждаю.

Так меня запутал, что ничего я не понял. А вскорости и Черепахин заявляется с катка. Очень бледный и сильно покачнулся. Да еще бутылку несет.

— Прощайте, — говорит, — ласковые взоры!

Стал спрашивать, что такое, — оказывается, околоточный на катке сказал, что завтра мобилизация его сроку и ночью призовут. В типографии уж печатают оповещание.

— И позвольте, — говорит, — мне напоследок выпить за ваше здоровье и набраться духу...

— Ну, набирайтесь, — говорю, — но чтобы только смирно...

Выпил и я с ним рюмку, а он так и спешит. И вскорости так себя направил, что стали у него глаза в разные стороны смотреть и кровью налились. И вдруг разворачивает бумажку и показывает:

— Вот и освобождение от всего... Освободительный порошок! Если в водке, то очень скоро подействует...

Трахнул я по бумажке, и весь его порошок — фук! И говорю:

— Вы с ума не сходите! Помимо вас нам неприятность... То Кривой от нас удавился, теперь вы ознамenуете! Да что мы, ироды какие, что ли?

И принялся он плакать.

— Все, — говорит, — пропало теперь, Яков Софроныч... Что вы со мной сделали!

— Да с чего вы, с чего? — спрашиваю. — Еще молодой человек, сильный...

А он взял себя за голову и качается...

— Нет душе моей покою, и опротивела мне жизнь... Хоть бы убить кого! Хоть бы раздробить мне что!

Схватил трубу свою, но я вырвал.

— Не скандальте, прошу вас! — говорю. — Наталья Яковлевна спит...

Хоть этим его унять. Притих.

— Да, — говорит, — Наталья Яковлевна... Яков Софроныч! — И так с чувством произнес и в грудь себя кулаком. — Очень во мне сил много, а нет мне ходу никакого... Сдохнуть бы...

— Жизнь, — говорю, — от Господа нам дана, и надо ее прожить...

— Наплевать мне на жизнь! Что я от нее видел? Был я на хрустальном заводе... Папаша мой всю грудь себе отдул на бутылках, матери не знал... Катюшка... от жизни отравилась... А меня на музыку... Сволочь, сукин сын! Зачем он меня на музыку распустил? Подлец!

Стал я его успокаивать. Ничего не действует.

— Грамоте не выучили, а у меня в башке каша... Я, может, знаменитым человеком стал бы, очень во мне сил много!.. А меня вот на это дерьмо пустили. — Это он про трубу-то. — Хозяин, — выругался он очень неприлично, — сирот мальчишек согнал. Я, говорит, им всем кусок хлеба дам и учрежду оркестр духовой... За каждую ноту драли! В Питер возил нас, генералам хвастал... Вот, говорит, что я из дураков сделал... Все с куском хлеба... А? Идите и играйте на воздухе и помните заботы!.. А! Старый черт! А у самого сто двадцать миллионов!.. Дедки моего нет... Застегали на каторге... Он им головы рвал напрочь...

Зубами заскрипел и глаза вытаращил. Стал я его уговаривать — ничего.

— А теперь... в мобилизацию... защищать отечество... Какое отечество? — И опять в трубу ногой...

И потом все на голову жаловался. Простился я с ним и Богом его постращал, чтобы и не думал. И пошел спать... И вот тут началось все...

XV

Надо полагать, что третий час шел... Звонок. Луша меня разбудила.

— Звонок к нам, Яков Софроныч...

И сам я услыхал: резко так. А у нас простой колокольчик был — дребезжалка. Что такое? Подбежал, в чем был, к двери. И Колюшка вскочил, брюки натягивает. И Черепахин выбежал, бубнит:

— За мной... на мобилизацию...

— Кто такой? — спрашиваю.

— Отпирайте! Телеграмма! — так решительно.

Открыл, а там целая толпа. Полиция... Вошли, и враз с черного ходу стук, и один из них сам кинулся открывать. И оттуда вошли. Один чиновник с кокардой, пристав наш еще, околоточный, и еще двое в пальто, и еще дворники.

— Вы хозяин? — чиновник меня спросил.

Сказал я, а у меня зубы — ту-ту-ту. И ничего сообразить не могу. Стали у дверей, пристав у стола уселся, лампу приказали засветить.

— Я должен произвести у вас обыск... Где ваши жильцы? — Это все тот, который был в кокарде, а пристав только у стола сидел и пальцами барабанил.

— Жильцы, — говорю, — уехали сегодня...

— Как так уехали? куда? — И на пристава посмотрел.

А пристав ему:

— Удивительно...

А уж другие по квартире рассыпались, и Луша, слышу, кричит:

— Уйдите, безобразники! У меня дочь раздета...

— Потрудитесь одеться... Где комната жильцова?

А тут Черепахин увидал, что не за ним, стоит с папиросой и цепляется, чтобы себя показать:

— Ночная тревога, а неприятеля нет!

А главный ему:

— Ты что за человек? Кто это такой? — мне-то.

А Черепахин гордо так:

— Обнаковенный жилец, на двух ногах!

— Обыскать его!

Сейчас его — царап! Шарить по карманам. Шустро так, как облизали! Нет ничего. А тот на смех:

— В кальсонах не обозрели! там у меня пара блох беспачпортных!..

Режет им и меня подбодрил. Я и говорю главному:

— Вы, ваше благородие, напрасно так... У меня ничего такого и в мыслях нет...

А уж там жильцовскую комнату глядят; в отдушники, в печку. Пепел разворотили. «Жгли!» — говорят. И я им сказал, что сам весь хлам после жильцов сжег, как всегда. И тут пристав им сказал в защиту мою:

— Я его знаю хорошо... Спокойный обыватель, в ресторане лакей...

А тут Колюшку на допрос: с жильцами знаком? что знает? куда уехали? А во всех комнатах шорох идет такой... Луша с ними зуб за зуб — даже я удивился. И Наташка, слышу, визжит:

— Ах, не трогайте меня!

Колюшка шмыг к ней, и главный побежал. А Наташка стоит в ночной кофточке, руками прикрывается, и в одном башмаке. Постелька ее раскрыта, и тюфяк заворочен. И Черепахин тут:

— Не имеете права! Это безобразие!..

И Колюшка и Луша крик подняли. И я сказал:

— Тут девица, и так нельзя поступать...

А главный мне свое:

— Не кричите, а отвечайте на вопросы. Не в игрушки мы играем.

И пошел меня донимать. Когда уехали, да кто ходит, да то да се...

И тут в столовую целую охапку книг и бумаг Колюшкиных принесли и вывалили. Смотрели-смотрели и цоп — письмо. Почитал и мне:

— Это что значит?

Колюшка посмотрел и говорит, что это был жилец у нас, Кривой, который удавился. И объяснил про письмо директору. Забрал он письма, — разберем про вашего Кривого. Альбом был у Луши с карточками. Смотреть. Кто такой? А этот? Потом насторожился на одного и вдруг уж к Колюшке:

— А это кто такой?

А тот и не знает. А это повар один, приятель мой, и уж помер. Сказал я, кто такой, а тот не верит.

— Это мы разберем...

И забрал. И еще одного парнишку взял, теперь метрдотель в «Хуторке» и семейный человек. Даже удивительно, зачем они понадобились. Этого-то все они разглядывали и что-то мекали. Часа три так возились. Потом

главный и вынимает из портфеля бумажку и показывает Колюшке. А верхушку рукой прикрыл:

— А это не вы писали?

Посмотрел Колюшка, сморщился и говорит:

— Что-то не помню... Как будто моя рука...

И читает ему главный:

— «...перешлю готовое...» Это что «готовое»?

— А-а... Это образцы изданий картинной галереи... Я, — говорит, — для жильца иногда забирал товар и посылал ему по адресу, когда он в города ездил.

А тот так усмехнулся и говорит:

— Я вас арестую.

— Как угодно, — говорит.

Тут уж я вступился:

— За что же вы его? Это ваш произвол!

И Луша на него:

— Не имеете права! Я к губернатору пойду! У нас лакей, у губернатора служит, двоюродный брат...

А тот сейчас:

— Объясните свои слова. Какой лакей, у какого губернатора?

А та врет и врет.

— Не хочу объяснять! — и все.

Тогда он ей свое:

— Ну, так я вас арестую для объяснения...

Так она и села. И тут я вступился. Говорю, что она с испугу, а у нас никакого брата нет у губернатора. Наташка чуть не в истерику, а Колюшка так глазами и сверкает.

— Не запугивайте мать! — кричит.

Тот ему пригрозил. Черепахин тоже про произвол — отстранили.

Осмотреть чердак, чуланы! Побежали там какие... Сундуки осмотреть!

И пошло навыворот. Все перетряхнули: косыночки, шали там, приданое какое для Наташки. За иконами в божнице глядели. Луша тут заступаться, но ей очень вежливо сказали, что они аккуратно и сами православные. И велели Колюшке одеваться. Луша в голос, но тут сам пристав — он благородно себя держал, сидел у столика и пальцами барабанил — успокоил ее:

— Если ничего нет, подержат и выпустят. Не беспокойтесь...

А Колюшка все молчал, сжался. А внутри у него, я-то его хорошо знаю, кипит, конечно. И на его поведение даже главный ему сказал:

— Вы все объясните, и мы вас не задержим.

— Нечего, — говорит, — мне объяснять, потому что я ничего не знаю. Берите.

А тут еще скрипач вернулся поздно с танцевального вечера. Сейчас его захватили, карманы вывернули, там грушка и конфетки с бала. А Колюшка уж оделся. Простились мы с ним. Лушу уж силой оторвали. Очень тяжело было. И повели его с городовыми. И я за ними выбежал. И на дворе полиция. Окружили и повели. Посажались на извозчиков... И крикнул я ему тогда:

— Колюшка, прощай!

Не слыхал он. Повезли... Побежал я, упал на углу, поскользнулся. Ночь. И ни души, одни фонари. Стал я так на уголку, а мне дворник сказал:

— Ступай, ступай... Замерзнешь...

И не помню, как я в квартиру влез. Луша как каменная сидит среди хаоса, а Черепахин ей голову из ковша примачивает. И калит всех на все корки.

— А-а!.. — кричит. — Сами кобели, да еще собак завели!

Очень сильно бушевал. И всех нас очень скрипач утешил. Совсем он слабенький был и сильно кашлял.

— Иисус Христос тоже в темнице сидел...

А Черепахин все геройствовал:

— Я только не могу вас оставить в горе, а то бы я их разворотил!

И потом, когда уж мы всё в сундуки запихнули и мало-мальски в порядок привели, легли спать; но разве уснешь тут, когда на груди камень. А Луша всё плакала. И Наташа плакала за ширмочками. И Казанская при лампадке смотрела на нас, на наше житье беспомощное.

Ах, как горько было!.. И вот какие оказались жильцы... Потом-то я все узнал. А тогда я все проклял, все, и доброе отношение к людям. А что люди? Скольким я послужил, и как послужил! А кто мне послужил? Много я их видел, и много прошло их мимо меня через рестораны... И без последствий. И всюду без всяких последствий для меня. От господ я ничего хорошего не видал. У них, конечно, свои дела, но хоть бы ласковое слово когда... И сколько

было страхов и горя... Слез сколько было пролито по уголкам, как у нас с Лушей... И изо дня в день у нас в ресторане и светло, и тепло было, и всегда неизменно оркестр румынский играл, и господа кушали под музыку и были веселые и довольные... И я служил в тоске и под музыку. До меня ли им, что у меня на сердце и внутри? Ибо все было у них и не о чем им было печалиться. Потому что такое устройство жизни...

XVI

Много прошел я горем своим, и перегорело сердце. Но кому какое внимание? Никому. Больно тому, который плачет и который может проникать и понимать. А таких людей я почти что не видал. Вокруг не видал, с которыми имел дело. Потому что теперь нет святых, которые были раньше, как написано в священных книгах. Теперь пошел народ другого фасона и больше склонен, как бы иметь в кармане лишние пять рублей. И уж потом я узнал, что есть еще люди, которых не видно вокруг и которые проникают всё... Через собственную скорбь познал и не могу поносить, как другие. Совесть мне этого не дозволяет. И нет у них ничего, и голы они, как я, если еще не хуже... Господь все видит и всему положит суд свой.

Не спал я тогда всю ночь и все думал, к кому прибегнуть. И перебрал в уме всех гостей могущественных, которые бывали в нашем ресторане. И потом побывал я у них. И одни совсем меня не допустили, а другие сказали, что это к ним не относится и они ничего не могут. У самого председателя суда был, и он только развел руками и тоже сказал, что это не его дело. А его очень уважали всегда, и всегда все здоровались с ним у нас. И никто никакого внимания. Только поежатся и поскорей бы отговориться.

И повидал же я за это время! И почему такой народ пошел жестокий? И в участке был, и в отделениях разных был... И никто ничего не знает. Взяли, и никто не знает! И в тюрьме тоже — не знаем, получите уведомление. К батюшке, отцу духовному, ходил, а он покачал головой и говорит — зачем так воспитали? Как воспитали? Его училище воспитало, и не воспитало, а выгнало! А у меня-то разве он плохое что видел? И разве он был такой уж плохой?..

Дней пять не был в ресторане, так я расстроился. Являюсь — почему пропадал? Не стал я рассказывать, потому что было мне стыдно. Заболел — и все. И тогда Икоркин меня предупредил еще:

— Имейте, — говорит, — в виду, что у нас в уставе пункт есть для болезни. Могут выдавать из сбережений, но только у нашего общества сейчас пока капиталов нет...

Так мне было тяжело, а он с таким вниманием ко мне, что я все ему объяснил для облегчения. А он вдруг и говорит:

— Вы должны гордиться! Что вы?!

И руку мне пожал, очень чувствительный человек. Чем же мне гордиться?

А он и показал пальцем на зал.

— Вон они сидят, провизию истребляют... Они нам с вами помогут чем? Я теперь все очень хорошо понимаю, что нужно. И вы не беспокойтесь. Я даже очень за вас рад!..

Такой горячий человек. И как начнет в тон говорить, всем на «вы». А раньше, бывало, даже ругался со мной из-за столиков.

— А не похлопотать ли мне, — спрашиваю, — у Штросса? Очень у него большое знакомство...

— У сволочи-то этой! Он в наше общество втереться хотел, но у нас его очень хорошо знают. И потом вот что я вам скажу... Никому не говорите! У нас циркуляр есть... Вас уволить могут из ресторана.

— Это за что же?

— А неблагонадежный вы...

— Да какой же я неблагонадежный?

— А они будут рассуждать? У вас сына забрали — значит, и того... За лиц боятся...

И подмигнул.

— Мы кушанье-то подаем!..

А через неделю так вызвали меня в отделение. Так я обрадовался. Но только мне опять ничего не сказали, а стали расспрашивать про жильцов. А что я знал? И угрожали даже, что вышлют из города, но я ничего не мог объяснить.

И вот когда я совсем пришел в отчаяние и уже не мог аккуратно исполнять свое дело в ресторане, вызывают

вдруг меня на кухню. А ко мне мальчишка-рассыльный подходит и спрашивает:

— Вы будете Скороходов, который в ресторане лакей?

Отдал мне записку и ушел. А это от Колюшки. Как уж он переслал мне — не знаю. И так нацарапано, что насилу разобрал. Написал, чтобы я не беспокоился и что скоро должны выпустить, потому что нет против ничего, и чтобы мамашу и Наташечку поцеловал. Только и всего, но это меня возрадовало.

И потом никаких известий. И к Кириллу Саверьянычу я ходил, но тут меня постигло отношение самое неправильное. Вместо утешения я от него получил упрек и ропот.

— Я, — говорит, — все предвидел, так по-моему и вышло! Вышло по-моему!

Даже пальцем себя в грудь ткнул и очень торжествовал, что по его вышло.

— Мне даже странно, — говорит, — что вы ко мне с таким делом приходите. Какой я вам могу совет подать? Я человек торговый, коммерческий и не могу в такие дела мешаться... Этого я от вас не ожидал!

И в таких мытарствах прожил я с месяц. И раз утречком, когда я вышел из ворот и пошел в ресторан, нагнал меня незнакомый человек.

— Зайдемте скорей в пивную! — говорит. — Я вам могу помочь...

Тревожно так, как боится.

— Скорей, скорей, а то меня могут увидеть...

И побежал вперед, а рукой сзади как манит... Очень прилично одет, и вежливый тон. Как толкнуло меня за ним! Завернул он за уголок и показал мне на пивную. Вошел я и спросил пару пива, но он наторез:

— Я вас сам угощу... — говорит. — Вашего Николая я знаю по партии, и я сам пострадал. И мне поручили вам помочь...

А сам так резко смотрит, как спрашивает глазами.

— Я, — говорит, — должен скрываться от властей, но должен вам помочь. Только мне нужно прибежище и пачпорт. Дайте мне вид на жительство, если у вас есть какой...

Но я сказал — откуда у меня пачпорт, когда у каждого человека только один пачпорт, а без пачпорта я его не могу держать в квартире.

— Тогда, — говорит, — скажите, куда жилец, Сергей Михайлыч, уехал, а то, я их из виду потерял, сидевши в тюрьме... Тогда мы уж выпутаем вашего Николая...

И тут я ему ничего не мог сказать. И он стал тогда жаловаться на свою горькую жизнь. И я ему сказал про свое горе, что вот Николай экзамен должен сдавать, а теперь ни за что сидит из-за жильцов.

— Да, — говорит, — я и сам из-за товарищей погиб...

Пригорюнился он тут, а потом и говорит с печалью:

— Значит, других средств нет... — И схватил меня за руку. — Вот что... Идемте сейчас в отделение и объявимся.. . Единственный путь... Черт с ними! Не могу я больше терпеть! Скажем все, что знаем, и разъясним... И нам будет прощение... Я места себе не найду!.. И тогда вашего сына освободят и мне пачпорт выдадут... А то мне одному страшно идти... И так я хорошо раньше жил!.. И ваш сын может иметь такую судьбу ужасную, как я... Идемте!..

И тогда я сказал ему, что все уж на допросе рассказал, что знал, и вот не освобождают.

— Ну, значит, плохо дело... Значит, ничем я не могу вам помочь.

И ушел. И даже за пиво не заплатил.

И так-то у меня внутри все оборвали, а после этого разговора стало совсем темно. А в заключение всего постиг меня удар с деньгами. Не до них было все это время, и вдруг получаю заказное письмо из той конторы. Требуют с меня полтораста рублей добавки. Что тут делать? К Кириллу Саверьянычу... А он меня дураком назвал.

— Вольно тебе было, — говорит, — дожидаться вешнего снегу! Я свои три недели как продал и двести рублей нажил.

— Да что же вы мне, — говорю, — не сказали?

— А как я мог пойти, если за твоей квартирой теперь наблюдение? Я себя не могу ронять.

Тогда я сказал ему с горечью, что так может поступать только необразованный и бесчувственный человек. Ему стало неприятно, и он посоветовал мне скорей идти и продать, чтобы не погибнуть. И я тогда же продал свои бумаги и понес убытку сто восемьдесят рублей.

Вот тебе и домик мой... Какой там домик!..

XVII

Прошло так месяца два, и Пасха как прошла — не заметили. Наташа мне и заявляет:

— Экзамен сдам и поступлю в магазин в кассирши. У подруги дядя там управляющий, у Бут и Брота, и мне обещал...

Что же, думаю, это очень хорошо. А ведь теперь и мужчины-то образованные даже в кондукторах на трамвае за тридцать рублей служат. А ей место на сорок рублей выходило. Будет билетики выдавать. Училась — вот и награда. И все-таки лучше, чем на телефон идти. А теперь даже для телефона нужен диплом. Очень тесно стало.

— И вас освобожу, — говорит, — от забот, буду платить вам пятнадцать рублей за стол и квартиру, и сама вздохну...

А Луша тут ей и скажи:

— Значит, нам в благодарность... Пятнадцать рублей мы только и стоим...

А она так ей дерзко:

— Что же, нищей мне ходить? Я теперь одеваться должна, все покупать на себя... Теперь самое главное, чтобы хорошо одеваться...

Такая стала свободная.

— Надоело мне оборванкой ходить! Мне тоже жить хочется... Теперь все так смотрят... Из-за вас я должна себя стеснять?

И ни одной-то книжки не прочла, а все ленточки да хи-хи да ха-ха...

— Пока молода-то я, и пожить...

И все-то перед зеркалом вертелась и про свою красоту. Хорошенькая я и хорошенькая... Все ей так говорили, ну и набили в голову.

И с матерью у ней был очень горячий разговор, даже сцепились они. И Наташка-то даже на матери кофту разорвала со злости, что та ее уродом назвала. Ну, я тогда ей и показал: запела она Лазаря. Так я ее оттрепал за косу, прости меня Господи, так оттрепал в расстройстве... Так с матерью обращаться, да еще образованная!.. А она такая упрямая, шельма, еще угрожать:

— Я и уйти могу от вас! Стану на ноги и по-своему буду жить!

Это уж ее в гимназии испортили... Там у них больше дочери купцов учились, — в такую гимназию ее тетка-портниха определила по знакомству, — вот она и взяла с них пример. Вот и наряды-то... Тем-то пустяк — швырнуть на тряпки сто — двести рублей, ну и эта за ними свой грош врастяжку, чтобы хуже не быть.

А соблазну-то сколько! Какие магазины пошли с выставками! Как в свободный денек пойдешь если с Наташкой, у каждого стекла останаливается и зубками стучит. Ах, то-то хорошо, ах, это великолепно!.. Ах, какая прелесть! И как ошалелая, ничего не соображает. И дур этих стадо целое у стекол торчит и завиствуют. Характера-то нет мимо пройтить... А сколько через этот блеск всего бывает! Это надо принять в расчет. И сколько совращено на скользкий путь! Знаю я очень хорошо.

И, с одной стороны, мне было очень приятно, что Наташе место выходило, но и задумался я. На этом деле очень надо много характеру, потому что для барышни очень много зависимости. И так публика поставила, чтобы все было чисто и приятно для глаз. И магазины на это очень внимание обращают для привлечения покупателей. Вот почему и женский персонал имеет ход, особенно красивые и молоденькие. Есть такие магазины, где прямо шик требуется. Все чтобы под один гарнир. И убранство и служащие. Обстановка очень в цене. Уродливую какую барышню и не возьмут. Уж ей надо себя особенно украшать и прикрашиваться, чтобы могла соответствовать для магазина. Ну, и бывает их положение очень нелегкое. У кума моего племянница поступила в магазин шляп, а хозяин стал добиваться любви и внимания. Да... А как она стала упираться, призвал в кабинет, как бы для разговору о товаре, и говорит:

— Или покоритесь на мою к вам любовь, или же я вас завтра прогоню...

И силой целоваться полез. А она в обморок — и теперь в сумасшедшем доме.

А отчего? От раздражения. Наряды эти и прически с локонами заставляют привлекать к себе, и если хорошенькая какая, то в нарядах она такое раздражение может сделать, что и порядочного человека повергнет на преступление, и даже силой можно, что и бывало при невоздержанности и слабом отношении к этому вопросу. И теперь

очень много развелось женского персоналу на службе, и зависимость их коммерческая от мужчин. И зачем мужчинам вступать в законный брак, когда у него в распоряжении масса девиц?.. А долго ли сбиться и погибнуть? Сегодня один управляющий и старший приказчик, а завтра какой покупатель приглядел и стал внимание показывать, а потом еще и еще... И вот сваха Агафья Марковна верно говорит, что брак теперь за редкость, а больше по-граждански поступают.

И я очень тревожился за Наташу, но что поделаешь, раз так необходимо по устройству жизни.

А после Пасхи вышло мне разрешение повидаться с Колюшкой. Через решетку, как с каторжником, разговаривали при людях. Но он ничего, все бодрился. А как стал с нами к концу свидания прощаться, ничего не сказал, а только поглядел со слезами.

Простились мы. Насилу Лушу увел. Стали у ворот, ручейки текли, снег сходил. Стояли так и не уходили. А Луша так тихо плакала. И стал я ее утешать:

— Слезами не поможешь, Бог так, значит.. А ты одно утешение имей, что он у нас не каторжник какой, а политический!

А тогда я уж все знал до тонкости от господина Кузнецова, который писал в газетах про пожары и кражи. Мы ему комнату после жильцов сдали, и он был очень образованный, но только очень деньги растягивал и водил к себе разных, что было неудобно ввиду Наташи.

А в конце апреля отправили Колюшку на житье в дальнюю губернию, даже не дозволили на квартиру зайти проститься. А потом я пошел к прокурору справиться.

— Ни в чем не замечен, — говорит, — а это по особому правилу за неспокойствие в мыслях.

В мыслях! Да мало ли что у меня в мыслях! Да за мои мысли меня бы, может, уж в каторжные работы давно угнали!..

Кончились экзамены у Наташи, и вдруг она нам и объявляет:

— Поступаю к Бут и Броту в кассирши на сорок рублей.

Удивился даже я. Другие — месяцы ищут, а тут раз — и готово.

— А счастливая я такая! Мне и учителя всегда услуживали. Я только слово заикнулась подругину дяде, который там заведующий, он и устроил.

Пошел я справиться, и оказалось верно. Заведующий такой бойкий, франт такой, голубенький платочек в кармашке. И очень вежливый.

— Нам, — говорит, — очень приятно, и нам нужны образованные... Они не просчитают... Вы, — говорит, — тоже, кажется, по коммерческой части?

Сказал ему, что машинками занимаюсь. Выговор задал Наташке, зачем опять наврала. А она еще с претензией:

— Что выдумали! Чтобы мне везде в нос совали!..

И такая стала самостоятельная, так матерью и вертит. Канителились они тут дня три с платьем.

И вот прихожу ночью из ресторана. Луша мне вдруг палку подает, а на палке мои буквы из серебра.

— Вот, — говорит, — смотри, как она для тебя все!.. Она добрая.

Очень хорошая палка.

— Пять рублей заплатила через магазин с уступкой. Это она с первого жалованья — вперед взяла. А мне шляпку в пять рублей...

И при мне стала примерять. Очень меня тронуло это. То зуб за зуб, а то вот... от своего труда.

Прошел я к ней в комнатку за ширмочки — спит. Розовенькая такая, губки открыты, и улыбается. Поцеловал ее, и проснулась.

— Спасибо, — говорю, — Ташечка, за подарок...

Так она улыбнулась, взяла меня рукой за шею и поцеловала. И потом вытащила из-под подушки грушу хорошую, мари-луиз, и мне.

Такое счастье я испытал, а Луша стоит и ворчит:

— Транжирка какая... Не умеет деньги беречь...

И стала Наташа аккуратно на службу ходить.

XVIII

Месяца три прошло, уж к сентябрю подвигалось. То каждую неделю от Колюшки письма получали, а тут — нет и нет. И вдруг опять к нам на квартиру поход. Ничего не сказали, письма прочли — у Луши в рабочей корзиночке хранились, — забрали и ушли. Потом уж пристав мне сказал, что Колюшка с поселения отлучился.

Так это нас растревожило.

— Что ж, — говорю Луше, — плакать? Слезами не поможешь...

Но ведь мать, и притом женщина! А господин Кузнецов мне сказал:

— Ваш сын скоро получит известность!..

Пошел наутро в ресторан, а мне и говорят:

— В газетах про тебя пропечатали, что твой сын убег, и про обыск.

И показывают. Так я и ахнул. А там все! И мое имя-отчество, и фамилия, и в каком я ресторане — все. А это наш жилец Кузнецов прописал.

И вдруг мне Игнатий Елисеич и объявляет:

— Штросс распорядился тебя уволить. Ступай в контору. Я тебя не могу к делу допустить.

Сперва и не понял я.

— Как так уволить? за что про что?

— За что, за что? приказал, и больше ничего.

Так руки у меня и опустились. Я к Штроссу в кабинет. Допустил. Сидит в кресле и кофе ложечкой мешает.

— Да, — говорит, — что делать! Нельзя тебе больше у нас служить.

А на лицо мне смотрит.

— Мы подвержены... Уж раньше требование было, а я тебя держал, а теперь все известно, и про наш ресторан... Ничего не могу.

— Густав Карлыч, — говорю, — за что же? Я двадцать третий год верой и правдой... интерес ваш соблюдал...

Поплакал я даже в кабинете. А он встал и заходил:

— Я ничего не могу! И хороший ты слуга, а не могу. Вот что могу — сделаю...

Взял со стола трубку телефонную — с конторой — и приказал:

— Выдать Скороходову в пособие семьдесят пять рублей и залог!

Взяло меня за сердце, и я им тут сказал:

— Вот как за мою службу! Я все у вас между столов оставил, за каждую стекляшку заплатил... Обижайте!..

Он бумагами зашумел и так и покраснел.

— Не мы, не мы!.. Мы тобой довольны, а у нас правила...

Да, у них правила... У них на все правила. И на все услуги. Деньги, вот какие у них правила. И в проходы можно, на это препятствий нет. Пылинку на столах, соринку с пола следят со всей строгостью. За пятна на фраке замечание и за нечистые салфетки... Все это очень необходимо. А вот за двадцать два года...

Посмотрел я на них, как они в кресле сидели, как налитой, и в бумагах по столу искали, и хотел я им от души все сказать. Так вот... хотел им сказать с глазу на глаз... Да в глотке застряло. Так все у них удобно, и ковры и сухарики...

— Только, конечно, — говорю, — все помирать будем!..

— Ну, довольно, довольно!.. Сказал, ничего не могу!..

И замешал ложечкой.

Пришел в официантскую. Посочувствовали, конечно, администрацию поругали. Ругай, пожалуй... Икоркин очень жалел и руку жал. Сказал, что в обществе заявит. Очень горячился. Говорю метрдотелю:

— Вот, Игнатий Елисеич, за хорошую службу мне награда...

А он мне тоже руку пожал и говорит:

— Жаль, ты очень знающий по делу. Я вот сад на лето сниму и тебя возьму для ресторана старшим. Наведайся к весне...

Вошел я в наш белый зал. Много я тут сил оставил на паркетах, а жалко стало... Двадцать два года! Должен же был знать, что не в этих покоях помирать буду. И людей совестно... Словно как жулика какого, выгнали, а сколько я здесь всего переделал и скольких ублаготворил! Следов не осталось от такой службы — в воздух и в ноги она уходит...

Получил залог и награду и как вышел в боковой ход и пошел мимо подъезда, из автомобиля господин Карасев выходит, и швейцар ихнюю содержанку, любовницу ихнюю, высаживает, которая на скрипочке играла у нас в оркестре. Добыл-таки он ее от нас и определил в театр и потом оставил при себе. И такая она стала замечательная, и в таких стала нарядах ходить... Как укор мне какой был этим!

А я-то ее пожалел тогда... И так она замотала господина Карасева своими манерами, что совсем в руки забра-

ла. Да, эта в обиду себя не дала, хоть и вся-то в пять фунтов, что очень обожают некоторые. Махонькая и тонкая, как белка, а вот, поди ты, какое счастье взяла!..

Не пошел я домой тогда. Как Луше-то скажу? А она совсем расхворалась, и припадки сердца стали с ней делаться. И пошел я бродить без направления.

В пивной посидел, на мосту постоял. Стою и смотрю на воду, как течет и течет... Все за делом, бегут, едут, в магазинах стоят, а я без определенного занятия... Куда пойти? Думал было к Кириллу Саверьянычу пойти, да как вспомнил, как он глазом подмигивает да рот кривит, — не пошел... И вышел я на улицу — сами ноги привели... А это где мы раньше квартировали, у барышень Пупаевых. Прошел мимо ворот. Вывесочка про попечительство у барышень, автомобиль ихний у крыльца, и шофер знакомый папироску курит. Поздоровались, а мне стыдно: как написано на мне, что устранили меня от дела.

Окликнула меня тут женщина, над нами жили, жена машиниста с железной дороги. Стала про Лушу спрашивать, не к нам ли, навестить... Чай пить стала приглашать, а я вижу, что она ко мне как будто приглядывается, почему я не в ресторане. И я сказал ей, что свободный мой день и хочу вот проведать Ивана Афанасьича. Про учителя воспомнил. Оказывается, совсем плох. Хоть душевного человека навестить...

Прошел к нему в квартиру, а он в кухне, за ширмочкой. Отделили ему уголок.

Сын-то его был на службе, а супруга высунулась в бумажных завитушках и говорит сердито:

— Какие уж тут ему гости! Пройдите...

Очень меня сконфузила. Прошел к нему и не разделся. За ширмочкой на диванчике он лежал, дремал, голова газетой укрыта. И воздух у него был очень тяжелый. Кухарка его окликнула.

— Всю кухню завонял, — говорит. — Гниет у него снутри, и на дню сколько раз рвет как сажей...

Узнал он меня и заплакал. Подняться хотел и за живот схватился. Очень бедственное положение. Присел к нему на табуретку.

— Вот... очень страдаю... Завтра в больницу, в раковую клинику...

5*

Пригляделся я к нему, а по нем эти... насекомые ползают.

— Вот, — говорит, — как живу... В бане четыре месяца не был, не свезут. В номера мне надо, а дорого им...

Закрыл глаза и затрясся.

— Вот, Яков Софроныч... закон Божий... Может, чаю выкушаете?

А кухарка выставила голову и шепчет:

— Каторжники проклятущие... И мне-то жалованье за три месяца не дают, все в банку носят... сволочи!..

А он мне:

— Насилу умолил в клинику меня... Там меня в ванну посадят... Вот, Яков Софроныч... закон Божий...

И я рассказал ему тут про свое горе. А он и говорит:

— Счастливый вы человек! За сына вы страдаете, а я так от сына... И внучку не пускают ко мне... от заразы...

И как вышел я от него на чистый воздух, совсем оправился. Вот еще в каком несчастном положении бывают, а я-то еще — слава Богу...

XIX

Всего было. С Лушей опять припадок сердца случился, все фортки пооткрывали. И очень жилец Кузнецов извинялся.

— Не думал я, — говорит. — Я хотел про вашего сына хорошее написать.

И так ему стало стыдно, что на другой же день от нас перебрался. Точно как нарочно его к нам принесло, чтобы навредить.

И вдруг дня через три заявился ко мне Икоркин. Никакой особой и дружбы-то у меня с ним не было, а он является и говорит:

— Наше общество пока без денег, а мы постановили поддерживать вас месяц по копейке с номера. Вот пожалуйте три рубля...

И руку за борт, как у нас господа на юбилеях. Сказал я ему, что не в таком еще положении и дочь помогает, но он настоял.

— Не обижайтесь принять от товарищей. Только позвольте мне расписку в получении оной суммы...

Чай пить даже не остался. Вот! Вот какое проникновение!

А вечером мне Черепахин вдруг:

— Вот вам пять адресов кондитеров, у них я на балах играю, вас с удовольствием старшим будут брать. Я о вас говорил.

Поблагодарил я его за уважение и сказал, что такое знакомство у меня есть, и решил пока в розницу себя отдавать, на случай.

И перешел я на другое занятие, приходящим официантом.

Конечно, не так это почетно, но жить можно. И я приступил, ударяя себя по самолюбию. А эта работа много ниже: и тяжело, и зависимости больше. Сегодня у одного кондитера, завтра у другого, и ночная работа опять — раньше как в седьмом часу не уберешься. А ответственность! На балах всякого народу бывает. Мельхиор крадут, а про серебро и говорить нечего. Опять строгость нужна с подручными, а к этому я не приучен. И потом, приноровляться надо и знать, около кого надо пошуметь, чтобы видно было уважение. Как, примерно, середь бала обношение пирожками с икрой, чтобы сперва родителям жениха и кто больше влияния для свадьбы имеет. Тут-то и шуметь, около них. Это все очень любят, без всякого различия. Тут-то и сорвешься, и на неприятность.

Раз вот так старушка в уголку сидела, а я ее проглядел — так себе старушка, без особого вида, и я мимо ее барыне толстой поднес пирожки. Так меня старушка за фалду и дернула! И вся-то с косточку... А такой шум устроила при всех гостях!..

— Я приданое за внучкой даю, а меня на задний план! Внушите хвостатым дуракам вашим!

А потом, и вообще... В ресторанах не заметно в отношении женского полу, а на свадебных балах, особенно у торгового сословия, вопрос этот обстоит очень неблагополучно. Очень лихие молодые люди из этого сословия и любят сорвать плод под шумок с легкомысленных девиц, которые приходят в раздражение танцами под музыку и секретным употреблением из буфета. Снюхиваются с невероятной быстротой! А наичаще молодые женщины, которым очень трудно это при семейной обстановке, и ищут

удобного случая. Вот тут только следи, чтобы не было неприятности.

Подойдет какой степенный и говорит прямо:

— Понаблюдай, чтобы та вон, в желтом платье... и тот вон, с хохлом... Последи...

Понятно, чего последи.

А то франт какой краснорожий в высоком хомуте мигает и требует:

— Где у вас тут, чтобы люди не ходили? — и целковый сует.

И скандалы часто из-за провизии. Очень тревожная служба. Приехали повеселиться и покушать, а ты, как окаянный какой, мучаешься под музыку. Разглядеть если хорошенько, так все мы облезлые и с болезнями ног и груди. А мне сразу перелом: из теплых и светлых зал с зеркалами — в недра сквозного ветра и прочих неудобств...

И вся-то жизнь моя — как услужение на чужих пирах... И вся-то жизнь — как один ресторан. Словно пируют кругом изо дня в день, а ты мотаешься с блюдами и подносами и смотришь за поглощением напитков и еды. И всю-то жизнь в ушах польки и вальсы, и звон стекла и посуды, и стук ножичков. И пальцы, которыми подзывают... А ведь хочется вздохнуть свободно и чтоб душа развернулась, и глотнуть воздуху хочется во всю ширь, потому что в груди першит и в носу от чада и гари и закусочных и винных запахов... Очень неприятно.

Месяца два подвизался я так, в розницу, и тоска нас ела за Колюшку: пропал и пропал. И к гадалкам Луша ходила. «Будут, — говорит, — перемены к лучшему».

А тут еще Наташа нас удручать стала. Придет из магазина истомленная и сидит. Первое время еще в театр ходила, прыгала, а тут уткнется в уголок и молчит...

Стала Луша говорить, замуж бы ее как... А за кого теперь замуж, когда жизнь переходит на холостую ногу! У меня и знакомства — что официанты да повара, а она их терпеть не могла. Один-единственный без нашей специальности — Кирилл Саверьяныч, но он совсем меня покинул. Встретился я с ним на улице, а он от меня на другую сторону.

Пробовал я Наташу пытать, и у ней один ответ:

— Что вы всё выдумываете! Скучно мне, и я пять рублей просчитала...

Всегда такая легкомысленная была, что ей пять рублей! И решил я сходить в магазин, спросить, как она служит.

Пришел, подняли меня на машине, вошел как покупатель и разглядел ее.

Сидит моя Наташечка в клетке и печаткой отщелкивает. А тот, заведующий, перепархивает и наблюдает, такое его занятие — порхать для наблюдения. Там карандашиком отчеркнет, там выговор задаст, по-немецки с барынями рассыпает. Подошел к нему, чтобы Наташа не видала, и спрашиваю, ну как, привыкает ли к должности. Так мелочью и рассыпал:

— Даже очень! И просчетов никогда, я вполне доволен.

И так стеклышком и мотает на шнурке и с носочков на каблучки перекачивается.

— Замечательно... удивительно трудолюбива... в полном смысле...

И от него так — помадой. Утешил меня. И Наташе я на глаза не показался, чтобы еще не обиделась. Значит, наврала про пять рублей. Конечно, думаю, просто ей скучно стало, и такие притом лета, а она очень из себя солидная...

Пошел домой и уж стал к своему переулку подходить, слышу вдруг сбоку:

— Папаша!..

Оглянулся — он! Колюшка! Глазам не верю и перепугался, а он от меня в переулок и рукой махнул.

Так во мне забилось, забилось все, ног не слышу. Исхудал он сильно и в легком пальте, а уж морозы начались.

Пришли мы в портерную, прошли в заднюю комнату. Пошел молодец за пивом, а Колюшка обхватил меня, опомниться не дал, и опять сел. Глядим друг на друга и смеемся.

— Вот и я! — говорит. — Не ждали?

У квартиры меня караулил, а зайти опасался. Такое положение его. И очень стал беспокойный и тревожный. Спрашивать его стал обо всем, как жил, — ничего не объяснил.

— Что обо мне говорить... О себе лучше скажите.

А обо мне-то что говорить? Сказал про все, что вот устранили меня и теперь по балам хожу. Сморщился и губы стал кусать.

— Да, — говорит, — плохо...

Грустный такой стал. Про мать и про Наташу спросил. И сказал я ему с чувством:

— Коля! Милый ты мой сын! Вернись ты к нам, пожалей себя! Явись к начальству. Ведь за тобой нет ничего — может, и простят тебя...

Даже рассердился. Нечего об этом говорить, оставьте и оставьте!

— На кого ты, — говорю, — похож стал! Ведь прямо волчью жизнь ведешь! И при нас нет никого, Наташа замуж выйдет, старость идет...

А он только:

— Оставьте... Тяжело мне слушать.

И морщины у него даже стали на лбу и на лице. Слез не могу удержать, и он расстроился, стаканчиком постукивает.

— Ничего, ничего... Очень рад, что вас повидал. Может, скоро и опять вместе будем, другое пойдет...

По матери он сильно соскучился, по разговору видно было.

Спрашивать стал, где он пристал, — не сказал. На два дня только, проездом остановился. Даже обидно стало, что и от меня-то скрывает. И так во мне горечь закипела, и сказал я ему:

— Жильцы эти проклятые тебя совратили! Не будь их, с нами бы ты был и экзамен сдал... А теперь мать убита прямо...

— Оставьте! Не знаете вы людей!..

— Отлично, — говорю, — знаю! Всегда так: взманят неопытного, а сами...

А он и сказать не дал.

— Ну, так я вам скажу! Сергей Михайлыча и нет теперь даже!..

И так на меня выразительно посмотрел. А мне от этого еще больней сделал. Жуть прямо. И опять я его стал просить отойти от них. И потом мне вдруг одна мысль пришла. Спросил я его про сожительницу того, про жиличку. И в глаза ему посмотрел. Ничего. Очень спокойно сказал, что та вовсе и не сожительница была, а сестра. Так я ничего и не понял.

Потом вырвал он листок из книжки, закрылся рукой и стал писать.

— Вот, мамаше отдайте... Скажите, от кого-нибудь получили... Скажите, что на заводе где-нибудь живу... на Урале...

Очень тяжело было. И мой он, и как бы и не мой. А вижу, что и ему нелегко. Взял меня за руку, посмотрел мне в глаза...

— Какой, — говорит, — вы худой стали, папа...

И заморгал.

Вышли мы из пивной и уж темно было на улице.

— Ну, мне сюда... — говорит. — Простимся.

Обнялись мы у заборчика в темноте, и я его наскоро перекрестил, как бывало. Поцеловались.

— Что же, не увидимся больше?

— Ничего, увидимся...

Только и сказал. И разошлись. Посмотрел я, как он в темноте скрылся.

Пошел я домой. На колокольне ко всенощной благовестили. И зашел я в церковь, чтоб облегчить душу, камень скинуть...

И не получил облегчения.

XX

А в последнее время у меня предчувствие было: вот что-то должно и должно случиться...

Отдал я записку Луше, сказал, что через ресторан получил. Поверила. И так он ей ласково написал, что она вся как засветилась. Румяная стала, на месте не могла усидеть. И вдруг с ней нехорошо сделалось. Платье на груди стала рвать. Воздуху мало стало. Привели ее в себя, ничего. Плакать начала. Сидит тихая, а слезы так и бегут, бегут...

А ночью с ней опять припадок. Поднялась на постели, а потом набок, набок...

Позвали доктора, а она уж померла. Паралич сердца.

Похоронили... Я тогда совсем голову потерял...

Так Колюшка с матерью и не простился...

Да. А тут вдруг с Наташей стало твориться. Уж похоронили, а она не хочет и не хочет идти на службу. Ходит и ходит, как тень, по квартире, пальцами похрустывает. Поставит коленку на стул и глядит в окно. И

Черепахин все ее успокаивал и то воды подаст, то капель накапает. Со мной стал очень раздражительный, даже кричать стал на меня, а ей только одно:

— Наталья Яковлевна, успокойтесь... Наталья Яковлевна, не беспокойтесь... Примите капель от волнения...

А она так и рвет:

— Оставьте меня, оставьте!..

А то забьется в угол и на мандолине звенит. Мать не остыла, а она музыку. До того довела — выхватил музыку да об пол. А в душе у меня — вот! Бьется и бьется...

И от Бут и Брота два раза присылали записку, чтобы приходила на службу. А она прочитает и разорвет. Уж как я ее успокаивал, допытывался, что такое с ней, один ответ:

— Надоело мне все, надоело!..

Тогда я решил пойти к Кириллу Саверьянычу и просить, чтобы он повлиял, потому что у него дар слова. Но тут меня постиг последний удар.

Пришел я совсем не вовремя. Стою перед его магазином — и глазам не верю. Все зеркальные стекла вдребезги, восковые фигурки сбиты — как пожар был. Вошел к нему в магазин, а он там в шубе ходит без шапки и собирает прически и пузырьки.

— Что такое случилось? — спрашиваю.

А он в растерянности мне пальцем мотает.

— Вот... вся высшая парфюмерия и образцы волос... Не-ет, я взыщу с администрации!.. Ведь это что!..

— Кирилл Саверьяныч! неужто это ваши мастера?

А он так на меня и накинулся.

— Какой я тебе Кирилл Саверьяныч?! Любоваться пришли? Вот они, сынки ваши, мерзавцы! На тысячу рублей убытку!..

А это было нападение. Типографии забастовали, а которые не закрылись, их силой ходили закрывать. И одна такая как раз рядом была. Кирилл-то Саверьяныч и вышел укорять для удержания порядка и даже в раздражении в свисток ударил. Ну, тут и вышло взаимное неудовольствие. Напали они на него.

Стал я его успокаивать и просить к себе. Думаю, может, развлекется в постороннем месте, а то прямо потрясен. А он так на меня напал со всякими словами:

— Чтобы я к тебе пошел?! Да я и сапоги-то брошу, в которых и был-то у тебя! Это все через таких, как твой сын, мерзавец! Они-то и натравливают! Их вешать всех надо поголовно, стрелять, сукиных детей!

И тогда я уж не мог стерпеть. Вышел я на тротуар, в окно голову просунул и сказал отчетливо:

— Все это, по-вашему, может, очень хорошо и умно, а жаль, — говорю, — что такой сволочи, как вы, они вам головы не оторвали!..

Очень я расстроился. А он так и закаменел.

— Повторите, повторите!

Плюнул я и пошел.

И так покончилась дружба моя с этим человеком, который вошел в мою душу, как змей, с лаской и умом, а на деле оказался не как образованный человек, а жестокий и зловредный. Он очень хорошо мог говорить про науку, а что его слова! Много людей повидал я, которые очень хорошо говорили, а что толку? Он поскорбит и покурит сигару в мечте, а что толку! Нет, ты ко мне подойди, успокой мое сердце, поплачь со мной и забудь про свою сигару... Вот какая должна быть самая главная наука.

И вдруг заявляется к нам заведующий от Бут и Брота, на лихаче прикатил. Такой разодетый, в шубе с бобрами. Наташа его приняла, и что-то они поговорили — не слыхал я. Сама и дверь за ним заперла. Стал я спрашивать, по какому случаю он к нам.

— У нас вышли недоразумения... Он мне замечание сделал, а теперь извиниться приезжал...

И по лицу ее понял я, что что-то не так... А разве от нее добьешься? Да и в голове-то у меня не то было.

И опять стала на службу ходить.

А Черепахин совсем тогда расклеился. Как вечер, так у него голова болит. Все себе голову полотенцем стягивал и в темноте сидел. Веточку какую-то принес из сада и в бутылку посадил.

— Для чего это вам? — спрашиваю.

— А это я сюрприз хочу для праздника...

Очень стал странный, и я подумал, не тронулось ли у него тут. А раз ночью слышу, беспокойство у него в комнате. А это он с музыкантом рассуждает, и очень настойчиво:

— Одевайся, одевайся! Едем! Там электричество и котлеты... Супом тебя будут кормить...

А скрипач его молит:

— Что вы меня дергаете, Поликарп Сидорыч? Оставьте меня в покое!..

— Нет, нет! Дай мне дело совершить! Я докторам речь скажу... Нельзя тебе здесь, здесь температура высокая и от окон дует...

А у нас действительно высокая была температура: плюнешь — и примерзает.

Пристал и пристал к нему. И тот уж всячески отговариваться стал:

— У меня и калош нет, простужусь...

— Подарю тебе калоши!

— Да они мне велики... Я и здесь не умру...

— Умрешь обязательно! — молит Христом-Богом, прямо смех. — А там вином тебя отпоят...

Тогда уж скрипач его зацепил.

— Вы хотите меня прогнать, боитесь, что за угол не заплачу! Так я опять скоро буду на работу ходить...

Тут произошло молчание.

— В таком случае вам нельзя в больницу. Я этого не подумал...

А это в нем уж начиналось проявление.

Возвращаюсь я поутру с дела, Черепахин не спит. Отпер мне в одеже и говорит по секрету с дрожью, а сам все за голову себя:

— С Натальей Яковлевной произошло... Плакала сегодня ночью, в три часа... Я не могу смотреть... Одна ездит ночью...

Думаю, может, это ему представляется. А он вполне рассуждает:

— Потому мамаши у них нет, а мужчинам может не показаться. Ежели кто их обидел! — Даже зубами заскрипел. — Что-то у них внутри есть...

Прошел я к Наташе — спит. Поставил самовар, сходил в булочную, а уж восемь часов, и, слышу, Наташа проснулась. Прошел к ней и спрашиваю, почему так поздно воротилась, дворник мне сказал.

А она мне гордо:

— Кажется, не маленькая! Сама зарабатываю и не даю отчета...

Волосы чесала, так и рвет гребенкой, даже трещат. Стал я ей выговаривать, а она шварк гребенку — и на меня:

— Ну, что вы на меня уставились? Когда только кончится проклятая жизнь!

— Да что с тобой? И Черепахин слышал, как ты ночью плакала...

— Ну и плакала! Хотела — вот и плакала! И отвяжитесь вы от меня с вашим Черепахиным!..

И кофточки швыряет, и по комнатам мечется...

— Спасибо, — говорю, — тебе...

Села чай пить, пощипала белый хлеб и на службу. Так ничего и не добился.

Недели две прошло. Раза три ночью возвращалась. Начнешь говорить, один ответ — не маленькая, у подруги в гостях была. И то на нее хмара нападет, сидит — дуется, то на мандолине бренчит. Опять завела. Не пойму и не пойму. И вот раз вечером прибегла из магазина — и одеваться. Перчатки лайковые по сих пор надела...

— Куда собралась?

— В театр. Не могу я в театр?

Поехала. В четвертом часу ночи — звонок.

— Что так рано? — спрашиваю.

— Потому что не поздно!..

Дерзко так. Прошла мимо меня — шур-шур юбками. И так от нее духами. Перчатки сорвала, швырнула.

— Этого, — говорю, — я больше не дозволю! Не должна ты себя срамить!

— Мое дело!

— Как так — твое дело? А замуж-то я буду тебя отдавать?

Передернула она плечами, как, бывало, Колюшка.

— Не собираюсь!.. И вот что я вам скажу. И вас я стесняю и себя... Все мне надоело... Лучше я буду отдельно жить.

Убила она меня этим словом.

— Все равно семьи нет... Только по утрам и видимся...

И не своим голосом, а как насильно.

— А-а... вот как! Так ты свободной жизни захотела?! Ну, так ты прямо мне скажи, всади уж лучше нож в душу! Скажи, я тебя бить не буду!.. Захотела свободной жизни?

Отвернулась она и молчит. И больно мне и даже страшно стало оттого, что она не ответила.

— Скажи, Наташа! Детка ты моя, родная!..

Дернулась она и руки сжала.

— Ну, что я вам скажу? Что?

— Да ведь ты вся не в себе это время! Ну, посмотри мне в глаза!.. Ну, смотри... Смотреть не можешь?! Наталья! — говорю. — Лучше все скажи!

Подняла она на меня глаза и смотрит через голову, думает. Тогда решил я ее тронуть.

— Вот, — говорю, — мать на тебя глядит со стены... Ее ради памяти скажи мне... Зачем отца хочешь бросить? Для кого я жил-то?..

Кинулась она ко мне и прижалась.

— Если бы вы знали, как тяжело...

— Ну скажи, детка, скажи... — шепчу ей, а такая мука во мне...

— Неудобно мне у вас... У меня жених есть...

— Как жених?

— Василий Ильич... наш заведующий...

— Почему же я этого не знаю? И зачем тогда тебе уходить?! Нет, это не то!

— Он только сейчас не может жениться... ему бабушка не дозволяет...

Оттолкнул я ее. Сразу мне она тогда противна стала.

— Ложь! — говорю. — Ложь! Я все узнаю! Я завтра в фирму пойду!

— Вот вам крест! Я вам все скажу! — испугалась тут она. — Вы сами хотели этого! Я его полюбила. Он женится на мне...

Все тут я понял. И назвал я ее тут... И тут мне нехорошо стало. Прожгло меня наскрозь. Очнулся я на постели, — паралич левой стороны сделался.

Две недели пролежал, пока оправился. Ходила она за мной, и Черепахин помогал... И доктор ездил. И такая ласковая была, такая ласковая. Ночи просиживала. И как поправился я, она мне и говорит:

— Папаша, вы ошиблись... Василий Ильич сам с вами хочет говорить. Можно?

И вдруг и заявляется он, как наготове.

И тогда я ему прямо сказал все, что так поступать нехорошо. Но он нисколько не смутился и стал, негодяй, оправдываться.

— Я люблю вашу дочь и сейчас бы женился, но бабушка не хочет... Она мне с миллионом сватает, а я человека ищу... Но она больше году не протянет, у ней сахарная болезнь, и все доктора в одно слово... Вот я и тяну, чтобы она меня наследства не решила... Она очень со средствами.

И давай мне разъяснять:

— Мы получим от бабушки капитал и откроем магазин. И вы увидите, в какой жизни будет ваша дочь... Вот клянусь вам!

И перекрестился. А тут Наташа вышла и обняла меня. А тот-то мне свое поет:

— Это все предрассудок... Мы как муж и жена, только по-граждански. И я считаю вас за отца, потому что сирота... А вы приходите ко мне на квартиру — и увидите, как я живу...

И Наталья мне:

— Как у него хорошо! У него камин, папаша... И дача есть.

И тот-то мне:

— Приезжайте к нам на дачу чай пить. У нас лодка, будем рыбку ловить.

Так все хорошо изобразил.

— Я вашу Натю буду куколкой одевать...

И так просто все обернули, как калач купить. Запутали меня, словно ничего такого нет.

— И вы не думайте, что я к вашей специальности в пренебрежении. Я даже Натю побранил, зачем она скрывала. Я даже горжусь этим...

Так расположил меня словами, удивительно. А Наталья мне в другое ухо:

— Он три тысячи получает!..

А тот-то мне с другой стороны:

— У меня кой-что есть. Я еще из процента и комиссию получаю с поставщиков. На черный день будет...

— Ах, папаша, он мне жизнь открыл! Мы на бегах были, и в тотализатор он на мое счастье двести рублей выиграл, на сак мне хивинковый...

Горько было, но я все принял на душу. И дал разрешение на уход. Что поделаешь, раз жизнь так вышла? Все одно.

Звали очень к себе, Наташа приходила. Был я у них. Кофеем поили и показывали все из обстановки. Очень все

хорошо. А ему это поставщики на Бут и Брота в дар присылали. Буфет один двести рублей стоил. У камина сидел, и сигарой меня угощали. И действительно он такой сак купил Наташе замечательный — рублей за триста, а ему по знакомству за сто отдали. И она как все равно жена у него стала. В электрический звонок звонит, прислуга входит, и она ей с тоном так:

— Подай то, да подай это! И почему самовар так долго?

Откуда что взялось. В капоте голубом, ну не как девчонка, а как солидная барыня. А тяжело мне у них было: так как-то все, шиворот-навыворот.

И думал ли я когда, что так будет?..

XXI

Бросил я квартиру и перебрался в комнату. Зачем мне квартира? Старичка скрипача в больницу поместили, а Черепахин таки напросился ко мне, слезно просил.

— Я, — говорит, — не могу один... Я один боюсь...

И очень на него уход Наташи подействовал. Начнешь что-нибудь про нее говорить, а он уставится глазами и спрашивает:

— Почему так ниспровержено?

Только очень невнятно стал говорить, даже не доканчивал, и у него слова навыворот выходили. А на работу ходил, когда требовали. И как свободное время, мы с ним в карты, в шестьдесят шесть, но только он стал масти путать. И начнет какую-нибудь околесицу вести:

— Поедемте куда-нибудь, к туркам... Там у них табак растет. Или в Сибирь? Там очень много золота, и можно железную дорогу скупить и всех возить...

А то раз про керосин:

— Зачем керосин покупать? Можно взять в аптеке травки светлики и настоять на воде... Вот и будет керосин!..

Уж тронулось у него. И я даже стал его опасаться. Суп стал горсточкой черпать. А как застал его раз, что он на полу в чурочки играет, пригласил полицейского врача знакомого — осмотреть. Тот его по коленкам постучал, в глаза поглядел, писать велел, и как стал ему Черепахин про светлику объяснять, будто она на кобыльем

сале растет, прямо сказал, что у него паралич мозга и скоро может начаться буйство.

Обещал в больницу устроить. А Черепахин в тот же вечер пошел на трубе играть и скоро, смотрю, возвращается с пакетами. Принес фунтов десять мятных пряников и пять коробок заливных орехов. И вывалил на стол.

— Вот вам, кушайте! Супу можно не варить, а будем так, с пряниками...

— А где же, — говорю, — ваша труба?

Он так головой мотнул и какую-то бумажку в огонь шварк — печка железная топилась.

— Я ее в кассу отнес. Очень у меня от нее в голове гудит...

Сел так вот, положил голову на руку и глядит в огонь.

А тут и началось страшное: опять полная остановка всей жизни. И, слышно, стрелять начали.

В ужасном потрясении мы были. У хозяйки пять девчонок, а муж был в весовщиках и тоже бастовал, и она все плакала, что его прогонят со службы. А меня страх за Колюшку взял. Лежу и думаю: уж где-нибудь здесь он. И пропал тут от нас Черепахин. Слушал-слушал все, по комнате метался, вышел незаметно и пропал. Где тут искать? Сунулся я было, а у нас на углу стена. Ночь не ночевал, на другой день явился к вечеру. Рваный пришел, словно его по гвоздям волочили. И страшно так глядит.

— Дома надо сидеть! — прикрикнул уж на него.

А он меня за руку так спокойно:

— Пойдемте... Там очень много народу...

Покричал тут я на него, пригрозил, что из комнаты попрошу, ну, он и присмирел с этих пор. И все дни сидел у окошечка и на ворон на помойке смотрел.

И вот в таком тяжелом положении наступило Рождество Христово.

Встал я утром, в комнате холодище, окна сплошь обмерзли. А день ясный, солнце бьет в стекла. Подошел я к окну. И так мне тяжело стало... Праздник, а ни души родной нет... Один в такой торжественный праздник.

А бывало, так торжественно у нас в этот день. Луша раным-рано подымается, пироги бьет... Гусем пахнет, поросенок с кашей и суп из потрохов. Очень Колюшка суп любил из потрохов... И у меня чистая крахмальная ру-

башка всегда на спинке стула была приготовлена и сюртук на вешалочке, чтобы мне к обедне одеться. И всегда всем подарки я раздавал. Сперва Луше моей, хлопотунье... Ей я духов хороших подносил флакон — одеколону и на платье. И Наташе на театр там, и Колюшке тоже... Бывало, пойдешь их будить, выдернешь думочку — и их по этому месту... Пообедаем честь честью, как люди...

И вот то Рождество я встретил в такой ужасной обстановке.

Смотрю в окно на мороз, и томит в душе... И колокол гудит праздничный... И вот вижу я на окне-то, у стекол-то мерзлых, цветы из бутылки... А это ветка, которую Черепахин-то посадил, вся в цвету, сплошь. Черемуховый цвет, белый... И пахнет даже, как весной... Так как-то необыкновенно мне стало. Как подарок необыкновенный к празднику...

Посмотрел я на Черепахина, а он лежит на спине и смотрит в потолок.

— Вот, — говорю, — ваша ветка-то... распустилась!

И поднес к нему. Поглядел он, вытянул руку и погладил их, цветы-то... Очень осторожно. И такое у него лицо стало, в улыбке... Однако ничего не сказал.

А это в старину, бывало, делали. Черемуху или вишню ломают в Катеринин день и сажают в бутылку, у кого Катерина в доме. Для задуманного желания. И она на первый день Рождества должна поспеть. Так мне хозяйка объяснила.

И так она у нас и стояла дня три, все осыпалась...

И работы не было у меня все четыре дня. Лежал и лежал все на постели. Куда идти и зачем? Все у меня разбилось в жизни. И только один Черепахин при мне был и все ходил и шарил по углам. А это он, должно быть, все трубу свою отыскивал.

И вот, когда я был в таком удручении и проклял всю свою судьбу и все, проклял в молчании и в тишине, в холодную стену смотремши, проклял свою жизнь без просвета, тогда открылось мне как сияние в жизни. И пришло это сияние через муку и скорбь...

Пятый день Рождества пришел, и собирался я уж к вечерку пойти на дело, приходит хозяйка и говорит:

— Спрашивают вас тут... в прихожей...

А это повар знакомый должен был зайти по делу.

Вышел я в прихожую и не вижу, кто... Слышу, голос незнакомый и не мужской, тоненький:

— Вы Скороходов?

А темно уж было и не видать в прихожей. Сказал я, что самый и есть Скороходов, и позвал в комнату. Вижу — женская фигура, а разобрать не могу, кто.

А она и говорит:

— Это я... Мы у вас жили... Я вам письмо от Коли...

Лампочку я засвечал, чуть не уронил. Так все и забилось во мне. А это она, жиличка наша, Раиса Сергевна, беленькая-то... В жакеточке и башлычке... Увидала Черепахина — и назад... А я ей показал на голову. И подает записку.

— Ничего, ничего... не пугайтесь...

Не могу прочитать... Увидала она, что я не могу, сама мне прочитала. И все меня за руку держала.

— Не плачьте... не надо плакать...

Теперь все прошло и все я знаю... А тогда камнем все навалилось на меня. А он тогда суда ожидал в другом городе и со мной прощался. И как она меня нашла в такие дни, и как все вышло, не знаю. Кто уж указал ей пути? Не знаю.

Ах, как он написал! Как мог к душе моей так подойти и постичь мою скорбь! Я его письмо все сердцем принял и вытвердил...

«...Прощайте, папаша милый мой, и простите мне, что я вам так причинил...»

Слезы у меня все застлали, ничего не вижу, а она меня за руку держала и так ласково:

— Не надо... не плачьте..

Ушла она... Что тут говорить? Тут не скажешь, что пережито...

XXII

Ах, какая была ночь!.. Утро пришло наконец. Собрался я и поехал туда... Только бы его застать, повидаться бы только в последний раз...

Потом, как приехал я туда, в гостинице меня нашли, но ничего мне не сделали, потому что я прямо сказал, что получил письмо и приехал проститься. Письмо взяли...

— Берите и меня... — говорю. — Посадите меня с ним...

Но меня оставили в покое. И с неделю выжил я там, но не мог увидеть. Ходил-ходил кругом — и ничего не узнал. Потом мне сказал один:

— Поезжайте домой и получите уведомление... И не надо расстраиваться. Дело еще не закончено.

И обманул ведь! Не поехал я. А на другой день суд должен был происходить... Да не состоялся. К ночи убежало их двенадцать человек... Восьмерых поймали, а Колюшку не нашли...

Потом узнал я все, почему не нашли... И вот тут-то открылось мне как сияние из жизни...

Через базар побежал он на риск, пустился на последнее средство. И видит — лавочка в тупике. Вбежал в нее, а там старик один, теплым товаром торговал. На погибель бежал, на людей, а вот... Бог-то!..

Вбежал в лавочку, а там старик один дремлет в уголку на морозе.

— Спасите меня или выдавайте!.. Некуда, — говорит, — мне больше!..

Только и сказал. Один бы момент — и погибель ему была... Глянул на него тот старик, взял за рукав и отвел за теплый товар.

— Постой, молодец... Сейчас я тебе скажу...

Так и понял тот, что сейчас выдаст, да ошибся. К уголку старик отошел и подумал. А в том уголку-то иконка черненькая между валенок висела...

И вот сказал ему тот старик:

— Не должен бы я тебя принять, по правилам, а не могу. Раз ты сам ко мне пришел, твое дело. Полезай в подвал, на свое счастье.

И уж лавки на базаре все были закрыты, один тот старик задремал и запоздал. И вот надо было ему запоздать...

И опустил его в подвал под лавкой. И потом валенки туда ему кинул и теплую одежду. И хлеба ему опускал. Две недели выдержал его так, а потом повез товар в село на базар и Колюшку провез в ночное время из городу и выпустил в уезде у леса.

— Бог, — говорит, — тебе судья... Ступай, на свое счастье!..

Как чудо совершилось.

Писал потом мне Колюшка:

«Есть у меня два человека: ты, папаша, да вот тот старик. И имя его я не знаю...»

Потом был я в том городе, нарочно поехал в Великом посту. Хоть повидать того старика и сказать ему от души. Был. Обошел все лавки с теплым товаром. Четыре их было: три в рядах, на базаре, и четвертая в уголку, в тупичке. Вошел в нее, смотрю — действительно, старик торгует. Строгий такой, брови мохнатые, и в очках.

Купил у него валенки и варежки и говорю:

— Вы для меня очень большое одолжение сделали...

Даже поглядел на меня с удивлением.

— Какое одолжение? Взял я с вас, как со всех. Конечно, в магазине бы с вас на полтинник дороже взяли, это верно...

А я так пристально на него посмотрел и говорю тихо ему:

— Не то. Вы, — говорю, — сына мне сохранили!..

Так он это отодвинулся от меня и говорит строго:

— Что это я вашего разговору не пойму...

А я ему опять в глаза:

— Не могу я, конечно, вас по-настоящему отблагодарить... Только вот просвирку за ваше здоровье буду вынимать... Как ваше имя, скажите!..

Пожал он плечами и улыбается.

— И все-таки не пойму... Но если уж вам так желательно, так зовут меня Николаем...

Ведь это что!

— И моего сына зовут тоже Николаем... — говорю.

— Очень приятно, но только я никого не сохранял... Торгую вот помаленьку.

А сам так ко мне присматривается. Очень мне это понравилось, как он себя держит. Глянул я на уголок, а там между валенок черный образок висит. Говорю старику:

— Вы это! Вот по образку признал!..

— Ну и хорошо, — говорит. — Вы образок спросите — может, он скажет...

И все улыбается. А потом взял меня за руку, к локотку, и потряс.

— Не знаем мы, как и что... Пусть Господь знает... И больше ничего.

Однако заинтересовался, чем занимаюсь и много ли деток. И как все прослушал, сказал глубокое слово:

— Без Господа не проживешь.

А я ему и говорю:

— Да и без добрых людей трудно.

— Добрые-то люди имеют внутри себя силу от Господа!..

Вот так сказал. Вот! Вот это золотое слово, которое многие не понимают и не желают понимать. Засмеются, если так сказать им. И простое это слово, а не понимают. Потому что так поспешно и бойко стало в жизни, что нет и времени-то понять как следует. В этом я очень хорошо убедился в своей жизни.

И вот когда осветилось для меня все. Сила от Господа... Ах, как бы легко было жить, если бы все понимали это и хранили в себе.

И вот один незнакомый старичок, который торговал теплым товаром, растрогал меня и вложил в меня сияние правды.

Просидел я тогда с неделю в том городе, как Колюшка-то убежал. Пытали меня, не знаю ли чего про сына. А что я знал? И все-то дни и ночи как на огне был. Поймают, нет ли... По церквам ходил и на базаре толкался, не услышу ли чего. Никто и не разговаривал. Торгуют и продают, как везде. Совсем мимо него ходил и не чуял. В канцелярию ходил, спрашивал, не поймали ли...

А писарь мне говорит:

— Почему это вы так интересуетесь, поймали ли? Ведь один конец...

— Потому, — говорю, — и спрашиваю, чтобы знать, что еще не поймали!

Так прямо и сказал. А он мне:

— Даже и неудобно так говорить... Но только что все равно поймают.

Надо ехать. Оставил я хозяину постоялого двора на письмо и марку. Попросил написать мне, если поймают.

— Обязательно пришлю, — говорит. — Очень нам все это надоело.

И приехал я тогда домой в страшной тревоге. Что поделаешь — надо работать. А Черепахина уж нет — отправили в сумасшедший дом за буйство. Все меня искал и все стекла переколотил.

И сколько потом ночей протомился я, потому что пришло такое, что ничего в жизни у меня не осталось. Наташа... А она совсем как чужая стала ко мне... Да и

тот ее не пускал. И как раскидал кто и порастащил все в моей жизни. Единая отрада, что забудусь во сне. А какой сон! И во сне-то одно и одно... Все ждал, всю-то жизнь ждал — вот будет, вот будет... вот устроюсь... И дождался пустого места.

И уже через месяц пришел неизвестный человек и сказал на словах:

— Будьте покойны, ваш сын в безопасности.

Только и сказал. Теперь-то знаю я, что он в безопасности, и получаю через некоторых известия от него. Очень далеко живет. И должно быть, так я его и не увижу...

XXIII

Так изо дня в день пошла и пошла моя жизнь по балам и вечерам. А к лету вспомнил обо мне Игнатий Елисеич, что я знающий человек, и вручил управлять буфетом и кухней в летнем саду. Очень хорошо поставил я ему это дело и к концу сезона очистил три тысячи.

Чудотворцем даже меня назвал.

— Ну, Яков Софроньгч, — сказал, — в лепешку расшибусь, а добуду тебе прежнее положение в нашем ресторане! И гости часто про тебя спрашивают... Похлопочу у Штросса.

Очень был растроган. А время, конечно, стало поспокойней, и, конечно, они могли снизойти к моему положению, потому что я совсем был невредный человек насчет чего. Не почета мне какого нужно было — какой почет! — а хоть бы идти в одном направлении...

А тут опять у меня наступили тревоги, потому что Наташа родила девочку, и тот-то, ее-то, поставил неумолимое требование — направить младенца в воспитательный дом. Раньше все предупреждал, чтобы не допускала себя, а как будет если беременная, чтобы непременно выкинуть через операцию. А она от него скрывала до последней возможности. И ко мне она приходила и плакалась, потому что боялась операции, и я ей отнюдь не советовал.

— Неси свое бремя, Наташа! — говорил ей. — Это как смертоубийство!

И когда он угрозил силой ее заставить, тогда я сам пошел к нему для объяснения. Очень разгорячился:

— При чем тут вы? — упрек мне. — Сами вы разрешили вашей дочери жить со мной, ну и предоставьте мне распоряжаться в моих делах!

Как плюнул в меня.

— Если я этими делами буду заниматься — мне миллионы надо!..

— Я, — говорю, — вас не понимаю...

А Наташа мне из другой комнаты головой показывает — оставь. Но я не мог допустить ему нахальничать.

— Как так?

— А очень понятно. Дети от брака бывают, а вам, кажется, дочь выяснила, что наш брак еще в предположении...

Смело так в глаза мне смотрит и руками в карманах играет.

— Значит, — говорю, — обманули вы ее, господин хороший? Значит, выходите вы прохвост?

— Пожалуйста, без крепких слов! Никого я не обманывал, а наш брак пока невозможен. И прошу не мешаться в семейную жизнь!

Хлопнул дверью перед носом и в кабинет укрылся. А?! Семейная жизнь!.. Тогда я за ним.

— Я, — говорю, — завтра же в вашу контору явлюсь и вас аттестую со всех сторон!

— А-а!.. Так вы шантаж хочете устроить? Пожалуйста! Но только это для вас будет очень неудобно... Я-то останусь, потому что меня ценят, а для вашей дочери...

Но тут Наташа сзади ему рот зажала и плачет:

— Не надо, оставь... Не расстраивайся... — а сама мне глазами.

А он, подлец, вывернул голову и резко так:

— Оставьте мою квартиру! Я не желаю слушать от всякого...

И опять она ему рот зажала.

— Мне уж сейчас этот ребенок ваш больше ста рублей стоит!.. Я кассирше за Наташу плачу...

А та-то, мямля, по голове его гладит, рот кривит и мне глазами мигает. И упрашивает:

— Виличка, успокойся... не волнуйся...

Я бы его успокоил, подлеца!.. Вот Наташа... Что сталось! Ни самолюбия, ничего... А какая была настойчивая!..

Родила она в приюте девочку. И взял я ее к себе. Внучка... Все-таки внучка... Юлька... Сытенькая такая, крепкая. Корзинку из-под белья ей устроил и хозяйскую

девчонку нанял за два рубля ходить за ней и молоко греть. Вот у меня и стал свет в комнатке.

Придешь с бала, а она тут, кряхтит в корзинке. Ночью проснешься — почмокивает. Как жизнь опять у меня началась. И Наташа чаще прибегать стала. Посидит, повертит ее, поморгает — и к нему.

И счастье мне Юлька принесла. Сижу я с ней как-то, бородой ее щекочу, и заявляется вдруг ко мне Икоркин. Вот ведь ловкий парень! Бунтовал в ресторане и требования предъявлял, а не погиб. И говорит торжественно:

— Яков Софроныч! Должен объявить вам поручение... Идите опять к нам, в нашу дружную семью!

И руку за борт. Что такое?

— Сейчас же можете идти.

Возрадовался я и вспомнил про заботу Игнатия Елисеича.

— Нет, тут метрдотель ни при чем... Мы ходатайствовали через общество перед Штроссом... Теперь у нас влияние...

Так он меня поразил. Помнили меня!

— Да ведь вы наш член... А у нас все члены на учете...

А я и про общество-то забыл. Вот тебе и Икоркин! А так маленький и невидный был, но очень горяч.

— Вот видите, что такое наше общество! Вы теперь не одни... А это у вас что же?

И показывает на внучку. А я уж во фрак облекался.

— А внучка, — говорю, — Юлька при мне...

Пальцем ее по подбородочку пощекотал.

— Здорово сосет... может, счастливей нас с вами будет...

Растрогал он меня.

— Очень, — говорю, — вы меня утешили...

А он так серьезно:

— Это не мы, а общественное дело. Мы — люди, а собрание людей — общество!

Очень умный человек.

А тут вскорости и приходит ко мне Наташа. Посидела, поиграла с Юлькой, и что-то тревожная.

— Что ты, — говорю, — кислая какая?

А она и говорит:

— Папаша... что я хочу вам сказать... — И замялась.

— Что? — И вижу, слезы у ней.

— Видите... он меня просил... Только не подумайте... у него критическое положение... по векселю надо платить... Нет ли у вас пятисот рублей?

Поразила она меня.

— Он давно меня посылал... Все говорил, что у вас деньги есть... Ему только на два месяца...

Так меня взяло.

— Вот как! Он тебя так обошел, да еще до моих грошей добирается!

А она мне:

— Я знаю, знаю... — и забилась, упала на постель. — Не могу я... не могу больше... не могу!.. Измучилась я... Он меня вторую неделю посылает к вам...

Сжала кулачки и себя в голову, в голову.

— Ведь его прогоняют вон... Он там растрату произвел...

И тут она все мне открыла. А этот, оказывается, уж новую себе завел. Тоже на место определил. И моя Наташа терпела... Два месяца терпела. Она родами мучилась, а он...

— Он мне не велел без денег приходить...

— А-а, так? Хорошо. Ты, — говорю, — больше к нему не пойдешь! А если что, так он у меня с лестницы кубарем полетит отсюда!..

Мерзавец! Как отрезал я и Наташу в руки взял. Всей воли ее решил! И сам пошел в правление ихнее и имел разговор по совести с немцем.

— Мы, — говорит, — его уж отпустили без суда. Он нам на пять тысяч растратил. А ваша дочь может служить.

Ну и служит, щелкает печаткой в клетке. Исхудала, робкая стала. Внутри-то у ней, знаю я, внутри-то... Может, и развлекется, еще целая жизнь впереди...

А у меня ни впереди, ни сзади... Можно сказать, один только результат остался, проникновение наскрозь. Да кости ноют. Да вот тут, иной раз, подымется, закипит... Так бы вот на все и плюнул!

Ну, опять служу в тепле и свете, в залах с зеркалами стою и еще могу шмыгать и потрафлять. А не моги я потрафлять — пожалуйте, скажут, господин Скороходов, на воздух, на электрические огни... Прогуляться для хорошего моциону... Вот то-то и есть. Маленько сдавать стал, заметно мне, а виду не показываю.

И вот сегодня воскресенье, а надо скорей бежать в ресторан, потому сегодня у нас очень большое торжество. Юбилей господину Карасеву будет. Сто лет его фабрикам! Будут подношения от всяких обществ и от театров, потому что очень уважаемый. Обед в семь часов необыкновенный на четыреста персон в трех залах. По двадцать пять рублей с персоны! Цветов выписано, растений, прямо сад в ресторане. Специальная посуда на заказ, золотые знаки на память. Вот-с!.. А потом скоро у нас и свадьба ихняя.

Та-то, маленькая-то, укатила от него за границу, ввиду обиды по случаю отказа его от свадьбы, тоже с миллионером, но господин Карасев не мог этого допустить, взял экстренный поезд и нагнал их со страшной скоростью. Силой привез. А тот-то не мог рискнуть на свадьбу, потому что недавно только женился. И потом, ему никак нельзя тягаться: у него пять миллионов, а у господина Карасева двадцать! Зацепила-таки, хоть и вся-то в пять фунтов.

Будет работка... Глаза вот слезиться стали, бессонница у меня... Ну, а в залах-то я ничего, в норму, и никакого виду не показываю... Вчера вот на этом... как его... порожек у нас к кабинетам есть, так за коврик зацепился и коленкой о косяк, а виду не подал. Так это, маленько вприпрыжку стал, а ничего... Что поделаешь! Намедни вот прохвост этот, которого от Бут и Брота выгнали, с компанией за мой стол сел — ничего, служил. На, смотри! Все одно. У меня результат свой есть, внутри... Всему цену знаю. Ему ли, другому ли... Антрекот? — пожалуйте. В проходы? — пожалуйте, по лесенке вниз, направо. В нулик-с вам? Налево, за уголок-с. А уж мое при мне-с. Какое мое рассуждение — это уж я знаю-с. Вот вам ресторан, и чистые салфетки, и зеркала-с... Кушайте-с и глядите-с... А мое так при мне и остается, тут-с. Только Колюшке когда — сообщишь из себя... Да-с... А впрочем, я ничего...

А уж как пущено теперь у нас! Заново все и под мрамор с золотом. И обращено внимание на музыку. Хоть тот же румынский играет и господин Капулади, но в увеличенном размере — полный комплект сорок пять человек! И кабинеты заново, очень роскошно. Ковры освежили и портьеры. Освещение по салонам в тон для разных вкусов. И проходы тоже... Увеличивается наклонность к этому занятию...

Много новых гостей объявилось, ну и старые не забывают. И которые, бывало, очень резко обсуждали, тоже ездят, ничего. Только, конечно, теперь все очень строго и воспрещено рассуждать насчет чего — ни-ни! Но чествуют, конечно, за юбилеи там, и промежду собой все-таки говорят насчет... вообще... Собственно, вреда никакого нет... Стоишь и слушаешь. Так это, скворчит в ухе: зу-зу-зу... зу-зу-зу... Один пустой разговор...

<1911г.>

РОССТАНИ

I

Десятого июля справляли именины Данилы Степаныча, а заодно и Ольги Ивановны, невестки, но не в Сокольниках, на собственной даче, как последние годы, а на родине — в Ключевой.

Совсем было забыли Лаврухины свою Ключевую с той поры, как разбогатели и повели широко банное и подрядное дело, а тут, с год назад, запросился и запросился Данила Степаныч на родину. Стал прихварывать и киснуть, стал жаловаться, что надоедно зимой в Москве, а летом в Сокольниках шумно и парадно: то музыка, то народ толчется; и вода плохая, а от плохой воды ноги у него пухнут, сна нет и сердце заходит. Показывал его Николай Данилыч докторам — сказали в один голос, что надо собой заняться, и настоятельно посылали на воды; лучше бы за границу, но можно и на Кавказ; ну, а раз не желает ехать на воды, пусть едет хоть в Ключевую: слыхивали и они, что там место хорошее, — пусть себе живет на покое и пьет воды.

Тут все заговорили, что в Ключевой, пожалуй, и в самом деле хорошо, лучшего места и не найти. А главное — родное место. Вспомнили, что два лета жил в Ключевой больной полковник, дышал навозом через оконце в хлев и выздоровел от чахотки; даже в благодарность дал на стройку Наталье, у которой стоял. Тут Данила Степаныч еще более уверился, что поправится там, перестанут отекать ноги и вернется сон: уж очень хороша там вода! Да и Николай Данилыч, лет тридцать кипевший в своих и отцовых делах и за это время только раз пять побывавший на родине, — молодую жену возил — показать родную деревню, мать хоронил, еще зачем-то, наез-

дами, — вспомнил хорошее из детства и рассудил, что старику там будет покойно и не скучно: тетка Арина живет там, будет от всех почет, и к монастырю близко.

И верно, место там было замечательное.

Укрылась Ключевая в тихом углу. Со всех сторон обступили ее крутые горы, не настоящие, каменные, а мягкие, тихие русские горы, с глинистыми обрывами, в черемухе и березах; а под обрывами играла по камушкам речка Соловьиха, гляделась покойными омуточками, вся в тростнике. И тихо было — ни ветров, ни гомона. Из мужиков жили только старый пастух — звали его Хандра-Мандра — да лавочник Мамай, тоже старый, да еще два-три старика, на покое; а все прочие из двух десятков дворов стояли на фабриках или жили в Москве. Не было пашни, а только усадьбы да огороды.

Рассказывали старики, что вывел их сюда барин из разных губерний давным-давно, как пустили здесь суконную фабрику; потом фабрика не пошла с чего-то, растаскали ее по кирпичику — следка не осталось, а как пришла воля, приказывал им Безбородкин, барин, выселяться на его землю, по разным местам. А они-то поприжились и не пожелали расходиться, так и остались в уголку, при усадьбах. А земли здесь у барина не было, кругом слободская.

Жили в Ключевой больше бабы, плели из цветной кромки чуни для богомолок и растили детей. И только с полуденной стороны можно было проехать в деревню, по отлогому месту, ельником, а выехать — все та же дорога — на скит, к монастырю. Мешали обрывы. Не было через Ключевую проезда, и потому вся поросла она мягкой травкой, просвирником, канареечником — ходу не слышно. Вились в кустах, по обрывам, тропки на Маньково, на Шалово, на Горбачево. И так тепло было в Ключевой, что яблоньки, кой-где по усадьбам, зацветали неделей раньше, чем за горой, а черемуха по обрывам — сила была черемухи! — начинала белеть иногда с половины апреля: от холодов укрывали горы. И так было тихо, что, если выйти летним погожим утром и сесть на завалинке, ясно услышишь, как играют бегущие из-под берега ключики да плачет на дальнем конце ребенок.

— У нас и росу слыхать, — говорили на Ключевой.

Потому, должно быть, и птиц было много всяких. Даже нелюдимые зимородки многими парами водились по речке, потрескивали по плетням и сараям сороки, и в редком дворе не торчали в березах скворешни.

— Пора и ко двору, — давно уже заговаривал Данила Степаныч. — Людей повидали, спину поломали... Соловьев вот буду слушать...

А соловьев было там, по речке!..

Да и помереть в Москве не хотел Данила Степаныч. Хорониться желал на родине, только не на горбачевском погосте, — где и загороди-то не было, а только канава, — а на монастырском кладбище, под старыми вязами, где жена, бок о бок с собором. Тяжело было вспоминать, как таскали жену в гробу — с дрог да на машину, везли в товарном вагоне, как всякую кладь, а там опять на дроги да верст двадцать до монастыря. Нет, уж лучше в Ключевой помереть. Тогда, коли приведет Господь помереть в летнюю пору, раздумывал он, понесут его, честь честью, сперва ельничком, потом березничком, полным орешника, берегом Соловьихи, лужками, подымутся на горку, мимо скита. И тут и монастырь. И хорошо будут петь в лесу.

Была у Лаврухиных в Ключевой просторная, в два двора, усадьба. Наезжал иногда старик поглядеть, проведать сестру Арину; поправлял, пообстраивал, помогал деньгами. Осталась Арина вековухой-бобылкой в отцовском дворе, доживала восьмой десяток. Был у Арины пчельник, сидел на пчельнике, за двором, двоюродный брат по матери, Иван Захарыч, бесприютный. Был у Арины и огород, и посылала она в Москву деревенского гостинцу: то меду, то огурчиков, то репы, чтобы не забывали. Живали у ней по летам сироты-внучки, Миша и Санечка, подопечные Николая Данилыча, дети меньшого сына Данилы Степаныча. Взяли этого сына из запаса в японскую войну, и не воротился он. Только и узнали о нем Лаврухины из бумаги воинского начальника, что убит в ночной перестрелке у деревни Синь-Ху. И где ни справлялись, узнавали все то же: убит под Синь-Ху. Вот его дети и гащивали у Арины. Кормила она их молочной лапшой и творожниками и заставляла читать Четьи-Минеи.

И когда пришло старику на ум отъехать на родину, на покой и поправку, наказал Николай Данилыч перестроить дом. Съездил сам после Рождества, указал, как что нужно,

а чуть пообтаяло — послал артель плотников и маляров, и в месяц поставили они новый просторный дом из толстых сосновых бревен, вывели широкую застекленную террасу, вставили в окна цельные, бемские, стекла, раздвинули садик под окнами и кругом обнесли резным палисадом, наставили белых скворешен и вертунков на крыше. И порадовалась Ключевая, что едет Лаврухин на родину.

Хорошо иметь в Москве сильного земляка, а еще лучше такого, как Данила Степаныч. Из многих дворов служили у него по постройкам десятниками и приказчиками, парильщиками и молодцами в банях, водоливами на водокачках и кочегарами у котлов. Из году в год посылала ключевая воза с березовыми вениками и вязанные из тростника подстилки для бань, отдавала ребят в услужение, ставила девочек-подросточков в няни и горничные Лаврухиным и родне их по городу. Помнили в Ключевой, как окрутила было Дуняшка Богомолова среднего сына Данилы Степаныча, а он помер от скоротечной чахотки — опился портвейном. А то бы в шляпках ходила!

Кой-кого еще помнил Данила Степаныч. Было на Ключевой два-три старика, с которыми когда-то играл в бабки и рюхи на своей улице, было две-три старухи, с которыми когда-то ломал грибы по лесам и хоронился в Медвежьем враге по весенним ночам. Были мужики у него на работах, которых, бывало, дирал за вихры. Помнил еще иные дворы в Шалове и Манькове: то свояки, то сваты чьи-то.

Теперь по травяным улицам ползала и попрыгивала новая Ключевая, новые дворы встали, повыгорели и повымерли старые, и затерялась память о многом...

И вот опять старый Лаврухин стал близким. Хоть ни у кого не прибавилось ничего, а все-таки веселей стало: все-таки на виду больше!

И еще, как совсем обтаяло и отошла земля, пригнал Николай Данилыч садовника с возом посадок; и только степлело и прилетели скворцы, повеселели в клейких листочках топольки, зелено закудрявились березки, тронуло бархатцем крыжовник, смородину и малину — и засверкало солнце в серебряном шаре на клумбе, в пионах. Заселились веселые, как из кости точенные, домики на шестах, стали скрипеть и трещать по утрам. Зашуршали в пролетцах теплого ветра вертушки на зеленой крыше, и

молодо стал глядеть в долгие годы весь голубой, светлый, просторный дом, стал гореть на восход толстыми зеркалами окон в тюлевых занавесках.

И пригнал Николай Данилыч из Москвы молочную, черную с белым, холмогорку, тихого вороного коня, тяжелого, мохноногого, шелковой шерсти в масле; мягкую рессорную пролетку, чтобы ездить папаше в монастырь к обедне; широкую кованую телегу, чтобы возить припасы со станции, и к ней добрую брюхатенькую лошадку. Подарил на новоселье, для полного хозяйства, как молодым, белых гусей и уток, гнездо породистых кур, черных, с белыми ушками, — растрогало старика очень, — садок голубей-чистяков, что ходят на кругах и дают уют дому.

И стал тогда новый дом совсем как полная чаша. Гулко ревела в новом сарае холмогорка, трубила громче всех ключевских коров, густо орал по зорям невиданный петух-лошадь; дробно кружились белые голуби.

И сразу обжитым стал смотреть новый двор Данилы Степаныча Лаврухина.

II

На Николин день справили новоселье: привезли пирог и кулич — хлеб-соль, освятили с иконами из Горбачева, опили. Бабы принесли городской крендель, получили за поздравление и до ночи гуляли по деревне и пели песни. И стал Данила Степаныч доживать новую, третью жизнь в уходе у обрадованной сестры Арины, высокой и костлявой, с замшенным от старости подбородком.

Восьмой десяток доживала Арина, а все была пряма и строга взглядом, как и лет двадцать назад: не трогало и не гнуло ее время. Ходила твердо и широко, деловито постукивала корчагами в печке еще могла угрызть корку. И хоть звали ее ребятишки бородулей, а как что — ниток ли на змей, сахарку ли кусочек — топтались под окнами. И хоть звали ее бабы горбоносой, через нее доходили до Лаврухиных.

Стал Данила Степаныч жить под ее уходом.

В теплые дни ходил по садику, с палочкой, в мягких сапожках на заячьем меху и в теплом пальто, прикармливал голубей, поглядывал на глинистые обрывы над речкой, поросшие мелкой березкой-веничком, все такие же, как и семьдесят лет назад. И рад был, что опять здесь и опять

все по-старому. И было ему покойно: было все хорошо теперь, а будет... и будет тоже все хорошо. Слава тебе, Господи... слава твоему солнышку!..

А солнышко хорошо грело, если сесть на припор, на новой широкой скамеечке, со спинкой, снаружи палисадника, с видом на лужок улицы, по которому прыгают ребятишки. И ребятишки все те же, белоголовые, звонкие, так же гоняют шара и отщелкивают чижа. И так же мычит под ветлой, напротив, беломорденький, лопоухий рыжий телок, сохнут на бревнах рубахи. И бревна те же, кривые, серые, и травка из-под них растет та же — крапива и просвирник. И краснеет в елках сосняк на горах, за речкой, и лавы на речке все на том же месте.

А рядом, через лужок, через неширокую усадебку, на которой спокон веку росли две рябины, заменяя отмирающие пеньки новой порослью, на задках которой, приткнувшись друг к дружке, стояли гребешками соседские погреба — лаврухинский и морозовский, на которой всегда полеживали запасные бревна — лежат и теперь, обрастая травой и въедаясь в землю, — у крылечка, на боковой завалинке, сиживал в теплые дни сосед Семен Иваныч Морозов, в памяти так и оставшийся Сенькой Морозом. Теперь он был для прохожих людей не Семен Иваныч и не Иваныч, а так, старым-старым, без имени стариком, дедом, потому что имя его затерялось в годах и стерлось, как стерлись до времени на работе его черты особливого человека. Все старые деревья ветхостью своею похожи, все дряхлые старики — тоже. Оставил он в прошлом все отличавшие его от прочих людей черты, оставил временное, и теперь близкое вечному начинало проступать в нем. Было оно в запавшем, ушедшем вовнутрь и застоявшемся взгляде бесцветных глаз, в зелено-бурых усохших щеках, принявших цвет кожи заношенного полушубка; высыпалась и поредела бородка, засквозило лицо, как тронутое октябрьским морозцем жнитво, пожелтели и заершились брови, а уши подсохли и засквозили на солнышке желто-розовой, жидкой кровью. Выступили под сухой кожицей, как скрытые проволочки, загрубевшие жилки, померкли губы, выставились шишками скулы, и уже чуяли в нем зоркие бабьи глаза близкое смёртное, тронувшее землей лицо.

Он выходил в валенках, плоских от исхудавших ног, в полушубке из старых заплат, в рыжей шапке и, когда сидел, все поддерживался руками, чтобы не гнуться. Уже ото всего отрешенным знал он теперь себя: прошлое куда-то ушло, а настоящего не было или было оно совсем не важным. И, хотя не было для него настоящего или было оно не важно, все же не безразлично было ему прибытие ко двору Данилы Степаныча. Думалось, что так и должно быть, — и хорошо...

И Даниле Степанычу думалось, что хорошо так, что вот опять стал соседом Сенька Мороз, точно и не порывалась совсем прошлая жизнь, а продолжалась все та же, сбившаяся когда-то с настоящей дороги, долго вертевшаяся по чужим проселкам и снова нашедшая настоящую свою дорогу. Теперь дойдет верно и покойно, куда ей нужно.

И когда в первый раз опять встретились они, столкнулись через лужок слабыми взглядами и покивали друг другу, забылось как-то, что Данила Степаныч стал крепко богатым, что у его сына в Москве — все отдал сыну — большие дома и бани, что сын его ездит на автомобиле и внуки пошли в образованные, а Семен Морозов все тот же, что получает он от Николая Данилыча за сорок лет службы по три рубля на месяц за попавшую в колесо на водокачке и измятую руку, что сын его служит при банях парильщиком — вот уже двадцать лет моет народ и бегает по пальцу Николая Данилыча. И обоим им не подумалось, а так, сказалось внутри, как понятное и бесспорное, что теперь *те* ходят там по своим дорогам, а сами они вот здесь, на старой лужайке, каждый у своего двора. И то хорошо, и это, и так нужно. И обоим им светит солнышко, и обоим поют скворцы, и оба идут к одному, равные и покойные, оставив позади свое беспокойное.

И когда в теплый день мая вышли они на свои солнечные места поглядеть на зеленую улицу, поулыбались и покивали друг дружке. Потянулся было Семен Морозов за шапкой, оперся крепко на дрожащую руку, а Данила Степаныч сказал:

— Чего уж... сиди, не свались хоть...

Не слыхал Семен Морозов, снял шапку, потряс возле уха, потом долго прилаживал, нащупывая: надел ли; смотрел на Данилу Степаныча, что он скажет. Сказал Данила Степаныч:

— Что-то ты заслабел больно скоро, Иваныч... Ай болеешь?

Опять не слыхал Семен Иваныч. Сказал:

— К нам, значит, опять... назад воротился... совсем...

Сказал Данила Степаныч, постукивая палкой, бодро:

— Вот. И в Москве у меня хорошо, и здесь не плохо. Совсем — не совсем, а вот пообживусь, поотдохну... опять съезжу. Погодка-то!.. А вот я тебе травки дам, очень для груди полезно и для всего. Сам пью, и доктора ничего... одобряют. Вот я тебе ужо дам...

— Ась?

— Травки тебе пить дам! — крикнул Данила Степаныч. — Совсем ты глухой стал! На сколько ты меня годов старше-то?

— Да на сколько годов... Да, сдается, ты меня на годок постарей будешь... Мне без году восемь десятков, гляди, вот на Стретенье...

— Ну, это ты... не того... Ты меня на год, а то и боле старше!

— Забыл, может... А Миколай-то Данилыч как? при делах все больших, сказывают...

— Николя у меня... голова! Такие дома закатывает!.. Теперь дома пошли-и... — поднял Данила Степаныч палку к небу, — в десять этажей! Накрутили мы с ним... всего!

— Большие вы люди... бо-ольшие стались... Дал Господь!..

И было приятно слушать Даниле Степанычу. Было приятно, что кланялись проходившие мимо бабы, что прислушивалась к его разговору, чуть приоткрыв дверь, старуха — сноха Морозова, что приезжал поутру урядник поздравить с прибытием в родные палестины и стеснялся войти в новый дом с блестящими, как стекла, полами, что он все может — может жить где угодно, а будет жить здесь, на полном покое, потому что так хочет и так лучше.

Радовало его, что играют над ним, вертятся через хвосты белые голуби, которых пугает с крыши сарая вешкой внук Семена; что весело постукивают и скрипят скворцы, звонко трубит еще не обжившаяся корова; что работник Степан повел запрягать лошадь — ехать сейчас к обедне в монастырь надо, — ведет и боится, — что значит не деревенский-то! — что день сегодня теплый, что Сенька Мороз — вот он, и он, Данила Степаныч, здесь

для всех первый и благодетель, и почитай вся Ключевая кормится его делами.

III

Как-то приказал он Степану взрыть по заборчику, где солнце, грядку под обещанные сыном левкои. Сел на стул и смотрел, как копает Степан — неумело, по-бабьи, и сердился. Взял лопату, копнул раза два — устал, задохнулся. Сказал с досадой:

— На земле живешь, а земного дела не знаешь! Ну-ну, рой...

Слышал, как пахнет отдохнувшей землей, видел, как черна и сильна земля на его усадьбе: все подымет. И захотелось ему насажать подсолнухов. Представил себе, как начнут они подыматься, жирные, сильные, и будут желтеть тяжелыми шапками, в тарелку. Выбрал из московских дюжину самых крупных зерен, испытал на воду; сам, покряхтывая, нагнулся и насажал рядком. И когда сажал, вдруг пришло в голову — загадал: вырастет их двенадцать штук — шесть лет проживет; вырастет шесть штук — три года проживет. Поостерегся загадать: вырастет двенадцать штук — двенадцать лет проживет. И стало для него важно, скоро ли и сколько подымется их. И все беспокоился, как бы не запотели от холоду. На ночь приказывал накрывать соломкой и каждый день приходил на грядку и смотрел.

И вот, на восьмой день — по календарю высчитал, — стало выпирать сырые комочки и отсохшие колпачки шелухи, стали подыматься сочные и хрупкие, как из зеленого воску, дольки. Считал радостно, что два года еще проживет; потом вышло, что три года еще проживет. И день ото дня становилось их больше, и скоро все вылезли, вытянули и завернули к земле начинающие худеть и желтеть дольки, и пошел настоящий рост. Был так рад, что выросли все, что хороший, легкий у него в комнатах воздух, не заходит сердце, не прибывает вода в ногах и даже как будто опадать стало у живота. Присмотрелся в зеркало и нашел, что желтого в лице стало меньше, глаза светлые, борода белым веером, подумал: «А потому, что много сижу на солнце», — и сказал Арине, чтобы и по будням зажигала все лампадки. Скучно было одному радоваться, послал за Семеном Морозовым, повел его на

свою грядку, а сам держал за руку, чтобы не наступил, и показывал осторожно палкой:

— Вот видишь... сам понасажал! Все взошли!

А не сказал, что загадано, — стыдно было. Похлопал Семена по плечу и повел попить чайку «по-соседски» — с медом и кувшинным изюмом.

И рада была Арина, что нет гордости в братце, что совсем помягчел Данила Степаныч, свой совсем стал, и не скучно ему будет теперь. Давно забыла она, что было у ней с Семеном Морозовым в далеком прошлом; забыла и простила, что променял ее Семен на девчонку из Черных Прудов. Век свой прожила с ней бок о бок, всю жизнь не любила, а перед смертью, лет двадцать назад, простилась и сама принесла смёртную рубаху, взяла из непригодившегося приданого.

И рада была сноха Семена, уже побежавшая оповестить по дворам, что старик-от чай пить пошел к Лаврухину.

И с того дня частенько стал призывать к себе Данила Степаныч Сеньку Мороза — стал вспоминать в нем прежнего Сеньку — и на прощанье давал то двугривенный, то осьмушку духовитого чаю: так, бывало, ребятами делились они горохом.

Вспоминалось и прошлое, и почему-то резче всего припомнилось, как играли они в камушки на горох и обидел раз Сенька, а он, Данилка, залез на ветлу и ревел:

— Се-енька Мороз... горо-о-шину ужилил...

Напомнила им об этом Арина. Так ясно напомнила, что вспомнил Данила Степаныч, как тогда покойник отец отбивал косу и разбил себе палец, а Аришка стояла на бревнах. Так ярко было — чудо чудесное, — вот протереть глаза, и увидишь все. Здесь где-то, близко оно, давнее, и нет его... И многое другое помнили. Помнил Семен, как бил он в Медвежьем враге Данилку. Бились они в Медвежьем враге с Данилкой из-за рыжей девки из Шалова, и одолел тогда Сенька Мороз, тряс за душу Данилку и кричал в посиневшее лицо: «Живот али смерть?» Помнил и Данила Степаныч... Все хорошо вспомнили бы, но об этом не было помину. Так хорошо, что остался на памяти, неведомыми путями, треск замятого в драке куста и высокие белые шапки болиголова, буйно разросшегося в Медвежьем враге, — вот посмотреть отсюда, прямо за

речкой, где лавы и где вьется еще и теперь тропка на Шалово.

И вот стали яснеть и жить, казалось, совсем небывшие, затерявшиеся черты былого, вставали, освеженные местом. И чуть ли еще и не теперь жила с ними вон та, как и тогда, развесистая ветла, на которой ревел о горошине Данилка.

И кто знает, если бы пришел какой чародей и сказал им: «Хотите, вот оберну вас в Сеньку и Данилку, и деритесь опять за горошину, и пусть опять все пойдет старым путем», — не сказали ли бы они ему: «Хорошо!»

И забыл бы тогда Данила Степаныч все черное и тяжелое в своей жизни: как собирал первую тысячу, тревоги и бессонные ночи, как хоронил, как болел; забыл бы свои дома и бани. И Семен Морозов тоже забыл бы все: годы на водокачках и у банных котлов, как в смёртном страхе тонул в реке, как замерзал в поле в метель, как помирали дети и как отмяло ему колесом три пальца, — все, что ломало и било его за долгую жизнь.

Не было чародея, а то бы...

IV

В погожие дни брел Данила Степаныч на речку. Работник Степан нес за ним раскладной стульчик. Присаживались и молчали. Данила Степаныч переводил занявшийся дух, а Степан покуривал из кулака на травке. Стрекотали по плетням и сараям сороки, шуршали по коноплям воробьиные выводки. Дремалось на солнышке под сонную воркотню ключиков. Данила Степаныч разминал в меховом сапожке затекающие пальцы и думал, выдадут ли Николе из кредитного под новую стройку до Петрова дня, чтобы вовремя обернуться и не затянуться с гавриковским подрядом, а Степан смотрел на его драповое пальто и сапоги и раздумывал, не откажет ли ему старик чего из одежи, если помрет: все-таки он старается, растирает ему по вечерам ноги мазью, и всегда уж так водится, что за хороший уход дают чего-нибудь из одежи после смерти. А одежа бы ему пригодилась, потому что без хорошей одежи нельзя получить хорошего места в городе.

— Ну, подыми... — говорил Данила Степаныч.

Поддерживаемый под руку, шел он на речку, где лавы, узнавал место, видел, что лавы все те же — три брев-

нышка с поручнями — и все та же, прежняя, вьется в кустиках по откосу тропка на Шалово, идет мелким березняком-веничком, играют на быри те же голавлики и покачиваются давние, сизо-зеленые стрелки тростника. Бывало, вытягивали их осторожно, как цветочки из ландышника, с тонким писком и скручивали из них лодочки. И шумят-журчат звонкие ключики, как молодые — всегда молодые. А с горы напротив, из Медвежьего врага, потягивает утренней травяной прохладой, и растут там, не могут не расти, белые шапки болиголова, кусточки-дички красной смородины и цапкие плети лесной малины.

Протягивал палку к оврагу и говорил работнику, нанятому в Москве и ничего не знающему про эти места:

— А это... Медвежий враг. Понимаешь?

— Так точно-с, Данила Степаныч... Медвежий-с...

— А почему — Медвежий? Вот и не знаешь.

— Не могу знать-с. Надо полагать, медведи́ жили?..

— Вот и не знаешь. Тут... давно это было... я мальчишкой еще был... даже и до меня... понимаешь, медведь... зашел раз и увяз... понимаешь? Глина там, ключи... Живьем его тут и взяли... Понимаешь?

— Понимаю-с, с этого самого, значит... от медведя́!

Говорил вдумчиво, точно все это было и для него важно, и хмуро, как и Данила Степаныч, всматривался в глухую чащу высокого оврага в горе, где мелькало синее пятнышко рубашки: должно быть, там собирали ландыши.

— Вот и прозвали: Медвежий!

Говорил Данила Степаныч, чего не видал сам, чего, может быть, не видали и те, кто сказал ему. Может быть, сказку. Носил ее в себе всю жизнь и удержал в памяти среди вороха всяких дел и кипений. И вот теперь вспомнил и рассказал.

— Теперь медведи́ за редкость... — сказал Степан. — В зоологическом вот показывают... ситнички продают для прокормления...

И подбирал, о чем бы еще поговорить, чтобы было не скучно Даниле Степанычу. Морщил заросший лоб, двигал белыми бровями, поглядывал к небу — и не находил, что бы такое сказать еще. Родился и вырос в Москве и не знал ничего из здешнего. А на Данилу Степаныча напирало совсюду, куда ни глядел, переполняло всего, и нельзя было удержать при себе.

— Кали-ны тут!.. — сказал он и махнул палкой.

— Место очень превосходное, — сказал Степан и посмотрел к палке. — Высота очень...

Шли деревней, и Данила Степаныч припоминал, чей же двор, вглядывался в старые ветлы, в завалившиеся сараюшки, с заплатами из обрубков, в затянувшиеся мохом крыши. Признал у колодца водопойную колоду, зазеленевшую от плесени, огрызанную. Постучал по ней палкой.

— Вон какая... — сказал не то Степану, не то себе самому.

— Не наблюдают-с... Наш Вороной и пить не соглашается...

Узнал большой белый камень, на который становились, доставая воду, на который и он становился, — протертый ногами до желобка. Камень долго живет. Остановился и покрестился на похилившийся кирпичный столбик, накрытый ржавой железкой, сколько уже раз заплатанной, в полутемном заломе которого стояла безликая иконка. Столбик стал совсем маленький, а когда-то был и шире, и выше и надо было дотягиваться, чтобы заглянуть: забивались сюда воробьи.

Выходили под окна бабы, незнакомые, молодые, кланялись и провожали пытливым взглядом. Выбежала худощекая, востроносая бабенка, в красном повойнике, с матежами по всему лицу, с животом, поддернувшим синюю юбку, закланялась низко-низко, зачастила:

— Здравствуйте, батюшка Данила Степаныч! Здоровьице-то ваше как... Отдохнуть коли желательно, я вам и стулик со спинкой вынесла бы... под рябинкой-то у меня хорошо, тихо...

А он поднял палку вровень с грудью и спрашивал хмуро:

— А ты... чья же?

— А Митрия-то Козлова... Козла!

— Козла-а?.. Что ж это я не помню что-то... Козла!..

— А как же-с... батюшка Данил Степаныч... а мой Митрий-то гесятником у вашей милости, у Миколай Данилыча... Раньше-то в штукатурах все работал, допрежде-то, а теперь уж гесятник...

— Черный, что ль?

— Самый, самый он! С бородкой, рыжий, складный такой мужик. За вашей милостью и живем... дай вам от

Господа здоровьица, родителям вашим царство небесное, деткам вашим на здоровье, на радость... Не оставили нас, сирот, попечением, добрым словом... просветили нашу убогость...

— А-а, ты какая... лопотуха... Ну-ну... Добеги-ка до Ариши, кваску сюда чтобы дала бутылочного...

— И жарко-то уж вам как, Данила Степаныч!.. А я сейчас... Манюшка, стул давай с решеточкой, под часами-то... В окно давай, несуразная!..

Пахло крапивой и коровьим навозом в холодке. Толклись мошки под развесистой рябиной. Данила Степаныч, красный, в белом сиянии веерной бороды, тяжело дышал и обмахивался белым картузом. Степан дожидался со стульчиком, сидя в сторонке, в тени крапивы. А с соседних дворов высматривали бабы, перебегали девчонки, — оповещали, что сидит Данила Степаныч у Дударихи на стуле под рябиной, а Дудариха побежала к Арине Степановне за квасом. А поодаль, из-за крапивы, выглядывали ребятишки и шептались.

V

Узнал Данила Степаныч колченогого пастуха Хандру-Мандру, старого ворчуна, — очень обрадовался.

Уже забыли, сколько годов ходил пастух за ключевским стадом, всегда один, без подпаска, — десятка полтора всего было коров в деревне, — и на зиму не уходил, прижился. Был он чуть помоложе Данилы Степаныча, и как был всегда своенравный и зубастый, таким и остался. За то и прозвали его — Хандра-Мандра.

Подковылял сам, когда старик сидел у садика на скамеечке, стащил бурую шапку и тут же надел.

— С приездом, што ль, хозяин! Корову-то пустишь?

— А, ты, Хандра-Мандра! Жив еще?!

— Ты жив, а мне што ж не жить! Вместе, чай, помирать будем...

— О?! Ну, живи, живи...

— Поживу, коль так. Чего мне не жить! Скольких я стариков-то перехоронил! Мяса во мне нет, жилка да спленка... еще пятерых, гляди, с меня хватит!

— Ишь ты... — протянул Данила Степаныч, разглядывая маленькое, с кулачок, сплошь красно-бурое пятнышко лица пастуха, с жилками, как у королька.

— То-то и есть. Я вон, постой, Семена Морозку еще схороню да вот Мамайку, разбойника... на табачишко вон семитку накинул, шутьи его возьми! А то и еще кого... И тебя, может, еще схороню, что думаешь?! Я на жилке держусь, не скусишь!

Хитро смотрел на грузного, расползшегося к бедрам Лаврухина, помигивая белком попорченного глаза, и с трех шагов слышал Данила Степаныч знакомый дух стада и махорки. И как будто все та же была на Хандре долгополая кофта, обдиравшаяся слоями, в лоскутьях которой держал он кисет и газетку, — залитая смолой, давняя. Дубленое было лицо его с ветров и погоды, со скулами-шишечками, без щек. Втянулись они под скулы, поросли серой щетинкой, и только в бровях еще чернело кусточками: посмыло кой-где дождями.

— Поднесешь чего — уберегу коровку, пожальствуешь — та-ак бока настегаю!.. Со мной не шути... хе-э... С тебя должно супротив кого другого итить...

— Ну-ну... А ты, Хандра-Мандра... глазок оловянный!..

Как раз и вспомнил: оловянным глазком, бывало, звали Хандру, да забыли. Даже пастух подивился и прояснел.

— Упомнил! Эх и стары же мы с тобой стали, Степаныч!.. Оба в дураки выписались...

— Что ж это ты так... — нахмурился Данила Степаныч. — Ты, брат...

— А то как! Я вон весь век за коровами, ты за рублем ходил... При том и сталисъ: у тебя рубли, у меня коровы... Ей-Богу! — хитро помигивал белком Хандра. — Может, ты и умней всех... дом-то какой! а я будто с придурью... Ну, давай рядиться. Кажну зорю стану тебе играть веселую.

Порядился на бутылке и рубле — за особый пригляд. Ходил взглянуть на корову. Обошел с боков, помял вымя, подавил кривым большим пальцем на крестец, отвернул хвост, посмотрел на зеркало, сказал:

— Огулёна по третьему месяцу.

Потянул за рог, перебирал пальцами, смотря в угол; прочел, как по книге:

— Ничего жуколочка... по четвертому телку. Вымистая, ничего... Красных восемь дал?

— Ну, ладно, ладно... там сколько ни дал... — осердился на что-то Данила Степаныч: немели ноги или обиделся, что так оценил.

Ушел в дом, а Хандра-Мандра остался под окнами, дожидался. Вынесла ему Арина стаканчик водки и яичко.

— Попригляди уж за коровенкой-то... московская ведь...

— Да уж... гхе!..

Покрестился и потянул из стаканчика, не спеша, запрокидывая голову. Сказал сипло:

— Шибко доиться будет, тетка Арина... без зацепу проскочило. И где вы такое винцо берете!..

Обсосал ус и заковылял, закручивая на ходу через спину свой долгий кнут.

А на зорьке разбудила Данилу Степаныча жалейка под окнами. Сперва и не разобрал, что такое. С минуту лежал затаившись, слыша, как застучало сердце, и когда понял, что это Хандра-Мандра играет, заложил руки за голову, уставился в сосновый потолок и слушал. Ах, жалейка!

Ти-и-а-а-и-и-и-а... ти-и-и-и-а-а-и-и-и...

Ах, жалейка!

Шло давнее, в ноющих переливах, далекое, совсем похороненное. И уже видел Данила Степаныч, как верха Медвежьего врага золотятся, лужок в росе, на речке туман, окна горят к восходу...

Закрыл глаза, совсем затаился, не слыша затекших ног, а Хандра-Мандра все играл, все глубже вытягивал, тащил из страшной дали живые вороха...

Ревели коровы утренним бодрым ревом. И в этих ревах и живых вскрикиваниях жалейки пробиралась тоскливая дума, что это последние голоса и жизнь уходит. Самое-то хорошее и прошло.

Скрипнули творила сарая. Сиплый, утренний, голос Арины понукал ласково:

— Ну, ну, дурашка... Христос с тобой, матушка... иди, иди...

Слышалась в тихом утре тяжелая ступь, и потянуло сытое тягучее мычанье. Крепко, как из пистолета, ударил кнут, побежало, рассыпалось по горам и отдалось в овраге. Всегда отдавалось. Мальчишками стояли, бывало, у крайней избы, где жил старик Золотой, — когда было! — и кричали к оврагу. И отвечал овраг. И теперь отвечает. И петухи в овраге поют, и жалейка играет, и перекликаются бабьи голоса.

И когда услыхал Данила Степаныч, как рассыпалось щелканьем, сказало в нем затаенное, что хорошо это, что он опять здесь и теперь уже больше не уедет. Что это все было неизменно полвека, когда его не было здесь, и каждое утро играла жалейка, и без него продолжалась его детская жизнь. И было ему грустно, и думалось, что уже выводятся настоящие пастухи, помрет Хандра-Мандра и здесь уже не будут играть так. Последние это пастухи.

И припомнилось ему еще, как лет тридцать назад приезжал он сюда с жидом-компаньоном, которого звали Яша, — через него купил он на слом княжеские дома на Поварской и выстроил на складчину первый доходный дом и выгодно продал. И привез он тогда этого Яшу, — вот был человек! — к себе на родину, показывал на радостях свое место, — вот откуда вышел! — а Яша хвалил все и говорил: «Вот место хорошее! вот где дач можно наставить!» Пили тогда они в большой компании, заставили ловить по омутам рыбу и раков, — сила раков была! Пили-пили, девок согнали, уху варили... Было дело... А на зорьке заиграл Хандра. Призвали его тогда на свое гулянье, к ветлам, за деревню, и напоили. Коньяком поили. Вот тогда он играл! Жид плакал и все хотел дачу себе на горе ставить и жить совсем. А Хандру в омуте купали, приводили к жизни...

Давно было... А там еще и теперь стоят ветлы, и можно собрать мужиков праздником, ловить рыбу, накупить коньяку и рому, можно позвать Хандру, и будет он играть... А жид тот помер уже...

VI

Подсолнухи на грядке вытягивались, выравнивались, ширились. На огороде, за погребами-соседями, черные гряды сплошь затянуло сочными огуречными плетями, и стоял там, когда ни взгляни, как будто старый Хандра-Мандра, рваный и кривобокий, распялив руки. Поставили его с весны — для гороха, и будет стоять так до осени — в огурцах.

Тих и тепел был май, тепел был и июнь, с тихими дождичками. Старый огород, лелеемый теткой Ариной, все еще был в силе, густо зацвели шершавые огуречные побеги, и исстари облюбованный горох оперился и пышно завился вокруг хворостин веселой зеленой рощицей.

Полюбил Данила Степаныч день за днем примечать, как в огороде день ото дня прибывает желтого цвету, а на горохе виснут лопаточки. Полюбил захаживать и на пасечку, позади огорода.

Маленькая была пасечка, старенькая, колодная. Всего только пять дупляков стояло, накрытых дощечками с кирпичиками, потрескавшихся и кой-где стянутых ржавыми обручиками и сбитых жестянками, — давние счастливые ульи. Когда-то, еще при покойном деде, на лаврухинской усадьбе была лучшая пасека, в сорок колод, и приходили из округи за удачливыми роями — благословиться к почину: удачлив был дед на пчелу, хорошо знал пчелиную повадку. А теперь оставались поскребушки: переводиться стала пчела. Но эти уцелевшие пять колод для Данилы Степаныча были не пять колод, а давний пчельник, в березках и рябинках. Только из берез-то оставалась одна-однинешенька, старая-старая, без макушки, да были еще поспиленные ветлы да обраставшие горьким грибом пеньки рябин. А когда-то всю пасеку освещало на закатах с пышных рябин красным горохом.

Как-то теплым июньским утром тихо прошел Данила Степаныч на пасеку. И что же увидел! Увидел своего деда Софрона. И рост такой же, и голова белая-белая, без лысинки, и повыгоревший казакинчик, в заплатах под рукавами. Стоял дед в росистой траве по колено, над дупляком, оскребал верха в буром гудливом рое, как дед Софрон, бывало, поутру. Конечно, это не дед Софрон был, а так похожий на деда двоюродный брат по матери, глухой Захарыч, который жил у Арины: пришел из Манькова, из пустого двора, помирать на людях. Знал Данила Степаныч, что живет Захарыч у Ариши, как в богадельне, что внучка его, одна живая душа из семьи, выдана была в Шалово и теперь едва держат ее в мужниной семье, а муж, слесарь, пропал без вести, когда была на Москве смута.

Когда жил в Москве Данила Степаныч, за всякими делами и своей семьей все перезабыл, как и где кто живет из родных и свойства. Точно и не было никого. А как стал жить здесь, стал вспоминать. Оставалось еще родни. Вот двоюродный брат Захарыч, вот еще какая-то Софьюшка есть, внучка Захарыча, и ему тоже вроде как внучка, какие-то еще племянники внучатные, дети троюродной

сестры, которая теперь монахиней где-то или уже померла, — гармонисты, играют на посаде в трактирах. А в Шалове — крестник, теперь сильно разбогатевший, Василий Левоныч Здобнов.

На свободе, за самоваром, разобрали они с Ариной всю родню. Она всех знала, до грудных младенцев, ездила, как праздновали престол, то в Шалово, то в Маньково, то в Черные Пруды, — не теряла родни. Знала много всяких семейных случаев, кто и когда горел, кто чем помер, кто кого брал и откуда, кто выделялся. Многие далеко разошлись. Был теперь внучатный племянник в Сибири, на пароходах, была троюродная внучка выдана замуж за парня из Горбачева, а теперь очень хорошо живет, — приказчиком он на хорошем месте, только ехать туда надо две недели, Хива называется.

«Распложается народ, друг от дружки горохом катится», — вспоминались Даниле Степанычу слова Семена Морозова.

Говорил Данила Степаныч и с Захарычем, который все кланялся ему и называл «батюшка-братец», побаивался все, а ну-ка не позволит ему доживать здесь — летом в сарайчике, на задах, а зимой — в доме. Очень все беспокоился Захарыч, как принялись ставить дом, — рассказывала Арина. Данила Степаныч успокоил и велел жить без сомнения: места не пролежит, хлебом не объест. И все видел, как Захарыч робеет при нем, когда зазовут его пить чай в горницу, пьет чашку с одной изюминой и все старается услужить: то медку пообещает скоро припасти, то чай похвалит, то вспомнит, как его зять любил, «сресаль». И когда рассказывал про слесаря, плакал.

— Бывальча... побывает когда из Москвы... к покосу... — рассказывал он и моргал красными, без ресниц, веками и уже ничего тогда не видел: сахар по столу нашаривал и мимо блюдечка наливал, — все калачика... а то сахарку хунтик...

Часто говорил про сахарок и про слесаря.

Узнал Данила Степаныч, как все собирался слесарь, Иван Арефьич, жену к себе выписать, все хорошего места дожидался. И Софьюшка все ждала и обещала Захарычу по три рубля высылать. А не вышло — пропал слесарь безо всякого следа вот шестой год как... А смирный был.

Окликнул Данила Степаныч Захарыча — пчел боялся, — не услыхал старик: совсем глухой был, да еще пчелы мешали. Смотрел Данила Степаныч, как накрыл старик улей, как пошел к березе, перекрестился и поцеловал на березе черную дощечку. И узнал он эту дощечку: Зосиму и Савватия, пчелиных покровителей. Каждый шаг, каждый день точно на радость ему сговорились открывать хорошее прошлое. В это утро вот вспомнил он образок, который висел с давней поры на пасеке, на проволочном ушке, на гвоздочке в березе. На зиму его уносили во мшаник. Сколько раз он и сам, бывало, целовал эту иконку, на которой стояли два старца, а за ними церковка с главками. Хорошо помнил и хлопотливый гул пчел в солнце, росе и зелени, и золотистую ворохню у летков, у пупков колод. Полвека не останавливается работа. Полвека все то же.

— Захарыч!

И опять не слыхал Захарыч, выбирал из головы, над ухом, запутавшуюся пчелу. Все то же. Все так же, бывало, и дед Софрон

И тут увидал Данила Степаныч лоскутное одеяло на плетне и выглядывающего светловолосого мальчишку в белой рубашке. Мальчишка смотрел на него из-за колышков прясла, выглядывал одним глазом, прячась за колышек. Поманил его Данила Степаныч палкой, но мальчишка совсем укрылся за одеяло. Тут услыхал Данила Степаныч молодой бабий окрик:

— Поди, Ва́нюшка! Данил Степаныч зовет, поди...

И тут увидал Данила Степаныч в пролете плетневого сарайчика молодуху в белом платочке и голубой баске. Кланялась ему. Кто такая?

— А ты кто ж такая? — спросил он, подымая палку.

— Здравствуйте, Данил Степаныч... А Софья я, внучка вот дедушкина, Иван Захарычева. А тот мой, Ва́нюшка мой... Поди, Ва́нюшка, не бойся...

Но Ванюшка и теперь не шел, выглядывал половиною головы из-за одеяла. Трещал плетнем.

— А-а... Во-он вы кто-о! Ну-ну, покажись, покажись... Да-а, вон вы кто-о! Ишь ты, хорошая какая... бабочка...

И слово, давно не приходившее на язык, вышло у него ласково — бабочка.

Чернобровенькая была она, как галочка, смуглая от загару, тонколицая, с бойким взглядом, сухощавая, складная.

Тут и Захарыч услыхал говор, подошел, перебирая поясок на ситцевой белой рубахе в черных горошинках, и сказал, взглядом пытая бабу:

— А Софьюшка вот... сресалева-то... Побывать вот пришла... на денечек...

Тут уж и Ванюшка пересигнул плетень, подобрался сторонкой и поглядывал. Сучил босыми ногами в потемневших с росы розовых штанишках, похожий на мать — тонколицый, с черными бровками, в золотухе, сильно высыпавшей на губах и у носа.

— Ванькя вот, Данил Степаныч... правнучек мой... дождался, Данил Степаныч...

— Грамоте уж умеет, буковки уж разбирает... — сказала Софьюшка.

— Та-ак. Вот и расти. А там Николя мой приставит его куда там... — сказал Данила Степаныч, оглядывая Ванюшку, закусившего рукав рубахи. — Чего портки-то как обросил?!

— Покорно вас благодарим, Данила Степаныч... — быстро заговорила баба. — Только бы вам веку Господь послал.

— Ну вот, уж как-нибудь... Не чужие... Плохо живется-то, а?

— Без мужа, Данил Степаныч... плохо... — сказала баба, потупив глаза и косясь на широкие, блестящие от росы калоши Данила Степаныча.

А Захарыч помаргивал и покачивал головой, стараясь понять, о чем говорит братец. Смотрел поочередно на всех, перебирал поясок.

— Да, да... Ну вот, как-нибудь! — сказал Данила Степаныч и стукнул палкой.

Понравилась ему молодуха, скромная ее повадка и как она опускала шустрые глаза и поджимала маленькие губы, и черные ее бровки, точь-в-точь как у его невестки, Ольги Ивановны, когда была молодой. И сироткой, пугливым показался ему Ванюшка. Правнук вот! Тут, на солнце, у пчел, перед черной иконкой, перед откликнувшимся прошлым — так же, как этот мальчонка, сигал он, бывало,

через плетни, — мягко и болезно взглянул он на этих, все как будто родных, и сказал, не раздумывая:

— А плохо, так здесь живите! — И посмотрел к черной дощечке. — Вот, у его и живите. Арише помощь...

— Покорно благодарим... — начала было Софьюшка: не ждала.

А Данила Степаныч уже шел с пасеки. У погребов остановился, задумался, повернулся к сараю и поднял палку.

— Живите и навсегда здесь, в дому!

Пошел, постукивая, задохнувшись, неся в себе теплое, сам растроганный тем, что сказал.

Исподлобья глядел на него Ванюшка: чего так кричит? А Захарыч тревожно выспрашивал:

— А чего говорил-то, Софьюшка... ась?

И когда сказала она ему, крикнула к уху:

— Здесь нам велит жить, дедушка! Ласковый! — старик потоптался и зажевал губами:

— А-я-яй, бра-атец... а-а-а...

Сновали пчелы, благодушно трубили. Пахло сырой землей и березой, старой пасекой, разогретым ситцем на бабе и тем пресным зеленым духом, что набирается там, где много сочной густой травы, прогретой солнцем. Пахло росистым июньским утром.

И когда шел Данила Степаныч с пасеки, остановился у огорода, поотдохнул от захватившего его волнения, поглядел и сказал про себя: «Славно растет!» Смотрел, как сновали по грядам пчелы, залезали в золотые кувшинчики огуречного цвета — шевелились кувшинчики. Уже обобрали они горохи и все кружились по редким верхушечным цветам — нет ли еще чего?

«Укропцу-то хорошо бы... к огурчикам-то... Бывало, по краешкам укроп все...»

Вспомнилось, как свешивались с гряд крупные огурцы-семянки, а над ними черно-золотые зонтики душистого укропа. Захватишь снизу — как крупа посыплется между пальцев.

Благодатное было лето. Рано и споро росло все, цвело, зрело. Теплые были росы, густые, слышные. Падали тихие солнечные дожди с радугами. Хороши были в это лето горохи, огурцы, травы. Орехов была сила, — говорили ребята. Все сочно и весело смотрело на Данилу Степаныча,

точно говорило: «А вот мы! все те же мы! и тогда, давно, мы — и теперь мы! всегда мы!» Точно сговорилось все радовать его, показаться казовой стороной.

И когда смотрел на огородик, думал, что маловат он, что надо его раздвинуть, перетолковать с соседом, взять у него в аренду его половину и пустить на тот год большой огород: все равно чужое в Москве покупают. Понасадить капусты, свеклы, моркови, всего... Маку насеять для охоты. Бывало, в уголушке там, к погребку, мак сеяли: глаза порадовать!..

И нападала на него жадность — сажать, сажать... Думалось, хорошо бы яблонек хоть парочку посадить — белого наливу, китайских: осыпучие бывают. И стояла в нем дума не дума — не привык он вдумываться до конца, — а как бы тень думы невеселой, что поздно. Надо бы раньше, исподволь все завести, и теперь были бы яблони. А капуста!.. И вспоминалась крепкая, с заморозками, осень. Уже октябрь, уже в кадушках вода пристывала по ночам. Резали в сенцах капусту, тугую, белую, с хрустом вспарывали вилки, вырезывали кочерыжки. Откусишь — даже звякнет. С песнями рубили...

За делами в Москве и в голову не приходило, что есть еще дела, которые ему по сердцу, как теперь вот: взял бы вот лопату и стал копать. А нельзя, нельзя теперь — и сил нет, и вредно. Было даже любо смотреть, как Степан, хоть и неумело, выворачивает черную землю с хрустом, сечет розовые корешки, выкидывает белых хрущей. Пробудилась давняя в нем, от поколений зачатая, страсть — сажать, сажать, растить.

А издали следил за ним белый Ванюшка, крутил жгутом и драл зубами пруток, смотрел поверх прутика — строгий дедушка, большой.

Белело что-то за плетнем огородика, с уголка, к избе Семена Мороза. Пригляделся Данила Степаныч: маленькая девчоночка задрала платьишко, присела и выглядывает из бурьяна, красная.

— А, ты, какая... расселась!..

И посмеялся, как шуркнула девчонка по лопухам на задворки. Знакомое, бывалое все. Таким и осталось. Таким и будет.

Пришли белые гуси с речки, за ними утки. Стояли у крылечка, просили у бабушки Арины есть. Пошипел гусак

на Данилу Степаныча, покружил шеей, погрозил уклюнуть и затрубил, затрубил...

И каждый день много было тихих и радостных дел у Данилы Степаныча: то огородик, то пасека, то посидит у сарайчика, под малинкой, пьет свою воду, с Ванюшкой поговорит. Загадки даже загадывал. Тыкал в живот, выпятившийся над опояской, спрашивал:

— А ну-ка, что будет? «В лес путь-дорога, на пупке тревога, в брюхе — ярмонка»? Ну?

Ванюшка пятился, прижимал золотушный подбородок к рубахе и глядел исподлобья в густую белую бороду, в желтое пухлое лицо. Глядел и думал: какая борода-то, как веник!

— Ну, что? Вот и не знаешь... рубаху-то квасом залил? Во-он они! — показывал Данила Степаныч на колоды.

Стояли они, как старые червивые грибы-березовики, в высокой траве.

То по садику ходил, смотрел на свои любимые подсолнухи, уже начинавшие темнеть усатыми маковками, и радовался. И то голуби, то проскакивавшие со двора в дырки палисадника черным горошком породистые цыплята:

— Шшш!..

VII

Прошли теплые дождики, пошли белые грибы-колосники. Как-то поутру подослала мать Ванюшку с кузовком к Даниле Степанычу.

— Поди, поди... не бойся...

Ванюшка терся у заборчика, боялся идти. Сказал сипло в прорез палисадника:

— Грыбов на!

— Да громче ты, не слышит...

— Грыбов на!! — крикнул Ванюшка.

Услыхал Данила Степаныч, подошел к забору, увидал в кузовке буренькие шляпки, и захотелось ему свежего гриба на сковородке, хоть и запретил доктор.

— Ну, давай, давай... Уж и грыбы пошли!

— Грыбы пошли... — сказал Ванюшка, смотря в кузовок.

И не видал, как мать показывала ему с уголка: отдай!

— Кому ж грыбы-то?

— А вот набрали... — сказал Ванюшка, шмыгая носом и колупая пальцем в лукошке.

Взял Данила Степаныч грибы, дал Ванюшке двугривенный, наказал матери снести. Сказал, щурясь:

— Вот бы ты меня и сводил по грыбы-то, показал...

— Они в лесу-у...

И пустился, зажав в кулачке двугривенный. Набежал на мать, уткнулся в живот головой и показал двугривенный.

А Данила Степаныч хоть и шутил, а на другой день, чувствуя в себе силы, ходил по ельнику, у деревни, с работником — грибы смотрел. Не нашел хороших — далеко было до березняка, — зато послушал, как хорошо ворковали ветютни. Сидел на пеньке, откуда через редкий лесок виднелась тихая Ключевая. Господи! Сколько раз так, бывало, сидел, давно-давно! Бывало, возвращались с дальнего лесу, из-под Скачкова, с грибами. И Сенька Мороз, и Танька, и еще... Считали в елках, у кого сколько. Тогда тоже елки маленькие были, поросль. Чистили корешки. А позади, где был тогда старый сосняк, играли ветютни — то тут, то там, — заманивали, а близко не подпускали. А на деревне синие поздние дымки кой-где...

— Это что ж, по-твоему, уркает... ур-уррр? — посмеиваясь глазами, спрашивал Данила Степаныч работника.

Степан подымал белые брови, настороженно-вдумчиво глядел на верхушки елок и хитро прислушивался.

— А это... уж какая-нибудь птица, Данила Степаныч... Может, коршун где в гнезде... а похоже, как скворец...

— Скво-рец! Ветютень это!!

— Возможная вещь, что...

И опять слушал, завернув голову к глубине леса.

— Ничего-то ты не знаешь... возможная вещь! Не жил в деревне, вот и не знаешь.

— Никак нет, Данил Степаныч, не знаю. Я сызмальства все в Москве. У нас папаша блинками в Охотном торговали, а мы в услужение пошли. Я вот при банях мальчиком стоял, в дворянских... простынки накидывал, потом в молодцах... Очень хорошо в лакеях в богатом доме, но только хорошая одежа требуется...

— То-то ты и грыба не знаешь... Говоришь, сыроежка это... — показал Данила Степаныч на гриб в корзиночке. — Какая же это сыроежка! Свинуха это! А эта вот...

лисичка, желтенькая-то... а это валуй. А это... Ну, что это? Вот и не знаешь!..

— Не могу знать...

— Ко-зленок!

И было ему радостно учить ротастого, белобрысого Степана — с придурью он! — всему своему деревенскому прошлому, которое помнил еще, и рад был, что помнил. Сам себя проверял, помнит ли. Присматривался к кустам: все помнил. Узнал и показал Степану волчьи ягоды, на лужку признал отцветавшую уже любку, липкую смолянку. Молодыми радующими глазами смотрело на него все, точно потерял было он все это, а теперь нежданно нашел опять. Все приводило за собой из прошлого многое — не назовешь что, а только порадуешься, прикоснешься душевно, как было в первую зорю, когда играл под окном Хандра-Мандра. И грибы-то набрал никудышные, мог бы купить бельевую корзину настоящих белых, а показывал палкой каждый гриб и наказывал класть в корзинку. Услыхал дятла, остановился — где сидит-долбит?

— Вон они, за сучочком-то... — вытягивал губы и показывал пальцем Степан. — Вон они теперь перелетели... на сучочек-то... головкой-то вниз висит... головкой-то стучит...

— Белки тут бывали...

— Ужель даже белки?! Вот какое ваше место замечательное! Все есть. И медведи, и... все!

Легко было дышать в лесу поутру. И не мучила одышка, как в Москве. Пройдешь, посидишь. И нет-нет и подумается: как на стройке, как торговали бани в субботу, уплатит ли в срок, к июлю, Коровин за аренду семейных... Слышал даже, как стучат молоточки кладчиков, шумят ноги по доскам на лесах. А здесь-то как тихо!

Дошел до большого омута, «монастырского», — дорожка к монастырю тут, — где когда-то, и сам не помнил, была запруда. Взглянуть, остались ли голавли. Хорошо помнил их: ни за что нельзя было взять их бреднем — весь был в карчах и затопленных сучьях старый омут. Посидели на бережку, поглядели на тихую, желтоватую в тени кустов воду. Были голавли! Стояли на солнышке темными полешками, пошевеливая красными плавничками, сытые, давние. Может быть, те же всё: ведь рыба долго живет.

Показал Данила Степаныч палкой:

— А это вот голавли... При мне еще были!

— Голавли?! Во-от... — И смотрел на голавлей вдумчиво.

За омутом, на отвесной стене обрыва, заросшего березняком, шелестели и встряхивались кусты. Выставилась в зелени голова в красном платочке и спряталась. Падали зеленые ветки, и признал Данила Степаныч, что веники это режут — в бани, в его бани, сыну Николе, шесть рублей тысяча. Думал, что должны бы быть пни там березовые, — гонят и гонят они сколько лет все молодые побеги, а после Успеньева дня, как дожди, высыпают по пням опята. И захотелось ему на жаре горького чего-нибудь, горьковатых опят, соленых, как, бывало, засаливали их кадочками и зарывали в лед до поста. Крепко хрустят на зубах. И сказал Степану:

— Не забыть бы сказать Аринушке, наказала бы она... есть уж, может... осиновичков да березовичков понабрать... посолить бы...

Тоже похрустывают. А до опят далеко еще...

VIII

Не скучно было Даниле Степанычу без своих: навещали.

Прислал Николай Данилыч гостить к дедушке сирот: Мишу и Санечку. Светловолосые были они, беленькие, как из воска, хрупкие — болезными называла их Арина, — в покойную мать. Тихие были, особенно Санечка.

Приехала она в коричневом платьице, в черном фартучке — показаться, что поступила в гимназию, — показалась и переоделась в синенькое, как наказывала тетя Ольга Ивановна. До обеда сидела в садике на скамеечке, завернув ножку за ножку, и вязала кружева из миниардиза. Так наказывала ей Ольга Ивановна. А Миша не отходил от Данилы Степаныча, помогал выгонять из сада цыплят и рассказывал про училище.

За обедом Данила Степаныч радовался на внучков, как они хорошо сидят. Оттого и смирные такие, что сиротки. Вспоминал пропавшего на войне сына, скорбел и успокаивался, что положил на внучков по пять тысяч, а Николя и Ольга Ивановна воспитают и не обидят. Гладил Санечку по тонкой косичке в голубом бантике и жалел — худенькая какая! И Мишу жалел: тонкий какой да бледный.

После обеда уходил отдохнуть и отпускал погулять до ужина. А когда была дурная погода, собирались все в зальце, и Санечка — любила ее тонкий голосок Арина — читала Четьи-Минеи. Данила Степаныч подремывал, Арина вязала чулок, а Миша сверлил гвоздиком для свинчатки бабку или вертел петушков из старых тетрадок. Так и сидели все четверо. А по уголкам, как подходил вечер, начинали шуршать черные тараканы, не покинувшие старого места. Всегда у Арины водились тараканы — к прибыли, говорят, — и рада была она, когда и на новоселье увидала первого таракана. Теперь их было много: все приползли. И когда читала Санечка, то поджимала тонкие длинные ноги в черных чулках: боялась тараканов.

И не скучно было Даниле Степанычу. По воскресеньям приезжал на автомобиле Николай Данилыч — иногда с семьей, а то один с доктором.

В урочный час Данила Степаныч поджидал у садика, на скамеечке, посматривал к ельнику, откуда приезжали: не услышит ли знакомого гудка. Миша и Санечка издалека еще признавали торкающий шум машины, кричали, что едет дядя. А Данила Степаныч не слыхал.

— Так, может... елки шумят...

А потом видел, что и ребятишки бегут за деревню, — значит, едет. И сам начинал слышать веселые вскрики хрипучего гудка: едет. И уже слева, близко, из Медвежьего врага начинало стучать на лесной стене и гудеть. Выкатывала из ельника красная машина, мягко катила спуском, по травяной дороге, в лае наскакивающих собачонок. Были видны широкие плечи в чесуче — Николя! — красный зонтик невестки, голубой шарфик Паши и плотно, как в кресле, сидящего шофера Попова, в гороховом балахоне и кепке, знающего свое дело. Что им полсотни верст! Два часа. Мягко подкатывали развалкой, Попов, не ворочая головы, подымал кепку, а Миша трубил-трубил, и в овраге трубило.

Какие все рослые!

— Все в Москве слава Богу! Торговали хорошо... стройка идет...

Вечером уезжали, и опять Данила Степаныч слушал, как глохнет гудок и тает приятно-трескучий шум.

Приезжал иногда с Николаем Данилычем и доктор Цветков, и каждое воскресенье — а последнее время и по будням — шумно подкатывал на мотоцикле любимец внук, Сережа, студент коммерческого института, веселый здоровяк, с золотыми кружочками на плечах. Несла ему Софьюшка тряпку, помогала вытирать пыль с машинки. И когда сидели они рядом, Сережа и Данила Степаныч, один — с пушистым румянцем и упруго завившейся русой прядкой на лбу, а другой — одутловатый и желтый, с белыми, еще не сдающимися прядями на висках, видно было, что это родные. Были похожи широкие открытые лбы и носы луковицами — добрые русские носы. А срединою между ними был Николай Данилыч, покрупней и пошире Сережи, уже седеющий чуть-чуть по вискам, с медным от загара лицом и волосатыми руками сильного, делового человека.

Доктор был «свой» — вылечил Николая Данилыча от тифа, — и поговаривали, что, может, и совсем своим человеком будет: нравился он старшей внучке Любе. Был под стать семье, такой же здоровяк, только порядком лысый с чего-то, ходил щеголевато, во всем цветном и мягком, с цветочком ромашки или колокольчика за кармашком.

Сейчас же садились за пирог, и доктор с будущим тестем пили черносмородиновую листовку.

— А лихо у вас! — хвалил доктор. — Пейзаж, и всякая штука... Уж заведу я себе как-нибудь на днях такую-эдакую... виллу!

— Коровин что-то тянет... не платит... — похмуриваясь, говорил Николай Данилыч. — Вчера поставку заключил с Полянкиным... полтора миллиона кирпичу...

— У-у... что, много? — опасливо спрашивал Данила Степаныч.

— Не много, а... мало! По двадцать семь взял, а сегодня звонили от Шмурыгина — тридцать два, ни копейки меньше. А надо мне до двух. Рвут — на осень вся выработка запродана...

И когда ел пирог, и когда чокался с доктором, бежали по крепкому медному лицу дела, дела. А доктор смеялся, что Попов так и просидит до вечера в автомобиле. Посылали ему пирога на тарелке и стакан красного.

Данила Степаныч забывал, что ночью опять не спал от удушья — заливало, что поутру опять заходило сердце. Опять захватывали «дела», и такие все крепкие, молодые были возле. И Сережа ободрял:

— А у вас, дедушка, вид совсем превосходный... подзагорели...

— От тебя перешло. Ишь насажал, — тыкал Данила Степаныч в Сережину тужурку, — кренделькое! А я вот такой же был... шел, помню, в Москву за счастьем... и машины еще не было... Полотенчико через плечо, мешочек, а в мешочке-то... портяночки да рубаха... да хлебца...

— Были те времена, Данила Степаныч, доисторические... — говорил доктор, вынимая из-за вспотевшего ворота салфетку и вытирая ею лысину. — Да вы и теперь еще верст двадцать отколете! Ну-с, теперь послушаемся, какие такие у вас новости. Грибки вот все кушаете...

Уходили в спальню, где душно пахло афонским маслом от лампадок, выпотом старого тела и лекарством.

— Окошечки-то открывать бы надо... А нуте-с... присядьте в креслице...

Опускался на корточки, пряча красную шею в складки набегающей чесучи, посапывал и выслушивал ухом, а Данила Степаныч видел у самых глаз запотевшую розовую лысину с веточкой жил в виде крыжика и слышал, как крепко пахнет от доктора табаком и духами. Посматривал на темную Казанскую, на крышу Семена Морозова в окошке, мшистую, бархатную. Тяжело дышал.

— Хорошо-с... теперь не дышите...

Не дышите, когда опять заливало!

Потом оттягивал кожу, нажимал пальцем, мял живот, запуская руку, как в тесто. Стучал и выслушивал сзади. Нажимал и у кисти, и у висков, разглядывал глаза. А Данила Степаныч сидел покорно и тоскливо-растерянно.

— Хорошо-с! Это мы пока оставим... — говорил доктор, встряхивая пузырек и для чего-то разглядывая на свет. — А порошочки поглатывайте...

— А пилюли вот?

— Пилюли? Оставим-ка их до зимы! А воды жарьте...

— И что такое у меня... — жаловался Данила Степаныч, радуясь, что доктор говорит про зиму. — И сон хороший, и... А вот в голову отдает... и звон...

— А как вы думаете, молоды мы с вами? Ну, и попито, и... Йодистого вот пропишу вам... Еще поживем...

Потом шел с Сережей купаться, лазил по обрывам, гоготал там, вызывая эхо, за обедом опять выпивал с Николаем Данилычем и вечерком уезжал с ним, увозя корзиночку земляники и раков.

А этого было в изобилии у Ключевой и заготовлялось Данилой Степанычем к воскресеньям. Узнали, что охоч старик покупать у ребят, стали носить — кто что. К утру собирались на луговине и ждали под рябинами: вот выйдет сейчас Данила Степаныч с холщовым мешочком, где у него медяки — банный сбор. Сперва приносили ландыши и душистую любку — пуками. По полянкам, в березняке, по всем луговинам много было ее, сплошь иногда попадались полянки в тоненьких восковых свечечках. И оставалось еще у Данилы Степаныча в памяти — когда привозил он сюда жида-компаньона, накупили они этой любки целые вороха, поставили на ночь в ведра, чтобы везти в Москву, а наутро угорели от запаху. Приносили ребята первые, радостные, пучочки земляники, потом стали носить на блюдечках, таскать кувшинами: много было ее по вырубкам. Приносили рыбы, сколько кто мог наловить руками в норах, приносили раков. Раков не ел Данила Степаныч, а внуки и Николай Данилыч любили. Для них он скупал раков — копейка за рака, — наказывал собирать в крапиву и на погреб. В июле повалили с черникой и гонобобелем. Показывая вздутые животы с завернутыми пупками, самая мелкота несла в подолах рубах зеленый горох: матери подсылали. И многих знал теперь Данила Степаныч — новую Ключевую.

Праздничными были для него воскресенья, когда приезжала «гусынюшка» с Пашей и Любой. Так называл он невестку Ольгу Ивановну. Взял ее Николай Данилыч из московской семьи богатого булочника, и она принесла за собой пятьдесят тысяч. В молодости была тонка, как тростинка, с голубыми задумчивыми глазами, а теперь раздобрела и лечилась от полноты. Начала рожать каждый год, родила троих, а потом заполнела и перестала. Все вышли хорошей породы, освеженной деревенской крови, рослые, светловолосые, широкие, с крепким румянцем и ласковыми глазами. У всех были хорошие груди, и когда смеялись Паша и Люба, в груди у них звенело, как

хрустали. Все были очень похожи, только у Паши нос был в Лаврухиных, покойный и добрый, а у Любы с горбинкой — в булочников.

Только редко приезжала «гусынюшка» — кружило ее на автомобиле, а ехать со станции двадцать верст лошадьми — трясет. Зато когда приезжали, был праздник. Тогда Паша и Люба брали Данилу Степаныча под руки и водили по садику, показывались с ним на деревне, как два ангельчика — так и называл их, — щекотали пушистыми волосами щеки и так хорошо говорили — дедуся: осталось это у них с детства. И шло на него от них тихими радостями недавнего и настоящего. И жаловался, что не торопятся выйти замуж. Все спрашивал любимицу Пашу:

— Что, гренадерша, все не плачет подушка-то, а?

— Не плачет еще... — смеялась Паша и баловливо таращила на него глаза.

— От вас дождешься!

И грустно провожал их с корзинами, кузовками и букетами. Стоял и смотрел в темный конец деревни, к ельнику, а Санечка осторожно трогала за рукав и говорила:

— Дедушка, вам вредно... роса...

IX

Ездил Данила Степаныч к обедне — иногда в монастырь, иногда в скит, поближе. Приходило на мысль — а не уйти ли в скит? А потом раздумывал: что больному-то идти: и так как в скиту живет.

Узнал как-то от Семена Мороза и удивился, что Серега Калюгин, хромой, уже давно живет в здешнем скиту, лет тридцать, как принял постриг, и теперь имя ему отец Сысой, и вышел он в схимонахи. Не верилось: Серега Калюгин — схимонах! Драчливей его не было во всей округе. Пробили ему голову «на стенке» с шаловскими, повредили ногу. А теперь схимонах! И не только схимонах, а принял великое послушание и теперь второй год молчит. А какой ругатель-то был отчаянный!

Нарочно поехал в скит, попросил показать ему Сысоя. Увидал сухонького, хроменького старичка в схиме — колпаком. Сидел у него в келейке, спрашивал:

— Как же это ты так... дошел?

Молчал отец Сысой, смотрел ласково и покойно из-под колпака с крестом и костями, жевал серыми губами. Чуть

только и мог разобрать Данила Степаныч по широким вывернутым ноздрям — остались они, — что это действительно Серега Калюгин: смотрели они парой темных дырок на восковом носу в тронутых тленом щеках. Только и говорил отец Сысой, кланяясь:

— Молчу, сынок... молчу...

И по глазам его видел Данила Степаныч, что признал он его, — сказал о себе, что Данила Лаврухин, — а говорить не может. Только расширились глаза, а потом укрылись под колпаком, а худые, как восковые, пальцы забегали по четкам. Благословился и поцеловал руку, холодную, как ледышка. И в келейке у Сысоя было сыро и холодно, а за двойными мутными рамами стоял теплый июнь, и распустился под окном куст жасмина.

Спросил сокрушенно:

— Не надо ль тебе чего, отец Сысой?

— Молчу, сынок... молчу...

Так и не доискался у него, как он «дошел» и хорошо ли ему. И когда выходил, нагибаясь, чтобы не убиться о притолоку, услышал:

— Милостыньку твори.

Обернулся, а отец Сысой стоял перед уголком, молился.

Ехал Данила Степаныч на своем тяжелом и тихом коне, в покойной пролетке, и думал о Сысое... Думал, что вот готовится человек, важное у него есть, свое, за жизнью. К этому-то важному и готовится. И стало ему грустно и тревожно. А он-то что же не готовится? Тот уж давно готовится, тридцать лет...

— Господи, Господи!..

— Чего изволите-с? — спросил, оборачиваясь к нему, Степан.

Поглядел Данила Степаныч на его дурковатое лицо и махнул рукой.

Березовой рощей шла дорога. Широкие кусты орешника протягивали над головой ярко-зеленые в солнце зонты с темнеющими гроздочками новых орехов, шуркали по Степанову картузу, брызгали не скатившимся с утра дождем. В глухой стороне, влево, куковала кукушка, чистым, точно омытым в дожде, голоском. Послушал, и стало еще тоскливей. И пока ехали березовой рощей, без устали куковала кукушка.

Спустились на луговину, к речке. Здесь она выбегала из-под ключевских обрывов и текла на свободе петлями и завертками, вся извертелась, как вольная девчонка. Трава была здесь высокая и густая, и всегда много было здесь по мелким кусточкам крупных голубых колокольчиков, а в осочке прятались незабудки. Солнечно было здесь, парило с сырого лужка, и носились стрекозы. Знакомое место. А как разрослись ольхи! А раньше было совсем голое место.

Возле дороги, под ольхой, осыпанной, как охрой, желтыми крупками плесени, сидел старик, лежали на холщовой суме корочки, и стояла в травке ржавая кружка с водой. Старик макал в нее хлеб. Данила Степаныч тронул Степана палкой.

— Погоди-ка... Отколе, дедушка?

Старик приложил ладонь с зажатой в пальцах поблескивающей корочкой, всматривался против солнца. Увидал большого коня, богатую пролетку и важного старика в белом картузе. Закланялся.

— Тебя спрашивают! — окликнул Степан. — Откудова ты?

— Корми-лец... батюшка... спаси Христос...

Данила Степаныч достал большой кошелек, вынул пятак.

— Принимай милостыню! — опять закричал Степан. — Дозвольте, я кину...

— Не найдет... Прими, дедушка.

Старик понял. Потянулся за вырезанной винтом по коре палочкой, перевалился на четвереньки и показал две дерюжные заплаты на синих пестрядинных штанах и сухонькие, в онучах, ноги; стал на одно колено, покачался, отыскивая палочкой упора, и с трудом поднялся. Шел, покачиваясь, к пролетке, открыв темный рот, заранее вытягивая руку, — торопился.

— Да откудова ты... слабый-то такой, а ходишь... Дома тебе сидеть надо.

— Кормилец-батюшка... спаси Христос... — сипел старик пустым ртом, принимая пятак в пригоршню.

— Не слышит, а деньгу любит, — сказал Степан. — Спрашивают тебя, ты откедова? — крикнул он к самому уху, нагибаясь с козел.

— А-а... А с Мань-кова...

— А чей с Манькова-то? — спрашивал Данила Степаныч и кричал на ухо Степан.

Старик поглядел на Данилу Степаныча, на коня, на свою палочку и повторил:

— С Мань-кова...

— Ступай! — сказал Данила Степаныч работнику.

— Вовсе он оглупел! — сказал, оборачиваясь, Степан. — А вот тоже они, такие... ходят-ходят, а потом большие капиталы после их находят...

«В чем душа, — думал Данила Степаныч. — Как-нибудь так и помрет на дороге... Привалится под кустик и отойдет».

И вспомнилось, сколько их ходит к Арише, а она каждому выносит ломоть хлеба. А в городе и просить не дозволяют.

«Нехорошо. Для таких должны быть богадельни, чтобы хоть умирать было где. В каждой деревне бы такие дома, что ли бы, надо...»

Вспомнил, что сказал ему на прощанье Сысой, и подивился: сказал ему милостыню творить, а этот и тут как тут. Как знамение указал. И стал думать, что жить ему немного остается, недолго потянет и Ариша. А его дом останется. Пусть такие живут, — сын жить все равно не будет уж — не крестьянин, а потомственный почетный гражданин.

Ехал и смотрел, как тихо и сумрачно в еловом леске. И птиц не слышно. Пахло смолой и сухой иглой, красно было под елками от нее, мягко и глухо. Темно в глубине. Позади, в скиту, звонили в небольшой колокол к трапезе.

«...А в Москве-то теперь жарища, пыль, стук...»

И радостно вздохнул: отбегался он, отстроился.

И стал день за днем раскрывать свой большой кошелек и раздавать пятаки. Наказал Николаю Данилычу возить медь в мешочке, банную мелочь. И дивился: сколько их, останавливающихся под окошками! И раньше захаживали в Ключевую проходом и получали хлеба, а теперь стали чаще и больше ходить. Приходили старухи в выгоревших платочках на трясущихся головах, без лица — так, коричневые, сморщенные пятна. Приходили старики такие, что ветром качало, приходили ребятишки. Пестрые лохмотья, рваные бурые кафтаны, заплаты, от которых пахло задохнувшейся беднотой. Шли с округи, шли из далеких

мест. Приходили погоревшие, совали в окошки истрепанные бумажки. Гуськом тянулись слепцы — Бог их знает, слепые ли, так ли, непристроившийся, загулявший народ. Стояли прямые, смотрели в темную пустоту деревянными лицами. Сколько всяких! Ползла на Данилу Степаныча рваная сила их, узнавшая, что дают деньгами без отказу. Приходил, вроде как дурачок, Ленька Червивый, раскладывался на лужайке, у погреба, доставал бутылочку с бурой мазью и начинал растирать покрытую язвами ногу. Содрогнулся даже Данила Степаныч, когда узнал, что томлеными червями растирает Алешка ногу, потому и звали его — Червивый. Часто видал его Данила Степаныч у монастыря: сидел Алешка у главных ворот на травке и показывал свою ногу. Говорили, что ушел он из дому из-за тяжелого духу, жил по сараям и добывал ногой пропитание.

Всех приючала Арина, давала хлеба, протягивала из окошка ломоть и никогда не смотрела, кто там, слушая два голоса — тот, что шел с воли, и другой, что говорил в ней: дай, не смотри.

Приходили силачи парни в драных картузах, с буйными лицами, с налитыми глазами, пропойные, с пустыми корзинами и взглядами исподлобья, гудели:

— Баушка Арина, подай хлебца проходящему!

И к ним протягивалась рука ее.

X

И вот наступило десятое число июля, и справляли именины Данилы Степаныча.

Приехал Николай Данилыч с семьей, привез пироги, всяких закусок, вин, фруктов. Приехали еще накануне кухарка-повариха и горничная Маша — помогать: справляли заодно и именины Ольги Ивановны. Были московские гости: семья булочников, шесть человек — старые и молодые, доктор Цветков с сестрой и банный арендатор Коровин, мужчина большого веса, краснолицый, коротко стриженный, с бычьей шеей и узким лбом. Как только сошел с извозчика, тут же, у садика, и поднес Даниле Степанычу пирог в расписной картонке и сказал хмуро:

— Вот куда вы заехали, а мы вас везде сыщем. И потому позвольте вас поздравить со днем вашего ангела и пожелать, чтобы...

Приехал с колокольцами, парой, в рессорном тарантасе, богач крестник из Шалова, Василий Левоныч Здобнов, маленький, рябой и шустрый, с Марьей Кондратьевной в лиловом платье и белой шали с бахромками. Они тоже привезли пирог в засиженной мухами картонке, по особому заказу из городской булочной Воронина, залитый красным с сахарными словами: «В день ангела». Как вошли, стали говорить, что всё собирались, а вот теперь собрались, и хоть Николай бы Данилыч — уж и не ждем кресинького — с барышнями да сынком поглядели, как они теперь живут и как у них в Шалове хорошо — как имение. Сейчас же стали показывать новых лошадей из тройки от предводительши, а когда спрашивали о цене, Василий Левоныч щурился и прищелкивал языком. На Марье Кондратьевне были часы с длинной золотой цепочкой по животу и тяжелой передвижкой, за которую все цеплялись бахромки шали; она очень шумела платьем, а когда садилась, все подбиралась и смахивала со стульев.

Приехал на дрожках, на рыжей костлявой лошади, становой, худой, высокий и черный, как в саже, в белом кителе, с провалом между лопаток и узкой длинной спиной, по которой ерзала портупея, пощелкал перед барышнями каблуками, сказал, что на одну минутку, и остался обедать.

Утром приезжал поздравить, по поручению настоятеля, отец казначей и поднес рублевую просфору — благодарил за позолоту иконостаса. К самому обеду потрафил горбачевский батюшка с сыном-семинаристом, который остался было сидеть на тарантасе — за лошадью присмотреть, но его силой заставили войти в сад и завертели барышни.

Приехала на телегах и приходила поздравить дальняя родня из Черных Прудов, из Шалова, из Горбачева, из Манькова — чьи-то свояки, сваты, кумы, кумовья, крестники и внучатные племянники. Гости обедали в садике, на длинных столах, под развешанными для вечера бумажными фонарями, а этих кормила Арина назади, у сарайчика, где пасека. И все были очень довольны. Ели лапшу, студень, баранину и пирог с изюмом. Вдоволь обносили водкой. Корзины с пивом и медом, для баб, стояли высокой грудой у сарайчика в холодке, позванивали. К концу обеда родня стала шуметь и ходила опять поздравлять Данилу Степаныча, благодарила за угощенье. А потом

стали поговаривать, что погордели Лаврухины: стали гнушаться, на задворках принимают родню. На них кричали и заливали водкой. Были и не родные, пристраивались за столом, — всех принимала Арина:

— Откушайте на здоровье!

Совсем захлопоталась она, хоть и помогали Софьюшка и беременная Дудариха; присаживалась на крылечке, радовалась в тишине, как хорошо всё, все довольны и благодарят, а тут прибегала Санечка и говорила, что зовут гости, будут пить за ее здоровье, и дедушка кличет. И она подымалась и, радостная, спешила, путаясь в раздувающейся черной, с белыми колечками, юбке.

Отобедали на задах, и уже заиграли гармоньи. Илюшка и Гриша, внучатные племянники Арины, гармонисты из посада, в синих шерстяных рубахах с белой прошвой, в лаковых сапогах, начинали задорить на трехрядках. Троюродный брат Николая Данилыча, шаловский староста, с красной широкой бородой, все лез в сад к батюшке-братцу, а его удерживали бабы и говорили, чтобы не безобразил.

— Желаю исделать... долг уважения!

И Николай Данилыч чокался с ним через заборчик.

Барышни Лаврухины бегали в сенцы, смотрели на родню через оконца и видели баб в красных и желтых платочках, мужиков в красных и белых рубахах и в пиджаках, синих щеголей с черными усиками — гармонистов. Дяденька из Шалова сидел на травке, мотался в обнимку с мужиком в желтой рубахе, махал рукой на тащившую его бабу и тянул песню. За столом, на котором кипели два самовара и стояли бутылки пива и наливки, сидели рассолоделые с жары и угощенья бабы со сбившимися на шею платками и визжали:

...Ищуть де-энь да ищуть два-а,
Ищуть, можеть, полтора-а...

Вертелась с платочком баба, с выставившимся за губу зубом и еще красивым, тонким, теперь задеревеневшим лицом, и визжала под голоса:

Полиняй, бурдовый фартук, я малиновый куплю!

Илюшка сидел на табуретке в траве, выставив лаковый сапог и уставясь на что-то перед собой, и частил на

трехрядке, встряхивая плечом, туго обтянутым широким ремнем гармоньи.

К вечеру пришел со стада Хандра-Мандра, скоро напился и играл на жалейке веселое. А когда стал плясать, вышли все гости смотреть, что разделывает Хандра. А у него разошлись все спленки и хрящички, выламывался в травке, загребал с земли рваной шапкой, путался и хрипел, притопывая:

Конь копытом землю бье-оть, бел камушек вышибает...

Как стемнело, гармонистов пригласили в садик, поставили перед ними бутылку рябиновки, и они весь вечер очень складно играли польки и вальсы, а молодежь, хоть и тесно было, начала танцы. А на задворках кричала перепившаяся родня. Да и в саду было хорошо. Хорошо выпили и тесть-булочник, и Коровин, и батюшка из Горбачева: подпоили его Сережа с доктором. Хоть и не молодой уже был батюшка, а совсем разошелся, говорил барышням любезные слова и пел тенорком хорошую песню, которую теперь забыли: «Пче-олка злата-ая, что-о ты жужжишь?» Сын останавливал, шептал на ухо, а батюшка ругал его лошадиной головой и кричал, что вышел из орбит. Весело было всем, так весело, что даже Данила Степаныч выпил со сватом-булочником две рюмки наливки. А булочник, тоже немолодой, все храбрился, не слушался Ольги Ивановны и повторял:

— Вот оно, деревенское-то удовольствие! Ну тебя к Богу!

Санечка и Миша следили за фонариками — не горят ли, старались услужить становому — он им очень понравился — и просили у Ольги Ивановны позволения взять пирожка или персик. Проходившие мимо них гости гладили их по головке и спрашивали, в каком они классе. Это не нравилось. Убегали на лужайку, где у погреба дожидался автомобиль, и просили разок погудеть.

Попов неотлучно был возле машины. Обедал он отдельно, на травке, за маленьким столиком, накрытым голубой, с желтенькими разводами, салфеткой, ел хозяйское и пил только пиво. Пообедав, ходил с папироской и имел вид, что в любую минуту готов ехать. Гонял налезавших ребят:

— Пшли! лопнет!

Поглядывал к задворкам и видел Софью в розовой баске, чернобровенькую, непокойную. Смотрел, как она бегает с тарелками, показывает молодое тело, широкие бока в черной юбке, подаренной ей барышнями, подтянутые баской груди. Встречался взглядом и говорил, а Софья отворачивалась. Подманивал Ванюшку и позволял нажать шар гудка.

Еще в прежние приезды заговаривал с ней. Узнал и пожалел, что муж ее, слесарь, пропал в Москве вот уже шестой год. Рассказал о себе, что дело его механическое, а он сам механик: это гораздо выше слесаря. И теперь, выпив полдюжины пива, все пытался заговорить и смотрел жадно на загорелую шею и крепкую розовую спину Софьюшки.

Попросил тряпку протереть карбуратор — так и назвал, — а когда она принесла, чуть задержал ее руку и сказал намекающе:

— Прокатил бы я вас с высшей скоростью по шоссе!

А потом, когда она давала ему керосину в масленку, сказал игриво:

— Скучаете небось без мужчины?

Она сказала сердито:

— Не видала добра!

А горничная Маша подошла и назвала бесстыжим.

Не знал Попов, что еще в первый приезд приглядел Софьюшку Сережа и скоро сошелся. Когда уезжал на мотоциклетке по воскресеньям, бежала она, крадучись, задами деревни к большому омуту, босая, перебегала лавы и пропадала в ельнике, где ее поджидал Сережа. Там она хоронилась и любилась с ним короткий час, на скользких иглах, в жаркой духоте, оставшейся ото дня. Сытый и молодой, довольный ее горячей, долго томившейся страстью, наскоро целовал он ее в горячие щеки, иногда давал денег и уезжал, а она долго еще стояла на темной дорожке, следила за огоньком фонаря, прислушивалась, как все глуше и глуше потрескивает убегающая машинка, вздыхала от духоты и тоски, перебегала неслышно лавы над омутом и опять бежала в росе к тихой деревне.

Радостен был весь этот день Данила Степаныч, радостен и растроган. Утром еще, когда при нем развязывал Николай Данилыч подарок на именины — обитое мягкой кожей, все на пружинах и волосе, глубокое, прямо воз-

душное, кресло, Данила Степаныч заморгал и сквозь наплывающую сетку смотрел на сына, на кресло, на сад, залитый солнцем, на свои подсолнухи, начинавшие высовывать желтые язычки из усатых головок.

— Вот сядьте, попробуйте, как вам... Ну, как? — спрашивал Николай Данилыч.

— Как в пух прямо... Вот спасибо тебе... сынок мой...

Сидел и плакал от радости, что любят его, что... Так был полон тихой радостью, что и не высказал бы, отчего плачет.

И весь день и вечер радовался всему.

К ночи стала отъезжать окружная родня — не оставляли гостить. Бабы увозили несговорчивых. Уезжали довольные, благодарили. Все лезли в садик, приставали целоваться, тянулись пушистыми бородами и мокрыми усами, выговаривали:

— Спасибо на угощенье, батюшка-братец... Миколай Данилыч... Дай Бог веку Даниле Степанычу, папашеньке... только и пожить нам... Накормили-напоили... не погнушались...

Запоздно стали разъезжаться гости, к третьим петухам. Горбачевского батюшку чуть не силой увез семинарист, на руках поднял на тарантас, а все смотрели, как батюшка упирался ногами и наступал на рясу. Ранней зарей, еще только начали золотиться верха Медвежьего врага, уехал Николай Данилыч с женой и дочерьми на автомобиле — надо было ему быть утром в кредитном, по залогу дома. Остальные поехали на ямских тройках к утреннему поезду, к семи часам. Осталась у двора одна телега, и в ней спал рыжий шаловский староста, мертвецки пьяный. Гармонисты пошли на посад, и долго в Ключевой было слышно по заре, как хорошо играли две гармоньи в лесу за речкой.

XI

Поднявшийся день был такой жаркий, что стало драть краску на новом доме и каплями выступала смола. Арина понавешала в комнатах мокрых простынь, чтобы было легче дышать: так советовал доктор. Данила Степаныч ночью спал плохо, только к утру уснул, и уснул так крепко, что проспал обедню. А еще с вечера думал поехать в монастырь, вынуть просфору во здравие Ольги Ивановны. Уже к двенадцати было, когда сошел в садик под

белым зонтом, который держал над ним, вытягиваясь, Миша. Спросил про Санечку и узнал, что она катается от зубов — всю ночь не спала. Увидал, что с жары что-то померкли подсолнухи, и приказал Степану полить. Велел вынести новое кресло и поставить в тень, под рябину. Вся завешана была пучками старая рябина, обвисала. Вспархивали в ней хоронившиеся от зноя воробьи и молодые скворцы — первые выводки, пущенные в стаи воробьят под присмотр старых. Сидел Данила Степаныч в мягком кресле, как в теплой ванне, смотрел блаженно на серебряный шар на клумбе и видел там маленькую рябину в пучках и маленького старичка с белой бородкой. Видел за шаром — зеленое все, тихое. Подремывалось... Изредка мычал где-то тут теленок. Миша постоял, посмотрел, дремлет Данила Степаныч, пошел клеить змей.

Стоял перед Данилой Степанычем работник и спрашивал:

— Данила Степаныч, в монастырь-то поедете?

— Поеду... — сказал Данила Степаныч.

И тут увидал, как много везде крупной рябины. И подумал: «Хорошая какая... Теперь уж и сладкая. Сказать Аринушке, чтобы снимала... ребята обломают, птица оклюет...»

Услыхал тонкий писк колеса водовозки и открыл глаза. И увидал за палисадником, что едет Степан на водовозке, с речки, и удивился: только сейчас был здесь Степан, спрашивал. И понял, что, значит, в дремоте это было, что одиннадцать било, когда вышел он в сад, и, конечно, теперь незачем было ехать в монастырь.

— Данила Степаныч... — услыхал он знакомый, несмелый оклик. — Не прикажете ли ножки вам потереть?

Это была Софьюшка, галочка. Всякий день растирала она ему ноги мазью, от ломоты. И вчера не было ломоты, и сегодня не было. Он сказал ей:

— Спасибо... не надо. Вот помоги-ка мне встать...

Она привыкла обращаться с ним, когда нападала на него слабость; наклонилась, а он обнял ее за шею правой рукой, а левой оперся на палку. Тогда она мягко выпрямилась, захватила его за спину левой рукой. Он поднялся и не отпускал ее.

— Вот... уж и силы нет...

Стоял, переводя дух, и видел перед собой все зеленое: зеленый был шар, теперь угасший, и зеленый был песок на дорожке, и дом был зеленый с радужными отливами по краям.

— Что такое... все зеленое... — сказал он тихо, тяжело наваливаясь на Софьюшку, а она заглянула ему в лицо — и заробела: серое было у него лицо и синеваты губы.

— Что-то... Глаза потри... глаза... — шепотом сказал он. — Зеленое...

Сгибаясь от навалившейся тяжести тела Данилы Степаныча и робея, она осторожно стала гладить жесткими пальцами по его глазам, как часто гладила заплаканные глаза своего Ванюшки.

— Зеленое все... — тихо повторял он и вдруг увидал расходящиеся радужные круги и засветившийся шар. Проходило зеленое. И опять увидал он свой голубой дом, и веселый желтый песок дорожки, и красный платок на Софьюшке, и черные бровки.

— Ну, вот... прошло теперь... а я испугался... слепну, думал...

И когда она успокаивала его: «И что вы, Данил Степаныч... родной вы наш», — он сказал, легко забирая воздуху и все еще не снимая руки:

— Спасибо тебе, ходишь за стариком... А помру я... Николя устроит...

И она вспомнила, как обещал Сергей Николаевич взять ее в горничные в Москву.

А он радовался, что еще не слепнет, что различает даже белого голубка на гребешке крыши, даже зеленую чащу Медвежьего врага, что легко дышится, и говорил:

— Замуж бы выходила... лучше...

Мягко посмотрел на нее, а она посмотрела к забору и сказала:

— Кто ж с ребенком-то возьмет... а на семью неохота.

А внутри было радостное, что живет с хозяйским сыном-красавцем. Греха нет — и он свободный, и она. Мало ль живут!..

Тихо повела Данилу Степаныча на террасу, помогла сесть в плетеное кресло, подложила под ноги подушку, накапала капель от слабости, как всегда, и, все думая про свое, побежала проворно, топоча босыми ногами по прохладному новому полу, на заднее крылечко. Увидала, что

Ванюшка тащит из бочки затычку и шлепает в лужице под бочкой, звонко крикнула:

— Шши ты, постреленок! — Сбежала и схватила под мышки. — Шваркну вот головешкой!

Чмокнула в затылок, пахнущий конопляным маслом, и, что-то вдруг вспомнив, пошла в огород и принялась шарить в огурцах. Забыли про них за праздником, а они еще дня три тому показали местами крупные завязи. Нашаривала, отворачивая плети, и находила. Уже начинали яснеть кончики и растекаться пупырья. Нарвала в подол с десяток, сунула глядевшему из-за плетня Ванюшке огрызанную половинку, подергала за ухо — перва-первинка, нова-новинка, — погрозила и, похрустывая сладкий и теплый огурец, вбежала на террасу и высыпала на стол катышком перед Данилой Степанычем.

— Вот и огурчики вам... да славные-то какие, да ядровитые...

А Данила Степаныч опять дремал в кресле, опять что-то видел — перебила она его дрему. Увидал свежие огурцы, полюбовался, взял один и понюхал. Пахло свежестью, и уже по запаху слышалось, какой он сладкий и крепкий.

— А-а, какие... вот ботвиньицы-то хорошо... Там Николя белорыбицы мне привез, скажи Арише... кисленького...

Остался один сидеть. Звенела под потолком оса. Шумели по стеклам террасы мухи. Много было их: липучки на стене были черны. Нападала в их жарком жужжанье дремота. И слышалось неподалечку знакомое:

— Кормильцы-батюшки... подайте святую милостинку Христа ради...

«Сколько их все ходит, — думал в дремоте, — и по такой жаре ходят...»

Увидал старичка из Манькова с палочкой, у кустика, много кусков хлеба, и в них рылся палочкой старичок, как будто копал землю. И опять увидал Степана, спрашивающего:

— Данила Степаныч, в монастырь-то поедете?

Точно толкнуло от этих слов, испугало. Силой страха открыло глаза, открыло на один миг, и увидал Данила Степаныч в этот один миг, в страшной ясности, что кланяется ему зеленая стена за садом — Медвежий враг, кланяются рябина, топольки, и забор, и перила террасы,

и дорожка, и край избы, и стена дома, и он кланяется, и все ходит и кружится, и все — живое. И он поклонился им и хотел крикнуть, сказать: «Арина!» И забыл, как это сделать, как говорить. Увидал в темноте, что плывет на него большое пятно, зеленое с красным. Наплыло, ляпнуло гулко в темя и задушило.

XII

Арина нашла его на полу. Он лежал на правом боку в солнечных пятнах стеклянной стенки, и было похоже, будто он высматривает что-то под столом. Ползали по его плечу и бороде мухи, ползали и по полу, взлетали и стучали по стеклам. И все еще звенела у потолка оса.

Упало у Арины сердце и застыли ноги. Крикнула Софью, а сама, белая, опустилась на колени, подняла горячую еще голову, как у спящего, и увидала широко открытые помутившиеся глаза.

— Данилушка... братец...

И застыла.

Знала Арина, что скоро помереть должен Данила Степаныч: неделю назад видела она сон и не сказывала никому. Видела Данилу Степаныча во всем новом и совсем другого. Уже потом рассказала всем; только и сказала: во всем новом и совсем другого. Потом припоминала с Софьюшкой, что последние дни любил прибирать в комодике у себя Данила Степаныч — готовился в дорогу. Потом вспомнили, как подошла как-то под окошко старуха, просила милостыньку, а когда подала Арина в окно, никто не принял. Смерть-то и приходила. И потом, спал последние дни Данила Степаныч нехорошо: отпыхивал. Были и еще знаки, и таила про себя Арина, что и сама скоро умрет.

Не выла Арина, не причитала — чего причитать! Приняла великую потерю молча, плакала тихими старушечьими слезами, последними, мелкими, как бисерок, и эти слезы не скатывались, а липли и размазывались по морщинам, и мокрый был от них замшенный и заостривщийся подбородок. С выкриками причитала Софьюшка, только-только совсем живого видевшая Данилу Степаныча, как он порадовался на первые огурцы. Огурец так и остался лежать на столе. И Ванюшка, глядя на мать, ревел, растянув белозубый рот, передыхал и опять ревел.

Прибежали соседи. Стоял в валенках и в полушубке на худых плечах Семен Морозов и говорил едва слышно:

— Глаза-то закрыть надо... закрыть глаза-то...

Набежали бабы, заняли весь палисадник, трещал от ребят забор.

Надо было распоряжаться. Степан выгнал баб, чтобы не мешали, переложил с Софьюшкой на простыню Данилу Степаныча и перенес в комнаты на сено. Так распорядилась закаменевшая в своем горе Арина. Здесь принялись обмывать двое, Арина и Дударихина мать, а Степан сел на брюхатенькую лошадку и потрусил в город — сказать по телефону в Москву. Обмыли с молитвой, и Дударихина мать спросила у Арины, можно ли взять обмылки. Арина отдала ей белье: так всегда делалось. Потом принесли с террасы дубовый раскладной стол, настлали свежего сена, накрыли простыней, обрядили покойного в чистое белье, одели в новый халат, шитый на Пасху и всего раз надеванный — серый с голубой оторочкой, расчесали затвердевшую бороду. Бабы увидали, что все еще выглядывают глаза из-под век, пошептались: выглядывает еще кого по себе. Арина нашла два старых пятака — лежали у ней в мешочке в укладке вместе со смёртной рубахой и темным платьем, сшитыми загодя. Не первые глаза накрывались этими пятаками. Положила Даниле Степанычу на глаза, и лежал он покойно и важно, с разгладившимся широким лбом, руки—одна на другой восковыми ладонями, с парою больших медяков на глазах, как в темных очках.

Смотрели на него из уголка заплаканными глазами Миша и Санечка с раздутой щекой, думали. А Софьюшка все рассказывала приходившим бабам, как принесла она Даниле Степанычу огурчиков с огороду и как он радовался, как велел сделать ботвиньицы и как все советовал ей выходить замуж.

А когда вернулся Степан из города, Арина велела запрячь телегу и поехала за пять верст в женскую пустынь, взять монашек — читать.

И когда ехала она из пустыни с молоденькой послушницей и знакомой старушкой-монахиней в черном шлычке, захватил их дождик в лесу, слабая дальняя гроза. Стороной прошла туча, в стороне погромыхивало, а здесь только крапило и не закрывало солнце. Был шестой час, солнце

чуть косилось, и солнечный дождик весело крапал по листьям орешника.

— Праведник помер, царство небесное... — сказала на дождик послушница, засматриваясь в тихий зеленый свет рощи. — Какой дождичок-то!

— Дай-то Господи! — вздохнула и покрестилась Арина. — Уж так-то тихо преставился... Дай-то Господи!

— А сподобил Господь приобщиться-то? — спросила старушка-монахиня, наклоняясь за Степаном перед низко опустившейся лапистой веткой орешины и умывая дождем усыхающее лицо.

— Петровками-то говел, как же... — сказала Арина. — Какие уж у него грехи! Переболел все...

— А вот как же сказано, что насчет того... — обернулся Степан, — что, например, очень трудно им проникнуть... которые богатые... Даже верблюд может чрез иглу пролезть... а им трудно... Это как?

— А не нам знать, а не нам знать, голубчик... — сказала старушка. — Сказано, буди милостив...

— Так-то та-ак... а вот известно, что никакой капитал не бывает от труда, а через разные причины... так что тут... очень трудно...

— Господь в своем милосердии призывает каждого... несть на лица зрения у Бога... — тоненьким голоском начала послушница, а Степан нагнулся перед набегающей веткой и крикнул:

— Держись!

Весело сыпал дождик на солнце, блестел на грядках телеги, на сытой спине лошадки, нависал сверкающими каплями под дугой. Пахло грибом и елкой.

Повстречалось близ деревни стадо. Хандра-Мандра стоял у дороги, курил. Увидала его Арина, сказала:

— Скончался братец-то...

— Да, царство небесное... отжил... — хрипло сказал пастух, стаскивая шапку. — Когда хоронить-то?

Но они не слыхали. А он уже все знал: повстречал его давеча Степан.

На въезде нагнали горбачевского батюшку в тарантасе. Ехал батюшка на сивой лошадке с псаломщиком, а семинарист правил, покуривая.

— На панихиду к вам, Арина Степановна! — крикнул батюшка. — Воля Господня... Дали знать-то?

— Дадено! — крикнул, объезжая, Степан.

— Свечей-то, батюшки! — крикнула Арина.

— Всего взято-с! — успокоил ее баском псаломщик.

У дома стояла чья-то телега, и Степан по лошади признал бородача-старосту из Шалова. Подумал: «Чисто по телеграфу им известно». И только стали слезать с телеги, сказал:

— Монахи едут!

Обогнала батюшкин тарантас пара, с пристяжной на отлете: ехал отец казначей в высоком клобуке и двое послушников.

На крыльце вспомнила Арина, что оставила ключи в комоде, и затревожилась. Сейчас же пошла и увидала, что комод заперт, а ключей нет.

— Ой, растащили...

Кликнула Софьюшку, пытала. Сказала ей Софья прямо в глаза:

— Ой, грех какой... да что вы, что вы... все сберегла, заперла... да как же это я... да я разве...

Посмотрела Арина ей на лицо: лицо белое, губы поджаты, пальцами перебирает на груди — испугалась. Заглянула Арина в старый бумажник — лежали бумажки, а сколько было, не знала.

— Бабушка, дайте... дайте немножечко... на бедность на нашу, на Ва́нюшку...

Жадно смотрела Софья на истертый бумажник, перебирала на груди пальцами.

— А не мое, родная... чужое добро... — сказала Арина и заперла.

Служили панихиду сперва горбачевские, потом монастырские. Сняли с глаз пятаки, и опять усмотрели бабы, что все еще выглядывает из-под налившихся век. Видела и Арина и думала, что ее черед. Молился в уголку Захарыч и думал, что его черед. Видел глаза и Семен Морозов и думал, что его. И хоть совсем не боялся смерти, а стал говорить себе, что не из его двора: Аринин черед. И никто не знал — чей.

Вечером приехал с семьей Николай Данилыч, все пошло гладко, и старший приказчик Иван Акимыч, выслушав приказания, сказал, как всегда:

— Будькойны-с... пымаю-сс...

Он служил тридцать лет, все понимал с первого слова, и за ним можно было быть вполне покойным.

Попов стоял наготове у машины, все три дня гонял в город и в монастырь, и каждое утро уезжал Николай Данилыч в Москву, где кипела работа по стройке и откуда нельзя было отлучаться.

Накануне последнего дня приехал с поварами и парой официантов кондитер, привез на подводах столы и ящики: ожидалось много родни и знакомых. Привезли повара свой особенный, сладковатый поварской дух — сельдерея и осетрины, заняли кухню и двор, погреба и лужайку и принялись готовить. Разобрали печники русскую печь и наскоро выложили плиту. Стояли в тени на травке окоренки со льдом, и лежали в них огромные рыбы. Глазели ребята, как белые повара пластали на длинном столе невиданную рыбу в желтом жире, вытаскивали из длинных железных коробок, резали, заливали на блюдах и уносили на лед. Видели груды раков, вороха моркови и лимонов, пачки тоненьких красных и белых прозрачных листков, много медных кастрюль, долгих ножей и давленых жестяных коробок. Знали все, что у Семена Морозова и в соседнем дворе ставили блины в кадках, варили кисель и студень. Считали груды корзин с бутылками. Собирали со всей деревни посуду под кисели. И уже по всей округе было известно всем, что помер Данила Степаныч Лаврухин, что Николай Данилыч правит по нем поминки и будут столы для народа — для своих и чужих.

И все дни слышались через наглухо закрытые окна поющие духовные голоса, виднелись сквозь прозрачные занавески клубы кадильного дыма и желтые язычки свечей. И все носили туда лед в медных банных тазах.

И тучи мух, точно собрались они со всей Ключевой, облепляли голубые стены, кружились над поварским столом и летели в двери. И все дни был непрестанный круговой ход их с гулом.

К ночи последнего дня прошла над Ключевой гроза. До рассвета все вспыхивало, громыхало и шумело ливнем. К рассвету ушло, небо прочистило, и везде стали видны бледные звезды.

XIII

Последний день провожал Данилу Степаныча. Подымался свежий, омытый ночным дождем.

На ранней заре проснулся Хандра-Мандра, поглядел к свету: тихое вставало утро. Вышел на волю, огляделся.

Было тепло, пахло березами с гор, крапало с ветел, жвакало под ногами в траве. Не будил жалейкой вот уже третий день, обошел дворы, обстучал окна — выгоняйте коров. Прошел ко двору Лаврухиных, постоял, покрестился на окна, постучал ручкой кнута в сенцы. Поглядел на возившихся у погреба поваров, на стоявшие в траве белые блюда с желтым, с белыми кусками и красными кружочками моркови. Спросил, подмаргивая:

— Это што ж такой у вас будет... мороженое какое?..

— Творожное!

Вышла простоволосая, с строгим лицом Софья, выпустила холмогорку. Выбежала тяжелой ступью сытая холмогорка, потягивая слюну, постояла на уголке, вытянула кверху черно-белую голову, затрубила.

— До полдён, гляди, не управятся? — спросил Хандра Софью.

— А я почем знаю?..

— Никак не управятся.

И пошел, ковыляя, на край деревни, где собиралось стадо.

Уже поднялось солнце, и все заиграло промытой зеленью, и подсолнухи за забором смотрели загоревшимися шапками — теперь будут следить за солнцем. Сочно глядел сырой Медвежий враг, как глядел и тогда, давно, когда, в теплую ночь июня, в рядовой избе Степана Лаврухина родился Данила Степаныч.

Стали наезжать с округи — из Манькова, из Шалова, из Горбачева, из Скачкова, с Черных Прудов — родня и знакомые. Приехали из Москвы и пришли с фабрик ключевские мужики. Ехали на телегах, шли пеши. Против дома Лаврухиных стали рядком под ветлами телеги; лошади, привязанные за грядки, жевали надранную по дороге траву. Родные входили в дом поглядеть, сидели на ближних бревнах, на травке у палисадника; дальние и совсем чужие — подальше, у лошадей. Бабы надели что потемней — серые и черные, в кольчиках и горошках, платочки, серые, кубовые, зеленые и черные платья. Мужики были в черных и синих поддевках, в черных до блеска картузах, степенные, строгие. Сновали мальчишки в праздничных пиджаках, в сапогах, с расчесанными головами, оглядывали себя, обтягивали кулаками карманы,

мочили в росе сапоги, изгибались и оглядывали с задков. Плакали дети, просили есть.

С первым утренним поездом приехали из Москвы знакомые и родня: булочник, арендатор Коровин с большим зеленым картоном, маленькие подрядчики и поставщики. Подкатил на тарантасе, парой, с кучером-мальчишкой, Василий Левоныч Здобнов, с женой в шляпе с лиловыми цветами, и прошел в дом, оставив жену выбираться с помощью кучерка. В двух тарантасах приехал из Горбачева причт с женами, с семинаристом и дьячковым сынишкой на козлах.

— Попы приехали... Сейчас выносить будут...

Но еще долго не выносили.

Подходила нищая братия, текла линючим, взъерошенным потоком. Тянулись из города и с посада, из-под монастыря, с деревенской округи. Шли на помин души хоть раз покрепче наесться. Был тут и старик из Манькова, и Алешка Червивый, и Вавася косноязычный, и Мишка Зимник, и многие. Шла непокрытая и калечная родная округа, потерявшая уверенный голос и перезабывшая все песни, кроме одной: «Кормильцы-батюшки, подайте святую ми-лостинку Христа ра-а-ди!» Те, у кого отняла судьба руки и оставила рты, вымела закрома и оборвала карманы, навалила заплат и горбов, погасила и загноила глаза. Те, кто хорошо знает все дороги, сухие и мокрые, все оконца, все руки...

— Нищих-то навалило! — говорили бабы. — Каждому по блину, так...

— У Лаврухиных и по два достанет.

Бабы завернули верхние юбки, чтобы не озелениться, сидели в теплых нижних на сырой травке и по бревнам, смотрели на дом, на подсолнухи, про которые знали, что насажал их покойный, загадывали, кто же теперь будет жить здесь и кому все достанется. Хвалили гусей и кур и загадывали: их-то куда. Говорили про холмогорку, говорили, что дом хоть и богатый, а все сиротой смотрит: повалился хозяин — и дом повалился. Прикидывали, не отписал ли чего кому: последнее-то время вон всю родню вспомнил. Говорили, что дал Морозихе на корову сорок рублей; Дударихе — с чего бы! — цинкованного железа на крышу. Говорили про Софью: разбухла на лаврухинских-то харчах, такая-то стала гладкая да зубастая; к

старику все подлащивалась, змеей перед стариком-то так и юлила. Какие платки носит! А чего же, всяко бывает. И ущипнет, так рубль даст. А чего ей — совсем вольная.

— Ишь, мурластая стала...

Видели, как бегала Софья в черном платке, белолицая, чернобровая, строгая, в тяжелой юбке, — где она ее справила? — останавливалась на крылечке и кричала звонко:

— Степа-ан! Живей закладай в пролетку!

— Чисто как хозяйка кричит! Сыскалась родня середь дня...

— Арина-то Степановна все ей доверила, все ключи у ее... и от погребов, и от укладок, и от чулашков... Молоко-то так кувшинами и хлыщет...

— А это их старик тот... Захарыч облестил... чаю без его не мог пить вон... А снохе-то Морозовой за что корову?

— А Миколай-то Данилыч с ее девчонкой допрежде путался... Да с Глашкой-то! Он же и выдавал...

— А-а... которая за кривым-то... гробами на посаде торгуют...

— А вон Дудариха-то сказывала... Софья-то, подлюга, с эстим все... с Сергей Миколаичем путается... Как он в город, к ночи, к нему все бегала, в елки!..

Привез телегу можжевельника, ве́рхом, сын Семена Морозова, Аким-парильщик. Пришли гуси с речки, гоготали, просили есть. Бегали среди них в хлопотах, распугивали, а гусак грозил клюнуть. Мальчишки лазили в огород, нашаривали. Поваренок ел огурец. Попов прохаживался у машины, в гороховом балахоне, поглядывал. Подошли племянники-гармонисты в новых хороших тройках, лаковых сапогах и кубовых рубахах. Расхаживали степенные крепкие мужики в черных казакинах, повязанные рушниками, — понесут. Две смены, — тяжело, жарко и далеко. Валил сизый дым из избы Семена Морозова, и попахивало блинным духом. Рыжебородый шаловский староста, повязанный полотенцем с красными городками, говорил тем, которые понесут:

— Разом подхватай чтобы! Семен и Левон... помене ростом-то спереду, а мы с Микитой в голова ему... И прямо чтобы в шаг!

Лицо его побурело, а борода посветлела. Мужики слышали, что пахнет от него сладким духом, и просили похлопотать у Арины Степановны.

— Уж говорил, и с Иван Акимычем... чтобы и разговору не было... А на переменке горбачевские встанут... Надо постараться, чтобы... Из Москвы народу-то!..

А бабы говорили на бревнах:

— Вон внучки-то, внучки-то... Эта вот, с увалью-то, Прасковья Миколавна, беленькая-то с лица... а за ей Любовь Миколавна. Видные-то какие, со-лидные...

— А и не плачут!..

— Меньшая-то вчера плакала шибко. В церкви еще поплачут...

Приехал верхом урядник, в новых погончиках на затертом парусиновом кителе, в белых перчатках, похожий лицом на сверхсрочного молодца-фельдфебеля, с черными бачками, привязал лошадь к палисаднику, поманил мужиков в рушниках и сказал:

— Слушайте мене, что я скажу. Понесете, чтобы не галдеть... раз это упокойник, а не хоругь! Я спереду. Как я стал — стой! На кладбище сам становой будет. Чтобы не обругаться! Помните, к какому делу призваны!.. Чтобы не было безобразий у мене!

Увидал у шаловского старосты полотенце с красными городами — запретил:

— Дружка, что ль, ты?! А еще староста... Смени на холстину! Никакого понятия, что недопустимо, раз это упокойник, а не что!

Прогнал ребят от забора, отворил калиточку барышням, приложил перчатку к козырьку. Увидал, что повара развели жаровню, поостерег насчет пожара:

— Вы, братцы, уж поосторожней как... сохрани Бог...

Бабы говорили, что на помин будут щи с головизной, блины с маслом, гороховый и молочный кисель. Вспоминали, что, как хоронил Данила Степаныч жену, давали сыту к молочному киселю.

Стали выносить.

Вынесли Николай Данилыч, Сережа, Коровин и вытягивавшийся Здобнов, которого сменил приказчик Иван Акимыч. Когда остановились у палисадника, услыхали старушечий вой: плакала Арина. Плакала и Софья. С платками были «гусынюшка», Паша, Люба. Урядник сидел на коне, поодаль, и держал картуз «на молитву», стараясь сдерживать лошадь, которую кусали слепни. Горбачевский батюшка, в белой ризе с голубыми просветами, склонив

голову, печально читал молитву. Мальчишки без картузов, оставленных матерями дома, ждали, кому батька отдаст кадило, и смотрели ему в лицо. Племянники-гармонисты взялись нести тяжелую дубовую крышку. Выступили под ней вперед. К ним подъехал урядник и не велел уходить далеко.

— Красные бы рубахи еще надели!

Выследил, когда Николай Данилыч стоял с краю, подскакал и взял под козырек:

— На кладбище всякий народ желаете допустить?

Вышли смотреть повара в белых колпаках, как понесли. Стоял у палисадника Захарыч, смотрел из-под руки. Смотрел от двора Семен Морозов, не в полушубке, а в синем казакинчике, крестился.

Видно было, как ехал на возу можжевельника Аким и кидал; как, мерно шагая, подымались под желтой крышкой на взгорье, к ельнику, гармонисты. Перехватив черные спины ярко-белыми полотенцами, несли, покачивая, мужики.

И было потом все так, как хотел Данила Степаныч. Было солнечно, жарко, тихо. Когда вступили в еловый лесок, с запахом теплой сырости после дождя, одинокие голоса стали крепнуть, и казалось, что поют хорошо и стройно, как в пустой церкви. Тихие, грустные, стояли ели и слушали в полумраке. А когда пошел березняк, стало весело, зелено и прохладно. В кустах орешин темнели мохнатые гроздочки, играли светлые стрелки. Играючи, шуркало по головам ветками. Урядник ехал впереди на случай встречи, нагибался и обламывал. Пели все, и молитва сбивалась бабьими голосами на песню. И было похоже в солнечной роще, что это не последние проводы, а праздничный гомон деревенского крестного хода.

XIV

Шумели поминки, а было похоже на именины.

В два ряда поставили столы на лужку, между дворами Лаврухина и Морозова. Посажались кто как успел. Вышел Николай Данилыч, сказал:

— Вот, помяните батюшку.

— Покорнейше благодарим, Миколай Данилыч... Тебе дай Господь...

Ели щи с головизной, почмокивали. Говорили, что легко было нести: ежели праведный человек — завсегда легко. Хандра-Мандра рано собрал коров, подобрался к поминкам. Хрипел, расплескивая из стаканчика:

— А во как я помру-у... пухом понесете! Жилка одна да спленка, правильней меня нет...

Кому не хватило места — ждали череду. Ребятишки ели на травке, рвали зубами выпрошенные блины. Подходили нищие, просили в окна:

— Помянуть бы за-ради Христа...

Говорила в окно Арина:

— Помяните, голубчики, помяните...

Выходила на лужок, скорбная, сухонькая, побелевшая, в черном, с белым горошком, платье и в черном длинном платке, как монахиня.

— Кушайте, родимые... помяните за упокой души...

Ей гудели довольные, твердые и нетвердые голоса:

— Покорнейше благодарим, Арина Степановна... Дай Бог царство небесное!

Довольны были ею: их она была, вся ихняя, всегда ихняя. И никуда не уйдет.

Парни с буйными мурластыми лицами гудели в окна:

— Дозволь помянуть, баушка Арина!

И им дозволяли, и они требовали вина и пива. Ходили по столам и выпрашивали из рук.

Не поскупился Николай Данилыч, приказал, чтобы вдоволь было всего: последние проводы. И все знали, что это последние проводы. Тетка Арина еще осталась, но она сойдет тихо, незаметно.

Уже помянули в доме, с официантами в белых перчатках, уже последнюю, прощальную, чашу вечной памяти опели и благословили отец казначей и батюшка из Горбачева; уже возгласил зычно иеродиакон Нифонт, запивоха из монастыря, расправив тесный и потный ворот и откидывая лапой пышную груду волос, как сено, — возгласил, ворочая красными белками, до содроганья хрусталя на столе, покрыв и остановив гул за окнами, — а во дворе все еще уступали места и все подсаживались ко щам с головизной, блинам и киселям. Уже отъехали монахи и причт, сытые, сонные, рассолодевшие с еды и жары, увозя в широченных карманах слоеные пирожки и навязанное памятливой на все уставное Ариной — деточкам-то, деточ-

кам-то! — а на лужку все еще ели, все ели, опоражнивая корчаги и мисы, дрались из-за блина нищие, просили, виляя хвостами, тощие собаки. Хлопали пробки; пустые зеленые четвертухи лежали в крапиве. Проливали за упокой души. Распоясали животы, уходили и опять садились, уносили куски и мисочки тем, кто не мог дотянуться до лужайки. Уже покачивались иные и путали на ослабевших умах и языках, что это — именины или еще что. Уже потянулись тени от леска на взгорьях, от домов, от людей, от крапив. Ржали просившие пить лошади. Отъезжали гости на ямских тройках к вечерним поездам.

Вышли в сад внучки в трауре, с белыми личиками, и поглядывали из-за палисадника. Видели рыжие и черные волосы, красные лица, засученные рукава, слышали гул. Родня... И пытливо всматривались, кто и какие ихние. Знали только, что вот эти двое, в кубовых рубахах и в лаковых сапогах, какие-то внучатные племянники; есть здесь кумы, дети чьего-то деверя, и дяденьки, и свояки. Не знали, что за свояки, почему свояки. Смотрели на Софьюшку, вываливающую груду блинов на стол, знали, что дальняя внучка дедушки, а им, значит, какая-то сестра. И было чудно им, что она их сестра, а из этих есть какие-то далекие братья. Смеются, чавкают, разные... Они их никогда не знали и не будут знать. Дед еще знал, а теперь разойдутся совсем. И вспоминались им какие-то бабы и старушки и степенные мужики, которые подходили на кладбище и по дороге, ласково и любопытно осматривали и говорили мягко и улыбаясь, точно хотели оправдать свой приход:

— Здравствуйте, милая барышня Прасковья Миколавна... Небось и не знаете меня? Да где ж и знать-то. Хоть разок поглядеть на вас, какие такие...

И разглядывали — и лицо, и платье.

— А вы кто же?

— А я-то... А дедушка-то ваш, Данила Степаныч, царство небесное... У него-то братец двоюродный, по матушке, Иван Захарыч... так я-то буду его двоюродная племянница, по матушке-то... Она из Шалова сама-то...

Находили концы и устанавливали родство. И никто не сказал им прямо, что все они с одного поля, с этой округи, одной крови.

Поздно вечером, когда стала падать роса, отъехали последние телеги, ушли нищие, разобрали столы. Теперь только собаки рылись и нюхали по крапиве, звякали; шаловский староста с Акимом Морозовым спали в огороде на огурцах, да сразу заслабевший Хандра-Мандра лежал под плетнем, накрытый рогожкой. Укладывались повара, увязывал воза кондитер — ночью ехать сподручней.

Паша и Сережа прошли по затихшей деревне к речке. Послушали. Бежала вода по камушкам, журчали неугомонные ключики — ур-ур-ур... темно смотрел незнаемый Медвежий враг, и все было здесь для Сережи и Паши безымянно и пусто, ничего не держало в себе для них.

— Кто это? это не вы, Попов? — крикнул Сережа к темневшему у речки человеку.

— Я-с... — ответил шофер. — Вот смотрю от нечего делать.

— Нравится вам здесь?

— Вообще, как природа... глушь...

— Смотрите, как эхо здесь: кто ты-ы?!

И ответил овраг глухо: ...кто ты-ы?!

И совсем не думали, что это их родная деревня, что воду из этой речки пил их дед, что из этой лощины вышел их род и теперь совсем затерялась и скоро совсем сотрется пройденная им здесь дорога.

XV

Рано поднялся наутро Николай Данилыч. Он бы еще вчера уехал, если бы сегодня был будний день, — требовали дела в Москве, — но сегодня было воскресенье. К тому же нужно было и здесь распорядиться. И вот встал он в шестом часу, как всегда. Слабое еще было солнце, косое, легкое. Весь в росе был молодой сад, пахло свежестью только-только ушедшей ночи. Посмотрел на сад — красноватое сияние шло от старой рябины на солнце. Белогрудая птичка — похоже, славка — сидела близко на ветке и играла горлом. Было ясно видно, как перекатывалось в горлышке — точно дробинки. Свистела, потрескивала, как скворец, журчала по-жавороночьи, чокала по-соловьиному. И, глядя на нее, Николай Данилыч вспомнил, как отец в последний его приезд просил:

— Купи ты мне, Николя, канареечку какую...

Канареечка была куплена и ждала воскресенья. Теперь не нужна. Не нужен и этот дом, крепко построенный и ставший в четыре тысячи. Кому он здесь? Сломать и перевезти в Москву? И знал, что не сломает. Пусть стоит. Кто знает...

Думал об отце. Всё дела, всю жизнь были дела. Всю жизнь укреплял капитал; укрепил, а тут и конец. И когда смотрел Николай Данилыч на славку, думал о своих делах. И у него, должно быть, так и будут всю жизнь дела и дела. Достраивался новый дом, собственный, в пять этажей. Подходил к концу взятый подряд на выстройку гавриковского семиэтажного дома. Думал, что не заплатил-таки Коровин в срок аренду, беспокоился, доставят ли без оплаты прежних счетов цемент: остановится кладка — не поспеть к сроку, неустойка. Надо платить в сентябре в кредитное десять тысяч. Оправдает ли Волнистов векселя? И зачем впутался с тестем в муку, в новое дело! Вложил пятьдесят тысяч...

Славка вспорхнула, пересела повыше и продолжала журчать...

...С домом-то как же теперь?..

Шлепала туфлями Арина, несла хрустальную чайницу и старенькую сахарницу, в малиновых пятнышках, деревенскую, из которой, бывало, мальчишкой таскал сахар.

— Одни остались, тетушка...

Она поставила чайницу и сахарницу, присела и жевала губами.

— Потратился, Николенька... а вот, не привел Господь. С домом-то как теперь?

— Как жили, так и живите. Закрутился я с делами, а моим скучно тут.

— Деревня... — сказала Арина.

— Будете получать, как папашей заведено. Лошадей вам не надо, корову хотите — продайте...

Софьюшка внесла самовар, стукнула ножками о поднос, смахнула фартуком.

— Насчет ее... говорил папаша, устроить надо... Нужна она вам?

— А чего ж она мне нужна!

Софья остановилась за дверью и слушала.

— Как-нибудь подумаю... сродни она ему...

— А как же не сродни-то! И Захарыч вон еще у меня... Данилушка-то, покойник, дозволил ему доживать...

— Пусть живет. И он сродни...

— Да как же не сродни-то! — опять сказала Арина. — Да ведь и тебе дядя двоюродный...

— Да, да... И вот хотел я сказать... Куда же это папаша столько денег рассовал! С мая было у него семьсот шестьдесят, я ему меди на пятьдесят привозил... в именины его сам я смотрел, было четыреста сорок, а вот в бумажнике полутораста не хватает... Вы, пожалуйста, тетенька, не подумайте... а только интересно мне...

Арина вспомнила про ключи, хотела сказать и промолчала. А Софья стала тихо-тихо отходить в глубь комнаты, задержалась в задней и слушала. А Николай Данилыч уже говорил, что надо завтра же отпустить Степана и отправить в Москву пролетку и лошадей. Вынул записную книжечку, пересмотрел наказы Данилы Степаныча, — куда и кому сколько на случай его смерти. Куда монастырю столько — три тысячи! Довольно и пятисот. Ну, родным — этим можно и полностью, по пятьдесят... Двадцать два человека! Вот монастырь-то и поделится. Сто рублей Семену Морозову на похороны или, коли раньше помрет, снохе на поправку... Ну, и это можно. Арише по десять рублей на месяц, Захарычу по пять за... пчел... Софьюшке и Ванюшке двести рублей... Степану драповое пальто и купить новые сапоги, тройку и картуз...

Отвернулся к саду, сжал губы и смотрел через набежавшие слезы.

— Все, старик, исполню... все...

Выпил стакан чаю, прошел на усадьбу, обошел дом. Что с ним делать? Знал, что не будет здесь жить, что куплено уже место на кладбище женского монастыря, где женина родня, у часовни, где и брат, умерший от чахотки. Увидал кресло, записал — отправить. Переписал мебель, часы с башенным боем, зеркало. Куда им здесь? И все думал, что, если оборвется у него с домами, даст кредитное не восемьдесят тысяч, а шестьдесят, не уплатит Волнистов... И то, что приходило ему по ночам, — что может оборваться, что разбросался, что пойдет с мукой на понижение, и повалится все, как у Сняткова... — опять тревожило. Нет, пусть стоит дом. Может, и пригодится...

Автомобиль стоял, закрытый брезентом. Из кухни вышел Попов, поздоровался и спросил, скоро ли готовить.

— Часа в два выедем...

И тут вспомнил, что обещал вчера Здобнову заехать к нему, поглядеть, как живут. Надо было поехать, потому что дал слово, потому что истратился Здобнов и ждет, а главное, намекал, что может брать у него муку — лучше у своих, чем у Карпова, — и не больше не меньше как до полсотни вагонов. Все поставки на фабрики у него. Вспомнил, как упрашивал Здобнов, сидя в тарантасе:

— Мы к вам, а вы к нам... поглядите все наше обзаведение. Не какие-нибудь, а... все как следует-с...

А Марья Кондратьевна говорила:

— Окажите уж нам такую честь, и с барышнями, и господина кавалера, молодого человека... не будьте такие гордые...

А Здобнов тронул лошадь, перегнулся через задок, крикнул:

— Сейчас в городе специальный заказ сделаю! Чур, не обманывать!

Надо было поехать: солидный человек стал. И сказал Попову:

— Вечером выедем, а к обеду свезешь в одно место.

Увидал, что кланяется ему Семен Морозов, узнал старика, перешел лужок, сел на завалинку, закурил.

— Как живешь, Семен Иванов?

Хорошо его помнил. Помнил, как гонял Семен лошадей на водокачке, как стоял у котлов — подавал в бани горячую воду — и как, бывало, нашивал его Семен на руках, показывал лошадей, огромные баки с водой и цепи, подымавшие из колодца бадьи. Помнил его хоть и не совсем черным — спорила уж и тогда в его бороде зола с угольком, — а теперь был он седой до зелени и совсем другой. Но что-то было еще в его говорке знакомое, давнее. И это знакомое удержало для Николая Данилыча его прежнего и напомнило многое: как прибегал на водокачку, ел черный хлеб, макал луковкой в грязную соль в жестянке, стояли по стойлам тихие лошади, жевали сено, перелетали в стропилах сизые голуби, пахло навозом и краской.

И сказал Николай Данилыч, крикнул на ухо:

— А помнишь, Семен Иваныч, как, бывало, на водокачке... лошадей гоняли?

— Как же... помню еще, Миколай Данилыч...

Помолчали. Попов устроился за столиком, на травке, пил чай с белым хлебом. Вышла старуха сноха, жена Акима, закланялась:

— Тубареточку я вам вынесу, батюшка... запачкаетесь так-то...

Не надо было ему табуретки. Напомнила ему старуха тоже давнее, хоть и не такое, как с Семеном, а так же забытое. Лет двадцать тому, на другой год женитьбы, когда хворала жена после родов, приехал он сюда размыкаться, погулять и так, на ходу, сошелся с внучкой Семена, Глашей, совсем девчонкой. Так как-то вышло — столкнулся и пожелал. Прожил с неделю, пьяный от охватившего угара, закружил девчонку, а потом и не приезжал, прошло сразу. Слышал потом, что родила она мертвенького, потом вышла замуж за кривого мещанина из посада, гробовщика.

— Ну, а внучка у тебя была... Глаша?

— И теперь жива... ничего... живет хорошо, пристроилась.

Говорил, покряхтывая, грелся на солнышке, поеживался в широком, как мешок, полушубке. И видел по его лицу Николай Данилыч, что и об этом помнит старик. И ничего, тихий, безропотный.

— Сто рублей тебе папаша на похороны оставил.

— Да ну?! Царство небесное... Да мне куда ж... Меня за полторы красных управят... ты уж им остатнее-то выдай... Акимушке пусть...

Всплакнул. Сидел, опираясь сведенными бурыми пальцами о сухую землю завалинки. Было тихо, жарило в завалинку солнце, гудели мухи. И тут, рядом с этим усыхающим стариком, Николай Данилыч почувствовал, как он устал, как хорошо было бы забыть все дела и уехать куда-нибудь — отдохнуть. И подумал, что надо поговорить с доктором, отчего это часто в последнее время кружится голова и покалывает у сердца.

— Совсем, значит, от нас теперь... отъезжаешь? — спросил старик.

— Папашу похоронил — чего ж тут...

— Че-го тебе тут! Твое дело бо-ольшое, ходкое... кто как... кто на крылах, кто на костылях...

— Ну, твои как, внучата, сыновья?..

— Мои-то... — задумался старик, переступая валенками и разевая от слабости рот. — Ничего... Старуху когда еще схоронил... меньшой сын помер... вот где это железо плавлют... к хохлам туда...

— Что ж так?

— Да ведь... помер. Пришла бумага... холера там была... горе такое. Акимушка у тебя, при банях... Сенька, внук... на суконной. Василий, середний сын... у мушника в молодцах. Гришка, внук... так, котует... Давеча... на поминки приходил... та-ак скандалил. Размотало всех, что воробьев по застрехам... кто игде...

— Та-ак... И у тебя не бывают?

— Нонеча где деньги, там и родная сторона. Нонеча дал кто полтинник, вот и родня стал... Так, горохом... врозть...

Помолчали.

— Жить-то, стальтъ, не будешь здесь... Акимку-то мово не обидь. Он у мене один изо всех помнит. А вон внуков-от его куды занесло! Один на чугунке кондухтором... по всей земле-э ездит... другой в остроге сидит... за это самое... вот бунтовали когда... Убег был... опять пымали, засадили... Акимушка сказывал... письмо от его пришло... опять, говорит, убегеть...

Было видно, как в окнах дома пробежала в белой кофточке Паша. Крикнула:

— А я по-деревенски хочу! Где у вас?

Выбежала на крыльцо босая Софьюшка, а за ней в шелковой голубой юбке и ночной кофточке Паша. Софьюшка показала ей рукомойник, черный, чугунный, с носиками. Рукомойник прыгал на проволоке, плескалась вода, и смеялась белорукая, скинувшая кофточку, Паша. Поглядывал из-за машины Попов, пил чай и косил глазом. Николай Данилыч погрозил пальцем, Паша погрозила ему. И красиво грозила, и красиво ежила плечи, и сочно смеялась, и, если бы не знал он, кто она и откуда, никогда не подумал бы, что она вся здешняя, с этих дворов, с этой округи: потому что и булочники были когда-то с этой округи, соседней волости. И когда так плескалась она, умываясь по-деревенски, а Софьюшка ухмылялась в руку, вышел Сережа, кудреватый, как баранчик, крепкий со сна, в белой рубашке с голубой грудью, на помочах, хлопнул Пашу по полному голому плечу, схватил рукомойник и выплеснул на обеих. Был смех и визг, точно и не лежал еще вчера в комнатах Данила Степаныч.

Высунулась в окно в черном платке Арина, поглядела и опять ушла.

«Славные детищи», — подумал Николай Данилыч.

— Что же, поедете к Здобнову-то вашему? — крикнул Сережа.

Николай Данилыч вспомнил, что надо поехать в монастырь, сказать обложить дерном и внести отцу казначею на сорокоуст. Приказал готовить машину.

XVI

К обеду поехали в Шалово, за десять верст, к Василию Левонычу Здобнову.

Встречали перед двором сам, Марья Кондратьевна, четыре дочери и три сына, двое работников, кучерок и кухарка. Рвались на цепях лохматые собаки, бегали перепуганные индюшки.

Осматривали новый кирпичный дом с двумя лавками в железных зеленых затворах и решетках, все службы, конюшни и птичник, заводских свиней и выпаиваемых телят. Показывал Здобнов новую тройку, купленную от предводительши и теперь продававшуюся за полцены — за тысячку.

— Только и всего-с, за тыщонку-с...

Показывал телячий загон в триста голов, говорил:

— Не телятки-с, а денежки наши плачут, в Москву хочут-с...

Показывал с балкона новый трактир на въезде, подмигивал, забирал в маленький кулачок маленькую бородку, вздыхал:

— Чуточку пообстраиваемся...

Показывая по очереди семерых детей — четырех дочерей, год за годом, от пяти лет, троих сыновей: правую руку — при торговле, левую руку — все деньги потягивает, в юнкера думает, и третьего — из коммерческого училища.

— Этого по ученой части направлю, очень по наукам хорош.

Про дочерей говорил:

— Плохой товарец по нонешним временам. Мало-мало, а по красной на каждую готовить надо. Ну, ничего, маленько пообстраиваемся...

Показывал граммофон, сказал:

— Обедом я вас затомлю, но при музыке незаметно, хоть бы и десять перемен было.

И сделал Марье Кондратьевне через плечо большим пальцем:

— Посуду-то, посуду-то тревожьте!

Обед был парадный, и прислуживал прыщавый молодец из трактира, швырявший тарелками с вывертом, высовывавший язык, когда разносил блюда и наливал рюмки.

— Кушайте-с... — упрашивала Марья Кондратьевна. — Хоть у нас и не по-московскому, а все самое лучшее... все у Кошелкина брали...

Были омары, от которых пахло селедкой, была ветчина с горошком.

— Повар у меня в трактире замечательный, у непременного члена служил. Кушайте. А муку сварим-с мы с вами, будьте покойны-с. Ежели подойдет-с, мы и в компанию. Ты что ж, тетерев, с левой-то руки подаешь?

Ели рыбу под белым соусом, гуся и баранину, телячьи язычки — одна неожиданность.

— Еще неожиданности-то!

Пили вина с яркими ярлыками, в золотой и серебряной оклейке, с французскими буквами. Пили и за упокой кресинького, и за здоровье многоуважаемых. И весь обед пел граммофон и рассказывали анекдоты.

После обеда осматривали трактир-ресторан, только что освященный.

— Номер четвертый будет-с! Теперь у меня один работает, слава тебе Господи, на посаде, второй в городе, третий в Манькове, а это последышек-с... Чуточку пообстраиваемся...

В трактире были даже три кабинета — чиновники когда выезжают-с, — и по праздникам приходили играть Илюша и Гриша. Галдели мужики, где-то играли знакомые трехрядки, но Здобнов приказал устранить на четверть часа, ввел в кабинет и приказал откупорить шампанского.

— Нет-с, дозвольте-с. Там неизвестно, а мы, может, заварим еще какую кашу. Дозвольте помянуть кресинького.

Шампанское крепко шипело, сильно пахло лимонной коркой и горечью, и сейчас же у всех заболели от него головы. Потом пили чай в малиннике, с ромом и коньяком, и когда выехали в Ключевую, чтобы проститься с Ариной, падали сумерки.

Автомобиль пробирался тихо по мягкой дороге в хлебах, пахло спелой соломой, полынью, дикой рябинкой и пылью. Еще журчали невидные уже жаворонки. Повстречали в хлебах телеги: катили с праздника из Степанова, нагруженные кашей голов и сапогов, с пиликающей гармоньей, — Степан Саввaит ржище кланяться велит, — Попов издалека загудел гулкими вскриками, накатил мягко, зашарахались лошади в хлеба, и окатило бранью. И, не оборачиваясь, не глядя по сторонам, вел машину по извивающейся дороге.

— Должно быть, мы первые здесь... — сказала Паша и все оборачивалась: как телеги. И видела на светлом небе черные маленькие дуги.

— Попривыкнут... — сказал Попов, пугая гудками темнеющую даль хлебов.

Увидали над рощицей, близко к закату, золотенький ноготок молодого месяца. Ехали опушкой, и долго провожала автомобиль смутно нырявшая какая-то ночная птица, вскрикивала тонко и зло.

Мягко вкатили в ельник, душный и темный, зашуркали по колюшкам. Было совсем темно, но не хотелось зажигать фонари — сейчас выход на Ключевую. Уже пошла под гору дорога, уже пахнуло с просвета росистой свежестью. На Ключевой падала роса.

— Дай огня, сейчас едем, — приказал Николай Данилыч.

Попов перевел рычажок — и два долгих белых снопа вырвались из невидимых глаз машины, перекинулись через улицу и положили два мутных пятна на темную стену избы напротив, захватив в свое поле нижние ветки ветлы, высокую крапиву и на ней серую дерюжку.

Вошли в дом. Горела на столе лампочка, принесенная Софьюшкой из задней половины. Вышли Миша и Санечка, ждали.

— Пока поживите здесь, — сказала Ольга Ивановна. — Слушайтесь бабушку.

Санечка заплакала, а Миша смотрел в сторону и двигал ремнем. Вышла Арина. Она была уже в своем обычном сереньком ситцевом платье и в черной головке, старая-старая, истомленная тревожными днями. Не могла стоять — села.

— Ну, тетенька... попрощаемся... — сказал Николай Данилыч.

Нагнулся и поцеловал старуху в холодный рот. Она припала к его плечу и тряслась. Паша выбежала из комнаты, остановилась на крылечке, где утром умывалась по-деревенски, прижала руку к груди и поглядела в небо. Звезды играли в падающей росе. И было Паше чего-то жаль — росистого ли уголка, старенького ли рукомойника с носиками, остающуюся ли старуху бабку, которую она совсем не знала... Потрескивала холодевшая на росе крыша, звенели кузнечики. Паша смотрела на звезды, сбивающиеся лучами, и мысленно, в самой сокровенной глубине, сказала им: «Дедуся! Пожелай мне... пожелай мне, чтобы я... чтобы я...»

Счастья она себе хотела, светлой жизни, счастья незнаемого. Она не сказала, а крепко подумала, смотря на звезды в росе, так крепко, до слез, подумала.

— Паша! — позвал голос Ольги Ивановны.

Она провела по лицу, поморгала и вошла в комнату. Все сидели. Слышали, как тарахтела машина.

Прощались. Арина крестила всех.

— Христос с тобой, деточка... Благослови вас Господи... сохрани...

— Ежели что понадобится, тетенька, прикажите написать...

— Уж такие-то вы все ласковые... такие-то хорошие...

Не могла говорить. И когда уходили, вспомнила, что не простился Захарыч, и удержала. Пошла куда-то и привела Захарыча. Он был босой, в белой рубахе, распояской, — должно быть, спал. Арина кричала ему:

— Попрощайся с Николенькой-то, с родными-то... Совсем уезжают!

А Захарыч стоял и кланялся, не разбирая при огне лиц, слыша только неясный шум.

— Прощайте, дедушка!

Софьюшка повторяла:

— Много довольны, покорно благодарим...

Вышли и посажались. Сережа засветил фонарик на машинке, гукнул и покатил тропкой к лавам. Вышли на шум машины из соседских дворов.

— Счастливого пути, Миколай Данилыч! Нас-то не забывайте!..

Попов загудел на заслонивших дорогу. Ответил глухо Медвежий враг. Покатили. Видели оставшиеся, как побежали наперед, указывая дорогу, два света — дальше, все дальше. Видели, как врезались они в частый ельник на въезде, завернули, заюлили и замигали, переламываясь в деревьях, точно нащупывали и искали там. Гудело и тарахтело в елках. Потом чище стало доходить по росе — трpppp... Потом стихло.

XVII

Пошли спать. Арина обошла комнаты, помолилась в каждой. Затворила окна. Оставила открытым только одно — к террасе. Тут у нее стояла чашка с водой. Еще в день кончины Данилы Степаныча выставила она ее — так всегда делали, — но ее все выплескивали, не зная, зачем здесь чашка, и пили из нее квас. А она наливала новую. Теперь не выплеснут. Потом принесла чистое полотенце и вывесила за окно, к террасе. Так всегда делали. Вывесила, покрестилась и пошла к себе в боковую комнатку. Стихло в доме. Миша и Санечка спали на кухне, у Софьюшки, — боялись одни.

В своей комнатке, жаркой от кухни, Арина долго молилась темному образу, молилась о живых и умерших, обо всех. И тихо уснула.

Тихо было на Ключевой. Слышно было, как играли струйки по камушкам. Сочились ключики из-под крутых берегов, текли и текли. Так и будут все течь, течь, сливаться с иными струйками, переливаться в иные речки, в большие реки и долгие еще пути идти, чтобы влиться в огромное неведомое море. Так все и будут бежать день и ночь, день и ночь, слышные больше ночью, когда все спит, когда слышно, как растет трава, как падает роса, как дышит земля. Если слушать в тихой ночной деревне, многое можно услыхать.

На ранней зорьке прошла по росе Софьюшка, оставляя широкую темную полосу на траве. Тихо вошла в сенцы и замкнулась.

На полной заре вышел с дальнего края, от речки, от Анисьиной избы, Хандра-Мандра. Вышел, ковыляя, на середину деревни, подошел к новому дому, посмотрел на черные запотевшие окна, на белое полотенце, резкое на заре, снял шапку, покрестился на небо. Вынул из пазухи

жалейку, расправил усы и стал играть. Играл хорошо и долго.

Вышла Софьюшка, выпустила корову.

Уже вышли коровы со всех дворов, отошли на тот край, а он все играл. Призывали его мычаньем. Тогда выкинул он бойкой крутой дугой через плечо долгий кнут, перенял — и рассыпалось утренним крепким треском. И пошел догонять коров, а за ним побежала змейка, оставляя по росистой траве темный вертлявый след.

1913 г.

ВОЛЧИЙ ПЕРЕКАТ

I

Оставался последний концерт — в северном городе.

Можно было ехать по железной дороге, но певица выбрала пароход. Баритон убеждал, что в конце августа ехать по реке вовсе не интересно, может измениться погода, что они, наконец, рискуют. Говорил о туманах, о возможности застрять на мели. Но певица настаивала. Она не бывала в этих пустынных краях, где в тихих селениях дремлют старенькие церквушки, где по погостам — там есть такие погосты — притаилась сиротливая жизнь. Наконец, хотела отдохнуть на воде, где всегда чувствуешь себя хорошо.

Их импресарио — он же и пианист — поехал вперед — налаживать дело, а баритону пришлось уступить.

Пока они сядут на небольшой пароход, а с половины дороги — там вода позволяет — поедут на самоновейшем, большом и роскошном, со всеми удобствами. Общество может гордиться своими «американцами», и пусть не подумают, что полный комфорт можно получить только на Волге.

Так сказал им пароходный агент.

— На этом пароходе ехал министр!

Агент знал, с кем имеет дело, и галантно добавил:

— Вы делаете нам честь.

Их провожали овациями. Баритон прижимал руку и посылал поцелуи, певица разоряла поднесенный букет, гимназисты ловили ее пальцы и щекотали губами. Все это очень мешало крючникам, спешившим с догрузкой. Катились скрипучие бочки с сахаром, синие — с керосином, неслись на плечах дробным шажком, как маленькие дома, громоздкие ящики, пугали щебечущую толпу придушенные оберегающие голоса:

— Пу-скай... дорогу!..

Когда пароход отвалил, певица сказала устало:

— Надоели.

— В ушах как кузнечики... — добавил с кислым лицом баритон.

Походили по палубе, провожаемые косящими взглядами двух крепышей — штурвальных, в угрюмой сосредоточенности вертевших туда и сюда колесо. Приглядывались, кто едет. Публики не было. На затрубной части, под дымом, посиживали простые люди.

— Кажется, мы одни... — сказал баритон. — Да тут всегда так.

— Я рада, — сказала певица. — Какая милая простота!

Хорошо и покойно было вокруг. Плыли берега, слоистые от опадавшей за лето воды, в лознячке, уже потерявшие куличков-свистунов, полетевших к югу. Крестами стояли на высоких мысках полосатые мачты с отдыхающими воронами. Еловые гривки падали в пустые луга. Широко сидели по взгорьям деревни. Лениво кружили крестами одинокие ветряки.

— Родное, милое... — мечтательно говорила певица. — Какой воздух!

— Но сыровато, — сказал баритон, поглаживая горло. — Не лучше ли из салона?

В салоне первого класса сидел в уголке батюшка в фиолетовой рясе, с падающими на стол волосами, и вычерпывал из тарелки, шумно похлебывая. Они просмотрели карту и заказали обед.

— Вряд ли найдется порядочное вино... — сказал баритон, морщась.

— Какое-с! — отозвался батюшка, выплевывая в тарелку. — У них и лимонад-то с фальсификацией. Налимью уху вон ставят сорок копеек, а что подали — одни хвостики!

Баритон повел бровью, а певица отвернулась к окну и беззвучно смеялась.

Плыли рыбьи заколы, синие дымки костерков у шалашиков, золотистые водопадики текущих с откоса полешков. Пестрыми лоскутками попрыгивала детвора, звонкая, как стекло.

Капи-тан, капи-тан!
Наши день-ги украл!..

— Ти-та-та... ти-та-та... — повторила певица, попросила дать ей стекла с большого стола и стала вызванивать на лафитничках.

— Очень похоже-с, — сказал, улыбаясь, батюшка. — Точная копия!

До вечера смотрели они из салона. Берега стало заливать вечерним солнцем. Золотистыми пятнами глядели в лесных углах новые сторожевые избы, пылали их пузырчатые оконца. Баканы зажигали огни, а сумерки все не уходили.

К ночи опять вышли на палубу. Штурвальные все ворочали колесо, вглядываясь в мутнеющую даль. Синие костерки стали красными. Берега повторяли сонное пошлепыванье колес.

— Мы едем в пустоте, — грустно сказала певица. — Какая бедная жизнь.

— Не скажите, сударыня, — отозвался батюшка за спиной. — Тут бо-гато живут. Одного сена накашивают...

— Это какая звезда?

— Вечерняя... А, право, сыро. «Звезда вечерняя моя-а...»

Голос потонул в реве гудка. Штурвальный посмотрел на погружающуюся звезду: снизу затягивало ее свинцовой тучей.

В салоне батюшка объявил, что едет, собственно, по второму классу, — цены доро-гие! — а сюда заходит посидеть в обстановке. Рассказал, что живет на Старом погосте, что житье у них тихое, много гриба и голубики, отвозил детей в семинарию, а теперь едет восвояси, до будущего года.

— А уж волков у на-ас!.. Как в городе фонарей — столько у нас волков!

Это их насмешило. Баритон хохотал степенно, потряхивая рыхлыми сизыми щеками и намекающими у глаз мешочками. Певица смеялась нервно, прячась в боа, точно ей было холодно. Смеялся и батюшка, довольный, что так понравилось про волков. Потом рассказал, что у матушки тоже большие способности к музыке и голос звонкий, но только не довелось подучиться: не было фортопьян. И опять смеялись.

— Да-с. У вас там музыкальные представления по ночам, и у нас музыка: у-у-у! — представил он вой волков.

Уходя, батюшка сказал:

— В седьмом часу, поутру, и погост мой. Позвольте с вами распроститься и пожелать доброго здоровья. Приятно время провели.

И когда вышел, певица долго смеялась...

— Приятно... приятно провели... ха-ха-ха...

— Вы нервничаете, дорогая... — сказал баритон.

Утром они пересели в каком-то растрепанном поселке на большой белый пароход, который носил славное имя — «Чайковский».

— Как это приятно, — показала певица на золотые буквы по белому. — Леса, глушь, и вот... Это символ.

— Тут и читать-то не умеют!

Это был действительно прекрасный пароход, недавно спущенный, на котором ехал министр. Было приятно видеть большой светлый салон, в красном дереве, бронзе и коже, свежие скатерти, разноцветный хрусталь, розовые шапки гортензий над серебром, зеркальные, во всю стену, окна, мягкие диваны и пианино. От него еще пахло лачком и слабым камфорным духом.

— Как мило... даже цветы!

С палубы смотрели они на поселок.

Было пасмурно. Красные ящики товарных вагонов, там и сям разбросанные стройки без крыш — говорило, что это только-только устраивающийся городок. Гулко скатывали бревна где-то, громыхало железо. Толклись крючники, мужики с кнутьями, бабы с пирогами, молодцы с желтыми аршинчиками в кармашках, с пачками накладных; степенный, рыжебородый, с намасленными волосами, с картинкой храма на широкой груди, собирающий на недостроенную церковь, — и ни одного отдыхающего лица. Три слепца, ухватившись за кафтаны, стояли у края пристани, подняв пустые глаза в серое небо, и причитали. Мальчик-поводырь, перекосив лицо, жестоко скреб в голове. Щелкал на ветру флаг.

А и кто нас бу-дет поити-кормити,
От темнаи ночи укрывати!..

— Будни... — показала на все певица.

И опять все тянулись изрытые берега, замутившиеся, в белых гребешках, воды, захмурившиеся леса. На одной пристани, где ничего не было, кроме сарая и леса за ним,

выгрузили пианино. Его выкатили пароходные молодцы и поставили к горке мешков. Мужик в полушубке потыкал кнутом в доски.

— Стекла, што ль?

— Кто-то живет здесь, любит искусство... — мечтательно сказала певица.

Вспомнила батюшку, и забитое в доски пианино показалось ей жалким и лишним здесь.

За завтраком она сказала задумчиво на какие-то свои мысли:

— Ну да... Но вот... в деревне у нас, в усадьбе, я пела... К нам столько народу приходило, заборы ломали. Приходили после работы, из другой деревни...

Занятый паровой семгой, баритон посмотрел вопросительно.

— Девушки приносили мне васильки. А парни... которые бьют окна в кабаках и дерутся ножами, принесли раз венок из хвои и... соловья! Соловья я выпустила, а венок храню...

— Что же вы хотите этим сказать?

— Ничего я не хочу сказать! — сказала она капризно. — Вот налейте вина.

После завтрака они гуляли по палубе, кутаясь в пледы. В первом классе опять не было пассажиров. В зальце второго посиживали за графинчиком два картузника, чокались и тыкали пальцами. Десятки голов совались через борта внизу, когда пароход принимал с лодки таких же. А на берегу и жилья не было.

— Откуда они появляются? — спрашивала певица, вглядываясь в глинистые лесистые берега.

А они нет-нет да и появлялись — то бородатые, то румяные и безусые, то сумрачные — бабьи, то веселые — девичьи лица. Выходили из каких-то лесных своих деревень. Куда-то, зачем-то ехали. Иногда съезжали на такие же пустынные берега.

Кто-то радостно крикнул:

— Эна, журавли-и!

Певица долго глядела в серое небо. Ползли тяжелые облака — вот-вот начнет сеять дождем, — а под ними две веревочки уголком, темнеющие узелками. Да, журавли... Три серых креста стояли на берегу.

— Что это значит... кресты? — спросила певица у капитана, с грубым бурым лицом, к которому совсем не шла маленькая фуражка.

— Кресты... — повторил он раздумчиво. — У нас тут много крестов. Погибшие которые... по разным случаям...

И, разглядев, какое у ней красивое, нежное лицо и какие славные мечтательные глаза, мягко добавил:

— Скучные наши места, сударыня!

Он был из лоцманов и из всех вежливостей знал разве только одно это слово — сударыня. И, ответив на два — на три вопроса, поднял фуражку и четко кинул на благодарность:

— Мое почтенье.

Чернели вороны на песках. В пролесках кружили грачи. На буром жнивье увидали точно лоскутное одеяло — бабью толпу, провожающую бедную позолоту хоругвей: какой-то праздник. Из песчано-глинистых берегов глядели древние валуны, точно орехи в шафранном тесте. Хохлилось и супилось все в мелком дожде. Гасла даль.

В салоне певица подняла крышку пианино, взяла несколько грустных аккордов, посмотрела в окно и захлопнула.

— Какая тоска!

Кричал пароход, из мути наплывал встречный, тащил мокрую баржу с дровами, с выглядывающей из-под грязной рогожи головой.

— Второй день мы едем, — говорила певица, смотря на замутившиеся в дожде берега, — кажется, целое государство проехали... и только представить всю нашу Россию!..

— Дистанция огромного размера!

— Всматриваюсь я, думаю... Чем живут эти все здесь... Что у них хоть немножко яркого в жизни? Куда-то идут, бегут, везут, валят бревна... точно переезжают все и никак не могут устроиться...

Баритон ходил по салону, засунув руки в карманы, и, раздумывая о чем-то своем, посвистывал. Певица сидела с ногами на диване, кутаясь в мех. Позванивали хрустали на столе, и розовые шапки гортензий мерно дрожали в работе машины.

— «Мы едем... поздно... меркнет день...» Дальше? Это Тютчева, кажется...

— Может, и Тютчева-чева, а может, и Пушкина-кина... — в такт шагам отозвался баритон. — Не помню, как дальше. Ехали бы мы в купе с вами...

— Оставьте. Да... Кругом леса, неуют... кому-то выгрузили пианино... Кому нужно здесь пианино!

— Какой-нибудь попадье. Будет попадья играть, а поп будет танцевать... а волки — выть...

— Живешь в городе, не замечаешь... Петербург, Москва, культура, яркая жизнь... А отсюда... все они какие-то пылинки, светлые точечки... — она вся запряталась в мех, и только большие глаза ее грустно глядели в окно в передней стене, по которому брызгал дождь, — во всем этом. Вся Россия — огромная, серая, а мы в ней... будто какой-то малюсенький придаток... как то пианино у леса.

— Зачем так мрачно! — с чувством сказал баритон, проглядывая обеденную карту. — Гм... йоганисберг имеется... Позволяете?

— А, все равно! Вся жизнь, эта вот и везде, идет каким-то своим серым путем, куда-то идет, идет... а мы только скользим, скользим... и мне кажется иногда, что она кем-то обижена... Будни, будни...

— Смотрите, как огни зажигают, — кивнул на окно баритон.

Начинали загораться огни баканов — красные, белые. Из окна салона было видно, как в прыгающей на волнах лодочке возился человек около белого колпачка. Они проводили его, следя, как вспыхивало и гасло. И чем дальше шел пароход — больше было огней на воде и черноты в небе. Барометр упал, предсказывая бурю. Да она уже и начинала шуметь порывами. Стоял в мути нарастающий шорох. То леса шумели, невидные. То волны накатывали в берега.

— Какой ветер!

К ночи стало тревожней. Чаще вскрикивал пароход, чуть пошлепывал в черноте, нащупывая дорогу. Чаще подавал с носа осипший голос:

— Во-симь!.. де-вить!!.

Они сидели у переднего окна, к носу, и в скупом свете лампочки с передовой мачты видели чью-то копошащуюся мокрую кожаную спину.

— Под таба-ак! — веселый кричал голос. — Не маячи-ит!!

— Не мая-чит!! — выше перекидывал другой, мальчишеский, наверху где-то передавал штурвалу. Радостно вскрикивал пароход — так! так! — колокол бил отбой, и кожаная спина проваливалась.

Часов около одиннадцати, когда они ужинали, пароход заскребся и стал.

— Сели-таки! — воскликнул баритон и постучал ножичком. — Сели? — спросил он служившего им седенького официанта.

Тот навострил ухо, поглядывая к окну, точно мог там что-нибудь разглядеть, и сказал почтительно-вдумчиво:

— Хитрое место подошло-с. А должны бы сойтить-с...

Пароход подрожал на месте, еще немного поскребся и сплыл.

— Сошел-с. Ежели Господь даст, минем его...

— Что такое... хитрое место?

— Есть тут такое у нас, Большие Щуры-с называется. Очень лукавое для пароходов-с.

Они подошли к окну. Плес был, должно быть, очень широкий: красные и белые огни раскинулись здесь широкой путаной сетью. Зыбились на волне. Пароход отходил назад, кружил около одного огонька, а мокрая спина на носу подавала и подавала:

— Четыре с полви-най... четыри-и!!

— Вон, уж четыре-с — шепотком докладывал официант, навастривая ухо на голос. — Каторга очень, то ямка, то перекатец, то самая заманиха-с...

— Неужели сядем! — тревожно спрашивала певица. — Смотрите, что это... огонь прыгает?!.

Близко ли, далеко ли, обманывая в черноте, метался желтенький огонек. Ухнуло ветром и понесло с воем по палубе. Качнуло пароход.

— Может, пассажир просится... — с сомнением в голосе сказал официант, осторожно заглядывая с бочка. — Только тут место пустынное-с... ни пристаньки, ничего. Маяшник в шалашике живет только.

Ближе метнулся огонек и пропал. Тревожно застучали по палубе, пробежали в кожаных куртках. И вот заревел вверху рупор:

— Ходи в корму-у!

— Пассажира принимаем, — сказал официант. — А на воде-то теперь... самый-то волнобой, ночь-с...

В полосе бокового огня катили крутые волны, тускло ломая гребни.

— Смотрите... человек! в лодке стоит! — воскликнула певица.

В полосе пароходного света, в поблескивающей сетке косого дождя, они увидали ныряющую в волнах черную лодку, одного, пригнувшегося на веслах, и другого, высокого, под плащом. Он стоял лицом к пароходу, вытянув руку, точно что-то ловил. Увидали метнувшуюся веревку — и лодка выпрыгнула из полосы света.

— Прикажете семгу подавать-с?.. — спросил официант.

Они продолжали ужин. Пароход, должно быть, миновал «хитрое место» — шел ровно.

И только поставил перед ними официант длинное блюдо под мельхиоровой крышечкой и отошел неслышно к сторонке, закинув мастерски салфетку под левый локоть, — в коридоре салона послышалось топотанье: вытирали ноги. Сейчас же стали приближаться тяжелые, осторожные шаги, и в салон вошел высокий плечистый мужчина в тужурке и сапогах, — должно быть, только что принятый пассажир. Мельком оглянул ужинавших, щурясь от яркого освещения, как будто замялся, куда бы сесть, и направился в уголок, к столику, стараясь не зашуметь. Сел на диванчик и перевел дух.

— Егор Иваныч, доброго здоровьица! — ласково сказал, кланяясь, седенький официант. — Погодку-то какую выбрали. Ну и рыскун вы!

— Да, брат, закрутило. Дай-ка мне, братик... — он покосился на ужинавших, — гм... да горяченького чего, ветчинки... Плохо на берегу.

— Очень дождик-с. Зато все каютки свободны, не как летом.

— Каюты мне не потребуется. Слезать скоро, на Волчьем перекате. Я там говорил капитану, а ты все-таки накажи вахтенным... как бы не проскочить.

— Чего ж ночью-то вам на перекате?..

— Надо. Маячник там утонул.

Баритон постучал ножичком.

— Давайте, что там... Да подогрейте вино.

Певица глядела на пассажира: кто он? инженер?

II

В двадцатых числах августа Серегин опять перекинулся на средний плес, под Большие Щуры. Так он и сам говорил про себя — перекинулся: такая неспокойная была должность.

Сейчас же за половодьем проверяли стрежень на нижнем плесе, потом перекинули его на Завалы, где землечерпалка; три недели, петровками, маячил он на косах у деревни Большие Щуры, а потом месяца полтора обставлял судоходными знаками участок по Вычегде. И только покончил — срочная телеграмма кинула его вновь под Щуры, где стали крепко садиться только что пущенные большие пароходы. Лето было засушливое, вода валилась, и жалобные ящики на судоходных постах каждый день доставляли неприятность.

Назначение под Щуры было Серегину в радость: он и сам собирался туда, хотя бы налетом. А когда-то он проклинал их, эти Щуры. Маячники штрафились там, как нигде. Там река баловалась, играла перекатами и косами, ставила заманихи пароходам. А теперь все здесь нравилось: и еловая чаща на кручах, и пески того берега, и вязкое побережье в ключах, и валун, завалившийся к самой воде, и самое имя — Большие Щуры. Они таились за взгорьем и конечками крыш хитро мигали пароходным дымкам: а вот и мы, Большие Щуры! а вот и нет нас!

И как увидал с парохода поспешавшего на веслах рыжего Семена-маячника, приставил ладони и крикнул раскатисто во всю реку:

— Навастрива-ай!

Долгим стоном ответила ему еловая чаща, а сбитые криком чайки заплакали. И не от тоски, потому что не было здесь тоски: весело было на светлой реке. Радовались свежей краской баканы; висли вниз головами рыжие ели, точно в веселой игре, вцепившись корнями в тряские берега, а зеленые заглядывали на них сверху; ключи так сверкали, точно весь берег был в серебре. Все показалось Серегину ясным, веселым, добрым: даже валун улыбался каменной лысиной. Потому что судьба подарила ему здесь улыбку, и эта улыбка осталась на всем. Воздух был так звонок и чист, что семен сразу признал, кто, высокий, стоит на корме, загродив спиной падающее к пескам солнце. Да и кому еще ехать сюда, на вязкие берега, снизу!

— Егор Ива-ныч!

Серегин прыгнул в Семенову лодку и остался стоять, качаясь на высокой волне, провожаемый взглядами женщин, вольный, крепко загоревший, веселый. Увидал светлый валун и вспомнил, как в белой ночи не мог спать, как охватил тогда накрепко этот холодный валун и вырвал из заевшей его чмокнувшей глины. И все вспомнил. Стряхнул на затылок фуражку и руганул весело и Семена, и реку, и затихающий пароход:

— Раков все, черти, давите!

Подмигнув пароходу, сказал весело и Семен:

— Повертелся надысь у косы... Та-чал капитан... шумной!

— С вами будешь шумной!

А Семен подмаргивал про себя из-под драного картуза под писк ерзавших весел. А когда Серегин доставал папиросу, признал жестяную коробочку с крашеной бабочкой наверху. Показывал ему как-то Егор Иваныч эту коробочку, тыкал к носу и говорил:

— Хорош я себе портсигар уделал?!

Чу-дак! А был у него настоящий портсигар, на пружинке. На его глазах тогда и зашвырнул в реку, хоть бы ему подарил!

— А понсигарчик-то ваш надышний ущупал я, рашницей достал. А это у вас, с бабочкой какой был?

— Подгребайся, подгребайся... с бабочкой! С солдаткой-то как?

— Хе-э... ничаво.

От шалашика лаяла на воду рыжая Лиска с белоголовым кутенком, и казалось, что в чаще есть еще Лиска и тоже радуется.

Прямо с ходу Серегин осмотрел запасные баканы, кучу ржавых цепей, оглянул реку, привычно выискивая отсветы кос и наносов.

— Как на скате?

— У таей, у долгой, новый перекатец задират... Да от ее версту туды, квыше... заманиха рость стала на глыби... да к буграм, жалились, что низвергло, да к Каменьям...

— Ого! Ну, завтра поврешь — погляжу. Придется под якоря двоих со Щуров взять...

— Беспременно, што взять... Братишку бы Степанидина да...

— Лакомый, чертушка, до Степанидиных!

И как сказал про Щуры — заманило на сердце. Поднял затертый чемоданчик и посмотрел к чаще. И Семен покосился к чаще.

— Стоять-то тамоди опять будете, в жилище?

— А-а...

И русая головка голубоглазой Саши, с ямочками-умилками на щеках, игривой, увертливой Саши, к которой только и ехал, о которой — теперь было ясно — только и думал эти месяцы речной жизни, встала живой. Он толкнул легонько в брыластую мордочку лизавшего сапоги кутенка, дал щелчка Лиске и пошел выбитой по осыпи тропкой. На завороте посмотрел на пески того берега, осыпанные чернотой полоскавшихся к ночи ворон, на опускавшееся солнце.

Возил он сколько раз Сашу на эти пески. Тогда солнце играло в ее глазах и ушки ее просвечивали на этом солнце. И не раз покусывал он эти ушки и щекотал усами. И теперь, вспомнив, почувствовал радость, что она не такая, как все: ни пески, ни темная чаща, ни крепкие до хруста объятия не сломили ее. Точно сейчас слышал податливо-робкий шепот:

— Ой, миленький, не надо...

И ловил ее на песках, и перегибал за плечи на том камне, в белой ночи, мерялся с ней глазами, близко-близко, видел в них притаившуюся робкую страсть — и жалел. Все мог сделать с ней, юной совсем, — и жалел. Знал, что оставит ее через день-другой, только приди срочная телеграмма. А для забавы можно найти другое, чего не станешь жалеть. Вот тогда, когда боролся с собой, и вывернул из глины валун, только ушла она от него, слабая с поцелуев. Так и осталось в нем с той поры, жалостью залегло на сердце такое простое:

— Не возьмешь за себя!

Не взял бы. Брать за себя, когда больше живешь по рекам, — надо подумать и подумать.

Еловая чаща дохнула пряным и кислым духом, и этот застойный дух вызвал недавние встречи под елями — в паутинах и смолистых ветвях.

— Сашурка! — любовно сказал Серегин еловой чаще.

В елях было глухо и сумрачно. Вспоминались на знакомых местах ясные Сашины глаза. Он шел корнистой

тропой, слыша только шорохи и паденье шишек — звуки еловых чащ. Уловил шелест шагов впереди, остановился и загадал радостно — Саша? Увидал белый платочек в зеленых елях, красное понизу и по красной баске признал Степаниду, молодую солдатку, которую видал у Семена. И вспомнил, как на последней работе ходила к нему белозубая, в шумящих голубых бусах, бойкая и задорная, чужая, Анисья.

— Ой... напужали как, сердце зашло! — ойкнула Степанида. — И не сгадала б, Егор Иваныч...

Смотрела лукаво, посмеиваясь глазами, серыми с золотинкой, такими же грешными, как у Анисьи.

— Куда, грудашка?

— А за рыбкой... — сказала она, жеманясь, и облизнулась.

— Ох, попадешься мужу! — весело оглянув ее, посмеялся Серегин.

— А не сказывайте! И то по рыбку... Свекры все бажить, рыбки просить...

Вильнула, посмеиваясь и облизывая красные губы. Серегин пошел, покачивая чемоданчиком.

— А, Егор Иваныч! Санюшку-то Милованову... выдали!

Точно дернула она его этим словом. Он остановился, не слыша земли, и глядел в прыгающие Степанидины губы.

— Тольки-тольки опосле Успенья свадьбу сыграли! И что позарились, на богатство! И ряб-то, и... Окрутили и окрутили живой рукой. В престол ездили, на Казанскую, в Рожню, к бабушке... там-от Санюшку и приглядел трактирщиков парень, косой который. Сватай и сватай! А отец-мать рады... гулять стал шибко Миколай-то у них, все оженить думали. А девка-то слабенькая, и грудишки-то у ней ягнячьи, куды б ее отдавать! И даль-то какую, в Рожню, боле двадцати верст. Уж и к тестю приезжали гоститься. А старик еще и посель все крутит... Ишла — видала: по улице шатает, песни орет...

Не дослушал, пошел потихоньку в Большие Щуры. Темнело на тихой тропе, а потом яснеть стало, как вышел на щуровскую полевину. Тут Серегин присел на знакомый пень, достал «бабочку», закурил и смотрел на деревню. До половины казала она теперь высокие избы, с окошечками-трояками под верхом.

...На ярмарке, в Пунсах, на Троицын день, тогда хорошо столкнулись они, как сговорились. Ах, Сашурка! Так бы все стоял и смотрел, как кружилась она на конике, под бисерными висюльками карусели, а ножки в туфельках — такие туфельки на Шексне, в Горицах, монашки продают — мигали и прятались под голубой, вздувающейся пузырем юбкой. Поигрывала она бойкими круглыми глазами, кидала их в звонком круговом беге — ловила его белую тужурку. Да и нетрудно ловить, когда глаз только и видит одно, и никого во всех Пунсах, на ярмарке, не было в белой тужурке, и никого во всех Пунсах и по округе, как ни ищи, не найдешь такого, целой головой выше попа Ивана со Сретенского погоста. А кругом жестяные голоса дудками звенят в уши: и с Ярославля, и с Костромы, и с Вологды:

— Кольца обменные, серебряные-менные, товары отменные!..

— Брошки... ежели кому для Матрешки! Хороши сережки!..

— Эх и зеркальцо́, смотрит на лицо!.. Каждый мужик и барин будет благодарен...

— Отрада для души! каньфеты хороши, лампасье особенное!!.

— Эх и девки ядрены, орехи калены! С лесу-бору натрясены, на ярмонку привезёны, родимые мои!..

Все смотрел, как кружится Саша — само счастье. Вот бери и неси. И смотрел так, точно хотел выхватить ее с коника, смять, с голубым платьем, с ножками в туфельках, с задорными круглыми глазами, и понести с собой очертя голову. Может, и есть-то всего на всей земле для него только одна эта Саша, его судьба, радостное одно за всю жизнь.

Купил он тогда и зеркальце в расписной жести, и жестяную бабочку с леденцами, сбившимися в пестрый комок, и голубенькую змейку — браслетку. Насовал ему торгаш полны карманы и медовых жемков, и белых и розовых пряников, и фальшивый двугривенный сдачи. Ушел он с ярмарки, поджидал на лесной закраине, у этого пня. Тогда была ночь — белый день, белая ночь. Темные избы поглядывали коньками крыш, щурились. Видели, как одна рука прижимала закру́жившуюся светлую головку, нажимала разгоревшуюся щеку на холодную пуговицу, а

другая совала в ускользающий куда-то карман — была там каменная баночка помады — все, что насыпал плутоватый торгаш: и пряники, и слюнявую карамельку-гадалку, и голубенькую змейку, и зеркальце, и фальшивый двугривенный. А Саша смеялась коротким смешком, повизгивала со щекотки, и льнула, и не давалась. И пахло от ее головы сладкой помадой.

— ...Ой, миленький, не жми...

Подбирала ноги под платье, не уходила и не давалась, все оглядывалась на засыпавшие избы и все пугалась.

— Ой, мамынька меня...

— Саша! — сказал Серегин, смотря в край деревни. — И нету тебя...

Он пошел полевой загородкой, знакомой дорогой. Три недели ходил он здесь — на реку и с реки, — когда работал на берегу, и ходила здесь голоногая в будни Саша, носила ему обедать к камню. Поглядывала на него в сторонке. Потом пересмеивались глазами. Потом полюбилась.

Желто-бурые щетки жнивья глядели голо и холодно в сумерках, только чертополох силой засел на межах с черно-желтыми пуговками ржавой дикой рябинки. Уже не было стреляющих в просторе стрижей, только черное галочье шумело в холодеющем небе, кружило над избами, кричало, что идет осень. В серых рядах стояли пышно разубранные рябины, точно краснокафтанная стража, затесавшаяся в серую толпу мужиков. Стайки жиревших гусей звонко трубили, подвигаясь к ночлегам, и в крике их чуялись холода. Черныен пугалы пялили руки в захолодавших пустых огородах — где все? Неуютом и холодом смотрело все здесь, и не хотелось идти.

И все же пошел.

Пьяный, косоватый Андрон распояской бродил под избой, постукивал топором об стены — искал работы.

— Ягор Ива-ныч!

Вогнал в стену топор и полез целоваться.

— Чисто подга-дал я — трех барашиков намедни принял... Дочку выдал, Ягор Иваныч, живое дело!

Угощали бараниной, рассказывали про свадьбу.

— По-чет какой... становой, Ягор Иваныч, пировал! Полулодок у сватьюшки-то, лен укупает... Перво место мне теперь в трактире у ево. Сам бы Саньку уцопил, да

жена жива, вот какой! Будет она у их в дому баженая, пуще хозяйки...

— Будет зря молоть-то! — супилась на него Марья, такая же круглоглазая, как и Саша.

Молчал Серегин, угрюмо смотрел в серую груду вареной баранины на деревянном кружке, по которой лепились мухи. Смотрел на пегую Сашину кошку, на жующие рты хозяев, на зеленых чертей в языках пламени на картинке за головой Андрона. А тот приставал — опробуй баранину-то! — наливал из зеленой бутыли, копался обрубленным пальцем в кусках и запихивал в мокрый, закрытый усами, рот. Вытирал пальцы о золотистую широкую бороду, таращил на Серегина голубоватые, сонные с многодневного пьянства глаза, тряс вихрами и уговаривал:

— Ребрышко-то опробуй...

И в избе было пусто и холодно, как на воле, и все еще стоял здесь тошный и горький дух пьяного праздника. Долго не мог уснуть Серегин. Думал о Саше, о своей незадачливой, неуютной жизни. Думал, что недалеко Еловая Рожня, что живет же Саша на земле. И в бессонной ночи казалось опять, что было на всей земле для него только одно, только одна эта Саша, его судьба, радостное одно за всю жизнь.

Наутро Андрон опять угощал бараниной и рассказывал, какие у свата лошади и ковровые санки: будет теперь Санюшка кататься о святках в лисьей шубейке, — сватьюшка все сулил.

...Саша! — кричало тоской в Серегине.

Он забрал чемоданчик и попрощался: много работы теперь на реке; поживет там, у Семена, в землянке.

И когда опять шел к полевой загородине, на задворках, у знакомой рябины, нагнала его Марья, с чего-то накрывшись поверх головы рваным шугаем.

— Постой, погодь-ко, Егор Иваныч... Плакала по тебе доченька-то... Мой-то сбесился, слышь... Сват-то ему и курму сулил на семгу, и трактиром-то заманял...

— Плакала... — хмуро сказал Серегин, глядя в рябины. — Теперь посмеется.

Стиснул раскосившиеся было губы, тряхнул головой и пошел, не видя ни золотистого в солнце жнивья, ни бордовых сочных головок татарника, что давил сапогами, ни журавлей, летевших над его головой. Паутинки пере-

тянулись везде, паутинки плыли, играли на солнце и как будто заткали все впереди стеклянными нитями. Липли к глазам.

Три дня работали на реке, наводили фарватер, снимали и ставили знаки. Три дня бились на веслах с течением, насажав кровяных мозолей. Три дня путала их река, сбивая поставленные в первый день вешки-указки. Три ночи каменным сном спал Серегин в угарной землянке Семена. И все эти дни и ночи летели гуси и журавли за солнцем. На четвертый день пришел пароход снизу и сдал депешу — ехать наниз, к Волчьему перекату, быть при дознании: там утонул маячник.

Пароход сверху должен подойти перед вечером. С утра моросило, нависло, и пошел ветер. Разыгрался широкий плес. Под дождем ставили последние баканы. Закачались огоньки на новых местах в дожде — только-только заправленные печальные лампадки. Ночью тянуло с еловой чащи, в черноту ушла мутная даль песков, шумело по берегам осеннею непогодой. А парохода все не было.

— Может, под Буграми шестится где... Шибко вомелко там! — гадал Семен. — Погодка-то шумная, Егор Иваныч...

Серегин сидел перед растрескавшейся печуркой, в дыму. Жалась с своим кутенком вислобрюхая Лиска, смотрела в огонь и плакала. Продрог и заголодался за день Серегин, хотелось водки. Боялся, что пароход запоздает: закроют буфет.

— Ишь ты, утоп Василий... — говорил Семен. — Выпивши, не иначе. И бырит там, а должен бы выплысть, коли с лодкой что обошлось. Шутовое дело выплысть... может, на стрежене понесло, в сапоги налило. А женка у ево осталась, двое ли — трое ли у ево было. Так-то вот оженишься, наведешь их, а там и потопнешь. На харчи-то и то не хватает...

Серегин вышел на волю. Хлестало дождем с реки. Черно было на берегах, черно и на воде; но там хоть по широкому плесу поигрывали, дробились в дожде огоньки. Он смотрел на свои огоньки, разбирая кривую линию стрежня. Да, вот наладил и тут, и там... а свое не наладил. Ползло под ногами. Даже сквозь дождь и гул чащи пробивался булькающий шорох ключей. Пофыркивала рядом Лиска.

— Лиска!

Она визгнула и заюлила у ног. Бывало, сидела у камня, когда он ел, и смотрела в глаза. Тогда было светло на берегу.

...Что ж не идет-то, а? огни не кажет?.. Выпить бы вкрепкую да заснуть...

Смотрел в черноту, за баканы, где должны показаться огни.

— Не кажить? — отзывался из темноты Семен. — А, ты, дело какое...

— Какой сегодня идет?

— Думается так, что Чиковский... либо тот... Генерал... Новые, к им и не приглядишься...

...Когда же?

— Егор Иваныч... — просительно сказал голос Семена. — Скажи там, по начальству правления... накрышечку какую ни есть бы... мокрое время, невсутерпь... до кишек мокнешь...

— Да когда же он, черт!.. Господи...

— Огонь кажить! Валит!

— Лодку, Семен!

Спотыкаясь и катясь по глине, Серегин вбежал в землянку, прыгнул через скулившего на ступеньке кутенка, накрылся плащом, схватил чемоданчик и выбежал в темень. Застучало дождем по клеенке, загремело в ветре, как жестью, — жестким плащом.

— Лодка где? Фонарь зажигай, живей фонарь зажигай!..

— Здеся... да спицы смокли...

— Давай, черт тебя... мимо проскочит...

Заюлило золотыми змейками на глине, в ключах, закачался тусклый фонарик на палке. Загромыхали весла.

— Ну, дай Господи... Прямо, шурга пошла... Держись, Егор Иваныч!

Крепко накатывало волной, мешало выбраться. Серегин стоял, упершись ногами в борта. Следил, как извиваются высокие огни по стрежню.

— Паруси-ит, Егор Иваныч! — кричал Семен, наваливаясь изо всех сил на весла. — Садись ты, шумной!..

Срывало ветром. Серегин махал огнем. Не давали гудка высокие наплывающие огни, не трепетало сигналом.

— Лихо дело, не черпануть бы... Садись!

— Гребись знай!

Ближе, ближе подбирались огни. Шлепнуло волной сбоку, подняло и бросило в хлябь.

— Садись! — заревел Семен. — Шутова голова!

— Знай гребись!

— По-спеем! Кружить ему два раза! Машуть вон...

Плавно, дугой, покачался огонь-сигнал, и, наполняя ночь новым, уже сознательным шумом, загудел пароход, показывая освещенный бок.

— Добе-ремся... — уже весело, кряхтя от усилий, крикнул Семен, точно и он дожидался парохода. — Как теплом от ево...

— «Чай-ковский»... — разобрал Серегин золотые буквы по белому. — Хороший пароход...

— А-ди... корму-у! — заревел рупор.

Огнями горел длинный бок. Смотрели на Серегина освещенные окна салона. Мотали огоньком на корме. Рвануло волной, метнулась веревка, два длинных багра ссунулись с борта и разом схватили лодку.

— Прощай, Семен!

— ...Ива-ныч! — сорвало ветром.

Уже не было лодки за бортом.

III

— Не мая-чи-ит! — услыхал в дремоте Серегин и встряхнулся.

На него смотрел с большого стола разноцветный хрусталь в огоньках, белоснежная скатерть, мерно качающиеся розовые шапки цветов. Дальше — черное, во всю стену, окно. За окном кричал голос.

...Задремал! — подумал Серегин и покосился на ужинавших.

Они сидели за столиком, друг против друга, и звякали ножичками. Круглые часы на стене показывали без четверти двенадцать, а когда вошел, было без двадцати пяти. А вздремнул и что-то такое видел — забыл.

Старичок принес ему водки и ветчины.

— Насилу отхлопотал — плиту загасили.

Еще на берегу Серегин решил, точно назло кому-то, выпить, да вкрепкую. А как увидал с лодки, что во втором классе темно, вспомнил с досадой, что кухня кончает в половине двенадцатого. И обрадовался: салон первого

класса был освещен. И, хоть не любил он первого класса — аристократы там все, — вошел.

Ел ветчину, выпивал рюмку за рюмкой, поглядывая на ужинавших. Господин был кислый с лица, с рыхлыми синими щеками, брыластый, рухляк; и голос был неприятный, и движения барственные. Зато дама была красавица. У ней было нежное, белое, как из воску, лицо, тонкие, яркие губки, темные бровки мягкими дужками и чудесные светлые локоны, какие видал он в Архангельске, в лучшей парикмахерской, за окном. А когда увидал глаза — сладко тронуло сердце.Так и подумал — божественные глаза. На ней было чуть розоватое, с блеском, платье, и на плечах пышный мех, запавший на спинку стула. И все в ней было прекрасно: как поворачивала пышную головку, в золотистой повязке, как держала стаканчик, как пила маленькими глоточками и как говорила.

Он съел ветчину и допил всю водку. Закурил и почувствовал наплывающую истому.

...Соснуть бы часок... или пивка попросить?..

Поманил старичка и попросил подать пива.

— Уж как-нибудь расстараюсь.

От столика до Серегина долетали отрывки непонятного разговора:

— ...за одну неделю. Пять тысяч дал!

— ...конечно, отказался... Лучше заплатить неустойку.

— ...в Симбирской губернии, на самом берегу Волги... Сто тысяч заплатил! И играл, конечно... всякие операции...

Слышал Серегин сквозь наплывающую дремоту. Думал — коммерсанты какие-нибудь, маклачить едут на ярмарку... Ярмарка там лесная... Поглядел вялыми глазами на даму, откинувшуюся к спинке, — ножки какие маленькие, — опять подумал: «Красавица... может, содержанка этого рухляка... сам едет маклачить на ярмарку, а ее боится одну оставить, вот и потащил в такую погоду... Цепищу какую выпустил — чисто скоба».

Мерно позвякивал хрусталь на столе. Белая скатерть расплывалась, тускнела, что-то мерцало — розовое. Поглядел к столику. Матово светилось серебряное ведерко с выглядывающим горлышком.

...Шампанское дуют.

Там ели ложечками что-то розовое с тарелочек и запивали вином. Часы пробили — двенадцать.

«Сходить скоро», — подумал Серегин, привалился и стал дремать. Слышал, как шумит порывами за окном, как сонно шуршит дождем по стеклу. Видел как будто огни в черноте, качающиеся волны, услыхал плеск...

— Пожалуйте-с, Егор Иваныч...

Показалось в вязкой дремоте, что это сходить надо сейчас, и встряхнулся. Старичок лакей лил в фужер пиво.

— Вздремнули, Егор Иваныч...

— Да, брат. Крутился много все эти дни...

...Саша! — отозвалось тоской сердце.

Тревожно закричал пароход, и машина остановилась. Стало слышно, как порол по палубе дождь.

— Мы опять стали! — сказала певица, кутаясь в мех, и подошла к окну. — Ни одного огонька нет...

Тревожно кричал пароход, точно предостерегал кого-то: ни-ни! ни-ни! Застучали ноги над головой. Ревел рупор. И вдруг увидали — за передним стеклом черкнула с носа ракета. Треснуло и облило голубым светом берег в черной щетине леса.

— Зачем ракета? — тревожно спросила певица, оглядывая салон, и Серегину показалось, что на нем остановились ее глаза.

— Опасного ничего, сударыня, — подымаясь, сказал он почтительно. — Самый тут стрежень и завороты... Предупреждают...

— Что?.. я никак не пойму...

Она взглянула через плечо, и он еще лучше мог видеть, как хороша она и какие у ней чудесные, играющие глаза.

— Сильный пронос тут, очень бырит, сударыня... — сколько мог мягче сказал Серегин. — Несет пароход, а стрежень кривой и узкий... фарватер-с...

Она отвернулась к окну: нет, конечно, не инженер.

— И что же?..

Ему нравилось это — он бы сказал — королевское обращение, небрежно-отрывистые вопросы и нежный голос.

— И вот, если там встречный, — столкнуться могут. А гудков не слыхать за ветром. Потому и ракета.

— Да-а...

Она отошла от окна, мило запахиваясь боа, точно ей было холодно. А Серегин насторожился, не спросит ли.

Она видела этот ожидающий взгляд. Эти взгляды тянулись за ней повсюду. И этот, в сапогах, красивый и диковатый, с резко кинутыми бровями, этот детина, крепкий, как брус, смотрел на нее точно таким же взглядом, в котором были еще и робость и восхищенье.

— Вы, очевидно, хорошо знаете эти места? — спросила она небрежно.

Он ответил с готовностью, что знает отлично. Он вырос на этой реке. Можно сказать, волны его качали: отец-то его был лоцман, когда, конечно, еще не было охраняющих знаков, провожал суда в трудных местах. А он? А он... вот эти баканы, огни, мачты по берегам — это его рук дело. Как сказать! Труда особого нет, только беспокойное очень дело. Вот часа через полтора надо сходить... Говорят, утонул маячник, — те, что по берегам в шалашах. Надо быть при дознании.

Намолчался ли он, долго ли не бывал с людьми, или водка развязала язык, или было так хорошо говорить с этой красавицей — так называл ее про себя, — он рассказал, как ночевал в шалаше у маячника и как ставил баканы на плесе, где его забрал пароход. Плохо, что подошла непогода, кругом развезло, темень. Выглянул на реку — огонек, идет пароход.

— Увидали наш пароход! — оживленно сказала она, кутаясь в мех и щурясь. — Скажите... говорят, здесь еще попадается тип прежних ушкуйников-новгородцев... — спросила она с улыбкой.

Он слыхал про ушкуйников.

— У нас тут много крепких людей... отважных. Лоцманов вот — водяной народ, дерзкий...

Взвыло ветром по палубе, прокатило по железной обшивке, и Серегин опять вспомнил, что скоро сходит. Посмотрел на часы — первого половина.

— А зимой что вы делаете?

— Да ведь... то ремонт, то пошлют в управление. А то отпуск беру, на родину еду. Глухие у нас места. Тут у меня с медведями...

— Что такое... с медве-дями? — спросил баритон, подымая брови. — Охо-та?

Как-то раз он был на обкладке, нарочно для него устроенной почитателем-фабрикантом.

— Вот-с. Только я дешево-с, работаю исполу...

— Исполу? — морщась, спросил баритон. — Я не понимаю... исполу!

— Обкладчику трешну в зубы, медведя на придачу. Дорого положить! Промажу — плати десятку. Но только этого не бывало. У меня не сорвет-с! — показал он рукой. — Прошлую зиму полдюжины нащелкал — мечек пару да пестов четырех, стариков...

Веяло от него силой. Широкогрудый был он, росту вершков двенадцати, с руками, в которых прятался фужер пива, с горячим взглядом и открытым, темным с загару, лицом. Ерзал по широкому лбу его каштановый завиток, враскос глядели неспокойные брови, а мягкие губы все сбегались в усмешку, когда говорил. Он уже не стеснялся теперь, расхаживал по салону, заставляя дрожать хрустали.

— Ммда... — пожевал баритон губами. — Я тоже люблю эту... охоту...

— Убивали-с?! — радостно даже спросил Серегин.

— Однажды, в Калужской губернии... взял я одного... небольшого...

...Врет, брыластый... — подумал Серегин, глядя на рыхлые щеки и намекающие под глазами мешочки. — И у такого-то рухляка — такая!

И спохватился: так неудобно держать себя, ходить и кричать так громко.

— Да вы молодец! — сказала певица. — Расскажите нам еще что-нибудь. Так мы скучали все время...

Он был счастлив, что она говорит с ним и так смотрит. Какая женщина! Скажи ему — и по одному ее слову, за эту невиданную улыбку, за этот нежный, певучий голос, от которого с чего-то поныкало сердце, он готов был бы перебить всех медведей, пойти на них с голыми руками. А легкая какая, субтильненькая! Он рассказал им, как был раз под медведем, как взял рысь одними руками — ободрала, шельма, плечо! — как под Архангельском, — там река, господа, ка-кая! версты! — переходил в ледоход. Об этом писали в газетах. Ну, это когда был моложе, конечно. Теперь дорожит жизнью. Зажигал перед ней, перед этой чудесной розовой женщиной, весь жар, который таился в душе. Был счастлив, что она так глядит, — и вдруг стало не по себе: заметил, как она наклонилась к скучному рухляку и что-то шепнула.

— А не выпьете ли с нами винца? — предложил баритон.

...Во-от! А прилично ли? — подумал Серегин. — Скажут, сам напросился...

— Да? — с улыбкой кивнула ему певица. — Конечно, вы должны выпить.

...А какие глаза! Бывают же такие... небесные женщины! Родятся где-то, где-то живут...

Он не нашел, что ответить. Поежил плечами и поклонился.

— Берите стул и садитесь. Вы так хорошо рассказываете...

...Сама красота! За такую биться до смерти можно... Рубаха видна из-за ворота... — И смущенно вбирал голову в плечи, чтобы не показалась рубаха.

— Вам какого позволите? Вам надо выпить, вы скоро опять туда...

— Все равно-с... какого-нибудь...

Все равно, она понимает его смущенье, понимает, что не умеет он разговаривать. Им все известно. Бывают же такие необыкновенные, недаром они живут в больших городах и все знают. Вот и не делают ничего, и это хорошо, что они ничего не делают. Руки какие! Белые, ни морщинки, ни цапинки, атласистые. Сливками моют! Слыхал он что-то про сливки. А платье! Шкурка прямо. Совсем и не платье, а кожица.

...Водка-то дает себя знать, — следил за собой Серегин. — А, все равно, сходить скоро, к черту...

Он присел, чувствуя связанность — ходить было куда свободней, — потирая руки, с которыми не знал что делать. В карманы заложить, положить на колени или так, на груди, как этот?..

— Во-симь! — донесло с носа.

— Мы не сядем? — шутливо спрашивала певица. — Вы тут все знаете.

— Знаки все исправно стоят, не должны-с.

— Этим мы обязаны вам, нашему охранителю... Позволите этого? — дарила она ему улыбки.

Еще спрашивает — позволите! Вот они, вот необыкновенные, настоящие люди. А говорят — аристократы, в людях не понимают. Шампанское! Не ждал — не гадал. Конечно уж, настоящее. Он никогда еще не пил настоящего. Поил его купец на пароходе донским, а это...

— Помилуйте, какой охранитель!

Это все сущие пустяки, даже не стоит хорошего разговора. Это его обязанность — ставить баканы, проверять и направлять стрежень, следить за рекой, чтобы не баловалась. Ну, и ночевать под дождем. Он чуть-чуть рисовался перед нею. Есть такая пословица здешняя, — простите за грубое слово, — не потопаешь — не полопаешь. За это и деньги платят. Немного, шестьдесят рублей, но тут, как говорится, эконо-мический закон. Не он — так другой. А жизнь — строгая старушка, не пошутишь. Сколько хуже его живет. А плотогоны как! Сколько их пропадает, как плоты разобьет — так и посыпятся. А маячники, а леса валят — головы напрочь летят, в лепешку! А на лесопилках, а на рудниках медных! В бархате-то живут — горсть. Жизнь...

Посмотрел на нее: вот она, в бархате живет, такая.

Уж и не замечал, как подливали ему. Он точно сорвался, поощряемый гымканьем рухляка и ее играющими глазами.

— Любите наши места... Очень приятно! Наши места хорошие. Народ кормят. Дикой край, не разработан еще. Разра-бо-таем!

Какие же они пустые! С пароходу-то не видать, конечно. Пу-стые!

— Так-то вот, господа, и про народ говорят — ленивый! А пожить... Деревни кругом, в полях и лесах деревни. Деготь гонят, скипидар, смолу, корье дерут, леса валят, режут, за границу гонят. Маслобойки! А рыбаки! Изволили семгу кушать, а нельму? А вот они, заколы-то, курмы... В ночи-то непогожие самое дорогое дело, когда ей пора валиться. А поморы! За тюленями, за треской, кругом кипит...

Говорил о возникающих поселениях, о падающих лесах, о прежних лоцманах, доживающих дни свои по родным селам. Их бы послушали! О разливах этих могучих рек, когда на десятки верст ни-чего — море и море. О ходе семги, как бежит она с моря, сигает через пороги, через заколы, вся-то серебряная!

Всегда перед ним стоял полный стакан. И всегда видел — вот-вот, близко совсем, — играющие, несбыточные глаза и в них такое, такое... как сказка.

...Что за вино! Пьешь — больше хочется. Еще бутылку несет Иван. Теперь красное начали... вот шикуют!

Рассказывал о бучах в водополье, о крестах, о погостах. Сыпал пословицами. Вытащил «бабочку», положил на стол, и лежала она рядышком с золотым портсигаром в буковках. Смотрел сбоку, как попивает она глоточками, точно цыпленок, эта чудесная женщина, сама красота. Совсем близко взглянул — светлые круглые глаза... Сашины глаза! А из души не шла камнем навалившаяся тоска. И вино не брало ее. Говорил о Щурах, какие хитрые бывают места на реках. Там и песня такая есть: «От поры да до поры разыгралися Щуры!»

Опять кричал пароход, спрашивал ночь, тише шлепал колесами. Пригляделся Серегин — часто стоят баканы, знакомое место.

— Рожня, никак... — сказал старичок, дремавший у стенки.

— Самая она...

Серегин подошел к окну, протер рукавом запотелость, смотрел на невидные берега. Рожня! Ни огонька не было на горе, и горы не было, и села с синими пузатыми куполами в звездах, и трактира на самом венце горы. Прижался лицом к стеклу — ничего.

— ...Сашура! — позвал он. — Чуешь ли?!

Стиснул зубы, сдавил глаза, задавил в себе нежданно запросившиеся слезы.

— ...Приду, Саша! — сказал он невидным берегам.

— Не тут родина ваша? — услыхал он играющий голос.

— Нет, сударыня. Родина моя далече отсюда...

Подумал было — сказать? Посмотрел в себя, посмотрел на столик с ведерком — нет.

— Скоро уходить вам?

— Да... полчаса, не больше...

Он сидел наклонившись и отвернувшись, не думая уже — прилично ли так, — смотрел на сапог, а губы дрожали, и хотелось бы закричать, побежать куда-то, разметаться.

— Ну, скажите... — нарушила молчание певица. — Вы довольны своей судьбой?

Она так тепло посмотрела, так участливо спрашивала.

— Судьбой... — сказал он, не подымая головы, забывая, прилично ли. — Судьба моя... невеселая, сударыня...

Встряхнулся, взглянул на нее и улыбнулся грустно.

— Все бывает.

Прошелся по салону, понюхал розовые цветы, которые ничем не пахли, взглянул на часы — второй. Певица постукивала ложечкой.

— А вы далече изволите? Туда-с... Там теперь ярмарка начинается. По торговым делам изволите ехать?

— О, нет! — рассмеялась певица. — Почему вы думаете, что мы по торговым делам?

Помотрела на баритона. Тот смеялся глазами — по торговым делам!

— Так, ошибся, конечно... Слышал — коммерческий разговор, думаю — по торговым делам...

Смотрел на нее с простоватой улыбкой.

— Нет, мы не по торговым делам... — сказала певица задумчиво. — Не по тор-говым...

Она подошла к пианино, открыла крышку, посмотрела на черное окно. Задумалась. Постояла и тихо опустила крышку.

— Ветер какой!

Кажется, никогда не утихнет ветер, не перестанет дождь, не кончится непогожая ночь, стоящая за пароходом. Ни эти рвущие ночь гудки.

— Не мая-чи-ит! — кричал все тот же неустающий голос.

— Не маячи-ит! — подавал выше, под темным небом.

— Вы женаты?

— Нет-с. У меня ни жены, ни сестры... ни мамы...

Она посмотрела на него по-другому, чем раньше. Такой огромный, медвежий человек, а сказал так по-ребячьи, так нежно — «ни мамы».

...Что она смотрит так? Ведь она ничего не знает.

И понял — жалеет.

А если ей все рассказать... Она пожалеет... А тот уж дремлет, упился...

Серегин смотрел в переднее, черное окно, по которому струились капли. Поднялся, вглядываясь. Ну да, самый и есть, Волчий перекат. Надвигается линия баканов, частых огней.

Подавал отрывистые гудки пароход: гу-гу! гу-гу!

— Вот и сходить мне...

Певица посмотрела в окно: опять широко раскинулись зыблющиеся огоньки, опять не видать берегов, и все так же царапаются волны, белеют гребнями.

— Пойдете туда... Господи! — передернула она зябкими плечами. — В такую тьму...

— К утру рассветет... — усмехнулся Серегин. — Может, осень погожая будет...

...Эх, ей бы сказал, пожалела бы с такими глазами, маленькая...

— Счастливо оставаться!

Она протянула ему маленькую холодную руку, которую он боялся пожать, — такая она была крохотная.

— Вы будете счастливы... — сказала она с чувством, в порыве вдруг поднявшейся жалости к нему, уходящему в ночь. — Желаю вам... и хочу, чтобы вы были счастливы!

Он поклонился неуклюже, тронутый такой неожиданностью, веря сердечности нежного голоса. Поклонился молча курившему рухляку.

— Мое по-чтенье!

Оглянул салон, точно искал свой чемоданчик и плащ, оставленные у вахтенного. Увидал дремлющего у стенки официанта, долго рылся в карманах, вытаскивая какие-то бумажки, отыскивая кошелек.

— Семьдесят копеечек с вас, Егор Иваныч. Нету — потом отдадите.

— Как нет, как нет...

Сунул рубль, боком, наспех, поклонился к столу и вышел на палубу. На него пахнуло ветреной мокрой ночью.

— Бедный... — вздохнула певица.

— Ммда... — отозвался баритон. — Мне показалось, вы ему петь хотели...

— Тут нет ничего смешного. Да, я хотела бы спеть ему... Хотела бы спеть всем... всем этим пустым просторам...

— Вы напрасно, дорогая. Я не смеюсь... Я бы и сам ему спел.

Певица переплела пальцы, положила на них подбородок и задумалась.

— Да, я хотела спеть, и почему-то было стыдно... Я пела на пароходах, но теперь... мне показалось это таким... Что бы я стала петь? Он, вероятно, никогда ничего не

слыхал... Но что бы я стала петь ему? «И тихо, и ясно, и пахнет сиренью»? Что-нибудь бодрое? А он послушает и пойдет в ночь?.. Мы можем петь с вами там, в залах, рядам... а *здесь* надо что-то другое петь, в этой жути, какую-то страшную симфонию... Она творится здесь, я ее чувствую, эту великую симфонию... Мои песенки были бы здесь насмешкой, каким-то писком. Да, да!.. Сюда надо идти не с подаяньем!.. А когда-нибудь и здесь будут петь... другие...

Она позванивала ножичком по лафитничку.

— Прикажете убирать-с? — спросил официант.

— Ну, хорошо-с, — сказал баритон. — Представим себе, что все эти наши «песенки»...

На палубе пороло дождем. Со свету ничего не было видно. Говорили вахтенные, что был огонь с берегу, а вот нету. Звал и звал пароход.

— Дают? — кричал Серегин капитанскому мостику.

— А черт их знает! — сердито отвечал мостик. — Баканы горят — есть кто-нибудь...

Где берега? Непроглядная темень с покачивающимися какими-то голыми огоньками.

— Дает! — крикнули от кормы голоса.

— В корму входи-и! — заревел рупор.

Завозились кожаные куртки в свете фонарика, поднялись черные жерди и упали: багры зацепили невидно подобравшуюся лодку.

— Готова-а!

Серегин прыгнул. За ним кинули чемоданчик. Подняло и швырнуло в хлябь. Отходили светлые окна салона, узились, завернулись. Дальше, дальше уходили боковые огни, светя на прыгающие волны, пуская два долгих расходящихся вала, унося тыльный рубиновый огонь. Уже не было их, а этот кормовый огонек становился недвижным и уже не живым был, а покачивался на вольных волнах рядовым унылым баканом. Дольше всего держался белый на невидимой мачте, и не разобрать было — пароход ли шел где вдали, звездочка ли гляделась в прорыве неба.

Переменился ветер — упорно, густо тянул с берегов, нес шумы чащ.

— Садись! — уже который раз кричал с весел робеющий молодой голос.

Не видел и не думал Серегин — кто там, невидный, на веслах. И как часто бывает, когда попадаешь во тьму с яркого света, — остается в глазу резкое отражение только что виденного, — так и было с Серегиным. Перед глазами, во тьме, на ветру, резко стоял угол стола, белая скатерть, край серебряного ведерка, нежная рука в кольцах, золотой портсигар в буковках, полстаканчика красного вина, розовое что-то в окурках на блюдечке...

...А портсигар?!.

«Бабочки» не было ни в боковом, ни в других карманах. Она осталась лежать на столике, рядом с тем портсигаром. Теперь едет там...

...Оставил. Ну, Иван уберет...

Вскинуло на крутую волну, швырнуло — чуть не упал Серегин.

— Садись, говорят! Не выгребешься никак... — кричал плаксиво молодой голос.

— Кто на веслах?

— Маяшник!

— Маяшник утоп!

— Што ж, что утоп... А сам кто?..

— Судоходный смотритель!

— А-а... виноват...

— Тело нашли?

— Не!..

— А ты откуда? староста нарядил?

— Староста! Подрушный я, с пятого поста! Аксен...

— Справляешься?

— Ничего... Скушно тут...

— Что?

— Воет!

— Что воет?!

— Женка ево, в салаше... не уходит...

Лодка толкнулась в берег.

1913 г.

ПО ПРИХОДУ

I

Обедня у Вознесенья отошла рано, поздней сегодня не будет: надо идти по приходу — славить.

В церкви пусто. Только сторож в парадном кафтане с позументом нашаривает под Распятием в можжевельнике оброненный фабрикантом Черпаковым гривенник, да просвирня обирает у образов свечки. В алтаре у жертвенника о. дьякон уже надел шубу и показывает о. Василию узенькую бумажку, на которой записан порядок хода. У о. Василия глаза плохи, через синие очки в слабом свете решетчатого окна совсем ничего не видно, да и устал он от долгой службы. Бумажка дрожит в желтой его руке.

— Пишешь — не разберешь. Сам прочитай.

— Присядьте, батюшка, — говорит псаломщик, пододвигая тяжелое церковное кресло с бисерной затертой подушкой.

— Аносов, Мухотаев, Иван Афиногеныч, Парменов, Кундуков, Семин...

Батюшка точно дремлет, покачивая головой в седеньком пуху. У дьякона голос баском, играющий, но иногда с глухотцой, — последний год что-то побаливает горло, и он боится, не чахотка ли у него, но к доктору идти не решается.

— Чикачев, Вахрамеевы, Мишкин...

— Мишкин?! — останавливает батюшка. — Вычеркни.

— Я на случай записал, — говорит дьякон. — Не примет — его дело, а только сын его к нам ходит...

— Похерь Мишкина, — устало говорит батюшка. — Не в свой приход лезем. Иконы у них от Мироносиц были...

— Да ведь сомнительный пункт... фабрику на огородах поставили. Мироносицкие за канаву заходят — мы ничего не говорим...

Дьякону жалко вычеркивать Мишкина: у него родился седьмой, надо делать пристройку, к тому же сын Мишкина вот-вот женится. Дело об огородах, — какого они прихода, — тянется третий год, надо хотя показать мироносицким свое право. Но о. Василий колеблется.

— Ну, хорошо, — ворчит он. — Ставь нотабене.

Ссор он не любит, кроме того, сын мироносицкого заходит к ним поиграть на скрипке и ухаживает за Наденькой, последней. Да и нехорошо ссориться.

— Кажется, Пименова пропустили, о. дьякон... — нерешительно замечает псаломщик.

— Пименова-то... Да не на второй ли уж день его?..

— Нельзя на второй, — говорит батюшка. — Всегда на первый, а то...

Дьякон ставит Пименова на первый день и все-таки сомневается: Пименов дает рубль.

— Старый человек, нельзя... — утверждает записку о. Василий.

У северных дверей дожидается в стареньком плисовом салопе просвирня — в котором часу начнут славить. Псаломщик завертывает в епитрахиль праздничный крест и укладывает в низенький, обитый снутри синим бархатом ящичек, гасит сильно полыхающую запрестольную лампаду и замечает, в полукруглом цветном окне, за престолом, веселый солнечный свет — праздничный свет морозного утра.

У него много радостного: женился перед Филипповками, приход фабрикантский, святки, и сегодня позваны гости. Заглядывает в зеркальце, у печурки, ставит покруче хохолок, подкручивает все опускающиеся рыженькие усы. «Воробьиный нос» — вспоминает училищную кличку. Но и нос сегодня ничего, и так импонирует подаренный женой к празднику синий, белыми подковами галстук.

Дьякон идет, позванивая ключами, кутает длинную с большим кадыком шею, пробует горло — ничего как будто, только не надо напрягать многолетием как сегодня. Громыхает ботиками. Батюшка плывет тихо в валенках, везет полой шубы можжевельник, просвирня катится сбоку, неслышно, толстая, праздничная. Псаломщик щеголевато

пощелкивает по плитам кожаными калошами и опять радуется: хорошо пахнет можжевельником и оставшимися неясными духами. Наступает на прицепившийся к батюшкиной шубе кустик. У двери дьякон еще раз пробует голос, откашливается и несет плюнуть на паперти. Сторож запирает тяжелые двери, за которыми остается в храме светлая тишина в голубоватой дымке — золотистая тишина праздника.

Идти недалеко — сейчас наперекосок, через улицу, к церковным домам, сжатым фабричными корпусами.

Городок фабричный, куда ни погляди — всюду красные корпуса и трубы. И домов за ними не видно. Четыре церкви и тридцать фабрик. Когда заревут — колоколов не слышно.

Идут не спеша, за батюшкой, а мимо Вознесения уже стегают ранние поздравители. У дубового зеркального крыльца дома фабриканта Аносова, против церкви стоят сани с волчьей полостью и кучером в угольчатой бархатной шапке. Дворник в белом фартуке подает кучеру стакан водки, кучер, не поворачиваясь, протягивает руки, пьет медленно и утирается ладонью в замше. Дворник протягивает пирог. Уже едут на извозчике трое фабричных с трехрядкой, задрав картузы, лады еще не окрепли, чуть-чуть наигрывают в морозце — рано. Черноватой новенькой стайкой бегут через двор мальчишки, подкидывая калмыжки, просят дворника пропустить — пославить.

— Благословясь, с Аносова и начнем, — говорит батюшка у крылечка дьякону и благословляет навернувшуюся монашку с узелочком, из которого поглядывают бледными бочками просвирки.

Дьякон идет дальше, к синему домику. Там уже открыли парадное, и выскочивший в мундирчике долговязый белокурый семинарист поплясывает с папироской.

— С гитарой приходи вечерком, станцуем, — говорит псаломщик, идет к своему крылечку и грозится кому-то выглядывающему в затянутое елочками окошко.

Псаломщику видны только голубое плечо и белые зубки. И уже бегут по сеням торопливые милые шажки, и с грохотом падает крюк.

— Выдумала что... простудишься! — говорит рокочущим голоском псаломщик, и дверь захлопнулась.

Торопится, переваливаясь, просвирня, задержавшаяся с монашкой. Но ей и спешить некуда — она одна, вдовая попадья.

II

К десяти собираются к батюшкину крыльцу, псаломщик стучит в окошко и видит смеющуюся розовую Надюшу, которая нравилась до женитьбы. Выходит в енотовой шубе о. Василий: он теперь без очков, в ясном утре лицо его желтее, чем в церкви, глаза красные, и псаломщику кажется, что, пожалуй, верно, что у батюшки катаракт, пожалуй, и не долго протянет, как бы не назначили ото Всех Святых, будет тот хлопотать о племяннике — как бы не улыбнулось место. Не всехсвятский ли и донос-то послал в консисторию, что у него по субботам вечеринки с гитарой? Идут гуськом по узенькому тротуару. Попадается знакомый бухгалтер казначейства в старенькой шубе и белых перчатках, подмаргивает:

— Ручку ковшичком?

— Захватывай балалайку, к восьми опростаюсь...

Просвирня опять отстала: раскланивается с кем-то в окно, хочет сказать, да не слышно, и форточки нет. Знакомая лавочница, старушка, машет, — должно быть, зовет в гости.

У аносовского парадного звонит в электрический звонок дворник, выбегает горничная в наколке и розовой кофточке, пропускает, откинувшись к распахнутой двери и держась за хрустальную ручку, а на нее смотрит сытым глазом краснолицый в строгих черных усах крепко затянутый кучер, точно говорит — вот, ужо! Несколько мгновений она виснет на ручке, чистенькая, радующаяся морозу, и вдруг шумно захлопывает. Кучер срывается, крепко бьет неспокойную пару, мчит в конец улицы и, круто заворотив, метя полостью по снегу, гонит к подъезду.

— У вас этого добра три штуки никак... — мотает дворник к парадному.

— Е-эсть... — рычит кучер и надувает губы... — Прpp...

Подымаются медленно по широкой парадной лестнице, батюшка передыхает на последних ступеньках, за ним держится причт. Псаломщику ходить непривычно, второй

всего ходит. Он конфузится и веселенькой горничной, и лестницы в красных коврах, и огромной передней, где зеркало отражает незначительное веснушчатое лицо с воробьиным носом, и своего мешковатого сюртука: здесь страшенные богачи, хозяева четырех фабрик, полы как стекло, зал такой, что кружится голова, стол в серебре и всяких закусках, и много народу. Дьякон покашливает и косится из двери на елку до потолка, засыпанную пестрым сверканьем, на зеркало, в котором видна ему длинная с унылым лицом фигура. Медленно разматывает с шеи шарф, чтобы дать батюшке время разоблачиться. Просвирня жмется у двери, потирает пухлые руки и мнет платочек.

Батюшка выправляет крест на груди, крестится на пороге зала и кланяется, придерживая крест. Аносов, церковный староста, стоит впереди в колодках маленьких орденков, в белом галстуке, очень торжественный, коренастый, широкоскулый, в красных пятнах по бритым щекам, в седеющей подстриженной бородке. Целует руку, и батюшка слышит, — пахнет портвейном и сигарой. Сзади его — расплывшаяся в сиреневом капоте супруга Анна Ивановна, в кружевной косынке на волосах, за ней сюртуки, красные лица, воротнички, галстуки, — визитеры. Заминающие улыбку девичьи лица. Остро пахнет икрой, отгоревшей елкой, сардинками и цветами.

Поют особенно внятно. Батюшкин голос не хочет тонуть и все порывается разбитым скрипом. Голос дьякона окреп, перекатывается с гулом. Псаломщик старается, нажимает на нижние, откидывается и давит подбородком на галстук, выворачивает глаза, видит седеющие височки выступившего вперед Аносова, край елки в огромном зеркале, отражающем подрагивающее сверканье, золотой образ Всех Праздников, с пунцовой на золоченых цепях лампадой.

— «Волсви же со звездою путеше-ествуют»... — выкидывает он, накрывая рокочущую октаву дьякона, и думает: «как живут»!

Вполглаза оглядывает идущих к кресту — гусара, сына Аносова, который живет, говорят, с певицей, и красавицу Любочку с пышным бюстом, которую сватают за Парменова.

Дьякон покашливает, ощупывает кадык и просит не беспокоиться.

— Благодарствую, благодарствую... — говорит батюшка, подхватывая лиловый рукав и ловя рюмку мадеры.

Лежит розовый сиг, упершись головой в коробку с омарами, балыки, семга, черным кубом икра. Псаломщик любит омары, но неудобно — не тронуты, осторожно тянется вилкой и колупает сига у хвостика.

— Не премину-с, не премину-с... — кланяется враскачку дьякон, закидывая к спине серые вялые волосы и закатывая глаза.

Аносов показывает кивком дьякону на бутылки.

— Все равно-с, померанцевой-с...

Псаломщик тоже за померанцевую, видит омары, в которые полез вилкой о. дьякон, видит широкий нож, врезавшийся в икру, и кланяется белой Любочкиной руке, положившей ему икры и сардинку.

Батюшка говорит, медленно пережевывая, о многолюдии за обедней.

— Портвейнцу-то, отец дьякон... Многолетие, можно сказать, вну-шил!

Дьякон подымает унылые глаза. Аносов весел — значит, понравилось.

— А все на голосок жалуется, — говорит поясневший батюшка. — Чахотку у себя разыскал.

Говорят о скарлатине в гимназии, об архиерее, у которого, — пошептал батюшка Аносову, — будто каменная болезнь, — о морозе, о новеньком Станиславе, которого углядел у хозяина о. дьякон. Псаломщик попробовал невзначай и омаров и поймал смеющиеся четыре глаза барышень от елки, вдруг отвернувшихся, покраснел и уронил вилку. Дьякон чувствует, как после портвейна у него опять скребет в горле, и пробует в салфетку. Позванивают звонки, появляются новые визитеры, хозяин рассеян и не угощает. Пора.

В передней на стуле сидит просвирня. Провожают, и тут Анна Ивановна спохватывается и велит подать ей мадерцы, что ли. Просвирня кланяется так низко, что темнеет в глазах, и она не может сказать слова. Псаломщик ищет папку, которую оставил на рояле, спешно, на цыпочках идет в зал, опять видит смеющиеся глаза и поскользается на паркете. Стискивает зубы и слышит, как кто-то фыркает.

На улице дьякон смотрит на батюшку, сжимая воротник перед носом, батюшка понимает и говорит:

— У них всегда аккуратно... четвертная.

Псаломщик прикидывает свою долю, четыре рубля шестнадцать копеек, за выдачей заболевшему трапезнику. И просвирня рада — ей дали шесть гривен вместо полтинника.

Как всегда, у подъезда ждет аносовский второй кучер, в черном казакине, — возить по городу. Садятся батюшка и дьякон. Псаломщик с просвирней устраиваются на извозчике за счет ктитора. Просвирня толстая, старается сидеть на тычке, псаломщик видит ее лицо, вспоминает покойную мать старушку, вспоминает, что его ждет Анюта, и говорит ласково:

— Вы, Марфа Семеновна, покрепче усаживайтесь... — и сам устраивается на тычке.

Пока едут на Мухотаевскую мануфактуру, просвирня вспоминает мужа покойника и старика Аносова. Тогда было лучше — батюшку оставляли обедать и просвирню приглашали к столу, Тихоновну-покойницу, а теперь атикет... Пеняет на дочку, дьяконицу, в Ивановке — не берет жить к себе, но тут же извиняет — недостатки. Тяжело дышит на морозе, и псаломщику видно, как сочится у ней из глаза, катится по желобочку к носу и висит мутной капелькой.

— Как-нибудь проморгаем, Марфа Семеновна, как говорится...

У стариков Мухотаевых в доме несчастье. Самого в ночь разбил паралич, в зале тихо и пусто, но стол накрыт. Сама Мухотаева одета непарадно и все плачет. Поют вполголоса, — в забытьи хозяин, как бы не испугать. О. Василий усматривает, что лампадка сально коптит, и ему почему-то грустно. У него тоже в последнее время темнеет в глазах, болит темя и доктор запретил ужинать. Смотрит на Рождество Богородицы на иконе и думает, привезли ли правнучку показать.

«Несчастье на этом доме, — думает дьякон. — На Пасху сын помер от сердца, наследников никого, дело многомиллионное. Куда пойдут миллионы?!»

Закусить отказываются — до того ли, помилуйте, — и уходят, не получив в руку. Одеваются медленно, батюшка сконфужен и извиняется, дьякон что-то нашептывает, но

о. Василий не слышит за воротником. Просвирня мнется в передней, кланяется в пустой зал и идет за причтом. На крыльце окликают горничную сверху. Усаживаются не спеша, — у дьякона что-то попало в ботик, — псаломщик покашливается на открытую дверь парадного. Горничная скатывается на подъезд и кричит:

— Батюшка, погодите...

Передает бумажку. Просвирня насторожилась — ничего.

Объезжают дальше, по порядку: народ все солидный, считается капиталом, — нельзя иначе. Давно заведено, каждый дом час свой знает. Попади к Парменовым в пять — обидишь.

На мануфактуре Парменовых — рабочие просят прославить в спальнях. Нельзя отказать, а из кундуковского дома глядят в окна, — видал псаломщик, и из парадного уже выскочила лиловая горничная. Батюшка в затруднении, просит рабочего старосту пообождать немножко, но староста просит усиленно, стоит без шапки, степенный мужик, говорит, что заканчивают обед и народ разбежится. Дьякон нашептывает, — обидится Кундуков, что ему после рабочих.

— Пусть четверть часика обождут, мы по списку... — говорит батюшка сокрушенно и идет к Кундукову, где старуха поместила его свидетелем в завещании.

Навстречу спускаются успенские монахи — уже поспели. О. эконом, красный, точно с полка, рычит в буйную черную бороду:

— Второй раз повстречались!

Батюшка кланяется и мигает дьякону — наславился о. Палладий. Дьякон пробует горло — не ломит. Здесь придется петь многолетие, как всегда: Василий Ильич любит и дает особую синенькую.

Здесь с визитом гусар Аносов. Он при полном параде, золотой, красный, синий и сияет, как елка. Шепчется за молитвой с дочерью Кундукова, Симой, — видно дьякону в зеркало, — крутит усы и играет золотыми шнурами. Видит дьякона и начинает стряхивать с синей груди. Просвирня продвигается в зал, чтобы быть на виду, следит на паркете и отступает. Ловит взгляд самой Кундуковой и кланяется несколько раз. Слава Богу — Кундукова роется в портмоне.

Многолетие идет хорошо, слышит дьякон, как отзывается басовая струна в открытом рояле. Забывает о горле, видит в окно, как прокатили монахи в высоких санях, слышит на передышке, как ждут, — доведет ли, — тянет через нос воздух и кидает решающее: «...ле-е-та-а!..»

На улице шумнее, пестрее. От балаганов и каруселей на площади доносит бушующие звоны, бухает барабан. Выпустив яркие подолы, несут бабы ребят в стеганых одеяльцах, мокроносые мальчишки сосут на морозе сахарных петухов, дуют в дудки, подтирают под носом рукавами. Играет по ветерку гибкая огроздь красных шаров. Пошатываются пьяненькие.

В парменовских спальнях народу мало — больше степенные бабы и тихие девушки. Густо пахнет свининой и щами. Темный образ в новом бумажном венце, купленном на базаре, — батюшке нравится. Он поет медленно, с чувством, думает — хороший народ, душевный, чинно подает крест, слышит, как чмокают, видит молитвенные лица. Идет в провожающей гудливой толпе, мимо лоснящихся желтых столов, с которых еще не убраны чашки и куски хлеба. Получает от старосты горсть медяков, видит бледную девочку и сует матери пятачок — «на гостинцы». Думает, привезли ли первую правнучку.

До Семиных близко и можно пройти пешком, но почти перед носом распахивается парадное, и усиленно просит зайти сам бывший исправник, усач, в сером хохле.

— Ради Бога не обойдите!

Очень неприятный человек, ходатай по всяким делам, и батюшка считает его сутягой: он подбил Бабушкина, соседа по церковной земле, требовал постановки брандмауэра. Говорит, что говеет в монастыре, а вернее всего совсем не говеет. Всем известный ломака и скандалист, а нужно зайти, чтобы не вызвать шума, как в прошлом году на Пасхе.

Уже глядят от ворот любопытные.

Исправник молится горячо, даже падает на колени, истово целует крест в разных местах, и батюшка чувствует, что в нем нет уважения к святыне, — и терпит. Дьякон тоже насторожился. Псаломщик косится на даму в пудре, которая, знает он, полька. Батюшка в затруднении, но не может не дать креста.

— Католичка, но верует! — трогательно говорит исправник. — Водки откушаете?.. Ну, как угодно-с... А это... моя супруга!

Батюшка хотел бы отдать ему рубль, только бы не брать греха на душу: не верит и издевается. В прошлом году была другая жена, а теперь...

Молча идет в переднюю, где уже нет просвирни, но исправник следует по пятам.

— Брак гражданский, но хочу освятить! Позвольте помочь...

Сам ведет по ступенькам и усиленно кланяется на морозе.

— Вот спасибо, что не прошли!

Отойдя шагов пять, батюшка говорит:

— Заведомый иезуит, прости Господи.

Так они ходят и ездят из дома в дома, унося в себе сотни лиц, видя радушие, холодок, пустоту.

Старики Вахрамеевы осенью померли, молодые не совсем здоровы и не выходят, и принимают какая-то старушка и горничная. Стол накрыт, видны недопитые рюмки, кто-то чихнул в гостиной. Угощенья не надо, а обидно: лучше бы говорили — не желаем. Псаломщик замечает цилиндр и перчатки на рояле, признает в передней голубую ротонду Первачовой. Значит — гости. Просвирня кланяется старушке, та ищет на руке в мелочи.

— От креста бегают! — говорит на улице батюшка.

На Огородной, у крыльца Мишкина, попадаются мироносицкие — только вышли. Батюшки раскланиваются молча, вознесенские заворачивают в переулок, но догоняет дворник — просят хозяева. Не деньги — внимание дорого.

У Мишкина служат торжественно, дьякон не бережется, псаломщик пускает верха вовсю. За закуской батюшка говорит напрямки, как и что. Мишкин растроган, приказывает дочерям силой тащить просвирню и угощать. Просвирня, наконец, решается снять салоп и оказывается в лиловом платье с плюшевыми зелеными полосками на груди и юбке с оборками в буфах. Это платье парадное, и батюшка знает его лет тридцать. Просвирня совсем сыта, только икорки разве. Псаломщик сам наливает себе зубровки и рассказывает сыну Мишкина про аэропланы. Дьякон беседует с дамой, у которой лицо ласково светится, — рассказывает про седьмого, который начинает хо-

дить. Батюшка опять по секрету сообщает, какая болезнь у архиерея. Мишкину служба больше нравится у Вознесения, да и по дьякону не сравнить. И в комнатах пахнет мягко — накануне курили уксусом. Оставляют обедать, но надо спешить.

— Сын в университете, а какие люди! — трогательно говорит батюшка.

Уже пятый час, темнеет. Устали подыматься по лестницам, у дьякона голос осел, батюшка еле волочит ноги, чувствует ломоту в висках. Зато голос псаломщика крепнет: и рюмки, и близость вечера, и молодые женские лица, напоминающие Анюту. Просвирня совсем раскисла, ей хочется есть, — только у Мишкиных закусила, да у Парменовых няня-старушка сунула пирожок, который она и пощипывает понемножку. Уже совсем темно. Кучер, видно, хватил, сильно отваливается на ухабах, рвет лошадь, поругивается:

— Ну, еще куда? До ночи ездить буду?!

— Ты, голубчик, не разговаривай... не подобает... Не в театры ездим... — успокаивает батюшка.

— Я не... к тому што... а лошадь жалеть надо...

Дьякон совсем разбит — ясно, что сорвал голос у Кундукова. Слушает, как ворчит кучерок, вдруг хватает за казакин, трясет и говорит с дрожью:

— Мы не из милости ездим! Невежа!

Улица запружена народом, свистки, крики: дерутся текстильщики с кузьмичевскими, нельзя проехать. Кто-то ревет над ухом:

— Женчину нашу тронули! В ножи их!

— Пускай попы едут! — кричит кучерок.

— Господи, Господи... — шепчет батюшка, — винцо-то что делает.

Отведя руку с шапкой, лезет вихрастая голова и нетвердо просит:

— Бла... благословите... батюшка...

Пробираются в каше голов, в свистках, реве. Плачет мальчишеский голосок:

— Картуз... нова-ай!

— Кому горе, а попам масленая!

Дерзко смотрит на о. Василия, у самого лица, парень, колышется. Дьякон заслоняет рукой и говорит торопливо:

— Ну, что тебе, что тебе... иди, голубчик...

О. Василий сидит, опустив голову, как дремлет. Слабость ударяет в ноги, грустно на сердце. Хочет найти в душе, принявшей много чужих грехов, примиряющее, прощающее темноту. Многое бы можно сказать, о чем не раз думал и сокрушался, о церкви, которую посылают по соборам, о служителе алтаря, который вынужден обивать пороги, о «масленой».

Слышит, что с того конца налетели казаки, гонят текстильщиков и кузьмичевских.

— Господи, Господи... — шепчет в воротник батюшка.

— Да хорошенько бы! — дрожит голос дьякона.

На площади в каруселях горят лампы, бисером и сусалью играют вертящиеся круги, бьют литавры. На углу сшибли человека, говорят — Аносов на своем рысаке. Опять запрудили улицу, окружили городового, требуют:

— Не имеют права людей давить!

— Господи, Господи... — шепчет батюшка. — Да поезжай, голубчик...

Катят на паре монахи, мелькнули при фонаре черные клобуки. За ними мчит тройка с гармоньями, лошади в розанах, лихо позванивают бубенчики.

— Приказчики-то мухотаевские как отчаянно! — слышит дьякон.

Напоследях попадают к Карякиным. Половина восьмого. Спрашивают у горничной — примут ли, а то завтра заедут. Стоят на морозе. Батюшке хоть садиться впору. Просвирня ног под собою не слышит, а ничего не поделаешь — праздниками живет. Дьякон смотрит на окна дома напротив. Там живет учитель гимназии, тоже многосемейный. Там горит елка. Дьякон смотрит на огоньки за морозными стеклами, и ему хочется тепла и уюта, хочется в свое тихое зальце, у печки бы посидеть, попить чаю со сливками — мягчит горло. И у него елочка. Дети ждут, чтоб он им сам, непременно сам, — такой он высокий, — зажег бриллиантовый дождь. Псаломщик волнуется, — все, небось, собрались, и бухгалтер любезничает с Анютой, говорит пошлые комплименты, а она похихикивает, такая наивная, не знает, что такое бухгалтер.

— Просят, пожалуйте, — говорит горничная.

Лестница длинная, кожаные ботинки батюшкины скользят. Просвирня царапается за поручни, а горничная уже вбежала на площадку и ждет — отворить дверь.

В зале карточный стол, брошены карты, деньги. Гости стоят у стенок, горит блестящая елка, пробежали мальчишки в масках — бычьей и лисьей. Все чувствуют, что мешают, расстроили и страшно неловко. Батюшка извиняется, не смотрит на лица и становится совсем в угол, где уже гаснет лампадка перед Казанской.

— «И земля... вертеп Неприступному прино-о-осит...» — точно вздыхает батюшка.

Уже нет голоса и не видно иконы. Слезятся глаза — и от слабости и ветром надуло. А в усталой голове неясно мелькает: «пою слова, какие слова, а никто не слышит, никому и не нужно». Дьякон уныло глядит на склоненную голову и думает: «совсем заслабел старик». Псаломщик глядит на елку, видит ангела в серебряных крыльях, под ангелом барабанчик, а повыше уселась пестренькая мартышка и размахивает помелом: видит качающуюся бутылочку, вытягивает верха, глядя на потолок, и думает: «ну, сейчас...» Просвирня хрипучим голосом просит у горничной стаканчик водички бы...

Тут уж не разговаривают, не приглашают к столу. День кончен.

III

Кучерка нет. Зовут, посылают псаломщика — поискать. Кучерка отвезло к уголку, он сидит, ткнувшись головой в передок и не выпуская вожжи. Наконец, усаживаются. Звезд-то сколько! Их замечает только псаломщик. Садясь на извозчика, подымает к небу лицо, чтобы поглубже вздохнуть, и видит — звезд-то сколько! Рождественский золотой горох...

Он сидит совсем на тычке, просвирня все заняла — теперь уж не до стеснений. Молчат. Все молчат. Переезжают реку. Теперь, когда не работают фабрики, вода, наконец, замерзла, нет черноты, лед затянуло снежком, — белая, светлая река. Скоро опять черная будет. Не видны ночью темные корпуса, не видны трубы. Иной теперь городок, тихий, в огнях, в светлых глазах под беленькими чепцами. Теперь уж и церкви видны. Белые на темном. Вот и храм Вознесения. Батюшка смотрит — теплится перед Распятием лампада. А вот и дома причта. Отпускают уснувшего кучерка, который уже не знает, куда ехать. Кладут рубль в карман, псаломщик выводит лошадь, ставит головой к аносовскому дому и кричит в ухо:

— До-мой!

Батюшка говорит:

— Завтра уж делить будем, о. дьякон.

Конечно, завтра.

Батюшка вваливается в дом. Худенькая старушка, верная попадья, смотрит болезно, спрашивает: — устал, небось? — Батюшка садится на стул прямо в шубе, кухарка снимает с него ботики. В дверях стоит, улыбается еще по-девичьи внучка, приехала с мужем из далекого Томска, привезла показать первую правнучку.

— Покажи, покажи... — оживляясь, говорит батюшка. — Ох, чайку бы... — и видит-не-видит первую правнучку, привезенную издалека.

Дьякон приходит злой, кричит на жену, на сына, сердится, что нет до сих пор самовара, что они прямо назло ему, назло!

— Когда вы, папаша, не сердитесь! — говорит сын, пожимая плечами.

Бегут дети, просят сейчас же зажигать дождь.

— Сделай мне бертолетовой соли... — говорит он жене. — Я говорить не могу...

В комнатах прыганье десятка ног. Слышно, как дьякон полощет горло. Сын берет гитару и прокрадывается кухней — бежит в сюртучке к псаломщику.

У псаломщика шум и звон. Бухгалтер отхватывает марш — «Благополучное возвращение». Ильинский дьячок привез граммофон и пару сестер. В темной передней псаломщик обнимает Анюту, от которой пахнет ландышами и весной, и шепчет, покусывая ушко:

— Милая... как-нибудь... чтобы не засиживались...

Добралась до квартиры и просвирня. Подумала, не пойти ли к лавочнице, — да ноги. Мяучит голодная кошка. У просвирни зажарен гусь, но хочется пить, — так и горит все нутро. Она долго сидит при лампочке, смотрит на свое платье в буфах, давнее, — подарок мужа, когда родился последний сын, — разглаживает рукой буфы на юбке, думает. Кошка трется у ног, заглядывает в глаза. Просвирня снимает платье, аккуратно складывает, завязывает в старенькую салфетку, надевает серенькое, в черных шашечках, — вечернее, и идет ставить самовар.

1913

КАРУСЕЛЬ

I

Час ранний, — шести нет, — а чашкинский лавочник Иван Акимыч уже крестится на синие купола Троицы, через дорогу. В небе, за церковью, золотое сиянье, там солнце. Церковные березы, осыпанные гнездами, тронуты золотцем, за ними сквозит бурая крыша мухинской усадьбы.

Иван Акимыч молится и на Всевидящее Око в широком золотом треугольнике над входом, приглядывается и к мухинской крыше и затаенно думает — пошли, Господи! Верит, что все будет ладно, — и бойкая торговля, и мухинская усадьба не убежит: зарвалась по заборной книжке и по второй закладной за три тысячи. Уж коли пойдет — так пойдет. Надо было, чтобы река вскрылась до праздника, дала ход покупателю из Пирогова и Божьих Горок, — какие там лавки! — послал жену под четверг ко всенощной поставить свечу Антипию-Половоду, а на пятницу, в ночь за Евангелиями, и прошла река, и уже паром налажен. Теперь так и повалят. Вон уж и погромыхивает по холодку.

В ночь прихватило. В колеях, перед лавкой, точно молоко пролито, — последние, вешние пленки, в воздухе погожая свежесть, небо синей, на примостках, у лавки, дожидается солнышка ранняя, охолодавшая муха.

Грохают железные засовы с оконных затворов, из затвора густо шибает харчевым духом — соленой рыбы, мяты и бакалеи, от окоренка с красными и лиловыми яйцами праздничное сиянье, за стеклом веселый товар — мыла и пузыречки с духами, над солнечным чаном и головастой тушкой сомовины с провалившимися глазами висят на веревочке сахарные яички с розочками.

Иван Акимыч зажигает лампадку перед Живоначальной Троицей, втиснутой промеж банок с грецким орехом и бахромчатой карамелью, морщится на сомовину, нюхает в пасть и плюет, достает из рогожки тройку осетровых балыков в желтом жире — для понимающих — и вывешивает за дверь подсушить. А с тракта уж заворачивают на боковину, под ветлы, подводы с тестом — на станцию. Возчики тяжело хрустят по ледку к лавке.

— Спиц коробок давай.

— Чем-чем, а сомовинкой бы потрафил! — говорит Иван Акимыч, с треском ломая пачку. — Белужина!

— Говяжье дело теперь... Ну-ка, накапай...

Выпивают за мешками по шкалику и заедают сомовиной.

— Шибает маненько...

— Не шибает, а... с лавровым листом солим!

Утираются шапками, крестятся на синие купола и валятся на тес, вытягивая кисеты, и опять погромыхивают, чиркая и подрагивая концами, свежие доски.

Иван Акимыч шугает заглядевшуюся на балыки тощую голенастую собаку, видит на календарном плакате розовую даму с рыжей копной волос и вспоминает Настюшку Колотушкину, мухинскую садовничиху, — точь-в-точь такие же у нее волосы, у шельмы. Слышит, — дробно почокивает от реки, гонит верховой. Видно с порожка, — скачет на сером Васильчихин конюх в безрукавке, взматывает кумачовыми локтями.

...Ай случилось чего?

Серый махает через канаву на мягкое, шумит по пленкам. Конюх, выкатив глаза, переводит дух, чешет ногайкой под картузом.

— За дохтором в Лобаново... барыня помирает никак враз... Неси сюда, некогда... не видать... Стой, черт!

Принимает чашку, жует сомовину и плюется.

— Другой раз, слышь, пряники лутче давай... Ну, будут у нас дела!

Щелкает серого под брюхо и перемахивает на тракт, прихватывая картуз.

«Помрет Васильчиха — наследнички загремят, — думает Иван Акимыч, — зелень еще... Управляющий почистит, Иван Платоныч...»

Достает заборную книжку, глядит в васильчихину харчевую запись, глядит на сомовью голову и почеркивает кой-где.

...Он про-пишет...

Поторкивает-скрипит возок с сеном. Длинноспинный мужик в кургузом бахромчатом полушубке топочет разбитыми валенками на уцепившуюся за вожжи сухенькую старуху, обмотанную платком до глаз.

— Отзынь, мразь! Захочу — пропью, захочу... в банку покладу!

— Акимыч-батюшка... не давай ты ему на руки, сатане! — кричит на ходу старуха, не выпуская вожжи. — Возьми сенцо — товарцем выберем...

— Прямо чай, — не сено, Иван Акимыч! Отзынь, говорю!

— Денег не наторговал. В обед жди моего разговору.

— В обе-эд!

В лавке уже позвякивает медяками у сборки жена. Она полная, дряблая с лица, передние зубы выщерблены. Четко набирает столбики мелочи и ссыпает в мешочек. Иван Акимыч ценит ее за сметку и глаз, но уже отлюбил и живет с садовничихой Настюшкой. Василий, женатый сын, возится у весов, прикидывает на чашки гирьки.

— Не шибко соображай-то! — кричит Иван Акимыч с порога, гонит мух с балыков, уже взятых солнцем, оглаживает жирок: хорош товарец!

— Веночки-то, Степанидушка, выкладь... чего они за кадушкой у тебя хоронятся? Василья, вывесь на дверь парочку повеселей каких.

— Сомовину-то вот куда девать будем? — сердито говорит Степанида, прикидывая на глаз сомовину. — В рассол опустить?..

— Пильщики на машину пойдут — заберут.

Смотрит на голубой глаз в золотом треугольнике и кричит церковному сторожу, который раздувает самовар у сторожки:

— Паникадил-то мелком протри, слышь!

— Протерши-и, Иван Акимыч! Ланпадку бы у запрестолья сменить... лопнула в утрени-и!

Весело вьется синий дымок над самоваром, весело шумят грачи в березах, воркуют за вывеской голуби, воздух степлел, белые пленки истаяли, и поблескивают в колдобинках плавающие овсинки. На пригревах густо попахивает навозцем.

II

Солнце только еще над березами, а работают в десять рук. Из чайной рядом, где торгует невестка с подручным, Иван Акимыч вытребовал младшего сына, Петюньку, — носит товар на возки. Косенькая, востроносая Нютка, натуго повязанная материнским платком, сидит высоко на мешках для дозору и визгливо покрикивает:

— Мамаша-а... рыжий энтот селедку взя-ал!

— Ишь, скважина... се-ледку! Человек товар выбирает, а она што!

— Ядрицы полпуда, первачу мешок... еще чего?

— Ржавую-то не суй.

— Жир текет... ржа-вая. Четыре сорок с михайловского, мамаша.

— Мешок подсолнуха пироговскому! За сахар получили? Свинины семь, пять осьмых, пшена четверку...

— Ты не швыряй, не швыряй... куда вытянет...

— Два куска на поход... не задерживайте покупателей.

— Мамаша-а! подсолнухи все хватают!

— Косая, а все видит...

— Шипротов не прикажете, Василь Прохорыч? Для публики держу... Шипроты, кильки самые свежие... А ты, братец, руками-то не хватай... Все едино, нечего зря тревожить. Осьмнадцать да двадцать семь. Сорок шесть с зеленого платка получи!

— Мелки-и? Так и говори, что тебе гусиные надобны! Изюму кто требует?

— С красенькими-то давай, поглазастей... на Казанскую мне...

В лавке битком, — крутятся, как в бучиле.

— С Козыря-то, мамаша, получили?

— Какой я тебе Козырь? Ко-зырь!

Хряскает под топором солонина, трускает вскинутый на плечи мешок подсолнуха, полязгивают гирьки.

— Сомовинка-то в солонинку тюрюхнулась!

Под Нюткой плывут и толкутся шапки, платки, плеши. Видны ей нищие у порожка, с вымытыми холщовыми сумами через плечо, разевающиеся беззубые рты, но голоса тонут в круговом гуле. Не добраться им до прилавка, где Степанида проглядывает на свет бумажки, позванивает о кирпичик серебрецом, ссыпает медяки в ящик.

— Подайте, милостивцы...

— Мамаша-а... Санька балыка палкой бье-от!

— Я тебе побалую, дьяволенок!

Не справиться с покупателем, враз хлынувшим из-за реки в тесное время. Помогает непутевый невесткин брат, Левон Рыжий, в урядниковом картузе и подтянутой ремешком сестриной кофте. Дело для него непривычное, в голове погукивает, глаза вспухли от пьянства, но из-за доверия старается во всю мочь, приглушает неслушающийся голос и посыкивает как городской.

— Пож-жалуйста, покупателя не задерживайте... Свининки-с вам? Самая замечательная, англиже-с... Не беспокойтесь, уважим своего покупателя. Песочку фунтик-с?

Срывается и гудит в золотистую бороду:

— Вертишься тут, чертова голова... Прикажите, баушка, завернуть?

— Заверни, соколик, заверни. Чайку восьмушечку мне еще...

— Брала бы уж четвертуху!.. А сахарку? Самый замечательный.

— Ты, дядя, не горячись... пальца твово мне не надоть. С краешку, с сальцем облепортуй...

Топор у Левона соскальзывает, фунтики разъезжаются, борода смокла. Он уже просыпал изюм в селедки, Иван Акимыч выругал его обормотом и определяет к муке.

На коновязи перед лавкой полно. Поматывают лошадиные головы — рыжие, сивые. Лежат на возках пузатые мешки подсолнуха, как снег белеют на сене пудовички крупчатки, синеют головы сахару, бьет расплющенным солнцем с помятых жестяных жбанов.

Через головы видит Иван Акимыч, как проехал обратно Васильчихин конюх, за ним вскорости и доктор Синев с лобановского пункта в своей плетушке с мальчишкой. Через дорогу ковыляет с корзинкой хромой и чахлый мухинский садовник Колотушкин — забирать для господ в долг.

— Хромому не отпущать пока что... подождет пусть!

Отношения у них враждебные. Садовник подозревает и не верит, что Настюшка-шпитонка, которую он осчастливил, бегает к лавочнику. Но есть улики: все у ней то орешки с конфетами, то мыльце цветное, и Левон в трактире болтал. Лавочник не любит садовника за ехидство и кочевряженье, — штука какая, мещанин!

Колотушкин протискивается к прилавку, напирая корзиной, и кричит банкам на полке:

— Из серого товара есть чего, так давайте по записке... да поживей! Гастрономию в городе берем.

— Пуще не захромай с живея-то, — говорит лавочник в сторону. — Некому теперь записки ваши читать.

— Не-кому? Так грамотному покажи, коль сам не умеешь.

Садовника толкают, выперли на селедочную кадушку, корзину его Василий закинул на мешки, Левон скребанул в давке сахарной головой по уху. Нютка накрылась корзиной и глядит через щелки, — все будто солнечное и зыбится.

— Долго я еще ждать буду?! — срывается садовников голос, а на лице выступают пятна.

— Видите — покупатели! — говорит срыву Степанида, захватывая ногтями медяки: зла и она на садовника — за Настюшку.

— Та-ак-с...

— За фунт гарного получай. Живой карасин масло ваше...

— Это самое лучшее будет.

— Жену присылай — живо натоварит... — хрипит на ухо Левон.

— Стало быть, над господами кочевряжитесь? — с дрожью через зубы говорит садовник, грызя ноготь и исподлобья впиваясь в веселые глаза лавочника.

— За чистые денежки и то ждут. Веночек? Три гривенничка-с.

— Значит, пренебреженье... хорошо-с. Давай сюда, косая!

Крепко хряскает о прилавок корзиной, взвевая белую пыль, и, закусив жидкий усик, идет к выходу.

— Засерчал Хромой — дожжик будет.

На пороге садовник оборачивается и кричит визгливо:

— Так и доложим!

— Чего, всамделе, Хромому не отпущают? — кричит, точно сейчас только его заметил, Иван Акимыч. — Годи серчать-то, майский картуз!

— Теперь в судебном учреждении посмейтесь... за торговлю воспрещенным продуктом!

Солнце прожаривает балыки, топит жир; накапало его темную полоску на мостках. Звенят мухи, звенят и свер-

кают ведра, плещется под копытами солнце в лужах, перекликаются ржаньем лошади, шумят над березами грачи. И покойно на все взирает Святое Око от Троицы.

Дребезжит по дороге, — едет на дрожках, на толстоногом мосластом вороном, толстяк-урядник в офицерском пальто, завернув на колени полы. Останавливается на тракте, против лавки, тянет из-под себя портфель, устанавливает перед животом и начинает перебирать бумажки. Ветерок играет бумажками, играет его русой, на два расчеса, «скобелевской» бородой.

— Серенька, пообожди! — кричит Иван Акимыч в закуток при лавке, где работает средний сын.

Теперь ходят туда двором, кому нужно. Урядник свой человек, но в открытую все-таки неудобно.

Пообсудив с бумагами, урядник съезжает на грязь, привязывает вороного за грядку телеги и входит в лавку, раздвигая толпу портфелем.

— Базар да рынок!

Едет он в Голенищево, — там вчера опрокинулась лодка, и трое утонуло.

— Как подгадают для праздника... такое истечение обстоятельств! Закружился... Нацарапала тут Дашуха моя хозяйственного разного пороху-дроби... — говорит урядник, присаживаясь на мешок и доставая из портфеля казенный бланк с каракулями. — Оформи в кулечек там... прихвачу ужотка. А промежду прочим... Васильчиха-то в присмертной агоне, внезапной смертью! А вечером ужинала, телячью котлету ела...

— В Великую пятницу! — говорит Степанида, вызванивая. — Негодяшший.

— Да... Был сейчас у Ивана Платоныча с окладными... Дела будут.

— Будут. А вот господина бы Мухина листочками побеспокоили... Один уж им конец — торгов не избегнуть... — говорит Иван Акимыч, заглядывая в портфель.

— Где избегнуть! Дело ихнее критическое, да... гм... — крутит головой урядник и достает из ушата огурец-желтяк. — Кон-финденциально новость от станового вчера узнал... виц-губернатор новый едет, шу-рин мухинский-то, по супруге!

Смотрит на Ивана Акимыча, хрустя огурцом, тот на урядника, снимает затертый картуз, выбивает ладонью и вытирает им потную лысину.

— Шу-рин?! Да-да-да-да...

— Здесь бывать будет. То-то и оно-то... — косится урядник в закутке и замечает сахарные яички. — Занятно для ребятенков!

Насыпает в карман подсолнухов, на которых сидит, заглядывает в селедки, на окоренок с яйцами.

— Луком у меня красят... — раздумчиво говорит он, — так что ничего, а как краской — негодящее яйцо выходит...

Мигает Ивану Акимычу и идет через двор, набитый курами, петухами и плещущимися в навозной жиже утками. Скоро выходит, покрякивая, видит залитую теперь солнцем церковь, синие купола, яркие над белизной, идет к лошади и кричит к лавке:

— Эй, староста церковный! Заутреню-то поповские, что ль, петь будут?

— Обязательно поповские! — оживляясь, говорит Иван Акимыч, выходя к порогу. — Конторщики с паточного охотились, тено-ра! Сизов Андрюшка...

— Си-зов?! Ну, обязательно у вас буду. А то в Пирогово хотел...

— Ммда... Так шурин...

— Шурин.

III

После обеда перед лавкой редеет — поразобрались возки.

По дороге в Затоново зашли конюха — вели призовых лошадей со станции на ермаковский завод. Жеребцы-орловцы, вороной масти с сединкой в отлив, в белых с голубой оторочкой попонках, с голубым «Е» под коронкой, собирают к ветлам толпу. Иван Акимыч забывает торговлю и расспрашивает, каких лет, какая цена и много ли нахватали призов. Длинноспинный мужик с готовностью наливает из бутылки и подносит в стаканчиках конюхам. Самим им нельзя: по двое на каждого жеребца, они не выпускают поводья. Жеребцы прядают ушами, косятся из попонных глазниц, непокойно переступают в белых ногавках. Весенний огонь в них, ноздри раздуты, раздраженные запахом лошадиной стоянки. Три пары ушей вздрагивают и падают к чмокающей по грязи лохматой клячонке.

Намотав ремни на кожаные перчатки, сторожко держат их мурластые конюха.

— А этот? — спрашивает Иван Акимыч.

— Все на «буки», — говорит старший, с голубой нашивкой на обшлаге, — Бунтарь, Бурный, Буран. Каждый по сорок тыщ.

— Та-та-та-та...

— Каждый выбег за зиму тридцать тыщ. Что ни бег — вдрызг всех валит. Ермаковские! Энтот другого конюха убивает, пенсия за его идет.

— Сто двадцать тыщ!

— Маток теперь крыть им до лета. Из серебряных ведер пьют... яйца вареные есть будут для ярости... Каждому по два человека на уход.

В белых чехлах, с копытами в войлочных калошах, жеребцы кажутся таинственными. Мужики опасливо выглядывают под брюхом, пытаются разглядеть на шее рудометную жилу, укрытую попонкой.

— Кровь-то им не кидаете, почтенный?

Конюх сплевывает и приказывает вести. Ведут, растягивая поводья. Жеребцы ржут в небо, подкидывают конюхов, подбрыкивают, и Иван Акимыч выходит за ними на дорогу и смотрит, пока не скрываются они под горой.

— Не дай-то Бог, с парома какой сорвется! Глаза-то догадаются ли завязать...

И чуть ли не хочет бежать и смотреть.

...Живой капитал!

И все стоит, будто смотрит на церковь, будто прислушивается к грачам, а глаза видят бурую крышу мухинской усадьбы, новые денники, играющие огнем глаза в белых глазницах, знакомца-ветеринара с ермаковского завода, который все может... и вдруг замечает машущего палкой самого Мухина, совершающего обычную прогулку.

Как всегда, Мухин в синей поддевке, в фуражке с красным околышем, с суковатой палкой. Перед ним выступает дымчатый дог-теленок, с ушами-рожками, с вывернутыми кровяными губами, в которых плеть.

— Поди-ка сюда! — кричит Мухин, махая палкой, и идет сам, похрамывая и сопясь.

Лицо у Мухина желтое и худое, — видны все кости, у него сахарная болезнь, и жить ему, — сказывал доктор Синев, — самое большое — полтора года; висят усы под

орлиным носом — совсем старый хохол Мазепа. Вид его властный, усы и даже похрамыванье и медленно выступающий дог придают особенный вес, и Иван Акимыч его боится.

Он срывает картуз и раскланивается в откидку, хочет помочь перейти, где посуше, но Мухин не переходит. Он стоит на дороге и кричит зычно, точно совсем здоров:

— Что это значит, я спрашиваю? А?!!

Рычит дог, пуская слюну по плетке, ерзает на сухих скулах желтая кожа, и даже фуражка, как будто, кричит прыгающим козырьком.

— Хамья манера!!. Я тебе укажу настоящее место! Народ спаивать?! Губернатору телеграфирую!!.

— Извините-с... помилте-с... не извольте срамить-с...— тихо, чтобы не услыхали от лавки, бормочет Иван Акимыч. — Завсегда первое уважение... а тут вышла задержка-с... задавило народишком-с... недоумение вышло-с...

— В оба гляди, с кем дело имеешь! — взматывает головой Мухин и выправляет усы.

— Как же-с... помилте-с, самый первый вы человек здесь... да я не то что какое невнимание...

— Счета представить... завтра же! Черт знает... Впрочем, если действительно вышло недоразумение... извиняюсь... Горяч, прямо люблю!

Уже благодушно кивает, идет важно, прихрамывая, палка уверенно вдавливается в сырую обочинку тракта, важно выступает перед ним дог, смотря вдаль, солнце играет на серебряном поясе кавказской чеканки, и уже не верится Ивану Акимычу, что Мухину жить осталось всего ничего, а бурая крыша за церковью скоро — тю-тю. Теперь почему-то кажется она особенно прочной.

Все еще смотрит Иван Акимыч, совестно идти к лавке. Видит, что уже выросла карусель на луговинке, где пожарный сарай. Только вчера приезжий поляк ли, немец ли, в прогоревшей шляпе грибом, привез на возах колеса и стойки, груду побитых коней в цветных яблоках, — в желтых, синих, зеленых и красных, — и вот уже карусель готова, под парусиной, в красных лоскутьях поверху; закрутится завтра, задребезжит, заскрипит...

Слышит чокот копыт. А катит со станции чудной Васильчихин экипаж, черный лакированный коробок, точ-

но гроб на высоких рессорах, — едут наследники. Правит Павел Степаныч в белых перчатках, — далеко виден алый околыш и красный шарфик на зеленом пальто, — франтоватый молодчик, обучающийся в лицеях, а с ним Лизавета Степановна, тонкая как камышинка, смехотунья. Рыжий куцый американец в шорах выкидывает широко ноги, задрана голова, широкая грудь навылет — дорогу! Черный короб завален свертками и пакетами, всякими праздничными покупками, торчит высокий белый картон, — должно быть, кулич: кучер сзади, на гнездышке.

...Смеются, не знают-то ничего... До станции сорок верст, кучер еще с вечера выехал... Гонит-то как, в мыле весь... Так и сядут, для праздничка-то!

Лизавета Степановна знает Ивана Акимыча, — покупала не раз у него конфеты для ребятишек, — смеется и машет платочком. И так хочется сообщить им страшную новость, заваленным цветными пакетами, уже открывает рот, видит совсем еще детское херувимочное лицо Лизаветы Степановны, быстрые усмехающиеся глаза, которые скоро заплачут, — и только еще раз кланяется и кричит:

— С наступающим!

— Спасибо-о-о! — летит мимо звонкое, девичье, сверкают на солнце подковы под коробом, а толстый кучер-усач на гнездышке щелкает себя в красную шею и кивает на седоков — нельзя.

...Не знают.

IV

Падает золотой вечер.

Солнце обошло небо и заходит на той стороне, за лавкой. Церковь теперь другая — розовая, легкая, теплая. Треугольник в золотом блеске, и в нем невидное теперь в блеске Святое Око — тихий Вечерний Свет.

Если подняться на паперть, на третью ступень, — так много золотого света на закате, а в нем золотой шар. Горит вся река, от края до края, горят золотые зеркала — оставшиеся на пойме лужи.

А вот уже и в красной заре небо за рекой; и кругом красное — и березы красные, и крыша за ними, и грачиные гнезда. В красном огне небогатые кресты, в красном сиянии Всевидящее Око. А вот уже и желтеет, вот уже и меркнет закат...

Уже прогремел урядник к себе, в Божьи Горки, прихватил на дрожки заготовленные порох-дробь. Проехал и доктор Синев в плетушке, завернул, по знакомству, в лавочку, прицепился, почем балычки, выпил и закусил сардинкой. Не ел целый день, все возился с Васильчихой. Ничего не поделаешь — померла к вечеру от удара. Опять проскакал конюх — на телеграф. Прокатил на паре Иван Платоныч в город. Отъехал длинноспинный мужик, повезла его сухенькая старуха между мешочком крупчатки, кулечком соленой свинины и вязкой баранок, все раздумывая, куда же подевались семь гривен, что были у нее в красном платочке в валенке. Закрылись железные затворы, налегли засовы. Теперь только собаки разнюхивают у водопоек, похрустывая на затянувшихся лужицах, да вылизывают жировую капель на мостках.

Чуется ночь в затишье. Кончился треск, остановилась гомозливая беготня и стукотня, вся суетливая пестрота дневного человеческого кочевья. Невозвратимо прошло, чему суждено пройти в этот день, — большое и мелкое. Всюду оно проходит, оставляя липкий след свой, и не всегда замечает его присмотревшийся глаз и оглушенное ухо.

Церковь еле-еле видна: синяя она теперь, и уже ничего не разобрать над входом. Теперь иные глаза глядят — вечные глаза, с неба. Да тихие огоньки по избам. Еще поют где-то, — должно быть, в поповом доме, прорывается неясно молитвенное. Спевка там. Но и она стихает. Теперь только тихие огоньки в оконцах. Уже поздно, а они все горят. Чего ждут?

И там огонек, у невидной теперь карусели, на лужайке. И там ждут? Горит тусклый фонарик. Сидит неведомый человек в нахлобученной прогоревшей шляпе, — не то немец, не то поляк — с повислыми черными усами и скучным лицом, занесенный невесть откуда в незнаемое Чашкино. Сидит с женщиной в зеленой тальме на ящике, ужинает купленной у Ивана Акимыча колбасой. Завтра с утра завертится его зыбкая карусель в лоскутьях и сусали, с конями в зеленых, красных и синих яблоках. А теперь смирно стоят на железных палках кривоногие кони с красными пастями. Завтра помчат, помчат вкруговую под скрипучую шарманку и барабан.

А теперь — Господи, тишь какая! Затаилось все, живет в неурочных огнях. Чего-то ждет. Чего же ждать-то? Или еще не все, чего стоит ждать, затопталось в беге, не все еще растерялось в гомозливой хлопотне? Так все насторожилось, так все притихло, — точно вот-вот из этой свежей весенней ночи выйдет неведомое, радостное несказанно, чего, ясно не сознавая, все ждут и что должно же провидеть, как должное, это невидимое, на все покойно взирающее Око.

1914

ЛИХОРАДКА

I

К весне молодой художник Качков, живший больше уроками, совсем расклеился. И вообще жизнь его была невеселая, а тут умерла его мать, которую он очень любил. Его «Березы», где ему удалось весеннее солнце, обратили внимание, но их не купили. Это разбило его мечту поехать за границу и отдохнуть. А к весне пошатнулось и здоровье. Товарищ по комнате, студент-медик, простукал его и посоветовал бросить уроки и ехать в Крым. На Страстной уроки закончились, но Качков ехать не собирался.

В субботу в квартире было особенно чадно и шумно. С раннего утра звякала медная ступка, все что-то колотили, хлопали двери, а квартирная хозяйка опять требовала с жильца-конторщика пять рублей. За стеной курсистка Милочка часто сморкалась, и было похоже, что она плачет: должно быть, не прислали из Орла денег и ей не придется поехать домой на праздники. За другой стенкой к чиновнику пришли гости и очень шумели, а в коридоре против двери готовившийся на зрелость юноша Петя каждые пять минут звал прислугу и спрашивал: не принесли ли ему сапоги.

Качков лежал на кровати и мерил температуру. Студент тоже лежал, вытянув ноги на спинку, и читал газету.

— Все то же, — сказал Качков, посмотрев градусник. — Тридцать семь и восемь.

— Пустяк. Мышьяк попробуй... А лучше бы в Ялту. Пристроишься в общественный санаторий куда-нибудь...

Качков лежал на спине, и так его бледное выбритое лицо напоминало студенту Юлия Цезаря; такое же пергаментное и сухое, с орлиным носом.

— Раздражает меня эта суета... — говорил плаксиво Качков. — Надоело мотаться по комнатам, слушать бели-

берду. Для работы нужен подъем, а тут мелочи, сапоги, дрязги...

— Поезжай в Ялту, — сказал студент, которому надоело слушать.

— Искусство наше! Один пишет воду, другой облака или лошадей... Я березы пишу, — посмотрел он на свои солнечные березы. — Хорошо, но разве в этом искусство! Надо, чтобы вонзилось в душу... закрутило, как вихрь! Вот что такое искусство. Какое откровение! Искусство — это... стихийная, творящая сила...

За стеной запрыгала, захлопала в ладоши и засмеялась Милочка, и они услыхали:

— Ура!! еду!

— Деньги принесли, — сказал студент.

— А знаешь, — продолжал Качков, — я ведь говел.

— А-а...

— Захотелось отгородиться от всего, упроститься... почувствовать себя прежним. В детстве когда... на душе было как-то особенно ясно и хорошо... и все было пропитано удивительным ароматом. Тогда я умел слышать, как пахнет снег, весенние лужицы... а между рамами пахло ветром и солнцем! А небо какое было! Плыли облака, а мне казалось, что это не облака, а мое это, радостное плавает, как белые лебеди на синей воде. А жаворонки с изюмными глазками! Это были живые жаворонки, и весной от них пахло, и мне жалко было начинать с носика. А когда говел, все было такое особенное, праздничное... а я совсем был особенный, лучший и тоже праздничный, и мне за это будет награда. В таком состоянии можно творить!

— Да, пожалуй... — сказал из-за газеты студент.

— И захотелось проделать опыт. Пошел в монастырь, выбрал старый, поглуше... После всенощной зашел в темный угол, закрыл глаза, постоял... И монаха выбрал старенького. Кажется, никто и не шел к нему, шли почему-то к толстому. И даже глуховат оказался... Ну, и проделал все, словно я мальчик...

— И что же?

— Грустно почему-то стало, а все-таки какое-то спокойствие получил. Потом шел и глядел на звезды. И почти узнал его, старое, знакомое небо... детское небо...

— Ну, и мистик ты! — сказал студент.

— В последнее время о многом я думаю. И о Боге думаю. О том, детском, добреньком Боге... Вот мать моя... всю жизнь била ее нужда, так и умерла, никакой радости не видала. И все-таки сохранила детскую веру в какую-то великую правду. А спроси — и не объяснила бы. Что это? А миллионы простого народу... Сколько лишений, обид всяких, страданий!.. А живут и верят. И жизнь постепенно формируется и движется к какой-то великой цели. Через эти страдания выявляется светлый лик жизни, через века... покупается великое будущее... — мечтательно-грустно сказал Качков.

— Просто — живут и умирают и ни о каком лике не думают, — сказал, помолчав, студент, — а кое-чего после себя оставляют. Ну, о твоей правде я с тобой говорить не буду. Слишком мы разные...

Постучала в дверь Милочка.

— Господа, уезжаю! Праздник в дороге буду встречать, а завтра дома!

И упорхнула. Было слышно, как целовалась она в коридоре с хозяйкой.

— Живо прояснило, — сказал студент. — Так и у всех. Пойти постричься.

Зашла хозяйка показать, какой вышел у нее кулич. Пришел чиновник-сосед и попросил штопор. Потом робко просунул в дверь серое лицо в красных точках юноша Петя и конфузливо попросил воспользоваться сапогами: надо купить кой-чего, а сапожник все не несет. Качков дал на часок штиблеты. Потом опять заглянула хозяйка и пошептала, что телефонистке «опять этот прислал цветы». Потом постучала горничная Маша и попросила написать ей поздравительную открытку — золотое яичко в ландышах и с крестом — какому-то Николаю Петровичу Королькову.

— Маша, Маша, как не стыдно. Ты забыла про меня! — сказал воротившийся студент и поднес ей розовое яичко-мыло с рубчиками.

— Да ведь это я жениху, — пожеманилась Маша.

— Прощаю и благословляю. Вот юлой вертится, а жениха приглядела... и ни о каком лике будущего не помышляет, — сказал студент и принялся разворачивать покупки.

Вынул пасочку в три вершка и кулич в четверть, с бумажной розой.

— Недурно пущено? Красо-та!

— Купил-таки?

— Я, брат, и этих купил... Белые скучны, а тут символ!

И, посмеиваясь в усы, вытащил пяток красных яиц и обложил куличик.

— Веселить! И еще одну штуковину подцепил, — развернул он сахарное яичко. — В мелких лавчонках только и найдешь. Во-первых... па-но-ра-ма: мох, изображающий зелень весны, и там... символ! И стоит всего двугривенный. Это я одной знакомой даме лет пяти...

И приколол на стенку.

— А сейчас буду пасху есть.

Но не стал есть, а накрыл колпачком и сунул в форточку.

Качкова опять знобило. Он накрылся пледом и задремал. У чиновника принялись топать и звякать. Студент пошел к телефонистке играть в шестьдесят шесть. Скоро пришел и унес гитару.

Когда Качков проснулся, вспомнил, что надо куда-то пойти, чего-то купить или сходить в баню. Было холодно и не хотелось вставать. В комнате было уже вечернее солнце, и играл на обоях зайчик. Этот вечерний свет был знакомый, предпраздничный свет весеннего вечера. Потом этот свет стал краснеть, бледнеть, сдвигаться, и в окно заглянуло холодеющее небо.

У чиновника было тихо. Да и во всей квартире было тихо. В коридоре юноша Петя шепотком просил Машу сходить к сапожнику и потребовать, наконец. Маша божилась, что разбежались все мастера, и фыркала. Петя сказал плаксиво:

— Вам смешно, а как же мне без сапог?!

— Награжу вас штиблетами, насуйте бумаги и валяйте... — сказал голос студента.

В комнате было совсем темно.

— Хороша Ниночка! — сказал, пощелкивая, студент. — Засыпал ее цветами какой-то хлюст.

— А ты ходишь и нюхаешь! — сердито сказал Качков.

— Не отказываюсь, уважаю красивых женщин. Ну, а теперь мы что будем делать? К Копчикову пойти?.. Трамваи кончились...

И лег.

— А у меня опять лихорадка... — сказал Качков. — Дело дрянь.

— Сказано, — поезжай в Ялту!

Больше не говорили. Не разобрать было, спал ли студент, или лежал и думал. А Качков думал. Рисовалась ему —«Тишина». Поляна в березовой роще, вечер. На вершинках еще красноватый отблеск. Из потемневшей травы чутко глядят крупные синие колокольчики. Стоит бледная девушка, глядит в небо, слушает тишину...

— Как в ковчеге-то тихо, — сказал студент. — Чиновник ушел пьянствовать, а юноша зубрит свою латынь. И на кой ему черт супины? Ехал бы, дурак, в свой Черемухов, служил в казначействе, гонял за девчонками. Философ скажет: это действует стихийная сила жизни, из этих силенок, которые сидят без сапог, выявляется постепенно чудеснейший лик отдаленнейшего будущего, а...

— Ты подумай, что говоришь! — раздраженно отозвался Качков. — Это цинизм!

— Ты не приставай, я зол сегодня. Нагнал на меня тоску!

У хозяйки пробило десять..

— Ну, пошел я...

Студент пустил электричество и стал нацеплять крахмальный воротничок. Потом надел новые штиблеты, а старые кинул за дверь.

— Получайте!

А Петя как будто ждал. Выскочил из двери и сказал радостно:

— Как вы меня устроили! А то прямо безвыходное положение...

— Именно.

Потом студент хлопнул себя по лбу, достал поздравительную открытку и сел писать.

— Матерю-то и забыл. А она у меня любит это... и говеть тоже любит. Ну, так-с... А теперь пойдем звоны слушать...

— Знаешь, и я пойду, — сказал Качков.

— Напрасно. Можно и подхватить...

— Все равно. Эту ночь я всегда проводил под небом. Могу фуфайку надеть. Всегда с людьми... — говорил Качков, натягивая штиблеты. — А сегодня особенно... Можешь смеяться, но эта ночь всегда меня освобождала от всего мелкого, будничного... настроение давала!..

Он говорил так искренно, что студент не сказал обычного, вроде «разводишь идиллию» или — «будет тебе канифолиться». Только посмотрел на вихры Качкова и сказал шутливо:

— А знаешь... ты страшно похож на Цезаря!

II

Когда вышли на улицу, было необычно тихо. Лаяла собака, и казалось, если закрыть глаза, что они где-то в глухом уезде. И небо было особенное: показывалось таким Качкову.

— Всегда в эту ночь, — сказал он, — кажется мне, что небо закрасили в новую синеву, а звезды промыли, чтобы они сияли по-праздничному.

— Начистили мелом...

Попадались прохожие с белыми узелками. На углу, у церкви Григория Неокесарийского, стоял городовой и говорил кому-то невидимому:

— В прошлом годе дождь отсырил — и не было результату...

От церкви тянуло можжевелкой. За темной оградой бегали мальчишки с огарочками и кричали: «саль меня! саль!»

— Две тысячи лет прошло, а идея не умирает, — говорил Качков, стараясь бороться с дрожью, которая сводила губы. — Искупление какой-то величайшей неправды величайшим самопожертвованием! Лучше отдаст себя за все, во имя прекрасного! Я не говорю, что я слепо и буквально верю. Пусть это миф, я не знаю... но если и миф, так и тогда, — и тем более, — надо поклониться человечеству, которое это создало! Духу поклониться! Ведь это герои духа и мысли, если сумели такое выдумать. Величайшее отдает себя на позор, на смерть, чтобы убить смерть! Ведь такому человечеству, раз сумело оно подняться до этого и чтить это, — какие бы оно ошибки не совершило, — все можно простить, все! Верить в него можно!

— Ты горячишься, а это вредно, — сказал студент.

Чем дальше шли они, заворачивая в переулки, не разбирая, куда идут, лишь бы ходить, — студент сам предложил идти куда глаза глядят, так интересней, — больше людей попадалось на улицах. Слегка подморозило,

и хорошо потрескивало на канавках. Шел больше простой народ, и говорок был необычный, а тоже какой-то промытый, со весельцой и хорошей тревогой.

— Купил себе картуз новый, студентский... — услыхал Качков и увидел, как с чьей-то головы поднялся картуз и опять сел на голову.

Вышли на площадь, где невидимый голос кричал извозчика. Но извозчиков не было.

Опять на углу была церковь, низенькая, расплывшаяся, как пасха, старенькая. Кто-то ходил в ограде и зажигал кривой свечкой на палке цветные кубастики. Церковь была открыта, в ней еще было сумрачно, и опять празднично потягивало можжевелкой.

— Запах этот люблю, детский... какой-то радостный. Сколько ассоциаций! Погоди... — удержал Качков за руку студента. — Ну, постоим немного. Помню, — маленький-маленький я, меня ведут по темной улице, и совсем не страшно. Я даже покойников не боюсь, так мне не страшно. Потому что нет смерти! Мать говорила: теперь нет смерти! Ведь уже одно это победа! Хоть один день, хоть одну секунду поверить, что уже нет смерти. Может, это прогноз будущего, когда действительно не будет смерти.

— Смерть всегда будет, — сказал студент.

— А, должно быть, старинная... такие редки. Их уже домами задавило. Тут идея живет, а кругом каменные дома-чудища, где гремят ступки, сдают комнаты, сидят без сапог. И колокола начинают звонить в стенах, у пятого этажа! А на крест вытряхивают ковры...

— Знаешь что, брат, — сказал студент, всматриваясь в Качкова. — Вот вышел ты, и еще больше волнуешься. А это совершенно лишнее при твоей... лихорадке.

— Мне гораздо лучше. Войдем?

Они вошли. Народу было еще немного. Ходили взад и вперед, возили ногами можжевельник. Направо у Распятия молилась, тряся головой в сложенные у лба пальцы, старушка. Мигала пунцовая лампада, и бледные руки Распятого в тенях от цепей лампады будто сводило судорогой.

— А ведь хорошо — все красное! — сказал Качков на лампаду. — Свечи красные и цветы красные и розовые... И кровь, и радость.

Но пока под сводами было темно.

Когда они выходили, народ шел гуще. Попахивало сырыми квартирами и новой, невыветрившейся одеждой. Напирали к свечному ящику, оглядывали верха — пробивались поближе. На паперти толстый хоругвеносец с густой бородой, в позументовом кафтане, кричал кому-то:

— С запрестольными от Ивана Николаевича будут!

Подходила и чистая публика. Дамы в белых платках несли белые подолы, пахли духами. Провели под руку старенькую барыню в капоре и лисьей ротонде с серым лицом, а за ней богаделенка протащила коврик. Взявшись за руки, втягивалась в толпу оживленная вереница веселых девичьих лиц, — гимназистки с красными свечками. На паперти тоже продавали свечи при мигающем огоньке. Позвякивали деньги. Бежали в глубину церкви над головами безыменные белые свечки — празднику. Певчие черной кучкой толпились особняком, точно собрались заговорщики. Высокий и тощий, должно быть бас, урчал говорком:

— Тенора нет... где тенор, где Васильев?

Подкатывали неслышно на своих лошадях и медленно вылезали. Зажигали над входом красную звезду. Мальчишки просились на колокольню.

Качков и студент пошли, но теперь уже им шли навстречу, а через квартал уже шли другие, туда — куда и они. Только теперь по народу можно было отыскать церкви. Да они уже начинали обозначаться на темном небе огненными верхушками. Из-за невысокого дома выглядывала башенка в огоньках.

Это был, должно быть, богатый приход, — валило народу из переулков, и справа и слева

— Это какая церковь? — спросил Качков попавшегося мальчишку.

— Каменная! — сбаловал мальчишка и потом сказал, что это церковь Ивана Богослова.

Иван Богослов сиял: висели гирлянды над входами и все окна были в белых кубастиках. Здесь уже началась служба, и трудно было пробиться. За посеребренной оградой, под полотняным навесом, стояли на новых полках залитые огнями красных и белых свечей пасхи и куличи в красных розах. Мальчишки глазели на это чудесное, огненное и цветное, и в глазах их горели свечи, тускло

блестели головы и промытые щеки. И сиял над белой палаткой крест в красных кубастиках.

— Как красиво! — сказал Качков. — Какая игра!

Хорошо пахло сдобным и кислотцой. Сидел на корточках огромный мужик в полушубке и поправлял красными лапами разъехавшуюся пасху, а мальчишки таскали крошки.

Пришла кучка солдат и дружно полезла в забитый головами проход, обнажив стриженые затылки, с фуражками на плечах, натирая шинелями чужие щеки. Было трудно пробиться. Качков со студентом остались на паперти и смотрели через головы вглубь, где тускло поблескивала позолота и краснели венки икон. А вот и знамена. Они зыбились в этой глубине темно-золотые и темные, поматывая кистями на древках, — знамена церкви. И уже катились на улицу голоса, и ребячьи голоски дискантов высоко возносили: — ...ангелы по-ю-ут на не-бе-си!

Вывалилось за ними живое нутро церкви и потекло под знаменами.

— Как чудесно! — воскликнул Качков. — Какая мастерская рука все слепила, одела в цветы и огни и все пронизала прекрасным словом! А колокольни! И там, и там! — показал он под небо, где горели верха. — Ведь и тут искусство. И только к нему доступ... только его знает эта черная масса... Ей только церковь одна доступна! Только она еще не отказывает. Через церковь прошел, через жестяную купель, крикнул и придет сюда, всякий придет в конце. И церковь благословит его. А теперь одна она говорит о светлом. Ведь везде по билетам, а тут... Нищие вон толпятся на паперти, но и они могут войти, как равные, стать на колени и молиться в огнях и золоте! И никто не посмеет прогнать! — взволнованно говорил Качков, тряся за рукав студента.

— Выгоняют, и очень просто, — сказал студент. — Идея одно, а...

— Нет, не смеют! Церковь — это величайшая идея!

Студент взглянул на его дергающееся лицо и сказал:

— Чудак ты. Прекрасно, ну, не выгоняют. Зачем волноваться-то? Ты уж охрип.

Уже обходил крестный ход тьму вокруг с тысячами огней. Высокая толстая свеча дьякона качалась над головами.

— Вот, вот оно! — показал на толпу Качков. — Единение! Все одним связаны, тем, что живет в тайниках души, что не выскажешь. Объединены одним, чем и ты, и я. Только они не скажут. Я сливаюсь с ними, я чувствую их, и они мне близки! Только великие идеи могут так связывать! Родина, вера, самое дорогое, что ни за какие силы нельзя продать!

— Да не кричи ты так... смотрят на тебя все!

— Мне все равно, пускай. А как удивительно глубоко все это! Ну, смотри. Чернота кругом, уж и огней уличных не видишь, они утонули, провалились, будничные огни... Теперь воск горит! Воск!! Ночь глухая, и когда всем бы спать, какая-то важная-важная необходимость... и вот взрослые люди, которые днем торговали, обманывали, устали от тяжкой работы, — теперь умылись, надели все чистое и идут, поют... радуются! Какова же должна быть сила, чтобы заставить! И ведь с радостью!.. Это идея! Идея освобождения, воскресения и подъема! Может, и не понимают ее, но чувствуют и хотят, страстно хотят жить ею! Понимаешь, я теперь людей чувствую... целовать их хочу! хочу! Я тоже сейчас чувствую, как этот... не знаю кто... ну, тот поэт, который слагал эти песни... «И друг друга обымем! И ненавидящим нас прости вся Воскресением!» Мне плакать хочется!..

Голос Качкова осел и скрипнул. Студент взял его за рукав и сказал:

— Пойдем-ка домой. Даром только палишь себя.

— Мне теперь ничего не жаль и ничего не страшно. И все ничто в сравнении с тем, что я сейчас переживаю. За это можно отдать, не знаю что! Я высказаться не могу... как я переживаю... Милый! Да ты посмотри, сколько людей! Все, кто может, все идут сюда, к этому свету, потому что у них нет никакого другого света. Воскрес! В этом одном сколько — Воскрес! Я не про символ. Но надежда ведь тут, какая-то неясная, только чуемая будущая радость огромная. Воскреснет! Человечество воскреснет! И это создала церковь, вообще церковь... создала идею света и жизни! Ее петь надо! Это и святая сила, и величайшее искусство — вихри будить в душе, захватить так, до экстаза! Ведь это свет во тьме, эти церкви! Ведь не будь их, что бы было? Ведь некуда бы было пойти, ибо везде по билетам, с афишами! Ведь сплошной черный

день была бы подлая жизнь! Не могут же они, эти жить эмоциями выс-ше-го порядка! А звон-то...

Начинался хрустальный звон. Издалека плыл и накрывал город. Ударили и у Ивана Богослова. И как ударили! Должно быть, особенные какие были колокола.

И когда сказал Качков: «Какой звон!» — стоявший рядом в рыжем пальто, с багровой шишкой — наростом под нижней губой, сказал:

— У нас звон изо всех звонов! Покойник Иван Андроныч пожертвовал... Культяпкин, Иван Андроныч... Сколько-то тыщ очень много положено.

— А, Культяпкин! — сказал, вздрагивая, Качков. — Купец?

— Мясник он, конечно... но в купеческом звании... И електричество на колокольню для лиминации проклали в прошедчем году... и все ихнее, и новый алтарь...

— Ну и... дай ему Бог здоровья!

— Да уж он помер... в прошедшем году еще.

— Слышал?! Господин Культяпкин, мясник! И на идею!

— Прикинь побуждения, — сказал студент. — Эти умеют ковать копеечку.

— Я беру — вот! — показал Качков на звенящую колокольню. — Я все беру, дух самый, а не побужденье! Прощаю! Все прощаю Культяпкину! Все! Одним жестом вычеркнул и захерил! Искупил. Ты не пришел, он, я не пришел и не поставим им этого звона... вот стоит человек и радуется. Потому что он не знает никакого другого звона, а радоваться хочет, прикоснуться, пить из чудесной чаши! Вон эти... вон, ломятся в двери и кричат, что воскрес! Эти желают, радости хотят! И если бы не было этих культяпкиных, эта колокольня была бы во тьме, не горела бы эта звезда... не звонили победно... Темные церкви были бы, потому что ни ты, ни я не придем и не заставим гореть! Я не говорю, что дадим и отдадим себя им, я верю, — но это... это самое чуткое, самое дорогое в жизни! Прикасание к Божеству! Это все — огромнейшее искусство, святое! Наша мазня, воды, березы, лошади... как это мелко! А это все пронизано величайшими символами! И на это Культяпкин дает! Всем дает, и тебе! Ведь тут без билетов. Ну, демократ... радуйся! Или отнимешь? Подымется рука, демократ?! — дергал Качков за рукав

студента. — Скажешь, — а-а, Культяпкина превозносишь! Я его обниму за это! Только за это прощу, если у него дух горит!..

— Нагородил ты, потом разберешься, — угрюмо сказал студент.

— И разбираться не буду!

Звон заполнил весь город. И плавал, и накрывал, и тихо глушил, и заставлял дрожать грудь. И казалось, что на город вылился звонкий хрустальный дождь или морозное серебро.

— Идем домой... зубы уж у тебя стучат.

— За эти переживания много можно отдать. И я все прощаю, и все страдания принимаю и прощаю, потому что верю сейчас, что та жизнь, которая породила такую величайшую идею, — пострадать за всеобщее счастье... я про идею говорю!.. и пострадать лучшему из лучших, — такая жизнь не может быть отвергнута, и никакое страдание для нее ни ничтожно, ни не нужно. Я все прощаю. Я лабазам этим поклонюсь — пусть в них Культяпкины, пусть, пусть! И они страдают. И в них живая душа, которая может подыматься! Нет, я домой не пойду! Я буду бродить по улицам и храмам. Я людей хочу нынешних, умытых, чистых. И неба хочу, и звезд, и колоколов! Огни на высоких башнях! Огни под крестами и на крестах! Эти кресты вознесут человечество к небесам... Вася... к небесам! Это увенчанное человечество — кресты в небе! Это стихийная сила, вихрь! Лучше этого не напишешь. Надо больше башен с крестами! Выше городов, выше этих камней, где сдают комнаты и звенят ступки! За городами ставить... Нет, пусть здесь, лучше между домами. Пусть ковры вытряхают... ничего... не закидаешь пылью! Под небесами оно, в душе...

— Правильно, барин... верное ваше слово, — сказал тот же, который говорил про Культяпкина. — Выше святой церкви не может быть. Очень верно.

— Очень рад, что и вы понимаете... — задыхаясь, сказал Качков. — Я не совсем понятно...

— Все верно. И мы тоже все можем понимать. Проповеди так говорить надо... батюшки должны. Утешение большое будет, а то ниспровергнуто. А суть правильная, суть-то...

Крестный ход кончился. Теперь церковь сияла золотым нутром — и алтарь, и цветы, и свечи. Ходил парчовый дьякон с высокой свечой, расступалась толпа, и доходило на улицу — Воскрес! И пробирался священник с цветами. И так было тихо на улице, под тихим небом, что было хорошо слышно пение хора.

— А устал я... — сказал Качков. — Это лихорадка прошла, и совсем не знобит.

При свете соседских свечей студент увидал, что лицо Качкова было в пятнах и потное, а верхняя губа мелко дрожала.

— Довольно, пойдем, — сказал студент.

— Да, устал я...

И они пошли. Опять прошли мимо старой церкви, которая горела по линиям. Над входом сияло огромное красное яйцо и в нем святые инициалы.

— И тут, должно быть, тоже какой-нибудь Культяпкин! — сказал студент.

Их обступили нищие. Говорили: Христос воскрес, — а будто просили.

— Не торжествуют, а по-прежнему ноют... святыми словами, — сказал студент.

— Ты душу пощупай, — устало сказал Качков, которому больше хотелось говорить. — Глубоко... не достать пальцем...

Добрались до квартиры. Отперла Маша. Студент обнял ее и поцеловал три раза.

— Уж очень по-настоящему вы, — засмеялась она.

Добравшись до комнаты, Качков сейчас же прилег.

— Договорился!..

Студент зажег электричество и полез в форточку за своей пасхой.

— Ну, теперь давай пасху есть.

Качков лежал неподвижно.

— Неужели уж так ослаб?..

— Устал я... — едва выговорил Качков.

Студент снял колпачок, посмотрел на свою пасочку.

— Иди... что-то одному скучно...

1915

ЗНАМЕНИЯ

I

Неведомыми путями приходят и текут по округе знамения, намекают сказания. Откуда приходят, где зарождаются, как и кем? Есть в жизни незнаемые поэты. Жива созерцательная душа народа. Не любит она цифры и меры и непреложных законов. Жаждет иного мира, которому тесно в этом, хочет чудес, знамения и указующего Перста.

Какой уже день шумят и шумят старые деревья парка, — не утихает буря. Два серебристых тополя-гиганта, что стояли у каменных ворот усадьбы, упали прошлою ночью, и сразу стало неуютно и голо в саду. Вот она, обгладывающая все поздняя осень. И как будто совсем недавно стояли эти черные давние яблони в бело-розовом одеянии девичьего цвета, слушая брачный шепот ветра и пчел, неслышно роняя предсвадебные одежды. Теперь — черные-черные старухи, отовсюду выпустившие старые костыли-подпоры, чтобы не завалило бурей. Черные, обглоданные скелеты.

— А, глядеться, свежехонькие стояли... — недоуменно говорит работник Максим и носком сапога тычет в излом упавшего тополя. — Ни гнилости нигде не видать, ни защербинки нет...

Он пытливо смотрит совиным лицом, и его узкий, до переносья заросший лоб силится уяснить что-то очень значительное.

— Да-а... — выдыхает он, покачивая головой, — видно уж, дело такое... оказывает.

И опять трясет головой — решительно, точно теперь все ясно.

— Гляньте-ка! — тревожно говорит он и показывает за сад, поверх яблонь, к селу. — Крест-то?! сорвало крест-то на колокольне!

Теперь не мешают тополя. Теперь хорошо видно, как на куполе церкви, точно распятый на синем поле, лежит, держась обрывками золоченой цепи, знакомый крест.

— Сор-вало...

И говорит так, и так внятно молчит, что и в меня начинает прокрадываться смущающее беспокойство.

— За деревьями-то не видать было, а теперь сразу прочистило — смотри!

Ну, да. Сорвало крест, а чтобы усадьба видела, повалило и тополя. Конечно, это хочет сказать Максим.

И уже не одни мы смотрим от тополей к колокольне. Смотрит и Максимова баба, и остановивший на дороге, у столбов, свою лошадь урядник, и две старухи с котомками, пробирающиеся куда-то по грязной дороге.

— Когда ж это у вас крест-то снесло? — строго спрашивает урядник, словно мы виноваты — не доглядели.

— Когда снесло... снесло! — говорит сердито Максим. — Вот и дерева снесло.

— Плохо укрепили! Васька-пьяница ставил... вот.

— Этих не Васька ставил, свежехонькие совсем... Им и падать-то не из чего, а снесло! — предостерегающе-пытливо говорит Максим. — Да теперь уж...

Старухи крестятся, поглядывают на Максима, поддакивают укутанными головами и топчутся промокшими лапотками в грязи.

— Шли, родимый, мы тутось... село-то на горке, у большака-то... — говорит одна урядниковой спине, — у самой-то церкви заборчик на могилки завалился, на хрестики...

И когда мы все так стоим и смотрим и проникаем в таинственно совершающееся, захватившее, видимо, и урядника, который почему-то не отъезжает, двигается на нас вся растерзанная, в разбитых, на босу ногу, башмаках, старуха. Голова ее без покрышки, седая, растрепанная; коричневая сухая грудь раскрыта; жилистые синеватые ноги неприятно белеют на черной грязи дороги и общелкиваются мокрой, затертой юбкой.

— Адиоты! — говорит урядник. — Опять Губаниху выпустили!

Губаниха манит нас издали и что-то ищет за пазухой. Это душевнобольная, буйная в полнолуние, когда ее прикручивают к постели полотенцами. Теперь полнолуние

близко, Губаниха убежала от невестки и будет бродить по деревням, бить палкой окна и беспокоить народ. Ее, как всегда, поймают верст за двадцать, найдут всю истерзанную, где-нибудь в поле, где она «воет волком», и привезут скрученную веревками на телеге, а она будет рваться и стукаться седой головой о грядки. Из башмаков вытрясут собранные уцелевшие копейки.

— Домой ступай, бабушка! — ласково, чтобы не напугать, говорит урядник и лезет за кошельком. — Я тебе на калачик дам...

Старуха смотрит на нас запавшими красными глазами и отмахивается палкой, чтобы ей дали дорогу. Ударяет по урядниковй кобыле.

— Тпррр! Не серчай, бабушка...

— На мертвое тело, Христа ради... — просит старуха и все ищет и ищет за пазухой.

Она всегда просит — то на новую шубу, то на внучку, то на мертвое тело. Лет пять тому убили ее мужа в лесу, когда он ехал с лесной делянки. Потом, через месяц, утонул на Жиздре женатый сын, плотогон. И опять, тут же, еще новая смерть пришла в ее дом — убило автомобилем ее любимую дочь, — на шоссе, когда была гонка.

— На мертвое те-е-ло-о... — хрипит старуха.

Ей никто не отказывает: дает и урядник, и Максим. Старухи узнают от Максима подробности, долго роются в своих слойчатых юбках, кланяются Губанихе низко-низко и подают копейку.

— Свел бы ты ее, Максим, ко двору... — говорит урядник, — мне не по дороге.

— Боюсь я ее!.. — отмахивается Максим. — С ей не справишься.

Он даже отодвигается, и на лице его — жуть. Поглядывает то на старуху, то на колокольню. Губаниха усаживается на грязь, стаскивает полсапожек и прячет копейки. Седые волосы закрывают лицо. Видны теперь синие и белые плешины. И так чувствуется навороченная над этой убогой головой страшная груда кому-то нужного горя.

Урядник чешет переносье, смотрит на старуху, раздумывает. Распорядиться? Говорит, что у него важное дело в стану — упились трое спиртом этим, натулированным, к дознанию надо, — и отъезжает. Губаниха все переобувается на грязи, а богомолки сокрушенно присматриваются

к ней и прислушиваются, что говорит Максим. А он говорит:

— Им вот исходит, таким-то. На мертвое тело!.. То без путя плетет-плетет чего, а то вот — на мертвое тело!.. Разум соображает, что к чему. И погода какая скушная, и...

— Уж ей это от Господа-Батюшки так... — говорит богомолка. — Значит, исходит в ей разумение... теперь слушать ее надоть, не изойдет ли чего от ей, матушки сердешной...

Обе они смотрят на старуху и ждут. Нет, она все переобувается.

— Скажи ты нам, кормилец... чего такое? Большаком мы с Петровной намеднись шли... три монаха нам стрелись, — один в один, седые... с посошками.

— Ну? — сердито насупливая совиные брови, спрашивает Максим и ждет.

— А дорога дальняя, пристали мы... а деревенька-то игде — ня знаем, не здешние мы-та, кормилец... Успрашиваем монашков-то... слова нам не сказали, поклонились... Шажков двадцать прошли — и деревня. А то и не видать было!

— Лики-то хорошие такие, чистые... — сказала другая странница, владимирская, на *о*. — Оборотились мы-те на монашков-то... далече их видать, все видать... А тут и не стало видать, как нет их!

— А что, версту тебе их видать надо?

— Три монаха-те, один в один... — говорит странница и выжидает, не скажет ли чего Максим.

— Может, сказывали чего?

— Ни словечка не сказывали. В землю глядят, как у их что на мыслях, удручение...

— Плетешь невесть что! — говорит Максим сердито. — Теперь такое время, народ нельзя сомущать. Три монаха! Мало их ходят? — А куда шли-то?

— Туда, батюшка... — машет странница палочкой неизвестно куда, — на Кеев-батюшку, на Кеев, кормилец... к угодникам. С Кеева мы-те, от пещеров...

— Ну... ничего там, все в порядке? Ничего не слыхать про войну?

— Сказывали, батюшка... слыхать. Мы-те не знаем, не здешния... а будто воюет король-те этот... нямецкий! Нашему-то батюшке, Белому-те Царю, бумагу подавал, — дрожьмя-дрожит, а воеваться надоть ему, сила у его такая, воеваться чтобы... Он, гыть, черной вере предался, церкви

Господни жгеть... Мы-те ня знаем, что как... а стрелять наши как станут, так при нас женчина белая до небу до батюшки встанет и грозится име-те. Он-те и не может, страх видит Господень...

— А-а... в белом одеянии... — рассудительно говорит Максим. — Это и на полустанке сказывали, в ведомостях печатали. Как татары тоже приходили в старину, тоже было, разразило их. Теперь шурум-бурум выходит.

— Выходит, батюшка... выходит, кормилец. Я, гыть, на их черную веру призведу, печатами запечатаю...

— Запеча-таю! — повторяет другая странница. — Да... Три года, гыть, воеваться буду, срок мне такой выходит... В пещерках добрый человек читал по бумажке... Да-а... три монаха, один в один...

— Дурак вам сказывал! — с сердцем говорит Максим, взглядывая на меня. — А народ нечего сомущать... проходите себе, а зря болтать чего там — нечего. Кто там может запечатать чего?!

— Ня знаем, батюшка... не здешние мы-те, дальние...

— А не здешние — так и проходите.

— Идем, батюшка... идем, кормилец...

Они идут, выставляя далеко перед собой палочки, словно вымеривают дорогу, — старые дети, ищущие слепо своих путей в неведомое, не успокаивающейся на своих скудных пепелищах Руси.

— Монахи-монахи... — ворчит вслед им Максим. — Врут незнамо чего, а потом через их неприятность какая...

Он не договаривает, и по его насторожившемуся лицу видно, что он задет и уже предчувствует в монахах что-то значительное, что-то сокровенное. Разгадай, что к чему!

— Не люблю я этих богомолок шлющих да и монахов не уважаю. А вот какое следствие через это! Как чему надо случиться, — хлоп! — так вот их, как на грех, нанесет. Пойдут и пойдут. Как матери моей помереть, за два часа монах странный напиться зашел, углы у нас покрестил, ушел. А прямо жива-здорова сидела, пряла... ковш сама ему подала. Сейчас заикала-заикала, подкатило под ее — померла. Потом уж явственно стало, зачем углы закрестил. Другой раз... какое дело! Объявляется к нам, в деревню, наполовину — монах, наполовину — поп... весь растрепанный, чисто его по ветру носило, и без шляпы, какая им там полагается. А все как есть, посох у

него высокий и волосы за плечи, и по морде видать, — худой, прыщавый, рыжий... В знак чего пожаловал? — то-се, спрашивает его наш десятский, — у него все странные должны останавливаться на приют. Что думаешь, — молчит, немой! Просится эдаким манером, на пальцах кукишки разные показывает. Спать желаю, есть не хочу. Есть не хочу-у! А ряска у его длинныше чего не знаю — метет, ног не видать. А только дух от его в этом... в тепле-то распространился очень, прямо — падаль... Потом уж это дознали. Хорошо. Пачпорт проходной есть? Показывает бумагу. Бумага невиданная, откудова ему выдана, — не прописано. Четыре орла по углам, а промежду орлов — как кресты! Кресты и орлы. Вот и понимай, откудова он прикатил. Ну, бумага есть — спокойно. Десятский так и порешил: либо с Афона, а то неначе как с Ерусалима. А неграмотный хорошо-то, десятский-то. Видать, печати приложены разныя... Пе-ча-тев у его! Сказывал он потом — тринадцать печатев! Пришел он в самую-то полночь, чуть собаки его не изорвали. Но ничего. А собаки у нас, надо сказать, были злющия, Боже, мой... никогда их десятский не кормил и днем в сарае держал, а ночью могут лошадь изорвать, а не то что кого там. Лаять, выть, подняли такое безобразие, ну... а не могли взять его. Лоскутка не урвали. Ну, ложись на лавку, угощать тебя нечем. Лег на лавку... Только лег — захрапел в тужь. А?! чтоб ты думал! Сверчки засвистали и засвистали! А и в заводе никогда сверчков у десятского не водилось. Покрестился, стал задремывать... хлоп! Окно растворено, собаки взвились, помчали, шум, гам — ничего не понять. Что такое? Зажег лампочку — нет монаха-попа! В чем суть? За им погнал. Темень, дожь, собаки со всей деревни... Тут и разберись: десятского рвать и почали, и по-чали... и почали они его рва-ать! — бок ему вырвали наскрозь. Ну, народ повыскакал — отбивать. Четырех собак убили, нашему Цыганке напрочь ногу отбили, — так потом на трех и жил, — отбили. Ну, отбить-то отбили, а три месяца в больнице провалялся, боком стал ходить. Стали допрашивать, исправник приезжал! Где прохожий монах, что замечательного в нем было, почему орлы? не беглый ли из каких? А десятский — пик-пик... пик-пик... как цыплак стал пикать, как немой... только и разговору от его — кресты да орлы, орлы да кресты. И повернулось

у него в голове. С той поры только и мог разговаривать — орлы да кресты. Вот они какие бывают! Не люблю их, ну их к Богу...

Совиное Максимово лицо — дума и озабоченность: не для удовольствия вовсе рассказывает, а как бы погружает себя — и меня хочет погрузить — в мир нездешний. Что здешний мир! У Максима здесь одна канитель только и маета — вертишься вкруг пятака, не развернешься. Нарожал детей семь человек, теперь война вот-вот пошлет ему четверых братниных. У него узенький лоб, маленькая голова, маленькие глазки — совсем лесовый человек, и мерещатся этому лесовому человеку притаившиеся вокруг силы и тайны. И страшно принять их, отдаться в ихнюю власть, и жутко манят оне: кто знает, как оне обернутся! Может быть, и устроят судьбу, — таинственный выигрышный билет.

— А то еще было, только тут не монах, а... зашел в деревню, откуда — неизвестно, бык! — говорит Максим предостерегающе-строго. — Голова белая, сам черный-расчерный, сажа живая, и прямо ко вдове-бобылке. Смирный, никакого шуму, навязчивый, как овца. Диву дались — в чем суть? Привязали его к ветле, пока что, сенца дали, стали поджидать, какой хозяин объявится. В волость знак подали. С неделю так прошло, — не объявляется бык... хозяин его, стало быть. А бык стоит и стоит, ест вовсе малость, и хоть бы разок хвостом маханул. А время мушиное, жалят оне его туды-сюды, — без внимания. Пил вот, правда, много. Три ведра ему — никакого разговору. Вдова Бога молит, чтобы ей быка предоставить, — утешение ей послать. Мой, говорит, бык; прямо к мому двору стукнулся. Кто за вдову, кто — в стадо, обшшественный бык! Другая неделя таким манером проходит, — не объявляются. Лавошник один со стороны дал знак — мой. Приезжайте смотреть. Приезжает. Не мой, мой пегой. Цыганы приходили — наш бык, с табора убег от неприятности, лечить валяли. Доказывай суть! Где у него махонькое пятнышко, на котором месте в пузе? У хвоста. Врешь, под левой ногой. Выставили. Батюшка стал просить — уступите мне бычка, дам сорок целковых. Сто! Ну, хорошо, говорит, извольте вам полсотни, вдове еще пятерку накину за обиду. Думали-думали, — сыщется хозяин, отберет. Пожалуйте вам, батюшка, бычка. Повел

поп быка, — бык тебе ну... чисто собака за попом сам пошел. И хоть бы мыкнул разок в две-то недели, голос свой показал! Сейчас распой пошел такой!.. Вдова — хлоп! на другой день померла невидной смертью. Сталось с ней неведомо с чего, а всего-то три чашечки и поднесли-то. У нас происшествие вышло: разодрался староста с кузнецом, глаз кузнецу выткнул вертеном. Все с того, с быка! Хлоп — у попа пожар ночью открылся в сарае, у быка, — сгорел бык. И хоть бы мыкнул! Так тут все перепужались, — все до единого сразу тверезыми поделались. К попу: пой молебен, святи деревню. Поп горюет, — пятьдесят пять рублей вылетели ни за копеечку, для одного только безобразия, — попадья его жучит, мужики молебнов требуют, а тут еще вдову хоронить. Во-от серчал! И вдруг и заявляется тут с дальнего лесу лесник Иван Акинфов и говорит, в чем суть. Бык, говорит, и ко мне объявлялся, три дня — три ночи у самой двери стоял. Но замечательный — ни хвостом не двинет, ни голосу не подает. Когда приходил? Недели три. Самый тот бык, бела голова. Баба уж моя, говорит, прыскала на его крещенской водой, — отворотился и пошел к болотам. Потом, говорит, у меня в Москве в самый тот день сына отходники задавили, свалился он ночью с бочки. А потом, говорит, как бык у двора стоял, хорь всех курок до единой перекусил. — Это что же? Столько разов со мной всяких случаев было, — я теперь всему знак предаю... — продолжал Максим, показывая пальцем на Губаниху. — Про мертвое тело! В чем суть? Может, исходит ей чего, как она не в себе! Младшего сына у ей на войну взяли, она этого не понимает, вовсе она безумная, а, гляди, чует. Я вот которую ночь не сплю, про брата думаю. Увидал его во сне — письмо мне пишет. Что ж, воля Божья, приму за себя сирот...

Он все смотрит через поверженные тополя к селу, на поверженный бурею крест на синем поле.

— Ну, баушка... пойдем-ка ко двору, калачика тебе дадим. — Калачика больно любит! — подмигивает он. — Ну вот и пойдем, калачики будем есть...

Он берет старуху под мышки и подымает с грязи. Вся она мокрая, трясущаяся. Вся она будто знак этих мокрых, темных, пустых полей, тоскующих под ветром. Она пошатывается рядом с Максимом, насилу вытягивает чмокаю-

щие башмаки из грязи, резко и неприятно белеют ее синеватые ноги, и видишь не видишь несносимую груду, навалившуюся на эту голову непокрытую. Кто покроет ее? И миллионы других простоволосых голов, которых треплет суровым ветром в пустых полях? Дают копейки в округе на мертвое тело, и будут давать свои копейки. Ходит горе за всеми, к каждому постучаться может и будет долго стучаться непонятно-настойчивое горе: привяжется и не отходит.

II

Вечером Максим заходит потолковать. Который уже раз рассказывает про брата. Самое больное место. Придется принять на себя все семейство, если брат не воротится. Не взять его он не может: человек он совестливый, хоть и очень скупой, к тому же при всех на кухне в минуту прощанья торжественно объявил и даже перекрестился на образа, что в случае там чего принимает на себя все заботы — чтобы не беспокоился. Может быть, это-то и томит Максима, и он не может не думать о будущем и все подгоняет под эту думу, все подготовляет себя и томит неизбежностью.

Он суеверен страшно. Сегодня пришел совсем сумрачный и заявил прямо, что дело плохо: совал письмо в ящик, а оно застряло под крышечкой и сломалось — не хотело пролезть.

— Так, должно, и не получить ему моего письма. Ну, да уж один конец! Знаю я, что к чему. Вот Ырятель сказывал про лещей... разве не правда? Бог и скотинку умудряет. Лещ-то эна когда еще, по весне выходил, подавал знак, а война под конец лета...

С войной Максим связывает и весенний, — действительно, небывалый, — выход лещей к перекатам, и конопатчика, повесившегося прошлым летом на сеновале, и страшные лесные пожары, и сибирскую язву, и обильный урожай яблок — другой год подряд. И на вопрос, — при чем же тут конопатчик и яблоки, — говорит глухо:

— Будто и ни к чему, а думается так, что...

Все смутно теперь и вокруг, и в нем, и говорит он смутно. Он малограмотен, прочел только недавно «про ветхозавет» и очень стал много думать, — говорила его жена. Спрашивал, почему два ковчега было, и куда поде-

вался первый; жива ли теперь гора Арарат; нашей ли веры был пророк Илия. У священника все просил Библию, чтобы «все проникнуть». Жена ходила к матушке и просила не давать ему: «книжки» — и так толку от него не добьешься.

— Сколько там годов пройдет, а кончится все в нашу пользу. А вот.

Он прислоняется к печке, морщит с потугой волосатый лоб и устремляет всегда, как будто, что-то особенное видящий взгляд на темное окно. А за окном шумят и шумят деревья в саду — не утихает ветер.

— Показано было за много годов еще, только что не каждый мог достигнуть... — говорит он загадочно. — И не только что эта война, и с японцами которая. У батюшки вчера читали про историю. За много годов тому и в каких местах — неизвестно, но надо полагать, что в нашей стороне... поехал один очень замечательный генерал в древнюю пустыню, как все равно что скит, где спасаются отчельники... но тут женский пол был... И там вот и объявилось, только не знали, что к чему! А теперь стало вполне понятное знаменье. Ну, генерал тут поговел, все честь честью, и сейчас, стало быть, присоветовали ему разные мудрые люди потребовать старицу одну праведной жизни, а она слыла там вроде как не совсем, у ней все здесь в порядке, — стало быть, находило на нее. И тогда только понимай. И вот, как объявилась она перед ним, генерал и спрашивает сурьезно: «Скажи мне, старица святая, какая ожидает судьба ту жизнь, которая дадена мне от Господа Бога? Человек я военный, мне необходимо знать доподлинно, как есть. Какая судьба для моего славного вер-отечества?» В книжке, которую у попа вчера читали, очень так... внятно, нельзя слова проронить. Вспроси-ил... А старушка ему ни слова, ни полслова! Что тут делать! Он ее другой раз вспрашивает: — «почему вы не сказываете, я затаю это на глубине души! Скажите, если вам Господь исподобит. Я не из какого любопытства там праздную, а необходимо очень». Тут старушка сколько-то подумала-повздыхала и сейчас с ее изошло. Сейчас живо отправляется в уголушек, к своему шкапчику, где у нее всякий вобиход скудный, — хлоп! — и вдруг выносит ему два предмета. Один предмет прямо подает, а другой за спиной прячет. Сперва подает генералу — со-леный

огурец! И лицо у нее тут стало грустное-разгрустное и печальное, и даже все испугались. И потом вдруг стала, как все в ней тут в порядке, и даже как сияние от ее лица — прямо, ласковая. И подает генералу другой сокрытый предмет — огромный кусок сахару, от сахарной головы. И опять ни слова, ни полслова! И вот тут-то и вышло знаменье. А ведь как все сокрыто!.. А оказывается очень явственно. Все они образованные, все понимают, а тут, как стена им стала. И не могли прознать.

— А в чем дело?

— А вот. Огурец... значит, война! Потому что огурец, все равно как войско, очень много, конечно, в нем семечков. И война нещастливая, потому — со-леный огурец — к слезам! Японская-то война и была. А сахар-то, огромаднейший кусок, это — нонешняя война, огромадная. Значит, как разгрызешь его, — сладко будет. Так и надо толковать. И если все понимать, что к чему, то и на небе, и на земле не без причины. Надо только прикидывать!

— Значит, крест-то с колокольни снесло...

— С батюшкой говорили и про крест. Колокольня здешняя — стало быть, потерпят здешние. Значит, становьте себе крест! Так батюшка и говорит, — все понесем, примем на себя крест!

Говорит он глухим, предостерегающим голосом, точно хочет и себя напугать, и слушателя. Ждет уяснения и откровения и боится. Жаждет знамения и указующего Перста. И не один он. Ступайте по дорогам, войдите в пустые деревни. Под тысячами прогнивающих крыш, за укутанными мутными окнами, не видя ничего и не постигая великой и страшной сути, ждут, страстно ждут знамения и указующего Перста. Истинные вести идут и сочатся, но разве скоро идут оне и скоро ли приникают? Не прошла еще старая Русь, которая находит вести своими путями.

Вот повалил к сентябрю, дружный, артельный рыжик — к войне. И долго держался: пойдут наборы. Но тут и без рыжика явственно. А вот белянки... те показали — эна, еще когда! Еще в половине июля — с чего бы так рано? — повалили белянки, — целыми полками так и сидят под мохом. А сила мака у стрелочника! Два года не родился как следует — и не в ветреную погоду сеял! — все выходил кусточками, а ноне не налюбуешься. Теперь-то и оказалось. Это уж всякому должно быть известно — к

войне. В каждой-то маковичке — как целый полк, хоть нарочно считай. Это стрелочник еще хлопцем слыхал, а тут невдомек. А так прямо и вышло, как вылилось.

III

Как-то зашел Нырятель, мужичок-рыболов из-под Щетинина омута, напомнил:

— Помните, лещ-то? Бабы-то наши учуяли, а?! Да и то сказать, — Бог и скотинку умудряет.

И вспоминается теплая июньская ночь на Щетининром омуте и рассказ о рыбах.

— ...Как оттерся, выпростался, вся тешуя с его соплывет и соплывет — до крови. Слабость на его нападет и нападет, беда. Сейчас первое ему удовольствие — лечиться. Воды ему, стало быть, свежей и песочку. Он тебе не пойдет куда вглыбь там, это уж он знает... знает, где ему польза окажет. Первый ход ему, чтобы беспременно на Кривой Брод. Сейчас, первым делом, Господи, баслови, — на Кривой Брод поползет, стена стеной! Так и валит, так и валит рядами, головешками в одну сторону, чисто тебе войско его идет. Тыщи миллионов его тут, а нонче бы-ли?! Мать твоя, сковородка! Засыпал и засыпал весь брод! И ведь чего — не боится! Мужики едут прямо на его, он тут возля стоит — дави, на! Истинный Господь, не вру. Пожмется так, малость самую, чтобы только по ем не ездили, и стоит. Ах, ты, леший! Да-а... Ну, теперь подходи к нему с наметкой, с берегу — вот он, накрывай! Ладно. То-олько завел... врешь. Сейчас снизится, поотодвинется и почнет клониться к тому краю... ни-как! Продвинется, сколько ему полагается, чтобы не достать, опять подымется и стоит. Заходи оттеда — опять сызнова разговор. Пристрафлялись сетью, — только станешь подбираться издали, во-он откуда портки спустишь, — в омут сплыл и сплыл, как по команде. Чисто у его там распоряжается кто. Не веришь? Чтоб мне его никогда не поймать, истинный Бог — не вру. Спрашивай у тресвятских, у болотинских — издят они через Кривой Брод, видали. Из годов год. Вот бабы раз... уж и смеху было! — идут гуртом, а я тут, под теми вон кустиками, у подмоинки, на судачка жерлицы расставлял... ка-ак заверещат, да ка-ак шарахнут! Его, стало быть, и увидали, в самый-то полдень. Вода-то че-орная от его, — весь песок укрыл, перья поверху

шумят, играют, на спинках-то... горбушками-то черными так и выпирает весь вон. Креститься начали. К войне, што ль, он это? — говорят. Истинный Бог!

Теперь Нырятелю все кажется вполне ясным. Рыба! Уж если про рыбу разговаривать, так умней ее нет. Надо ее понимать, а Нырятель ее понимает лучше кого угодно. По пять минут в воде пробыть может! Не усмотришь враз — потом схватишься, да поздно. Вот окуня нынче совсем на чистой глубине не видать стало, — весь в крепи, под топлюги забился, укрепился и никуда, а в прошлом году бреднем пойдешь — и трехфунтовых зацепишь. Это уж он чует чего. Теперь этот еще: ельчик: запропал и запропал. А елец-то какой все был — четверть! Куда его вымело? Пескарь, шут его разберет, на глыби хватать стал, в тишинке. Разве ему тут место?

— Прямо, — говорит шепотом Нырятель, — рыба нонче ополоумела. Налим в июле ловился, в самыя жары! Головля я знаю, как свои капиталы, где ему когда быть полагается, — фунтовичкам ли, тройчкам ли... все квартеры ихния знаю. Ну, и что ж он у меня выкинул, какую манеру! Ныряю за им под ветлами, где бырит кругами... тут, ведь, ему, сердешному, сласть самая... хорошо. Как в погреб мне за им слазить. Мырнул разок, движу по дну, гляжу — пескаря насыпано, как каши! Шуганул. Щурец встрелся, та-ак с полфунтика, внимания на него нет. Ладно. Да игде ж, думаю, головли-то мои? Под кручу дошел — единого-разъединого головлишку встрел, та-ак с фунтик, — не пойму и не пойму. На ямы перешел, к глыбам, где только налимам стан настоящий, а головля тут и не пахло никогда... Пожжалуйте! Весь тут, чисто хоронится. Прямо, ниспроверг и ниспроверг. Почему такое? Присягу на их приму, известны они мне сорок седьмой год, как нырять стал. Первый раз обманулся. Какое-нибудь им понятие надлежит, для чего нужно... через землю им подается — шут их разберет. Рыба, а хитрей этих рыбов нет. Молчит — думаешь, бесчувственное какое существование-предмет, а она свое ведет, свой оборот. Налим... с морды его глядеть — дурак и дурак, а он такое может, что...

Но о Нырятеле и его рыбьем царстве, которое он знает, как ни один ихтиолог-профессор, я попробую рассказать в другое время, когда настанет пора спокойных и веселых разговоров.

IV

У дяди Семена, бывшего десятского, давно обобраны яблоки, ободран осенними непогодами сад, и шалашик, засыпанный почерневшим листом, глядится грязным ворохом гнили. Давно улетели ласточки, закуталась в солому изба, смотрит больной и слепой и даже покосилась как будто. Долгими вечерами под желтым огоньком висячей лампы ткет бесконечные фитильные ленты молодка-сноха, толкает и толкает стукотливый станок. Дядя Семен ищет по старым газетам «списки», водит по непослушным строкам непривычным пальцем, все ищет. Нет, не находится: все офицеры и офицеры. Разве все упишешь в газетах. Сказывают вон...

В первом списке, который он находил читать в городе, не дождавшись известий из волости, не нашел он своего Михайлу Орешкина. А больше трех недель нет письма. А уж и старуха Зеленова получила совсем недавно, — сын ее лежит в лазарете, в Минске, и скоро опять подвигнется на приступ. И Никифоровы получили известие, форменную открытку из Германии, — ишь ты, куда попал! — что в плену сидит Васька Никифоров, в лазарете. И уже три двора знают, что убиты их сыновья и хозяева — гармонист Сашка Вяхрев, Степан Недосекин, столяр-модельщик, — восемьдесят рублей добывал в месяц, — и Ганя Крапивин, с поджабинского завода, формовщик.

Выпал глубокий снег, надели пушистые чепцы принизившиеся избушки. Засветлели поля, и новые дороги проложили свои рыхлые ленты. На сердце повеселей как будто. Крепче трещат на задах сороки, несут и несут вести и утром, и к вечеру.

— Как, дядя Семен, дела?

Стоим у въезда в село, у церкви.

— Жив!! — кричит он, хотя стоим лицо на лицо. — Сразу три письма вчера получили! Во семи боях был, подо всякими канонадами!.. Уберег Господь... так рады, так рады!

Он не такой, как всегда. Он не нанизывает слова, и пропала его степенность: говорит-говорит, и, кажется, все в нем взбито и перетряхнуто. Скоро-скоро крестится на белую церковь, на которой уже налажен крест.

— Носки шерстяные ему послал, да хуфайку с варежками, всего навязали. Лепешек старуха ему напекла-а!.. Жив!

И, точно испугавшись великой радости, говорит тихо:

— Ну, только война эта, не дай Бог, как сурьезна. Что-то Господь даст...

Помнит ли, что загнездились у него ласточки?

— Главное дело, старуха чует, что возворотится: сердце у нее легкое стало, вот что. Она по сердцу узнает. Пишет, — маленько ногами жалится стал, на воде довелось много разов отличаться. Ну, да ведь не на гулянках, всего бывает. Мы тут в тепле, в одежде, в сытости, а им и не попито, и не поспано, да... Да только бы возворотился, а то у нас тут старуха Зеленова умеет, как взяться, — пареной брюквой со шкипидаром, живо распространить. В земской тоже хорошие доктора, — с полгоря. Стены помогут. Сейчас с почты бег, отправку ему делал. Старуха ему лепешек там, а я упомнил, — копченую селедку он уважает, — прямо, брат, ему цельный пяток всыпал! А?! Дойдет?

— Дойдет.

— Там кажный кусочек — не наглядишься! У нас тут и творожку, и барашка намедни посолили, и чайку, а там... не распространишься, а? Ведь, верно?! Там им...

Что это? Дядя Семен моргает и старается скинуть накатившиеся совсем было забытые слезы. Сам удивлен, смазывает их жесткой, обветренной рукой и смеется тихо — не может уже сдержать себя. А оне все бегут, скатываются по носу, прячутся в бороде. И у него, такого крепкого, такого сурового, хозяйственного, который кричит на свою старуху, если она начинает ныть, даже у него ослабело снутри.

— Да что, другой раз так. Намедни, как писем не было, не сплю и не сплю. Пошла старуха корову поглядеть, — телиться ей вот-вот, — а со мной какая манера вышла! Сплю — не сплю... вижу — Мишутка, как махонький еще был, сидит на лавке, где у нас в рамочке похвальный лист, отличие его из училищи, и смеется. Так меня... вроде как удивило. А тут смотрю — ничего, старуха прибирается, ведром стучит. Шесть часов! Стали гадать, к чему такое. Говорит — к хорошему, ежели он веселый... сон-то такой явственный. Тут я раздумался и, прямо сказать, поплакал чуток, впервой... старухе не сказался. Глядь — три письма! Скажи на милость! Чисто сам принес.

Знамения... Пусть приходят знамения, которыми живет сердце. Пусть прилетают ласточки и вьют гнезда, смеются по темным избам являющиеся из страшных далей детские лица. Пусть и сороки несут хорошие вести. В светлых одеждах светлоликие жены пусть подымаются до самого неба и наводят страх Божий на полчища супостатов. Если и их не будет, этих сердцем рожденных знамений, что уяснит, успокоит и вызовет радостные слезы? И рыбы пусть вещают неведомыми знаками, и птицы, и голоса. Пусть только радостное. В пустынных полях только ветры блуждают, метели идут на пустые поля. Что веселого скажут они плачущим своим воем?

V

В прокуренном, жарком вагоне, из Калуги на Москву, сбилось народу около старика-псаломщика, который едет проводить внука-ополченца, призываемого в дружину. Старик дряхлый совсем, благообразный, патриархальный старик, с ласковой седой бородой до глаз, в бархатном картузе, в казакинчике, в валенках, мягкий и благодушный. На него приятно смотреть и слушать его приятно: у него детски доверчивый взгляд и мягкий, ласкающий говорок. Так добрые старики разговаривают с внучатами. Он всем рассказал, что внук у него замечательный регент и до подробностей объяснил, что это значит — регент. Потом очень подробно рассказал, как внук женился на замечательной барышне, — по любви! — и какую замечательную снял квартиру — все электрическое! и какого петуха замечательного прислал ему внук — бесподобного голоса и храбрей его нет на селе! А от внука поедет к Троице, поговеть. И потом принялся рассказывать маленькому старичку, у которого бурый полушубок весь был в новых, кирпичного цвета, заплатах-стрелках, кружочках, шашечках:

— ...Все идут и идут, притомились, а до деревни все далеко. И хлебушко у них весь вышел, а ветер встречный, и уж и снежком стало наметывать... И уж на дворе и темень...

— Темень?! — удивленно говорит старичок. — Значит, та-ак... — и качает маленькой головой в большой шапке.

— И стали тут странницы Господа просить, чтобы донес их до какого жилья... И хоть бы человек встрелся!

Ни-кого, ни живой души. И стали оне молиться угодникам. А были оне, видишь, в Киеве, в Печорской лавре...

— В Кееве?! Значит, та-ак...

— И вдруг... идут к ним по дороге три старца! а что замечательно, — один в один, на одно лицо все, строгие... хорошие, конечно, замечательной жизни... Надо думать, — киевские по облику. Может, так будем говорить, Лука, эконом Печерский... — замечательный по своей жизни, оч-чень замечательный. Ну, и еще, скажем, Марко Гробокопатель, тоже необыкновенно замечательный, всем им могилы копал и себе, конечно... и еще третий... ну, к примеру, Иоанн Милостивый... Все сии замечательной жизни...

— Замечательной?! Значит, та-ак...

— Идут, ни слова не говорят. И замолились старушки: укажите нам путь ко двору-жилью... метель нас заносит-укрывает. Да-а... И уж совсем стали коченеть. А старцы ближе к ним идут, а ног не слыхать, постуку-то от них нету, как движут по воздуху. Остановились тут старцы и говорят: «не погибнете вы, убогия, не бойтеся!»

— Не бойтесь?!!

— Да, не бойтеся. «Мы вам встрелись — мы вам и путь укажем. Идите прямо, тут вам и стан-пристань!» Возрадовались странницы-богомолки, в слезах радостных спрашивают тех старцев: «а как нам за вас Господа Бога молить, какое ваше имя святое в молитвах поминать?» А старцы-монахи и отвечают: «не надо за нас Господа Бога молить, в молитвах нас поминать»...

— Не надоть?!!

— Да... «Мы петы-молены, от Господа Бога превознесены. Мы, говорит, ходим по дорогам, учишаем слезы горькие, веселим сердце человеческое! Лежали мы тыщи лет под землей, правили нам службы-молебны, да... теперь время наше пристало, повелено нам ходить по всей земле православной...»

— Да-да-да...

— А потом и говорит один из них, самый середний, повыше других...

— Повыше, стало быть... та-ак.

— Все они одинакие, а один маленько повыше... «Идите, говорит, вас теперь каждый воспримет... каждому говорите, как вышла вам радость-избавление, так и всему

народу православному избавление-победа, чтобы не сомущались». И сокрылись.

— Сокрылись?! Значит, та-ак... нисчезли.

— А тут сейчас и выходит самое это. Затихло ненастье, ветер кончился и метели нет. Пошли странницы... шагов, может, всего-то сто и прошли — вот оно и село. Донесло их духом. Стали у мужика одного разоблачаться, а у каждой по просвирке в котомочках... совсем мяконькия...

— Да-да-да... про-свирки?!

— Сейчас пошли в церковь, доложили батюшке — так и так. Это мне один человек рассказывал, хороший человек, замечательный человек по жизни... Близ его волости, будто, было... а в трактир в городе моему крестнику сам трактирщик говорил, что под Тулой это вышло...

— Слыхал и я... — раздался с верхней лавочки голос, и показалось круглое и красное, как титовское яблоко, лицо. — Только у нас в Тихоновской Пустыни, сказывали, что монахи безо всякого разговору прошли, но однакось старухи те прямо сейчас и пришли в село. А исчезли они — это так. Сразу, будто, и скрылись. Разное болтают. Будто и другие монахов видали, только в белых каблуках, будто...

— Ну, там я не знаю, что болтают... что слыхал, то и сообщаю... Был про войну разговор, — вот, говорит, видение какое было. Урядник тоже тут был наш, интересовался.

— Воспретил?

— Нет. Воспретить не воспретил, а... все-таки, говорит, не надо много разговоров. Но, между прочим, все понимают, что к чему...

— Этого невозможно воспретить... чего ж тут! — сказал мужичок, снял свою шапку, посмотрел в нее и опять надел. — Тут божественное...

Так приходят знамения, рождаются сказания. Пусть... Пусть только приходят радостные.

<1914>

ПРАВДА ДЯДИ СЕМЕНА

Рядом с Мироновой избой-игрушкой изба дяди Семена смотрит хмуро, значительно, как и сам хозяин. Много повидала всего, две крыши сменила, осела, спеклась, и стал ее лик говорить: пожили, повидали, знаем. Рожали и умирали в ней; выбирались в пожар; плакали по сведенной за недоимку корове; проклинали судьбу и очень уж мало радовались. Только последние годы стали немного радоваться, когда воротился дядя Семен из Москвы, с лакового завода, завел яблочный садик, перестал пить, «распостранился» хозяйством, пережил трудные годы, когда служил Михайла в солдатах, поженил сына, — а тут и война. Самое-то хорошее и было, когда прошлым летом заново крыли крышу — на свадьбу, под молодых. И теперь смотрит эта былая короткая радость свежей соломой. А в радужных, пропеченных стеклах скупых окошек — прежнее, нерадостное глядится: воротилось. А ведь и стекла новые собирался вставить дядя Семен к прошлому Покрову — пусть глядит веселей. И не довелось вставить. А теперь и совсем ни к чему: на старое-то глядеть можно и в старые стекла. Да и глядеть неохота.

— Вон Мироша-то в новые глядит — глаза режет. Воротиться-то воротился, а, гляди, завтра и не поворотился!

Дядя Семен теперь хорошо знает, что за болезнь у Мирона от немецкой бомбы. И не завидует.

Но, ведь, ласточки опять прилетели на старые гнезда! Ведь это к счастью? Прилетели и отлетели. Осень опять идет, нерадостная пора. Ну, а было ли радостного-то за год?

— Нет... ничего не было.

Не тот он, каким был год назад, не крепкий. Серые его кудри побелели, в глазах томленье... Молчит-молчит —

и передохнет с сипотцой. И у сердца потрет, под мышкой, и головой покачает, и неспокойно ему на завалинке, где сидим: нет-нет и задвигается.

— Радостное... — угрюмо говорит он и смотрит за реку, на луга, словно перебирает в памяти, — а, может, и было что радостное?

— У кого оно... радостное-то?! Шутки... Вот в городу, у лавошников, да... энти рады! Есть такие, что Бога благодарят. Ну, когда ей конец, а?! Неизвестно... Никому не известно. Думаю-думаю, ничего в понятие не возьму... ведь, раззор! Всем раззор будет! И немцам, все равно — раззор! Значит, такое дурение народов. Немцы, и те вон совсем задурели. Да так. Сказать тебе правду, — странникам всяким, бормоталам, веры не даю... языческим инструментом этим хлеб зарабатывают, распространяться не допускаю. А вот ночевал у меня один, вологодский, степенный... к сыну шел, в лазарет... Старик — худого не говори, по разговору видать. И сын ему написал под присягой... сам я и письмо от его читал с клеймом. Так и пишет, что — под присягой тебе сообчаю. Под городом, пишет, Лосью... — знаешь, город Лось? — Ну, вот под этим городом набили наши немца большую гору... под колокольню, слышь! Под присягой, говорит, пишу! Сам бил и видал и разговор ихний слышал, до чего отчаянность! Били его, били, а он все прет. Уж и пушки все раскалились, сил нет... и уж мы на его побегли со всех трех концов, невмоготу уж ему и ружья держать от жару... покидал ружья, руки поднял, а сам все кричит, ногами стучит-топчет: «дайте нам Варшаву!» А?! Ведь, это что... какое, надо помрачение в голове! Достигну, говорит! И достиг?! Достиг, леший его дери! Ну, правда... опаивают его... вроде как вохманские капли у него в пузырьке... дознали. Глаза выпучит, свету не видит... ну, и жись ему недорога. Чу-ме-ют! Ну, как тут противно такого манера?! Газы пущает — даже черви, будто, на аршин в земле подыхают! Это называется — образованные!.. Дураки — не выдумываем, а вот образованные!.. которые все науки учили, и как людей потравить, дар Божий... Газ летучий употребляют, чисто на крыс! Закон Божий учили... и в Бога признают!

Говорит дядя Семен, Орешкин, бывший десятский, бывший лаковар, которого Закону Божьему не учили. Он

родился рабом, по третьему году получил волю и уйму долга и не получил ничего больше. Потом он долгие годы получал пинки и затрещины и самые пустяки за труд. И Закона Божьего не учил. От земли, от этого неба тихого получил он какие-то свои законы, в темную душу свою уложил и несет. И знает, что беззаконие. Смотрит на него с синих куполов крест небогатой церкви в тихом озарении вечера. Мало и про этот Крест знает дядя Семен. Вряд ли знает, что и там тот же Крест. Пусть уж лучше не знает.

Не слышно постука ткацкого станка в избе: прикрылась фитильная фабрика и не работает ленты и фитили Марья, невестка. Да и времени не хватает — совсем заслабела бабка, корову подоить не может: подковырнула ее война тревогами.

— Никуда старуха, отсякла... сердцем мается, ноги запухли... Скоро, должно, пачпорт ей выправлять бессрочный... пожили мы с ней, поедали, всего повидали... а вот на закуску нам с ней теперь...

Дядя Семен не договаривает, что послала им жизнь на закуску. Не может договорить — сводит в горле. Он потирает под бородой, и темное, большое лицо его сморщено в частую сетку, и в каждой морщинке — былое, невеселое. О, если бы вывести их, стариков, всех, этих, доживающих нерадостную жизнь в тяжком неведении, что будет, — вывести в чистое поле и показать взгляду, привычно скользящему, не останавливающемуся на ямах и рытвинах расплескавшейся жизни! Остановился бы и померк привычно скользящий взгляд, не смог бы прямо смотреть, как не можно смотреть на солнце.

— Мор на стариков на наших... мор... — говорит дядя Семен. — Бывало, один-два за год-то улетучатся яблоки на тот свет жевать, а нонешний год мерлы задали... шесть человек! Потрясение-скорбь, с нутра. Как сухостой с ветру. Другой бы и пожил годок-другой, а тут одно за одно, не дай Бог. Вот... с того краю, стало быть, начинай, считай. Аким Волков — раз. Поехал по дрова, у чайной стал спиц взять, закачнулся-закачнулся, захлюпало в глотке — на пороге и помер, голову расшиб... В Миколу еще старуха Васева... у той сын в плену помер, заездили немцы...

Пересчитывает, а в голубоватых глазах вопрос и тоска. И вспоминается мне попова вечеринка в уездном городке,

сидит на диванчике молодой псаломщик с гитарой и смешливо и быстро-быстро, словно часы читает, рассказывает о доходах, подыгрывая на одной струне:

— Свадьбы сократи-лись, крестин совсем ма-ло! (на мотив — «только он прие-хал — опять уезжает»).

И потом часто-часто, скороговорочкой:

— Производство живого товару сокращается, выручает: первое — погребение, старухи шибко помирать принялись, в нашем посаде за один рождественский пост семерых старух похоронили... второе — панихиды, сорокоусты, молебны, до двух десятков молебнов каждый праздник, и о болящих, и о скорбящих, и благодарственные, и по обещанию... есть некоторые семейства — по три разных молебнов служат, и просфор больше неизмеримо, на Рождество было тысяча триста сорок просфор! Батюшка подымался с трех часов утра раннюю обедню служить... иконы и крест несравнимо щедрее принимают, на помин души вклады... Канительщика нашего компаньон от холеры помер, в обозной канцелярии был, пороху и не нюхал — в честь его тыщу рублей вклад внесли. Печа-альная комниба-ция жи.. и... зни... (на мотив — «вот мчится тройка почтов-а-я...»).

Тряхнул рыжим хохлом, ударил всей пятерней по струнам и ухнул, словно провалился куда:

Ух-ух... глаз распух,
Ры-ло пере-крыло!

— Должно быть, повсюду так — помирай, старухи!

— Знамо... одни люди-то!

И вдруг проясняется сумрачное лицо дяди Семена, когда я спрашиваю про невестку.

— С икро-ой! Такой подарок нам Михайла уделал... мастак! Был у нас к масленой в побывку, на десять ден его отпустил ротный... по череду пускал исправных, за честное слово. Как снег на голову! Ну, ладно...

Ну, вот и радость. Дядя Семен расцвел, брови заиграли, лицо с хитрецой, в глазах опять потухшие было огоньки, рукой теребит меня за рукав — весь ожил.

— Браги наварили! Старуха припомнила, как ее варить-то. Солоду да дрожжей, да сахару, да хмельку — шапкой вздуло! Гудит-шипит! Такая брага — в тот ж день поехали мы с Мишкой на корячках... Песни гудим, с

Марухой уж он разошелся, распострани-ил! Вот как распострани-ил! Я его раззадорил, правду тебе сказать. Говорю: как же ты ее так, пустую нам оставил, такой-сякой, унтер-офицер, а еще са-пер? А она так и летает — швыряется, как буря. Из одного стакана все с ним брагу тянула. Да чего там... старуха моя напилась! Все гудим, как гуд какой... все перзабыли! А Михайла ее охаживает, Марью-то... «Я энтого дела так не оставлю... я специаяльно!» И старуха заинтересовалась этим делом, — мигает-мигает снохе-то, а сама браги подливает да подливает... Гуся зажарили, был у меня один гусь заветный, на племя-был его, а тут пустил, с кашей поели. Потом, значит, свинина у меня еще солилась... уж и ел! Спать уходили в холодную, под мороз, — старухина примета такая... Дело житейское, скажу тебе... жись! Михайла-то тож в холодной зародился. И ей-то перед нами обидно... будто чужая живет... пустая-то! Пять ден от ее не отходил! Сидят и глядят на глаза друг дружке... Поглядел я на них — вот она, жись-то! Живи и живи, работай, распостраняйся... Ведь, он у меня вола подымет! ведь, Михайлу моего пять мужиков бить-был сбирались летошний год, из-за покосу вышло... раскидал! Дорогой человек для жизни, а, гляди, и не свидимся больше... Да, вот и подумаешь... Ну... — отмахнулся головой дядя Семен от своей думы, — ну, и насосал он ей губы да щеки, — чисто калина ходила! Вон идет на помине! Глянь, какая теперь! Бока-то расперло — старуха не надивится, корову доить не дает, боится, — не зашибла бы. Корень-то и завелся в дому.

Марья, невестка, возвращается с полустанка: ходила на почту.

— Нету, чай?

— Нету.

— Стало быть, не надобна ты ему... вот что.

Он смотрит на нее добрым, хозяйским взглядом, заботливым и ласковым, хлопает подле себя по завалинке и говорит:

— Присядь-ка, Маруха... устала, чай?

Она грузно садится, раскидывая синюю юбку. Чернобровенькая, пригожая, только посумрачней стала, и под глазами синее — устала. Она запыхалась, — грузна очень — и сильно оттопыривается на животе ее драповая кофта.

— Так-так, — ласково говорит дядя Семен, оглядывая ее. — Ну, порадую я тебя. У образов там... попов работник привез, только-только ушла...

— Письмо?!

— Да с патретом! в Двинске сымался.

— Ой, врешь?! — вскрикивает она, схватывается и, переваливаясь, бежит в избу.

— А до него-то все будто недовольная ходила. Молодка... глядишь — и от дому отобьется, ну да теперь закрепил, крепче гвоздя пришил. Люблю эту самую манеру, как баба занята. На скотину горе смотреть, как не покрыта, а про живую душу чего говорить!

Жизнь творящая, мудрая говорит в нем, хозяине. Все у него слажено, все у места и все имеет свой смысл — все для жизни. И внутренний мир налажен плотно и просто, как и хозяйство. Держится за него и боится, что вот поползет. Задумываться стал, да и как не задумываться. Сена у него собрано два сарая, и хлеба есть, и овса: работал, не покладая рук. А все задумываться приходится. А у кого вот не запасено...

— Горе, что говорить. Нонча баба себя оказывает, мужика сколь поубавилось. Много народу зашатается, дай время. Теперь видать. Семеро дворов не обсеялись, а на весну... подумать надо, чего идет. Так надо подумать... а ничего не поделаешь, коли воевать надо. Сыщи-ка, поди, работника. Нанялся ко мне один разува... до войны его кажный по шее благодарил за работу-то его: курева да хожева — тольки от него и делов. А тут и за его перо ухватился — не совладаю с сеном. За рупь с четвертаком — и лапша мне чтобы кажный день и каша белая, три раза чай чтобы! Натерпелся. Дороговизь! Лапти плести будем, вот что. Восемнадцать рублей сапоги, а? Карасин — семь копеек, гречка — четырнадцать монет фунт... да затхлая! Ситнай... во как лавошники-то нас уважают! Греб такая идет — во все карманы. Я газеты читаю, понимаю. Ведь, караул кричать скоро буду! Да я-то крепкай! А вот... Ах, зашатается народ, заслабеет. То был поднялись, то был взовились... укрываться стали... да водку запрети — да милинеры были б! Энтот, змей, устерег. Эх! политику надо! такую надо бы политику, тут политика прогадала! Я газеты читаю... я б тебе сказал!..

Стукнул черным кулаком по коленке, сжал губы: боль в каждом слове, в каждой морщинке, избороздившей его лицо. Не для разговора говорит все это: каждая лишняя монетка — мозоль, кровь, заплата. Шестьдесят лет воловьей работы, поломанных ногтей, натруженных плеч, грыжи, поясницы, разбитых ног — в нем. Тысячи снес он в казну, сотни десятин взрыл и выгладил, тысячи пудов хлеба вымолотил и пустил в оборот жизни. Знает, как надо есть хлеб — медленно пережевывая, до сладости. Вырастил двух сыновей, двух дочерей выдал, за сестру-вековушку внес в монастырь. В солдатах служил, на заводах работал, тысячи ломтей подал, в оконца... Знает вздутыми жилами, чего стоит подняться и жить, не глядя в люди. И понятно, откуда боль, когда говорит жарким шепотом:

— И что за черт?! Почему ж его допрежде-то не учуяли? Почему не смотрели, такое допускали?! Все писали — вот году не протянет, вот хлеб у его доходит, кастрюльки сбирать начал... а он на вон! И-талия! — стучит он ногтем в желтые пятна на ладони, словно в дощечку, такой сухой стук, — могущая тоже держава с нами съединилась, а ему ни черта! Ведь, обидно! Миша рассказывал... «Папаша, говорит, уж как мы старались!» Мишка говорит, а я знаю его, чего он стоит и как может стараться. Огонь! Ведь, супротив мово Мишки ни один немец-ерманец не выстоит! Ведь, он их, как щенят, швырял. Он да еще Маяк, парень с Лобни. Маяк энтот на штык не брал, а махом, под косу. А коль на штык — через себя перекидывал! Даже в книгу там про него записали, так старались... мост под огнем навели, себя не жалели, — даже немцы, пленные дивились. Только бы нам чутошная поддержка антилерии была! А наша антилерия ихней никак не удаст. Перебежали б по мосту и сбоку бы его взяли — разнесли бы до пера! Вдрызг смел все к черту и сам сбоку навалился. Антилеристы плакали, землю грызли, — так за сердце взяло! Сна-рядов, друг, не дохватило»! А?!

Дядя Семен, огромный, в серых кудрях, вол-мужик, приближает перекошенное лицо и глядит недоумевающими глазами, в которых боль. Он — не он. Это вся тяжелой жизнью выученная, мудрая, болеющая Россия, скорбящая и все же непоколебимая. Шепчет он, словно боится, что услышит его изба, тихие, уже осыпающие листву деревья,

это осеннее, покойное, холодное небо. В голос-то шепот, чуть не слезы, когда он спрашивает пустоту вокруг — а?! И нет на его вопрос ответа.

А вот и бабка. Да как же захилилась она! Лицо — печеное яблоко, а глаза... Теперь они всегда плачут, сочатся. С весны вовсе перестала видеть одним — только красные круги покачиваются, большие и маленькие.

— Взяла да проплакала! — пробует шутить дядя Семен, а выходит горько. — Говорил — не реви дуром. А вот теперь и внучка, гляди, не разглядит. Совсем сяклая стала старуха.

— Ай дьячок? — приглядывается бабка к завалинке.

— Поп! Сон-то расскажи-ка свой, садись-ка... Горазда она на сны.

Сон хороший — по лицу дяди Семена видно. Он теперь и сам любит разбирать сны, бабью глупость. Бабка присаживается на кулаки. Исхудала, в чем душа держится, с носа висит мутная капелька. Есть ей, о чем плакать: другой сын, что в Москве живет, в каретниках, написал, что и его скоро позовут воевать. А он вовсе квелый.

— Не возьмут! — решительно говорит дядя Семен. — Такого добра не тронут, хромой он. А она все не верит, плачется. А он у меня, шельма, с портнихой живет, блудит...

— Чай, с белошвейкой... — плачется бабка, отжимая кулачком нос. — В шляпках водит, как барыню...

— Ну, и пущай... с белошвейкой. С портнихой-модисткой живет в сожительстве, с гражданской женщиной... на ее все жалованье изводит, сто рублей теперь выгоняет. Сто рублей! Такой каретник — черт его знает, какой! А полсапожки нонче для портнихи хорошей... красенькая! И вот к Успенью прислал ей, матери-то... три фунта баранков сухих да пастилы яблошной... да денег три рубля!

— Два рубли... Не добытчик... нет, не добытчик...

— А сто-то рублей! Вот с обиды-то и реветь, пятую неделю глаза теряет.

— Белошвейке своей кофту купил... писал. — Двадцать семь рублей дал...

— А тебе пастилы! мало? Реветь, дура... Да его, черта, в самые окопы надо, после этого! Черт-шишига... Образованный стал, книжки читает, в полиции сколько раз сидел, забастовки делал! У-у!!

Дядя Семен даже зубами скрипнул, кулаком затряс, задохнулся. Глаза сверкают, брови выгнулись — подвернись каретник — расшибет.

— Проклясть мало такого с... Да будь он, анафема!..

Бабка дернулась, соскочила с кулаков и затрясла скрюченным пальцем:

— Шу, ты... чумовой!

— Ладно... поеду-удосужусь... оттаскаю. Всякие слова говорит, как образованный... а родные ему — чего! Издыхать будем... змей холодный, не почешется! Образование ихнее... — стучит он кулаком по завалинке и отстраняет бабку, не видя. — Ты меня из-за него, паскуды... душу мне вынимаешь! Все равно прокляну, про себя! Чего это?! — тычет он к церкви. — Церковь Божия?! так? чего на ней стоит? Хрест?! Для чего хрест ставят? сказывай, для чего? — не то меня спрашивает, не то старуху. — А для того, что... спасение! пострадал и... и молись — смотри, помни! Кровь свою отдал драгоценную, за всякую... за всех змеев и за стервецов! Вот! За всех, хорошие ли, негодящие ли... За дрызг всякий, за воров-разбойников, за убивцев, за кровопивцев! Значит, памятуй. А у нас что?! По образованию как надо? Энти, образованные, а?! энти, стервецы... с кем воюем-то?! Они уж самые-то образованные, нет выше... я газеты читаю, знаю. Ну? Машины всякие, техники всякие, все пройзошли, нас дураками считают... Да мы-то ангелы Божие! Нет, погоди... я тебе распостраню мысли, погоди. На людях пашут! Людей всяким помойным дерьмом кормят, пленных! А под хрестом чего говорят, в церкви, а? О негудующих-плененных! А они как?! Женчин догола раздевают, на окопы становят! на костре жгут, живых еще пристреливают! глаза пальцами протыкают! языки режут! ухи ножницами режут! газеты читал! Войну, змеи, начали, сколько годов ножи точили! а?! И нигде такого замечательного образования нет, все могут! А мы-то, Господи! Грязные, рваные, пьяные... по-родительскому ругаемся... грамоте не умеем, чисто в лесу живем... а как мы?! У нас, вон в Колбове, девять человек ерманов работают у барина. Ну? Вот сам видал, хрест приму — не вру... Тащут двое их бревнушко, а мальчишки в ночное погнали. Мальчишки наши как? Бог, говорят, помощь! Ей-Богу! Кто их учил?! А энти смеются, гадюки! Да чего еще... Один чтой-то по-своему

крякнул на них, и засмеялись, да нехорошо так. Понятно, наши мальчишки кто в чем, рваные. На кофту смеялись, что в бабьей кофте, хлопья из рукава видать. Ну, я им и показал тут!..

— А что?

— Я их так...! Взял одного за ворот... а здоровые, черти... ну, да, ведь, и я не маленький. Взял его да головешку-то ему и нагнул-толконул! Кланяйся, такой-растакой, ежели тебе Бог-помощь говорят! Так и присели, ни живы. Мордастые, черти. А кормят-то их как у нас! Барин по-немецкому с ими говорит, барыня за ручку. Э! А они все ха-ют. Чтобы образование показать! Все у нас никуда, не по их все. Ведь, вот не знали-то, что они в гости будут... березы бы для их перекрасили, в речку бы молока напустили, перин бы им натащили... де-вок бы им... пожалуйте, удосужьтесь обратить такое ерманское внимание, извините уж только, необразованные девки, по-вашему не умеют...

— Чевой-то ты это нехорошо говоришь... грех! — остерегает бабка.

— Кучер мне сказывал. То, как пришли, с голодухи-то на хлеб накинулись... горячим хлебом их баловали... а тут и хлеб — не хлеб! Да хлеб-то святой наш, с этой вот землишки, с мово поту... хлеб-то сладкай для его хайла немецкого... И хлеб не хорош! Я б его глиной напхал! В молоке мошки! Мо-ло-ком поим! Да на русскай-то хлебушка как? На коленках стой перед им, хрестись на его, принимай! Кровью русскай-то хлебушка поднят, хрестами хрещен, слезами замолен! Каша не такая, крутая, не белая, а?! У, змеи! Я б им такую кашу показал... я б им доказал! Ну, послушай, что делается. Повез один ихний колобовскую барыню на машину, тючки ей снес, а барыня... Я б эту барыню!.. Вот ей-Богу... на полустанке сам слышал... а барыня и говорит другой барыне: «а ну-ка обидится, если ему двугривенный дать?» И отвалила ему со-рок копеек! Да энтот немец на корточках перед ней завился! А своему мужику, да хоть бы мне вот... гривенник бы в рыло — и утирайся! да еще бы пятак сдачи бы ей! У-у, образованные! Все у них навыворот... Парнишка там в именье, студент, тонки ножки, книжку читает, чтобы с немцами говорить, по-ихнему. С нашими-то там никто, небось, не говорит, а лупят по чем попало. Прямо, диву

дались, как нам кучер тут порассказал! Поехал барин немцев добывать в город, хлеб надо убирать. Ладно. По начальству там, то-се... А его там начальство и спрашивает, а какое им от вас содержание воздуху будет, где их спать положите?! А? Ей-Бо-гу! На вольном-то воздухе! Я на лаковом заводе у немцев жил, так про нас не требовали воздуху, а спало нас сорок человек в одном покойчике, дружка над дружкой. Наших пленных там с голоду, с холоду морют, а мы... Значит, подставляй шею! И победим — все равно шею подставляй, потому мы не люди, не образованные... измывайся, лупи, как тебе угодно. А немец в шляпе, хочь, может, и без рубахи, а в спинжаке... Вид у него чистый, головешку эна куда подымает — не причешешь! Нет уж... звери — так с ими, как со зверями! в корыто их головой! Бей, сукиных таких, в плен не бери! И Мишке наказал — не бери! Бей, коверкай, его, стерву, с землей смешай его, такое его образование! Не щади, выводи крапиву, падаль несчастную!

Что сталось с дядей Семеном! Бабку оттолкнул, себя в грудь стучит — нагорело-накипело. Хочет найти, уяснить, охватить, понять что-то. И, должно быть, все понимает, только не может высказать, поставить четкое, крепкое клеймо. Да, пожалуй, еще не знает, на что его приложить, чтобы попало в точку. Смутная правда мелькает в его сбитых словах, боль неутешная, обида давняя, неизбытая, правда, выясняющаяся растерянному взору.

— Может, через эту войну все увидим... подведем баланцы, распостраним! Я теперь газеты читаю, многому научен. Сын у меня страждет, воюет во всей душе... ну, значит... могу я ответ требовать — почему такое... где вся наша правда истинная! Могу!

— Душу-то рвешь, шумный... — ворчит бабка. — Зеваешь-зеваешь, а ночью по избе все бегает, жалится... под сердце подкатывает...

— Бо-льшие разговоры... пройзойдут... Ладно, поглядим... правду, хочь ты ее вилами приколи, она все голову подымает! Не навоз запахал и ладно... Ффу-у... Яблоки-то... Не уродились...

Пусто в осеннем его саду, захолодали заржавевшие яблоньки — вот-вот оголятся. Не ставил и шалашика на сторожбу.

Дядя Семен... Где же покойная его сила? Утекла с годом, а на смену ей пришло дерганье глазом, сжатые кулаки и злость. А, ведь, какой крепкий был! И все у него было крепко в хозяйстве. Будет ли и тут крепко?

Вот гонят коров. Подняла бабка прутик, заковыляла, загоняет черную, крутобокую, тяжелую, а пегая, переваливаясь, как Марья, стельная, мычит с подхрипом в окошко — просит хлеба. И так хорошо смотреть, как белолицая, пригожая, сытая Маруха протягивает ей из окошка ломоть с горкой соли. Пахнет молоком. Хорошо бегут, семеня ножками-палочками, черные овцы, шарахаются — вот-вот убьются. Долго, протяжно мэкают. Мычанье, рев, бэканье — несут тихую деревенскую ночь, покой благодатный. Три овечки постукивают копытцами, тычутся беспокойными мордочками в ворота. За стадом, в пыли, тянет ночной покой — уже потемнели дали. Но падет ночь — и не будет покоя. Опять дядя Семен будет бродить по избе, прикладывать мокрое полотенце к сердцу, отворит окошко и будет заглатывать холодную ночь, темную, осеннюю. Будет видеть в ночи, как с грохотом бегут огоньки по невидному мосту, туда, туда... Будет сидеть на лавке и в темной тоске смотреть на темную икону, на синюю лампадку.

— Не надо горячиться, вред, знаю... Да что ж ты будешь... делать... Вчерашний день с Мирошкой схватился... укорять стал, что, вон мол, воротился, работать может... Грех... А он молчал-молчал, да и говорит: «Эх, дядя Семен... я свою судьбу чую»! Человека обидел только. Ну, когда ж предел будет, а?! Так никто и не знает?..— Никто не знает.

Он смотрит в небо. Там уж и звезды наметились. Долго смотрит, молчит...

— Один только Господь знает.

1915

НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

I

Дождливым июльским утром зашел в чайную на большой дороге высокий, худой мужик с узелком. В длинной, низенькой чайной было сумрачно от погоды, копоти и рябин за окошками и неуютно от пустоты; веселили глаз только белые чайники да груда баранок на прилавке.

— Ночь косил... дожж, а в город надо, — заговорил мужик, обстучав ноги и показывая мокрый узелок. — Нежданно-негаданно — сыскался!

Чайник дремал, уткнувшись головой в баранки, — другую ночь маяли его зубы. Приподнял тяжелую голову с подвязанной красным платком щекой, поглядел тускло и сердито спросил, насасывая во рту:

— Кто еще у тебя сыскался?

— Да сын... Пять месяцев ни звуку, гляжу... письмо! Шлите посылку, в плену!

— Вон что... Ну, вот баранков ему пошли... — позевал чайник и пошумел баранками.

— Ай и баранков взять? — оглядел баранки мужик, отломил половинку и пожевал. — Вешай пять фунтов, повеселю! Мать лепешек напекла, сухариков насушила... просил. Думаю еще... шиколаду ему, а?! Учительница все наказывала — обязательно, будто ши-ко-ладу?!

— Нонче и шиколад едят, моду взяли... — сказал чайник, опустил за прилавок голову и плюнул. — По-богатому живем.

— Пошлю!

И хляснул мокрым картузом о прилавок. Спавшая на подстилке кошка вскочила и вытянулась горбом, и затрепыхалась клетка у потолка. А тут выглянуло из тучи солнце, еще косое, пробилось в рябинах, засияли белые чайники на полке, — и сразу повеселело.

— Надо ему еду, — говорил мужик, жадно потягивая кипяток с блюдечка. — Им и самим-то сказывают, жрать нечего. Теперь, главное дело, вроде как заштрахован... Лесовое бы докосить, а все дожжи... На лошади-то бы я живо оборотил, да возка... С поден-то и потеряешь.

С чаю он разомлел, и клонило ко сну после ночной работы. Он сладко зевал, показывая шишечки скул на темном, исхудавшем лице, ерошил выгоревшую жидкую бороду, еще мокрую от дождя, и все встряхивался — гнал сон. Чайник лениво подметал пол, шугая метлой кошку, и пыль тянулась светлыми столбиками в окошки, под рябины, густо обвешанные кистями.

— Уж и третьего моего звать стали, какое дело! — говорил и говорил мужик, посасывая сахар. — Другой у меня в аньтилерии... все, будто, в сохранности. У тебе-то один?

— Один... — сказал чайник. — Тоже вон зовут.

Он остановился с метлой, сморщился и подавил щеку.

— Видать, допяли тебя зубы... щеку-то разнесло! Овса пареного прикладай. Ты овса-то укупил... полны анбары набил! Вот и припаривай. Баба у мене скучала... не дай Бог! Жалостная! Прямо, поминать-был стали! Во!

Все говорил, хоть и невеселый был видом. Звонко прикусывал и прихлебывал, и все скрипела под ним скамейка. Допил чайник, увязал в узелок баранки, прикинул на руке, — заберут ли всего на почте-то? — перекрестился на хрустальную лампадку и побежал к городу, за семь верст.

Погода опять насупилась, и пошел дождь. Вышел из-за переборки вихрастый, круглощекий парень, босой и распояской, потер глаза и полез под прилавок за гармоньей. Сел и заиграл польку. За окошками пошел ветер, завернул на рябинах листья, навалилась туча, и потемнело. Чайник опять приткнулся за прилавком.

Принес на ногах грязи проезжий кирпичник, под рогожкой, и спросил махорки. Поерошил баранки и отломил.

— Слыхать чего у вас про войну, ай нет?

— Ничего не слыхать! — сердито сказал чайник, — а баранки не трожь.

— Ну? Ишь ты какой красивый... А болтали в Марьине, в трактире... Аршаву просит? Ай, плетут...

Парень прекратил польку, отвалился под картинку короля Альберта, в голубой ленте, и запел, куражась:

Пишет-пишет царь германской
Письмо русскому Царю:
Разорю твою Варшаву,
Сам в Расею жить пойду!

Кирпичник запустил руку в кисет, приостановился на пороге и послушал.

— Хорошо... — сказал он раздумчиво и пошел к лошади.

Зашел измокший старичок, в зимней шапке, босой, с подвязанными к мешку сапогами, и попросил посушиться.

— Внучка спроведать иду, сироту... в лазарете, в Москве, лежит...

— Сушись, ничего.

— А что... здорово зацепили? — спросил парень.

— Здорово, голубок... так-то здорово!.. Этот вот место, самая-то жись где... — вздохнул старичок и принялся отжимать штанину. — Выправляется, писал... Много ль до Москвы-то от вас считают? Сто-о-во-о-сим!!.

Отжался, обтер шапкой ноги и сидел тихо — слушал, как играет парень. Потом порылся в мешке и достал газетку:

— Почитай-кась, писано-то чего... в Ручкине баба подала...

Парень поглядел в газетку, повертел так и так, пошевелил губами и отдал.

— Тут про пожары... боле ничего.

— Про по-жары?! Упаси Бог.

В обед зашли здешние мужики: дождь, не дает работать. Долго пили чай, спорили, какой будут итальянцы веры. И про войну спорили, почему Америка не воюет. Старичок все слушал. Потом и сам принялся рассказывать.

— ...рука, стало быть, у его закрючена, у груди... в кулачок зажата. Так и ходит, и ходит. Пятеро брались оттягивать ему... ни-как!

— А чего было-то? — выставил из-за прилавка голову чайник.

— Чего было-то... А вот чего было. Стало быть, в однoёй деревне, в наших местах... баба померла, изба осталась. Ну, заколотили ее, потому унаследников нету.

Годов десять заколочена и заколочена. Вот и видють, ночное дело... огонечек в избе-то... теплит. Видать издаля, скрозь доски. Стали дознавать... А подшел — нет никого. Вот тот самый человек и говорит... дерзкай был: «все дознаю, сбирайте мне три рубли». Собрали ему три рубли... дверь отпер, вшел. Ночевать остался. На печь залез, стерегет... Вот, в самый полночь и слышит... три человека вошедчи, а не понять... дым-пламень! Сели за стол. Один так говорит: «жалко мне народ православный, хресьянскай... Меч мой за него, точу — не готов». Другой говорит — пущай Егорию молются. А третий говорит — пущай Иван-Воину молются... А энтот опять говорит — а более все пущай Хистратигу Михаилу молются. А энти опять говорят: «Хистратиг Михаил, когда войне конец, укажи срок-время... Жарко нам от свечей-ланпад». А Хистратиг говорит: «сперва дайте мне энтого мужика, на печи лежит — стерегет, волю Божию дознает! Не дадено никому знать, супротив времю итить! Да-а... Придет пора — посеку, кого знаю».

— Да-да-да... Значит, намекнул! — сказал мужик с порезанным пальцем и погрозил куколкой. — Не дознавай...

— Так мужик и затрессся. А его манють: иди, мужик, не бось... хитрость твою знаем! Встал он перед ними ни жив, ни мертв... три рубли в кулаке зажата. Вот и говорят: «злата-серебра у тебя три рубли в кулаке зажата... люди кровь свою проливают-защищают, а ты што? Показывай три рубли!» Мужик рознял кулак, видють... три рубли. «Дайте, говорить, ему, еще, пущай носить». Тут энти ему еще два рубли приклали, рука-то и зачижалела... «Ступай, говорят, с Богом... в кулаке у тебя вся судьба... придеть время — откроется. Крепше только держи!» Вот мужик и зажался, к грудям придавил... и нет их, сокрылись. Поутру вытащили... как без чуры пьяный. Так и ходить... Пытали разымать-то, ан не-эт! и пять рублей с им, а побирается...

— На каменный дом и соберет... — сказал чайник. — К уряднику бы, он бы ему разжал!

— Выходит, Хистратиг-то за нас... — сказал один из мужиков. — Энти-то его не уважают, а...

— Как так, не уважают! — отозвался чайник. — Он и у татаров знаменит!

— Он-батюшка на всю землю известен... — сказал старичок. — А боле к нашей вере прислоняется.

— А скажи — Иван-Воин! — погрозился мужик пальцем-куколкой. — Они его никак не считают! Немец у нас на заводе праздники держал хорошо. Как праздник... сейчас едет пиво закупать. Уж ему на праздник две бочки завсегда привозили.

Наконец, разошлись. Посушился и ушел старичок. Чайник опять привалился за прилавок. Парень поиграл-поиграл и ушел спать за переборку. В чайной затихло. Часики только постукивали да постегивало дождем в окошки.

II

В шестом часу, в ливень, опять зашел по дороге из города мужик. Узелка уже не было, только моталась на рукаве вязка смокших баранок. Сел к окошку, поглядел на короля Альберта, на баранки и стал жевать. Из жилой половины вышла хозяйка — худощекая, невеселая, будто заплаканная, одетая по-постному — в черном платке, как пожилая черничка. Поставила чайник и ушла к себе.

В образном углу, под окошком, сидел над газетой проезжий торговец-галантерейщик — его лошадь мокла у коновязи — и громко вычитывал, водя пальцем и передыхая. Его сиплый голос гулко отдавался в безлюдной чайной:

«...и заявил... парламенту... что раз дело идет о спасении... цивилизации... Европы»!.. Да-а...

Мужик глядел под рябины: с красных кистей сочилось; в луже полоскались утки, пощелкивали носами. В небе несло полные дождя тучи. А за спиной точил и точил будто жалеющий голос, прерываемый вздохами:

«...могут изменить положение... держав!..» Да-а...

Против торговца сидел старик в полушубке и слушал, преклонив голову.

— В городе чего слышно? — спросил проснувшийся чайник.

Мужик не отозвался. Он сидел, подпершись кулаком, и глядел в рябины. Шевелилась его борода: жевал.

Пришел получить за луговую аренду приказчик из усадьбы, — высокий, грузный, прозвищем Чугун. Сизобагровое было у него лицо, безбородое, с низким лбом, книзу шире; и руки были сизые, налитые. Стекало ручей-

ками с его кожаной куртки. Он вытер клеенчатым картузом ручейки, обстучал грязь, — даже зазвенело на полках, — и заговорил, как в ведро:

— Кака погодка-то! Чисто ты заяц, с красными ухами... — посмеялся он чайнику, — и морду перекосило! По душу твою пришел.

Стали пить чай.

— Выворачивай потрохи-то из шкатулки. Наелся на сене нонешний год... Сенцо-то твое, сказывают, и за Варшавой едят, чихают.

— Много сказывают! — плаксиво сказал чайник, помусолил палец и стал пересчитывать бумажки. — По нонешнему времени жалеть человека надо. Руки-то чего стоют!

Приказчик согласился: да, тесно с народом стало.

— Харчи даю, прямо... знаменитые! чай три раза... — два с полтиной! — плакался чайник, пересчитывая еще раз. — Ах, как жалеть человека надо по нонешнему времени!

Третий раз пересчитал бумажки, — сто сорок рублей, — подержал и отдал.

— Надо жалеть... — согласился Чугун, заворачивая деньги в платок. — Всем друг дружку жалеть, боле ничего.

— Так жалеть... жальчей чего нельзя! Энти деньги... тыщи так не жалко, как... по нонешнему-то времени! — расстроился чайник. — Никак не сообразишься. Поди вон к нему... — показал он на мужика, — он те пожалеет... шкуру сдерет, а не то чтобы совместно!

— С меня не сдерешь... — передохнул Чугун, дуя на блюдечко и выворачивая красноватые белки.

— Он вон три часа лучше чай пропьет, три часа курит-зевает... в эдакое-то время!

Поглядели на мужика. Он все так же сидел, подпершись кулаком, с красной шерстинкой у кисти, от ломоты, и жевал баранку. Грязью были залиты его сапоги и полы выгоревшего кафтана.

— До гулянок-то все охотники, — сказал Чугун, оглядел и свои сапоги, грузно нагнулся и крепко подтянул за ушки. — Через это самое и пленных выписываем на уборку. Своими руками завоеваны!

— Твоими! — крикнул мужик и дернулся. — Хрестись-пляши!

— Встань, покрещусь! — сказал приказчик. — Чей такой, сурьезный?

— Матвеевский. Чуть не с утра сидит, все гложет. А позови-ка его косить — два с полтиной! Он не берет во внимание, что у тебя тут... может, ночи не спишь, думаешь... по отечеству...

Поговорили об урожае: довелось бы только убрать.

— Все сберешь! — злобно крикнул мужик приказчику. — Накладешь — вилой не достать!

И отвернулся к окошку.

— Подай и тебе Бог тоже... в рогоже! — сказал тяжело Чугун и тяжело поглядел.

— Ты мне Бога-то не суй, сам ношу! — крикнул мужик не в себе, даже побелели у него губы и перекосилось осунувшееся, посеревшее вдруг лицо. — Ты мине как знаешь?! скрозь мине видишь? — ткнул он себя в грудь пальцем. — Отечеству! Я сибе знаю, чего знаю! Он вон соли купил сто кулев... с мине драть будет! Полны сараи овсу набил! Совместна! Жалей его! Да-а... А ты жалеешь?! Оте-честву! Жалетели какие. Морды натроили себе... лопнуть хочут! Может, я боле тебе отечеству жалею, не базарюсь?! Совмест-на!

— Ишь, непромытый! — сказал тяжело приказчик и тяжело поглядел. — Тебе бы, сивому, работать... а ты который вон фунт баранок-то упихал, с утра-то сидемши? А-а... не ндравится ему, что я пленных, которые враги!.. — стукнул Чугун по столу кулаком и побагровел дотемна. — Их, может... мой сын!.. за отечество сражается... своими руками забрал! а я их вот за шесть целковых?! А тебе три красных подай?! Да-а!.. Чего захотел?! Мой сын... кровь свою проливает!! Не ндравится! Погоди... я вот тебя скоро на кресла посажу...

— Шиколадом кормить желает! — кричал и чайник, у которого круглое лицо уже не разнилось от платка. — Шиколаду ему подай?!

У мужика тряслись губы, ходили руки, он кричал свое, но приказчик и чайник тоже кричали. У чайника выбилась из платка вата и лезла в рот; он ее запихивал, отдувал и еще больше расстраивался.

— Я своего врага могу! — кричал Чугун. — У меня сын!

— Эн, чего защищает! — помогал чайник. — В плен у него попал, дак теперь и глотку дерешь?

Мужик ничего не понимал: совсем его закричали. А тут еще подошел из уголка торговец, собирался ехать.

— Стой, погоди! — закричал и он. — Не расстраивайся, дай разберу. Надо не серчать, а... у каждого свое расстройство! Которые враги? Погоди! Которые самые враги... они...

— Мои враги! — крикнул мужик, улучив время. — Вот! — ударил он в грудь. — У мине тут... как ты знаешь?! — с болью перекосив лицо, кричал он. — Мне ко двору время... баба дожидает... сено не свезено... Ты мине знаешь?!

— Ну тебя, отвяжись! — плюнул приказчик. — Задурел.

Тут вышел из жилой половины парень. Теперь он был в куртке и картузе цвета пыли, вихры примаслены и расчесаны, и начищены сапоги: собрался гулять.

— Вот вояка-то мой... — уныло сказал чайник. — То Захарка был, а теперь — гожий.

— А чего я не гожий! — ухмыльнулся Захарка и полез за гармоньей. — Я с ероплана бонбы буду кидать!

Заиграл, было, польку и оборвал. Подумал, закинув голову, и запел под гармонью:

Карпаты... каменные горы
Увижу... вашу синяву...
Назад... уж боле не вернуся...

И увидал мать: смотрела она на него из-за переборки. Тряхнул головой и перевел выше и жалостней:

Прощай, про-щай, соколик 'я-снай,
Прощай, сыночек дор...рогой!

Мужик поставил локти и прикрылся кулаками. Хорошо пел Захарка, душевно, потряхивая головой и устремив глаза к матери, которая — только он один видел — стояла в темноте, в дверях переборки. Пел, наигрывая под щебет растревоженного щегла. Дождь кончился, и прочищалось небо. На той стороне, через рябины, горели красным огнем окошки: садилось солнце. Рябины были тихи теперь, стояли грузные и тоже, как будто, слушали. И чайники на полках слушали, и задремавшая на прилавке кошка.

Заговорили про набор, про Захаркины сапоги, в которых пойдет, про артиллерию. Хорошо служить в артиллерии, сам палишь — тебя не видать.

— Все едино... — сказал мужик.

— Чего — все едино? — спросил чайник.

Мужик не ответил.

— А что убивают! — с сердцем сказал приказчик, показав стиснутые зубы, и уставился на мужика тяжелым, злым взглядом. — Все ему не ндравится! Сын у меня в альтилерии, мортирного дивизиона... Пишет так, что... папаша, не беспокойтесь! А ему не ндравится! Все е-ди-но! Черт непромытый...

— А ты чего оборачиваешься на себя, ну?! — выкрикнул мужик и стукнул кулаком об стол. И тоже уставился.

— Ты глотку-то дери, да не очень! Объелся... По водке скучаем.

— Ну... тоже и у него расстройство, — примирительно сказал чайник. — Сын у него в плен попался.

Стало смеркаться. Часики простучали восемь. Мужик стал собираться. Собрал в карман баранки, полез за сапог, поискал. Опять стал вынимать баранки. Пошарил по карманам, вытащил тряпицу и сунул за сапог. Поглядел в окошко — совсем загустились сумерки. Чайник засветил лампу.

С резким свистом и гиканьем под гармонью, — их уже давно было слышно, — ввалились четверо парней в заломленных картузах цвета пыли, с пионами на груди: поповы дочери надавали им на прощанье. Захарка рванул гармонью, вскинулся и пустил лихой дробью:

Анти-дранки-девирь-друг.
Тибер-фабер-тибер-фук!

Грохнуло — и потонуло все в свисте и уханье. Заходили чайники, задребезжали стекла, запрыгал огонек в лампе, и самая лампа закачалась. Прыгали красные лица, били ногами в пол.

— Жарь-жарь-жарь-жарь!.. — загремел, как в трубу, Чугун. — Валяй, наши!

Ветром несло от них, безумным разгулом. Схватил Захарка вязку баранок, кинул на шею, закрутился и разорвал. Полетели баранки под каблуки. И долго били

ногами в пол, словно хотели проломить доски. И прыгали на груди отрепанные, почерневшие пионы.

Вывалились на улицу.

Приказчик потрогал у груди, где лежали деньги, и ушел. Мужик еще посидел, погрыз ногти, поглядел в окошко — темно. И пошел.

— А что ж платить-то? — окликнул чайник.

Мужик остановился.

— Чего?

— Чего чего? А за чай...

Мужик поглядел к месту, где сидел. Там стояли белые чайники, маленький и большой, и неопрокинутая чашка.

— А я и не пил... — сказал он, будто удивился, что и в самом деле не пил.

— Не пил! За заварку.

— За заварку... — раздумчиво повторил мужик и полез в карман.

Вынул помятый кошелек и стал торопливо открывать, с усилием разжимая ногтями и прижав к животу, даже перекосил рот и ощерился. Насилу открыл. Стал отдавать, встретился глазами с чайником, который как-то по-особенному приглядывался к нему, и тут покривились и расползлись у него губы, и задрожали. Все морщинки на его лице задрожали и обтянулись. Он потянулся через прилавок, поглядел в упор остановившимися пугающими глазами и пошептал выдыхами:

— Сына у мине... убили.

И все смотрел пугающими глазами на чайника.

— Вон что... — сказал тоже тихо чайник и тоже будто испугался.

— Убили... — повторил мужик, силясь собрать расползающиеся в гримасу неслушающиеся губы. — В аньтиллерии был...

Не мог больше говорить, только подкинул головой, словно хотел сказать: то-то и есть!

— Что ж поделаешь! — вздохнул, подождав, чайник и стал постукивать о прилавок ребрышком пятака.

— Домой надоть... — морщась, как от боли, шепотом говорил мужик, — бабе говорить надоть, а как говорить-то... Цельный день маюсь вот, не надумаю... жуть берет...

И опять сделал головой — то-то и есть!

— А ты не сказывай.

— А как? — не понял мужик и растерянно посмотрел, кривя рот.

— Ну... сразу-то, а там... глядя как.

— Значит, не сказывать... да-да... — соображал мужик, уходя в себя.

— А там, помаленьку и...

— Товарыщ его дал знать... на почте выдали, прочитали... — полез мужик за сапог и вынул тряпку. Хотел развернуть, подержал и опять сунул. — Какое дело...

И опять сделал головой.

Постоял, пошевеливая баранки на прилавке. Потом достал кошелек и опять, натуживаясь и запуская ногти в щелки запора, стал открывать. Вынул семь копеек и положил на прилавок.

— Это чего? — спросил чайник.

— А за заварку...

— Ведь отдал!

Мужик забрал деньги и пошел, как сонный. Вышел на улицу, постоял, посмотрел на освещенные окошки чайной и пошел. У конца деревни попались парни. Они шли по дороге, не разбирая луж, шлепали и кричали песню. Далеко отошел мужик от деревни, а все доносило крик. В темном поле мужик остановился. Были звезды, но в поле было темно: чуть, приглядеться если, светлели доспевающие хлеба, темнели крестцы зажинок.

— Что ж теперь? — спросил он темное поле.

По большой луже, в которой отражались звезды, мужик признал, что стоит у сворота на проселок в Матвеево. Поглядел туда и пошел, не разбирая дороги, из колеи в лужу и опять в колею, толчками.

1915

ЛИК СКРЫТЫЙ

I

Сушкин получил отпуск. В батарее и в штабе ему надавали поручений: батарейный просил привезти колбасы и пуншевой карамели, другие — кто что, а командир дивизиона, пожилой человек, отвел в сторону и сказал, хмуря брови:

— Зайдите, подпоручик, в синодальную лавку и купите такое вот... — показал он с вершок. — Евангелие. Я затерял, а мне прислали форматом больше. Самое маленькое купите.

Поручение было это приятно, хотя Сушкин с гимназии не раскрывал Евангелия: приятно было узнать, что его командир, сухой и деловой человек, живет еще и другой, не деловой только жизнью.

С денщиком Жуковым он поехал на тарантасе к конечной станции, прощаясь на время с разрухой и неуютом пугливо остановившейся жизни. Сбоку дороги, в голых кустах, солдаты рыли могилу, на снегу лежали кучки желтой земли, пустынно смотрели свежие низенькие кресты с черными буковками. Для чего-то стоял на дороге высокий шест с метелкой соломы, а под ним, как под кровом, солдат перетягивал портянки. В виду длинного новенького барака с флагом попалась подвода с гробом, и шли два солдата: рыжебородый — с веревкой, и черненький и вертлявый — с новым крестом.

— К благополучию! — сказал Жуков и снял папаху. — Эй, земляк! не калуцкой будет?!.

Солдаты поглядели, — чего это кричит при офицере, — черненький отмахнул крестом.

— Божий!

— Почему же к благополучию? — спросил Сушкин.

— Примета такая старая, ваше благородие, — сказал Жуков, а сидевший за кучера солдат пояснил:

— Глупость калуцкая, ваше благородие. Благополучия такого много... А у нас, в танбовской, этого никак не понимают.

Сушкин подумал: «пусть будет к благополучию! я еду к Наташе».

Поезда пришлось ждать. У столика, где Сушкин пил чай, сидел низенький сухощавый капитан с нервным лицом в серой щетинке и постукивал ложечкой. Он уже был ранен — в голову, поправился, а теперь сильно контужен — страшные боли и дерганье, и едет лечиться. У капитана — узнал Сушкин — в Сибири жена и две дочки, Лида и Котик, дом с садом и чудесные куры лагншаны. Капитан показал и карточку жены — худенькой, с усталым лицом, — и девочек в белых платьях. Рассказал о себе и Сушкин, — такой душевный был капитан, — что едет навестить мать, и подосадовал, что потерял Наташину карточку, когда пропал чемодан, в походе. А то бы показал капитану.

К ночи поезд составили. Это был санитарный, и ехать пришлось в служебном вагоне, и в тесноте. Решили доехать до узлового пункта, а там пересесть в пассажирский и выспаться. Проговорили всю ночь. Рассказывая про свое, Сушкин вспомнил свои письма-признанья и стыдливые, в которых очень мало прочтешь, — Наташины. Вспомнил, как собирал ландыши под обстрелом.

— ...Батарея стояла в лощине, у леса, а лес сильно обстреливали. Удивительное ощущение было!

И вызвал в памяти этот лес, темный, пустой и гулкий от грохота. И тихие ландыши — маленькие Наташи.

— Лес был словно живой... кричал! И знаете... я тогда в первый раз увидел, до чего красивы цветы! Это были какие-то необыкновенные ландыши! И запах...

Не сказал только, какое восторженное послал тогда Наташе письмо с этими ландышами, и как Наташа ответила: «мне было страшно читать, храни вас Бог».

...Не поймет капитан, что заключено в этих чудесных словах! Тут вся Наташа.

Капитан рассказал, как женился, как они погорели, и как погибли все его куры, но потом он снова завел.

Показал даже, какой ему шерстяной шлемик связала Лида, а Котик прислала ему в посылке...

— Не догадаетесь! Открываю посылку... — шептал капитан, приближая круглоглазое маленькое лицо к лицу Сушкина, словно сообщал тайну: — ока-зывается! шоколад, печенье... и... стоптанная ее ту-фелька!! А только отбили жесточайшую атаку! До слез!!

Поговорили о войне, о жизни, о планах на будущее. Сушкин высказывался откровенно и горячо.

— Я и раньше смотрел на жизнь, как на результат моей воли, моих усилий... Хочу, знаю — и строю! А война меня еще больше укрепила в этом. Уметь и хотеть! А теперь я и наголодался. Жизнь пока ждет, но... придет время! Наверстаем свое, капитан! Будущее не за горами...

Это будущее ясно смотрело на него, обдуманное и верное: вернется — будет Наташа, будет инженером товарищества, — ход открыт, у главного инженера определили врачи диабет; директор товарищества — будущий шурин. А там — изучит дело, поставит свое и будет независимым... А не вернется... Но тут и не может быть будущего.

— Да, да... — оглушенный потоком слов нервно повторял капитан и дергал лицом.

— Хороший урок всем мягкотелым эта война! — возбужденно не раз повторял Сушкин, и все развивал капитану свои взгляды на жизнь, как ее надо ковать. — Ничего без борьбы! Борьба... это — великий двигатель!

— Да, да... — повторял и повторял капитан, прихватывая усы и морщась.

Надоели друг другу и устали.

Утром пересели в пассажирский поезд. Устроились удобно, в купе. На нижнем месте, ткнувшись головой в смятую комом бурку, храпел толстый доктор, не стыдясь заплат на штанах. Сверху торчал грязный сапог с погнутой шпорой.

— Счастливый народ! — сказал, дергая лицом, капитан. — Могут спать. А меня и бром не берет.

— А я очень посплю, — сказал Сушкин, потягиваясь и похрустывая суставами. — Считайте до тысячи — и заснете.

Капитан поглядел на его здоровое, выдубленное ветром и солнцем лицо, и сказал раздражительно:

— А вы попробуйте почихать!

Сушкин хотел было лезть на койку, подержался и сел выкурить папиросу.

— Серьезно... считайте и ни о чем не думайте.

— Вот и попробуйте почихать! — повторил капитан. — Тут и ваша математика не поможет. А я, знаете, вдумываюсь все, чего вы понасказали... Все в жизни сводить к математике, к этим таблицам вашим! Это вот сведите, попробуйте, — потыкал он в грудь. — Это хорошо разговаривать — планомерность, рассудочность... война вас научила... По вашим таблицам — пятеро сильней одного, а я с батальоном полк немцев гнал!

Как и в том поезде, капитан начинал раздражаться. Его темное, измученное лицо с ввалившимися покрасневшими глазами и горбатым носом, все передергивалось и было похоже на ястребиное. Он все прихватывал седеющие усы и прикусывал, и это особенно раздражало Сушкина.

— От чувства-то вы и не спите... — сказал он капитану. — Начувствовали себе, простите... всякие ужасы... и жена-то вам изменила, и девочки ваши умерли, и жена умерла... а сами не верите этому и будете покупать подарки! А там, небось, действовали планомерно!

— Нет-с, оставьте! — дернулся капитан и погрозил пальцем. — Это совсем не то! Жизнь тем-то и хороша, что есть в ней для меня и радостная случайность... которую я и предвидеть-то не хочу, чтобы она меня еще больше обрадовала! А вы хотите меня надо всем поставить?

— Против радостных случайностей я ничего не имею...

— Нет, имеете! По-вашему, расчет да расчет! Железная воля да созна-тельная борьба! Это я и не понимаю. Говорите, война дала вам чудесный урок? откровение вам явилось, когда вы шрапнелью поливали... — что за сила у человека! И сейчас готово: проявляй себя так и в жизни... упорно и с полным расчетом?! Говорите, что теперь уж ничего не уступите без борьбы? Значит, бей наповал?!

— Если я считаю своим правом...

— Вот-вот! Считаю... своим... правом! — сердито качая пальцем, повторил капитан. — А если... я считаю своим правом... то же?! Я послабей, так меня и за глотку?! Э, батенька...

— Ну, и пусть, так! — поддаваясь на раздражение, запальчиво сказал Сушкин. — А свое настойчиво буду проводить, коли уцелею.

— Так уже постарайтесь и уцелеть... по таблицам... И что за таблицами — и туда заглянуть постарайтесь и предусмотрите. Пульку-то, которую сейчас где-нибудь в Гамбурге какой-нибудь хромой немец для вас отлил, предусмотрите! А... может, и для меня какой-нибудь Ганс мертвый газ делает... а я хочу верить, что расчет у Ганса-то Вурстыча и не выйдет, глядишь! все его выкладки-то один мой Котик своей туфелькой рассшибет?! Так как-то выйдет... Я туфельку-то получу да со своим батальоном и прорвусь в тыл, да всю заготовку-то и опрокину! И не за себя, а за Котика, за всех! На какой вершок эту туфельку прикинете? А Бельгию-то куда девать? Ведь ей по вашим-то таблицам надо бы для немцев дорожки мостить! Дважды два — четыре!

— Не так вы меня берете! — сказал досадливо Сушкин и поглядел на верхнюю койку — спать бы. — Я что говорю... Нашему расхлебайству да еще и евангельскую мораль!.. Это когда можно было дремать под солнцем. А теперь что идет?! Подставление щек надо сдать в архив. Теперь все глядят, нет ли еще и третьей щеки готовой. Многое придется повыкинуть! — решительно сказал он и отшвырнул окурок.

— Ну, и вы, голубчик, поизмочалились... — сказал присматриваясь к нему, капитан. — Меня граната контузила, а вас волшебная картина боя потрясла. Теперь и с зарядцем! У курсисток молоденьких так бывает. Новенькое узнали, а сами зеле-ненькие еще... и сейчас у них и словечки новенькие, по специальности: и абсцесс, и процесс... так и сыпят! На собрании раз послушал!.. координация, организа-ция... такие профессиональные словечки! А по-моему, это называется — бумагу жевать!

— Эх, капитан! А нутра-то не видите? — сказал Сушкин, а капитан подхватил:

— Ага! В нутро-то еще верите?! Я про что говорю — бумагу жевать? Я нутра не трогаю! Говорю — бумагу жевать! когда одно — а-а-а! — сделал он ртом, прихватывая усы. — Про словесный раж говорю!

Торчавшая с верхней койки нога шевельнулась, и басистый голос сказал значительно: — гм!

— Вот и у вас это... — продолжал капитан. — Узнали на опыте, как орудие цифру слушает, — математику в жизнь! Увидели, что на войне организованность делает, — железом вгоняй организованность! В мозги программу, в душу таблицу? По этой логике младенцев можно душить, сапожищами гвоздяными да покрепче, чтобы хрустело?! Народы стирай, туда их, к дьяволу... с их скарбишком несчастным, с ребятами, с потрохами, с веками! Топчу, потому пра-во-имею! а право у меня на чем?! Весь в железе — вот мое право! аппетит имею и математикой докажу, что прав! Это вы у ихнего Ницше прочитали?!

Сушкин понял, что спорить безнадежно: оба разгорячились. Но не удержался и спросил с раздражением:

— А вы, капитан, читали Ницше?

— Не читал, а знаю! Я теперь тоже много узнал... и благоговею! И другого чего узнал, а-таки видал и хорошего.

— Что же вы видали благоговейного... там?!

— А вот что видал. Шли мы Восточной Пруссией, ну... дрались. Так дрались... — один мой батальон целую бригаду удерживал немцев. Отходили с боем. Сменили нас, дневка была... Стояли, помню, у местечка Абширменишкен. Наши прозвали — Опохмелишки! Солдатня, понятно, нашаривает сейчас по окрестностям. И вижу под вечер... бегут двое моих к леску, что-то под шинелями прячут. Стой! Смотрю — у одного каравай с полпуда, у другого... — «Закусочка, говорит, ваше высокородие!» Гляжу — каши котелок, сало, кости какие-то. Куда? Плетут то-се... ока-зывается! Нем-цам тащат?! Не понимаю. Вчера немцы нас такими очередями шпарили, а тут — закусочка! Веди! Сполошились, повели. Версты с полторы в лесу сторожка, — две бабы, штук семь ребят и старик хромой. Немцы. Ока-зывается! Две недели сидят, пятый день хлеба не видали, ребятишки ревут. Со страху из местечка сбежали, а солдатня и нашарила. Бабы тут ни при чем, не думайте. И все разузнать успели, словно и земляки... что курица у немцев была для ребят припасена, а курицу кот загрыз. Черт их знает, а никто не-мецеки ни черта! Расспрашиваю, и вдруг — процессия целая! Четверо еще моих заявляются: один комод на спине прет, другой стулья с гладильной доской и портрет... Виль-гель-ма... в золоченой раме... третий — целый короб

всякой дряни: юбки, тряпки, ботинки, шторы кисейные... а четвертый — корову ведет! Ока-зывается! Обшарили поместье чье-то и приволокли этим на новоселье. Устраивали с комфортом! Правда, немцы руками замахали — соседское, нельзя им принять. А хлеб есть стали и корову доить принялись! А вот тут старик тот хромой тычет при мне кулаком в Вильгельмов портрет и говорит-плачется: «он все, он... а мы не виноваты!» Вот это я видал! Тут математики нет... тут высшая математика, которую вы выкидывать собрались!

— А потом этот старик с бабами стреляли по вас в затылок? — не сдерживаясь и досадуя, что говорит это, сказал Сушкин.

— Не знаю-с, не знаю-с... — обидчиво сказал капитан в сторону и заерзал.

Сушкин взглянул на его истомленное лицо и подосадовал, — зачем растревожил человека. Спросил себя: «а сам-то я, действительно ли такой, каким представился? А прав все-таки я».

II

Сушкин полез спать. Поглядел в окно. День был сумрачный, с оттепелью. Густые серые облака лежали низко над темным лесом. Ни утро, ни вечер.

«Где-то теперь синее небо? — подумал он о Наташе. — Там, должно быть, синее небо».

Он сунул под голову кожаную подушку, свою походную «думку», и скоро уснул. Но только уснул, — резкий толчок от груди в голову вскинул его на койке. Он в испуге открыл глаза и понял, что это то самое, что бывало с ним часто последнее время, — нервное. Поезд стоял. Офицер, напротив, теперь не спал: он лежал на локте и глядел на Сушкина желтым пятном лица. Капитану внизу, должно быть, надоела струившаяся за окном свинцовая муть: он опустил шторку, и в купе стало совсем сумеречно.

— Однако, как вас встряхнуло... — сказал офицер.

— Да, проклятый невроз.

— Ранены были?

— Пока нет, — сказал Сушкин, — хоть работать пришлось порядочно. А вы ранены... — заметил он, что левая рука офицера была на черной повязке.

— Так, несерьезно.

Завозившийся внизу доктор поднялся и тронул за ногу офицера.

— Не грех и Шеметову окреститься... — сказал он любовно. — Прощай, капиташа, слезаю.

— Прощай, миленок... — сказал офицер, пожимая руку. — Да не дури, право, там...

Доктор ушел.

— Вы... Шеметов?! — радостно удивленный сказал Сушкин, привставая на локте, чтобы лучше видеть.

И увидел очень худое, желтоватое лицо, в черных усах; не то, какое он ожидал увидеть, когда услыхал фамилию. Но было что-то в этом невеселом лице, чего он не мог сразу определить.

— Я много слышал о вас чудесного, капитан! — сказал он восторженно.

— Ну, чего там чудесного! Работаем, как и все.

Офицер лежал на правом боку и скучно смотрел, подперев щеку.

Вот он какой! Это он выкинул свою батарею на голый бугор, сбил батарею противника и разметал насунувшуюся бригаду, доводя до картечи. Это он дерзко вынесся на шоссе, в тылу, нежданным ударом опрокинул и сжег обоз, гнал и громил с двумя подоспевшими эскадронами знаменитый гусарский полк и ветром унесся, расстреляв все снаряды. И еще многое. Так вот он какой, Шеметов!

— Зубы болят... поганство! — сказал Шеметов, почвокивая.

— Теперь отдохнете... — радуясь встрече, даже с нежностью сказал Сушкин.

— Это давно, сниму скоро... — приподнял Шеметов руку в повязке. — Мать хоронить еду.

И вдумчиво посмотрел в глаза. «Вот почему он скучный», — подумал Сушкин.

— У вас мать жива?

— Жива. Моя мама еще не старая. Была больна, как раз к ней и еду.

— Так. А моя старенькая была. Бывают такие тихие старушки... — задумчиво, будто с самим собою, говорил Шеметов. — Ходят в черных косыночках, сухонькие... а лицо маленькое... — и замолчал.

Эта неожиданная задушевность тронула Сушкина. Он все так же на локте смотрел на Шеметова, не зная, что

бы такое сказать ему. А сказать хотелось. Он смотрел на его скуластое невеселое лицо с полузакрытыми глазами, и теперь новое чувство поднялось в нем к этому удивительному человеку: стало почему-то за него больно, будто уже знал его жизнь.

— Вы знаете, капитан, как говорят про вашу батарею?

— А что? — безучастно спросил Шеметов.

— «Замертвит шеметовская — все погасит!»

На лице Шеметова было то же.

— Замертвит... — повторил он и усмехнулся. — Да, говорят...

Он неприятно усмехнулся и посмотрел Сушкину прямо в глаза, как будто хотел сказать: «что ж тут особенного?»

— Так, так... — задумчиво-грустно сказал он себе, продолжая смотреть в глаза Сушкину. — Да, теперь у нас будет полная мертвая батарея...

— Мертвая?! — удивился Сушкин.

— Такая подобралась! — сказал Шеметов, а глазами спросил: «Не правда ли, какая странная штука?»

Сушкину стало не по себе от этого напряженного взгляда, беспокойно как-то. Он опустил глаза.

— Да, все товарищи мои с крепом... в душе. Не странно ли?

— Правда, странно, — согласился под его взглядом Сушкин и теперь понял, что его поразило в лице Шеметова: очень высокий лоб и заглядывающие в душу глаза, в холодном блеске. Подумалось: «За этим-то лбом и глазами таится весь он, странный и дерзкий, которому удавалось то, что должно бы губить всех других».

— Как будто и р-роковое что-то? — все так же пытливо всматриваясь, спросил Шеметов. — Вы как... не мистик? И усмехнулся.

— Нисколько. Напротив, я был бы счастлив служить у вас...

— Если не любите блиндажей, милости просим... — шутливо сказал Шеметов.

Сушкин вспыхнул и ничего не сказал. Только подумал, — какой странный этот Шеметов.

— Да... моя батарейка... правда, мертвит. Немцы нас хорошо знают, мы у них на учете. У меня есть наводчики, вот-с... с точностью инструмента могут, по ширине пальца... — поставил Шеметов перед глазами ладонь на ре-

бро. — Мертвит батарейка... Зато и своих мертвит! У четверых моих офицеров за войну померли близкие, а трое сами подобрались к комплекту. Странно, не правда ли? А ведь, пожалуй, и хорошо, в трауре-то? Разве война так уж необходимо радостное?..

Сушкин ничего не сказал. В словах Шеметова ему показалось значительное, и он опять подумал: «Но какой он странный!» И совсем смутился, когда Шеметов спросил, пытая взглядом:

— Вы что подумали... не совсем я... того?

Губы Шеметова насмешливо искривились, и в тоне было затаенно-насмешливое, словно он говорил: «А как я вас знаю-то хоршо, подпоручик Сушкин!»

— Нет, я этого не подумал... но мне действительно показалось странным...

— Ну, вроде того. Видите, сколько странного! — с той же усмешкой продолжал Шеметов. — Вы подумали, а я уж знаю... А может быть, и вы что-нибудь угадали... Жизнь умеет писать на лицах.

«Я не ошибся, — подумал Сушкин, — у него было много тяжелого: написала на лице жизнь».

— Видите, дорогой, как много странного! — продолжал Шеметов. — Только в математике ничего странного не бывает. Ну, так при чем же тут математика?

— При чем математика... — не понял Сушкин.

Холодно посмеиваясь глазами, Шеметов сказал:

— Я слышал ваш разговор... — показал он глазами книзу. — Математика математикой, но есть еще очень мало обследованная наука... пси-хо-математика! Не слыхали... Вот этой-то психоматематикой и движется жизнь, и мы с вами живем, хоть иногда и не чуем. А чуять бы не мешало.

— Психоматематика?! — переспросил Сушкин.

— Не будем спорить о слове. Пусть это наука о жизни Мировой Души, о Мировом Чувстве, о законах направляющей Мировой Силы. Вы верите в незыблемые законы материи... их вы можете уложить в формулы. Но есть законы, которые в формулы еще никто не пробовал уложить. Ну-ка, переложите-ка в формулу, что вы чувствуете сейчас ко мне! Сейчас и запутаетесь в словах даже. Это к примеру. Так вот-с... Ее законы еще и не нащупаны... и величайший, быть может, закон — закон непонятной нам Мировой Правды! Не справедливости... это все ма-

ленькое самому дикому человеку доступное... а Правды! Я, положим, называю его... ну, законом Великих Весов. А вот... На этих Весах учитывается... и писк умирающего какого-нибудь самоедского ребенка, и мертвая жалоба обиженного китайца, и слезы нищей старухи, которая... — заглянул Шеметов за шторку, — плетется сейчас где-нибудь в Калужской губернии... и подлое счастье проститутки-жены, которая обнимает любовника, когда ее муж в окопах! Громаднейшие Весы, а точность необычайная. Закон тончайшего равновесия...

— То есть вы хотите сказать — закон возмездия? Но это уже давно: «какой мерой меряете...» — сказал Сушкин и вспомнил поручение командира...

Шеметов усмехнулся...

— Это не то. Там ответственность личная, а тут другое. Тут... ну, круговая порука, что ли...

— Это что-то у Достоевского... — сказал Сушкин, но вспомнить не мог.

— Не знаю. А если у Достоевского есть, — очень рад. Да и не может не быть у Достоевского этого. Он имел тонкие инструменты и мог прикасаться к Правде. Так вот... круговая порука. Тут не маленькая справедливость: ты — так тебе! А ты — так всем! всем!! Вы понимаете?! Действуй, но помни, что за твое — всем! Чтобы принять такую ответственность, — как еще подрасти надо! А когда подрастут, тогда ходко пойдет дело этой, направляющей мир, Правды. А сейчас только еще продираемся, как в тисках... знаете, как обозы зимой скрипят? Хоть и скрипят и морозище донимает, а прут. И припрут! Когда эту науку постигнут — тогда кончится эта жизнь, которая напутывает узлы. Тогда... — сказал Шеметов мечтательно, — Бог на земле! Впрочем, спите. Помешал я вам спать... Нет, нет... мы еще успеем поговорить.

Сушкин опять подумал: какой неуравновешенный и встревоженный человек. И было досадно: такое интересное вышло начало. И это странное чуяние друг друга; словно Шеметов хорошо его знает, — так показалось Сушкину, — и он знает Шеметова. И что это за психоматематика? Закон Великих Весов... Психические свойства материи? Развитие положений монизма? Очевидно, есть у Шеметова собственная система, которую он, должно быть, развивал

на позициях, когда мысль работает особенно напряженно. Это и по себе знал Сушкин.

Шеметов лежал на спине и курил, подергивая скулой: томил его зуб. Теперь его нос не казался широким, а лицо было настороженное, словно Шеметов напряженно думал.

— Капитан... серьезно, я не хочу спать. Поговоримте...

Вышло по-детски, будто Сушкин просил старшего, от которого он зависит, — но это не было ему неприятно.

— Не хотите спать... — будто удивился Шеметов. — Ну, говорите.

Это «говорите» он сказал так, будто для него нет никакой необходимости говорить. Но сам же и начал, пока Сушкин обдумывал, о чем говорить.

— Хотелось бы знать мне... — начал Шеметов, — только ли внешними оболочками мы живем, что доступно глазу и цифре? Нет ли еще и сокровенного смысла какого. Лика вещей и действий? Погодите... Видели доктора? Счастливейший человек, жиреет себе... Слышали, небось, как храпел?

Сушкин улыбнулся, вспомнив, как лежал доктор.

— Поставили бы, пожалуй, его жизни красненькую пятерку, добрую, пузастую. Ничего доктору не надо: выспался, пошел — и там поест-выспится? А оказывается — смерти человек ищет... — понизил голос Шеметов до шепота, и его лицо стало болезненно настороженным. — Ищет смерти и не может найти. И толстеет! А?! Тут уж и смысла никакого?

— Ищет смерти?.. — недоверчиво повторил Сушкин.

— Ищет, чтобы распорядилась судьба, а она не хочет распорядиться. Очевидно, там где-то, куда наши расчеты и маленькие глаза не проникают, еще не сделано выкладок... не укладывается в нашу формулу доктор... — усмехнулся Шеметов. — Перед войной у него утонул единственный сын, студент, и отравилась жена, не вынесла горя. А он пошел на войну, и вот ищет смерти. Нарочно перевелся в пехоту, ходил в атаки, перевязывал и выносил под огнем, у него убивало на руках, а он все не находит. Теперь затишье, и он перевелся пока в госпиталь, на опасную работу. А по нем и не видно. А что увидишь на этом? — показал Шеметов к окну. — Тут посложней доктора. Теперь бы вы поставили его жизни самую зеленую единицу! А чудеснейший человек, и никакая «мера»

тут не подходит... «какою мерою меряете...». Роком пристукнуло, а? Значит, стукайся головой, вешайся, напарывайся?.. Или уже овладей тонким каким инструментом — и оперируй! Провидь Смысл...

— А вы овладели... «тонким инструментом»?

— Чу-дак! — благодушно сказал Шеметов. — Что такое значит — овладеть! Тут интуиция... «Тонкий инструмент» есть и действует. Только подрасти надо, поглубже вглядеться, душой прикоснуться к скрытому. Лику жизни. Мир в себя влить и связать с миром. Ну, как вам война? смысл и какой вывод?

Это было совсем неожиданно, да и вообще Шеметов говорил непоследовательно. Сушкин уже высказал тому капитану свой взгляд на войну и теперь хотел знать, что скажет Шеметов. И потому сказал кратко:

— Мне война показала силу человеческой организованности и достижений во что бы то ни стало. И еще... человек проще, чем думают. Может перешагнуть в любую эпоху и приспособиться. Культура легла на него легкой пыльцой, и потом война раздела его донага. Война доказала, как провалились признававшие в человеке мощь духовных начал и укрепила иных, как я, например... — сказал Сушкин задорно, — которые принимают, что идейное и духовное — только временные подпорки, которые и отбросить можно, если в них нет потребности. Человек — сложный состав, который можно и упростить.

— Химик вы, что ли?

— Да, химик. А вывод, по-моему, утешительный. Из человечества можно лепить по плану. Можно вылепить и зверей или зажечь «небесным огнем».

Шеметов перевалился на правый бок и поглядел на Сушкина острым злым взглядом. И опять Сушкин подумал: «он не в себе».

— Война... Что вы сказали, значит — ничего не сказать. Ляжет на вашу койку биолог, скажет про процессы сложнейшего организма, приведет тельца и шарики. Социолог поведет в теорию эволюции... психолог, политикоэконом, — каждый по-своему... Социал-демократ бросит свое — гипертрофия капитализма! И докажет глубже иных. Потому что не только по формуле, но и кровью своей знает. Но и он только «специалист»! Разберут войну по кусочкам, а сердцевины-то, Лика-то скрытого... и не

дощупываются! Эти специалисты! Каждый с таблицей и ярлычком... Но даже у пня имеется сердцевина и лик. И в вашей жизни, поручик, есть лик скрытый! Вон капитан храпит... — показал Шеметов на нижнюю койку. — Успокоился человек... Рот раскрыл, а к нему в рот искровая волна лезет и начертано этой волной, что сейчас в Атлантическом океане гибнет какой-нибудь пароход «Саламбо!» А изо рта капитана навстречу храп и запах от зуба. А мы с вами только и слышим, что храп, и можем почувствовать этот запах... а что пароход тонет — в купе об этом никто не ведает. Жизнь идет к неведомой цели и не идти не может, ибо есть и для жизни Закон! Как огонь не может не жечь. И носит она в себе свой Лик скрытый... Но этот Закон можно только пока предугадать этим вот... — втянул в себя воздух Шеметов. — Ну, представьте по чудесному запаху чудесный цветок, — который вы никогда не видали и никогда не увидите.

— Это что-то метафизическое... — начал Сушкин, но Шеметов перебил с раздражением.

— Погодите наклеивать ярлыки! Лоскутки тащим и кричим: вот она, истина! Есть учение, что истины никакой нет да и ничего вообще-то нет, а только один мираж! И тут все-таки хоть маленькую какую истинку иметь нужно — для освещения этой дороги-призрака: целую систему и оправдание и даже целесообразность для миража постарались изобрести. А если я громадное и безмерное и самое реальное признаю и не свечки какие, а громадное пламя имею? Почему же это пламя не будет светить мне, хоть вы и приклеите к нему ярлычок? Если я этим пламенем могу человечество из канавы выдрать и заставить расти? Если могу по чудесному аромату чудесный цветок представить?

Шеметов поднялся и с ненавистью даже взглянул на Сушкина.

— Если я это пламя на своей шкуре вынес, все себе руки сжег, чтобы его принять?! Если я потерял все в жизни, что казалось ценнейшим, а теперь... старуха моя померла... уж и все потерял и никогда не найду? Ни по вашим трактовкам и ярлыкам да и по себе не найду? Война... неопровержимо доказала одно и одно: гипертрофию не капитализма, а «мяса»... «мяса»!

— Мяса...? — повторил, не понимая, Сушкин.

— Да, «мяса»! И порабощение духа! «Мясу» фимиам воскуряем. И все поганство свое кидаем в пространство, не чуя даже, как это поганство растекается, как водяные круги от камня, и заражает. Гипертрофия мяса! Обожествление оболочек! Заляпали большие глаза и смотрим маленькими. Вы скажете: но наш век не только торжество «мяса», а соц... а социализм-то! Ведь он какие ценности-то несет, ведь он в семиверстных сапогах шагает, вот-вот выше Гауризанкара подымется и человечество очистит и облагодетельствует! Но я скажу: не «мясо» ли и тут на подкладке окажется? не поведет ли и он от неба к земле, начав с неба?

Сушкин усмехнулся, но Шеметов покрыл его усмешку своей.

— Что?.. уж такой я простец, азбуки даже не понимаю? Но и социализм только оболочка, а не сердцевина! И в царстве социализма страх будет и кровь... и муки! Это только ступень. Да, я не из кабинета, но я и не раб, не раб! Зато хорошо обожжен и не протекаю. Меня ни одна партия не примет и не назовет своим... Человечество еще и не начинало входить в то Царствие, по которому тоскует смертно... — перекинулся Шеметов в иные мысли, и Сушкин узнал точку в его холодных глазах. — Человечество сейчас и на задворках этого Царствия не пребывает... Оно еще в стадии проклятого «мяса», еще должно завоевать право на Царствие... вымыть глаза и узреть. Должно пройти через Крест! Оно еще только сколачивает этот Крест, чтобы быть распятым для будущего Воскресения. Распято, подпоручик! — повторил Шеметов жарким шепотом, приближая тревожно-восторженное лицо к лицу Сушкина. — И был символ — то, давнее Распятие.

Звал, а не постигли! И напутывали узлы... А Весы взвесили и требуют неумолимо: да будет Великое Равновесие! И будет распято! И уже давно вколачивает в себя гвозди. И тем страшнее и больней это распятие, чем больше накоплено «мяса». Круговая порука! И вот все гвозди тащут, и крест сбивают, и кровь из себя точат. Вот уже мы с вами, как специалисты этого дела, и приводим в прекрасное исполнение. А мясистый-то человек говорит гордо: какая чудесная вещь организованность и что за сила у человека! Какая подлая слабость у человека! Не усмотрели Знака. А он простер страшные концы свои от края

и до края светлого неба... — сказал Шеметов восторженно, и в глазах его увидал Сушкин пламенную тоску. — А человечество разменяло этот Знак на значочки и таскало, как побрякушку. Про третью щеку говорили? Да как же не искать третьей щеки, когда у самого обе излуплены?! У каждого излуплены в свалке проклятой... Так вот и хочется каждому прикрыться чужой третьей, чтобы в барышах остаться. И каждый лупит, и каждый тоскует и ждет чудесного. А уплатить за чудесное не думает.

— Итак, это наказание — этап? — спросил Сушкин.

— Это подведение итога. Две тысячи лет тому назад итог был подведен: показано было человечеству богатство, кровью нажитое... указана была чудесная дорога по вехам, кровью и муками добытым! Я не поп, конечно, и осмысливаю великий опыт веков... Все человечество, искавшее своего смысла, чудесного своего цветка, ну... идеала, что ли... ну, счастья, что ли... сказало Одним Избранником: «за них Я посвящаю Себя, чтобы и они были освящены Истиною!» И напрасно оказалась Жертва. И вот второй итог: за это «посвящение» Одного, как величайшего выразителя всех миллиардных поколений, всех мук этих поколений — все! Ибо безмерна Жертва! Не увидали Креста — да увидят Креста! И увидят. Да будет Великое Равновесие. А иные чудесную идеологию строят, проявление мощи видят.

— А психоматематика? — спросил Сушкин.

— А я думал — вы уж и разобрались в ней, — удивился Шеметов. — Ну, учет высшим масштабом... проникание в Лик жизни! тут все утончено — и любовь, и глаза, которые должны видеть под оболочкой... и сила принять величайшую из ответственностей — за всех перед самим собой...

— Ну, хорошо, — сказал Сушкин. — Я, положим, и признал: я — так всем! ну, за каждое мое действие отрицательное, что ли... понесут ответственность, — и я воздержусь. Но большинство-то будет наслаждаться! Какое нам дело? Ну, пусть, скажут, страдают, а нам хорошо!

— Да, до поры. А в итоге равновесие будет — и путь будет прочищен, и новая веха поставлена! Вот и подымись, во имя будущего-то подрасти, прими муку, но подрасти и выведи будущие мириады на светлую дорогу. Увидь, наконец, великий масштаб, а не свои сантиметры! Все

равно, подрасте-ошь, хоть и в крике, — иного выхода нет. Но это «несправедливость» только для маленьких, а большой — примет. Один Большой уже принял и поставил Веху. Теперь принимают и маленькие...

— Когда же вы пришли к этому?

— Привела жизнь... — сказал Шеметов, и Сушкин опять почувствовал и по лицу его, и по тону, что его жизнь была страшно несчастна. — Особенно стало мне ясно за этот год участия в «круговой поруке»...

Сушкин посмотрел на Шеметова. Какое страдальческое лицо! И не мог удержаться — спросил:

— Вы очень страдаете?

— Нисколько. Это зуб у меня тоскует, — сказал он с усмешкой. — Я уже вышел из этого состояния... Страдать может тот, кто в страдании одинок... а разве мы одиноки? Ведь говорю же я вам: круговая порука... а «круг»-то этот слишком теперь велик. Жалею, скорей...

— И убиваете...

— Очень. Надо же помогать, чтобы скорей кончилась эта великая операция. Я так говорю: вы, мои организованные противники, особенно постарались для «мяса»... ну, и получай гвоздь! А моя Россия, мой бедный народ... он меньше всех виноват в этой «мясной» вакханалии... И я стараюсь, чтобы моим выпало на долю меньше гвоздей. И мой аппарат пока в этом мне не отказывает. И я гвозжу с упоением! Не с тем, про что Пушкин, кажется, говорил, —...«есть упоение в бою у бездны мрачной на краю...». То — садизм, а я, как хирург.

— Да, я слышал... — сказал уже без усмешки Сушкин: — у вас и пушки имеют особенные прозвища...

— Так точно, Есть, например. Гвозди-ка... Не гвоздика, а через тире. Недурно? — с холодком в глазах усмехнулся Шеметов. — Она очень любит «играть в картечь»... Ее чуть было не прибрали к рукам, только это «чуть» очень дорого обошлось! О-очень дорого! — с особенным ударением и жуткой усмешкой сказал Шеметов. — Ну-с, вам пора поспать.

Сушкин был рад теперь, что разговор кончился: утомил его этот как будто и странный разговор. Сушкин сделал отсюда вывод, что Шеметова, пожалуй, еще более измотало, чем того капитана. И осталось в душе тревожное от его беспокойной и смутной речи и от усмешки холодных глаз, которыми он словно нашаривал в мыслях и чувствах

Сушкина. Это смутно-тревожное впервые зашевелилось, когда Шеметов сказал: «и в вашей жизни, поручик, есть лик сокрытый!» И еще чувствовал Сушкин, какой все-таки обаятельный человек этот Шеметов. С ним, когда он поуспокоится и отдохнет, хорошо бы пожить друзьями, подумать и поспорить. Конечно, его идеология и неясна, и непоследовательна, но есть что-то...

III

Не приходил сон. Чтобы прогнать тревожное, Сушкин стал думать о Наташе. Перебрал в памяти все, с нею связанное, — и все, что было с ней связано, было прекрасно.

Он отбыл воинскую повинность и приехал в родной городок, чтобы приступить к жизни, как полноправный. Было обеспечено место на заводе товарищества. И в первый же день приезда такая случайная встреча! Шеметов сказал бы:

— Дело путей Скрытого Лика!

Она приехала как раз в тот же день, вызванная болезнью сестры, и осталась надолго. А теперь, может, и навсегда. С ним ее связало товарищество: муж сестры — главный директор. И опять бы сказал Шеметов:

— Какая затейливая работа!

И эта первая встреча в глухом переулке, поросшем травой, у серенького забора, за которым краснели на солнце вишни... Как чудесно все вышло! Шла навстречу высокая девушка в белом платье, в белых туфлях и в белой шляпе, а за ней Бретто, знакомый водолаз Петровых. Они столкнулись у серенького забора... Он еще подумал тогда: как хороша! И золотистые волосы, и черные брови, и удивительно яркий рот. И еще подумал: «у нас появилась волоокая Кавальери, только блондинка». И был страшно счастлив, когда спросила она, как пройти ей в аптеку... Какой чудесный день был тогда! какие сочные были за забором вишни, какое удивительно синее небо, и так хорошо звонили на белой колокольне у Троицы! И этот черный миляга-пес, Бретто...

Сушкин мысленно повторил, глядя на клеенчатый потолок вагона: — Здравствуй, Бретто!

Их познакомила такая пустячная случайность!

Сушкин закрыл глаза и вызвал солнечный день и солнечную Наташу.

— ...Здравствуй, Бретто!

Водолаз поднял думающую морду.

— Вы его знаете? — спросила белая девушка.

Словно они сами нашли друг друга. И потом целый месяц всегда радостных дней и встреч и мгновений трепетного молчания.

«Но почему же не было сказано, что так хотелось сказать?» — повторил этот вопрос который уже раз Сушкин.

И хотя ехал теперь к Наташе и знал, что завтра будет безмерно счастлив, услышит, чего она, робкая, еще не сказала в письмах, но что он видел в ее глазах на прощанье, — было досадно. Нежданно сдвинула все война. Даже не успел познакомить Наташу с матерью.

И опять пришла мысль, которая столько раз приходила в лесах и полях, где творилось такое непохожее на жизнь дело. Сколько раз, сидя в яме наблюдательного пункта, уставив бинокль в развилке корней, Сушкин словно опомнился и спрашивал: да была ли та жизнь, или только казалось, что жизнь была, а настоящая жизнь и есть эта вот яма и проклятое «впереди», что нужно смешать с землей. И в эти минуты казалась Наташа неясной: как будто и есть она, — как будто и нет ее. Тут Сушкин вспомнил слова капитана:

— Еду к ним, а их, может быть, уже и нет... никого нет.

...Должно быть, и капитан, и я переживаем это странное чувство далекости от жизни, такой непохожей на ту, которой жили в походе.

Тут вспомнился доктор.

...А у него только призраки и остались, и он хочет отмахнуться от них, уйти. А Шеметов, — поглядел Сушкин на капитана, — этот уж совсем отмахнулся, поднялся над жизнью и судит ее огнем.

Шеметов лежал на спине, закрыв лицо локтем, и этот вид его говорил, что капитан напряженно думает. И опять Сушкину стало жалко его — его одиночество.

Поезд тормозили. Капитан внизу завозился, поглядел за шторку и торопливо сказал:

— Кажется, пряниками тут торгуют...

И пошел. Вышел и Сушкин.

IV

Станция была большая, уже в огнях. В буфете было шумно и суетно, и захотелось уйти в тишину. Сушкин пошел было на платформу и увидал капитана. Тот стоял у прилавка, где продавали пряники в пестрых коробках, и разговаривал с продавщицей. Продавщица смеялась.

— Как же, как же... — суетливо говорил капитан, передергивая лицом. — Непременно обещал привезти... Обязательно, милая барышня, выходите замуж... и сами будете покупать тоже. А не будь их — и не купил бы у вас пять фунтов...

— Обязательно выйду! — смеялась продавщица.

«И ей, должно быть, все рассказал, — подумал Сушкин. — И как Лида ходит за его курами, и как Котик перевирает слова. Милый капитан!»

Продавщица обращала внимание. Это была высокая, плотная брюнетка с молочным лицом и полными яркими губами, явно накрашенными, были подведены и глаза, и тонкие, крутыми дужками брови, и от этого глаза играли томным фальшивым блеском; волосы были в локонах, как на картинке, и показывали синевато-белый пробор, словно напоминая, какое у нее белое тело. Жеманясь, то откидывая голову назад, то склоняя к плечу, она играла глазами и ярким ртом и все закидывала на плечо рыжий, пушистый хвост лисьего меха, раздражающе яркого. А хвост словно нарочно спадал, показывая, какая у нее соблазнительно-красивая шея в родинках.

Сушкин поймал заигрывающий взгляд продавщицы.

— Не желаете ли?.. — игриво сказала она ему, поведя глазами на пряники. — Ананасные, миндальные...

Ее полные губы играли, как и глаза, как и все откинувшееся от прилавка тело, и опять упал хвост и показал шею.

— И ананасные?! — сказал, усмехнувшись, Сушкин и вспомнил Шеметова: — «вот оно, мясо-то... красивое, черт возьми!» — И пошел на платформу.

Прошел в самый конец, где было безлюдно, только у груды ящиков стоял часовой с шашкой. Морозило в ветре. Ноябрьские звезды мигали в березах. Смутно темнела тяжелая башня водокачки. Звезды и башня напомнили Сушкину один случай.

В прошлом году в эту же пору ехал он с Жуковым из дивизиона лесом. Когда кончился лес, они увидели точно такую башню, только крыша ее была разбита снарядом. И вдруг кинулась с лаем к ним черная худая собака. Это их испугало и шарахнуло лошадей, а собака прыгала к лошадиным мордам, словно просила, чтобы взяли ее с собой. Это напомнило прошлое, милого Бретто, и Сушкину до тоски захотелось тогда домой. Собаку взяли на батарею, потом ее вскоре убило. И вот теперь, перед темной башней, опять поднялось томленье. Сушкин повернул к станции, и тут на него набежал Жуков.

— Два перегона осталось мне, ваше благородие!

— Ну, валяй. К жене?

— Так точно, ваше благородие! — так же ответил Жуков, как отвечал и там, и даже в тот день, когда пришло приказание вызвать артиллеристов-охотников резать у неприятеля проволоку, в помощь пехоте.

«И ты?» — тогда удивился Сушкин, зная опасность дела, и так же Жуков ответил: — «так точно, ваше благородие!»

— Рада будет жена? — и подумал, смотря на рябое курносое добродушное лицо: «вряд ли рада».

— А кто е знает... больше году не виделись... — застенчиво сказал Жуков и оглядел сапоги.

— Ну, поезжай... — повторил Сушкин, давая денщику пять рублей. — Приедешь за мной, как сказано.

Посмотрел, как побежал Жуков, и подумал: «хорошо, когда человек спокоен. А надо бы ему беспокоиться. Дуняшка его обманывает, и он это знает». Не раз читал он безграмотному Жукову женины письма и знал, что воротили Никифора, который Дуняшке нравился и которого избил Жуков, уходя на войну. В самый тот день, когда пришло письмо о Никифоре, и пошел Жуков резать проволоку. Вспомнив, Сушкин и укорил себя: зачем затревожил человека? Поглядел на звезды и вызвал сияющие глаза.

— Наташа! чудная, ясная моя...

Увидал в палисаднике за березами светящиеся окошки, вспомнил, что так же вот светятся окна их дома, если смотреть из сада, и опять поднялось томленье — скорей бы! Жадно глотнул морозного воздуха, слыша, как нежно пахнет мерзлой березой, и пошел купить пряников.

— Сладкие?

— О-очень... — усмехнулась продавщица, играя ртом.

Сушкин дерзко взглянул в ее говорящие глаза, оглядел играющую белую шею в родинках.

— Сахар с патокой?

— Са-хар... — ответила в тон ему продавщица и поиграла шеей. — Ничего вредного нет.

— В самом деле, ничего?

— В самом деле, ничего.

— В полном смысле, ничего?

— В полном смысле ничего... — смеясь, повторила продавщица, не поправляя хвоста.

— Всех награждаете пряниками... — сказал Сушкин, давая деньги. — И туда, и оттуда...

— Пряники любят все.

— Даже с патокой?

— Патока зато слаще! а сахар дорог... — опять в тон ему ответила продавщица и закинула хвост.

Сушкин пошел к вагону, но раздумал и походил еще, опять поднялось в нем неприятно тревожное, смутное. «Что такое?.. И почему такая неприятная станция?.. — спросил он себя. — Это все тот разговор...» Увидал темную башню и вернулся: как будто эта башня вызвала тревогу. Опять увидел огоньки в березах и вспомнил о матери: ждет теперь. И Наташу вызвал опять — светлую, в белом платье. «Она светлая, и от нее всегда радость... Где она — там всегда синее небо... Но отчего такая неприятная станция?»

Это все от разговора с Шеметовым: ведь до этого-то он был спокоен. Увидел в окно станции продавщицу, смеявшуюся с отвалившимся на прилавок толстым путейцем, который играл на ладони лисьим хвостом, и теперь понял, глядя на ее шею, что оставило в нем неприятно-тревожное...

Да, вот что. Это было весной на Висле, в голубом домике. Хозяйка полька приняла их очень радушно. Она была хороша собой, особенно голубые глаза с резко кинутыми бровями делали ее лицо вызывающе бойким. Даже угрюмый Крюков сказал: «номерок!» Стожин все потуплял глаза, а поручик Свобода был занят письмом к жене. Только он был захвачен очарованием молодого и свободного тела. Он хорошо заметил, что обращает вни-

мание: это было видно и по ее играющей походке, и как она подавала ему кофе, и как смотрела. Полегли спать и храпели, как кузнечные мехи. Только он не мог спать. Он лежал в боковушке один. Хозяйка тихо ходила в своей комнате рядом. И вдруг посветлело в его боковушке: в стенке оказалось окошко, а хозяйка зажгла у себя лампу. Он глянул. Хозяйка сидела перед зеркалом и причесывалась на ночь. Он жадно смотрел на ее голубой лифчик и обнаженные руки, видел пышные светлые волосы, играющие под гребнем, белую шею и задорный профиль. И постучал тихо. Хозяйка поглядела к окошку, усмехнулась глазами, словно хотела сказать — так и знала! — и привернула огонь. Он услыхал шаги и намекающий стук в окошко...

Вспомнив теперь про это, Сушкин подумал: «что бы сказала Наташа!» Но сейчас же сорвал эту неприятную мысль: «это не из той жизни и бесследно прошло, как сон. И вовсе не от этого неприятно».

Поезд пошел. Капитан укладывал в чемодан покупку.

— Купили пряников? — спросил Сушкин.

— Как же, как же... — показал капитан встревоженное лицо.

Он быстро щелкнул замком и с болью в лице пристально посмотрел на Сушкина.

— Но это ужасно, ужасно!

— Что такое?.. — встревоженно спросил Сушкин.

— Вот теперь и не знаю... — упавшим голосом сказал капитан и крепко потер над ухом. — Я понимаю, конечно... нервы... но почему же я не получил ответа на телеграмму? Я две послал... Конечно, такая даль... письма идут больше месяца... Последнее получил тридцать семь дней назад... Тридцать семь дней! Могло все случиться...

— Капитан!

— Ах, я же понимаю... но что я поделаю с мыслями! Там я не раз видел смерть, но это страшней... — Он придвинулся к Сушкину, с болью в запавших глазах, и сжал его руку, словно просил защиты. — Потерять счастье... маленькое счастье... единственное!.. Ведь теперь все теряют, все... и там, и там! — жутким шепотом говорил капитан, придавая особую выразительность слову — там. Жизнь... так все непрочно в жизни... И странно, а я это замечал и знаю... больше страдают маленькие, слабые и

тихие люди... а мы жили так тихо... и мы не большие люди. Это жесто-ко! Ведь большие люди... они... широко, широко... — сделал рукой капитан, — им жизни не страшно, они хозяева жизни... и если в одном сорвется, так сколько еще всяких корней и утех! Они и жизнь подделывают... они умеют... а маленькие люди от случайности упадут и не встанут. Как это жестоко, дорогой... Теперь маленьким людям плохо...

— Дорогой капитан... вы больны и потому так мрачно глядите. Телеграмма могла задержаться!.. У вас будет все хорошо... — сказал Сушкин, взволнованный растерянностью капитана. — Вы встретите своих и на радости... — ну, на пари давайте! — пришлете мне об этом письмо на фронт!

Это вдруг пришло в голову — успокоится капитан! И правда. Капитан весело поглядел и спросил:

— Да?! вы думаете?!

— Уверен! — решительно сказал Сушкин и подумал: как мало нужно, чтобы утешить человека. — Ну, идет?!

— Как же, как же... — торопливо сказал капитан и вынул карточку.

Сушкин взглянул: «Илларион Вадимович Грушка». И почему-то показалось ему, что с таким именем судьба не обидит человека. И даже не показалась странной пришедшая мысль, словно так именно и должно. Дал капитану и свою карточку.

— Павел Сергеевич... — прочитал капитан. — Павел Сергеич! — и грустно взглянул на Сушкина. — У меня был друг, тоже Павел Сергеич... застрелился в прошлом году...

— Застрелился?! — почему-то с удивлением просил Сушкин.

— Да! — отрывисто сказал капитан. — Его положительно преследовала судьба. Но какой был человек! Жил в ссылке, все здоровье отдал... женился на моей племяннице... по любви... Через месяц жена умерла. И тут начинается полоса... как в картах бывает... О, как это жестоко все...

И он еще долго рассказывал. Сушкина одолевала усталость. Он извинился и полез на койку. Посмотрел на Шеметова. Тот лежал, отвернувшись к стене. И опять показалось Сушкину, что Шеметов все думает напряженно.

Лег и сейчас же уснул. Спал крепко, без снов.

— Москва, ваше благородие! — разбудил носильщик. Капитан Грушка козырнул на прощанье из коридора — спешил куда-то, Шеметова не было. И не знал Сушкин, когда и где он сошел.

V

И здесь не было синего неба, а он как будто и ждал его. Может быть, видел в крепком вагонном сне. Когда сел на извозчика у вокзала, досадливо посмотрел на небо и вдруг вспомнил обрывок сна — высокие белые дома, страшно яркие, в солнце, за ними и над ними синюю свободную даль и чей-то веселый и звонкий голос: «а у нас всегда солнце, что вы болтаете пустяки!..» Голос был молодой и задорный, и от этого-то задорного голоса и осталось радостное, когда разбудил носильщик. А теперь опять стало смутно, — и здесь невеселая погода. Но он подавил в себе раздражение: «Еду к Наташе!» Извозчик был очень старый, и армяк его ветхий. Плоха была и лошадка.

— Плохая же у вас погода!

— Пло-хая, барин... — скучно сказал извозчик.

В Москве для Сушкина не было интереса: только покупки. И он решил тут же покончить с ними, чтобы быть свободным на будущее.

Побывал в синодальной лавке и купил самое маленькое Евангелие — четыре вершковых книжечки в красной коже в портфельчике. В лавке никого не было, — «это не в спросе», — подумал Сушкин,— но ему очень понравилось здесь: тишина, иконы на красных шкафах и тихие движения продавца. Он смотрел на книги в красных шкафах и думал: «вот великий опыт веков, добытый кровью... ведь об этом говорил Шеметов? в маленькой книжечке... а покупателей и не видно. Нет никому никакого дела до этого «опыта». Вон она, гремит жизнь...» И сейчас же забыл, какая интересная мысль напрашивалась, как только вышел на улицу: что-то о связи этой гремящей жизни с... чем? И не мог никак вспомнить. К чему тут помнить! Вон какие чудесные магазины.

Он зашел в лучший кондитерский магазин и выбрал пятифунтовую голубого шелка коробку, тонко гофрированную, со светловолосой, нежнолицей и стройной девушкой

в белой шляпе на зеленом лугу в ромашках. Понравилось ему, что в этюде много света и неба.

— Только ананас в шоколаде и вишни в вине... пожалуйста!

Наташа любила ананас и вишни.

Выйдя из магазина, Сушкин увидел на углу, на той стороне, знакомое желтоватое лицо. Шеметов?! Быстро перебежал, толкая прохожих, не думая, зачем ему нужен теперь Шеметов. Но это был офицер, грузин, напоминавший Шеметова. И стало опять досадно, что не простился.

...Да зачем, собственно, он мне нужен? Нет, с ним тяжело. Заставить бы Наташу его послушать...

И посравнил: Наташа и Шеметов! Та вся — светлое небо, а он... Но не мог подобрать сравнения. И забыл сейчас же.

До поезда оставалось около трех часов. Сушкин прошел по Кузнецкому мосту, с удовольствием звеня шпорами по асфальту, с удовольствием разглядывая свое красивое отражение в витринах, испытывая необычную радость, которая шла на него от зеркальных окон, от чистоты и комфорта, от всей этой жизни, которая казалась такой призрачной из ямы наблюдательного пункта. А она — вот она! А там... Он посмотрел на небо, чтобы представить себе, как там: окружающее было так непохоже. Так, бывало, глядел он в небо и там, чтобы вспомнить о здешнем. Небо было такое же. Но вызвать ясно не мог и подумал только: еще не кончено там.

Время было позавтракать, и Сушкин зашел в ресторан.

При виде зеркал, бронзы и хрусталя и особенно снежных, тяжело спадающих камчатными складками скатертей, его охватил детский восторг. Заходило перед глазами, и он с минуту стоял, радостно повторяя: как чудесно! Прелестны были цветы в зеленой корзине с золотом — гиацинты, сирень и ландыши. Ландыши! Он подошел и долго смотрел на них. Они были такие же, как и в том лесу, — хрупкие чашечки и бледные язычки. Он смотрел, с удовольствием слушая усыпляющий шелест, — тихий стеклянный звон, шепот и звяканье, — шепот первоклассного ресторана, давно неслышанный. Он даже сорвал цветок, не обращая внимания на присматривавшегося к нему лакея. И тот же запах... Этот запах вызвал в нем радостно-сладкое нетерпение видеть Наташу.

Он приказал подать завтрак и жадно съел все, что осторожно выспрашивал — не прикажете ли... — лакей. Закурил поданную сигару, хотя раньше никогда не курил сигар, и стал наблюдать.

«...Хорошо наблюдать отсюда!» — с усмешкой подумал он.

Против него сидели: лысый круглоголовый толстяк с выпуклыми глазами, и тонкая с острыми в кружевах локотками, и очень высокой шеей дама в маленькой шляпке с эспри. Толстяк густо мазал зернистой икрой кусочки калачика и небрежно кидал в широко раскрытый рот, сладострастно выворачивая глаза. Выпятившаяся горбом тугая манишка как будто тоже жевала, жевал и галстук, и запонка-нагрудка, искрившая глазком изумруда. Жевал и сердито-жадно глядел на даму. Лица дамы Сушкин не видел. Она кушала деликатно, серебряной вилочкой, омарьи лапки: повертит на вилочке — и скушает.

«Жрут с толком, — подумал Сушкин. — Какой-нибудь банкир или поставщик, а в серебряном кувшине, конечно, вино. Интересно бы поглядеть его в яме или послать резать проволоку!»

Потом представил себе Шеметова,— в какую бы формулу уложил он этого толстяка и как бы связал с «крестом»? Все, на самом деле, гораздо проще и, пожалуй, страшней. А что бы сказал сухонький капитан? Попросил бы себе икорки... Нет, он бы Котика накормил... И ничего бы не сказал капитан. Есть деньги — и ест! Лишь бы его не трогали.

Но никак не мог представить капитана за этим столом, — серенького, с заплатанными локтями, с жалующимися на боль глазами.

...Тут все больше, которые широко умеют, которым нет никакого дела ни до каких там «ликов». Наел себе лик — и прав. И, может быть, даже по-шеметовскому «масштабу» очень нужен для каких-то там «выкладок» — для «мяса» и для «гвоздей». А пока воюет себе по-своему храбро и с толком. И он приедет сюда с Наташей... Вот Жуков никогда не приедет и Чирков...

Тут Сушкину вспомнился веселый Чирков, первый нумер, которому оторвало ноги и который все просил пристрелить. Толстяк теперь намазывал икру на кружочки свежего огурца и еще ловчей кидал в рот, запивая чем-то

из чашечки. «Этому никогда не оторвут, а сам всем поотрывает», — желчно подумал Сушкин и встретился с толстяком взглядами.

...Рачьи глаза!

Толстяк даже нежно взглянул на Сушкина, подморгнул и — этого уж никак не ждал Сушкин — вежливо и будто в привет и даже заискивающе кивнул ему и будто даже чуть приподнялся. Как-то неопределенно вышло, и Сушкин не позволил себе принять привета. «Это он расчувствовался с икры и хотел бы поприветствовать армию», — подумал Сушкин и вспомнил лавочника Евсеева, которому покойный отец задолжал, и на расплату с которым Сушкин выслал за этот год около тысячи. Этот Евсеев, — как его не хватил удар! — когда отправляли солдат из города, громче других кричал — братцы родные! — и все бежал рядом и потрясал картузом: «Братцы-то — братцы, а со всех получить».

Но толстяк и на самом деле хотел что-то сделать и почему-то смутился. Это заметила и дама. Она обернулась и окинула Сушкина изучающим взглядом. Он тоже изучающе холодно посмотрел на ее тронутое искусством лицо, более тонко тронутое, чем у пряничной продавщицы, и сказал бы, если бы мог сказать: «пряничками торгуешь?» И поднялось раздражение. Не для этих же и он, и капитан Грушка, и Жуков, и милый Шеметов, и все, а они, пожалуй, думают, что за них.

...Конечно, за что-то безмерно большее... Или уж лучше за маленькие счастья... Пусть лучше за маленькие, как Грушка за своего Котика и за всех маленьких. Пусть там как-нибудь уравнивается, но только не для икры, не для... Нет, брат, не для тебя... Хоть ты, пожалуй, и воображаешь... — дерзко смотря на сияющее круглое лицо толстяка, подумал Сушкин. — Хоть ты и пристегнут очень удобно ко всему этому... Но только, голубчик, это распределится... и не на Великих Весах, а...

Толстяк схлебывал что-то с ложечки.

Сушкин положил ландыш в бумажник, расплатился и вышел. Увидал с подъезда красные и белые цветы за окном, подумал: «хороши они в солнечный день!» И хотя день был не солнечный, он его вызвал: вызвал куртину маков и махровой гвоздики в саду Петровых, белую Наташу, опутавшуюся цветным серпантином, в именины сестры, одиннадцатого июля, вызвал синее небо и белую

ромашку с конфетной коробки. Вошел в магазин и отдал тридцать рублей за корзинку ландышей и деревцо белой сирени.

— Только получше укутайте, мне в дорогу.

VI

Темный был городок под темным небом, и хлестало из этой тьмы мокрыми хлопьями. Клетками частых окон светились в мути корпуса фабрик. За ними было черно. Гарью и кислотой понесло от химического завода. У моста, с чернеющими полыньями, запрудили дорогу высокие подводы с хлопком, и пришлось подождать, пока они проползали в криках.

Сушкин глядел на полопавшиеся с натуги кипы, — и не грязные кипы были перед глазами, а светлое Наташино платье. Голубые глаза Наташины — вот оно, небо-то! — глядели из этой тьмы. Будто только вчера водил он ее по узким железным лестницам корпусов и восторженно говорил, как из грязного хлопка, в когтях и тисках машин, рождается светлый батист, из которого сделано ее платье...

...Столько надо сказать, что за этот год пережито! И про Шеметова, и про милого капитана... А ему еще долго ехать!

На Мироносицкой улице Сушкин велел остановиться. Высокие окна особняка, с высокими елями в палисаднике, были освещены, и в одном из них он заметил знакомый облик. Даже зазвенело в пальцах.

— Здоровы?.. Наталья Ивановна? — спросил он отворившую горничную.

— Натальи Ивановны нет... — сказала горничная, не Паша. — Они в Ташкенте теперь...

— В Таш...кенте?! — не понял Сушкин.

— Да уж с месяц уже будет, как уехали... Ольга Ивановна дома.

Не понимая, Сушкин вошел в переднюю и увидел Ольгу Ивановну. По-особенному она на него взглянула — показалось ему.

— Вы?! Вот неожиданно... — сказала она, и по этому восклицанию, и по выражению лица ее Сушкин понял: что-то случилось.

— Входите же...

Он снял шинель, путаясь с шашкой, и прошел за Ольгой Ивановной в малиновую гостиную, с чугунным литьем на столиках и камине, с кудрявым ковром, на котором по-прежнему дремал Бретто, едва видный в слабом свете из зала. Сушкина охватила мучительная тоска, когда он вошел в гостиную.

— Наталья Ивановна... в Ташкенте?!

Ольга Ивановна сказал:

— Сейчас я вам все объясню... Луша, зажгите огонь.

Сушкин сел, заставляя себя быть твердым, и ждал, пока горничная возилась с лампой. Ольга Ивановна была все та же, вялая и бескровная, «лимфа», как ее шутливо называла Наташа. Она все так же куталась в пушистый платок, и Сушкину показалось вдруг, что все это шутка, как это бывало раньше, и что она сейчас улыбнется и скажет медлительно и певуче: «ну, конечно, до-ма... где же ей быть!»

Но Ольга Ивановна с грустным лицом сказала:

— А Ната в Ташкенте... Она вышла замуж.

— Вы шутите... — и по ее лицу понял, что она не шутит.

— Вот уже скоро месяц.

Он не мог ничего сказать, он только помял ладони и оглянул комнату. Ольга Ивановна повела зябко плечами.

— Так случилось... Ната считала себя свободной... Но как вам больно!

— Да, конечно... — сказал Сушкин, ничего не соображая.

— Конечно, она знала ваше чувство... — продолжала Ольга Ивановна, словно хотела предупредить, что сейчас скажет Сушкин, — но... она не могла написать. Ведь вам и так нелегко там...

— Да, конечно... — сказал Сушкин растерянно, — но лучше бы!

— Что же делать, так уж, видно, судьба... Ей уже двадцать два года, а...

Он понял, что она хотела сказать.

— А на войне все может случиться... — сказал он с горечью. — Так... За кого же?!

— Вы его знаете... Иванов, агроном. Товарищество наше поручило ему хлопковые плантации в Ташкенте.

Наступило тягостное молчание.

— Ну... передайте вашей сестре... — сказал, подымаясь, Сушкин и не мог найти слова. — Да... так все непрочно в жизни...— повторил он неожиданно для себя слова капитана Грушки. — Зато теперь... прочно!

— Что же вы так скоро?

— Я прямо с поезда...

Снег все хлестал мокрыми хлопьями. Опять плыли темные и светлые дома, переулки с заборами и черные деревья. «Но как же?.. — спрашивал Сушкин с болью, — но как же это могло?..» Выехали на Полевую, и тут он вспомнил, что едет к матери. Поглядел на мокрый пакет с цветами. «А это куда?»

— Погоди... — сказал он извозчику.

«Куда же это?» — старался понять он, словно это теперь было самое важное. Подумал: «маме?»

— Поезжай назад.

...Маме! Теперь можно и маме!

— Да поезжай же! — крикнул он на извозчика и даже топнул.

Они проехали несколько кварталов и опять попали на Мироносицкую, к высоким елям.

— Назад!

— Да куда же вам, барин, надо?

Сушкин взглянул на его недоумевающее лицо. Но куда же отдать? На соборе отбивали часы.

— Ступай на площадь!

Он хотел было вернуться и оставить цветы и коробку Петровым, но сейчас же и передумал. Потом ему вдруг показалось проще — поехать к мосту, где полынья, и бросить. Но и это откинул.

— Ну, вот вам и площадь, — сказал извозчик, останавливаясь у фонаря, на площади. — А теперь куда?

Сушкин не разобрал усмешки, — он уже поймал выход. Он поманил козырявшего городового.

— Есть у вас приют?

— Так точно, ваше благородие! Для беженцев приют и еще... под солдатских сирот... по Каменке, к мосту.

— Хорошо. Поезжай по Каменке, к мосту.

Они спустились к реке. На том берегу опять засветились клетки и корпуса, и Сушкин вспомнил, как они здесь жили.

...Хлопковые плантации!

Стали подыматься на Каменку. Тут потянулись пустыри, заборы и домики фабричного люда, с голыми огоньками в запотевших окошках.

— Знаю, их в евсеевском доме приючают... Евсеев-покойник городу сдал... — сказал извозчик. — Насыпано их тут... Евсеев у нас с овсу милиен нажил, только вот смерть накрыла...

Евсеевский дом был длинный, одноэтажный, темный, похожий на казарму. Глядел черными окнами, без единого огонька.

— Спать, что ль, поклали... свету-то не видать!

Сушкин представил себе длинный ряд темных и низких комнат с детьми и как он войдет и как покажет им эти цветы и голубую коробку, — и ему стало ясно, что и это не выход. И тут стыд и ложь. Да и спят.

— На Полевую! — сказал он извозчику: больше некуда было ехать.

VII

Теперь было ясно: здесь шла и шла обычная жизнь. А оттуда казалось другое: остановилась жизнь и следят, и смотрят восторженные глаза, и ждут. А они не ждали. Они высматривали, что им надо, и вот — нашли.

Тревожно насвистывая, Сушкин днями ходил по низеньким комнатам мимо белой сирени на столике, с бледными листьями и слабенькими кистями. Он уже пригляделся и к ландышам в белых лентах. Больно было смотреть, как мать глядит на эти цветы и так бережно ухаживает за ними. Ей никто не дарил цветов, и правда: она увидела «чудо». В ночь приезда, когда он сорвал мокрый пакет, она детски-восторженно вскрикнула:

— Какое чудо!

Шагая по комнатам, Сушкин нарочно громко вызванивал шпорами, чтобы не было так томительно тихо.

— Значит, брат теперь податной инспектор. А у Мани родилась третья девочка...

— Ей очень трудно живется. Отчего ты такой грустный, Паля?..

Он смотрел на мать, как она кротко сидит у столика, где сирень, шьет для него белье и все поглядывает на белые кисти. Все боится, что они скоро увянут. Подходил к ней и целовал нежно в поседевшую голову.

— Какая ты стала маленькая, мама...

— Да... — вздохом отвечала она.

Раз он застал, как она целовала ландыши, и увидал в ее глазах слезы.

— А вот я тебе расскажу, как я там собирал ландыши!

И он рассказал ей. Она по-особенному на него взглянула.

— Я это видела... — сказала она тихо. — Я видела... лес был темный... и ты стоял в этом лесу... и много белых цветов...

— Ты это видела?! — спросил он удивленно.

— Я тебя часто вижу...

Она притянула его к себе и поцеловала у него руку.

— Мама!.. Зачем ты плачешь?!

...Вот эти глаза ждали, следили... видели...

И все ходил и ходил, позванивая.

— А знаешь, какого я удивительного человека встретил?..

И рассказал про Шеметова.

Она слушала очень вдумчиво, а он, рассказывая, перекинулся в пасмурный день, в купе, и видел перед собой желтое худое лицо Шеметова и его думающий напряженно взгляд. Забывая, что спорил с ним, он теперь развивал все подробно и находил доводы, какие бы мог привести Шеметов.

— Понимаешь, — страдание! Принять на себя ответственность за все бывшее, кто бы его ни сделал! Тут же не маленькая правда, не мелкий расчет... Ты понимаешь? Не обычная человеческая справедливость. В жизни, мама... должна теряться наша маленькая справедливость... Жизнь огромна! Ведь это в суде только... а в жизни, как будто все пропадает и кажется нам неправдой. Сколько обижали тебя, а твои обиды и непокрыты... и для тебя никогда покрыты не будут. И это у всех, особенно у людей маленьких...

— Нет, — сказала она, — обиды будут покрыты... там.

— А если я не могу верить, как ты? И все же они должны быть покрыты! Не для тебя, а в мировом целом! В мировой психике, что ли, ничто не может пропасть... Ну, как объяснить тебе?! Есть непонятное нам Великое Равновесие. Оно всегда действует, но мы не видим. Но

бывают в мировой жизни этапы, когда страшно много напутано, когда заносится грязью человеческая дорога... Тогда наступает видимый час Весов, час великого очищения... как в математике — упрощение... Нет, ты не можешь понять... ты мало знаешь... Чтобы жизнь могла идти к чудеснейшим вехам! к своему прекрасному Лику, мама! Он скрыт, пока, но мы его можем чуять... как по чудесному запаху можем представить чудесный цветок, которого мы никогда не увидим... Тогда проливается много крови и слез, которые должны окупить неокупленное... И мы не можем ничем их уравновесить. У нас маленькие глаза. Кто сильно страдает, тот должен найти оправдание этому... иначе не стоит жить.

— Надо верить, Паля... Я верю в Промысел.

— Но это-то и есть Закон мировой жизни! Это и есть Великое Равновесие и Величайшая Правда! Миллионы могут страдать... но вся-то жизнь ими и движется к величайшему Лику, выбиваясь в тисках. И движением окупает страдания... Вот как он думает.

— И ты тоже?

— Не знаю... — сказал он, отсчитывая шаги. — Для меня не хватает тут сознательной воли... моей воли. А я люблю мою волю! Я еще могу забыть личную жизнь, но мою волю я не могу считать каким-то штришком, который сотрется при упрощении. Пусть и меня несет в этом чудовищном вихре к прекрасным Вехам, но я хочу также творить и жить, ставить и себе цели и за них биться! Но его система... она освещает дорогу... я тоже верить хочу, чтобы мое страдание окупилось и вело к чему-то... пусть к прекрасному Лику. Наши маленькие глаза не могут видеть далеко...

Он высказывал ей — не ей, он приводил в порядок то, чем жил эти дни, встревоженный и смятенный.

В ночь приезда он написал Наташе письмо. Теперь он жалел об этом. Там он высказал только личное. А потом, пережив ночи без сна, он жалел, что не сказал ей так, как надо было сказать... Но разве она поймет! Надо пережить страшно много и видеть страшное и мучением выковать. Нет, она не поймет, у ней очень маленькие глаза.

Он подошел к сирени и вгляделся в белые крестики. Как чудесно! И в этом какое огромное, творческое и живое!

...Да, хорошо смотреть большими глазами...

А все эти дни перед ним были другие глаза. И теперь были. Стояла перед ним светлая, потерянная Наташа. Только стала она какой-то другой, которую можно только назвать Наташей, можно только в мыслях таить, а живой представить нельзя. Призрачная Наташа...

На вторую ночь по приезде он вышел в сад. Сад шел под горку, любимый отцовский сад, когда-то лелеемый. На луговинке, которую Сушкин помнил ребенком, отец насаживал березок. Над ним все смеялись — почему же не яблонь. Но он, нерасчетливый человек, тоже смеялся: «А вот будет у нас со временем, — говорил он, — чудесная березовая роща. Будут прилетать птицы. Птицы березы любят». И так вышло. Поднялись березы. теперь они уже хорошо шумели весной, и солнце в них так нежно играло к вечеру. Тогда весь сад становился светло-розовым и прозрачным, пели малиновки и чижи, и неизвестная птичка прилетала высвистывать приход ночи. И все потом говорили: как чудесно! И вот на вторую ночь по приезде Сушкин вышел в березовую рощицу. Тучи сползли, подморозило, и загорелись звезды. Он остановился в березах и поглядел к речке. «Почему же там свет?» — удивленно подумал он. За березами далеко в поле стлался нежный голубоватый свет. Там всегда было темно, к речке, а теперь какой тихий свет! Он долго смотрел, не понимая, откуда свет. Сузил глаза, чтобы еще нежней видеть. И вдруг он увидел Наташу, несравнимо-прекрасную, которую никогда не видал раньше. Потом пропала она, но свет остался.

И не раз выходил Сушкин в березовую рощицу ночью, чтобы увидеть свет и в этом свете несравнимо-прекрасную, несбыточную Наташу. Был все тот же голубоватый свет, но не было никакой Наташи. Он напрягал всю силу воображения, но не мог вызвать даже и прежнего облика.

Теперь, вспомнив про свет, спросил:

— Да, вот что... Ночью я видел свет в поле, там... удивительно, нежный, голубоватый... Что это за свет странный?

— А это завод там теперь... готовят снаряды. Там был старый завод Скворцовых... кажется, лечильная мастерская. Косы и серпы делали.

— Ах, вот что!

Теперь он вспомнил. Далеко в поле, к речке, стояли каменные сараи без крыш — заброшенный старый завод. В детстве часто ходил он туда с мальчишками и раскапывал в мусоре звонкие куски стали. Так вот откуда голубой свет! Самый обычный свет дуговых фонарей, ослабленный березовыми стволами. «А Наташа?! — подумал он. — И ее нет другой, особенной?.. Но почему же я ее видел?»

Посмотрел на цветы.

...Если бы она могла быть такой! Но я видел ее такой! И она может быть.

Наконец, вышел из дому, побывал у знакомых. Все говорили:

— Вы, должно быть, очень устали!

Прошелся по городку. Прошел и по тихому переулку, где под белыми шапками спали вишневые деревья. Спустился к мосту. Черная полынья никогда не замерзающей речки была не черная, а бурая с синим и красным отсветом от красилен. И лед по бережкам был цветной. Сушкин поглядел на эту отравленную воду, на корпуса, тянувшиеся по бережку загаженной речки. Все то же, как всегда, — грязь, неуют и копоть. И никогда не будет уюта и чистоты. С фабрик спешила смена. И она была та же. Худые, зеленоватые лица, копоть и рвань, мутное небо и гнилые домишки по Каменке.

— Сердешные вы наши... защитники... — жалостливо сказала проходившая с тяжелым мешком баба.

Сушкин оглянулся. Оглянулась и баба, остановилась и опять пожалела:

— Родимые вы мои, родимые... Господи-Батюшка...

Покачала головой и пошла. Сушкин смотрел, как она подымалась в гору, на Каменку, придавленная мешком.

Какие-то особенно светлые, должно быть, выплаканные глаза были у этой бабы. Так и остались в памяти эти жалеющие глаза.

«Если бы хоть за них и за все это... за видимое? — подумал он о войне. — Но разве этим-то будет лучше?!»

...Уж страдать, так за это, за видимое, а не за какую-то там Справедливость, для какого-то Равновесия. Шеметов

и не пустит этих к Великим Весам... там мировое взвешивают!

Вспомнил тоску шеметовских глаз и подавил усмешку.

...Нет, он-то и пустит. У него и про самоедского ребенка припасено. Вот Грушка не пустит. Грушка про маленькое, про свое больше, а он пустит. Он всех бы учел, если бы ему дали править Весами... все бы свесил и вымерил... Какой бы это был чудный смысл, если бы за все это! А не за икру, не за какие-то там давнишние непокрытые обиды... Провалились обиды... и к черту, их, к черту!

— К черту! — злобно сказал Сушкин, посмотрев в грязное небо. — Как же ты посмеялась так... Наташа!

Ехали подводы с хлопком, как и ночью. Ругались на мосту возчики, не желая слезать.

Сушкин пошел по Каменке, не видя никакой цели, чтобы только убить ненужное теперь время. Дошел до евсеевского дома, особенно грузного в сереньком свете дня, ободранного и гнилого по водостокам. За вспотевшими окнами белели лица детей, ползли по стеклам маленькие руки. Сушкин вспомнил: «насыпано их тут!» Пошел к площади, зашел в бакалейную лавку Евсеева и велел завернуть пряников и конфет.

— И пошлите сиротам, на Каменку.

Вышел и увидел на углу площади молодого солдата на костыле, безногого. И дал рубль.

...Если бы во имя тебя, Наташа!

Но та, о которой он думал, была в его мыслях не та Наташа, не прежняя, а совсем другая, которую он хотел бы носить в себе. Где-то она была, но где?

...Но как это хорошо — делать! — сказал он себе, думая о рубле и покупке. — И это должно как-то уравновеситься и не может пройти бесследно. Да тут и реальное. Дети порадуются, и солдат порадуется...

Приехал, наконец, Жуков.

— Ну... съездил?..

— Так точно, ваше благородие! — сказал Жуков и оглядел сапоги.

Все дни, оставшиеся до отъезда, сидел Жуков на ступеньке крыльца и строгал палочки, все строгал и строгал — только летели белые стружки. И Сушкину все

казалось, что Жуков не просто строгает, а отбрасывает свои мысли.

Накануне отъезда вечером Сушкин сидел в комнате матери и смотрел, как укладывает она его вещи. Она все задумывалась, все что-то отыскивала глазами, забывая и вспоминая, что еще было нужно. И опять, как и в ночь приезда, она долго держала в руке маленький портфельчик с Евангелистами.

— Нравится тебе?.. я куплю... — сказал он и подумал: какое маленькое.

— Купи... — сказала она чуть слышно.

Было больно смотреть. Он ушел в темные комнаты. И отсюда был виден голубой свет. Но теперь этот свет не вызвал очарования: «куют гвозди». Тронул сирень. Она уже осыпала крестики, а ландыши уже вчера были желтые.

— Паля...

Он вошел. Мать сидела над чемоданом, низко нагнувшись. «Плачет», — подумал он, и у самого раскосились губы.

— Мама... нельзя же так!..

Она смотрела на чемодан и не могла говорить. Эту тяжелую минуту разбил резкий звонок. Принесли телеграмму. Сушкин взволнованно разорвал, думая о Наташе, не соображая, что письмо еще не могло получиться. И прочитал: «Все чудесно, капитан Грушка».

И усмехнулся: счастливый капитан!

VIII

Сушкин с Жуковым выехали с Полевой, когда все спало.

— Тихо у вас тут, ваше благородие... — сказал Жуков. — Сады...

Сушкин посмотрел в темный овраг, отделявший Полевую от городка, и вспомнил, как ел здесь сочную сныть и строил запрудки на ручейке.

— Сады... — повторил он и оглянулся.

С высоты, за оврагом, дом хорошо виден, но теперь тонул в черноте. И опять увидел Сушкин вдали тихий голубой свет.

...Мама тоже этот свет видит... На батарею попадут отсюда...

И мысленно продолжил цепь от этого тихого света туда, включил в эту цепь Жукова и себя и почувствовал радость, что не один он, а с Жуковым.

— Ты молодчина, Жуков... — восторженно сказал он и тронул за руку. — Вернемся... оставайся жить с нами...

— Я по садам понимаю... — оживился Жуков. — Можно, ваше благородие, такой сад разде-лать... и доход будет, и всякое удовольствие!

...Да, сады хорошо разделывать... — представилось в этой черноте Сушкину. — Вишни, белые деревья... птицы березы любят... Но это все было раньше, а теперь суд идет... Кто-то кого-то судит и неизвестно за что...

— Эх, Жуков! Так ты любишь сады разделывать?

— Так точно, ваше благородие... я по садам больше.

— Ну, а с женой как?

— Жена-то в Москве оказалась... только в Москве ее не нашел. Все кварталы обошел — не нашел. А тут и срок кончился.

— Не нашел?

— Никак нет, ваше благородие... не нашел. Адрест, что ль, напутали! такой и улицы нет: Дудкина улица, дом Сапогова.

— Дудкина улица... Да, такой нет.

Поглядел на Жукова — не видно было его лица.

Выехали на Мироносицкую. Дом с высокими елями спал. Сушкин поглядел на темные окна.

...Дудкина улица... прощай!

— Ничего, Жуков... пройдет, все пройдет! это все маленькое.

— Так точно, ваше благородие... пройдет. Утрясется.

— Утрясется?! Да, это ты верно... утрясется. Вот!

Подумал — и словно поставил точку.

Все пройдет. И фабрики эти с клетками, и подлая красная вода, и гнилые домишки... все пройдет. Все промоется, продерется с песком и будет чисто и ровно. Утрясется.

Остался городок в темной низине, и пошла ровная дорога.

Пошла и пошла — полями, лесами, громыхающими мостами, снежными деревнями и городками в огнях и тьме. В сумеречных днях бежала она под серыми облаками. В ночном реве и в ветре бежала и бежала она, железная и прямая, с которой уже не свернешь, не остановишься, не подождешь попутчика. Не крикнешь, — сворачивай, там! — и не услышишь песни. Все вперед и вперед, к новому дню, который неизвестно как называется... Только струится свинцовая муть: ни утро, ни вечер, — те же серые сумерки.

И день, и еще день глядел Сушкин в струившуюся свинцовую муть, и напрасно заговаривал с ним юный безусый прапорщик. Что может он знать, этот славный румяный юноша, у которого сердце тревожно бьется, а глаза любопытны-детски? Мечтает о величественном и жутком, от чего заливает сердце? Словно на пир спешит, а там и нет никакого пира... Там Суд. Судят там эту проклятую свинцовую муть и старательно уминают в форму. И небо судят, которое манит обманчиво и которого нет нигде. Старик плетется с салазками... И его судят, и всех, и все... И он попал в петлю со своими салазками... и деревни, и сараи в соломе... и дети... Все под огонь, в огонь! Города и леса с тихими ландышами, и башни, и храмы, на которых потемнели кресты... В огонь! Дети кричат, бегут голышами по снегу... — в огонь, все в огонь...

— Огонь! — крикнул Сушкин.

Сильный толчок от груди в голову вскинул его на койке. Он посмотрел в испуге, а лежавший против него офицер-мальчик сказал тревожно:

— Вы сейчас кричали во сне...

— Да... — сказал неопределенно Сушкин.

Мигали огоньки за окном. Проплыла темная башня. За окнами шумели ноги и голоса.

...А ведь это та самая станция, — подумал Сушкин, присматриваясь, — где пряниками торгуют...

И резко задернул шторку.

— Кажется, здесь какими-то особенными пряниками торгуют... — сказал прапорщик, заглядывая за шторку. — Не знаете?

— Знаю, как же... — с раздражением сказал Сушкин. — Тут красавица в рыжем мехе... Поглядите на красоту с хвостом.

— Как с хвостом? — недоверчиво усмехнулся прапорщик.

— А так... — усмехнулся и Сушкин. — Стоит красота и хвостом играет. Последняя красота... Там такой красоты не увидите...

— Интересно... — все еще сомневаясь, сказал прапорщик и пошел.

Странное чувство, не то беспокойство, не то тоска, но что-то неприятно-волнующее охватило сейчас же Сушкина, как только ушел прапорщик. Не хотелось идти на станцию — казалась она ему такой неприятной, вызывала воспоминания. Но он все же пошел, чтобы избыть овладевшую им тоску: быть на людях.

Все было то же, как и в тот вечер. Белые повара за окнами, козыряющие солдаты, домик в березах. И даже часовой с шашкой у груды ящиков. И опять небо в звездах. Будто нарочно: все было облачно, а теперь для этой станции — звезды!

Прошел мимо окна, в которое было видно продавщицу. Так же она стояла за прилавком и вертела шеей. Прошел и захотелось опять взглянуть. Вернулся и посмотрел, — и вздрогнул от неожиданности: у прилавка стоял Шеметов. Смутно сознавая, что этого-то он и хотел и ждал все эти дни томленья, Сушкин быстро вошел в вокзал. Да, Шеметов. Тот стоял к прилавку спиной и как будто смотрел к дверям.

— Здравствуйте, капитан! — нервно, чеканным голосом сказал Сушкин, четко прикладывая руку и звякнул шпорой.

— Аа... — вовсе и не удивился Шеметов и пристально, что-то припоминая, всматривался.. — Вы что... хворали?

— Нисколько... должно быть, устал немного... — смутился Сушкин.

— Изменились... — вдумчиво, изучая, вглядывался в него Шеметов, и Сушкин почувствовал, что Шеметов как будто знает. — Ну... ничего... окрепнете.

И потрепал по плечу. Пригляделся и Сушкин: лицо Шеметова еще больше осунулось и пожелтело.

— А я тогда и не простился с вами... — сказал он, хотя думал сказать другое.

— Помню, вы так крепко спали тогда. Но мы, очевидно, очень хотели встретиться... и встретились. Это бывает часто. Пряники покупать? Пряники добрые...

И тут увидел Сушкин, что Шеметов ест пряник.

— Да нет, не пряники... — озабоченно сказал он, занятый одной мыслью.

Продавщица улыбалась прапорщику, который все забирал коробки. Взглянула на Сушкина, узнала — и ему улыбнулась, словно хотела напомнить, как они тогда славно поговорили.

— Да что с вами такое? — спросил, пристально всматриваясь, Шеметов.

— Да ровно же ничего! Мне бы хотелось еще поговорить с вами... — взволнованно сказал Сушкин. — У вас не свободно в купе?

— Битком.

И тут Шеметов посмотрел так, что Сушкину стало ясно, что тот все знает.

— Вот что, капитан... большая просьба... мне бы хотелось быть с вами... у вас...

— Гм... — выразительно посмотрел Шеметов, словно хотел сказать: понимаю. — Охотно, если устроите. Пожалуйста. Вот тогда-то и поговорим, голубчик... Ну, отправляемся?

И Шеметов особенно крепко пожал руку. Пошли к вагонам.

— Только помните... блиндажей!

И помахал пальцем.

— Вот! — крикнул Сушкин, догоняя вагон.

Лег на койку. Тревога прошла, не было и тоски. Спокойствие безразличия явилось к нему — не жаль ничего, ни по чему не грустно. Словно замкнулось и округлилось то, что нужно было округлить и замкнуть.

И воли никакой не нужно. Что это? Или уж не осталось никакой жизни? — спросил он себя. — Пусть, все равно. Это лучше, чем мучиться. Отдаться и течь, а там как-то

все взвесится и распределится. Да... утрясется. Вот. А маму жалко...

Стал забываться и услыхал жеванье. Прапорщик лежал на спине и ел пряник. Почувствовал, что на него смотрят, быстро проглотил и сказал:

— А правда, какая эффектная женщина! А глаза...

— Как небо... — подсказал Сушкин.

— Да, удивительные глаза. Не хотите ли? очень хорошие...

— Нет, спасибо. Спать, спать и спать!

Сушкин отвернулся к стене и начал считать до тысячи. Считал очень долго.

1916

НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША

Дачники с Ляпуновки и окрестностей любят водить гостей «на самую Ляпуновку». Барышни говорят восторженно:

— Удивительно романтическое место, все в прошлом! И есть удивительная красавица... одна из Ляпуновых. Целые легенды ходят.

Правда: в Ляпуновке все в прошлом. Гости стоят в грустном очаровании на сыроватых берегах огромного полноводного пруда, отражающего зеркально каменную плотину, столетние липы и тишину; слушают кукушку в глубине парка; вглядываются в зеленые камни пристаньки с затонувшей лодкой, наполненной головастиками, и стараются представить себе, как здесь было. Хорошо бы пробраться на островок, где теперь все в малине, а весной поют соловьи в черемуховой чаще; но мостки на островок рухнули на середке, и прогнили под берестой березовые перильца. Кто-нибудь запоет срывающимся тенорком: «Невольно к этим грустным бере-га-ам...» — и его непременно перебьют:

— Идем, господа, чай пить!

Пьют чай на скотном дворе, в крапиве и лопухах, на выкошенном местечке. Полное запустение — каменные сараи без крыш, в проломы смотрится бузина.

— Один бык остался!

Смотрят — смеются: на одиноком столбу ворот еще торчит побитая бычья голова. Во флигельке, в два окошечка, живет сторож. Он приносит осколок прошлого — помятый зеленый самовар-вазу и говорит неизменное: «Сливков нету, хоть и скотный двор». На него смеются:

всегда распояской, недоуменный, словно что потерял. И жалованья ему пять месяцев не платят.

— А господа все судятся?! — подмигивая, удивляется бывалый дачник.

— Двадцать два года все суд идет. Который барин на польке женился... а тут еще вступились... А Катерина Митревна... наплевать мне, говорит. А без ее нельзя.

И опять все смеются, и сараи — каменным пустым брюхом.

Идут осматривать дом. Он глядит в парк, в широкую аллею, с черной Флорой на пустой клумбе. Он невысокий, длинный, подковой, с плоскими колонками и огромными окнами по фасаду — напоминает оранжерею. Кто говорит — ампир, кто — барокко. Спрашивают сторожа:

— А может, и рококо?

— А мне что... Может, и она.

Входят со смехом, идут анфиладой: банкетные, боскетные, залы, гостиные — в зеленоватом полусвете от парка. Смотрит немо карельская береза, красное дерево; горки, уго́льные диваны-исполины, гнутые ножки, пузатые комоды, тускнеющая бронза, в пыли уснувшие зеркала, усталые от вековых отражений. Молодежь выписывает по пыли пальцами: Анюта, Костя... Оглядывают портреты: тупеи, тугие воротники, глаза навыкат, насандаленные носы, парики — скука.

— Вот красавица!

Из-за этого портрета и смотрят дом.

— Глаза какие!

Портрет в овальной золоченой раме. Очень молодая женщина в черном глухом платье, с чудесными волосами красноватого каштана. На тонком бледном лице большие голубые глаза в радостном блеске: весеннее переливается в них, как новое после грозы небо, — тихий восторг просыпающейся женщины. И порыв, и наивно-детское, чего не назовешь словом.

— Радостная королева-девочка! — скажет кто-нибудь, повторяя слово заезжего поэта.

Стоят подолгу, и наконец все соглашаются, что и в удлиненных глазах, и в уголках наивно полуоткрытых губ — горечь и затаившееся страдание.

— Вторая неразгаданная Мона Лиза! — кто-нибудь скажет непременно.

Мужчины — в мимолетной грусти несбывшегося счастья; женщины затихают: многим их жизнь на минуту представляется серенькой.

— Секрет! — спешит предупредить сторож, почесывая кулаком спину. — На всякого глядит сразу!

Все смеются, и очарование пропало. Секрет все знают и меняют места. Да, глядит.

— И другой секрет... про анпиратора! Прописано на ней там...

Сторож шлепает голой грязной ногой на табуретку, снимает портрет с костыля, держит, будто хочет благословить, и барабанит пальцами: читайте! И все начинают вполголоса вычитывать на картонной наклейке выписанное красиво вязью, с красной начальной буквой:

«Анастасия Ляпунова, по роду Вышатова. Родилась 1833 года мая 23. Скончалась 1855 г. марта 10 дня. Выпись из родословной мемории рода Вышатовых, лист 24: «На балу санкт-петербургского дворянства Августейший Монарх изволил остановиться против сей юной девицы, исполненной нежных прелестей. Особливо поразили Его глаза оной, и Он соизволил сказать: «Maintenant c'est l'hiver, mais vos yeux, ma petite, réveillent dans mon coeur le printemps!»[1] А наутро прибыл к отцу ее, гвардии секунд-маиору Павлу Афанасьевичу Вышатову, флигель-адъютант и привез приглашение во дворец совокупно с дочерью Анастасией. О, сколь сия Монаршая милость горестно поразила главу фамилии благородной! Он же, гвардии секунд-маиор Вышатов, прозревая горестную отныне участь юной девицы, единственного дитяти своего, и позор семейный, чего многие за позор не почитают, явил дерзостное ослушание, в сих судьбах благопохвальное, и тот же час выехал с дочерью, в великом ото всех секрете, в дальнюю свою вотчину Вышата-Темное».

---

[1] «Сейчас зима, но ваши глаза, малышка, пробуждают в моем сердце весну!» (*фр.*)

Сторож убирает портрет. Все молчат: оборвалась недосказанная поэма. Мерцающие, несбыточные глаза смотрят, хотят сказать: да, было... и было многое...

Идут к церкви, за парком. Бегло оглядывают стенную живопись, работу будто бы крепостного человека. Да, недурно, особенно Страшный суд: деревенские лица, чуть ли не в зипунах.

— Господа, в склепе опять *она!* В девятьсот пятом парни разбили надгробия и выкинули кости!

Входят в сыроватый сумрак, в радуге от цветных стекол. Осматривают подправленные надгробия, помятые плиты. Одно надгробие уцелело, с врезанным в мрамор медальоном ее портрет, уменьшенное повторение. Те же радостно плещущие глаза.

— Парни наши побили гроба... — равнодушно говорит сторож. — До «Жеребца» добирались. А старики так прозвали. А эту не дозволили беспокоить. Святой жизни будто была. Старики сказывали...

Больше он ничего не знает.

Смотрят бархатную черноту склепа — роспись, ангела смерти, с черными крыльями и каменным ликом, перегнувшегося по своду, склонившегося к ее надгробию, и белые лилии, слабо проступающие у стен: как живые.

Осмотрено все, можно домой. Не показывает сторож могилы у северной стороны церкви. В сочной траве лежит обросший бархатной плесенью валун-камень, на котором едва разберешь высеченные знаки. Здесь лежит прах бывшего крепостного человека Ильи Шаронова. Имя его чуть проступает в уголку портрета. А может быть, и не знает сторож: мало кто знает о нем в округе.

Церковь в Ляпуновке во имя Ильи Пророка, тянут к ней три деревни, а на престол бывают и из Вышата-Темного, верст за пятнадцать. Тогда приходит и столетний дьячок Каплюга, проживающий в Высоко-Владычнем женском монастыре, в Настасьинской богадельне. Старей его нет верст на сто; мужики зовут его Мусаилом и как поедут на Илью Пророка — везут на сене. От него и знают про старину. А он многое помнит: как перекладывали Илью Пророка и как венчали Анастасию Павловну с гвардии поручиком Сергием Дмитриевичем Ляпуновым: такие-то огни на прудах запускали! Хорошо помнил дьячок Каплюга и как расписывал церковь живописный мастер, дворовый крепостной человек Илюшка.

— Обучался в чужих краях... я его и грамоте учил.

Знает Каплюга и про Жеребца, родителя Сергия Дмитриевича, и как жил на скотном во флигелечке живописный мастер, и как помер. И про блаженной памяти Анастасию Павловну, и называет ее — святая. И про Вышата-Темное, откуда она взята.

— А Егорий-то на стене... ого! И «Змея» того... прости Господи... сам видал. Только тогда об этих делах не говорили.

Лежит за рекой Нырлей, обок с Вышата-Темным, Высоко-Владычний монастырь, белый, приземистый, — давняя обитель, стенами и крестом ограждавшая край от злых кочевников: теперь это женская обитель. На южной стене собора светлый рыцарь, с глазами-звездами, на белом коне, поражает копьем Змея в черной броне, с головой как у человека — только язычище, зубы и пасть звериные. Говорят в народе, что голова того Змея — Жеребцова.

Много рассказов ходит про Ляпуновку. А вполне достоверно только одно, что рассказывает Каплюга. Сам читал, что записано было самим Ильею Шароновым тонким красивым почерком в «итальянскую тетрадь бумаги». Тетрадь эту передал дьячку сам Илья накануне смерти.

— Так и сказал: «Анисьич... меня ты грамоте обучил... вот тебе моя грамота...»

Хранил дьячок ту тетрадь, а как стали переносить «Неупиваемую Чашу» из трапезной палаты в собор, смутился духом и передал записанное матушке настоятельнице втайне. Говорил Каплюга, будто и доселе сохраняется та тетрадь в железном сундуке, за печатями, — в покоях у настоятельницы. И архиерей знает это и повелел:

— Храните для назидания будущему, не оглашайте в настоящем, да не соблазнятся. Тысячи путей Господней благодати, а народ жаждает радости...

Умный, ученый был архиерей тот и хорошо знал тоску человеческого сердца.

Вот что рассказывают читавшие.

I

Был Илья единственный сын крепостного дворового человека, маляра Терешки, искусного в деле, и тягловой Луши Тихой. Матери он не знал: померла она до году его жизни. Приняла его на уход тетка, убогая скотница

Агафья Косая, и жил он на скотном дворе, с телятами, без всякого досмотра, — у Божья глаза. Топтали его свиньи и лягали телята; бык раз поддел под рубаху рогом и метнул в крапиву, но Божий глаз сохранял, и в детских годах Илья стал помогать отцу: растирал краски и даже наводил свиль орешную по фанерам. Но был он мальчик красивый и румяный, как наливное яблочко, а нежностью лица и глазами схож был с девочкой, и за эту приглядность взял его старый барин в покои — подавать и запалять трубки. И вот однажды, когда второпях разбил Илья о ножку стола любимую баринову трубку с изображением голой женщины, которой в бедра сам барин наминал табак с крехотом, приказал тиран дать ему соленого кнута на конюшне. Сказал:

— Узнаешь, песий щеняка, чем трубка пахнет.

Тогда от стыда и страха убежал Илья к тетке на скотный и, втайне от нее, хоронился в хлеву, за соломой, выхлебывая свиное пойло. Но не избежал наказания и опять был приставлен к трубкам.

Звали люди барина Жеребцом. Был он высок, тучен и похотлив; все пригожие девки перебывали у него в опочивальной. Был он сроду такой, а как повыдал дочерей замуж, а сына прогнал на службу, стал как султан турецкий: полон дом был у него девок. Даже и совсем недоростки были. Помнил Илья, как кинулся на барина с сапожным ножом столяр Игнашка, да промахнулся и был увезен в острог. Но стал барин хиреть и терять силы. Тогда водили к нему особо приготовленных девок: парили их в жаркой бане и секли яровой соломой, оттого приходили они в ярое возбуждение и возвращали тирану силы.

Тяжело и стыдно было Илье смотреть на такие дела, но по своей обязанности состоял он при барине неотлучно. Даже требовал от него барин ходить нагим и смотреть весело. А он закрывал от стыда глаза. Тогда приказывал ему барин-тиран делать разные непотребства, а сам сидел на кресле, сучил ногами и курил трубку.

Было тогда Илье двенадцать лет.

Как-то летом поехал барин глядеть мельницу на Проточке — прорвало ее паводком. Редко выбирался он из дому, а Илья все надумывал, как бы сходить в монастырь, помолиться, — ждал случая. И вот, не сказав ни отцу, ни ключнице — старухе Фефелихе, в стыде и скорби,

побежал на Вышата-Темное, в Высоко-Владычний монастырь: слыхал часто и от дворовых и от прохожих людей, что получают там утешение.

После обедни он остался в храме один и стал молиться украшенной лентами золотой иконе. Какой — не знал. И вот подошла к нему старушка монахиня и спросила с лаской:

— Какое у тебя горе, мальчик?

Илья заплакал и сказал про свое горе. Тогда взяла его монахиня за руку и велела молиться так: «Защити-оборони, Пречистая!» И сама стала молиться рядом.

— А теперь ступай, с Богом. Скушай просвирку, и укрепишься.

Дала из мешочка просвирку, покрестила и вывела из храма. И легко стало у Ильи на сердце.

Всю дорогу — пятнадцать верст — сосновым бором весело прошел он, собирая чернику, и пел песни; и кто-то шел с ним кустами и тоже пел. Должно быть, это был отзвук. И вовсе не думалось ему, что воротился с мельницы барин и хлопает в ладони — кличет. Только подходит к лавам на Проточке — выскочила из кустов Любка Кривая, которой проткнул барин глаз, вышпынивая из-под лестницы, куда она от него забилась, охватила Илью за шею и затрепала:

— Илюшечка, миленький, красавчик! Утоп наш Жеребец проклятущий на мельнице, не по своей воле! Туточки верховой погнал на деревню, кричал...

Завертела его как бешеная, зацеловала. Возрадовался Илья в сердце своем и не сказал никому про свою молитву.

Положил Господь на весы правды своей слезы рабов и покарал тирана напрасной смертью.

Всю жизнь снился Илье старый барин: мурластый, лысый, с закатившимися под лоб глазами, в заплеванном халате, с волосатой грудью, как у медведя, и ногами в шерсти. И всю свою недолгую жизнь говорил Илья в тягостную минуту старухину молитву.

II

Стал на власть молодой барин, гвардии поручик Сергий Дмитриевич. Приехал из Питера — при старом барине бывал редко — и завел псовую охоту на удивленье всем. Стало при нем много веселей. Старый медведем жил, не

водился с соседями, а молодой погнал пиры за пирами. Завел песельников и трубачей, поставил на островке «павильон любви» и перекинул мостки. Стали плавать на прудах лебеди.

Опять отошел Илья к отцову делу: расписывал на беседках букеты и голячков со стрелками — амуров. Не хуже отца работал.

Добрый был молодой барин, не любил сечь, а сказал:

— Надо вас, дураков, грамоте всех учить: ученье — свет!

Призвал молодого дьячка Каплюгу с погоста да заштатного дьякона, пьяницу Безносого — провалился у него нос, — и приказал гнать науку на всех дворовых — стариков и ребят. Вырезал себе Безносый долгую орешину и доставал до лысины самого заднего старика, у которого и зубов уже не было. Плакали в голос старики, молили барина их похерить. А Безносый доставал орешиной и гнусил:

— Не завиствуй господской доле! Господская наука всем мукам мука!

Кончилось обученье: нашли Безносого под мостками в Проточке, у полыньи: разбился во хмелю будто.

Выучился Илья у Каплюги бойко читать Псалтырь и по гражданской печати; и писать и считать выучился отменно. Пришел барин прослушать обученье и подарил Илье за старание холста на рубаху, новую шапку к зиме и гривну меди на подмонастырную ярмарку, что бывает на Рождество Богородицы.

Памятна была Илье та первая гривна меди.

Пригоршню сладких жемков, корец имбирных пряников и полную шапку синей и желтой репы накупил он на ярмарке; три раза проползал под икону за крестным ходом и щей монастырских с сомовиной наелся досыта. Слушал слепцов, нагляделся на медведя с кольцом в ноздре. Помнил до самой смерти тот ясный, с морозцем, день, засыпанные кистями рябины у монастырских ворот и пушистые георгины на образах. А когда возвращался с народом через сосновый бор — вольно отзывался бор на разгульные голоса парней и девок. Пели они гулевую песню, перекликались. Запретная была эта песня, шумная: только в лесу и пели.

Пели-спрашивали — перекликались:

С'отчево вьюгой-метелюжкой метет.
С'отчево не все дорожки укрыёт?
Одну-ю и вьюжина́ не берет?
А какую вьюжина́ не берет?
Всю каменьем умощенную,
Все кореньем да с хвощиною!
А какую метелюга не метет?
Ой, скажи-ка, укажи, лес-бор!
Самую ту, что на барский двор!

Радовался Илья, выносил подголоском, набирал воздуху — ударят сейчас все дружно. Так и заходит бор:

Чтоб ей не было ни хожева,
Ой, не хожева, не езжева!
Ай, вьюга-метелюга, заметай!
Ай, девки, русы косы расплетай!

Минуло в ту осень Илье шестнадцать лет.

III

Прошло половодье, стала весна, и в монастыре начали подновлять собор. Приехала к барину с поклонами обительская мать казначея — ездила по округе, — не отпустит ли для малярной работы чистой умелого мастера, Шаронова Терешу? Охотно отпустил барин: святое дело.

Лежало сердце Ильи к монастырской жизни: тишина манила. Хорош был и колокольный набор и вызвон: приезжал обучать звонам знаменитый позаводский звонарь Иван Куня и обучил хорошо слепую сестру Кикилию. Умела она выблаговестить на подзвоне — «Свете Тихий».

Уж собираться было отцу уходить в монастырь на работу, и барин стал собираться в отъезд, в степное имение, до осенней охоты. Тогда нашла на Илью смелость. Приметил он — пошел барин утречком на пруды кормить лебедей, понесла за ним любимая девка, Сонька Лупоглазая, пшенную кашу в шайке. Подобрался Илья кустами, стал выжидать тихой минутки.

Веселый стоял барин на бережку, у каменного причала, где резные, Ильей покрашенные лодки для гулянья, швырял пшенную кашу в белых лебедей, а они радостно били крыльями. Такое было кругом сиянье!

В китайский красный халат был одет барин, с золотыми головастыми змеями, и золотая мурмолка сияла на голове,

как солнце. Так и сиял, как икона. И день был погожий, теплый, полный весеннего света — с воды и с неба. Как в снегу, белый был островок в черемуховом цвете. Стучали ясными топорами плотники на мостках, выкладывали перильца белой березой.

Услыхал Илья, как говорит весело барин:

— Лебедь есть птица богов, Сафо. Помни это. Они полны благородства и красоты. Помни это. Поиграй на струнах.

Радовался Илья. Знал, что в духе сегодня барин, если разговаривает с Сафо — Сонькой Лупоглазой.

Вся в белом Сафо, как отроковица на иконе в монастыре, с голубками. Приказал ей барин надевать белый саван, распускать черные волосы по плечам, на голову надевать золотое кольцо, а на ногах носить с ремешками дощечки. Приказал белить румяные щеки и обводить глаза углем. Совсем новой становилась тогда она, как на картинках в доме, и любил смотреть на нее Илья: будто святая. А через плечо висели у ней гусли, как у царя Давида. Самая красивая была она, и ее покупал еще у старого барина заезжий охотник, давал пять тысяч. Так говорил Спиридошка-повар, ее отец. Не нужна она была старому барину; слабый он был совсем, а только потому и не продал, что очень она была красива телом — любил сидеть и смотреть. А когда стал на власть молодой барин, взял ее из девичьей в покои, на особое положение, и приказал называть ее всем — Сафо. Так и звали, подлащивались к новой любимице, а меж собой стали звать — Сова Лупоглазая. Даже Спиридошка-повар, Сонькин отец, передавая ей блюдо с любимым кушаньем барина — бараньими кишками с кашей, говорил уважительно:

— Пожалуйте вам, Сафа Спиридоновна, кишочки.

А вслед плевался и кричал на Илью:

— Чего, паршивец, смеешься!

Выбрался Илья на прудовую дорожку и издалека упал на колени. Сказал:

— Отпустите, барин, с отцом... поработать на монастырь!

Знал Илья, никогда барин сразу не обернется, а все слышит. Покормил барин лебедей, вытер о халат руки и приказал подойти ближе. Сказал:

— Это ты, грамотей? — И погладил по голове. — Ты красивый парень. Скажи, Сафо... любят его девки?

Сафо закатила глаза — учил ее так барин, — выставила ногу и сказала нараспев в небо:

— О, не знаю-с, барин!

Испугался Илья: рассердился барин, не пустит его в монастырь на работу. А барин затопал и замахал руками:

— Дура! Не «барин» надо, а «го-спо-дин»! Так говорили греки! Слушай: «Не знаю, о мой господин». В монастырь работать? А ну, что скажешь, Сафо?

Тогда Илья с мольбой посмотрел на Сафо, и его глаза застлало слезами. И опять испугался. Сказала Сафо опять:

— О... можно, барин!

Затопал барин еще пуще.

— Ах ты, ду-ра утячья! Пошла, пошла... Выучись по моей записке с Петрушкой... Постой... Повтори: «Отпусти его, о господин мой!» И поиграй на струнах.

Обрадовался Илья: она ладно сказала, отвернув голову, и позвонила на гуслях.

— Ступай, — сказал барин. —, Благодари ее за вкус манер. А то бы не работать тебе в монастыре. Ей обязан!

До самой смерти помнил Илья то светлое утро с лебедями и бедную глупенькую Сафо-Соньку. Не скажи она ладно — было бы все другое.

IV

Радостно трудился в монастыре Илья.

Еще больше полюбил благолепную тишину, тихий говор и святые на стенах лики. Почуял сердцем, что может быть в жизни радость. Много горя и слез видел и чуял Илья и испытал на себе; а здесь никто не сказал ему плохого слова. Святым гляделось все здесь: и цветы, и люди. Даже обгрызанный черный ковшик у святого колодца. Святым и ласковым. Кротко играло солнце в позолоте икон, тихо теплились алые огоньки лампад... А когда взывала тонким и чистым, как хрусталек, девичьим голоском сестра под темными сводами низенького собора: «Изведи из темницы ду-шу мою!» — душа Ильи отзывалась и тосковала сладко.

Расписывали собор заново живописные мастера-вязниковцы, из села Холуя, знатоки уставного ликописания. Облюбовал Илью главный в артели, старик Арефий, за

пригожесть и тихий нрав, пригляделся, как работает Илья мелкой кистью и чертит углем, и подивился:

— Да братики! да голубчики! Да где ж это он выучку-то заполучил?!

И показывал радостно и загрунтовку, и как наводить контур, и как вымерять лики. Восклицал радостно:

— Да братики! да вы на чудо-те Божие поглядите! да он же не хуже-те моего знает!

Дивился старый Арефий: только покажешь, а Илье будто все известно.

Проработал с месяц Илья — поручил ему Арефий писать малые лики, а на больших — одеяние. Учил уставно:

— Святому вохры-те не полагается. Ни киновари, ни вохры в бородку-те не припускай, нет рыжих. Один Иуда рыжий!

Выучился Илья зрак писать, белильцами светлую точечку становить, без циркуля, от руки, нимбик класть. Крестился Арефий от радости:

— Да вы, братики, поглядите! да кокой же золотой палец! Да это же другой Рублев будет! Земчуг в навозе обрел, Господи! — поокивал Арефий, допрашивал маляра Терешку: — Да откудова он у те взялся?

Смотрел Терешка, посмеивался:

— По седьмому году он у меня сани расписывал глазками павлиньими, по восьмому варабеску у потолку наводил!

Приходили монахини, подбирали бледные губы, покачивали клобуками:

— Благодать Божия на нем... произволение!

Стыдливо смотрел Илья, думал: так, жалеет его Арефий. Радостно давалась ему работа. За что же хвалит? Сказал Арефию:

— Мне и труда нимало нету, одна радость.

Растрогался Арефий до слез и открыл ему, первому, великий секрет — невыцветающей киновари:

— Яичко-те бери свежохонечкое, из-под курочки прямо. А как стирать с киноварью будешь, сушь бы была погода... ни оболочка! Небо-те как Божий глазок чтобы. Капелечки водицы единой — ни Боже мой! да не дыхай на красочку-те, роток обвяжи. Да про себя, голубок, молитву... молитовочку шопчи: «Кра-а-суйся-ликуй и ра-а-дуйся, Иерусалиме!»

Сам все нашептывал-напевал эту кроткую, радостную песнь церкви, когда выписывал в слабом свете под куполом старого бога Саваофа, маленький и легкий, как мошка.

Уже старый-старый был он, с глазками-лучиками, и, смотря на него, думал Илья, что такие были старенькие угодники — Сергий и Савва, особо почитаемые Арефием.

Стояла в монастырском саду караулка — один сруб, без настила, — крытая по жердям соломой. Тут и жили живописные мастера, а обедать ходили в трапезную палату.

Еще когда цвели яблони, в первые дни работы, вышел Илья из караулки на восходе солнца. Весь белый был сад, в слабом свете просыпающегося солнца, и хорошо пели птицы. Так хорошо было, что переполнилось сердце, и заплакал Илья от радости. Стал на колени в траве и помолился по-утреннему, как знал: учила его скотница Агафья. А когда кончил молитву, услыхал тихий голос: «Илья!» И увидал белое видение, как мыльная пена или крутящаяся вода на мельнице. Один миг было ему это видение, но узрел он будто глядевшие на него глаза... В страхе приник он к траве и лежал долго. И услыхал — окликает его Арефий:

— Ты что, Илья?

Поднялся Илья и рассказал Арефию: видел глаза, такие, каких ни у кого нет.

— Ну, какие? — допытывался Арефий.

— Не знаю, батюшка... таких ни у кого нету...

Мог, защурясь, вызвать эти глаза, а сказать не мог.

— Строгие, как у Николы Угодника? У Ильи Пророка? — все допытывался встревоженный Арефий.

— Нет, другие... через них видно... будто и во весь сад глаза, светленькие...

Покачал задумчиво головой Арефий: так, со сна показалось. Не поверил. А Илья весь тот день ходил как во сне и боялся и радовался, что было ему видение: слыхал, как читали монахини в трапезной Жития, что бывают видения к смерти и послушанию.

С этого утра положил Илья на сердце своем — служить Богу. Только не разумел — как.

Ласково жили в монастыре: ласку любил Арефий. Всех называл — братики да голубчики, подбадривал нерадивых смешком да шуткой. Много знал он ласково-радостных сказочек про святых, чего не было ни в одной книге:

почему у Миколы глаза строгие, как октябрь месяц, почему Касьян — редкий именинник, а Ипатия пишут с тремя морщинками. Обвевало все это благостной теплотой мягкое Ильино сердце.

Спрашивал Илья Арефия:

— А почему мученики были греки, а то рымляне... а наших нету?

— А вот тебе царь Борис-Глеб, наши! Митрополит Филипп... Димитрий-царевич!

— А мужики-мученики какие?

— Какие? А погоди...

Припоминал Арефий: юродивые, блаженные, столпники, преподобные...

Не мог вспомнить. Слушал маляр Терешка, посмеивался:

— Краски, дядя Арефий, про всех не хватит... много нас больно. Потому и не пишут!.. Да и образина-то... рылом не вышли!

Рассердился Арефий, поморщился:

— Ты этим не шути, братик!

Август подходил, краснели по саду яблоки. Заканчивалась живописная работа. Загрустила душа Ильи. Когда спали после трапезы мастера и замирало все в тишине монастырской, уходил Илья в старый собор, забирался на леса, под купол, где дописывал Арефий Саваофа с ангелами и белыми голубями у подножия облаков. Сидел в тишине соборной. Вливались в собор через узкие решетчатые оконца солнечные лучи-потоки, а со стен строго взирали мученики и святые. И подумалось раз Илье: все лики строгие, а как же в Житиях писано — читали монахини за трапезой, — что все радовались о Господе? Задумался Илья, и вдруг услыхал он, как зашумело-зазвенело у него в ушах кровью и заиграло сердце. Вспомнил он, что скоро уйдет Арефий, и захотелось ему сделать на прощанье Арефию радость. Тогда, весь сладко дрожа, помолился Илья на бога Саваофа в облаках и евангелисту Луке, самому искусному ликописному мастеру, — помнил наказ Арефия, — отпилил сосновую дощечку, загрунтовал, и утвердилась его рука. Неделю, втайне, работал он под куполом в послеобеденный час.

И вот наступил день прощанья: уходил Арефий с мастерами и он с отцом — к своему месту. Тогда, выбрав время, как остались они вдвоем на лесах, подал Илья с трепетом и любовью Арефию икону преподобного Арефия Печерского.

Взглянул Арефий на иконку, вскинул красные глазки с лучиками на Илью и вскричал радостно:

— Ты, Илья?!

— Я... — тихо сказал Илья, озаренный счастьем. — Порадовать тебя, батюшка, помнить про меня будешь...

Заплакал тогда Арефий. И Илья заплакал. Не было никого на лесах, под куполом, только седой Саваоф сидел на облаках славы. Сказал Арефий:

— Да что ж ты, голубок, сделал-то! Ты меня... самоличного... в преподобного вообразил! Грешника-те... о Господи!

Ничего не сказал Илья. Все было писано по уставу ликописания: схима, церковка с главками и пещерка у ног преподобного, — все вызнал Илья от Арефия, какое уставное ликописание его ангела. Только лик взял Илья от Арефия: розовые скульцы, красные, сияющие лучиками глаза и седую реденькую бородку.

Показал мастерам Арефий: посмеялись — живой Арефий.

— То портрет церковный... — раздумчиво сказал Арефий. — Не с нами тебе, Илья... Плавать тебе по большому морю.

Путь их лежал на Муром, и пошли они на Ляпуново, лесом. Всю дорогу шел Илья по кустам, набирал для Арефия малину, переживая тяжелую разлуку. В слезах говорил Арефий:

— Господи, великую радость являешь в человеке. Не могу уйти: пойду, Илья, сказать твоему барину. Не могу тебя так оставить.

— Уехал далече барин... — сказал Илья.

А когда показалось за Проточком высокое Ляпуново с прудами и барским домом, ухватился Илья за Арефия и заплакал в голос. Постояли минутку молча, и сказал Арефий:

— Плавать бы тебе, Илья, по большому морю!

И разошлись. И никогда больше не встретились. Ушли мастера на Муром.

V

Осенью воротился со степей барин и привез лису чернобурую, девку-цыганку. Прогнал с глаз встретившую его Соньку-Сафо и приказал всем почитать цыганку за барыню, называть Зоя Александровна.

Была та Зойка-цыганка вертлявая, худящая, как оса, и злая. Когда злилась — гикала по всему дому, визжала по-кошачьи и лупила по щекам девок. Вытрясла из сундуков старые шали, шелка и бархаты, раскидала по всему дому, даже на стены вешала. Загоняла старую ключницу Фефелиху. Возами возили из города и сукна, и штоф, и парчу, и всякие наряды, а Зойка валялась по полу в лентах и вызванивала на гитаре. Дивились люди, что даже барина по щекам лупит: опоила.

Тут пришла на Илью напасть: велел барин при столе стоять в полном параде. Надел Илья красный камзол, белый парик с косицей, зеленые чулки и туфли с пряжками и кисейный галстук. Увидала его цыганка и закатилась смехом:

— Марькиз-то вшивый!

И барин стал звать, и дворовые, и даже мальчишки на деревне кричали:

— Марькизь-то вшивый!

Было Илье обидно непонятное слово. Днями сидел он в лакейской и плакал втайне, вспоминая Арефия.

Тут пришло на него горшее искушение.

Уехал барин на медвежью охоту, на целую неделю. Садилась Зойка за стол одна, в красных шалях, пила стаканами ренское вино. Упилась раз до злости, обожгла Илью черными глазами и приказала пить за ее здоровье. Никогда не пил Илья вина — греха боялся. А тут поскидала с себя Зойка красные шали, оголилась до пояса, подтянула под темные груди алую ленту с нанизанными червонцами и уставилась на Илью глазищами. Опустил Илья глаза в пол от искушения. А она притянула его за руку к себе и заворожила глазами-змеями. Поглядел Илья на ее жаркие губы и убежал в страхе от соблазна. А она смеялась.

Понял тогда Илья, что послано ему искушение, помолился Страстям Господним и укрепился.

После обеда повалил снег, и зашумела на дворе метелюга. Тогда крикнула Илье Зойка — топить самый большой камин, Львиную Пасть, приказала ему сидеть при огне неотлучно и замкнула его в опочивальной. Понял тогда Илья, что идет на него новое искушение. Стал на колени и помолился Иоанну Киевскому. И слышит:

— Ступай, Фефелиха, в баню!

Вошла Зойка в опочивальную, а дверь замкнула. Стало в опочивальной жарко. Тогда выбежала Зойка из-за ширмы, босая и обнаженная, ухватила Илью сзади за шею и потребовала иметь с ней грех. Но совладал Илья с искушением: схватил горящую головешку и ткнул ее в голую грудь блудницы. Слышал только визг неистовый, похожий на кошачий, и уже ничего не помнил. Очнулся и видит: сидит он в своей каморке, на тюфяке, а на дворе ночь черная и шумит метелюга. Пришла старая Фефелиха и смеется:

— Змея-то наша спьяну на головешку упала, ожглась.

Не сказал Илья про искушение. Не трогала его с той поры Зойка. А на масленице повез барин Зойку в Киев, на ярмарку, а воротился один: пропала она без вести.

Понял тогда Илья, что послана была ему Зойка-цыганка для искушения: ему и барину.

Стал после того барин тихий. Даже на охоту перестал ездить, а приказал открыть большой шкап с книгами — не помнил Илья, когда его открывали, — и стал читать с утра до вечера. Стал читать и Илья, и читал с охотой. И узнал много нового о жизни и людях.

И вдруг барин совсем переменился. Призвал Гришку Патлатого, портного, и велел шить на него власяницу. Не знал Гришка, какая бывает власяница, и сшил он халат из колючего войлока. Надел барин халат на голое тело и подпоясался веревкой. Сказал Илье:

— Надо спасать душу.

Тогда попросил Илья, чтобы дозволил барин и ему надеть власяницу. И стали они вести жизнь подвижническую. Будил барин по ночам Илью и наказывал читать Псалтырь. А сам становился на колени, на горку крупы с солью, и стоял до утра.

Недели две так молился барин. Радовался Илья. И переменился вдруг.

Ночью было. Читал Илья из псалма любимое: «...аще возьму крыле моя рано и вселюся в последних моря...» — как барин крикнет:

— Стой, маркиз! Буди всех, зови сюда певчих девок!

Понял Илья, что это барину искушение, и продолжал: «...и тамо бо рука Твоя...» Но еще пуще закричал барин.

Тогда разбудил Илья певчих девок. Собрались девки в белых покрывалах, как, бывало, Сафо ходила, и запели сонными голосами любимую баринову «Венеру»:

Един млад охотник
В поле разъезжает,
В островах лавровых
Нечто примечает...
Венера-Венера!
Нечто примечает...

Не дал им кончить барин, приказал выдать сушеного чернослива и спать ложиться. Сказал:

— Опостылели вы мне, головы утячьи! Не умеете жизни радоваться, и мне через вас радости нет. Уеду от вас на край света. А с собой Илюшку возьму за камердинера. Сшить ему камзол серый с золотыми пуговицами! И пошли все вон!

Пошел Илья в свою каморку, при лакейской, под лестницей. И уж взял было икону мученика Терентия, отцу дописывать, — по ночам втайне работал, — отворилась дверь, и спросил барин:

— Это что такое, огонь горит?!

Тогда в страхе признался Илья в слабости своей: сказал, что по ночам только трудится, а днем выполняет положенное. Взял барин иконку, увидал, что похож мученик на маляра Терешку, и сказал, подняв руки:

— Ты, дурак, и не понимаешь, что ты ге-ний! Но ты и негодяй за то, что во святого мученика Терентия Терешку-пьяницу произвел!

Потребовал показать — еще что писано. Зойку-цыганку признал на листе, на стенке: в пещере она лежала, как Мария Египетская. Сорвал со стенки и под власяницу спрятал. Признал и себя: сидел в золотой короне на высоком троне. Вскричал грозно:

— Я?! в короне?!

Затрепетал Илья и пал на колени, прося прощения. Но не рассердился барин, дал поцеловать руку и сказал милостиво:

— Перст Божий меня привел. Значит, должен я тебя повезти в науку. Петр Великий посылал дураков за море учиться, вот и я тебя повезу. Пусть знают, какие у нас

русские гении даже из рабов! Спи и не страшись наказания.

И обрадовался Илья, что так обернулось. Потому что хотел он написать Диоклетиана-гонителя и мучеников, а не успел написать и имярек не вывел.

VI

Весна пришла, а все готовили барина в дальнюю дорогу. Налаживали кузнецы и каретники дорожную раскидную коляску: и спать, и принимать пищу, и всячески прохлаждаться можно было в той раскидной коляске: потому и называлась она — *ладнó*.

Отпели Пасху. Полный расцвет весны был. Забелело черемухой кругом пруда. Прощался Илья со всеми. И на пруду посидел, и с лошадьми попрощался. Сбегал на скотный двор к тетке — поплакать перед разлукой. Утешала его тетка Агафья — барская воля, покоришься. Творожку в узелочке дала ему на дальнюю дорогу и меди пятак на свечку Угоднику Миколе: в дальных краях мощи его нетленно почивают — кто и укажет, может. У отца попросил благословения и со слезами простился: тяжко больной другой месяц лежал маляр Терешка, отнялись у него ноги. Заплакал Терешка — никогда раньше не видал Илья, как отец плачет: всегда смеялся. И Спиридошке-повару поклонился в ноги, благодарил за ласку: давал ему Спиридоша барские кусочки. Сбегал и на погост, к Каплюге...

Сказал ему Каплюга:

— Есть в городе всесветном, именуемом Рым-город, самый главный собор, и сидит в том соборе папа рымский, за Христа почитаемый. Всем велит целовать ногу. Ту ногу не целуй смотри.

Дал ему Каплюга четвертак серебряный — на свечу Петрову гробу, сказал:

— Кто Петрову гробу свечу поставит — в рай попадет. За грамоту мою услужи.

Сбегал и в монастырь Илья: обернул за ночь. Горячо помолился в утрени... А как бежал обратно лесной дорогой — простился с лесом. Новым показался ему тот лес, в новых иглах, в белой калине, в весело зеленевшем орешнике. Соловьи заревые щелкали по оврагам. И соловьям говорил — прощайте, и ключику-кадушке в логу,

и ястребам в небе. И будто слышал Илья, как говорит ему лес: воротишься.

Приказал барин служить в церкви молебен «В путь шествующим». Согнал бурмистр Козутоп Иваныч на проводы всю деревню. После молебна объявил барин мужикам, что не для радости какой едет, а от великой скорби: скушно ему глядеть на темную жизнь, никогда веселого лица не видит.

— Ворочусь — новую церковь, просторную, выведу для вас. А вот обучу там Илью — он и распишет... Будете веселей молиться.

Взял в дорогу, чтобы не скучно было, глупенькую Сафо-Соньку, приказал надеть цыганкино платье и зеленую тальму. И поехали, провожаемые верховыми до большого тракта.

Пошли чужие села и деревни, и леса, и города, большие и малые. Ново и радостно было Илье все это. Налетали ливни и грозы, жарило солнцем и обсушивало ветрами. Дни и ночи смотрел Илья с валкого местечка на козлах — радовался. Не случилось в пути до самой границы никакого лиха, и отпустил барин силача шорника Панфила с пистолетом, свою охрану. Одно случилось, сильно опечалившее Илью: у самой границы пропала Сафо, как камень в воду. Пошла в городке покупать барину чулки шерстяные, необыкновенные, — проезжие всё хвалили, — повел ее старый поляк-деляга, — и пропала. Три дня простояли в том городке, у городничего жили, все места непотребные обыскали. Пропала Сафо, как в воду камень. Сказал барин:

— Туда ей и дорога, шельме! Так и знал, какая у ней повадка.

Поплакал Илья на своем местечке, а потом вспомнил, как перешептывался с Сафо Панфил-шорник, как он же сыскал и того поляка-делягу, и подумал: может, ушли в немецкую землю. Не сказал барину: может, там лучше будет.

VII

Четыре года прошло, и были эти четыре года как сон светлый: затерялась в нем далекая Ляпуновка.

Снились — были новая земля и новое небо. А светлее всего была давшаяся нежданно воля: иди, куда манит глаз.

Море видел Илья — синее земное око, горы — земную грудь, и всесветный город, который называют: Вечный. Новых людей увидел и полюбил Илья. Чужие были они — и близкие. Радостным, несказанным раскинулся перед ним мир Божий — простор бескрайний. И новые над ним звезды. И цветы, и деревья — все было новое. И новое надо всем солнце.

Чужое было, незнаемое — и свое: прилепилась к нему душа. Даже и своего Арефия снова нашел Илья, седенького, быстрого, с такими же розовыми скульцами и глазами-лучиками. Только свой Арефий хлопал себя по бедрам и восклицал распевом:

— Да ты го-лубь ты мо-ой!

А этот хватал за плечо и вскрикивал:

— Браво, руски Иля!

Взлет души и взмах ее вольных крыльев познал Илья и неиспиваемую сладость жизни. Изливалась она, играла: и в свете нового солнца, и в сладостных звуках церковного органа, и в белых лилиях, и в неслыханном перезвоне колоколов. Переливалась в его глаза со стен соборов, с белых гробниц, с бесценных полотен сокровищниц. Новые имена узнал и полюбил Илья: Леонардо и Микеланджело; Тициана и Рубенса; Рафаэля и Тинторетто... Камни старые узнал и полюбил Илья, и приросли они к его молодому сердцу.

Год учился он в городе Дрездене, у русского рисовальщика Ивана Михайловича.

Непонятно было Илье тогда: вольный был человек Иван Михайлович и сильно скучал по родине, а ехать не мог. Обласкал его этот человек, как родного, говорил часто:

— Помни, Илья: народ породил тебя — народу и послужить должен. Сердце свое слушай.

Не понимал Илья, как народу послужить может. А потом понял: послужить работой.

Прошел год. Сказал Илье рисовальщик:

— Больше тебе от меня нечего взять, Илья. Велико твое дарование, а сердце твое лежит к духовному. Так и напишу владетелю твоему. А совет мой тебе такой: наплюй на своего владетеля, стань вольным.

Тогда сказал ему Илья, удивленный:

— Если я уйду тайно от барина, как могу я воротиться на родину и послужить своему народу? Скитаться мне тогда, как бродяге. Я на дело повезен барином: обучусь — распишу церковь. Вот и послужу родному месту.

Определил его тогда барин в живописную мастерскую в городе Риме, к ватиканскому мастеру Терминелли. Работал у него Илья три года.

Был он красивый юноша и нежный сердцем, и все товарищи полюбили его. Были они парни веселые и не любили сидеть на месте. Прозвали они Илью — фанчулла, что значит по-русски — девочка, и насильно водили его в трактиры и на танцы, где собирались красивые черноглазые девушки. Но не пил Илья красного вина и не провожал девушек. Дивились на него товарищи, а девушки обижались. Только одна из них, продававшая цветы у собора, тихая, маленькая Люческа, была по сердцу, но не посмел Илья сказать ей. Но однажды попросил ее посидеть минутку и угольком нанес на бумагу. Посмеялись над ним товарищи:

— Все равно, она у него и так живая!

Спрашивали Илью:

— Кто ты, Илья? И кто у тебя отец в твоей холодной России?

Стыдно было Илье сказать правду, и он говорил глухо:

— Мой отец маляр, служит у барина.

И еще стыднее было ему, что говорит неправду. А они были все вольные и загадывали, как будут устраивать жизнь свою. Спрашивали Илью:

— А ты, Илья... в Россию свою поедешь?

Он говорил глухо:

— Да, в Россию.

На третьем году написал Илья церковную картину, по заказу от господина кардинала. Хлопнул его по плечу Терминелли, сказал:

— Это святая Цецилия не хуже Ватиканской! Она лучше, Илья! Она — святая. Нет, ты не раб, Илья!

Поник головой Илья: стало ему от того слова больно. Понял его старый Терминелли, затрепал по плечу, заторопился:

— Я хотел сказать, что ты не берешь от других... Ты — сам!

А потом видел Илья, как отсылали картину кардиналу, а в правом уголку стояла черная подпись: Терминелли.

К концу третьего года стал Терминелли давать Илье выгодную работу: расписывать потолки и стены на подгородних виллах. Триста лир заработал он у виноторговца за одну неделю и еще двести у мясника, которому написал Мадонну. Горячо хвалили его работу. И сказал Терминелли:

— Ты — готовый. Теперь можешь ставить на работе свое имя. Не езди, Илья, в Россию. Там дикари, они ничего не понимают.

Сказал Илья:

— Потому я и хочу ехать.

Сказал удивленный Терминелли:

— Здесь ты будешь богатый, а там тебя могут убить кнутом, как раба!

Тогда посмотрел Илья на Терминелли и сказал с сердцем:

— Да, могут. Но там, если я напишу святую Цецилию, будут радоваться, и рука не подымется на меня с кнутом. А на работе будет стоять мое имя — Илья Шаронов.

Понял Терминелли и устыдился. Дал Илье пятьсот лир, но Илья не взял.

Сказал Терминелли:

— Вот ты раб, а гордый. Трудно тебе будет у твоего господина. Оставайся, я дам тебе самую большую плату.

Но не хотел никакой платы Илья: томила его тоска по родному.

Все радостное и светлое было в теплом краю, где он жил. Грубого слова, ни окрика не услыхал он за эти три года. Ни одной слезы не видал и думал — счастливая сторона какая. Песен веселых много послушал он: пели на улицах, и на площадях, и на деревенских дорогах, и по садам, и в полях. Везде пели. А были дни праздников — тогда и пели, и кидались цветами. А за крестным ходом — видел Илья не раз — выпускали голубей чистых и жгли огни с выстрелами: радовались.

Но еще больше тянула душа на родину.

Многое множество цветов было кругом — белые и розовые сады видел Илья весною: и лилии белые, тихие цветы мучеников, и маленькие фиалки, и душистая белая акация, миндаль и персик, пахучие, сладкие цветы апельсинных и лимонных деревьев, и еще многое множество роз всякого цвета.

Но весной до тоски тянула душа на родину.

Помнил Илья тихие яблочные сады по весне, милую калину, как снегом заметанные черемухи и убранные ягодами раскидистые рябины. Помнил синие колокольчики на лесных полянах, восковые свечки ладанной любки, малиновые глазки-звездочки липкой смолянки и пушистые георгины, которыми убирают Животворящий Крест. И снеговые сугробы помнил, вьюжные пути и ледяные навесы в соснах. Помнил гул осенних лесов, визг и скрип санный в полях и звонкий и гулкий, как колокол, голос мороза в бревнах. Весенние грозы в светлых полях и ласковую, милую с детства радугу.

Бедную церковь видел Илья за тысячи верст, и не манили его богатые, в небо тянувшиеся соборы. Закутку в церкви своей помнил Илья, побитую жестяную купель и выцелованные понизу дощатые иконы в полинялых лентах. Сумрачные лица смотрели за тысячи верст, лохматые головы не уходили из памяти. Ночью просыпался Илья после родного сна и тосковал в одиноких думах.

Два письма получил он от барина: требовал барин на работу. Тогда заколебался Илья: новая душа у него теперь, не сможет терпеть, что терпел и что терпят другие, темные. Откладывал день отъезда. Да еще раз позвал его старый Терминелли и смутил богатой работой: звал его на княжескую виллу, работать в паре.

Сказал строго:

— Ты, Илья, человек неблагодарный. Твою работу будет видеть король Неаполитанский! Ты сумасшедший парень, русский Илья! Я положу тебе тысячу лир в месяц! Подумай. Придет время, и я даю тебе слово: будешь писать портрет самого святейшего отца папы!.. Честь эта выпадает редко.

Смутилась душа Ильи, и сказал он:

— Дайте подумаю.

Тут случилось: сон увидел Илья.

Увидал Высоко-Владычний монастырь с садами, будто смотрит с горы, от леса. Выходит народ из монастыря с хоругвями. Тогда спустился Илья с горы, и пошел с народом, и пел пасхальное. Потом за старой иконой прошел в собор — и не стало народу. И увидел Илья с трепетом голые стены с осыпающейся на глазах известкой, кучи мусора на земле и гнезда икон — мерзость и запустение. Заплакал Илья и сказал в горе: «Господи, кто

же это?» Но не получил ответа. Тогда поднял он лицо свое к богу Саваофу и увидал на зыбкой дощечке незнаемого старца с кистью. Спросил его: «Кто так надругался над святыней?» Сказал старец: «Иди, Илья! Не надругался никто, а новую роспись делаем, по слову Господню». Тогда подумал Илья, что надо взять кисти и палитру и сказать, что надо Арефия на работу, а то мало... И запел радостно: «Красуйся, ликуй и радуйся!..»

И проснулся. Слышал, просыпаясь, как пел со слезами. И мокры были глаза его. Сказал твердо: домой поеду, было это мне вразумление.

И отказался от почетной работы.

А вечером пошел в маленькую старенькую церковку, на окраине, у мутного Тибра: чем-то она была похожа на его родную церковь. Часто выстаивал он там вечерню и любовался на стенное писание: «Последнее Воскресение». Стоял перед Богоматерью в нише, тоскующий и смятенный, и вопрошал: надо ли ему ехать? И услыхал восклицание: «Pax vobiscum!»

Слово это — мир вам! — принял Илья как отпуск. А как вышел из церкви, увидал хроменького старичка с ведерком и кистью, вспомнил отца и подумал: «Это мне указание».

Собрал нажитое, что было, и в конце марта месяца — стояла весна цветущая — тронулся в путь-дорогу на корабле. Вспомнил слово Арефия: «Плавать тебе, Илья, по большому морю!»

И укрепился.

VIII

В торговом городе, который называется Генуя, сел Илья на большой корабль в парусах, — было у него имя — «Летеция»; значило это имя — радость. И в этом имени добрый знак уразумел Илья.

Товар радостный вез тот корабль; цветное венецианское стекло, тонкие кружева, бархат и шелк, инжир и сладкие финики и целые горы ящиков с душистыми апельсинами. Черные греки и веселые итальянцы были на нем корабельщики и пели песни: радовались, что счастливый ветер. Полными парусами набирал корабль ветер, белой раздутой грудью, — только шипели волны. Сидел все дни на носу Илья — любовался морем,

ловил глазами. Во многие гавани заходил корабль, чтобы взять товары: коринку, миндаль, бочки вина и пузатые кипы шерсти.

Радовался на все Илья и думал: сколько всего на свете! Сколько всяких людей и товаров — как звезд на небе. Сколько радости на земле! Думал: не случись доброго Арефия — и не знал бы. В радости светлой плыл он морями, под теплым солнцем, и, как в духовной работе, напевал незабываемое: «Красуйся, ликуй и радуйся, Иерусалиме!..»

У берегов греческих поднялась черная буря и стало швырять корабль, но не испугался Илья: как равный, стал помогать корабельщикам свертывать паруса и тянуть канаты. Работал — и не заметил, как пронесло бурю, и опять засияло солнце. Усталый, уснул Илья на горке сырых канатов и видел сон. Едет он на корабле мимо зеленого острова, стоит на носу, у якоря, и видит: плывут от острова к кораблю лодки под косыми красными парусами, а в лодках народ всякий. Стали подходить лодки, и увидал Илья, что не греки и не итальянцы, а свои, ляпуновские, всё: Спиридошка-повар, Панфил-шорник, конюх Андрон, бурмистр Козутоп Иваныч и другие. Плывут и машут. Тогда закричал Илья, чтобы опускали якорь. Загрохотал якорь...

Проснулся Илья и слышит, что опускают якорь. Пришел корабль в незнакомый город. Раздумался о своем сне Илья — какую картину видел! К чему бы это?

Вышел на пристань, смотрел, как турки, в красных обвязках по голове, таскали на корабль ящики с табаком и бочонки с оливковым маслом. Подивился их силе. Поразил его огромный турок в феске с кисточкой, с волосатыми руками: по три ящика взваливал себе на спину тот турок и весело посмеивался зубами. Был он за старшого, показалось Илье: ходил в голове всей цепи. И задрожало у Ильи сердце, крикнул он, не помня себя от радости:

— Панфил!! Панфил-шорник!!

Нес силач-турок на спине груду ящиков. Услыхал голос, выпрямился в свой рост, полетели ящики на землю и разбились о камни: посыпался из них сухой чернослив и синий изюм — кувшинный.

Радостно-нежданная была та встреча. Сказал Панфил, что ушел тогда из России к православным болгарам, работал на кукурузе, а вот другой год у турок товары грузит. Все лучше, чем в господской власти. И по-ихнему говорить умеет, и белого хлеба вволю.

Спрашивал Илья про Сафо-Соньку. Не знал про нее Панфил, пожалел:

— Свели ее куда в дом веселый. Девок барских у нас много, от хорошей жизни.

Рассказал Панфил, что копит деньги, возьмет землю в аренду и думает жениться. Сказал:

— Жить, Илья, везде можно, лишь бы воля. А ты сам в кабалу лезешь.

Пообедал Илья с Панфилом, поел вареной баранины с чесноком на блине-чуреке и все дивился: совсем стал Панфил турком: табак курит из бумажки и пьет кофе. Сказал Панфил:

— Земля-то одна — Божья. Оставайся, Илья. Выдадут тебе настоящий турецкий пачпорт.

Вспомнил Илья про сон, рассказал Панфилу. Задумался Панфил:

— Вот что... И тятеньку видал, значит. Может, поди, и помер... Скажи ему, жив я... Отвези ему табаку настоящего, турецкого.

Вспомнил Илья Панфилова отца, старого кузнечного мастера Ивана Силу. Стал жалеть: старый Иван горюет. Заморгал Панфил, тронул кулаком глаз. Сказал глухо:

— Сам сны вижу. Ворочусь, когда будет воля.

Повел Илью на базар, купил в подарок отцу теплую рубаху и медную трубку.

— Скажи, что живу ладно, не пьянствую. А в кабалу не желаю.

Пошел корабль дальше. Стало Илье грустно от этой нежданной встречи. Все думал: в турках живет Панфил — и доволен. И стало ему горько: совсем черной показалась ему жизнь, на которую добровольно едет. И еще подумал: нет, это все искушение мне, вот и буря пугала. Вечером помолился Илья на западающее солнце и укрепился.

Не было больше искушений.

Двадцать два года исполнилось Илье, когда вернулся он в Ляпуново.

IX

А в Ляпунове за это время многое изменилось. Сломали старую церковь и возвели новую, пошире, вывели широкий и низкий купол и поставили малый крест. И стала церковь похожа на каравай. Прежняя была лучше.

Помер маляр Терешка и кузнец Иван Сила — сгорел от вина и горя: тосковал по сыну. Некому было отдать гостинцы. Помер и Спиридоша-повар, и конюх Андрон, и еще многие. Рад был Илья, что еще жива тетка Агафья.

Жил теперь Илья на скотном дворе, во флигельке, — на воле. Когда вернулся, призвал его на крыльцо барин и удивился:

— Ну, здравствуй, Илья. Тебя и не узнаешь! Будто барин... Стал ты красивый малый. Ну, спасибо.

Похвалил привезенную в подарок картину — «Препоясание апостола Петра», — давал за нее Илье триста лир содержатель таверны, — и приказал повесить в банкетной зале. Похвалил, что справил себе Илья хорошую одежу — сюртук, табачного цвета, с бархатными бочками, жилет из голубого манчестера и серые клетчатые брюки.

— Теперь можешь показаться гостям с приятностью.

Похвалил и за разумное поведение:

— Так и думал: сопьется мой Илья с этими беспутными итальянцами! А ты вон какой оказался. Будь покоен, я твоих трудов не забуду. Стало мне твое обучение за тысячу серебра, вот и распишешь церковь. А там увидим.

Обед велел брать артельный и еще, как награду, отпускать с барского стола сладкое кушанье: привык небось к разным макаронам!

А самая большая перемена была, что женился барин, и другой год, как родился у него наследник. Взял из Вышата-Темного, из рода господ Вышатовых, красавицу. Собиралась она после отцовой смерти в монастырь уйти, а барин тут и посватался. Узнал Илья, что молодая барыня тихая и ласковая, никогда от нее плохого слова не слышат. В своем Вышатове дом отдала мужикам под стариков и сирот, хоть и сердился барин. Рассказывали Илье, что и барин переменился: стал совсем тихий и ходит за барыней по нитке: все баловство бросил.

Вот что рассказывали Илье про эту женитьбу.

В самый тот год, как повез барин Илью в науку, приехал зимой нежданно барин Вышатов из Питера с

дочкою Настасьей Павловной и тут же наказал строго-настрого всем говорить, что пустой стоит дом, а его нет здесь и не было. Так целый год и таился, ни сам ни к кому не ездил, ни к себе не пускал. Ото всего хоронился. Все окошки позанавешал, все двери позаколотил и не выходил во двор даже. И барышню никуда не допускал. Только выйдет она по саду прогуляться, а он высунет голову в чердачок и кричит не своим голосом: «Ой, Настенька, воротись назад!» Кругом дома высокий забор с гвоздями приказал поставить, а на ворота тройные засовы с замчищами. Даже и в монастырь в самые большие праздники ни барышню не пускал, ни сам не ездил, хоть и совсем рядом. А разбойников все опасался! В окошки решетки железные вправил сам — не доверил людям. Вот раз и приехал к нему капитан-исправник по важному делу, какие-то деньги платить барину требовалось. Стал настоятельно стучать в ворота, а барин выскочил к нему с пистолетом, встал на ворота и кричит: «Можете убить меня, а не отдам кровь! Доложите пославшему!» Совсем как ума решился. Так и уехал капитан-исправник, не похлебал. А барин Вышатов всю ночь на пороге прокараулил. И другую ночь все караул у забора нес, а к утру подняли его без памяти на крыльце. Так и отошел без памяти. Хоронили в монастыре, барин Ляпунов все хлопоты на себя принял и сироту утешал. Потом тетка приехала, хотела к себе везти, в город Пензу. А барин что ни день — в Вышатово. Будто бы даже на коленях перед сиротой становился, в грудь кулаком бил. «Вы, — говорит, — сирота, и я сирота!» Вот так сирота! «Я, — говорит, — в пух вас буду пеленать-покоить!» Мундир свой военный вынул, саблю повесил — прямо и не узнать. Ну, конечно, тетка тут за него встала. По-французски говорить принялся, всех девок своих распустил, книжки почал возить для барышни... А она будто все не хотела. Был слух, что в Питере-то к ней сам великий князь сватался, ну, конечно, ей как обидно! А покорилась. На четвертой неделе поста папенька помер, а к Покрову свадьбу справили.

Видел Илья, что переменился барин: ходил уже не в халате, а в бархатном сюртуке-фраке малинового покроя и духами от него пахло. Когда надевал власяницу, приказал всех лебедей порезать, — «это, — говорил, —

язычники только лебедями занимаются». Теперь опять белые лебеди плавали на тихой воде прудов и кричали тоскливо в гулком парке.

Жил Илья на скотном дворе, во флигелечке. Не призывал его к себе барин. Ходил Илья смотреть церковь, прикидывал план работы. Старый иконостас стоял в ней, и смотрела она пустынно выбеленными стенами. Проверил Илья штукатурку — хорошо, гладко положена, ни бугорков, ни морщинки: только работай. Но не призывал барин. Стали посмеиваться над Ильей люди, говорили:

— Ишь ты, ба-рин! Подольстился к барину — бока належивает, морду себе нагуливает, марькизь вшивый! Мы тут сто потов спустили, а он по морям катался, картинками занимался.

Заходили к Илье, оглядывали стены.

— Картинками занимаешься. Ишь долю себе какую вымолил. В господа, что ль, выходишь? Просись, вольную тебе даст барин.

Говорил им Илья, затаив горечь:

— Обучался я там, чтобы расписать для вас церковь. Вот буду...

— Для барина. А для нас и старой было довольно.

— Нет, для вас. Для вас только и работал. Для вас вернулся, — говорил Илья с сердцем. — Остался бы там — не слыхал бы обидных слов ваших.

Не верили ему люди.

Захаживала к нему старая Агафья, тетка. Сокрушалась:

— Лучше бы ты, Илюшечка, там остался. А то что ж ты теперь — ни Богу свечка, ни *этому* кочережка. Смеются на тебя и девки. На какое же тебе положение выходит?

Молчал Илья. Принимался рассказывать старой Агафье про разные чудеса. Не верила Агафья.

Сердились на Илью девки: и не смотрит. Намекал бурмистр Козутоп тетке, что по сердцу он его дочке, выхлопочет у барина, возьмет к себе в дом зятем: слыхал бурмистр от самого барина, что теперь большие деньги может заработать Илья иконами.

И на это молчал Илья. Надевал свою шляпу-итальянку, ходил в парке, садился на берегу, вспоминал прошлое. А все не призывал барин. Тогда пошел Илья к барину, доложился через обученного камердинера Стефана.

Вышел на крыльцо барин, сказал, что забыл про церковную работу.

— Осмотришь церковь и изобразишь план работы. Потом доложишь.

Подал Илья барину план работы. Повертел барин план работы, сказал, чтобы пустил Илья под куполом к престолу Господню впереди великомученицу Анастасию, а не первомученика Стефана, похвалил, что не забыл Илья преподобному Сергию положить видное место — Сергий был его ангел, — и сказал:

— Теперь знай работай.

И встал Илья на работу.

X

Прошло лето, пошли осенние холода с дождями. Задымились риги, ударили морозы, и стала промерзать церковь. Пошел Илья доложиться, что немеют пальцы и надо топить церковь, а то портит иней живописную работу. Стали прогревать церковь. Служились службы — мало кто смотрел на обставленные лесами стены. Часто наведывался Каплюга, пощелкивал языком, хвалил:

— По-новому, Илья, пишешь. Красиво, а строгости-то нету.

Говорил Илья:

— Старое было строгое. Радовать хочу вас, вот и пишу веселых. А будет и строгое... будет...

Обижался и Каплюга: гордый стал Илья, иной раз даже и не ответит.

Заходил и барин, глядел написанное. Говорил:

— Важно! Самая итальянская работа. Ты, Илья, над Анастасией особо постарайся, для барыни.

— Для всех стараюсь... — говорил Илья, не оборачиваясь, — в работе.

Строго посмотрел барин и повторил строго:

— Я тебе говорю про Анастасию!

Не ответил Илья, стиснул зубы и еще быстрее заработал. Пожал барин плечами.

— Я тебе, глухому, говорю еще раз... про Анастасию!

Тут швырнул кисть Илья в ящик и сказал:

— Я пишу... и пишу по своей воле. Если моя работа не нравится, сударь, заставьте писать другого. А великомученицу Анастасию я напишу как знаю!

Резко и твердо сказал Илья и твердо взглянул на барина. Усмехнулся барин. Сказал по-особенному:

— Научился говорить вольно?

Сказал Илья:

— В работе своей я волен. Волей своей вернулся — волей и работать буду. Прикажете бросить работу?

— Продолжай... — сказал барин.

И не приходил больше.

Другой год работал Илья бессменно.

Пришла и прошла весна, переломилось лето, и к Ильину дню, престолу, окончил Илья живописную работу. Пришел на крыльцо, сказал камердинеру Стефану:

— Доложи, что работу кончил.

Велел сказать ему барин:

— Придем завтра — посмотрим.

В церковь пошел Илья, разобрал подмостки, встал на самую середину и любовно оглядел стены. Сказала ему душа — «Радуйся, Иерусалиме!» И сказала еще: «Плавать бы тебе, Илья, по большому морю!»

Не было ни души в церкви. Был тогда тихий вечер, и стрижи кружились у церкви. Сказал Илья:

— Кончена работа...

И стало ему грустно.

В цветах и винограде глядели со стен кроткие: Алексей — человек Божий и убогий Лазарь. Сторожили оружием — Михаил Архангел с мечом, Георгий с копьем и со щитом благоверный Александр Невский. Водружали Крест Веры и письмена давали слепым Кирилл и Мефодий. Вдохновенно читали Писание Иван Златоуст, Григорий Богослов и Василий Великий. Глядели и звали лаской Сергий и Савва. А грозный Илья-мужицкий, на высоте, молниями гремел в тучах. Шли под широким куполом к лучезарному престолу Господа святые мученики, мужи и жены, — многое множество, — ступали по белым лилиям, под золотым виноградом...

Смотрел Илья, и больше радовалась душа его.

А над входом и по краям его — во всю стену — написал Илья Страшный последний суд, как в полюбившейся ему церковке у Тибра.

Шли в цепях сильные мира — к Смерти, а со светильниками-свечами, под золотым виноградом, радостно грядущие в Жизнь Вечную.

Шли — голы и босы — блаженные, страстотерпцы, нищие духом, плакавшие и смиренные. Шли они в разноязычной толпе несметной, и, затерявшиеся в веренице светлой, ведомые Илье: и маляр Терешка, и Спиридоша-повар, и утонувший в выгребной яме Архипка-плотник, и кривая Любка, и глупенькая Сафо-Сонька, и живописный мастер Арефий... многое множество.

Смотрел Илья, и еще больше радовалась душа его. И не было полной радости. Знал сокровенно он: нет живого огня, что сладостно опаляет и возносит душу. Перебирал всю работу — и не мог вспомнить, чтобы полыхало сердце.

И чем дольше смотрел Илья — сильней тосковала душа его: да где же сгорающая в великом огне душа? И думал в подымающейся тоске — ужели для этого только покинул волю?

Всю ночь без сна провел он на жесткой койке у себя на скотном, и томили его сомнения. Говорило сердце: не для этой же работы воротился. На ранней заре поднялся Илья и пошел в церковь. Белый туман курился в низинах, по Проточку. Сел Илья на старый могильный камень, положил голову в руки и стал думать: ну, теперь кончена положенная от барина работа... для барина и работал...

И вот, как давно, в яблочном монастырском саду, в охватившей его тяжкой дремоте, сверкнуло перед ним яркой до боли пеной или кипящей водой на мельнице. Миг один вскинул Илья глазами — и в страхе и радости несказанной узнал глянувшие в него глаза. Были они в полнеба, светлые, как лучи зари, радостно опаляющие душу. Таких ни у кого не бывает. На миг блеснули они тихой зарницей и погасли.

В трепете поднялся Илья, смотрел сквозь слезы в розовеющее над туманом небо — в потерянную радость:

— Господи... Твою красоту видел...

Понял тогда Илья: все, что вливалось в его глаза и душу, что обрадовало его во дни жизни, — вот красота Господня. Чуял Илья: все, чего и не видали глаза его, но что есть и вовеки будет, — вот красота Господня. В прозрачном и чутком сне, — видел он, — перекинулась радуга во все небо. Плыли в эти небесные ворота корабли под красными парусами, шумели морские бури; мерцали негасимые лампады-звезды; сверкали снега на неприступных горах; золотые кресты светились над лесными верши-

нами; грозы гремели, и наплывали из ушедших далей звуки величественного хорала; и белые лилии в далеких садах, и тихие яблочные сады, облитые солнцем, и радость святой Цецилии, покинутой за морями...

В этот блеснувший миг понял Илья трепетным сердцем, как неистощимо богат он и какую имеет силу. Почуял сердцем, что придет, должно прийти то, что радостно опаляет душу.

XI

Выше подымалось солнце. Тогда пошел Илья и надел чистую рубаху — показывать господам работу. Пришел в церковь, и показалось ему, что сегодня праздник. Вышел на погост у церкви, увидал синий цикорий на могиле и посадил в петлицу. Вспомнил, как сдавал на виллах свою работу.

В самый полдень пришли господа осмотреть церковь.

В белом платье была новая госпожа — в первый раз видел ее Илья так близко. Юной и чистой, отроковицей показалась она ему. Белой невестой стояла она посреди церкви, с полевыми цветами. Радостный и смущенный смотрел Илья на ее маленькие ножки в белых туфлях: привык видеть только святые лики. Смотрел на нее Илья — и слышал, как бьется сердце.

Спросила она его, осветив глазами:

— А кто это?

Сказал Илья, оглядывая купол:

— Великомученица Анастасия Рымляныня, именуемая Прекрасная, показана в великом кругу мучений.

Она сказала:

— Это мой ангел...

И он ее вдруг увидел.

Увидел всю нежную красоту ее — радостные глаза-звезды, несбыточные, которых ни у кого нет, кроткие черты девственного лица, напомнившие ему его святую Цецилию, совсем розовый рот, детски полуоткрытый, и милое платье, падающее прямыми складками. Он стоял как в очаровании, не слышал, как спрашивает барин:

— А почему перед первоучителями все слепые?

Не Илья, а она сказала:

— Ведь они совсем темные... они еще ничего не знают.

Спросил барин:

— А почему у тебя, Илья, в рай идут больше убогие?

— А ведь правда! — сказала она и осветила глазами.

Показалось Илье, что она смотрит ласково, будто сама сказать хочет. Тогда прошло онемение, будто путы спали с Ильи, и сказал он вольно:

— По Священному писанию так: «Легче верблюду пройти...» и «блаженни нищие духом...». Так трактовали: Карпаччио...

Но перебил барин:

— Знаю!

А она сказала, опять сияя:

— Мне это нравится... и нравится вся работа.

Как тихие голоса в органе был ее голос, как самая нежная музыка, которую когда-либо слышал Илья, были ее слова. Он, словно поднятый от земли, смотрел на это неземное лицо, лицо еще никем не написанной Мадонны, на ее неопределимые глаза, льющие радостное, казалось ему, сияние. Он не мог теперь отвести взгляда, все забыв, не слыша, что барин уже другой раз спрашивает:

— А почему у Ильи Пророка одежда как у последнего нищего?

Сказал Илья на крикливый голос:

— Пророки не собирали себе сокровища на земле. Сказано в Книге Пророка...

И опять перебил барин:

— Знаю!

— Все здесь говорит сердцу... — сказала она и осветила глазами. — Вас благодарить надо.

Поклонился Илья стыдливо: были ее слова великой ему наградой. Сказал барин:

— Да, спасибо, Илья. Оправдал ты мое доверие.

И повел барыню. Стоял Илья как во сне, затих-затаился. Смотрел на то место, где стояла она, вся светлая. Увидал на полу полевую гвоздичку, которую она держала в руке, и поднял радостно. И весь день ходил как во сне, не здешний: о ней думал, о госпоже своей светлой. Весь этот будто праздничный день не находил себе места. Выходил на крылечко, смотрел вдоль аллеи парка.

Зашел Каплюга:

— Ты чего, Илья, нонче такой веселый? Похвалили твою работу?

— Да, — сказал Илья, — похвалили.

— Вольную должны дать тебе за такой подвиг... — сказал Каплюга.

Не слыхал Илья: думал о госпоже светлой.

А вечером пришел на скотный двор камердинер и потребовал к барину:

— Велел барин в покои, без докладу.

В сладком трепете шел Илья: боялся и радовался ее увидеть. Но барин сидел один, перекладывал на столе карты. Сказал барин:

— Вот что, Илья. Желает барыня икону своего ангела, великомученицы Анастасии. Уж постарайся.

— Постараюсь! — сказал Илья, счастливый.

Пошел не к себе, а бродил до глубокой ночи у тихих прудов, смотрел на падающие звезды и думал об Анастасии. Крадучись подходил к барскому дому, смотрел на черные окна. Окликнул его Дема-караульщик:

— Чего, марькизь, ходишь? Ай украсть чего хочешь?

Не было обидно Илье. Взял он за плечи горбатого Дему, потряс братски и посмеялся, вспомнил:

— Дема ты, Дема — не все у тебя дома, на спине хорома!

Постучал колотушкой, отдал и поцеловал Дему в беззубый рот.

— Не сердись, Дема-братик!

И пошел парком, не зная, что с собой делать. Опять к прудам вышел, спугнул лебедей у каменного причала: спали они, завернув шеи. Поглядел, как размахнулись они в ночную воду. Ходил и ходил по росе, отыскивал в опаленном сердце желанный облик великомученицы Анастасии.

И нашел к утру.

XII

Неделю горела душа Ильи, когда писал он образ великомученицы Анастасии. Не уставно писал, а дал ей белую лилию в ручку, как у святой Цецилии в Миланском соборе.

Смотрела Анастасия, как живая. Дал ей Илья глаза далекого моря и снежный блеск белому покрову — девство. Радостно Илье стало: все дни смотрела она на него кротко.

Зашли господа посмотреть работу. Удивился барин, что готова. Не смея взглянуть, подал Илья своей госпоже икону.

— Как чудесно! — сказала она и по-детски сложила руки. — Это чудо!

Вбирал Илья в свою душу небывающие глаза-звезды.

Сказал барин:

— Теперь вижу: ты, Илья, — мастер заправский. Говори, что тебе дать в награду?

Увидал Илья, как она на него смотрит, и сказал:

— Больше ничего не надо.

Не понял барин, спросил:

— Не было от меня тебе никакой награды... а ты говоришь, чудак, — больше не надо!

Смотрел Илья на госпожу свою, на ее бледные маленькие руки. Все жилки принял в себя, все бледно-розовые ноготки на пальцах. И темные, бархатные брови принял, темные радуги над бездонным морем, и синие звезды, которые не встречал ни на одной картине по галереям. Вливал в себя неземное, чего никогда не бывает в жизни.

— Вы здесь и живете? — спросила она глазами.

Поднял Илья глаза. Сказал:

— Да. Здесь хорошо работать.

Удивился на него барин: чего это отвечает. А она осматривала почерневшие стены с вылезавшей паклей и повешенные работы.

Увидала цветочницу, маленькую Люческу... Спросила:

— А кто эта? какая миленькая девушка.

Вспыхнул Илья под ее взглядом. Сказал смущенно:

— Так... цветы продавала у собора...

Посмеялся барин:

— Тихоня, а... тоже!

Толкнуло Илью в сердце. Не помня себя, рванул он холстик и подал ей:

— Нравится вам... возьмите, барыня.

В первый раз назвал ее так; потом, когда вспоминал все это, краснел-думал: не для нее это слово, для нее — обида.

Она посмотрела, будто залила светом:

— Оставьте у себя. Мне не надо.

Все краски и все листы пересмотрела она. Увидала мученика, прекрасного юношу Себастиана в стрелах, —

смотрела, будто молилась. И Илья молился — пресветлому открывшемуся в ней лику. Говорила она — пение слышал он. Обращала к нему глаза — сладостная мука томила душу Ильи.

Ушла она, и осталась мука сильнее смерти. Упал Илья на колючий войлок, жесткое свое ложе, сдавил зубы и облился слезами. Говорил в стонах:

— Господи... на великую муку послано мне испытание! Знаю, не увижу покоя. И нет у меня жизни...

Так пролежал до вечера в сладкой муке. А к вечеру пришли от двора двое — Лукавый и казачок Спирька Быстрый — и принесли деревянную кровать на кривых ножках, два стула, тюфяк из морской травы и пузатую этажерку. Сказал Спирька:

— Так, Илья Терентьич, сама барыня приказала.

А Лукавый Лука прибавил:

— У него, говорит, не комната, а конура собачья! Плывет тебе счастье, Илья. Маслена коту настала. До мяконькова добрался. Поженишься — гляди, и подушку вылежишь с одеялом.

Потрогали пальцами картинки, посмеялись над барином:

— Псалтырем ты его зачитал, Илья, — образами накроешь.

Не сказал им Илья ни одного слова. Остался стоять, закрыл руками лицо, повторял мыслями:

«Сама... барыня... приказала...»

Смотрел в темноту ночи — и видел ее, светлую госпожу свою. Менялось ее лицо, и смотрела из темноты великомученица, прекрасная Анастасия. И она менялась, и светились несбыточные глаза — два солнца. В сладкой радости-муке упал Илья на колени, припал губами к старому полу, где она стояла, и целовал доски. Всю ночь метался Илья по своей каморке, выходил на крыльцо, слушал, как стрекочут кругом кузнечики в деревьях, как оставшиеся за морем цикады. Спрашивал темноту-тоску:

— Что же?!

Стало светать. Взглянул Илья на присланную кровать — не лег. Жутко было ложиться на посланное ею, будто совершишь святотатство. Лег на войлок и заснул крепко. Проснулся — только-только подымалось за прудами солнце. Пошел на плотину, прошел дальше, к Про-

точку. Пошел дальше, по монастырской дороге. Лесом шел — пел. Охватывала его радостно тишь лесная. Отозвалось в светлом утре, в чвоканье и посвисте красногузых дятлов и в гулком эхе разгульное. И запел Илья гулевую-лесовую песню:

. . . .
Одну-ю и вьюжина не берет!
Вьюжина да метелюга не метет!

Радость неудержимая закрутила Илью. Бил он палкой по гулким соснам и пел. И по сторонам отзывалось гулко и далеко:

Ай, вьюга-метелюга, заметай!..

Кончился лес — и увидал Илья белый монастырь над Ырлей, с золочеными главами-репами. Стал Илья на бугре и смотрел жадным, берущим взглядом. На белый простен собора смотрел — на полдень. Свистнул и пошел в монастырь. Сказал казначее:

— Хочу расписать вам стену на полдень — Георгия со Змеем. Хлопочите у барина, а я хоть завтра.

Обрадовалась казначея: знала, как благолепно Илья расписал церковь в Ляпунове.

А через месяц младой Георгий на белом коне победно разил поганого Змея в броне, с головой как бы человека. Дивно прекрасен был юный Георгий — не мужеского и не женского лика, а как ангел в образе человека, с бледным ликом и синими глазами-звездами. Так был прекрасен, что послушницы подолгу простаивали у той стены и стали видеть во сне... И пошло молвой по округе, что на монастырской стене — живой Георгий и даже движет глазами.

XIII

Опять не стало у Ильи работы.

Словно что потерявший, ходил он по аллеям парка в своей итальянской шляпе. Смотрел на небо, на осыпающиеся листья. Сквозило в парке, и ясней забелел теперь длинный господский дом, где по вечерам играли на фортепьянах. Обходил Илья главную аллею.

В красном закате плыли величавые лебеди — розово-золотые в солнце. Отзывался пустынный их крик в парке.

Лебедей рисовал Илья, и осенний остров, и всегда пустую липовую аллею с желтыми ворохами листьев. Каменные плотины писал Илья — вверху и внизу, с черными жерлами истоков. Все было обвеяно печалью.

С тоской думал Илья: вот и зима идет, снегом завалит, и пойдут долгие ночи. Вот уже и птиц не стало, летят гуси за солнцем. Слушал, как посвистывают осеннички-синицы.

Редко выпадало счастье, когда в барском доме играли на фортепьянах.

Слышал Илья — опять заскучал барин. Говорили, будто ездить начал на хутор, где жили «на полотнянке» девки. И не верил.

Сидел раз Илья у каменного причала, зарисовывал от нечего делать: нарисовал мосточки и одинокую лодку: о своей судьбе думал. А что же дальше? И стало ему до боли тоскливо, что не остался у Терминелли. Старые камни вспомнил, белые дороги, веселые лица, соборы, радостные песни и тихую маленькую Люческу с цветами. Подумал: там бы и жил, и работал. И Панфила с ящиками вспомнил, как ели баранину и сидели у моря, свесив ноги. «Выправил бы себе настоящий турецкий пачпорт!» В тоске думал Илья: расписал им церковь, а никому и не нужно. Верно, что и старой было довольно. Да, верно: ни Богу свечка, ни *этому* кочережка!

Навалилась тоска, и в этой тоске нашел Илья выход: просить барина назначить откуп.

Тут Илья услыхал шелест и оглянулся. На широкой аллее к дому стояла *она* белым видением, в косом солнце, держала за ошейник любимую белую борзую. Встал Илья и поклонился.

Она сказала:

— Здравствуйте, Илья...

Голос ее показался Илье печальным. Он стоял, не зная, что ему делать — пойти или так остаться. И она стояла на желтых листьях, поглаживала борзую. С минуту так постояли они оба, не раз встречаясь глазами. Как на солнце смотрел Илья, как на красоту, сошедшую с неба, смотрел, затаив дыханье.

— Вы скучаете, милый Илья... Теперь у вас нет работы?..

— Да, у меня нет работы... — сказал Илья, перебирая поля шляпы.

Тогда она подошла ближе и сказала тихо:

— Я понимаю, Илья... Вы должны получить волю.

Вскинул глаза Илья, обнял ее глазами и сказал с болью:

— Зачем мне воля!

Взглянул на нее Илья — один миг, — и сказал этот взгляд его больше, чем скажет слово. Долгим, глубоким взглядом сказала она ему, и увидал он в нем и смущенье, и сожаление, и еще что-то... Радость? Словно она в первый раз узнала и поняла его, юношески прекрасного, с нежно ласкающими глазами, которые влекли к нему девушек за морями. Смело, как никогда раньше, посмотрел на нее Илья захотевшими жить глазами.

Миг один смотрел Илья на нее и опустил глаза, и она только миг сказала, что *знает это*. Опять услыхал Илья шелест листьев, увидал, как мягко играет белое ее платье и маленькая рука тянет ошейник порывающейся борзой. Смотрел — и в движении ее видел, что она о нем думает. Смотрел вслед ей, пока не повернула она в крестовую аллею. Думал: оглянется? Если бы оглянулась!

Не оглянулась она.

XIV

На Рождество Богородицы пошел в монастырь Илья, как ходил в прежнее время. Всегда была ему от монастыря радость. Пошел барином: надел серые брюки в клетку, жилет из голубого манчестера и сюртук табачного цвета, с бархатными бочками. Остановился на плотине, увидал себя в светлой воде и усмехнулся — вот он, маркиз-то!

Раскинулась под монастырем знакомая ярмарка. Подмонастырная луговина и торговая площадь села Рождествина зачернела народом. Торговали по балаганам наезжие торгаши китайкой и кумачом, цветастыми платками и кушаками, бусами и всяким теплым и сапожным товаром. Медом, имбирем и мятой пахло сладко от белых ящиков со сладким товаром: всякими пряниками — петухами и рыбками, сухим черносливом, изюмом и шепталой кавказской, яблочной пастилой и ореховым жмыхом. Селом

стояли воза с желтой и синей репой, мытой и алой морковью, с лесным новым орехом и вымолоченным горохом. Наклали мужики лесовые белые горы саней и корыт, капустных и огуречных кадок, лопат, грабель, борон и веселого свежего щепного товару. Под белые стены подобрались яблошники с возами вощеной желтой антоновки и яркого аниса с барских садов. К кабакам и трактирам понавели на коновязи, к навозу, лошадей с заводов, и бродячий цыганский табор стучал по медным тазам и сверкал глазами и серебром в пестрой рвани.

Ходил и смотрел Илья, вспоминал, как бывало в детстве. И теперь то же было. Яркой фольгой и лаком резал глаз торговый «святой» товар из-под Холуя, рядками смотрели все одинаковые: Миколы, Казанские, Рождества — самые ходовые бога́.

С улыбкой глядел Илья на строгие лики, одетые розовыми веночками, и вспоминал радостного Арефия. Купил синей и желтой репы, вспомнил, как обдирал зубами: не приходила былая радость. Купил «кузнецов» любимых — мужика с медведем, пощелкал и подарил жадно глядевшему на него ротастому мальчишке. Был и за крестным ходом, смотрел, как пролезали под чтимую икону старики, бабы и девушки, валились на грязь с ребятами, давили пальцы. Смотрел на взывающие деревянные и натуженные лица и вздрагивающие губы. Слушал тяжкие вздохи, стоны и выкрики, ругань и пугающие голоса: «Батюшки, задавили!» Видел «пьяный долок», под монастырской стеной, куда, для порядка, дотаскивали упившихся и укладывали в лопухи. Все тот же лысый давний старик сидел на пеньке, с багровой шишкой у глаза, — стерег-оберегал пьяниц и получал грошики. Видел Илья у монастырских ворот, под завешанными, всегда урожайными рябинами, — городок Божий: сидела рядами всякая калечь, гнусила, ныла, показывала свои язвы и изъяны и жалобила богомольных. Узнал Илья Петьку Паршивого, с вывернутыми кровяными веками, и Гусака, который испугал его в детстве: не говорил Гусак, а шипел, вытягивал длинную, в руку, шею. С болью и отвращением проходил Илья мимо «Божьего городка», а ему вслед тянули: «Ба-а-рин, милостинку подай, ба-а-рин...»

Барином называли Илью торговцы, а знакомые мужики с завистью и усмешкой говорили:

— Марькизю почет! Может, лошадку купить желательно?

Останавливали Илью гулящие девки в ярких сарафанах, с платочками, запавшими на затылок, — смеялись:

— Илюша-милюша... румяный мальчик, пойдем в сарайчик!

Хмельные они были, казенные и барские солдатки с большого тракта, ходили цветастой гулевой стайкой, наяривали заезжих. Бегали за ними подростки, подергивали за накрахмаленные сарафаны и дразнились. Отплевывались от них бабы, а мужики хмуро сторонились. Помнил Илья двух из них — Лизутку Мачихину с казенного села Мытки и Ясную Пашу.

А теперь были новые, и все приставали к нему и называли Илюшей. Полыхало от них на Илью соблазном.

И про них думал Илья — несчастные. И про калечь, и про «пьяный долок». Не облегчила ему тоски ярмарка. Отошел Илья на бугорок, повыше, где сворачивают от лесу, и смотрел на луговину и навозную площадь, по которой все еще носили почитаемую икону. Вспомнилось ему, как за морями носили на палках белые статуи, шли чинно монахи, опоясанные веревками, и выпускались — взлетали белые голуби... И пожалел, зачем не остался там: там светлее.

Подошла к нему старая грязная цыганка-ведьма. Запела:

— Сушит тебя любовь, красавчик-корольчик... Дай, счастлив, на руку, скажу правду.

Дал ей Илья пятак, чтобы отвязалась. Сказала цыганка:

— Краля твоя тоскует, милого во сне целует. Делать тебе нечева, погоди до вечера.

И пошла, позванивая полтинками.

Собирался Илья идти домой, на свою скуку. Уже поднялся — услыхал за собой на мосточке топот и визгливый окрик на лошадей мальчика-форейтора: вскачь пронеслась сыпучими песками господская синяя коляска. Узнал Илья, и захолонуло сердце: в голубой шляпе с лентами, с букетом осенних цветов — георгин, бархатцев и душистого горошка, — одна сидела в ней его молодая госпожа; везла цветы для иконы. Следил Илья за голубым пятнышком, двигавшимся между белыми ворохами саней и телег с репой, пока не проехала коляска монастырские

ворота. Как раз ударили к поздней обедне и понесли с площади икону.

Три часа просидел Илья на мосточке, у дороги. Пестрела перед глазами ярмарка кумачом, чернотой и свежими ворохами на солнце, а голубое пятнышко не пропадало — осталось в глазах, как кусочек открывшегося неба. «Светлая моя, — говорил Илья к монастырским стенам, — радостная моя!» Словами, которые только знал, называл ее, как безумный, кроме нее уже ничего не видя. Сладким ядом поил себя, вызывая ее глаза, пил из них светлую ее душу и опьянялся. До слез, до боли вызывал ее в мыслях и целовал втайне. Три часа, томясь сладко, прождал Илья у дороги.

И вот, когда увидал, что выехала из монастырских ворот синяя коляска, с краснорукавным кучером Якимом и радостным голубым пятнышком, сошел с дороги и схоронился в кусты орешника на опушке. Через просветик жадно следил, как вползала коляска по сыпучему косогору, как полулежала на подушках его молодая госпожа, глядела в небо. Жадно глядел Илья на нее, бесценную свою радость, и лобызал глазами. Тихо проползала коляска песками, совсем близко. Даже темную родинку видел Илья на шее, даже полуопущенные выгнутые ресницы, даже подымающиеся от дыхания на груди ленты и детские губки. Как божество, провожал Илья взглядом поскрипывающую по песку синюю коляску, теряющуюся в соснах. Вышел на дорогу, смотрел на осыпающийся след на песке и слушал, как постукивают на корнях колеса.

XV

Спать собирался Илья ложиться, нечего было делать, — ночь темная. Пошел дождь, зашумело лесом. Тут постучали в окошко; пришел Спирька Быстрый, сказал, что требует к себе барин. Всколыхнуло Илью — обрадовало и испугало.

Сидели господа в спальной, у камина, грелись. Полыхала Львиная Пасть-морда сосновыми дровами. Красным огнем полыхали стены, и розовая была широкая пышная постель под атласным покровом. Пушистый красный ковер увидал Илья, букетами, старинный, самый тот, что был при цыганке. Остановился у дверей, в коридоре, постеснялся войти. Но барин позвал его из коридора:

— Только оботри ноги!

Вошел Илья и остановился у двери. Барин сидел в глубоком кожаном кресле и похрустывал белою кочерыжкой: лежали они грудкой на тарелке. А госпожа лежала на покатом бархатном кресле и грела ноги. Красные, золотом вышитые шлепанки-туфли сперва увидал Илья в ярком свете, на стеганой подставке. Потом увидал тонкие розовые чулочки и бело-золотистый, словно из парчи, халатик в лентах; потом розовые тонкие руки в коленях, пышные косы, кинутые на грудь, и лицо. Устало смотрела она в огонь — дремала. Сон прекрасный видел Илья, сказочную царевну.

Молча приклонился Илья к камину. Сказал барин:

— Вот что, Илья... Слышал я, что думаешь откупаться?

Хотел было Илья сказать, но барин показал пальцем — слушай.

— Сам понимаю, что тебе трудно. Какая у меня тебе работа? И потом... барыня за тебя просила...

Молча, чтобы не дрожал голос, поклонился Илья, почувствовал, как накипают слезы. Неотрывно смотрел на тихое бледно розовеющее лицо, как у спящей. И вот дрогнули темные ресницы и поднялись. Новые глаза, темные от огня, взглянули на Илью, коснулись его нежно и опять закрылись.

— Вольную ты получишь. Видела барыня сегодня в монастыре твою работу, Георгия Победоносца... Понравилось ей. Говорит, лицо необыкновенное...

Неотрывно смотрел Илья на светлую госпожу свою. Все так же она лежала, и от полыхающего огня словно вздрагивали ее ресницы. А как сказал барин, что лицо необыкновенное, опять увидал Илья: поднялись ресницы и она смотрит. Радостно-благодарящий был этот взгляд, ласкающий и теплый. Похолодел и замер Илья и опустил глаза на огонь.

А она сказала:

— Вы, Илья, удивительно пишете. И вот у меня к вам просьба...

Вздрогнул Илья от ее голоса, но сказал барин:

— Просьба не просьба, а... постарайся напоследок... Барыня желает, чтобы написал ты ее портрет... Можешь?

Сразу не мог ответить Илья, но собрал силы и сказал чуть слышно:

— Постараюсь...

Сам слышал — будто не его голос. Посмотрел барин на Илью:

— Так вот. Можешь?

И она сказала:

— Видите, Илья... Я хочу, чтобы...

Но ее перебил барин:

— Так вот. Можешь?

В жар кинуло Илью, что перебил барин. Стояло в комнате живое, ее, слово: «Я хочу, чтобы...» Чего она хотела?!

И сказал Илья твердо:

— Могу.

И посмотрел на нее свободно, как недавно, в парке. Упали путы с души, и почувствовал он себя вольным и сильным. Спросил смело:

— Завтра начать можно?

Порешили на завтра. Сказал Илья:

— Буду писать в банкетной, на полном свете.

Взглянул на нее и еще смелее сказал:

— У госпожи бледное лицо. Для жизни лица лучше темное одеяние, черное или морского тона...

Ее лицо осветилось, и она сказала:

— Я так и хотела.

И удивился Илья — вмиг она стала совсем другая, еще прекрасней.

Нашел Илья силу принять великое испытание. Шел под дождем на скотный, нес ее светлый взгляд и повторял в дрожи, ломая пальцы:

— Напишу тебя, не бывшая никогда! И будешь!

XVI

С того часу начались для Ильи сладостные мучения, светло опаляющие душу.

Всю ночь не смыкал он глаз. В трепете и томлении ходил он в тесной своей клетушке и то становился к углу перед иконкой, старой, черной, без лика, после отца оставшейся, и сжимал руки; то смотрел в темные стены, отыскивая что-то далекое, чему и имени не было, но что было; то торопливо промывал кисти, готовил краски и отчищал палитру. Вынул надежный холст, ватиканский,

верный, и закрепил на подрамник. И то обнимал его страх темный, то радость безмерная замирала в сердце.

Только перед рассветом забылся он в чутком сне и вскочил на постукиванье в окошко. Но не было никого за окошком: дождь стучался. Сердито глядел Илья на небо — тучи-тучи. Но к утру подуло ветром, и сплыли тучи. Пошел Илья в дом при солнце.

Бледный, с горячими глазами, дрожащими руками, готовился Илья к работе в банкетной зале. Боялся *ее* увидеть. Но напрасна была его тревога. Вышла молодая госпожа и сказала приветно:

— Здравствуйте, милый Илья. Что с вами? не больны вы?..

Поклонился Илья, сказал невнятно и начал свою работу. Взглядом одним окинул милое черное платье, стыдливые худенькие плечи и будто утончившееся со вчерашнего дня лицо с тенями. Новое сияние глаз увидал Илья, как сияние моря в ветре, — сияние тихой грусти. Подумал: другие глаза стали. И стали они другие, когда стал бросать углем, — менялись: радостные они были. Она спросила:

— Надо сидеть покойно?

Но не слыхал Илья слов, и она спросила еще. Он ответил:

— Нет, пожалуйста, говорите...

Дрожал его голос и рука с углем. Теперь он неотрывно глядел в лицо ее, вырванное из жизни и отданное ему — ему только. Теперь он пил неустанно из ее менявшихся глаз, первых глаз, которые так сияли. Тысячи глаз видел он на полотнах по галереям, любовно взятых у жизни, но таких не было ни у одной Мадонны. Необъятность видел Илья в темнеющей глубине их — необъятность святого света. Не мог он назвать, что видел. Радость? Но и печаль, светлую грусть в них чуял Илья, и была эта грусть прекрасна. Небывающую красоту, все, что должно бы быть и осветить жизнь и чего не было в жизни, видел Илья.

Пришел барин, сказал: довольно, пора обедать.

День за днем потянулась эта радостно опаляющая душу пытка. Не жил эти дни Илья, не прикасался к пище, и только кусок хлеба и кружка воды поддерживали его силы. *Она* приходила к нему в коротком тревожном сне, меняющаяся: то в пурпуре великомученицы Варвары, то в светлой одежде святой Цецилии, то в одеянии Рубенсов-

ской Мадонны. Приникала к нему во сне полуобнаженная, в пышных тканях прекрасной венецианки, то манила его в аллеях, то лежала раскинутой на греховном ложе. В сладострастной истоме пил Илья ее любовь по ночам — бесплотную, и приходил к ней, не смея взглянуть на чистую.

Спрашивала она с тревогой:

— Милый Илья, что с вами? вы устали?

Говорил Илья с болью — за ее тревогу:

— Я здоров, что вы...

Он уже не смотрел на менявшееся лицо ее. Знал его, новое и ее, созданное ночами.

Спрашивала она — он вздрагивал от ее голоса. Говорил — и не помнил. Отвечал — и не понимал.

Но бывали минуты, когда он складывал перед нею руки и смотрел, забывая все. Бывали еще мгновения, когда обнимал он ее всю взглядом, прорвавшеюся в глаза страстью. Она отводила взгляд, прятала шею и собирала плечи. Он приходил в себя и бросал работу.

Ночью безумствовал Илья в своей клетушке. Он молитвенно складывал руки перед ее — новым — ликом, падал перед ним на колени и ласкал словами. А только вливалось утро — вкладывал новое, озарившее его ночью.

Был это лик нездешний. Не холст взял Илья, а, озаренный опаляющей душу силой, взял заготовленную для церковной работы доску. Иной смотрела она, радость неиспиваемая, претворенная его мукой. Защитой светлой явилась она ему, оплотом от покорявшей его плотской силы. Девственно чистой рождалась она в ночах — святая.

Все, что когда-то узнал Илья: радости и страдания, земля и небо и что на них; жизнь в потемках и та, далекая, за морями; все, что вливалось в душу, — творило в Илье этот второй образ.

Силой, что дали Илье зарницы Бога, небывающие глаза — в полнеба; озаряющие зарницы, что открылись ему в тиши рассвета и радостно опалили душу: силой этой творился ее неземной облик. Небо, земля и море, тоска ночная и боли жизни, все, чем жил он, — все влил Илья в этот чудесный облик. Стояло в глазах — и не могло излиться. Огромное было в глазах, как безмерна самая короткая жизнь даже незаметного человека.

Две их было: в черном платье, с *ее* лицом и радостно плещущими глазами, трепетная и желанная, — и другая, которая умереть не может.

И вот на двадцатый день кончил Илья работу. Сказал госпоже своей:

— Вот, кончена моя работа...

И ему стало больно.

А она, радостная, сложила по-детски руки, смотрела и говорила:

— Какая прекрасная... я ли это?!

Не было барина — уехал на охоту. Илья стал собирать кисти.

Она сказала:

— Илья... это вы сделали *для меня*, я знаю. Я хотела иметь *вашу* работу. Она сохранит меня для моего ребенка...

И тут увидал Илья, как ее глаза потемнели скорбью и горько сложились губы. Словами сказал:

— Сладко было мне писать ваш образ!

А взглядом сказал другое. Робко взглянула она. Этот взгляд принял Илья в награду.

XVII

Вернулся барин с охоты — а говорили, что и с «полотнянки», — выполнил обещание. Получил Илья волю по законной бумаге. Спрашивали Илью дворовые:

— Куда же ты определишь себя, Илья?

И удивлялись, что не думает Илья ехать на вольную работу. Иные говорили:

— Тепло ему сидеть на нашей шее!

Говорил им Каплюга:

— Дураки вы, дубье! Да вам его чтить как надо! Взял, один, такой труд на себя, расписал вам церкву! Два года почитай работал! А вы: тепло ему на нашей шее!

Не хотел Илья никуда ехать. Осень — куда поедешь! Пошел к барину — спасибо, сказал, за волю. Попросил, не разрешит ли пока до весны остаться. Разрешил барин:

— Живи, Илья, хоть до смерти! Это твое право.

Подивился Илья: стал ему носить Спирька Быстрый барское кушанье.

Спросил Спирьку:

— Скажи, кто приказал тебе кушанье мне носить?

Ухмыльнулся Спирька:

— А барыня так наказала.

Помялся-потоптался и прибавил:

— А барин опять к девкам своим уехал. Барыня-то, никак, больно скучает...

Сладко заныло сердце Ильи. Пошел в парк, бродил по шумящим листьям, смотрел к сквозившему через облетевшие кусты дому. Неделю все ходил, ждал встретить. Шли дожди. Плохо стало Илье: надорвала ли его сжигающая работа, или пришел давно подбиравшийся недуг, — слабеть стал Илья, и не оставлял его кашель. А раз принес обед Спирька, смотрит — сидит Илья перед жаркой печкой в тулупе. Сказал Илья:

— Съешь за меня, Спиря...

А наутро забелело за окнами: выпал снежок в морозце. Обрадовался Илья зиме: приносит зима здоровье. Стал он прибирать в комнатке и слышит: стучат каблучки на порожке. Заглянул Илья к окошку — и схватился за сердце: она, молодая госпожа его, стояла на крылечке в белой шубке, в белой на голове шелковой шали, новая.

— Вот и пришла к вам в гости, Илья! — сказала она, озаряя глазами. — Вы заболели?.. Пришла поблагодарить вас за работу... забыла.

И она, ласковая, протянула ему руку. Закружилось и потемнело у Ильи в глазах, схватил он маленькую ее руку, жадно припал губами, пал перед нею, своей царицей, на колени, осыпал безумными поцелуями ее заснеженные ноги, плакал...

Она смотрела на Илью в страхе и не отнимала руку. Вспоминал Илья, что страх был в глазах ее, и нежность, и боль непередаваемая, и еще, что он так и не назвал словом. Шептала она в страхе:

— Что вы... милый... встаньте...

Но он обнял ее тонкие колени и называл — не помнил. И увидал Илья новое лицо: огнем вспыхнуло бледное лицо ее, и пробежало синим огнем в глазах; и губы ее помнил, ее новый рот, потерявший девственные черты и жаркий.

Только один миг было. Твердо взглянула она и сказала твердо:

— Илья, не надо.

И торопливо вышла. Видел Илья слезы в ее глазах. Был этот день последним счастливым днем его жизни — самым ярким.

Стал Илья доживать дни свои: немного их оставалось. Лежал от слабости днями и вспоминал трудную жизнь свою. И подумал: «Мне жить недолго; пусть *она*, светлая госпожа моя, узнает про жизнь мою и про мою любовь все». Взял тетрадь и начал писать о своей жизни.

К весне услыхал Илья, что родилась у барыни дочь, а барин другую неделю пропадает на охоте. Пришла навестить тетка Агафья и сказала Илье, что барыня с полгода будто не живет с барином, «не спит, сказать прямо», а перебралась в дедовскую половину. Узнал и еще Илья, будто застала барыня свою горничную Анюту с барином в спальной.

Понял тогда Илья многое, и скорбью залило душу его. А через два дня — поразило его как громом: барыня скончалась.

Он едва мог ходить, но собрал силы и пришел проститься. Новую увидал Илья светлую госпожу свою, прекраснейшую во сне последнем. Дал, как и все, последнее целование.

После погребения праха новопреставленной Анастасии пришел Илья к барину, сказал:

— Хочу расписать усыпальницу.

Уныло взглянул на него барин и сказал уныло:

— Да, плохо, Илья, вышло. И ты захирел... Ну, пиши...

Две недели работал Илья в холодном и сыром склепе, писал ангела смерти, перегнувшегося по своду, с черными крыльями и каменным ликом, с суровыми очами, в которых стояли слезы. Склонялся этот суровый ангел над изголовьем могилы Анастасии. Под черный бархат расписал Илья своды и написал живые белые лилии — цветы прекрасной страны.

Кончив работу, самую тяжкую из работ своих, слег Илья и не подымался больше. Пришел его навестить Каплюга. Сказал ему Илья:

— Вот, умираю. Сходи в монастырь, Анисьич... дай знать. Привези на своей лошадке духовника обительского, у него исповедался... еромонаха Сергия. Не доберусь сам.

Исполнил Каплюга последнее желание Ильи: сам привез иеромонаха. Пробыл иеромонах Сергий один на один с Ильей с час времени, потом вызвал дьячка, старуху Агафью и скотника убогого Степашку — как свидетели будут, — при всех объявил Илья: монастырю оставляет образ «Неупиваемая Чаша». И тут в первый раз увидал

Каплюга икону, завешенную новой холстиной. Приказал Илья снять покрывало, и увидали все Святую с золотой чашей. Лик Богоматери был у нее — дивно прекрасный! — снежно-белый убрус, осыпанный играющими жемчугами и бирюзой, и «поражающие» — показалось дьячку — глаза. Подивился Каплюга, почему без Младенца писана, не уставно, но смотрел и не мог отвести взора. И совсем убогий, полунемой, кривоногий скотник Степашка смотрел и сказал — радостная.

Умер Илья теплой весенней ночью. Слышал через отворенное окошко, как поет соловей в парке, к прудам. Слушал Илья и думал — поет на островке, в черемухе. Приняли последний вздох Ильи тетка Агафья и старик Степашка.

Рассказывала Каплюге старая Агафья:

— «Скажи, — говорит, — тетенька Агаша, будто соловей поет, слышно?» — «Поет, — говорю, — Илюша». — «А где ж он поет, тетенька... на прудах?» — «На прудах, — говорю, — на островку». — «На островку?» — говорит. «На островку, — говорю, — Илюшечка». А потом подремал... «Тетенька Агаша... ты, — говорит, — все себе бери, именье мое... родней тебя нету...» А потом Степашку увидал. «Дяде Степану дай чего, тетенька Агаша... тулуп отдай...»

Приняли они, двое убогих, последний вздох Ильи, тихо отошедшего. Тихо его похоронили, и приказал барин положить на его могилу большой валун-камень и выбить на нем слова.

Умер Илья — и забыли его. Травой заросла могила его на северной стороне церкви, осел камень и стал обрастать мохом. Стало и его не видно в густой траве.

XVIII

Принял монастырь Ильину икону — Неупиваемая Чаша — дар посмертный. Дивились настоятельница и старые: знал хорошо Илья уставное ликописание, а живописал Пречистую с чашей, как мученицу, и без Младенца. И смущение было в душах их. Но иеромонах Сергий сказал:

— Чаша сия и есть Младенец. Писали древние христиане знаком: писали Рыбу, и Дверь, и Лозу Виноградную — знамение, сокровенное от злых.

Тогда порешили соборне освятить ту икону, но не ставить в церкви, а в обительскую трапезную палату. И

когда трапезовали сестры, радостно смотрели на икону и не могли насмотреться.

По малу времени стали шептаться сестры, что является им во сне та икона — Неупиваемая Чаша. Говорили старым монахиням и на духу иеромонаху. Стали видеть во снах и старые. И пошел по монастырю слух: чудесная та икона. Тогда поехала настоятельница к архиерею. Положил архиерей: не оглашать до времени, а проверить со всею строгостью и с сердцем чистым, дабы не соблазнялись, а пока записать все под клятвой. И стала вести строгую запись ученая монахиня, мать казначея Ксения.

По малу времени от сего шел на свои места отставной служивый, бомбардир, человек убогий, по имени Мартын Кораблев, тащился на костылях после Севастопольской кампании: пухли и отнимались у него ноги. Пристал в монастырь на отдых. Ласково приютили его в монастыре, накормили и обогрели. Пришел убогий Мартын в трапезную палату и увидал ту икону, радостную Неупиваемую Чашу. Тогда, в чаянии сокровенном, поведали ему сестры, что является во снах та икона и любовно наказывает перенести ее в соборную церковь для всенародных молений. Не мог отвести умиленного взора убогий Мартын от радостного лика Пречистой Неупиваемой Чаши и, хоть и в великое труждение ему было, положил перед ней три земных поклона. И во всю трапезу сидел не отводя глаз от невиданного лика и молился втайне.

А поутру потребовал настоятельницу и передал ей под великой клятвой: явилась ему, как наяву будто, дивная та икона Пречистой Богоматери с Золотой Чашей и сказала: «Пей из моей Чаши, Мартын убогий, — и исцелишься».

Сказала настоятельница:

— Я и сестры обители не единожды сподоблялись откровения Пречистой, но сохраняем сие до времени в тайне.

Тогда неотступно и со слезами стал убогий Мартын просить, чтобы отслужили перед Неупиваемой Чашей молебен с водосвятием. Просьба его с радостью была исполнена, и в трапезной палате совершено было торжественное моление с водосвятием. Со слезами молился весь монастырь, прося чудесного оказания, святили воду, и взял

болящий Мартын той воды в склянку и растирал ноги. Но не даровала ему Пречистая исцеления.

Втайне скорбели сестры, и поселялось в душах их искушение и соблазн. С великой печалью оставил Высоко-Владычний монастырь Мартын убогий.

А поутру прибежала, как не в себе, с великим плачем и слезами, старая мать вратарница Виринея на крыльцо настоятельницы и вскричала:

— Призрела Пречистая скорби наши! Исцелился Мартын убогий, видела своими глазами! Без костылей ходит!

Не смея радоваться, спрашивали ее: откуда знает? Говорила она, обливаясь радостными слезами:

— У святых ворот рассказывает Мартын народу.

Тогда пошли всей обителью и увидели: стоит солдат Мартын, а кругом него много народу, потому что день был базарный. Босой был Мартын и всем показывал свои ноги. Дивились сестры — были те ноги как у всех здоровых, и крестным знамением свидетельствовали и настоятельница, и старые, что еще вчера были те ноги запухшие от воды, как бревна, и желтые, как нарывы. А Мартын показывал костыли и возвещал народу:

— До Михайловского, братцы, едва дополз... Ноги стало ломать, мочи нет! Приняли на ночлег меня, помогли в избу влезть... Положили меня бабы на печь и по моей просьбе стали мне растирать ноги святой водой от Неупиваемой Чаши. А у меня и сил вовсе не стало, будто ноги мне режут! И стал я совсем без памяти, как обмер. И вот, братцы... Даю крестное целование... Пусть меня сейчас Бог убьет!.. Слышу я сладкий голос: «Мартын убогий!» И увидал я Радостную, с Золотой Чашей... С невиданными глазами, как свет живой... «Встань, Мартын убогий, и ходи! И радуйся!» Очнулся я, братцы, ночь темная, не видать в избе... Спать полегли все. Чую — не болят ноги! Тронул... Господи! Да где ж бревна-то мои каторжные?! Сам с печи слез, стою — не болят ноги, не слыхать их вовсе! Побудил хозяев, засветили лучину... А я хожу по избе и плачу...

Подтвердили его слова мужики и бабы, что пришли с Михайловского с Мартыном. Тогда зашумел народ и просил отслужить молебен Неупиваемой Чаше.

Возликовала Высоко-Владычняя обитель, и пошла молва по всей округе, и стали неистощимо притекать к Неупиваемой Чаше, многое множество: в болезнях и скорбях, в унынии и печали, в обидах ищущие утешения. И многие обрели его.

Повелел архиерей, уступая неоднократным просьбам обители и получивших утешение, перенести ту икону в главный собор, прибыл с духовной комиссией и лицезрел самолично. И долгое время не мог отвести взора от неописуемо радостного лика. Сказал проникновенно:

— Не по уставу писано; но выражение великого Смысла явно.

И повелел ученому архиерейскому мастеру, до лика не прикасаясь, изобразить Младенца, в Чаше стоящего: будет сия икона по ликописному списку — Знамение.

Прибыл в обитель ученый иконописный мастер и дописал Младенца на святом Лоне в Чаше. И положили годовое чествование месяца ноября в двадцать седьмый день.

Год от году притекал к Неупиваемой Чаше народ — год от году больше. Стала округа почитать ту икону и за избавление от пьяного недуга, стала считать своей и наименовала по-своему — Упиваемая Чаша.

Еще не отъехавшие в город дачники из окрестностей, окружные помещичьи семьи и горожане ближнего уездного города любят бывать на подмонастырной ярмарке, когда празднуется в Высоко-Владычнем монастыре престол — в день празднования Рождества Богородицы, 8 сентября. Здесь много интересного для любопытного глаза. Вот уже больше полвека тянутся по лесным дорогам к монастырю крестьянские подводы. Из-за сотни верст везут сюда измаявшиеся бабы своих близких — беснующихся, кричащих дикими голосами и порывающихся из-под веревок мужиков звериного образа. Помогает от пьяного недуга «Упиваемая Чаша». Смотрят потерявшие человеческий образ на неописуемый лик обезумевшими глазами, не понимая, что и кто Эта, светло взирающая с Золотой Чашей, радостная и влекущая за собой, — и затихают. А когда несут Ее тихие девушки, в белых платочках,

следуя за «престольной», и поют радостными голосами — «радуйся, Чаше Неупиваемая!», — падают под нее на грязную землю тысячи изболевшихся душою, ищущих радостного утешения. Невидящие воспаленные глаза дико взирают на светлый лик и исступленно кричат подсказанное, просимое — «зарекаюсь!». Бьются и вопят с проклятиями кликуши, рвут рубахи, обнажая черные, иссыхающие груди, и исступленно впиваются в влекущие за собой глаза. Приходят невесты и вешают розовые ленты — залог счастья. Молодые бабы приносят первенцев — и на них радостно взирает «Неупиваемая». Что к Ней влечет — не скажет никто: не нашли еще слова сказать внутреннее свое. Чуют только, что радостное нисходит в душу.

Знают в обители, что бродивший в округе разбойник Аким Третьяк принес на икону алмазный перстень, прислал настоятельнице с запиской. Не принял монастырь дара, но записал в свой список, как «чудесное оказание».

Шумит нескладная подмонастырная ярмарка, кумачами и ситцами кричат пестрые балаганы. Горы белых саней и корыт светятся и в дожде, и в солнце — на черной грязи. Рядком стоят телеги с желтой и синей репой и алой морковью, а к стенам жмутся вываленные на солому ядреная антоновка и яркий анис. Не меняет старая ярмарка исконного вида. И рядками, в веночках, благословляют ручками-крестиками толпу Миколы-Строгие. Нищая калечь гнусит и воет у монастырских ворот.

И ходит-ходит по грязной, размякшей площади и базару белоголовыми девушками несомая Неупиваемая Чаша. Радостно и маняще взирает на всех.

Шумят по краям ярмарки, к селу, где лошадиное становище, трактиры. Там красными кирпичами кичится богатая для села гостиница Козутопова, «Метропыль», славящаяся солянкой и женским хором — для ярмарки, когда собирается здесь много наезжих — за лошадьми. Бродят эти певицы из хора по балаганам и покупают «ярославские сахарные апельсины», сладкий мак в плиточках и липовые салфеточные кольца. Смотрят, как валится народ под икону.

Смотрят и дачники, и горожане. Выбирают местечко повыше и посуше — отсюда вся ярмарка и монастырь как на ладони — и любуются праздником.

Отсюда берут на холст русскую самобытную пестроту и «стильную» красоту заезжие художники. Нравится им белый монастырь, груды саней и белого дерева, ряды желтой и синей репы и кумачовые пятна. Дачники любят снимать, когда народ валится под «Упиваемую Чашу». Улавливают колорит и дух жизни. Насмотревшись, идут к Козутопову есть знаменитую солянку и слушать хор. Пощелкивают накупленными «кузнецами», хрустят репой. Спорят о темноте народной. И мало кто скажет путное.

Ноябрь 1918 г.
Алушта

ГОЛУБИ

I

Остался еще уголок прежней Москвы — Василий Блаженный: как всегда, ранним утром слетались сюда голуби. Летели с Замоскворечья, с лабазов Варварки, с рогожных и пеньковых складов; с гремучего Балчуга, с Китай-города, из-за стен Кремля. Летели с посвистом тугих крыльев, укрывали голубизной булыжник, серую пустоту Лобного места; усеивали кресты, кокошнички и карнизы, цветные пупырья и пузатые завитки собора — и начинался обычный, суетливо кипящий и хлопающий базар.

Москва жила затаившись, не веря своим глазам; голуби ворковали, как всегда. Кремль давно перестал звонить; тяжелые дубовые ворота закрылись, чтобы охранять насильно новое и чужое, ниоткуда взявшееся, нежданно усевшееся в крови и грохоте. Красная площадь, величавая в тихом благолепии старины, с огоньками у Святых Ворот — стареющими глазами прошлого, теперь ярмарочно кричала уже вылинявшими красными полотнищами на стенах — обрывками слов о павших во славу неведомого Интернационала. Обычно тихая по утрам, теперь она бесшабашно ревела гудками моторов, мчавших кучки неряшливо одетых солдат, с винтовками на бечевках, в лихо смятых фуражках, и бесчисленных представителей новой власти, с новенькими портфелями, уже усвоивших небрежную развалку прежних господ, но с тревожно-деловитыми лицами людей, не уверенных в себе, с шныряющими глазами, — которых вот-вот накроют. Угрюмо глядел им вслед уныло пробирающийся в пустующие лабазы торговый московский люд и затаенно крестился на захваченные соборы. И черная, как чугун, тяжелая рука Минина, указывающая на застенный Кремль, казалась теперь значительнее и чернее.

В эти дни редкий прохожий не останавливался у собора, чтобы покормить голубей: они были все те же прежние, московские голуби. И все та же была старуха с корзинкой на коленях, знаемая всеми бабка Устинья — с Теплых рядов. Сидела она на чугунной тумбе и привычно выбрасывала синей, с белыми глазками, лампадкой голубиный паек.

Было время — ей кидали семитку и говорили: «А ну, прокинь, бабушка, горошку — на счастливую дорожку!»

Теперь выбирали мятые марки-липучки и уныло смотрели, как летит голубиный корм, — не ядреный, золотистый горох, а пыльная зеленая конопля — скука.

И старуха не приговаривала, как бывало: «Позобьте, нате, горошку — кормильцу на счастливую дорожку!»

Какие теперь дорожки!..

II

Под сырыми стенами Кремля, на север, и в эту весну распускаются чахлые, долговязые деревья над расплывающимися глинистыми буграми: это новое кладбище — «свободы». Сюда редко заглядывают люди и совсем не заглядывает солнце. Топчется здесь бездельно распоясая молодежь — красноармейцы и забродившиеся солдаты с былого фронта, оглядывающие неведомую Москву. Сиротливая женщина, в черном платочке, как на распутье, растерянно приглядывается к буграм — ищет своего не вернувшегося домой, незадачливого горячку-сына. Разве найдешь! Все бескрестно и безымянно, как кротовьи кочки.

Если глядеть отсюда к Лобному месту, увидишь залитую солнцем площадь к собору-чуду, вспыхивающую сверканьем голубиной стаи.

Помню светлый апрельский день, сырость и холодок стен кремлевских и взлет голубей на солнце. Помню расстрелянные часы Спасской башни, мертвое московское время, башенки без глав, распоротые ворота, умолкнувшие зевы старых кремлевских колоколов. Проснутся ли?

Время скажет.

Помню и долговязого парня, с румяным лицом, добродушного туляка, зеваку-парня, с длинным кинжалом за поясом из красной венковой ленты. Он тычет пальцем к Лобному месту и спрашивает небрежно-лихо:

— А энто чего, товарищ... как басейна? Тоже какая древность?

«Товарищ» имеет дорожный вид иностранца: на нем зеленоватая куртка френч, зеленая английская шляпа «верти-меня» и зеленоватые гетры. Он узколиц, хрящеват, тонконог, с рыжеватыми усиками, в пенсне. Глядит поверху и развязно помахивает стеком.

— А это так называемая «позорная трибуна»! — говорит он гортанно-резко, словно грызет хрящи. — Здесь читали приказы царей-тиранов. Поняли, товарищ?

— Понял, товарищ. Прохвосты, значит!

На выкрик подходит рослый, щекастый солдат с подрубленными толстыми усами. Он тоже ругается, хоть и не слыхал ни слова. Затрепанная шинель на одном плече метет дорожку, на ногах футбольные буцы, до каблуков замотанные портянками. Под мышкой пускает «зайчика» пара новых калош.

— Не требуется товару? — словно ругается, кричит он худощекому пожилому господину, в крылатке и пушкинской шляпе, с истомленным лицом интеллигента, — из тех, кого обычно видишь в читальнях, музеях и у книжных ларей; они всегда близоруки, суетливо-нервны, носят ощипанную бородку, а университет называют «alma-mater».

Господин всматривается, не понимая, и говорит очень мягко:

— Не требуется, голубчик.

— Ну, калоши тебе дороги, — сипит солдат. — Табаку Дукату не требуется?

— И табаку не требуется.

— Уелись, буржуи! — лениво говорит солдат. — Всего понакопили. Во — кто у меня табачкю купи-ит! Товарищу матросу! Табак хвабрики Дукату!

Подходит тройка солдат помельче, с пустыми мешками, и коренастый матрос с «Аскольда», с карабином за правым плечом, руки в карманы. На желтом ремне, туго стянувшем черную куртку, висят на крючках цинковые гранатки-бутылочки.

— Все чегой-то рассказывает, — мотает солдат матросу на иностранца. — Разговорились...

— Н-ну! — начальнически кидает матрос. — Продолжайте ваше мнение!

— По-звольте-с... Вы не совсем исторически точно... — с дрожью в голосе и почему-то бледнея вмешивается господин в крылатке. — Это — Лобное место! И здесь не только оглашали указы — а не «приказы», как вы изволили исказить юридически ясный термин, — но еще и каз-ни-ли-с! И боярам, и

изменникам... и разбойному люду рубили головы! — косится он на матроса. — Историю нельзя произвольно-с...

— Чего, головы рубили? — всовывается матрос. — Доскажите на тему про историю!

— Я говорю про Лобное место... — очень вежливо говорит господин в крылатке. — Нельзя произвольно... историю великого русского народа! Все-таки создал могучее государство, которое... как наша родина... самобытно!..

— Писано где про ето? в какой истории? — допрашивает матрос.

— А в русской, голубчик! И вот здесь и здесь... и там! — суетливо тычет господин пальцем, теребит очки и торопливо уходит к голубям.

— Не надоть депутатов! — командно кричит матрос. — Объясните про историю на тему! — требует он от иностранца. — Уясните в трех словах!

Он приваливается на откос холмика, вытягивает из кармана штанов серебряный портсигар с золотыми монограммами, заглядывает на руку и сверяет со Спасскими. На мертвых часах все то же — половина седьмого.

Иностранец взмахивает стеком. Речь? Дело привычное. Шляпа «верти-меня» уже в руке и пляшет. Он уверенно начинает с Руси, которую называет — «Гусь», и вываливает окрошку, сдобренную истоптанными словечками: «Потенциальность узкоклассовых устремлений», «конгломерат наслоений»... Он лихо потряхивает историей, перевирает Иванов, утаскивает Годунова в XV век, Самозванца называет «первым республиканцем», Стеньку Разина — «зарей классовой дифференциации»... Великого Петра именует «первым чиновником европейской марки», а...

Спят кремлевские стены. Они и не то видали. Грезит на солнце старый Василий, посмеивается дремотно-сказочно, — слыхал и не такие сказки и еще и сам расскажет. Дерутся воробьи в ясенях. Слушают белозубыми ртами солдаты, позевывают сладко: что ни швыряй — все сглотают.

— Наплевать про историю! — лениво перебивает матрос. — Знаем, что... исплантация. Теперь про етот... про Кремль изложите в трех словах... на тему!

И уже объяснен Кремль, «этот глиняный символ русской нелепицы», «умирающая панорама азиатщины» с этими «бездарнейшими ящиками-соборами», с этой «пожарной калан-

чой — Иваном-Нелепым, символом героя русской сказки — истории», и со своим «лучшим перлом — бумм-пушкой».

Весело умеет говорить иностранец. Все хохочут. Доволен, кажется, и матрос.

Я всматриваюсь в беззаботные лица, вижу белозубые рты...

Сыпь, иностранец! Эти всему поверят и... все забудут до вечера.

— За-нятно! — вскрикивает солдат. — Ко-му табачкю хвабрики Дукату?!

И опять хохочут.

К голубям, на солнце!

III

Какое радостное кипенье! Сизые, палевые, крапчатые, шилохвостые, чернокрылые... всякие! Голубиный базар. Летят и летят совсюду, звонко завинчивая полет.

В середине этого ярого кипения сидит на тумбе старуха московка. Старая она, и на ней все ветхо: кофта в птичьих следках, размятые боты-ступы и черный платок в желтых желудях, заколотый большой медной булавкой по-московски, у подбородка. На спекшемся комочке-лица ее пара красных смородинок-родинок: от них лицо ее светлее и мягче. На коленях она цепко держит жилистыми крючками-пальцами корзинку с кормом. А возле нее — ласточка московской весенней улицы, трехлетка-девочка, вся беленькая, со светлыми волосами куклы, падающими на спинку из-под алой, как мухомор, шапочки. Она взвизгивает и пялит лапки. За ней — мать, с грустной улыбкой. Здесь и господин в крылатке, мальчик с пустой корзиной на голове, таскающий из пакета моченые грушки, рабочий с думающим лицом и суровым взглядом — такие лица чаще всего бывают у металлистов, — с газеткой. С краев голубиной стаи хищно пристраиваются мальчишки: схватить и тащить в Охотный — там дают цену. В сторонке сидит на корточках огромный, как копна, бородатый мужик в пышном полушубке, — сидит сторожко, как кот; держит веревочку: ловит под макаронный ящик. Зевающие солдаты дают советы:

— Кирпичами способней бы...

— А я мастер на волосок... Так это петельку...

— От меня не уйдуть!.. — сторожко шипит мужик.

Девочка закидывается к матери, баловливо трется головкой об ее ноги и, закатывая синие глаза, просит:

— Ма-а-мочка... еще дай!

Старуха выкидывает лампадкой на полтинник.

— А они где живут?..

— А в Москве, красавица. Все свои голубки, московские. Энтот вон, пегонькой, совсем здешний, на колокольне живет. Энти вон с Зарядья, палевенькие... А то, которые за Москва-рекой. А то дальние, незнакомые. Хромой вон тот, с хохолком... с Варварки летает... от Митрича... да-а...

— Митрича... — раздумчиво повторяет девочка.

— От его... Сорок годов голубями кормился, помер, царство небесное... убили надысь на рынке... с неба пуля попала...

— Попала... — повторяет за ней девочка.

— Да-а. А у этого голубка домик из лубка. Да-а... Гули-голубочки — красненьки башмачки, синеньки платочки...

— Ну, а ты какую песенку про голубочков знаешь? Ну-ка, скажи, детка... — говорит мать, а ее лицо все то же, грустное.

Мы стоим тихо. И кажется, что и господин в крылатке, и рабочий с суровым лицом, и даже мальчик, чавкающий грушки, — все хотят услышать детскую песенку: так все непривычно кругом и строго. Вон опять с ревом и грохотом катят моторы смерти, сверкающие штыками.

— Ну, скажи песенку... — оглядываясь, говорит мать.

Девочка косится на голубков и чуть слышно лепечет:

— Ай люли-люли... прилетали к нам гули... Мамочка, еще-о...

— А и я песенку знаю про голубков... — говорит повеселевшая старуха, выбрасывая еще на полтинник: счастливый сегодня день. — А вот послушай-ка...

Она выкидывает горсточку, от себя уж, склоняет голову набок, как пригорюнилась, и начинает тянуть старушечьим, хрипучим баском:

Ай, гули-гулочки,
А с коей вы улочки?
А с улицы Варварской,
С хоромы боярской...
У бояра Евтюги
Накалены утюги-и... Да-а....

Старуха останавливается, шепчет... Забыла?..

— Еще голови, — просит девочка, а мы ждем.

— А вот...

У бояра Евтюги
Все калены утюги,
У ярыги Пашки

Березовы плашки...
У Спасова Личка
На небе пшеничка,
Ядрену горошку
По небу дорожка!..

Задохнулась старуха, а лицо — будто посветлело. Все молчат, ждут...

— Хороша песенка?

— Чудесно! — вскрикивает, словно очнувшийся, господин в крылатке. — Откуда это?! Из какой дали вышла эта московская песня? Послушайте... откуда это?! Кто тебе ее сказывал, бабушка?..

— Так рази упомнишь... — устало говорит старуха.

— Вот тебе рублик, бабушка, кинь им... — возбужденно говорит господин в крылатке и достает записную книжку. — И еще скажи...

Старуха кидает и повторяет, обрадованная, а господин заносит карандашиком.

— Да тут вся наша история, родное, русское! — возбужденно высказывает он мне, даме, рабочему, лицо которого все так же сурово-вдумчиво. — И земное, и небесное! Страдания наши, но и взлеты. Порывы к небу! Тоска по правде! Ласка души народной!.. А они... — тычет он к солдатам, — утратили эту ласку, от Неба ушли с помутившимися глазами! Вы смотрите: утюги, плашки, но и Спасово Личко! Где — Оно? Все мы Его утратили... Когда пришла пора по-новому строить жизнь, мы утратили самое дорогое, человеческое в душе! Мы...

— Пымал!! — дико вскрикивает мужик и кидается к упавшему ящику.

Его обступают мальчишки и солдаты:

— Упустишь, черт!.. С эстова боку запущай...

За ними раздается возглас:

— Не угодно ли полюбоваться на прогресс нравов! Ясный предмет предрассудков!

Писарь? По одному тону — писарь. И действительно: писарски франтоватый солдат, с белоногой девицей в зеленом газе. Он в новеньком френче в обтяжку, с пышной розеткой у кармашка, — шофер от революции. Из-под фуражки с красной звездой Совнаркома выпущен на глаза помрачающий женские очи кок завитком. В руках непременный стек.

— Кинь, бабушка, на полтинник! — вызывающе кричит господин в крылатке.

— За границей ничего подобного! — говорит писарь девице; но говорит вызывающе, чтобы все слышали. — Там культурный прогресс идет вперед! А у нас, при недостатке кормового питания... и голубям травят! И потом... нечистота, помет, перья... Обязательно сейчас позвоню! — угрожающе говорит он.

— И право, безобразие... — возмущается и девица и цепляет вздувшимся газом рабочего. — Извиняюсь!

— А вы, милорд, были за границей? — взрывается господин в крылатке, бледнеет и теребит очки. — В Венеции вы бывали?!

— Н-ну, и что же? Н-ну... бывал!

Они мгновение меряют себя взглядами.

— Я не про ресторан «Венецию» спрашиваю-с! — со злой усмешкой говорит господин. — Иначе бы знали, что где люди, а не звери, там...

— Голубки ему помешали! — ворчит старуха.

— ...где люди, а не звери, там... И везде! и в Риме, и в Париже... Потому и не вовсе дикари, что еще хоть голубей любить можем. Мы всё выплюнули, родину выплюнули... хотите теперь, чтобы и душу выплюнули? Нет, есть еще корни, есть!..

Господин в крылатке дрожит, и его дергающееся лицо серо, как зола. Писарь фыркает что-то девице, и та фыркает.

— Ко-рни? Это какие же?! Самодержавие, может?..

— Не поймете-с! — не унимается господин. — Национальное наше, русское, родное наше, самим народом созданное, страданиями нашими и надеждами! Кровью нашей, историей нашей! Это вот, это! — кричит он, показывая на собор-чудо, на золотые кресты, на башни и стрелы Кремля. — В этом вылилась, пусть не такая блестящая, как ваш френч, но самая подлинная душа России, душа мятежная, ищущая, тоскующая, к небу всегда рвавшаяся из грязи, не сгинувшая ни в татарщине, ни в полячине, ни в наполеоновщине! Не налепившая чужих ярлыков! Для этой души народной дороги все эти камни, свидетели времен страшных и славных! Да-с! Это наше наследство! Это прошлое — муки и гордость народа! Всякий народ бережет великие памятники прошлого, а мы... мы смеемся над той скорлупой, из которой вылупились, над своей колыбелью, над родиной! У нас

уже ничего не остается... Голубей вот кормим... а вы и это хотите вырвать?! Уж и до голубей добираетесь?!..

— Это кто же... до-би-рается?! — кричит писарь. — Кто вы такой?!

— Опять диспут?! — раздается командный голос матроса.

От кремлевской стены подходит кучка.

— Ко-му табачкю хвабрики Дукату?..

— А вот-с, товарищ, голубям народное пропитание изводят при общем дифиците... не угодно ли полюбоваться на социальное явление жизни! — ораторски возглашает франт-писарь. — Затемнение народных инстинктов! И притом, антисанитарно! помет, нечистота! А они еще возбуждают коллективное собрание...

Матрос окидывает всех молниеносным взглядом, но голуби покрывают все.

— К чертовой матери! Ш-ши!!..

С резким свистом гранаты прыгает он в голубиную стаю, крутится там и машет. Взрывом взметаются голуби, кружатся в шуме и хлопанье, затемняя солнце сизой тучей, и... опять опускаются. Вихрь пыли и пуха.

— Гранаткой, товарищ матрос, гранаткой! — кричат мальчишки.

— А ну-ка, погляжу! — радостно рыкает солдат-табачник. — Дитю бы не задело... Уберите, барыня, дитю от греха!

Дама схватила девочку и отбегает. Бежит и господин в крылатке. Матрос все крутится и свистит. Задевает ногой старухину корзинку. Но старуха цепко сидит на своей тумбе, прихватив корзинку, и не дрогнет. И голуби не боятся — стараются сесть матросу на голову.

— Ну их к дьяволам! — кричит запыхавшийся матрос, счищая с рукава.

— Фуражку обгадили вам, товарищ!

— А вы чего возмущаете? Объясните в трех словах! — хватает матрос господина за крылатку.

— И объясню! Вы православный, русский?.. — вы поймете! Я по вашему лицу вижу — поймете! — кричит господин. — Вы православный, русский?..

— Эк, развоевался! — ворчит старуха. — Меня не собьешь! У меня семеро таких, как ты, внучат-сопляков колобродится. Провоевался, ерой, теперь с голубями тебе воевать надоть. Корми вот меня, свиненок!

Что со старухи взять? Матросу не по себе, и он ухватывает господина за крылатку:

— В трех словах!

— Позвольте! вы меня оставьте!.. — не в себе, кричит господин, сдергивая очки. — Это наше, родное! Это светлая русская душа! Не вынимайте души!..

— Я с тебе души не вынаю! Объясняй!

Господин смотрит растерянно и устало машет.

— Все равно не поймете...

На него смотрят, разинув рты, усевшиеся на мусорном ящике солдаты. Кривя губы усмешкой, следит за всеми все такой же строгий рабочий.

— Точней, к делу! — требует матрос.

— А вот-с... Это последнее у нас... голуби! Понимаете, последнее! Мы ожесточились... Мы уже не признаем ни родины, ни родной крови... Но мы еще не звери! И эти голуби, заведенные издавна... этот старый народный обычай... эти голуби нас еще связывают... перед этим чудом-собором... То есть, я хочу сказать, я болею душой...

— Одурел! — машет матрос. — Дома бы сидел, коли болен!

И он уходит, счищая с фуражки.

— А все-таки он понял! — кричит господин восторженно.— Не мог не понять! Он весь русский. И все поймет! У него лицо!.. ярославское у него лицо!.. И говор ярославский, коренной! И все поймут, и они поймут, белозубые! — радостно тычет он на солдат. — Родное — да не понять?!.. Еще! кидай им еще, старушка! — взволнованный до слез, говорит он, дрожащими пальцами роясь в кошельке. — Вот рубль, вот еще полтинник, вот...

Он вышаривает вытертый кошелек, выкидывает марки, три медные копейки, вызывающие удивление, еще марки... Все придвигаются, обступают. Даже мужик перестал удить. Голубей, кажется, еще больше стало. Они налетают со всего становища, со стеклянных кровель Рядов, совсюду. Шумят-шумят...

— Старые московские голуби! наши голуби!.. — восклицает господин в крылатке, чуть не плача. — Такие же были и при Грозном, и когда татары жгли Русь... и когда за этими стенами Кремля сидели поляки, и умирала Русь! Когда народ выдвинул Минина, великого гражданина, — вон он указывает на Кремль... и они были! Они и теперь!

Они видали русские рати, спасавшие родину, Москву! Они носились в пожаре Кремля, они слышали победный звон колоколов кремлевских! Какими мы стали! А они — все те же, неизменные!.. Кидай, кидай, старуха!..

Он выкидывает из своего тощего кошелька последние марки. На него смотрят недоуменно, разинув рот: вот чудак!..

— Никак не реагируют! — растерянно кричит он мне, барыне с девочкой, рабочему с газеткой. — Они совсем ничего не сознают!!.. — тычет он на солдат, щурящихся на солнце и поплевывающих шелуху. — Связи с национальным! У них нет этого духа — родины! Своего родного не знают! Ни прошлого, ни будущего для них нет, только — сегодня! Воздуха-то этого, этого аромата родины! Что их отцами и дедами кровью спаяно, такое огромное, наша Россия, которую они должны сделать счастливой, светлой, своею гордостью, — для этих... звук пустой! Проходной двор!..

— Напрасно и стараетесь! — говорит рабочий. — Теперь они на ходу, шилом моря не нагреешь... загодя бы по-настоящему учить надо. А как сорвалось с винтов, не плачь! Ну, однако, надо старуху поддержать... Плесни-ка им от меня, бабушка...

Он дает марку. Дает и пришедшая от стены женщина, крестится и уходит. Дает и кое-кто из солдат.

— Дают?!! — радостно восклицает господин. — Если бы они понимали! Они бы сумели свою Россию сделать прекрасной! Своей!!..

— Не обучали ничему, вот и не понимают... — говорит рабочий. — Вот они по-своему и делают... своим средством.

— Тройка никак?! — срывается мужик на хлопнувший ящик и волочит трепыхающийся мешок. Там добыча.

— Это что??! — кричит на мужика господин в крылатке — и даже топает. — Что это, я тебя спрашиваю?!..

Вид его истерзанного лица таков, что мужик смотрит оторопело и хлопает глазами.

— Го... голуби... сизы голуби... — бормочет он, прихлопывая по бьющимся голубям, и его широкое лицо начинает расплываться в благодушнейшую улыбку. — А что, ай голубев купить хочешь?

— Сейчас же пусти!.. на волю!..

— Как это так — пусти? А рупь штука! А я с ими тоже помаялся...

Господин шарит по карманам.

— Желаете — рупь штука за освобождение?.. Одиннадцать штук — одиннадцать рублев. Первый сорт! — говорит мужик, и его лицо совсем расплывается. — Ай капиталов не хватает? А тоже — выпусти! Мне сейчас в Охотном без разговору по две бумажки отвалят.

Господин и в самом деле израсходовался, — нет ничего ни в одном кармане. Машет рукой — все равно. Смотрит на Спасские ворота — всё половина седьмого. Солдаты на ящике смеются:

— Часы-то назад ушли!

Ревет мотор, мчит дам с красными маками на шляпках.

— Вон они, голуби-то наши, как летают... народная власть! — усмешливо говорит рабочий. — Где власть, там и сласть, а людям в глотку нечего класть. А вы, господин, про Кремль! Кремль учреждение каменное, старинное... чего ему сделается. О людях думать надо! А с их и спрашивать нечего, — мотает он на сидящую беззаботно на мусорном ящике молодежь в красных кокардах. — Ими хоть улицу мети. Учили бы по-настоящему, может, и другое было бы. А пришли другие — по-своему выучили, с винтовочками ходить. Тут совместно. Кто тут виноват? А коли дураки, так с дураков и спрашивать нечего.

Он щелкает по ладони газеткой и уходит. Господин в крылатке глядит растерянно, словно хочет что-то сказать, объяснить, поспорить. И безнадежно машет рукой. Мужик закидывает за плечи мешок с голубями и идет в Охотный.

— Покупаешь ай нет... хвабрики Дукату? — под нос сует господину в крылатке пакет с табаком в смехе перекосивший рожу солдат.

Смеются белозубые.

— Ко щам пора, товарищи! Нонча свежую говядину обещали. А ежели солонина опять — делаем забастовку!

И они уходят, смеясь.

И кресты на старом соборе-чуде смеются в солнце. Играет оно и на голубиных шейках, и на штыках... Будет играть и в крови, которой еще суждено пролиться, и на знаменах красных и белых, и в глазах победителей, и в очах гаснущих... и на хрустальных крестах Корсунских. Какое ему до чего дело! Плавает в небе и играет.

Июль 1918 г.
Алушта

СЛАДКИЙ МУЖИК

Жил в большом городе ученый барин, и была у него, как полагается, квартира со всякой мебелью, а лучше всего кабинет, где писал барин книги. Висели в том кабинете разные портреты и картинки, а на картинках было: то деревнюшка какая убогая, то земельку мужичок пашет, а за ним грачи ходят, то Савраска дровишки из лесу тащит, — самое деревенское. Про деревню да мужичков и писал свои книги ученый барин. Известно: что знаешь да любишь — про то и пишется; а деревенскую жизнь знал барин досконально, потому что живал на даче.

И жалостливо писал — даже плакал. Так уж жена и знала: как засел в кабинете писать, уж она ему полдюжины платков носовых подкладывает.

Советовали ему доктора не шибко расстраиваться: слезами все равно не поможешь, а только изведешься занапрасно и не напишешь, сколько по таланту отпущено. А барин говорил докторам:

— Не могу: кровью своей пишу и соком нервов.

Помаленьку, понятно, и изводился. И до того с годами расстроился, что получил дар слезный.

Бывало, сидит в «Праге» с друзьями-приятелями, память какую знаменитую празднуют, — так даже над икоркой плачет. Жует пирожок с икоркой зернистой, а сам плачет да приговаривает, головкой покачивает:

— Вот... мы тут икорку едим... а ее все тот же Иван-Степан в непогожую осеннюю ночь ловил... в бурном Азовском море!..

И так это на приятелей действовало, что даже скатерть приходилось переменять: мокрым-мокро.

А как Татьянину ночь праздновать — а ее без шампанского праздновать даже законом воспрещено, — непременно предложит тост:

«За того, кто милее всего!
Кто и пашет, и косит, и сеет!»

Понятно, кой-что и спутает иной раз, зато — от сердца. А как выйдет из «Праги» к извозчикам на снежок, опять расстроится. Вспомнит — и начнет вычитывать:

Ваня-извозчик в дороге продрог,
Крепко продрог, тяжело занемог!

А студенты почтительно под локоток поддерживают и нужное словечко подскажут. Выйдут на площадь под фонари гурьбой, остановятся для порядку, а ученый барин и тут слово свое уронит. Глянет на фонари — и пойдет:

В столице свет, шумят витии,
Гремит словесная война!

А та-а-м!.. — и обязательно к Пречистенскому бульвару погрозится —

...во глубине России...
Там... вековая ти-ши-на!..

Тоже и детишек своих учил барин — «черному хлебушку поклониться», а сам любил-таки сухарики с миндалем и подковки с солью.

И детишки были у него умные, не по годам. Степочка мог даже «старичка Некрасова» пальчиком указать, и где «дедушка Златовратский» — знал, и даже «дяденьку Скабичевского» мог найти. А каплюшка Настюша при гостях свои таланты показывала:

«Где ты цельпал эту силу,
бедный музицок!»

Добряк был ученый барин, но и серчать умел.

Прочитал как-то один рассказ — «Мужики» называется, — три ночи уснуть не мог, а на четвертую сел в кабинет и здоровеннейший нагоняй написал. Писал да приговаривал:

— Нельзя-с, молодой человек, нельзя-с! Темные-то очки снимите-с!

Учитесь светлое находить! Да-с!

Вот заехал раз к ученому барину приятель — учились вместе. И давай на мужиков жаловаться: и темны-то они, и дики, и головы-то друг дружке прошибают, и...

— Школу им чудесную выстроил, а они и дров на нее давать отказываются.

А барин ему свое да свое:

— Не глядите в темные очки! Я уж одному разгон сделал.

А приятель не унимается:

— Бурак сеять советую, куда выгодней ихней гречки! — не желают. Поживите с ними! А вы через дачки все да через Златовратского с Михайловским смотрите.

Подивился ученый барин — до чего одичал приятель! И говорит:

— Поживи с мое в деревне да поешь-ка кислых ще-эй... да поноси худых лапте-эй!..

— Да лаптей-то уж и в помине нету, — говорит приятель. — Лапотки теперь в опере только показывают! А больше лаковые сапоги носят, да перчатки с калошами, да похабные частушки орут. А на школу жалеют!

Так барин и замахал руками.

— Нет-с, дудки-с! Мужики не дураки, коль не сеют бураки! — Засмеялся даже. — Сахарок любите-с? А не хотите ли родного нашего хрену понюхать?!

Пожал приятель плечами, угостил ученого барина в «Славянском базаре» ужином, а на прощанье и говорит:

— Читал я книгу вашу последнюю...

— Ага! — так и просиял ученый барин. — Ну-с, что скажете?

— Да вот что я скажу... У меня бо-льшой сахарный завод, а теперь вижу, что ваш куда больше!

И уехал к себе домой.

Вот подошли бариновы именины, и получает он поздравительное письмо из Киева, а при письме — на груз накладная. Послал барин человека на вокзал, и привозят ему с железной дороги — огромаднейший ящик, со шкап! И выведено по всему тому ящику дегтем:

«Осторожней!! Бьется!!!»

Да еще снизу подчеркнуто.

Что такое?! Скорей вскрывать. Да как раскупорили, да как соломку с сенцом разворошили, так все и ахнули!

Мужик из сахара-рафинада! Сюрприз!

Высвободили мужика из сена-соломки, подняли и поставили на ноги — во весь рост. Ну и фи-гура! Самый заправский мужик, в лаптях, в сермяге, и кушаком под-

поясан, с топором за поясницей, с бородой, как водится, и даже в шляпе гречневиком. Самый-то исконный, законный мужик, как на театре его показывают. И весь из чистого сахару! Смерили — два аршина восемь вершков — природный. В плечах — косая сажень. Ну, прямо живой — только не говорит.

Даже засмеялся барин:

— Ах, злодей, какую штуку со мной удрал! Влезло-таки ему в копеечку. Одного сахару пудов шесть будет, да мастеру, небось, сколько тыщ заплатил. Да ему что — плюнуть.

А детишки высунули язычки и ну лизать. Сладкий, настоящий! И сам ученый барин не утерпел — в ручку разок лизнул: рафинад самый чистый! Стали думать, куда того мужика определить: не есть же такое чудо! И решили в кабинет поставить, за письменный стол, в угол — на всем виду. Купили стол черный, лаковый, сто рублей дали, и взгромоздили мужика на тот стол. Четверо ставили, основательный был мужик.

С той поры, как поутру в кабинет войдет барин, первым делом на того мужика заглядится. Блестит!

Стоит мужик бодро, одной рукой за спиной топор держит, как полагается, другой на сукастую дубинку упирается, хмуро глядит — лесной. А барин вспомнит сейчас и скажет:

«Вот мужички с топорами явились,
Всякие звери в лесу притаились...»

Ходит по кабинету со стаканом чаю, подойдет да и полижет маленько. И детишки, бывало, прибегут — кричат:

— Папочка, можно нам мужичка полизать немножко? Он сла-ад-кий!..

— Да жизнь-то его горькая! — скажет барин. — Ну, что ж, полижите немножко. Помните, детки:

«Холодно, странничек, холодно!»

А детишки уж к мужичку язычками тянутся, спешат:

«Гоедно, стланничек... гоедно!»

И такое сладкое чувство барина охватит — даже на глазах выступит. А шестипудовый стоит себе, хмурый, — как в лес глядит. А кругом-то его пищат.

— Ах, добренький! ах, сладенький... ах, хорошенький мужичок наш!..

— Да, — скажет барин. — В нем, детки, великая правда. В нем и любовь великая, и жалость. Потому что...

И начнет вслух свои слова высказывать, какие для книг сготовил. А детишки своим делом занимаются.

Вот раз засиделся барин в кабинете до поздней ночи — нагоняй кому-то опять писал. Все, как на ладошке, выказал: все-то мужик понимает, чего и великие умы не произошли. Чаю выпил стаканов десять да нет-нет и потянется через стол, нет-нет да ногу у мужика и полижет — по привычке. А к рассвету новую свою книгу писать принялся — «Недостатки народа — его достоинства». Так перышко-то и бегает, только скрип идет. Сердце-то так и рвется, а на глазах слезы накипают. Уж и не видят глаза-то от горючей слезы, что лампа садится, все темней да темней становится. А в ту пору электричество-то прикончилось, по случаю большой забастовки.

А тот строчит и строчит, совсем головой к писанию своему нагнулся...

Как вдруг — крракккІ.. — будто орех разгрызли...

То ли дубинка сахарная сломалась, то ли детишки мужику ногу пролизали, а может, и сотрясение какое вышло, — только грохнулся тот мужик всей своей шестипудовой громадиной на стол и проломил ученому барину голову до смерти.

Прибежала жена — ах-ха! — а ни мужика, ни барина: одни куски.

Октябрь 1919 г.
Алушта



СОЛНЦЕ МЕРТВЫХ

ЭПОПЕЯ

УТРО

За глиняной стенкой, в тревожном сне, слышу я тяжелую поступь и треск колючего сушняка...

Это опять Тамарка напирает на мой забор, красавица симменталка, белая, в рыжих пятнах, — опора семьи, что живет повыше меня, на горке. Каждый день бутылки три молока — пенного, теплого, пахнущего живой коровой! Когда молоко вскипает, начинают играть на нем золотистые блестки жира и появляется пеночка...

Не надо думать о таких пустяках — чего они лезут в голову!

Итак, новое утро...

Да, сон я видел... странный какой-то сон, чего не бывает в жизни.

Все эти месяцы снятся мне пышные сны. С чего? Явь моя так убога... Дворцы, сады... Тысячи комнат — не комнат, а зал роскошных, из сказок Шехерезады, — с люстрами в голубых огнях — огнях нездешних, с серебряными столами, на которых груды цветов — нездешних. Я хожу и хожу по залам — ищу.... Кого я с великой мукой ищу — не знаю. В тоске, в тревоге я выглядываю в огромные окна: за ними сады, с лужайками, с зеленеющими долинками, как на старинных картинах. Солнце как будто светит, но это не наше солнце... — подводный какой-то свет, бледной жести. И всюду — цветут деревья, нездешние: высокие-высокие сирени, бледные колокольчики на них, розы поблекшие... Странных людей я вижу. С лицами неживыми, ходят, ходят они по залам в одеждах бледных — с икон как будто — заглядывают со мною в окна. Что-то мне говорит, — я чую это щемящей болью,

что они прошли через страшное, сделали с ними что-то, и они — вне жизни, уже — нездешние... И невыносимая скорбь ходит со мной в этих, до жути роскошных, залах...

Я рад проснуться.

Конечно, она — Тамарка. Когда молоко вскипает... Не надо думать о молоке. Хлеб насущный? У нас на несколько дней муки... Она хорошо запрятана по щелям, — теперь опасно держать открыто: придут ночью... На огородике помидоры, — правда, еще зеленые, но они скоро покраснеют... с десяток кукурузы, завязывается тыква... Довольно, не надо думать!..

Как не хочется подыматься! Все тело ломит, а надо ходить по балкам, рубить «кутюки» эти, дубовые корневища. Опять все то же!..

Да что такое Тамарка у забора?.. Сопенье, похлестывание веток... обгладывает миндаль! А сейчас подойдет к воротам и начнет выпирать калитку. Кажется, кол приставил... На прошлой неделе она выперла ее на колу, сняла с петель, когда все спали, и сожрала половину огорода. Конечно, голод... Сена у Вербы нет на горке, трава давно погорела, — только обглоданный граб да камни. До поздней ночи нужно бродить Тамарке, выискивать по глубоким балкам, по непролазным чащам. И она бродит, бродит...

А все-таки подыматься надо. Какой же сегодня день? Месяц — август. А день... Дни теперь ни к чему, и календаря не надо. Бессрочнику все едино! Вчера доносило благовест в городке... Я сорвал зеленый «кальвиль» — и вспомнил: Преображение! Стоял с яблоком в балке... принес и положил тихо на веранде. Преображение... Лежит «кальвиль» на веранде. От него теперь можно отсчитывать дни, недели...

Надо начинать день, увертываться от мыслей. Надо так завертеться в пустяках дня, чтобы бездумно сказать себе: еще один день убит!

Как каторжанин-бессрочник, я устало надеваю тряпье, — милое мое прошлое, изодранное по чащам. Каждый день надо ходить по балкам, царапаться с топором по кручам: заготовлять к зиме топливо. Зачем — не знаю. Чтобы убивать время. Мечтал когда-то сделаться Робинзоном — стал. Хуже, чем Робинзоном. У того было будущее, надежда: а вдруг — точка на горизонте! У нас

не будет никакой точки, повек не будет. И все же надо ходить за топливом. Будем сидеть в зимнюю долгую ночь у печурки, смотреть на огонь. В огне бывают видения... Прошлое вспыхивает и гаснет... Гора хворосту выросла за эти недели, сохнет. Надо еще, еще. Славно будет рубить зимой! Так и будут отскакивать! На целые дни работы. Надо пользоваться погодой. Теперь хорошо, тепло, — можно и босиком или на деревяшках, — а вот как задует от Чатырдага да зарядят дожди... Тогда плохо ходить по балкам.

Я надеваю тряпье... Старьевщик посмеется над ним, в мешок запхает. Что понимают старьевщики! Они и живую душу крюком зацепят, чтобы выменять на гроши. Из человеческих костей наварят клею — для будущего, из крови настряпают «кубиков» для бульона... Раздолье теперь старьевщикам, обновителям жизни! Возят они по ней железными крюками.

Мои лохмотья... Последние годы жизни, последние дни — на них, последняя ласка взгляда... Они не пойдут старьевщикам. Истают они под солнцем, истлеют в дождях и ветрах, на колючих кустах по балкам, по птичьим гнездам...

Надо отворить ставни. А ну-ка, какое утро?..

Да какое же может быть утро в Крыму, у моря, в начале августа?!.. Солнечное, конечно. Такое ослепительно солнечное, роскошное, что больно глядеть на море: колет и бьет в глаза.

Только отпахнешь дверь — и хлынет в защуренные глаза, в обмятое, увядающее лицо — солнцем пронизанная ночная свежесть горных лесов, долин горных, налитая особенной, крымской, горечью, настоявшеюся в лесных щелях, сорвавшеюся с лугов, от Яйлы. Это — последние волны ночного ветра: скоро потянет с моря.

Милое утро, здравствуй!

В отлогой балке — корытом, где виноградник, еще тенисто, свежо и серо; но глинистый скат напротив уже розово-красный, как свежая медь, и верхушки молодок груш, по низу виноградника, залиты алым глянцем. А хороши молодки! Прибрались, подзолотились, понавешали на себя тяжелые бусы-грушки — «мари-луиз».

Я тревожно обыскиваю глазами... Целы! Еще одну ночь провисели благополучно. Не жадность это: это же хлеб наш зреет, хлеб насущный.

Здравствуйте и вы, горы!

К морю — малютка гора Кастель, крепость над виноградниками, гремящими надалеко славой. Там и золотистый сотерн — светлая кровь горы, и густое бордо, пахнущее сафьяном и черносливом, — и крымским солнцем! — кровь темная. Сторожит Кастель свои виноградники от стужи, греет ночами жаром. В розовой шапке она теперь, понизу темная, вся — лесная.

Правее, дальше — крепостная стена-отвес, голая Куш-Кая, плакат горный. Утром — розовый, к ночи — синий. Все вбирает в себя, все видит. Чертит на нем неведомая рука... Сколько верст до него, а — близкий. Вытяни руку и коснешься: только перемахнуть долину внизу и взгорья, все — в садах, в виноградниках, в лесах, балках. Вспыхивает по ним невидимая дорога пылью: катит автомобиль на Ялту.

Правее еще — мохнатая шапка лесного Бабугана. Утрами золотится он; обычно — дремуче-черен. Видны на нем щетины лесов сосновых, когда солнце плавится и дрожит за ними. Оттуда приходит дождь. Солнце туда уходит.

Почему-то кажется мне, что с дремуче-черного Бабугана сползает ночь...

Не надо думать о ночи, о снах обманных, где все — нездешнее. С ночью они вернутся. Утро срывает сны: вот она, голая правда, — под ногами. Встречай же его молитвой! Оно открывает дали...

Не надо глядеть на дали: дали обманчивы, как и сны. Они манят и — не дают. В них голубого много, зеленого, золотого. Не надо сказок. Вот она, правда — под ногами.

Я знаю, что в виноградниках, под Кастелью, не будет винограда, что в белых домиках — пусто, а по лесистым взгорьям разметаны человеческие жизни... Знаю, что земля напиталась кровью, и вино выйдет терпким и не даст радостного забытья. Страшное вписала в себя серая стена Куш-Каи, видная недалеко. Время придет — прочтется.

Я уже не гляжу на дали.

Смотрю через свою балку. Там — мои молодые миндали, пустырь за ними.

Каменистый клочок земли, недавно собиравшийся жить, теперь — убитый. Черные рога виноградника: побили его коровы. Зимние ливни роют на нем дороги, прокладывают

морщины. Торчит перекати-поле, уже отсохшее: заскачет — только задует Север. Старая татарская груша, дуплистая и кривая, годы цветет и сохнет, годы кидает вокруг медовую желтую «буздурхан», все дожидает смены. Не приходит смена. А она, упрямая, ждет и ждет, наливает, цветет и сохнет. Затаиваются на ней ястреба. Любят качаться вороны в бурю.

А вот — бельмо на глазу, калека. Когда-то — «Ясная Горка», дачка учительницы екатеринославской. Стоит — кривится. давно обобрали ее воры, побили стекла, и она ослепла. Осыпается штукатурка, показывает ребра. А все еще доматываются в ветре повешенные когда-то сушиться тряпки, — болтаются на гвоздях, у кухни. Где-то теперь заботливая хозяйка? Где-то. Разрослись у слепой веранды вонючие уксусные деревья.

Дачка свободна и бесхозяйна — и ее захватил павлин.

ПТИЦЫ

Павлин... Бродяга-павлин, теперь никому не нужный. Он ночует на перильцах балкона: так не достать собакам.

Мой когда-то. Теперь — ничей, как и эта дачка. Есть же ничьи собаки, есть и люди — ничьи. Так и павлин — ничей.

Я не могу содержать его, роскошь эту. Он это понял и поселился на пустыре. Мы — соседи. Он как-то ухитряется жить, пережил зиму и выпустил-таки хвост новый, хоть и не совсем прежний. Временами захаживает ко мне. Станет под кедром, где когда-то дремал в жары, поглядывает и ждет-пытает: «Не дашь?..» — «Не дам. Видишь — ничего нету, Павка».

Поведет коронованной головкой, хвост иногда распустит: «Не дашь?!.» Постоит и уйдет. А то взмахнет на ворота, повертится-потанцует. «Смотри-ка, какой красивый! Не дашь...»

И слетит на пустую дорогу, блеснет зелено-золотистым хвостом. Там и там покричит-позовет по балкам, — пава, может, откликнется! Глядишь — уж опять бродит у своей одинокой дачки. А то пройдется за горку, в Тихую Пристань, к Прибыткам: там дети, — чего и дадут, может. Вряд ли: там тоже плохо. Или к Вербе, на горку: там иногда дают ребятишки в обмен на перья. А то и повыше, на самый тычок к старому доктору. Но там и совсем плохо.

Недавно он жил в довольстве, ночевал на крыше, а дни проводил под кедром. Собирались найти ему подругу.

Мне его больно видеть.

— ...Э-оу-ааааа!.. — пустынным криком кричит павлин. Жалуется? Тоскует?

Его разбудило утро. И для него теперь день — в работе. Поднялся, расправил серебристые крылья в палево-розовой опушке, выправил горделиво головку, — черноглазой царицей смотрит. На старую грушу смотрит и вспоминает, что «буздурхан» обобран. Ну, кричи же, кричи, что и ты ограблен! Сияя голубым фиолетом в солнце, вдумчиво ходит он по балкону, шелковым хвостом возит, — приглядывается к утру... И — молнией падает в виноградник.

Ш-ши... несчастный!..

Он теперь не боится крика: вьется змеей-хвостом в лозах, оклевывает зреющие гроздья. Вчера было много исклеванных. Что же делать! Все хотят есть, а солнце давно все выжгло. Он становится дерзким вором, красавец с царственной поступью. Он открыто грабит меня, лишает хлеба: ведь виноградником питаться можно! Я выбиваю его камнями, он все понимает, зелено-голубой молнией юркает-вьется между лозами, змеится по розовой осыпи и пропадает за своей виллой. Кричит пустынно:

— ...Э-оу-ааааа!..

Да, теперь ему плохо. Желудей в этом году не уродилось; не будет и на шиповнике ничего, и на ажине, — все усохло. Долбит, долбит павлин сухую землю, выклевывает дикий чеснок, лук гадючий, — от него остро пахнет чесночным духом.

Летом он ходил в котловину, где греки посеяли пшеницу. Индюшка с курочками тоже ходила на пшеницу, которую стерегли греки. Пшеница теперь богатство! Даже ночевали греки в котловине, у огонька сидели, прислушивались к ночи. Много у пшеницы врагов, когда наступает голод.

Бедные мои птицы! Они худеют, тают, но... они связывают нас с прошлым. До последнего зернышка мы будем делиться с ними.

Солнце уже высоко ходит, — пора выпускать куриное семейство. Несчастная индюшка! У ней не было пары, но она упорно сидела и не брала корма. И добилась:

высидела шестерку курочек. Чужим, она отдала им свою заботу. Она научила их засматривать в небо одним глазом, ходить чинно, подтягивая лапки, и даже перелетать балку. Она принесла нам отрадную заботу, которая убивает время.

И вот, на ранней заре, — чуть забелеет небо, — выпустишь подтянутую индюшку.

— Ну, ступайте!

Она долго стоит, круглит на меня то тем, то другим глазом: покормить бы надо! А ее кроткие курочки, беленькие, одна в одну, вспархивают ко мне в руки, цапаются за мои лохмотья, настойчиво, глазами просят, — стараются уклюнуть в губы. Пышные, они день ото дня пустеют, становятся легкими, как их перья. Зачем я их вызвал к жизни! Обманывать пустоту жизни, наполнить птичьими голосками?..

— Простите меня, малютки. Ну, веди их туда... индюша!

Она знает, что нужно делать. Она сама отыскала «пшеничную» котловину и понимает, что греки ее гоняют. Грабом и дубнячком прокрадывается она в рассвете, ведет курочек на кормежку, на самый край котловины, где подходит к кустам пшеница. Юркнет со стайкой, заведет в самую середину — и начинают кормиться. Крепким носом она срывает колосья и расшелушивает зерна. Держится целый день, томясь жаждой, и только когда стемнеет, уводит к дому. Пить! пить! Воды у меня довольно. Пьют они долго-долго, словно качают воду, и мне приходится усаживать их на место: они уже ничего не видят.

Меня немного мучает совесть, но я не смею мешать индюшке. Не мы с нею сделали жизнь такою! Воруй, индюшка!

Павлин тоже прознал дорогу. Но — вымахнет хвостом из пшеницы и попадется грекам. Они поднимают крик, гонят воров и приходят к моим воротам:

— Циво, цорт, пускаишь?! Сицась убивай курей!

Их худые горбоносые лица злобны, голодные зубы до жути белы. Они и убить могут. Теперь все можно.

— Убей! Сам сицас убивай прокляти воры!..

Это мучительные минуты. Убивать я не в силах, а они правы: голод. Держать птицу — в такое время!

— Я не буду, друзья, пускать... И всего-то несколько зерен...

— А ти их сеиль?!. Последни зерно из глоти вирьвал! тебе нада голову сшибаем! Все памирать будим!..

Они долго еще кричат, стучат палками по воротам, — вот-вот ворвутся. Неистово, непонятно кричат, нажиливая потные шеи, выпяливая сверкающие белки, обдавая чесночным духом:

— Курей убивай! Теперь суда нема... сами будим!..

В их криках я слышу ревы звериной жизни, древней пещерной жизни, которую знавали эти горы, которая опять вернулась. Они боятся. День ото дня страшнее, — и теперь горсть пшеницы дороже человека.

Давно убрали греки пшеницу: тюками, в мешках уносили в город. Ушли — и пшеничная котловина закипела жизнью. Тысячи голубей — они хоронились от людей где-то — голубились теперь по ней, выискивали осыпавшиеся зерна; дети целыми днями ерзали по земле, выбирая утерянные колосья. И павлин, и индюшка с курочками кормились. Теперь их гоняли дети. Ни зернышка не осталось — и котловина затихла.

ПУСТЫНЯ

А что Тамарка?..

Она уже оглодала миндали, сжевала давшиеся через ограду ветки. Повисли они мочалками. Теперь их доканчивает солнцем.

Громыхают ворота. Это Тамарка рогами выдавливает калитку.

— Ку-ддааа?!.

Вижу я острый рог: просунула-таки в щель калитки, ломится в огород. Манит ее сочная, зеленая кукуруза. Шире и шире щель, всовывается розовый шагрень носа, фыркает влажно-жадно, слюну пускает...

— На-ззад!!.

Она убирает губы, отводит морду. Стоит неподвижно за калиткой. Куда же еще идти?! Везде — пусто.

Вот он, наш огородик... жалкий! А сколько неистового труда бросил я в этот сыпучий шифер! Тысячи камня выбрал, носил из балок мешками землю, ноги избил о камни, выцарапываясь по кручам...

А для чего все это? Это убивает мысли.

Выберешься на верх горы, сбросишь тяжкий мешок с землею, скрестишь руки... Море! Глядишь и глядишь через капли пота — глядишь сквозь слезы... Синяя даль какая! А вот за черными кипарисами — низенький, скромный, тихий — домик под красной крышей. Неужели я в нем живу? В саду — ни души, и кругом — пустынно: никто не проедет за день. Маленький, с голубка, павлин по пустырю ходит — долбит камень. Тишина какая! Весенними вечерами хорошо поет черный дрозд на сухой рябине. Горам попоет — повернется к морю. Споет и морю, и нам, и моим деревцам миндальным, в цветах, и домику. Домик наш одинокий!.. Отсюда видно его изъяны. Заднюю стенку дожди размыли, камни торчат из глины, — надо до осенних дождей поправить. Придут дожди... Об этом не надо думать. Надо разучиться думать! Надо долбить шифер мотыгой, таскать землю мешками, рассыпать мысли.

Бурей задрало железо, — пришлось навалить по углам камни. Кровельщика бы надо... И кровельщика, пожалуй, не осталось. Нет, старый Кулеш остался: стучит колотушкой за горкой, в балке, — выкраивает соседу из старого железа печки. В степь повезут выменивать на пшеницу, на картошку... Хорошо иметь старое железо!

Стоишь — смотришь, а ветерок с моря обдувает. Красота какая!

Далеко внизу — беленький городок, с древней, от генуэзцев, башней. Черной пушкой уставилась она косо в небо. Выбежала в море игрушечная пристань — скамеечка на ножках, а возле — скорлупка-лодка. Сзади — плешиной Чатырдаг синеет, Палат-Гора... Там седловина перевала... выше еще — и смотрит вихром Демерджи. Орлы живут по ее ущельям. Дальше — светлые цепи голых, туманно-солнечных гор Судакских...

Хорош городок отсюда — в садах, в кипарисах, в виноградниках, в тополях высоких. Хорош обманчиво. Стеклышками смеется! Ласковы-кротки белые домики, — житие мирное. А белоснежный Дом Божий крестом осеняет кроткую свою паству. Вот-вот услышишь вечернее — «Свете тихий»...

Я знаю эту усмешку далей. Подойди ближе — и увидишь... Это же солнце смеется, только солнце! Оно и в мертвых глазах смеется. Не благостная тишина эта: это

мертвая тишина погоста. Под каждой кровлей одна и одна дума — хлеба!

И не дом пастыря у церкви, а подвал тюремный... Не церковный сторож сидит у двери: сидит тупорылый парень с красной звездой на шапке, зыкает-сторожит подвалы:

— Эй!.. отходи подале!..

И на штыке солнышко играет.

Далеко с высоты видно! За городком — кладбище. Сияет на нем вся прозрачная, из стекла, часовня. Какая роскошь... Не разберешь, что в часовне: плавится на ее стеклах солнце...

Обманчиво хороши сады, обманчивы виноградники! Заброшены, забыты сады. Опустошены виноградники. Обезлюжены дачи. Бежали и перебиты хозяева, в землю вбиты! — и новый хозяин, недоуменный, повыбил стекла, повырвал балки... повыпил и повылил глубокие подвалы, в кровине поплавал, — а теперь, с праздничного похмелья, угрюмо сидит у моря, глядит на камни. Смотрят на него горы...

Я вижу тайную их улыбку — улыбку камня.

Сереет под Демерджи обвал — когда-то татарская деревня. Века глядела гора в человечье стойло. И показала свою улыбку — швырнула камнем. Да будет каменное молчание! Вот уж идет оно.

Что, Тамарка? И ты, бедняга, попала в петлю... А примириться не хочешь: упрямо стучишь копытом, бьешь головой в ворота! Похудела же ты, бедняга...

Она тупо глядит на мою поднятую руку стеклянными глазами, синими с неба и ветряного моря. Да куда же еще идти?! Ее бока провалились, выперло кости таза, а хребет заострился и изъеден кровопийцами мухами и слепнями. Сочится сукровица из ранок: там уже свербит червивое потомство, зреет в теплоте язвы. Вымя ее втянулось и потемнело, подсохли-поморщились сосочки: ничего не вытянут из нее сегодня хозяйские руки.

— Ступай же... нету!..

Она не верит. Она же знает великую силу человека! Не может она понять, почему не кормит ее хозяин...

И я не могу понять, Тамарка... Понять не могу, кому и зачем понадобилось все обратить в пустыню, залить кровью! А помнишь, еще недавно каждый мог тебе дать кусок душистого хлеба с солью, каждый хотел потрепать твои теплые губы, каждый радовался на твое ведерное

вымя? Кто же это выпил и твои соки? Каждую весну ты носила, а теперь ходишь пустая и не прибавила на рогах колечка!..

В ее стеклянных глазах я вижу слезы. Немые, коровьи слезы. Голодная слюна тянется-провисает к колючей ажине, которую она жевала. С усилием отрывает она глаза от кукурузы, поворачивает от калитки и... смотрит в море. Синее и пустое. Она его хорошо знает: синее и пустое. Вода и камни.

Смотрю и я... Сколько хочешь смотри — и так, и этак.

Прямо смотри: невидная Азия, Трапезунд. Там Кемаль-Паша воюет со всеми народами на свете; побил и греков, и англичан, и французов, и итальянцев, — всех побил — потопил в славном турецком море.

Пошептывают прижухнувшиеся татары:

— Це-це-це... Кемал-Паша! Крым идет... пылымот стрылял, балшивик тикал! Хлэб будит, чурэк-чебурэк... баряшка будыт... Балшой чилавэк Кемал-Паша! Наш будыт...

Вправо — Босфор далекий, Стамбул Великий. Там горы хлеба и сахара, и брынзы, и аравийского кофе, и баранов...

Влево, в утренней дымке, — земля родная, кровью святой политая...

Ни дымочка на синей дали, серебрятся течения... Одна голубая парча — на солнце.

Мертвое море здесь: не любят его веселые пароходы. Не возьмешь ни пшеницы, ни табаку, ни вина, ни шерсти... Съедено, выпито, выбито — все. Иссякло.

А солнце пишет свои полотна!

Фиолетовый пляж розовым подержался, теперь бледнеет. Накалится — засветится. К ночи с холоду посинеет. А вот и она — синь-бель: вскипает с играющего моря. Нет ни души на гальке, пятнышка нет живого. Прощай, расцветка!

Ни татарина медноrожего, с беременными корзинами на бедрах, — груши, персики, виноград! Ни шумливого плута-армянина из Кутаиса, восточного человека, с кавказскими поясами и сукнами, с линючими чадрами кричащих красок — утехой женщин; ни итальяшек с «обомаршэ», ни пылящих ногами, запотевших фотографов, берущих «с веселым лицом» у камня, лихо накидывающих черный лоскут суконный, небрежно-важно разбрасываю-

щих — «мерсис!». И уральские камни сгинули, и растаяли бублики за копейку, и раковинки с «Ялтой» — китайской тушью, и татары-проводники, в рейтузах синей диагонали, с нафабренными усами, с бедрами Аполлона из Корбека, со стэком за лаковым голенищем, с запахом чеснока и перца. Ни фаэтонов в пунцовом плисе, с белыми балдахинами, вздувающимися на бойком ходу, с красными язычками в бисерной мишуре-сверканье, с конями в шерстяных розанах, с крымскими глухарями из серебра — звоном бахчисарайским, — щеголевато-мягко несущихся мимо просыпающихся утренних вилл, в глициниях и мимозах, в магнолиях и розах, и в винограде, с курящеюся поливкой, с душистой прохладой утра, умело опрысканного садовником. Ни широких турок, мерно бьющих новые плантажи, крепко-жильных, с синими курдюками, с полудня засыпающих на земле, у камня. Ни дамских зонтиков на песке, жарких цветов полудня, ни человеческой бронзы, которую жарит солнцем, ни татарского старичка, сухого, с шоколадной головкой в белой обвязке, мотающегося на коленках — к Мекке...

Не ты ли сожрало, море? Молчит, играет.

Кому продавать, покупать, кататься, крутить лениво золотистый табак ламбатский? кому купаться?.. Все — иссякло. В землю ушло, — или туда, за море.

Смотрят в пустой песок выбитыми глазами дачи. Тянут бакланы в море, снуют-плавают их цепочки.

Одно увидишь на побережной дороге:

Ковыляет босая, замызганная баба, с драной травяной сумкой, — пустая бутылка да три картошки, — с напряженным лицом без мысли, одуревшая от невзгоды:

— А ска-зывали — все будет!..

Прошагает за осликом пожилой татарин, — гонит с вьючком дровишек, — угрюмый, рваный, в рыжей овчинной шапке; поцекает на слепую дачу, с вывернутой решеткой, на лошадиные кости у срубленного кипариса:

— Це-це-це... ах, шайтаны!..

И вспомнит: носил сюда петухов в сезоны, черешню, виноград, груши... было время! А теперь и соли купить не с чем.

А то пропылит на мухрастой запаленной лошадке полупьяный красноармеец, без родины — без причала, в

ушастом шлыке суконном, в помятой звезде красной-тырцанальной, с ведерным бочонком у брюха, — пьяную радость везет начальству из дальнего подвала, который еще не весь выпит.

Так вот какая она, пустыня!

Смеется солнце. Поигрывают тенями горы. Все равно перед ними: розовое ли живое тело или труп посинелый, с выпитыми глазами, — вино ли, кровь ли... И этому верховому звездоносцу. Остановится перед разбитой виллой, глядит-пялит заспанными глазами... — чего такое?.. Приметит — стеклышко никак цело! Наведет-нацелит:

— А-а, едренать...

Еще нацелит...

Но куда же пойдет Тамарка?

Она тянет-вытягивает морду и мычит, протяжно — на море. В синее и пустое. Еще мычит, и еще... И уходит через дорогу в балку. Задумывается над сочным молочаем: не съесть ли?.. Фыркает и отходит: чует коровьим нюхом эти острые молочаи — боли, — от них вымя сочится кровью.

Ну, что же сегодня делать? Что и вчера — все то же: нарвать виноградных листьев помоложе, мелко-мелко порезать — и суп будет. Хорошо чесноку добавить, — дает, говорят, бодрость; но чеснок весь вышел. Потом... опять листу надо — обманывать единственное живое, что нам осталось, — птиц наших. Они связывают нас с прошлым. Их надо поскорей выпустить, кузнечика хоть поймают. Они доживут до осени, а дальше... Не стоит думать. Кружились бы только с нами! Они отзываются на ласку, задремывают на коленях, затягивая пленочками зрачки. Они шумно слетаются из балок, заслышав обманное звяканье жестяной кружки, — не зерно ли?! — разговаривают даже с нами. Я хорошо понимаю Робинзона.

Итак, начинаем день.

В ВИНОГРАДНОЙ БАЛКЕ

Виноградная балка... Овраг? яма? Нет: это отныне мой храм, кабинет и подвал запасов. Сюда прихожу я думать. Отсюда черпаю хлеб насущный. Здесь у меня цветы, —

золотисто-малиновый куст львиного зева, в пчелах. Только. Огромное окно — море. И — виноград зреет.

Отныне мой храм?.. Неправда. У меня нет теперь храма.

Бога у меня нет: синее небо пусто. Но шиферно-глинистые стены — мои хранители: они укрывают от пустыни. «Натюрморты» на них живут, — яблоки, виноград, груши...

Я спускаюсь по сыпучему шиферу, оглядываю свои запасы. Плохо на яблоньках: поела цветы «мохнатая оленка». Тысячи их налетали, когда яблони стояли в цвету, падали в белые чашечки, сосали-грызли золотые тычинки. Я выбирал их, спящих, — они задремывали к полудню. Вот одичавший персик, с каменной мелочью, черешня, в усохших косточках, оклеванная дроздами. Айва бесплодная, в паутинных коконах, заросли розы и ажины.

Грецкий орех, красавец... Он входит в силу. Впервые зачавший, он подарил нам в прошлом году три орешка — поровну всем... Спасибо за ласку, милый. Нас теперь только двое... а ты сегодня щедрее, принес семнадцать. Я сяду под твоей тенью, стану думать...

Жив ли ты, молодой красавец? Так же ли ты стоишь в пустом виноградинке, радуешь по весне зеленью сочных листьев, прозрачной тенью? Нет и тебя на свете? Убили, как все живое...

Хорошо сидеть в утренней тишине Виноградной балки, ото всего закрыться. Только — лозы... Рядками тянутся вверх, по балке, на волю, где старые миндальные деревья, — прыгают там голубые сойки, Какое покойное корыто! Откосы, один — тенистый, солнцем еще не взятый; другой — золотой, горячий. На нем груши-молодки в бусах.

Взглянешь назад — синее окно, море! Круто падает балка, и в темном ее прорыве — синяя чаша моря: пей глазами!

Хорошо так сидеть, не думать...

Пустынным криком кричит павлин:

— Э-оу-а-ааааа...

Нельзя не думать: настежь раскрыты двери, кричит пустыня. Утробным ревом ревет корова, винтовка стучит

в горах, — кого-то ищет. Над головой детский голосок тянет:

— Хле-а-ба-аааа... са-мый-са-ааа с пуговичку-ууу... са-а-мый-са-аааа...

Гремит самоварная труба. Это пониже нашего домика, соседи.

— Ах Вово́дичка... какой ты... Я же тебе сказала...

Голос усталый, слабый. Это старая барыня, попавшая вместе с другими в петлю. При ней чужие, «нянькины дети»: Ляля и Вова. Живут на тычке — бьются.

— Са-а-мый-са-ааааа...

— Я же тебе сказала... Сейчас лепестков заварим, розовый чай пить будем...

— Хочу са-а-ла-ааааа...

— Ну, что ты из меня ду-шу тянешь!.. Ля-ля, да уведи ты его от меня, с глаз моих!..

Я слышу дробное топотанье и задохшийся, тонкий голосок Ляли:

— А-а... сала тебе?! сала? Я тебе такого сала!.. Ухи тебе насалить?

— Ля-ля, оставь его... И потом, нельзя говорить... у-хи! У-ши! И как ты выражаешься: наса-лить! На что это похоже! А я-то еще хотела с тобой по-французски заниматься...

По-французски! У смерти... — и по-французски. Нет, права она, старая, милая барыня: надо и по-французски, и географию, и каждый день умываться, чистить дверные ручки и выбивать коврик. Уцепиться и не даваться. Ну, какие самые большие реки? Нил, Амазонка... Еще текут где-то? А города?.. Лондон, Нью-Йорк, Париж... А теперь в Париже...

Странно... когда я сижу так, ранним утром, в балке и слышу, как гремит самоварная труба, я вспоминаю о Париже, в котором никогда не был. В этой балке — и о Париже! Это на каком-то другом свете... И есть ли этот Париж? не исчез ли и он из жизни?..

Вот почему я вспоминаю о Париже: моя соседка рассказывала, бывало, как она жила за границей, училась в Берлине и в Париже... Так далеко отсюда! Она... в Париже! Она бродит в вязаном платочке, унылая и больная, щупает себя за голову, жует крупку... Видала Париж, в Булонском лесу каталась, стояла перед Венерой и

Нотр-Дам!.. Да почему она здесь, на тычке, у балки?! Бьется с чужими детьми, продает последние ложечки и юбки, выменивает на затхлый ячмень и соль! Боится, что отнимут у ней какой-то коврик... Каждую ночь дрожит — вот придут и отнимут коврик, и этот платок последний, и полфунта соли. Чушь какая!

Париж?! какой-то Булонский лес, где совершают предобеденные прогулки в экипажах, — у Мопассана было... — и высится гордым стальным торчком прозрачная башня Эйфеля?! гремит и сейчас: в огнях?!! и люди весело и свободно ходят по улицам?!. Париж... — а здесь отнимают соль, повертывают к стенкам, ловят кошек на западни, гноят и расстреливают в подвалах, колючей проволокой окружили дома и создали «человечьи бойни»! На каком это свете деется? Париж... — а здесь звери в железе ходят, здесь люди пожирают детей своих и животные постигают ужас!..

На каком это свете деется? На белом свете?!!

Нет никакого Парижа-Лондона, пропал и Париж, и все. Вот работа кинематографам, лента на миллионы метров! Великие города — великих! Стоите ли вы еще? Смотрите наши ленты? Кровяных наших лент на сотни великих городов хватит, на миллионы зевак бульварных, зевак салонных, — в смокингах и визитках, в пиджаках и рабочих блузах... и в соболях с чужого плеча, и в бриллиантах, вырванных из ушей! Смотри, Европа! Везут товары на кораблях, товары из стран нездешних: чаши из черепов человечьих — пирам веселье, человечьи кости — игрокам на счастье, портфели из «русской» кожи — работы северных мастеров, «русский» волос — на покойные кресла для депутатов, дароносицы и кресты — на портсигары, раки святых угодников — на звонкую монету. Скупай, Европа! Шумит пьяная ярмарка человечьей крови... чужой крови.

Цела Европа? Не видно из Виноградной балки. Как там — с... «правами человека?» В Великих Книгах — все ли страницы целы?..

О, Париж!.. Отсюда, из глухой балки, нездешним грезится мне этот далекий Париж, призрачный город сказки. Нездешним, как мои сны — нездешние. Там не смеется камень: покорно положен в ленты. Голубые огни

на нем, и люди его — нездешние. Победно гремят оркестры на золотых трубах, а прозрачное чудо стали засматривает за край земли, ловит все голоса земные... Слышит ли этот голос пустых полей, шорох кровавых подземелий?.. Это же вздохи тех, что и тебя когда-то спасали, прозрачная башня Эйфеля! Старуха седая занесла на свои скрижали.

Не слышит. Гремят золотые трубы...

— Хле-э-ба-ааааа...

А где-нибудь громадные булочные открыты, за окнами и на полках лежат свободные караваи, лежат до вечера... Да есть ли?!.

— Сил моих нету, Го-споди... Ляля, да возьми от меня Вović! Няня сейчас придет... Ну, дай ему грушку погрызть, что ли... И когда только эта мука кончится!..

Кончится! Она еще только подходит. Вон — Безрукий, слесарь из Сухой балки, вчера съел рыженькую собачку Минца... а на той неделе я видел, как его жена еще пекла из муки лепешки. У нас еще есть миндаля немного... А у ней, кажется, есть коврик и какое-то необыкновенное ожерелье... хрустальное ожерелье — из Парижа! Не знает, какая бывает мука! И как она может кончиться?! Это — солнце обманывает, блеском, — еще заглядывает в душу. Поет солнце, что еще много будет праздничных дней чудесных, что вот и виноградный, «бархатный», сезон подходит, понесут веселый виноград в корзинах, зацветут виноградники цветами, осенними огнями... Всегда будет празднично-голубое море, с серебряными путями.

Умеет смеяться солнце!

А вот, скоро, ветры сорвутся с Чатырдага, налягут на Палат-Гору снеговые тучи, от черного Бабугана натянет ливни, — тогда...

А теперь... — яхонты вон горят на лозах, теплые, в нежном мате... золотится чауш, розовая шасла, мускат душистый... как смородина черная — мускат черный, александрийский... На целую неделю сладкого хлеба хватит! цветного хлеба!..

Я иду по рядам, выбираю на суп листочки, осматриваю грозди. Ночью собаки были — погрызли и разбросали. Голодные собаки? Вряд ли: собаки все ночи пируют в

балке, где пала лошадь. Я слышал, как они там рычали. Конечно, это курочки и павлин, — день за днем добивают мои запасы.

Пусть винограда мало, но как чудесно! Ведь это мой труд, последний. Весной я окопал каждую лозу, выломал жировые плети, вбил колья в шифер и подвязал побеги. Тогда... — как это давно было! — у этого кривого кола я сидел, смотрел на синюю чашу моря, глядевшегося в прорыве. Пылала синим огнем чаша. Великий ее создал: пей глазами!

И я ее пил... сквозь слезы.

ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ

Я подымаюсь из балки с ворохом виноградных листьев. Хлеб насущный!

— С добрым утром!

А, голосок знакомый! Стоит босоногая Ляля за кипарисом — восьмилетка, косит глазом. На ней — единственная ее — белая кофточка и красная юбка, с весны самой. Прозрачная она, хрупкая, беленькая, хоть и всегда на солнце. Светлые глазки ее стреляют — русские глазки, умные. К Бабугану стрельнули — и поймали:

— Глядите, автонобиль на Ялту! Вчера целых три прокатило! Это зеленых ловят...

— Все-то знаешь! А кто такие эти — зеленые?

— А которые не сдаются... в лесах по горам хоронятся... я знаю.

Крутится по лесным холмам облачко, бежит дальше. Доносит трескуче-дробно: катит автомобиль невидный.

Перескочили на виноградник:

— Глядите-ка, опять в винограднике Павка был! Перышко потерял... А у вас сегодня Тамарка миндаль сжевала!..

— Значит, миндальное молоко будет.

Смеется Ляля слабым смешком, не как раньше. А глаза не смеются, — выискивают дали. И глаза светло-синие, как дали.

— У Минца... корову вчера угнали... — говорит Ляля робко.

— Слыхал. А Безрукий рыженькую собачку съел?

— Какая к вам-то все прибегала, хвостик пукетиком. Поляк... что ему! Они все есть могут. Он и кошку у

него заманил! ей-Богу! — спешит сообщить Ляля. — У него клетка есть, с такой гирькой... на ночь привесит конятинки — хлоп! Слесарь... Мне — говорит — теперь наплевать на голод, кошками промудрую! А что, вкусные кошки?

— Ничего будто. А ты как... ела сегодня?

— Ели... — нетвердо говорит Ляля и смотрит в балку.

— Та-ак... Значит, ели... Верно?

— Вот придет няня... — краснеет она, катает ногой кипарисовую шишку. — Давайте я понесу... Листу-то ско-олька-а!

Она ни за что не скажет, что не ели, что понесла няня продавать коврик.

— А Рыбачиха-то не сдюжила, продали корову-то, Маньку! У них очень семейство большое, ребят что опят...

Она говорит, как взрослая, — всегда серьезна. Пытливая у ней голова: все знает, что делается в округе, в городке, у моря.

— Еще что скажешь?

Она смущенно стоит у порога кухни, трет одну ногу о другую, следит, как кромсаю лист.

— Индюшка-то ваша вчера у доктора на тычке была, чашку в кухне расколотила!.. — косит Ляля на меня глазом, — не поговорю ли с ней об индюшке, — но я молчу. Поинтересней надо? — А у Вербы-то какое горе!

— А что такое?

Она вспыхивает, поблескивает глазами: она довольна. Складывает на груди руки, как ее мать-няня, и начинает сокрушенно:

— А как же... этой ночью у них гуся украли!

— Да ну-у?

— Украли, как же... и голоску не подал. Да гляньте воньте... только один гусь гуляет!..

От кухни всю Вербину горку видно. Верно: один только гусь гуляет. За ним павлин ходит, землю долбит.

— Ох, некому больше, как дядя Андрей... — шепотком говорит она и глядит через балку: за пустырем павлиньим — невидная за горбом Тихая Пристань. — Уж такой-то вредный му-жик! Некому, как ему. Слышим ночью — уж так-то жареным гусем пахнет, не продыхнуть! А это к нам ветерком наносит, от них ведь ветер-то

по ночам, от Бабугана... Так-то шкварочками... да сальцем... ужас!

Я слышу, как во рту у Ляли полно слюны, как она делает горлом. Надо ее отвлечь:

— А что такое случилось... учительница вчера Вербененка отчитывала? Не слыхала?

— Да как же! — оживляется Ляля и опять подбирает руки. — Идет Прибытка, учительница... из городу шла. Идет Амидовым виноградником, а уж к ночи было. А она плохо видит, в пинснех... Собаки, — сперва думала... А как пила хрипит! Подошла поближе, глядит... а это Вербенята-озорники хо-о-рошую грушу пилят! Садовую грушу. Бэру... вот такие на ней груши! Ну, а теперь никакого порядка, все плетни разворочены, хоть скрозь гуляй... «Вы что тут делаете?! разве можно пилить садовое дерево?!» — как заругалась! Они — ти-кать! Ведь не можно садовое дерево? сколько уходу было... А стра-ху нет. Уж о-на их начитывала!..

— Вот что, газетка... Вот тебе маленькая лепешка... поделишься с Володей.

Она вся вспыхивает и пятится, а глаза не могут оторваться от лепешки. Она даже отмахивается в испуге:

— Ай, что вы... да не надо, что вы... Ну, зачем же... не надо. У нас же есть же...

Ее надо поймать за плечо и дать насильно.

— Ну, зачем это... у самих мало... Ну, спасибочко вам... ба-льшое спасибо! ба-а-льшое... — смущенно захлебывается Ляля, рзглядывая лепешку, и все пятится, пятится в кипарис.

Сначала она отходит тихо, сдерживает себя, — и вдруг помчится-помчится! Мелькнет за кипарисами красная юбочка, голые ноги, отшлифованные загаром, блеснут у обрыва в балку, — и слышится придушенный голос: «Володя! Володичка!» Я знаю, что сейчас появится на моей границе, за колючей оградой, пятилетний белоголовый Володя — благодарить. Вежливости их учит старая барыня, живавшая в Париже... Вот уж и появляется он под своими дубками, за моим садом, в белой, пестро заплатанной рубашке, в штанишках — наполовину коричневых, из барыниной кофты, наполовину своих, белых, — кричит звонко-звонко:

— Ба-а-ль-шо-е!.. спа-сибочко... ба-аль-шо-е!..

Есть еще детские голоски, есть ласка. Теперь люди говорят срыву, нетвердо глядят в глаза. Начинают рычать иные.

Я выпускаю кур, индюшку с курочками. Отныне и до... — пусть до завтра! — это наше родное, кому открываешь душу. Свидетели нашего умирания. Все поверяешь им, и они так умеют слушать!

Проволочным крючком, через отдушину наверху, вылавливаю я кол, подпирающий изнутри дверку, — хитрый запор голодного времени! — и с гулом сыплется на меня онемевшая за ночь птица.

Живы, мои родные! с новым утром!

Они кипят под ногами, не давая ступить, заглядывают в лицо и в руки. Зерна! зерна! Они бегают за мной стайкой, вывертывают шейки, не чуя, что под ногами, спотыкаются на бегу, подпрыгивают, как собачки, мечутся в беспокойстве: поставят ли перед ними чашки? Носится поджарая, подтянутая индюшка — бутылочка на ножках:

— ...Пуль-фье... пуль-фье...

Эх вы, горевая птица! Ты, беленькая Торпедка, совсем ослабла: стоишь пленкой затягиваешь глазки... И ты, Жемчужка, невеселая. А ты, Жаднюха, упомнила оставленную вчера кефалью головку, которую принесла из балки, всеми исклеванную, и так же упрямо долбишь! Поди ко мне на руки, маленькая, пошепчи на ухо... А, ты засматриваешь в кармашек, где, помнишь, когда-то лежали зерна... Там когда-то и часы лежали... Вот, есть у меня для тебя немного... Ну? раз, два... десять... двенадцать зерен! Чего же долбишь в пустую руку? Ну, что же мне вам сказать? какую новость? Вот. Дошло и до вас дело. За горкой внизу живут «дяди», которые любят кушать... и курочек любят кушать! Как бы не пришли за вами, отбирать «излишки»! Пять курочек еще можно, а у меня вас больше. Вот, пожалуй, и отберут у меня «излишки»... Ну, не будем думать.

Я даю им пареный лист в чашках. Они дерутся из-за него, вытаскивают махрами, прячут, давятся, набивают зобы. Стоят и долбят в пустые чашки. А ястреба уже стерегут по балкам.

Смотрю я, думаю, вспоминаю... хочу осмыслить... Сон кошмарный? в плен к дикарям попался?.. Они все могут!

Не могу осмыслить. Я ничего не могу, а они все могут! Все у меня взять могут, посадить в подвал могут, убить могут! Уже убили! Не могу осмыслить. Или я одичал, разучился думать? разучился мыслить?! А для чего теперь нужно мыслить! Мыслить, и вот — на одной чашке с ними...

Я слышу сигнал, неистовый голос Ляли — только она так может:

— Ай-йу-а-ай!.. — дикий, пустынный крик, похожий на крик павлина.

А, налетает ястреб! К осени ястреба лютеют.

Ее крик слышен на версты, и на море, и по дальним балкам. Ястреба ее хорошо знают, красную ее юбку, приметную издалека, ее острые глазки, стреляющие по горам и в небо, — боятся и ненавидят. Подстерегают ее в дубовых чащах, впиваются хищными зрачками: так бы и разорвали! Ее понимают куры, все птицы... Сама она похожа на белую голубку. Закричит тревожно — и всюду по горкам поднимаются крики и хлоп ладошей: вопят на своей горке Вербенята, визжит Рыбачихино семейство, на пшеничной котловине, на Тихой Пристани, у Прибытков, далеко внизу, по холмам, на умирающих дачках, у кого только доживают куры, последнее живое. Столько над ними дрожали, укрывали, когда ходили отбирать «излишки» — портянки, яйца, кастрюльки, полотенца... Укрыли. А теперь ястребов боятся, стервятников крылатых.

Низко плывет по балке стервятник, завинчивает полетом. Палевым отливает на его крыльях солнце. Сбил его с ходу неистовый крик Лялин. Летит на дубки, за балку, притаивается в чаще.

Теперь я хорошо знаю, как трепещут куры, как забиваются под шиповник, под стенки, затискиваются в кипарисы, — стоят в дрожи, вытягивая и вбирая шейки, вздрагивая испуганными зрачками.

Хорошо знаю, как люди людей боятся, — людей ли? — как тычутся головами в щели, как онемело роют себе могилы.

Ястребам простится: это их хлеб насущный.

Едим лист и дрожим перед ястребами! Крылатых стервятников пугает голосок Ляли, а тех, что убивать ходят, не испугают и глаза ребенка.

Кто-то верховой едет... кто такой?..

Подымается из-за бугра к нам, на горку... А, мелкозубый этот!.. Музыкант Шура. Как он себя именует, — Шура Сокол. Какая фамилия-то лихая! А я знаю, что мелкий стервятник это.

Кто сотворил стервятника? В который день, Господи, сотворил Ты стервятника, если Ты сотворил его? дал ему образ подобия Твоего?.. И почему он Сокол, когда и не Шура даже?!

Покорный конек возит его по горкам — хрипит, а возит. Низко опустил голову, челка к глазам налипла, взмокшие бока ходят: трудно возить по горкам. Покорен конек российский: повезет и стервятника, под гору повезет и в гору, хоть на Чатырдаг самый, хоть на вихор Демерджи, пока не сдохнет.

Я отворачиваюсь, за кипарис кроюсь. Или стыдно мне моих лохмотьев? моей работы?

Как-то, тоже в горячий полдень, нес я мешок с землею. И вот, когда я плелся по камню, — и голова моя была камнем, — счастье! — вырос, как из земли, на коньке, стервятник и показал свои мелкие, как у змеи, зубы, — беленькие, в черненькой головке. Крикнул весело, потряхивая локтями:

— Бог труды любит!

Порой и стервятники говорят о Боге!

Вот почему я кроюсь: я слышу, как от стервятника пахнет кровью.

Он одет чисто, в хорошей куртке, — а кругом все в лохмотьях. Он порозовел, округлился, налился даже, а все тощают, у всех глаза провалились и почернели лица. Один он на коньке ездит, когда все ползают на карачках. Такой храбрый!

Я давно его знаю, три года. Он проживал на самой высокой даче, которую называли — «Чайка». Поигрывал на рояле. Живут мирные дачники — живут тихо. Спускаются по балкам к морю — купаться. Любуются на горы — как чудесно! Раскланиваются с округой: «Добрый вечер!» И, конечно, исправно платят. Звонкая была «Чайка», молодая дача. И молодые женщины на ней жили, — врачи, артистки, — кому необходим летний отдых.

И вот подошло время. Пришли и в городок люди, что убивать ходят. Убивали-пили. Плясали и пели для них артистки. Скушно!

— Подать женщин веселых, поигристей!

Подали себя женщины: врачи, артистки.

— Подать... кро-ви!

Подали и крови. Сколько угодно крови!

И вот, когда все, как трава, прибито, раскатывает Шура Сокол на лошадке. Недаром он поигрывал на рояле, поглядывал с самой высокой дачи, — стервятники приглядывают с верхушек! — многие уже... «высланы на север... в Харьков...» — на том свете. А Шура кушает молочную кашку, вечерами и теперь поигрывает на рояле, перебрался в дачу поудобней и принимает женщин. Расплачивается мукою... солью... Что значит-то быть хорошим музыкантом!

Что же теперь... за топливом, по балкам?.. Хорошо забраться в глубокую-глубокую балку, стены чтобы отвесные... хорошо, никого-ничего не видно. Но надо и сторожить, чтобы не кинулись куры в виноградник. Сесть на откосе Виноградной балки... сидеть и думать... О чем думать? А где у меня кресло? В моей балке можно думать только о... Ни о чем нельзя думать, не надо думать! Завтра будет все то же. И дальше — то же. Сиди и смотри на солнце. Жадно смотри на солнце, пока глаза не стали оловянной ложкой. Смотри на живое солнце! А то скоро — ветры задуют, дожди зарядят, загремят штормы... Черти начнут бить в стены, трясти наш домик, плясать по крыше. Тогда у огонька сидеть будем... Живут дикари, и ничего, счастливы! Ничего-то не знают, ничему не учены. Счастливые: нечего им лишиться? Читать книги? Вычитаны все книги, впустую вышли. Они говорят о той, о той жизни... которая уже вбита в землю. А новой нету... И не будет. Вернулась давняя жизнь, пещерных предков.

Книги... О них я думаю часто. Войдешь в домик — вон они, в темном углу лежат сиротливой стопкой. Мои «путевые» книги... Смотреть больно. И они уже «высланы» куда-то. И к ним протянулась кровяная лапа.

Когда это было? Вот уже год скоро. День был тогда холодный. Лили дожди — зимние дожди, с дремучечерного Бабугана. Покинутые кони по холмам стояли,

качались. Белеют теперь их кости. Да, дожди... и в этих дождях приехали туда, в городок, эти, что убивать ходят.. Везде: за горами, под горами, у моря, — много было работы. Уставали. Нужно было устроить бойни, заносить цифры для баланса, подводить итоги. Нужно было шикнуть, доказать ретивость пославшим, показать, как «железная метла» метет чисто, работает без отказу. Убить надо было очень много. Больше ста двадцати тысяч. И убить на бойнях.

Не знаю, сколько убивают на чикагских бойнях. Тут дело было проще: убивали и зарывали. А то и совсем просто: заваливали овраги. А то и совсем просто-просто: выкидывали в море. По воле людей, которые открыли тайну: сделать человечество счастливым. Для этого надо начать — с человечьих боен.

И вот — убивали, ночью. Днем... спали. Они спали, а другие, в подвалах, ждали... Целые армии в подвалах ждали. Юных, зрелых и старых, — с горячей кровью. Недавно бились они открыто. Родину защищали. Родину и Европу защищали на полях прусских и австрийских, в степях российских. Теперь, замученные, попали они в подвалы. Их засадили крепко, морили, чтобы отнять силы. Из подвалов их брали и убивали.

Ну, вот. В зимнее дождливое утро, когда солнце завалили тучи, в подвалах Крыма свалены были десятки тысяч человеческих жизней и дожидались своего убийства. А над ними пили и спали те, что убивать ходят. А на столах пачки листков лежали, на которых к ночи ставили красную букву... одну роковую букву. С этой буквы пишутся два дорогих слова: Родина и Россия. «Расход» и «Расстрел» — тоже начинаются с этой буквы. Ни Родины, ни России не знали те, что убивать ходят. Теперь ясно.

В это утро ко мне постучали рано. Не те ли, что убивать ходят? Нет, пришел человек мирный, хромой архитектор. Он сам боялся. А потому услуживал тем, что убивать ходят...

Вот теперь сижу я на краю Виноградной балки, вглядываюсь в солнечные горы... Те ли самые эти горы, какие были совсем недавно? На этом ли они свете?!

И вот я вспоминаю...

— Вот, пришлось и к вам... — смущенно говорит архитектор и не смотрит. — Ужасная погода... высоко живете... Приказали описывать и отбирать книги... Соберут и пошлют куда-то... Конечно, я понимаю...

Он потеет, несчастный архитектор. Он работает из-за полфунта соломенного хлеба, из-за страха.

— Под страхом предания... военного трибунала! «вплоть до расстрела»!!!

Он смотрит округлившимися, птичьими, глазами, — а в них ужас.

— Знаю. И швейные машинки, и велосипеды... Но у меня здесь нет библиотеки! У меня только Евангелие и две-три мои книги!..

— Я уж и не знаю... ну-жно!..

Архитектор, человек искусства... Он не прошел мимо. Он ревностно ковылял под дождем, по грязи, на горы, через балки, на хромой ноге, чтобы добить душу. Но ему хочется жить, бедняге, и... он доведен до точки!

— Я уж и не знаю... Ну, хоть расписку дайте... вопрос неясный... Напишите, что отвечаете за их сохранность...

— За мои книги?! Я... за свою работу?!.

Мы — сумасшедшие?!. Он не мог уйти без расписки. Он умолял словами, глазами, которым было трудно смотреть в глаза, хромой ногою. И я выдал ему расписку.

Мне больно теперь смотреть в полутемный угол, где стопочка книг «учтенных». И ты, маленькое Евангелие! Мне больно, словно и Его я предал.

Дожди тогда были... Укрылись дождями горы, свинцовой мутью. Лошади по холмам стояли — покинутые кони. Стояли — ждали. И падали. А по одиноким дачкам ходил и ходил хромой архитектор и отбирал книги... А люди совались головами в щели. Фу, сон кошмарный!..

Не надо думать. Какое жгучее солнце!

Выше подымается, напекает. По горам жаровая дымка, — начинают синеть и мерцать горы. Движутся, оживают. Смотрят. И солнце — плавится и играет в море.

Мои огурцы совсем пожухли и покрутились, рыжие гряды совсем разделись. Помидоры помертвели и обвисли. Курочки ушли в балки. Павлин стоит в тени, у своей дачки, — кричать жарко. Из балки выбирается Тамарка, несет на горку пустое вымя.

А ты что же, маленькая Торпедка, не пошла со всеми?

Стоит под кипарисом, поклевывает головкой, затягивает глазки. Я понимаю: она уходит. Я беру ее на руки. Как пушинка! Что же... так лучше. Ну, посмотри на солнце... ты его любила, хоть и не знала, что это. А там вон — горы, синие какие стали! Ты и их не знала, а привыкла. А это, синее такое, большое? Это — море. Ты, маленькая, не знаешь. Ну, покажи свои глазки... Солнце! И в них солнце!.. только совсем другое, — холодное и пустое. Это — солнце смерти. Как оловянная пленка — твои глаза, и солнце в них оловянное, пустое солнце. Не виновато оно, и ты, Торпедка моя, не виновата. Головку клонишь... Счастливая ты, Торпедка, — на добрых руках уходишь! Я пошепчу тебе, скажу тебе тихо-тихо: солнце мое живое, прощай! А сколько теперь больших, которые знали солнце, и кто уходит во тьме!.. Ни шепота, ни ласки родной руки... Счастливая ты, Торпедка!..

Она тихо уснула в моих руках, маленькая незнайка.

Полдень высокий был. Я взял лопату и пошел на предел участка, на тихий угол, где груды камней горячих, выкопал ямку, положил бережно, с тихим словом — прощай, и быстро засыпал ямку.

Вы, сидящие в креслах мягких, может быть, улыбнетесь. Какая сентиментальность! Меня это нимало не огорчает. Курите свои сигары, швыряйте свои слова, гремучую воду жизни. Стекут они, как отброс, в клоаку. Я знаю, как ревниво глядитесь вы в трескучие рамки листов газетных, как жадно слушаете бумагу! Вижу в ваших глазах оловянное солнце, солнце мертвых. Никогда не вспыхнет оно, живое, как вспыхивало даже в моей Торпедке, совсем незнайке! Одно вам брошу: убили вы и мою Торпедку! Не поймете. Курите свои сигары.

НЯНИНЫ СКАЗКИ

Когда же, наконец, солнце потонет за Бабуганом?! Скорей бы... Упадет ночь, звезды стрелками будут плавать в море. Только оно и будет. Ни дач, ни холмов, ни балок, — темный порог за моим садом, а за порогом темное море в стрелках. Поверить можно, что где-то на океане, как Робинзоны. Только бы забыться — и поверишь. Никто не придет, не будет давить душу. Кончились люди, только кроткие курочки, павлин — райская

птица. Серенькие «волчки», пичуги, будут деловито порхать, прятаться в кипарисах, утрами будут стрекотать сойки...

Как ни старайся — не отмахнешься. Вон за изгородью шаги, опять кто-то... Плохо начался день сегодня.

— Добрый день, барин!

Насмешка теперь это слово — барин! У ней не насмешка, а привычка. Это плетется из городка соседка-няня, идет — мотается. Одета оборванкой, на ногах дощечки. В руках охапка чубука и палок, которые она набрала дорогой, — все годится. Лицо испитое, желтое, глаза ввалились. С такими лицами выходят из больницы, после тяжкой болезни.

Я знаю, что она станет жаловаться, облегчать душу, и я не могу не слушать: ведь она — от народа, и ее слово — от народа.

— Что же это теперь будет?.. Хлеб-то сегодня... двенадцать тысяч! да и его-то нету! На базаре ни к чему не приступишься, чисто все облюте-ли!..

Она пытает меня округлившимися от тревоги глазами, но... что тут скажешь?

— Иду-гляжу... сидит у Ялы народ, у пустых возов... убиваются — пла-чут! Чего такое?.. Вон что! На перевале остановили-обобрали... все-то все отняли, кто чего в степи выменял на последнее! Открытый разбой пошел... И на степи-то, сказывают, го-лод! Куда ж это все подевалось-то? Да степь-то наша валом-завалена была, на годы прямо! Тить-ти какие дела пошли... а! Что уж рыбаки наши... вольный, прямо, народ... а и те заслабли! А какая теперь рыба! Камсы-то ждать... нá-весну ей ловиться, эн когда!..

Шура Соколов объехал горку, нагляделся на горы-море, вынул серебряный портсигар, закурил папироску — душистый табак ламбатский. Шажком прогуливает. Нянька поджала тонкие губы, — выжидает, когда проедет, так и прощупывает глазами.

— Налился-то как... через хлещет! По три кружки одного молока ду-ет! Вот ты и погля-ди-и... И курочки, и яички, и... И отку-дова что берется! А ты хоть тут подохни!.. Ко-пеечки негде заработать. А бывало-то, бархатный-то сезон... Стиркой, бывало... да больше двух рублей заработаешь! А на базар-то придешь...

го-ры! И сала тебе, и барашка, и яички... и красненькие-то, и синенькие, и... А хлеб-то какой был, пу-ух пухом!..

Скучно слушать, а она ищет у меня утешения, какого-то «слова верного». Нет у меня никакого слова. Я хочу оборвать последнее, что меня вяжет с жизнью, — слова людские.

— Ходила в этих вот... в советских садах работать... — полфунта хлеба! да ка-кого! одна мякина. Еще вина полбутылки. А денег нет, не отпечатали! Как, говорит, отпечатаем, тогда... А гово-ри-ли-то-о!.. Озолотим на всю поколению! Вот и колей, поколение-то оно какое! А мне чего с детями полфунта? А по садам кто работает, с полбутылки валятся... голодные! Ребятишкам вино дают, мальчишки пьяне-ошеньки... Всем, значит, помирать скоро?..

И я говорю ей «слово»:

— Что ж, и помирать придется.

Она даже бросает хворост.

— Да ведь о-бидно! Ни во что ведь вышло-то все! Насулили-намурили — берись теперь! Я про себя не говорю, — детей жалко. Старшие у меня на ноги хоть стали, а эти!.. Барыня уже все распроменяла, вот-вот сама-то завалится... А что я вам скажу... — шепотком говорит нянька, и все оглядывается: — Комисса-ра вчерась убили, на перевале! Леня вчера в Ялтах был, слыхал. Продовольственный комиссар наш, на машине ехал... хотел с деньгами на родину тикать! Сичас из лесу выходют с ружьями... отчаянные, не боятся! Ну, конечно, зеленые. Рангелевцы, не признают которые... Стой! Ершов фамилия? Все им известно! Долой слазь! Жену с детями не тронули, отойти велели. А того сейчас цепями к машине прикрутили, горючкой полили и зажгли. Сго-рел! Мы, говорят, за народное право, у нас, говорят, до всего досмотр!.. А?!

Она пытает меня жадными глазами, все «вернаго слова» ждет. Нет у меня для нее слова.

— А сейчас иду по бугорочку, у пристава дачи, лошадь-то зимой пала... гляжу — мальчишки... Чего такое с костями делают? Гляжу... лежат на брюхе, копыто гложут! грызут-урчат. Жуть взяла... чисто собачонки. Вот подкатило-подкатило, — сблевала, простите ска-

зать... да не емши-то... Ну, вот... за коврик бархатный три фунтика всего дали ячменьку... а завтра-то чего будем?.. Уж скорей бы!

Она машет рукой, забирает палки и уходит — качается, вот-вот споткнется. Не чует она, что скоро у нее случится, как будет варить кашу из пшеницы... с кровью! Или чует? Я теперь вспоминаю... В ее глазах был тогда неподдельный ужас... Часто говорила она о своем Лене, — собирался на степь поехать, за что-то добыть пшеницы...

А еще совсем недавно она ждала, что всем раздадут и дачи, и виноградники, всем, как она, «трудящим», и будут они жить, как господа жили. Наше будет! Слыхала она «верное слово», как орал матрос на митинге: «Теперь, товарищи и трудящие, всех буржуев прикончили мы... которые убегши — в море потопили! И теперь наша советская власть, которая коммунизм называется! Так что до-жили! И у всех будут даже автомобили, и все будем жить... в ванных! Так что не жись, а едрена мать. Так что... все сидеть на пятом этаже и розы нюхать!..»

Ну, вот. Ступай и бери: и виноградники, и сады, и дачи, все — бесхозяйное, все — пустое!

— А ведь забыла! — окликает нянька. — Иван Михалыч вам кланяться наказали, зайтить хотели! На базаре попался. Вот уж стра-сти! Не узнала и не узнала... — рваный, грязный, на ногах тряпки наверчены, еле идет с палкой. Гляжу, — старичок какой-то нищий стоит у ларя, у грека, кланяется-просит... а грек и говорит: «Господин професхор, пожалуйте вам!» В корзиночку ему три грецких орешка положил и картошек пару. Ма-тушки! Иван Михалыч! А дача-то какая у них была! Я ведь на них стирывала, бывало. Книг полна комната, и все-то пишут! А теперь с голоду помирают, стаaренькие стали. Признали меня и говорят: «Вот, Тимофевна, народушко-то наш праведный за труды-то мои как отблагодарил! на пенцию-то мою воробьиный мне паек выписал!» Ведь это как сказал-то! И верно, что вы думаете... дураки-то мы, ничего не разумеем... Какой такой воробьиный? «А по фунту хлеба... на месяц!» Что вы думаете, верно! «Вот и бумажка с печатью всенародной прислана». Вынул бумажку, греку подал, а сам все кланяется, трясется. Стал грек разбирать-читать, еще подошли люди. Верно! По тыще

рублей на месяц, насмех! А хлеб-то нонче... двенадцать тысяч фу-унт! Говорить стали которые, а тут с ружьем подошел, прислушал. «Над нашей властью смеешься, старый черт?» И всякими словами! «Тебе, говорит, сдохнуть давно пора, а ты еще за народным хлебом трафишься!» И всех разогнал. Да еще грозился подва-лом! Какой народ дерзкий... А какая дача-то была-а...

Ушла наконец. В глубокую балку уйти? рубить, рубить... А павлин и там слышен. Солнце словно заснуло, за Бабуган не хочет. А, Жаднюха заявилась, на мои руки смотрит... Ага, у меня миндалек, вот что. Я разламываю его на крошечки. Ну, поди ко мне, ласковая моя. Давай-ка сядем, и я расскажу тебе сказочку...

Я усаживаюсь на краю балки, сажаю Жаднюху на колени и тихо глажу. Она начинает заводить глазки.

...Ну, слушай. Жил-был Иван Михайлыч, писал книжки. По этим книжкам и мы с тобой учились. Потом про Ломоносова писать начал. Ты, Жаднюха, даже и про Ломоносова не знаешь, как и Тимофевна, хоть ты и умная русская курочка... Тебе бы только миндалек есть. Ничего, ты честная курочка, и если тебя кормить, ты к Рождеству непременно отплатила бы мне яичком. Верно? Не спишь, плутишка... Знаю тебя, ты гордая курочка. Говорить только не умеешь. А если бы ты умела говорить... Ну, спи. С голоду спится. Так вот, про Ломоносова... даже и премию ему дали... Была у нас в Питере такая Академия наук... Буржуи, конечно, там всякие сидели, «ученая рухлядь» всякая... Жаль, далеко ты не ходишь, а то бы послушала, как там, внизу, умные парнишки объясняют! Ну, вот эта самая «ученая рухлядь» за Ломоносова-то пре-мию Ивану Михайлычу дала, медаль золотую. Ну, и... золотую медаль у него грек купил, который ему орешка-то положил, или татарин там, или еще кто... за пуд муки. Вот ты легонькая какая стала, и Иван Михайлыч тоже... совсем облегчился, и остались у него только... ничего не осталось, один Ломоносов в голове! И стал Иван Михайлыч за хлебом по горам лазить, как ты по балкам. За уроки ему платили щедро: полфунта хлеба и хорошее полено! Чего ты испугалась? Ляля то кричит... У меня спи спокойно. Не дрожи... Да, полено. Очень уж

он полену-то радовался! Человек старый, холодно зимой про Ломоносова-то писать, а за дровами-то в балку надо. Куда ему зимой в балку! А скоро и поленья перестали давать: некому и учиться стало, голод. И вот, на прошенье Ивана Михайлыча, — прислали ему бумагу, пенсию! По три золотника хлеба на день! А знаешь ли что, Жаднюха... да уж не спутали ли они? Может, это они про тебя прознали, что на горке такая умная курочка живет-голодает... да тебе и назначили?.. Ты чего опять? мало, что ли?! три-то золотника?!. Тебе бы, дурашке, гордиться надо... Вот и рассказал тебе сказочку. Ну, гуляй. Ишь как Лярва-то прекрасно гуляет! Гуляй и ты.

Ковыляет по павлиньему пустырю, за балкой, хромая рыжая кляча — остов. Пройдет шага два — и станет. Понюхает жаркий камень, отсохшее, колкое перекати-поле. Еще ступит: опять камень, опять желтенькая колючка. Отведет голову на волю — море: синее и пустое. Отвернется, ступит. На ее боках-ребрах грязной медью отсвечивает солнце.

Это кобыла Лярва, с дачи под пустырем, где старый Кулеш стучит колотушкой по железу, выкраивает из старого железа новые печки, — в степь повезут обменивать на картошку. Давно не запрягает ее хозяин. Надорвалась весною, как возила тощенького старичка-покойничка на кладбище, — с тех пор хиреет. Ходит старуха хитро, упасть боится. Упадет — не встанет. Приглядывается к ней Вербина собака, Белка: чует.

Умирающие кони... Я хорошо их помню.

Осенью много их было, брошенных ушедшей за море армией добровольцев. Они бродили. Серые, вороные, гнедые, пегие... Ломовые и выездные. Верховые и под запряжку. Молодые и старые. Рослые и «собачки». Лили дожди. А кони бродили по виноградникам и балкам, по пустырям и дорогам, ломились в сады, за колючую проволоку, резали себе брюхо. По холмам стояли-ожидали — не возьмут ли. Никто их не брал: боялись. Да и кому на зиму нужна лошадь, когда нет корму? Они подходили к разбитым виллам, протягивали головы поверх заборов: эй, возьмите! Под ногами — холодный камень да колючка. Над головой — дождь и тучи. Зима вступает. Вот-вот снегом с Чатырдага кинет: эй, возьмите!!

Я каждый день видел их на холмах — там и там. Они стояли недвижно, мертвые и — живые. Ветер трепал им хвосты и гривы. Как конские статуи, на рыжих горах, на черной синеве моря, — из камня, из чугуна, из меди. Потом они стали падать. Мне видно было с горы, как они падали. Каждое утро я замечал, как их становилось меньше. Чаще кружились стервятники и орлы над ними, рвали живьем собаки. Дольше всех держался вороной конь, огромный, — должно быть, артиллерийский. Он зашел на гладкий бугор, поднявшийся из глубоких балок, взошел по узкому перешейку и — заблудился. Стоял у края. Дни и ночи стоял, лечь боялся. Крепился, расставив ноги. В тот день дул крепкий норд-ост. Конь не мог повернуться задом, встречал головой норд-ост. И на моих глазах рухнул на все четыре ноги, — сломался. Повел ногами и потянулся...

Если пойти на горку — глядеть на город, увидишь: белеют на солнце кости. Добрый был конь, — артиллерийский, рослый.

Лярва подобралась к веранде, где вонючие уксусные деревья. Вытянулись деревья — не даются. Так и будет стоять, пока не возьмет хозяин. Ходит за ней павлин, поглядывает на ее хвост-мочалку, — а пока землю долбит.

Некуда глаза спрятать...

По горам тени от облачков, играют тенями горы. Посветлеют и потемнеют.

ПРО БАБУ-ЯГУ

Я сижу на обрыве. Черная стена шифера падает в глубину, — там в ливни шумят потоки. Вид отсюда — на весь Уголок внизу. Там, вдоль пустынного пляжа, уныло маячат дачки, создававшиеся любовно, упорным трудом всей жизни, — тихий уют на старость. Там — весь Профессорский Уголок, с лелеянными садами, где сажались и холились милые розы, привитые «собственною рукой», где кипарисами отмечались этапы жизни, где мысль покоряла камень. Где вы теперь, почтенные созидатели, — профессора, доктора, доценты, — насельники дикого побережья земли татарской, близорукие и наивные, говорившие «вы» — камням? кормильцы плутов-садовников, покорно платившие по счетам мошенников всех сортов, занятые «прохождением Венеры через диск сол-

на», сторонники «витализма и механизма», знатоки порфиритов и диоритов, продумыватели гипотез, вскрыватели «мировой тайны»? Продумывали вы свои дачки и виноградничкиǃ Без вас решены все тайны. Ваши дворники волокут на базар письменные столы и кресла, кровати и умывальники; книги ваши забрал хромой архитектор, а садовники ободрали ваши складные стулья и нашили себе штанов из парусины. Плюнули в кулаки — махом одним сволокли «рай» на землю! Где вы теперь, рассеянные мечтатели?..

Бежали — зрячие. Под землю ушли — слепые. «Читают» что-то за воблу, табак и полфунта соли — уставшие.

Дачки, дачки... Из той вон, серой, с черепичной крышей, взяли семерых моряков-офицеров, доверчивых, — угнали за горы и... «выслали на Север»... А в этой, белой и тихой, за кипарисами, милый старичок жил, отставной казначей какой-то. Любил посидеть у моря, бычков ловить. Пятилетняя внучка камушки ему приносила:

— А вот сельдолик, дедя!

— Ну какой это сердолик! Нет, не сердолик это, а... шпат!

— Спать... А какой сельдолик, дедя?

— Такой... прозрачный, как твои глазки. А сейчас мы бычка изловим... Вот и поищи сердолика... а вот и бычок-шельмец!

Любил ранним утром, когда так хорошо дышать, пойти с травяной сумочкой на базар, за помидорчиками и огурчиками, за брынзой... Так и попался с сумочкой. Пришли люди с красными звездами, а он, чудак, за помидорчиками на базар идет, на синее море любуется, синий дымок пускает.

— Стой, тебе говорят, глухой черт! Почему шинель серая, военная? погонная?!.

— А... донашиваю, голубчики... казначеем когда-то был...

— Чем занимаешься?

— Бычков ловлю... да вот, на базар иду. На пенсии я теперь, от Белого Креста пенсию получаю... вольный теперь казак.

— С Дону казак? За нами!

И взяли старичка с сумочкой. Увезли за горы. Сняли в подвале заношенную шинель казачью, сняли бельишко

рваное, и — в затылок. Плакала внучка в пустой дачке, жалели ее люди: некому теперь за помидорчиками ходить, бычков ловить... Чего же, глупая, плакать?! За дело взяли: не ходи за помидорчиками в шинели!

Некуда глаза спрятать...

Вон, под Кастелью, на виноградниках, белый домик. До него версты три, но он виден отчетливо: за ним черные кипарисы. Какие оттуда виды, море какое, какой там воздух! Там рано расцветают подснежники, белый фарфор кастельский, и виноград поспевает раньше, — от горячего камня-диорита, — и фиалки цветут на целую неделю раньше. А какие там бывают утра! А сколько же там дроздов черных поет весною, и как там тихо! Никто не пройдет, не проедет за день. Вот где жить-то!..

Вчера ночью пришли туда — рожи в саже. Повернули женщин носами к стенке: не подымать крику! Только разве Кастель услышит... Последнее забрали: умирайте. А на прощанье ударили прикладом: помни! А этой ночью вон за той горкой...

Поторкивает-трещит по лесистым холмам — катит-мчит. Автомобиль на Ялту? Пылит по невидимой дороге. В горы, в леса уходит. Автомобили еще остались, кого-то возят. Дела, конечно. Без дела кто же теперь кататься будет!

Я смыкаю глаза в истоме, дремотно, сквозь слабость, слышу: то наплывает, то замирает торканье. Грохот какой ужасный, словно падают горы. Или это кровью в ушах гудит, шумит водопадами в голове... С чего бы это? Кружится голова — вот-вот упадешь, сорвешься. А, не страшно. Теперь ничего не страшно.

Я опираюсь на кулаки, вглядываюсь к горам, сквозь слабость. Зеленое в меня смотрит, в шумах, — дремучее... Погасает солнце, в глазах темнеет... Ночь какая упала! Весь Бабуган заняла, дремучая. Дремучие боры-леса по горам, стена лесная. Это давние, те леса. Их корни везде в земле, я их вырубаю му́кой. О, какие они дремовые, — холодом от них веет, лесным подвалом! Грызть-продираться через них надо, железным зубом. Шумит-гремит по горам, по черным лесам-дубам, — грохот какой гудящий! Валит-катит Баба-Яга в ступе своей железной, пестом погоняет, помелом след заметает... помелом железным. Это

она шумит, сказка наша. Шумит-торкает по лесам, метет. Железной метлой метет...

Гудит в моей голове черное слово — «метлой железной»! Откуда оно, это проклятое слово? кто его вымолвил?.. «Помести Крым железной метлой»... Я до боли хочу понять, откуда это. Кто-то сказал недавно... Я срываю с себя одолевшую меня слабость, размыкаю глаза... Слепящее солнце стоит еще высоко над раскаленной стеной Куш-Каи, зноем курятся горы. Катит автомобиль на Ялту... Да где же сказка?

Вот она, сказка-явь! Пора, наконец, привыкнуть.

Я знаю: из-за тысячи верст, по радио, долетело приказ-слово, на синее море пало:

«Помести Крым железной метлой! в море!»

Метут.

Катит-валит Баба-Яга по горам, по лесам, по долам — железной метлой метет. Мчится автомобиль за Ялту. Дела, конечно. Без дела кто же теперь кататься будет?

Это они, я знаю.

Спины у них — широкие, как плита, шеи — бычачьей толщи; глаза тяжелые, как свинец, в кровяно-масляной пленке, сытые; руки-ласты, могут плашмя убить. Но бывают и другой стати: — спины у них — узкие, рыбьи спины, шеи — хрящевый жгут, глазки востренькие, с буравчиком, руки — цапкие, хлесткой жилки, клещами давят...

Катит автомобиль на Ялту, петлит петли. Кружатся горы, проглянет и уйдет море. Высматривает леса. Приглядывается солнце, помнит: Баба-Яга в ступе своей несется, пестом погоняет, помелом след заметает... Солнце все сказки помнит. И добела раскаленная Куш-Кая, плакат горный. Вписывает в себя.

Время придет — прочтется.

С ВИЗИТОМ

Опять я слышу шаги... А, какой день сегодня!

Кто-то движется за шиповником, стариковски покашливает, подходит к моим воротцам. Странная какая-то фигура... Неужели — доктор?!

Он самый, доктор. Чучело-доктор, с мешковиной на шее, — вместо шарфа, с лохматыми ногами. Старик доктор, Михайла Васильич, — по белому зонтику признаешь. Правда, зонтик теперь не совсем белый, в заплатках

из дерюжки, — но все же зонтик. И за нищего не сойдет доктор: в пенсне — и нищий! Впрочем, что теперь не возможно?!

Да, доктор. Только не тот старичок доктор, у которого индюшка расколотила чашку, — тот на самом тычке живет, повыше, — а другой, нижний доктор, из садов миндальных. Чудесные у него сады были! Жил он десятки лет в миндальных своих садах, жил одиноко, глухо, со старухой нянькой, с женой и сыном. Химией занимался, вегетарианил, опыты питания над собой и семьей делал. Чудак был доктор.

— А, доктор!..

— Добрый день. Вот и к вам, с визитом. Хорошо здесь у вас, высоко... далеко... не слышно...

— А чего слушать?..

— Мне доводится-таки слушать... матросики у меня соседи, с морского пункта, за морем наблюдают. Ну, и приходится слушать всякие по-этические разговоры, эту самую «словесность». Да, язык наш о-чень богатый, звучный... Как у вас тихо! никаких таких звуков, в стороне от большой дороги. Да у вас прямо мо-литься можно! Горы да море... да небо...

— Есть и у нас звуки и... знаки. Прошу, доктор!

Мы садимся над виноградной балкой — в дневном салоне.

Эй, фотограф! бери в аппарат: картинка! Кто эти двое, на краю балки? эти чучела человечьи? Не угадаешь, заморский зритель, в пиджаках, смокингах и визитках, бродящий беспечно по авеню, и штрассам, и стритам. Смотри, что за шикарная обувь... от Пиронэ, черт возьми! от поставщиков короля английского и президента французского, от самого черта в ступе! Туфли на докторе из веревочного половика, прохвачены проволокой от электрического звонка, а подошва из... кровельного железа!

— Практичная штука, месяц держит. На постолы татарские не могу сбиться, а все мои «евро-пейские», сапоги и ботинки... тю-тю! Слыхали, — все у меня изъ-я-ли, все «излишки»?.. Как у нас раз-де-вать умеют! ка-ак у-ме-ют!.. что за народ спо-собный!..

Я слыхал и другое. Отняли у доктора и полфунта соломистого хлеба, паек из врачебного союза.

— Да, кол-ле-ги... Говорят коллеги, что теперь «жизнь — борьба», а практикой я не занимаюсь! А «нетрудящийся да не яст»! И апостола за бока, на потребу если...

Он смотрит совсем спокойно: жизнь уже за порогом. Совсем белая, кругло подстриженная бородка придает его стариковскому лицу мягкость, глазам — уютность. Лучистые морщинки у глаз и восковой лоб в складках делают его похожим на древнерусского старца: был когда-то таким Сергий Преподобный, Серафим Саровский... Встреть у монастырских ворот — подашь семитку.

Доктор немного странный. Говорят про него — чудашный. Продал недавно участок миндального сада с хорошим домом, выстроил себе новый домик, «из лучинок», а остаток денег выменял на катушки ниток, на башмаки и на платье.

— Ведь деньги скоро ничего не будут стоить!

И вот у него отняли все катушки, все штаны и рубашки — все «излишки». В этом году он похоронил старуху няньку, сумасшедшего сына Федю и жену — недавно.

— Наталья Семеновна моя всегда была строгая вегетарианка, — и вот, цингой заболела. Последние дни, — все равно, думаю, опыт кончен! — купил я ей на последнее барашка, котлетки сделал... С каким восторгом она котлетку съела! И лучше, что померла. Лучше теперь в земле, чем на земле.

У доктора дрожат руки, трясется челюсть. Губы его белесы, десны синеваты, взгляд мутный. Я знаю, что и он — уходит. Теперь на всем лежит печать ухода. И — не страшно.

— А слыхали, какой я ей оригинальный гроб справил? — прищурился-усмехнулся доктор. — Помните, в столовой у нас был такой... угольник? оре-ховый, массивный? Абрикосовое еще варенье стояло... из собственных абрикосов. Ах, что за варенье было! Четыре банки они этого варенья взяли, все, что было. Конечно, абрикосов они не растили, варенья этого не варили, но... они тоже хотят варенья, а потому!.. Конечно, это уже другая геометрия... Эвклид-то уже, говорят, провалился с треском, и теперь, по Эйнштейну... Да, о чем это я?.. Вот так па-мять!..

Доктор потирает вспотевший лоб и смотрит виновато-жалко. Я его навожу на мысли.

— А, угольник... Наталья Семеновна очень его ценила... приданое ведь ее было! И звали мы его все — «Абрикосовый угольник»! Понимаете вы отлично, как в каждой семье милые условности свои есть, интимности... поэзия такая семейная, ей одной только и понятная! В вещах ведь часть души человеческой остается, прилипает... У нас еще диван был, «Костей» звали... Студент-репетитор на нем спал, Костя. И «Костю» забрали... Забрали у меня, например, портрет отца-генерала... единственное воспоминание! «Генерала забрать!» Забрали! И генерал-то мирный, ботаникой занимался...

— Так вы про угольник, доктор...

— Да-да... Когда мы еще молодые с ней были... Неужели это было?!. Лет тридцать тому, приехали мы сюда, и я засадил пустырь миндалями, и все надо мной смеялись. Миндальный доктор! А когда сад вошел в силу, когда зацвел... сон! розовато-молочный сон!.. И Наталья Семеновна, помню, сказала как-то: «Хорошо умереть в такую пору, в этой цветочной сказке!» А умерла она в грязь и холод, в доме ограбленном, оскверненном... Да, со стеклянной дверцей, на ключике... Право, нисколько не хуже гроба! Стекло я вынул и забрал досками. Почему непременно шестигранник?! Трехгранник и проще, и символично: три — едино! Под бока чурочки подложил, чтобы держался, — совсем удобно! Купить гроб — не осилишь, а напрокат... — теперь напрокат берут, до кладбища прокатиться!.. а там выпрастывают... — нет: Наталья Семеновна была в высшей степени чистоплотна, а тут... вроде постели вечной, и вдруг из-под какого-нибудь венерика-кошкоеда или еще хуже! А тут свое, и даже любимым вареньем пахнет!..

И он запер свою Наталью Семеновну на ключик.

— Хотели бан-даж мой взять! ремни приглянулись... Забыли! А у меня бандаж... по моему рисунку у Швабе сделан! Теперь ни Швабе, ни... один Гра-бе! Все забрали. Старухины юбки, нянькины, — и те взяли. «Я, — говорит, — трудом пошилась!» Швырнули одну: «ты, — говорят, — раба!» Все гармоньи взяли. Я туляк, еще с гимназии полюбил гармонью... Концертные были, с серебряными ладами... Затряслись даже, как увидали... Гармонь! Тут же и перебирать один принялся... польку...

Штаны на докторе — не штаны, а фантастика: по желтому полю цветочки в клетках.

— Из фартуков няниных, что осталось. А внизу у меня дерюжина, да только в краске, маляры об нее кисти, бывало, вытирали. А пиджачок этот еще в Лондоне был куплен, износу нет. Цвет, конечно, залакировался, а был голубиный...

Я всегда думал, что пиджак черный, с кофейной искрой.

— Это все пустяки, а вот... все градусники у меня отобрали, и максимальные, и... Три барометра было, гигрометр, химические весы, колбы... Реактивы хотели... — думали, что настойки! Схватили бутылку — спирт!! Да нашатырный! Буржуем обозвали.

— А который теперь час, доктор?

— Де-крет! — пугливо-строго говорит доктор и поднимает черный от грязи палец. — Ча-сы теперь строго воспрещены, буржуазный предрассудок!

Нет, он не собирается уходить. Он переполнен своим и разбрасывает «излишки».

— Но я без часов могу, потому что читал когда-то Жюля Верна...

Он прищуривается на солнце, растопыривает пальцы и глядит в развилку. Он помахивает пальцем то к Кастели, то к седловине за Бабуганом.

— Помните, у Жюль Верна... Сайрос Смис в «Таинственном острове» или Паганель!.. Как это давно было и как все-таки хорошо, что было, и у нас тогда они не изъяли книги! И я в том же роде изловчаюсь. Могу до пяти минут с точностью, если солнце... Сейчас... без десяти минут час. Мысленными линиями по вершинам, зная максимальную высоту... А вот в туман или вечернее время... по звездам еще не изловчился. Ах, как без часов скучно! У нас все по часам было. Ложились без четверти в десять, вставал я в половине пятого ровно. И сорок уже лет так. Трое часиков было — взяли. Английские очень жаль, луковицей. Старинные лорды такие часы любили, часы на совесть. Но какая история роковая!.. Неужели вам не рассказывал?! Необходимо опубликовать! Это о-чень важно, в предупреждение человечеству! чрезвычайно важно!..

— Ну, расскажите, доктор!

Доктор поглядел на меня с укором.

— Вы как будто не верите, что это имеет отношение к человечеству... история с моей «луковицей»? Напрасно. В этом вы сейчас убедитесь. Есть в вещах роковое что-то... не то чтобы роковое, а «амулетное». Как хотите толкуйте, а я говорю серьезно: во всех этих газетах, которые вот «влияют»... «Таймс» или... как там... «Чикаго трибюн», «Тан», понятно... — непременно опубликуйте! Я уже не смогу, я без пяти минут новопреставленный раб... не божий, не божий, а... человеческий! и даже не человеческий!!.. Да чей же я раб, скажите?! Ну, оставим. А вы... дол-жны опубликовать! Так и опубликуйте: «Мементо мори, или «Луковица» бывшаго доктора, нечеловеческаго раба Михаила». Это очень удачно будет: «нечеловеческаго»! Или лучше: нечеловечьего!

Он, чудак, говорил серьезно, даже взволнованно.

— Это случилось лет пятьдесят тому... в тысяча восемьсот... Нет, конечно... ровно сорок лет тому, в восемьдесят первом году. Мы с покойной Натальей Семеновной путешествовали по Европе, совершали нашу свадебную и, понятно, «образовательную» поездку. В Париже мы погостили недолго, меня упорно тянуло в Англию. Англия! Заманчивая страна свободы, Габеас Корпус... парламент самый широкий... Герцен! Тогда я был молод, только университет окончил, ну, конечно, революционная эта фебрис... Ведь без этой «фебрис» вы человек погибший! Да еще в то-то героическое время! Только-только взорвали «Освободителя», блестящий такой почин, такие огнесверкающие перспективы, в двери стучится со-ци-а-лизм, с трепетом ждет Европа... температурку-то понимаете?!.. Две вещи российский интеллигент должен был всегда иметь при себе: паспорт и... «фебрис революционис»! О паспорте правительство попечение имело, а что касается «фебрис» — то этой самой... тут круговая порука всех российских интеллигентов пеклась и контроль держала, и их во-ждей! Чуть было не сказал — козлов! Но не в обиду вождям, а по русской пословице нашей: «куда козел — туда и стадо»! Разные, конечно, и вожди эти самые бывали... были и такие, что и в России-то никогда не

бывали... бывали и такие, что... собственную мамашу удавят ради «прямолинейности»-то и «стройности» системы своей-чужой, а ты... дрожи! Там хоть ты и пустое место, и пьяница, и дубина сто восемьдесят четвертой пробы, и из карманов носовые платки можешь... только дрожи и дрожи дрожью этой самой, правительству невыносимой, — и вот тебе авансом билет на свободный вход в царство «высокое и прекрасное». И не без выгоды даже. Я не дрожал полной-то дрожью, а лихорадило не без приятного жара! Без слез, но подрагивал. Ах, зачем я не оставляю в поучение поколениям «записок интеллигента Т-ва Мануфактур и К»! Теперь все равно, без пользы. Смотрите-ка, повалилась кляча!..

Да, Лярва легла, вытянув голову к недоступной тени. Ноги ее сводило. Пораженный ее новым видом, павлин проснулся и закричал пустынно. Из тенистой канавки, под дачкой, выбралась тощая Белка и огляделась.

— Как в трагедии греческой! — усмехнулся доктор. — Разыгрывается под солнцем. А «герои»-то... за амфитеатром... — обвел он рукою горы. — То есть боги. В их власти и эта кляча несчастная, как и мы. Впрочем, мы с вами можем за «хор» сойти. Ибо мы, хоть и «в действии», но прорицать можем. Финал-то нам виден: смерть! Вы согласны?

— Вполне. Все — обреченные.

— До этого дой-ти надо! Дошли? Прекрасно. О чем я начал? Память совсем никуда... Да, «фебрис» эта... Габеас Корпус, Герцен, Гамбетта, Гарибальди, Гладстоун!.. Странная штука, вы замечаете, — все «глаголи»! Тут, обратите внимание, что-то ми-стическое и как бы символи-стическое! Гла-голи! Конечно, и в Англии я глаголил. И «мощи» заповедные посещал, и поклонялся им не без трепета, и фимиам воскурял. И даже в Гайд-Парке пару горячих подал. Воздух самый какую-то особенную прививку там делает: непременно хулой колыбельку свою — правда, грязненькую, но все-таки колыбельку! — обдашь, грязненькие очки наденешь. И конечно: «да здравствует Революция — с прописной буквы, понятно, из уважения, — и переат полицеа!» И вот пошел покупать часы. Зашли мы с Наташей... Тогда я ее Наталочкой звал, а в Лондоне — Ната и Нэлли, на английский манер. А теперь... на

ключике в угольничке абрикосовом!.. Да так и предстанет перед Судиею на Страшный суд! — скрипуче засмеялся доктор. — Вострубит Архангел, как надлежит по предуказанному ритуалу: «Эй, вставайте, все умерщвленные, на Инспекторский Смотр!» — И восстанут — кто с чем. Из морских глубин, с чугунными ядрами на ногах, из оврагов предстанут, с заколоченными землею ртами, с вывернутыми руками... из подвалов даже — с пробитыми черепами предстанут на Суд и подадут обвинение! А моя-то Наталья Семеновна — на клю-чик! Да ведь хохот-то какой, грохот подымется! водевиль! И еще... ах-ха-х-а!.. с... с абри... косовым вареньем... в мешковине... из-под картошки в мешочек обряжена!.. ведь все, все забрали у нее, все рубашечки... все платья... для женского пола своего... все «излишки» ведь в ее-то платьях... шелковое зеленое ее помню... Настюшка Баранчик, с базара, из «татарской ямки», потом выщегаливала!.. Вот бенефис-то будет! Архангелы-то рты разинут! Сам Господь Саваоф...

Доктор вскочил внезапно и затрепал в ладоши:

— Ш-ши ты, подлая, окаянная псина!..

Белка скакнула через Лярву и уюркнула за дачку. Павлин стоял в головах Лярвы, тряс радужным хвостом-опахалом и топтался.

— Глядите, он ее провожает! — воскликнул доктор. — Вот так апофеоз! Ну, как же не из трагедии?! — Он потер лоб и сморщился. — Как сон какой-то... И что за память дырявая! Сегодня я забыл — «Отче наш»! Три часа вспоминал — не мог! Пришлось открывать молитвенник. Я по поводу этого должен сделать интересное обобщение, но это потом... А теперь... Да о чем же я говорил-то?..

— Пришли покупать часы, доктор...

— Да, часы... Зашли мы с ней в гнусный какой-то переулок, грязный и мрачный, у Темзы где-то. Дома старинные, закопченные, козырьки на окнах... и погода была — как раз для самоубийства: дождишко скверненько так сочился через желтый, гнилой туман, и огоньки грязного газа в нем, — и в полдень! И вдобавок еще липко воняло морской этой слизью рыбьей... Помню, отвратительное было настроение. И какой-то хромоногий эмигрантик русский дорогу нам указал, все кашлял и плевал

кровью. Местечко такое... из Диккенса. А в темных лавках, за зелеными шторками с бахромой все антиквары, антиквары, в норах своих, как пауки, в пыли, в паутине, серые, таинственные... пауки глубин жизни... шевелятся там со старьем со всяким, в губу нашептывают... Чего-то там нет только! И все — отшедшее. Секстаны ржавые, пиратские шпаги, от флибустьеров и буконьеров, «боги» всякие, с островов малайских и папуасских, из тропических прорв и дебрей, из человечьих костей печатки царьков диких, скальпы там, амулеты... — пеленки, так сказать, человечьи, но с кровью. И «пауки» эти точно отбор в них делают, подчищают: кому еще, пожалуй, и пригодится!

— Доктор, вы опять уклоняетесь. Вы про какие-то часы хотели...

Доктор вдумчиво посмотрел на меня и покачал головой.

— Это и есть про часы! Я еще немного соображаю, потому и... про обстановку. Из каких «пеленок»-то я эти часы принял! Вы то возьмите, что все эти лавчонки на чем стоят? чуланчики эти человеческие?! На грабеже и хищении! на слезе, на крови чьей-то, на основном, что в недрах всей «культуры» человечьей лежит: на том, чтобы загадить и растрясти! ну, что там лавчонки!.. это уж самый последний сорт, на манер лукошка, куда кухарка птичьи кровяные перья сует, себе на подушку... А вы «ма-га-зи-ны»-то обследуйте! где злато и серебро, и бриллианты, и жемчуга, и ду-ши, ду-ши опустошенные, человеческие, глаза, истаявшие слезами!.. Ведь всякое «потрясение»-то, на высокополитическом блюде поданное, с речами, со слезой братской, бескорыстной и с «дрожью» этой самой восторженной, в подоплеке-то самой сокровенной непременно в корешках своих на питательное донышко упирается, на кулебячку будущую... и всегда обязательно кой для кого «кулебячки» этой и достигает! Ну, после нашего-то «потрясения» сколько лукошек-то этих с курячьими перьями создадут! А «магазины», небось, по всему свету пооткрывались...

Что такое поторкивает-трещит... к морю?.. А, это моторный катер, а может, и «истребитель». Вон он, черная стрелка в море, бежит и бежит на нас; бежит за ним, крутится пенный хвост, на две косы сечется.

— Слышите?.. — шепчет доктор и зажимает уши. — «Истребитель»... За ними это...

— За кем, доктор?..

— Что по амнистии с гор спустились. Не слышали? теперь их заберут «для амнистии». Что, трещит?.. Не могу выносить... устал.

Я вижу, как «истребитель» под красным флагом завертывает широко к пристаньке. Я знаю, что те семеро недавно спустившихся с гор непокорных «зеленых» слышат в своем подвале, что пришел «истребитель»... пришел за ними.

— Теперь не трещит, доктор.

— Завтра, а может, и нынче ночью... — значительно говорит доктор, — их «израсходуют»... а их сапоги и френчи, и часики... поступят в круговорот жизни. Их возьмут ночью... Молодую женщину показывали мне сегодня, там ее муж или жених. Теперь и она слышит... Она, представьте, на что-то надеется!

— На пощаду?..

— На что-то надеется... — шепчет доктор. — Что-то может случиться. Поживем до завтра.

— Так вы про часы хотели...

— А, да... Мне один знакомый присоветовал там походить, у Темзы: попадаются чудеса. Матросы со всех концов света такое иной раз привозят, по океанам рыщут. А мне какие-нибудь редкостные часы хотелось приобрести, от какого-нибудь мореплавателя, от Кука или Магеллана... Страсть к экзотическому у меня с детства осталась, от капитана Марриэтта, от Жюль Верна... От какого-нибудь старинного капитана, «морского волка»... выменял он, глядишь, у какого-нибудь царька людоедов, а к тому попали от какого-нибудь там гранда испанского, которого выкинуло с погибшего корабля... Все мы до страсти любим вещички, связанные с трагедией человеческой. Ну, попробуйте объявить, что имеется у вас, например, меч, которым палач китайский тысячу голов отрубил... за тысячи фунтов купят, найдутся люди! И всякому лестно иметь у себя на стенке, в кабинете, поразить гостя или девицу прекрасную: «А это вот, скажет, — и даже с равнодушием в голосе, — меч, которым...» — и т. д. ...Эффект-то какой необыкновенный! Какую карьеру можно сделать! Вещи чудодейст-

венным образом путешествуют по свету. Теперь вот наши, русские-то, вещички где, может, гуляют, по каким интернациональным карманам проживают!..

Вот и забрели мы в одну такую лавчонку. Эмигрантик тот рекомендовал, за пару шиллингов. И пошептал знаменательно: «Революционер, ирландец, но виду не подавайте, что знаете». За такое приятное сообщение я хромоногому гиду еще шиллинг добавил! Зашли. Вонь, представить себе не можете! Треской тухлой, креветками, что ли... разлагающейся кровью, такой характерный запах. Ху-же, чем в анатомическом! Хозяин... — как сейчас его вижу. Коренастая обезьяна, зеленоглазая, красно-рыжая, на кистях шишки синие выперло, и они в рыжих волосьях, косицами даже. Горилла и горилла. Ротище губастый, мокрый, рожа хрящеватая, и нос... такой-то хрящ, сине-красный! А на голове низколобой тоже шерсть красно-рыжая, клочьями. Как поглядел на него, так и подумал: если все такие революционеры ирландские, дело будет! Самый настоящий «гом-руль»! На конторке у него, смотрю, бутылка с «уиски» и осьминог соленый, небольшой, одноглазый. Кусочек колечком отмахнет ножичком двусторонним, в волосатой рукоятке с копытцем — может, и от готтентота какого, — посолит красной пылью кайенской и закусит. Со мной говорил, а сам все хлоп да хлоп, из горлышка прямо.

«А-а, русский?! Гуд-дэй! Эмигрант? революционер? Да здравствует республика!» — а сам смеется, осьминога нажевывает.

— Ну, конечно, поговорит... И о порядках наших, и про убийство царя-Освободителя.

А веки у него были вывернуты, и в них кайен и виски. «Поздравляю, — говорит, — вас с подвигом! Если у вас так успешно пойдет, то ваша Россия так шагнет, что скоро ото всего освободится! Способный и великодушный, — говорит, — вы народ, и желаю вам еще такого прогресса. Ит-из-вэри-уэлл!»

Я, конечно, ему опять лапу-клешню пожал накрепко, как мог, и даже слезы на глазах у меня, у дурачка русского. Дрожал даже от «чувства народной гордости»! Сказал, помню:

«У нас даже партия такая создается, чтобы всех царей убивать, такие люди специальные отбираются, террористы, «люди ужаса беспощадного»! Как у себя весь этот корень хрен выведем, по чужим краям двинем динамитом!!!»

Очень это обезьяне понравилось. Зубищи-клыки выставил, кожу спрутову сплюнул и смеется:

«Русский экспорт, самый лучший! Ит-ис-вэри-уэлл!»

И опять друг другу руки пожали. Нет, как вам нравится! Аллианс-то какой культурный, как именинники! Виски угостил и кусок копченого спрута-осьминога подал на китайской тарелке, с золоченым драконом. На этой самой тарелке, говорит, сердца казненных палач главному мандарину посылал с рапортом. А может, и врал. Такой пир антикварно-сакраментальный был... И облюбовал я у него часы-луковицу. Черного золота часы, с зеленью, Говорит:

«Обратите внимание, это не простые часы, а самого Гладстоуна! Его лакей продал мне от него подарок. И стоят двадцать пять фунтов!»

Действительно, вырезано под крышкой: «Гладстоун», и замок на горе. А может быть, и сам, мошенник, вырезал. Ирландец был, разбитной мошенник. Уж очень зеленоглазость его и хрящи эти мне претили, а по разговору, и потому, что он «ирландец», так сказать, угнетаемый, большую симпатию вызывал. И хорошо знаю, что мошенник, а вот... «фебрис»-то эта самая! И что же сказал!

«Возьмите, за полвека ручаюсь!»

Но главное-то не это. Уж очень всучить старался. Три фунта скинул! И послушайте, что же сказал! Обратите внимание:

«Берите за двадцать два, потому что вы русский, и... за вами не пропадет! Своей доблестью... все вернете! Еще фунт скину! Политикой...!.. отдадите! И вот — вспомните мое слово! — эти часы до-хо-дят, когда у вас, в вашей России, Великая Революция будет!»

Помню, сказал я ему: «Дай-то Бог!»

«До-хо-дят!» — говорит.

И вот — «до-хо-ди-ли»! И вот — отобрал их у меня, тоже... ры-жий! и тоже... с хрящеватым носом, да-с! Товарищ Крепс! сту-дент бывший! Сам и аттестовался: бывший студент, и даже... — стишками баловался! Это когда я ему заявил, что я русский интеллигент и доктор,

чтобы у меня хоть градусники не отнимали! И знаете, куда эти часы попали?! Не угадаете.

— В музей... Истории Ре-во-люции?!

— Хуже! В... жилетный карман бывшего студента, мистера Крепса! Да-с! И это так же достоверно, как и то, что сейчас мы с вами — бывшие русские интеллигенты, и все вокруг — только бывшее! В Ялте его на днях видали: носит себе и показывает — «Гладстоун»! Получил ордер на двадцать ведер вина из пролетарских подвалов, в вознаграждение себе, да только увезти не может, лошадей нет. Можете у татар проверить, из общественного подвала! За хлопоты-с! За — «Гладстоун»-с! Да ведь этот — младенчик. Ему бы часики и винца, с девочками гульнуть. А то... Ну, думал ли когда Великий Гладстоун, что его «луковица»!.. Мистическое нечто... А его папаша — не Гладстоуна, конечно, — или дядя, или, быть может, брат там... — размахнулся доктор за горы, — оп-тик! и часиками торгует!.. Отлично я такой магазинчик помню, на Екатерининской, а может быть, и Пушкинской — тоже хорошо! — улице, фамилия врезалась, траурная такая фамилия — Крепс! Уж не ирландская ли фамилия?! Может быть, даже — Краб-с! Глубин, так сказать, морских фамилия! И вот часики мои попадут, быть может, в эту «оптическую лавочку»?! А что?! Очень и очень вероятно! И вдруг, представьте себе, какой-нибудь сэр, доктор Микстоун, скажем, приедет в страну нашу, «свободную из свободных», и гражданин Крепс, с хрящеватым носом, и тоже ры-жий, продаст ему эти часы «с уступочкой», и увезет наивный доктор Микстоун эти часы в свою Англию, страну отсталую и рабовладельческую, и они до-хо-дят до «великой революции» в Англии?! А какой-нибудь, уже ихний сэр Крепс, опять отберет назад?!!.. И так далее, и так далее... в круговороте вселенной!

Доктор немного «тово», конечно... Сидит на краю балки, глядит в глубину, где камни и ливнем снесенные деревья, и все потирает лоб. От него уже пахнет тленьем, он скоро уйдет, и тяжело его слушать... — но он и не собирается уходить.

Индюшка привела курочек, стоит-ждет.

— Ого, — говорит доктор, захватывая покорную индюшку, — препарат для орнитологического кабинета. Два

фунта! Ну, постойте. Мы теперь все на одной ступеньке, и почему бы не одолжить и вам! И дети, и вы, и мы... скоро — тю-тю!

Он развязывает мешочек и дает горсточку горошку. Мы смотрим, оба голодные, как курочки сшибаются в кучку, а индюшка, мать, наблюдает стойко. Когда горошина падает к ней, она нерешительно вытягивает головку, выжидая, не клюнет ли какая-нибудь из курочек, и всегда теряет.

— Учитесь... вы! вы!! — кричит в пустоту доктор. — А я у вас засиделся... Но... надо же нанести визиты. Наношу визиты и подвожу, так сказать, итоги. На многое открылись глаза, поздно только. И вот делюсь, чтобы не испарилось... Подсчитываю итоги своего о-пыта! И знаете, к чему я пришел?

— К чему вы пришли, доктор? Впрочем, теперь это, кажется, не имеет никакого значения...

— Да, конечно. Нос габебит гумус! Но... исповедаться, вырвать из себя, душу облегчить...

— Говорите, доктор.

— Если найдутся силы, я изложу на бумаге, а теперь... И озаглавлю так:

«САДЫ МИНДАЛЬНЫЕ»

— Когда я сюда приехал, я выбрал пустырь, голый бугор, на котором нельзя было стоять, когда задует от Чатырдага... Прошло лет сорок. Вы знаете, что вышло. Миндальные сады насажены по округе, и теперь не смеются. То есть теперь... ну, теперь скоро и некому будет смеяться... Нет, тяжело говорить. И так везде и на всем, — итоги интеллигенции. Теперь будут начинать сызнова, когда прозреют. А может, и некому будет прозревать. Ну, пожил я в миндальных своих садах... светлых и чистых... Знаю, что и ошибки были, и много странного было в моем характере и укладе, но были миндальные сады, каждую весну цвели, давали радость. А теперь у меня — «сады миндальные» в кавычках — итоги и опыт жизни!..

Я привык по часам ложиться, а теперь... как я могу без четверти в десять? И потому бессонница. И память слабнет. Я вам говорил, что недавно забыл, как читается

«Отче наш»... Вы представьте только, что все, все забудут, как читается «Отче наш»?! Помойка ведь надвигается. И уходит из этой помойки — в ничто!! Досадно. Досадно, что я, как я теперь есть, не имею логического права верить! Ибо как после такой помойки поверишь, что там есть что-то?! И «там» обанкротилось! Провалиться с таким треском, с таким балаганным дребезгом, кинуть под гогот и топот и рык победное воскресение из животного праха в «жизнь вечно-высоко-человеческую», к чему стремились лучшие из людей, уже восходивших на белоснежные вершины духа, — это значит уже не провалиться, а вовсе не быть! Никаких абсолютов нет? Нет. И надо допустить, что над человеком можно смело поставить крест по всей Европе и по всему миру и вбить в спину ему осиновый кол. А самое скверное, что иск-то вчинить-то не к кому! И суда-то не будет, да и не было его никогда! И это скоро все узнают, все человекообразные, и пойдет разлюли-гармонь. Сорвали завесу с «тайны»! Дрессировщики-то, водители-то пусть даже пустое место прятали от непосвященных, чтобы на пути стада вывести, а теперь хулиган пришел и сорвал... до сроку сорвал, пока превращение из скотов не закончилось. Нет, теперь в школу-то не заманишь. «Отче-то наш» и забыли. И учиться не будут. С привода сорвалось — качай! Кончилась славная поэма. А знаете... у меня весь миндаль оборвали! Миндальные мои сады рубят... а вот зимой и все доведут до точки... У вас что-то еще болтается, а у меня весь миндаль, пудов восемь, оборвали. А было бы на всю зиму.

— Значит, еще хотите жить, доктор?

— Только разве как экспериментатор. Веду, например, записи голодания. На себе изучаю, как голод парализует волю, и постепенно весь атрофируешься. И вот какое открытие: голодом можно весь свет покорить, если ввести в систему. Сейчас даже лекции читаются там, — показал он за горы, перекувыркнув ладонь, — «Психические последствия голодания». Талантливый профессор читает. Сам голодает и — читает. И голодная аудитория набивается дополна! Всем занятно! Ги-по-тезы создаются! Как бы в потустороннее заглядывают. Ведь объект с субъектом сливаются. Новый, необычайный курс медицинского факультета. Садизм научный! Как если бы подвальным

смертникам профессор, и он же смертник, — о психологии казнимых читать взялся! Науку-то как обогащаем! Да, «Психология казнимых: лабораторное и кли-ни-ческое исследование, на основании изучения свыше миллиона, может быть свыше двух миллионов, казненных, с применением разных способов истязания, физических и психических, всех возрастов, полов и уровней умственного развития»! Курс-то какой! Со всего света приедут слушать и поражаться мастерством грандиозного опыта! Лабораторного материала — горы. Что до нашего опыта у Европы было? Ну, инквизиция... Но тогда научной постановки не было. И потом, там как-никак, а судили. А тут... — никто не знает, за что! Но каждый в подвале знает, знает! — что вот, еще день или два дня будет слабнуть, — ведь им, как общее правило, в наших, в здешних-то, крымских, подвалах и по четверке хлеба соломенного не давали, а так... теплую воду ставили — для успокоения нервов?! может быть, ихний профессор присоветовал, для опыта?! — так вот, каждый в подвале знает, что вот в эту или в ту ночь начнет истлевать. Где только? В яме ли тут, в овраге, или в море? И судей своих не видал, нет судей! А потащат неумолимо и — трах! Я даже высчитал: только в одном Крыму за какие-нибудь три месяца! — человечьего мяса, расстрелянного без суда, без суда! — восемь тысяч вагонов, девять тысяч вагонов! поездов триста! Десять тысяч тонн свежего человечьего мяса, мо-ло-до-го мяса! Сто двадцать тысяч го-лов! че-ло-ве-ческих!! У меня и количество крови высчитано, на ведра если... сейчас, в книжечке у меня... вот... альбуминный завод бы можно... для экспорта в Европу, если торговля наладится... хотя бы с Англией, например... Вот, считайте...

— Постойте, доктор... Вам не кажется, что все небо в мухах? Мухи все, мухи...

— А-а... мухи! И у вас «мухи»? Так это же анемия выражается в зрении... Если разрезать глазное яблоко голодающего животного...

— Чем вы теперь занимаетесь, доктор?..

— Думаю. Все думаю: сколько же материала! И какой вклад в историю... социализма! Странная вещь: теоретики, словокройщики, ни одного гвоздочка для жизни не сделали, ни одной слезки человечеству не утерли, хоть на устах

всегда только и заботы что о всечеловеческом счастье, — а какая кровавенькая секта! И заметьте: только что начинается, во вкус входит! с земным-то богом! Главное — успокоили человеков: от обезьяны, и получай мандат! Всякая вошь дерзай смело и безоглядно. Вот оно, Великое Воскресение... вши! Нет, какова «кривая»-то! победная-то кривая! От обезьяны, от крови, от помойки — к высотам, к Богу-Духу... к проникновению космоса чудеснейшим Смыслом и Богом-Слово, и... нисхождение, как с горы на салазках, ко вши, кровью кормящейся и на все с дерзновением ползущей! И кому сие новое Евангелие-то с комментариями преподнесли, карт-бланш выдали, и кто?!.. Помните, у Чехова, в «Свадьбе», телеграфист-то Ять, «Ѣ»-то эта самая, как рассуждает про электричество и про... какие-то два рубля и жилетку? Вот теперь эти самые Яти и получили свое евангелие и «хочут свою образованность показать». И от кого получили? От тех же Ятей! И вот показывают «образованность». Потому-то на эту подлюгу «Ѣ» и поход. Прообраз, конечно, я разумею. Стереть ее, окаянную! мешает! исконную, сла-вянскую! Всем вошам теперь раздолье, всем — мир целокупно предоставлен: дерзай! Никакой ответственности, и ничего не страшно! На Волге десятки миллионов с голоду дохнут и трупы пожирают? Не страшно. Впилась вошь в загривок, сосет-питается, — разве ей чего страшно?! И все народы, как юный студентик на демонстрации, взирают с любопытством, что из «вшиваго» великого дела выйдет. Такой-то опыт — и прерывать! Ведь полтораста миллиончиков прививают к социализму! И мы с вами в колбочке этой вертимся. Не удалось — выплеснуть. Сеченов, бывало, покойник: «Лука, — кричит, — дай-ка свеженькую лягушечку!» Два миллиончика «лягушечек» искромсали: и груди вырезали, и на плечи «звездочки» сажали, и над ретирадами затылки из наганов дробили, и стенки в подвалах мозгами мазали, и... — махнул доктор, — вот это — о-пыт! А зрители ожидают результатов, а пока торговлишкой перекидываются. Вон сэр Эдуард-то, Ллойд-Джордж-то, освободитель-то человеческий, свободолюб-то незапятнанный, что сказал! «Мы, — говорит, — всегда с людоедами торговали!» А почтенные господа коммонеры, мандата на «вшивость» для себя еще не приявшие — но

в душе близкие и к сему, если от сего польза видится, — мудрое слово Джорджево положили на сердце своё и... А-а, не все ли равно теперь! О миллиончике человечьих голов еще когда Достоевский-то говорил, что в расход для опыта выпишут дерзатели из кладовой человечьей, а вот ошибся на бухгалтерии: за два миллиона перестегнули, и не из мировой кладовой отчислили, а из российского чуланчишки отпустили. Вот это — опыт! Дерзание вши бунтующей, пустоту в небесах кровяными глазками узревшей! И вот...

Доктор развел руками. Да: и вот! Смотрит на нас калека-дачка на пустыре, с дохлой клячей под сенью вонючих «уксусных» деревьев. Глядит-нюхает из-за уголка тощая Белка, ждет. Идет за пустырем дядя Андрей, в новом парусиновом костюме, — ободрал недавно на дачке Тихая Пристань складные кресла полковничьи и теперь разгуливает без дела, высматривает новую «работу».

— И все это вымрет... — тоном пророка говорит доктор. — И они уже умирают. И этот Андрей кончится. Мой сосед Григорий Одарюк тоже кончится... и Андрей Кривой, с Машковцевых виноградников... Они уже все обработали, а не чуют... Увидите. Убьют и меня, возможно. Еще считают за богача... Когда наступит зима... увидите результаты. Опыт и их захватит. Вчера умер от голода тихий, работящий маляр... когда-то у меня красил... А на берегу красноармейцы избили сумасшедшего Прокофия, сапожника... Ходил по берегу и пел «Боже, царя храни»! Избили голодного и больного, своего брата... О-пыт! Я и сам теперь опыт делаю... Сухим горохом питаюсь.

Он шарит в кармане своего лондонского пиджака и бросает горошину приглядывающейся к нему Жаднюхе.

— Этим самым. У меня фунтов десять имеется, в собачьей конуре припрятал, не изъяли «излишки». И вот — по горсточке в день. Во рту катаю. Зубы у меня плохи совсем, а челюсти у меня украли при обыске, вынули из стакана, — золотая была пластинка! Покатаю, обмякнет — и проглочу. Ничего, двенадцатый день сегодня. И еще — миндаль горький. Жарю. Обратите внимание, очень важно. Амигдалин улетучивается, яд-то самый. Тридцать штук в день теперь могу принимать.

Это, пожалуй, самый безболезненный путь — «от помойки в ничто»! Пульс ускоряется, сердце израбатывается быстрей, и...

Доктор запнулся, уставил глаза, рот разинул и смотрит в ужасе...

— Мы... распадаемся на глазах... и не сознаем! Да вы вглядитесь, вглядитесь... Умремте, скорей умремте... ведь ужасно теперь... теперь!.. сойти с ума! Ведь тогда мы не сумеем уйти... может не прийти в голову уйти! Будем живыми лежать в могиле, как теперь Прокофий!..

На меня это никак не действует. Я проверяю себя, пытаюсь постигнуть, как я сойду с ума, как они будут бить тяжелыми кулаками... Нет, не действует. Почему?

— Доктор, чем бы мне... кур поддержать?

— Ку-ур? Как — под-держать? Зачем — поддержать? Сжарить и съесть! со-жрать! У вас есть даже индюшка?! Почему же ее еще никто не убил? Это живой нонсенс! Надо все сожрать и — уйти. Вчера я «опыт» тоже делал... Я собрал и сжег все фотографии и все письма. И — ни-чего. Как будто не было у меня ничего и никогда. Так, чья-то праздная мысль и выдумка... По-нимаете, мы приближаемся к величайшему откровению, быть может... Быть может, в действительности, ни-ничего нет, а так, случайная мысль, для нее самой облекающаяся на миг в доктора Михаила?!.. А тогда все муки и провалы наши и все гнусности — только сон! Сон-то как материя не суть ведь?! И мы не суть...

Он смотрит неподвижно, как уже не сущий. И улыбается своей мысли.

— Мы теперь можем создать новую философию реальной ирреальности! новую религию «небытия помойнаго»... когда кошмары переходят в действительность и мы так сживаемся с ними, что былое нам кажется сном. Нет, это невыразимо! Да, куры... вы спрашивали... У меня была одна курица, любимица Натальи Семеновны... Я думал было заклать ее, как жертву, и положить с покойницей в шкап. Но... бросил эту игривую мысль. Горошком кормил. Подойдет к балкону... — последнее время она мало ходила, сидела больше, нахохлившись, — спрошу: «Ну, что, Галочка, чувствуешь опыт-то?» А она только головкой повертывает. И я сейчас ей пару горошин. На ночь в

комнаты запирал, понятно. И вот — самоубийством покончила!

— Да что вы?!

— Отравилась. Весь горький миндаль поела. Приготовил прожаривать, а она утром проснулась раньше меня, нашла и... в страшных конвульсиях! Ну, пошел я. У вас есть горький? Ну, так имейте в виду... если штук сотню сразу... лучше, конечно, в толченом виде, — сеанс может успешно кончиться. Абсолютно. А сейчас надо проведать горемыку нашу, — в Пари-же жила когда-то! видела сон прекрасный! А слышали новость? В Бахчисарае татарин жену посолил и съел! Какой же отсюда вывод? Значит, Баба-Яга завелась...

— Баба-Яга?! Да. Я сам только подумал.

— Вот видите. Значит, сказка. А раз уже наступила сказка — жизнь уже кончилась, и теперь ничего не страшно. Мы — последние атомы прозаической, трезвой мысли. Все — в прошлом, и мы уже лишние. А это, — показал он на горы, — это только так кажется.

Такие бывают человечьи разговоры.

Он уходит к соседке. У него под мышкой мешочек. Над ним белый широкий зонт, весь в заплатках. Идет — колышется. Навстречу ему — голосок Ляли:

— Михайла Василич в гости!

И Ляля, и Вова прыгают перед ним, заглядывают на мешочек. Пшеничка или, может быть, кукуруза? И не знают еще, что там самое для них вкусное, что так любят дети и голуби: последняя горсть гороха.

А я долго еще сижу на краю Виноградной балки, смотрю на сказку. На радужном опахале хвоста, на чудесном своем экране, павлин танцует у дачки, у дохлой Лярвы. У ее головы недвижной, распластавшись на брюхе, тянется-вьется Белка, вывертывая морду, будто целует Лярву. Доносится до меня урчанье и влажный хруст... Она выгрызает у Лярвы язык и губы! Так скоро? Ведь только сейчас ходила по пустырю кляча... Вот так миленькое «трио»! Жаднюха на меня смотрит. Что, горошку? Я беру ее на руки, разглядываю ее лапки... Что смотришь? вот начну тебя с лапки... что?! Теперь все можно. Она уснула, так скоро, доверчиво уснула...

Я долго еще сижу на краю балки, смотрю на леса в горах. Веки мои устали, глаза не видят. Сплю и не сплю,

сижу. Поторкивает-трещит, шумят шумы, шумит дремучее... Погасает солнце. Шумит водопадами в голове... Сорвешься туда, к камням... А, не страшно. Теперь ничего не страшно. Теперь все — сказка. Баба-Яга в горах...

ВОЛЧЬЕ ЛОГОВО

В Глубокую балку пойти — за топливом?..

Там стены — глубокой чашей, небо там — сине-сине. Кусты да камни. Солнечный зной курится, дрожит-млеет. Спят тысячелетние пни дубов, заваленные камнями, — во сне последнем. Я бужу их своей мотыгой. С гулом и свистом летят их проснувшиеся куски — солнце: будут светить зимою. Дремлет на солнцепеке каменная змея — желтобрюх, заслышит шаги — поведет сонным глазом и завернется: знает меня, привык. Я побаюкаю его тихим свистом. А он все дремлет, поставив на стражу глаз в золотом кольчике. Что и я, — порожденье того же солнца. Такой же нищий. Всегда — один. А вот и она, ящерка-каменка, — вышурхнет, глянет и — обомлеет. От страха? От удивленья на Божий мир? Застынет стрелкой и пучит бусинки глаз — икринки. Цикады трясут и трясут над ухом ржавой, немолчной гремью, — жаркое сердце балки. Вот — оборвут, и глохнешь от тишины, кружится голова с умолчья.

Сил не хватит дойти до балки: день уже отнял силы.

Пень, иззубренный топором... Я знаю его историю.

Это было полной весной, когда цвели глицинии по веранде, и черный дрозд, на верхушке старого миндаля, тихо, нежно насвистывал вечернюю песенку нашему новоселью. Приветно глядело все: розовые кусты шиповника по ограде, белые стены домика, с зелеными ставеньками-ушами; павлин, прибирающийся под кедром — к ночи, синий дымок над кухней — первого ужина... уже ночные, синею мглою охваченные горы, намекающие душе: «Отныне... вместе?»

Теперь будут они следить за тихою жизнью нашей, впускать и укрывать солнце, шуметь дождями. Золотые и синие, — солнечные и ночные, — будут глядеть на нас, до светлого конца жизни...

В тот вечер робких надежд я тихо ходил по саду. Мои деревья! Это — старый миндаль... обгрызли его кору, но

глядит еще бодро и весь осыпан. А это... персик? Его донимают ветры... — ну, ничего, подвяжем. А вот и дуб. Ты долго будешь расти, долго-долго... Увидишь старого человека, меня-другого... он сядет здесь, — поставить скамейку надо, — и погасающими глазами будет смотреть на сад, новый всегда, на неменяющуюся звезду над Бабуганом...

Тогда я нашел тебя, товарищ моей работы, дубовый пень. Ты валялся под кипарисами, в полутьме, в затишье. Я хозяйственно оглядел тебя, обласкал взглядом, — я так был счастлив в тот вечер! Я тебя обнял и выкатил на свет Божий, — радуйся и ты с нами, будем работать вместе. Слышал ли ты, старик, как домовито-детски мы толковали, куда бы тебя поставить... как ты будешь лежать года, как хорошо посидеть на тебе вечерком, выкурить папироску, глядеть и глядеть на море, мечтать по далям и крепко верить, что не порвется нить нашей жизни, потянет другую, родную, нить... а ты все будешь благодушным свидетелем новых жизней... Теперь ничего не будет. Ты весь иссечен, горы колючек изрублены на тебе, горы мыслей порублены на тебе, сгорели... Сожгу и тебя, клиньями расколю и сожгу — неродившуюся надежду.

Я разглядываю рубцы на пне — по ним ползают муравьи. Постукивают ворота?..

...Татарские кони ржут, постукивают в ворота, — будет прогулка в горы. Цикады бьют погремушками, день жаркий-жаркий, обвисли груши в моем саду, персики и черешни осыпали все деревья. Это же не мои деревья! И веранда, с колоннами, с занавесками из шумящего хрусталя цветного, — это же не моя веранда... Надо спешить — будет прогулка в горы... Но куда же девались все?! Лошади давно ждут, нетерпеливо постукивают в ворота... Я хожу и зову, ищу... Это же не моя веранда, сверкающая огнями!.. Я ищу и зову в тревоге, пробегаю в огромных залах. Это не мои комнаты... Мои комнаты были проще, ласковые, покойные... Не этот холодный свет, и черешни не лезли в окна... Я хожу и хожу по залам... Где-то тут мои комнаты...

Опять я вижу рубцы на пне, бегают муравьи. Осматриваюсь слипающимися глазами. Ну, вот и сад, и мои деревья... Это же сон мне снился, минутный сон... Вот и

наш тихий домик. Спешить никуда не надо. Опять Тамарка громыхает воротами.

Дико кричит Павлин, — что-то его вспугнуло. Что такое? что еще может теперь случиться?..

Я слышу воющий голос — к морю...

— Ой, люди добры-и-и... гляньте!.. Гляньте же, люди добры-и!..

Это в «Профессорском Уголке», внизу.

«Уголок» давно мертвый. Не звонят по пансионам колокола, не сзывают гостей на завтраки, на обеды: сорвали колокола, сменяли на спирт подвальный. Пойдут колокола в дело — в пули: много еще цельных голов осталось. Не доносит по вечеру трели отдыхающей певицы, трио Чайковского: умолкли певцы, музыканты, раскрали песни Чайковского, треплются по ларям базарным.

Внизу голоса ревут, — там еще обитает кто-то! Берлоги еще остались.

— Ой, люди добры-и-и...

Нет ни людей, ни добрых.

«Золотая Роза» розовеет еще стенами. А вон и «Вилла Марина», и «Вилла Анна»... но там теперь обитают совки, мелкие совки-сплюшки: кричат по ночам тоскливо: «Сплю-у... сплю-у...» Спите, не потревожат. Вон шафранного «Линдена» корпуса, когда-то в розовых олеандрах, в зеленых кадочках, на усыпанной гравием площадке. Прощай, олеандровая роща! Выдрали ее садовники-трудолюбцы из кадушек, пожгли кадушки. Старик адмирал, хозяин, поглядывал оттуда в трубу на море. Выстроил себе новый корабль — на суше, прохаживался с сигарой по балкону, в сиянии белоснежного кителя, в свежем сверканье брюк, в белых бесшумных туфлях, просоленный морями, белобородый. Променял штормы на сладкий штиль, праздный кортик — на трудовой секатор, шаткую палубу — на крепкие, в гравии, дорожки. Вывел розовые стены из олеандров, лиловые — из глициний, сады персика и диканки... Разбили его трубу, и ушел адмирал под землю: там-то уж совсем тихо. Встал на его «корабль» огромный Коряк — дрогаль, зацепился с семьей, с коровой и ждет упорно: отойдет ему дом — дворец, с виноградниками и садами, — за великие труды жизни: возил адмирала на

таратайке в город! Сторожит пустоту — усадьбу да помаленьку выламывает рамы.

Внизу голоса растут. По балке доходит четко — воющий бабий голос:

— Да лю-ди... добрые!.. да вы ж гляньте!..

— Усе кишки вымотаю с тебе... за мою Рябку!..

Это — Коряка голос, рык сиплый.

— Да вы ж толичко гляньте... лю-ди добрые... хозяина моего забивает!..

— Мя... со мое подай... из глотки вырву! Зараз сказывай, куда ховали!.. утрибку, гадюки, лопали... с моей Рябки!..

— Побей меня Боже... да всю неделю в Ялтах крутился.. да вы ж перво дознайте у сосидий... Дядя Степан, да ваша Рябка и близко не доступала! За чого ж вы стараго чоловика забиваете?!

Человека забивают? И этот воющий голос — голос человечий? и рык-зык этот?!

— Шку-ру, пес... мя... со мое подай! Шшо твой выблядок у мылыцыи ходит... да я сам утрудящий... Буржуев поубивали, теперь своего брата губите!.. Я за свою Рябку... дьявола лютые!..

— Да я... зараз в камытет самый, рылюцивонный... як вы генераловы сундуки ховалы...

— А тебе... шо? ма-ло?! шшо нэ подавылась?!! Мало, сука, добрых людей повыдавала, чужое добро ховала, на базар таскала?! Да я твой камытет этот... одна шайка! Ду-шу вытрясу... мясо мое подай!

— Чего ж вы не заступляетесь... люди добрыи?!

Я слышу тупой удар, будто кинули что об землю.

— У-би... ил... живого чоловика убил... люди Божьи!..

— Насмерть убью — не отвечу! У мене дети малыи...

По горкам шевелятся — выползают букашки-люди. И там, и там. Где-то в норах таились. Все глядят на площадку, под Линдена пансионом, с холмов — на сцену, как в греческом театре. Прикрыли глаза от солнца. Далеко внизу, на узкой площадке, в балке, прилепилась мазанка: синий дымок вьется над белой хаткой. Во дворике копошатся — люди не люди — мошки: двое крутятся на земле; синее пятнышко бегает, палкой машет.

С Вербиной Горки бегут ребята, орут:

— Под Линденом убивают! Ганька, гляди Тамарку!..

Кричит Ганька:

— Хочу... как убива-ют!..

Выглянули и соседи. Лялин голосок точит:

— Это Степан Коряк, мамочка... в белой рубашке... ногой в живот, прямо, мамочка... коленком!..

— Ля-личка, не надо! Боже, какие звери... — взывает старая барыня. — Ради Бога, Ляличка... уходи, не надо... Няня, да что такое?..

— Да что... Глазкова старика Коряк за корову убивает... — доходит из-под горы нянькин голос.

Она спустилась под упорную стенку, чтобы лучше видеть.

— Так и надоть, слободу какую взяли! Полон-полон дом натаскали, всего-всего... Каждый Божий день у Маришки и барашка, и сало, и хлеба вдосталь, и вино не переводилось... мало! чужую корову зарезали! Гляди-гляди, как бьет-то! а?! Насмерть теперь забьет!

Смотрит, несчастная, и не чует, что ждет ее. Запутывается там узел и ее жалкой жизни: кровь крови ищет.

А на театре — хрипу и визгу больше, удары чаще.

— Люди добрые... заступитесь!..

— Печенки вырву!.. ска-жешь, вырод гадючий!.. мясо куды девал? мя...со-о?!

— Эх, сыновья-то в городе... они б ему доказали! до-кажут!

— Самый большевик был, как на чужое... а самого тронули... как разоряется!

— За-чем... Коряк за свое добро бьет! Моду какую взяли, хоть не води коровы. В покои уж стали ставить, с топором ночуют!

— Вот они, буржуи окаянные... до чего людей довели! Жили все тихо-мирно, на вот... завоевались!

На театре дело идет к развязке. Рык глуше, словно перегрызают горло:

— Ку...ды...ся...со...

— Ой, побегу, мамочка!..

С холмов воют:

— Бей его, Коряк, добивай!..

— Как так — бей?! Доказать сперва надо! Бей... Много вас, бителей!

— Он, вон, в Ялтах был сколько-то дён, баба его доказала!

— Звери, а не люди... Ляличка, сту-пай! ступай-ступай, нечего тебе слушать...

— Ма-мочка, я хочу...

И доктор, под зонтиком, тоже смотрит из-под руки, потряхивает бородкой. Кричит в пространство:

— Трагедия... под горами! Хе-хе!.. Борьба титанов!.. волки грызут друг дружку! Валяйте, друзья мои... валяйте апо-фе-оз культуры! До скорого свиданья...

Уходит доктор к миндальным своим садам — «садам миндальным».

Лезет из балки другой сын нянькин, голенастый подросток Яшка, — ездит уже с рыбаками в море. Кричит в задоре:

— Раз Коряк взялся — шабаш! Прихватил за грудки... да кэк его оземь... раз! А старик живуч!

— Уйдите, уйдите все! не могу... не могу — не могу... — кричит истерично старая барыня, зажимая уши.

Вскрикнула-всполошила Ляля:

— Ястреб!.. ястреб!!.. Айй-ю-у-айй!..

Ширококрылый, палево-рыжий ястреб, с белым комком под брюхом, тянет по балке вниз, где Коряк душит коровореза.

— Курочку вашу!!.. вашу!!! — отчаянно верещит Ляля, топочет и бьет в ладошки. — Туда... за дубки спустился!.. пух-то, глядите, пух!.. Айй-ю-уайй!..

Белый пушок плавает над кустами. Я качусь по сыпучей круче, рву на себе последнее, падаю на камнях и сучьях высохшего потока. Кричат голоса, пугают, в ладоши бьют:

— К дубкам берите! Слетел, проклятый!..

Я вижу над головой —белесо-пестрое брюхо, с подтянутыми когтями. Темнокрылою хищной тенью уплывает стервятник по балке — к морю.

Я добираюсь до места и нахожу белую курочку — кровь и перья. Вижу оторванную головку, с сомкнутыми глазами, с похолодевшим гребнем, и по мертвым «сережкам» признаю Жаднюху. Только-только подремывала она на моих руках, клевала горошек доктора, и в ясном зрачке ее смеялось золотой точкой солнце... Прощай и ты, ма-

ленькое созданье, не оставившее следа! Теперь сметаются все следы, и перестало быть больно. И теперь ничего не жаль.

Я беру кровяной комок в перьях. Это не кусок мяса: это наша родная, собеседница кроткая, молчаливый товарищ в скорби.

И другой раз за этот истомный день взял я тяжелую лопату, пошел на предел участка, на тихий угол, где груда камней горячих... И наложил камень, чтобы не вырыли собаки. Трещит плетень, глядит из-за плетня Яшка.

— Так лучше бы мне отдали!

Он прав, пожалуй. Не все ли равно теперь: земля или брюхо Яшки? Земля — лучше, земля покоит.

Я вижу его глаза, заглядывающие под камень. Ищущие глаза. Когда стемнеет, я выну ее и схороню в Виноградной балке.

Индюшка стоит под кедром, поблескивает зрачком — к небу. Жмутся к ней курочки — теперь их четыре только, последние. Подрагивают на своем погосте. Жалкие вы мои... и вам, как и всем кругом, — голод, и страх, и смерть. Какой же погост огромный! и сколько солнца! Жарки от света горы, море в синем текучем блеске...

Внизу затихло. Зрители уползли в балки, в норы. Убил ли Коряк, — не важно. Теперь — не важно. Убил... — слово совсем пустое.

Я хожу и хожу по саду, дохаживаю свое. Упора себе ищу?.. Все еще не могу не думать? Не могу еще превратиться в камень! С детства еще привык отыскивать Солнце Правды. Где Ты, Неведомое?! Какое Лицо Твое? Не хочу аршина и бухгалтерии.. С ними ходят подрядчики и деляги. Хочу Безмерного — дыхание Его чую. Лица Твоего не вижу, Господи! Чую безмерность страдания и тоски... ужасом постигаю Зло, облекающееся плотью. Оно набирает силу. Слышу его рык зычный, звериный зык...

Великие мудрецы, где вы?! Туманами подымаются храмы ваши, в туманах тают... Чистый разум... призрачный мир идей... отсвет метнувшегося человеческого мозга! Где вы там, бледные существа? В каких краях обитаете? какие на вас одежды? В луче бы солнца спустились, что ли, бесплотные, породили бы из неоправданных мук, из неоплатных страданий новое существо, неведомое доселе

миру. Свершили чудо! Сошли бы в дожде на землю, радугой перекинулись над морем, упали в громе! Или спускались вы, да продали вас за грош, на обертку пустили под собачье мясо, в пыжи забили? В Проповеди Нагорной продают камсу ржавую на базаре, Евангелие пустили на пакеты... Пустое небо прикрылось синью, море прикрылось синью: стоит одно другого.

Скорей бы вечер... Я... Кто такой это — Я?! Камень, валяющийся под солнцем. С глазами, с ушами — камень. Жди, когда пнут ногой. Некуда уходить отсюда... Гляди на горы: они в блеске, воздушные. На море... — праздничное оно, всегда. Безмолвие за ним, так... — туманность. На что же еще глядеть?..

Там, в городке, подвал... свалены люди там, с позеленевшими лицами, с остановившимися глазами, в которых — тоска и смерть. И там те семеро, бродившие по горам... Обманом поймали в клетку. Что они чувствуют — скрученное железо? Я еще волен бродить. Для них один только ход — в могилу. «Истребитель» стоит у пристани, гроб железный. Его краснозвездная команда наелась баранины до отвалу, напилась из подвалов и теперь спит — до ночи. И красный вымпел тоже уснул — до ночи.

Что-то говорил доктор... Что-то случиться может... В небо смотрю я: может?

Больно глазам от света.

Я хожу и хожу по саду, смотрю на камни. Что же случиться может? какое чудо? К кедру приду, постою, будто ищу чего-то. От кедра пышет. Душно от черных кипарисов. Все накалилось, струится, млеет. Солнце все мысли плавит. От кедра гляжу на домик, на маленькую веранду. Здесь ли я жил когда-то?! Смотрит веранда заплаканными глазами зацветших стекол. Голубые глицинии давно опали, засохли тисы перед крылечком...

На пустыре, за балкой, возятся возле Лярвы, подсовывают оглобли. Вертятся Вербины собаки, Цыган и Белка.

Кричит от дороги кто-то:

— Прирезать бы да на ко-клеты!

Это дядя Андрей, с исправничьей дачи Тихая Пристань. Одет по-дачному — в парусинном костюме, в мягкой, господской, шляпе, раздобытой. Смуглый, сутулый, крепкий и — темный весь. Посиживает по бугоркам, погляды-

вает на дачки... побуркивает в кустах с такими же. Ходит — подумывает.

Не отвечают на его оклик, над Лярвой возятся.

— Теперь человечину едят, а на конятину заглядишься! Казанские татаре за говядину признают... А вам все чтобы мя-со было! Я вот... невете... реянец! По мне хоть и не будь его вовсе, ей-Богу! у меня от его... за-пор навсягды, сказать... вовсе для меня вредная пища, яд!..

Не отвечают ему от Лярвы. Он подходит к моей заграде:

— Гляжу-гляжу на вашу индюшечку... ужахаюсь?! Ку-да заходит! И, лих ее носит, куренков куда заводит! Какой дурной подшиб палкой — по нонешнему времени... капитал! Вон как у Вербы с гусем... ночным делом ухватили, даром что собаки. Теперь человек злей собаки! А я свинку свою на ячменек выменял, да за перекопку татаре вина пять ведер... до самой обеспечен. А как отсужу Лизаветину корову... Как так я в мае получил за перекопку? Это все Прибытка старая с дурной головы плетет! В мае я за энту... за осеннюю перекопку, а вчера опять получил, за обрезку, очень огромадный виноградник! Вот Лизаветину корову отсужу, на мои гроши купила, стерьва... тогда я, сказать, ба-рином ходить буду! А чего я спросить желаю... про павлина! Чего он у вас на холостом ходу ходит? То ли бы уж скушали, а то на базар, татаре богатые по случаю из хвоста позарются... татарки ихния заместо цветов в волоса убирают. А мясо у них, сказать... не вредное?..

И он отходит — в прогулочку. Идет — подумывает.

Павлин... Разве он мой еще? На табак если выменять... осталась одна щепотка, а курить надо много... К ночи надо беречь, к ночи наваливаются думы. Одичал теперь, не поймать. А на табак бы можно, — не пшеница.

Осматриваюсь, отыскиваю Павлина. Вон он, по пустырю бродит, хвостом возит. Татаркам на украшение... богатым. Остались еще богатые? Гляжу — прикидываю... и он глядит на меня, мой «табак». Я отвожу глаза, стараюсь подавить прошлое. Первые радостные утра, начинавшиеся криком его на крыше нашего дома, его топотаньем по железу... А без него будет еще чернее...

Я сажусь на каменное крылечко у веранды. Оно остыло. Солнце ушло за домик. Гляжу на сухие грядки, — солнце и с них сползает. Да, огурцы пожухли. Поклеваны помидоры, висят кровяными лоскутками. И поливать не надо. Всматриваюсь в потрескавшуюся у ног землю. Муравьи еще живы, суетятся — тащат по своим норкам. Какие-то и у них планы. Этот как будто размышляет, поводит усиком... не мыслитель ли муравьиный? Я беру ветку сухого тиса и веду по земле, мету. Где теперь планы и... философия? Так и все. Чья-то слепая сила. Метет... И... солнце по кругу ходит. Вечно ли ходить будет... Придет и на него сила. И оно не будет ходить по кругу.

ЧУДЕСНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

Да когда же накроет ночь это ликующее кладбище?! Солнце остановилось над Бабуганом, не уходит. Не насмотрелось. Смотри, смотри... «Истребитель» приглянулся тебе, и ему посылаешь приветного зайчика на вымпел — добрый вечер!

Просыпаются там — ночь чуют. Похаживают, в черной коже, по палубе, пощелкивают дельфинов, — чешутся у них руки.

Нет, западает солнце. Судакские цепи золотятся вечерним плеском. Демерджи зарозовела, замеднела... плавится, потухает. А вот уж и синеть стала. Заходит солнце за Бабуган, горит щетина лесов сосновых. Погасла. Похмурился Бабуган, глядит сурово, ночной, — придвинулся. Меркнут под ним долины. Тянет оттуда тревожной ночью... Выстрелы бьют по ней, — боятся ли, угрожают...

Пора и вам, тихие курочки, прибираться к ночи. Последние дам вам отруби. Пришел и Павлин покрасоваться хвостом, танцует. Чего ты танцуешь, Павка? Нечем мне заплатить тебе. Променяю тебя татарину-богачу, — будешь плясать недаром.

Я подкрадываюсь к нему, протягиваю руку. Он, словно чует, оглядывает меня, взмывает на ворота и шумно падает в темноту.

Я все стою и смотрю, как курочки вспархивают на оконце курятника, легкие и пустые. Индюшка тревожно вертится у пустой чашки, пытает меня глазком. Ну да, больше ничего не будет.

Вот он и кончен день, незнаемый день, прожитый для чего-то, — совсем ненужный. Какое швырянье днями! Можно теперь посиживать на пороге, глядеть на звезды — хоть до утра. Они будут мигать, мигать... Поэты их воспевали, ученые разглядывали в стекла. Разглядывают давно. Есть ли там темные между ними, умирающие земли? Где ты, страждущая душа, моей родная? Что там развеяно, по мирам угасшим?.. А сколько там крови пролито и выстрадано страданий! Или все свято там... не свято и не грешно, а так — миганье?

Нет ответа и никогда не будет. Они мерцают-горят, зеленые, голубые, — неслышная музыка холодеющего огня над тленьем. Лопаются миры, сгорают в огнях, как сор...

Усталые, тихие шаги. Ты это... Мы сидим с тобою плечо к плечу и молчим. Думаем... Не о чем теперь думать. Камни так думают, тысячи лет лежат в неподвижной думе. В ничто уходят — стираются, пропадают.

Видишь — упала звезда, черкнула огневой нитью... Подумала ты, я знаю... но это не может сбыться. Не надо пытать и звезды: они никогда никому не сказали слова, — те же камни.

— Добрый вечер!.. — доходит из темноты голос.

Это наша соседка, что когда-то жила в Париже. Она пробирается в свете звезд, через цепляющие кусты шиповника.

Сидим — молчим.

— Сегодня... — начинает она с удушьем и замолкает. — Носила няня продать золотую цепочку покойного Василия Семеныча, шесть золотников. Дали шесть фунтов хлеба... Что же делать?..

Молчим. На звезды, на море смотрим. Стрелки струятся — вспыхивают на нем.

— Голова стала мутная, ничего не соображаю. Детишки тают, я совсем перестала спать. Хожу и хожу, как маятник.

За шиповником шуршит кто-то, нащупывает калитку.

— Кто там?..

— Я... — слышится робеющий детский голос. — Анюта... мамина дочка...

— Кто — Анюта... Ты чья? откуда?..

— Анюта, дочка... мама послала... мама Настя!..

Это, должно быть, снизу, из мазеровской дачи. Там Григорий столяр, Одарюк, дачный сторож. Бывший сторож, теперь — хозяин.

Я подхожу к воротам и признаю девочку лет шести, беловолосую, с белой косичкой-хвостиком. Бывало, она играла в садике своей дачи, кричала мне вслед всегда:

— Ба-лин!.. дластвуй!..

Ее и в темноте видно. Она стоит за калиткой и колупает столбик, молчит. Я спрашиваю, что ей нужно. Она начинает плакать тихими всхлипами.

— Мама послала... дайте... маленький у нас помирает, обкричался... Крупки на кашку дайте... Папа Гриша уехал, повез кровати...

Я бессильно смотрю на нее, в петлю попавшую, как и все, — на темные массы гор, на черный провал, где город, где только один огонь — красный глаз «истребителя»: один он не спит, зажегся.

Что я могу ей дать?

Она просит позволить — подобрать на земле: может, от кур осталось, виноградных выжимок прошлогодних... Она и в темноте видит и возьмет — совсем трошки!

Но у меня нет жмыха. Как индюшка, глядит на меня глазком, — по ее вздоху чувствую: нет жмыха?! Как и Тамарка, она еще не может понять, что случилось. Ведь ее посылала мама... мама Настя!

Она уносит горстку крупы в бумажке.

Я стою за воротами, в темноте. Я прислушиваюсь, как уходит она за балку, под горку, где надоедно торчит желтая днем, невидная теперь мазеровская дача. Там они погибают, пятеро.

Я припоминаю Одарюка, статного, красивого мужика, хорошо добывавшего в Севастополе на оборонной работе. Революция кончила все работы, сбила его с пути, и пошел Одарюк по легкой, казалось ему, дорожке. Он живо спустил хозяйскую мебель, кровати, посуду и умывальники пансиона, — менял за горами на пшеницу, вино и сало. Выпили-съели дачу, а столяр никому не нужен. А ходить по садам за полуфунтом... ну, еще будет время. Можно доменивать, что осталось, бродят и недорезанные коровы... И принялся Одарюк за рамы, поснимал двери, содрал линолеум... Да еще сколько железа будет, какая крыша!

А рабочая власть — своя: без хлеба человека не оставит! Того не было и при царской власти.

А ночь идет и идет.

— Вот не могу придумать... — томится старая барыня. — Есть у меня будильник...

А кому нужен теперь будильник! Уснуть — и не просыпаться.

— И еще у меня что есть... Только уж я знаю... — говорит она нерешительно. — Вот, из горного хрусталя...

Она открывает коробочку и — будто шумит горошком — вытягивает длинное ожерелье, мелко сверкающее на звездах.

— Чудесное ожерелье... Смотрите, какая роскошь!..

Я перебираю граненые шарики — крупные, мельче, мельче. Они приятно шумят, холодят и играют в пальцах — тянутся на резинке.

— Думаю, его если...

Она говорит так скорбно, словно теряет бесценное.. Чудачка, что за него дадут!

— Видите... оно для меня о-чень дорого...

Я понимаю: на этих хрустальных шариках кусочки ее души. Но теперь нет души и нет ничего святого. Содраны с человеческих душ покровы. Сорваны — пропиты кресты нательные. На клочки изорваны родимые глаза — лица, последние улыбки-благословения, нашаренные у сердца... последние слова-ласки втоптаны сапогами в ночную грязь, последний призыв из ямы треплется по дорогам... — носит его ветрами.

Человеческое младенчество! Пора, наконец, покончить с этими пустяками!..

— Столько было с ним связано... Покойный Василий Семеныч в Париже его купил, на бульваре Дез Итальен... заплатил три-ста франков! Тогда это была ужасная для нас сумма! Это сколько будет на наши деньги? Сто двадцать рублей на золото?! Сколько же можно было тогда купить хлеба, простого хлеба!..

— Пудов... сто двадцать.

— Ка-ак.....! это не может быть...

— Черного хлеба можно было купить... двести пудов, больше.

— Двести... пу-дов! Значит, если нам... по два пуда на месяц... Значит, на... двадцать лет?!

— На восемь лет, — поправляю я.

— Бо-же мой! Здесь... — она прижимает ожерелье к горлу, я не вижу ее лица, — здесь было на восемь лет жизни!... для детей!! Не может этого быть... это же сумасшествие. Мы потеряли счет... мы все, все потеряли! Такой дешевый был хлеб?! пе-че-ный хлеб!..

— Да, печеный хлеб... — с трудом выговариваю я это странное, забытое слово: печеный! Мы потеряли не счет... мы потеряли жизнь! Для мертвых все — ни-че-го!

Печеный хлеб... Я вглядываюсь в это странное слово... давно забытое. И вдруг... я вспоминаю! Я слышу, так ослепительно слышу — слышу! — взякий и пряный дух живых пекарен, вижу и темные, и черные караваи на телегах, на полках, на головах, в столбушках, рассыпанные на камнях... дурманный аромат ржаного теста... Я слышу дробный хруст ножей, широких, смоченных, врезающихся в хлебы... я вижу зубы, зубы, рты, жующие с довольным чмоканьем... напруженные глотки, вбирающие спазмами...

— Тогда рабочий человек имел рубль в день, и больше... Шестьдесят шесть фунтов хлеба... пе-че-ного!! Теперь...

— Ти-ше! Ради Бога...

— На хлебной Волге погибают миллионы от голода... а радио оповещает мир, как все довольны...

— Ради Бога... ти-ше!

Мы молчим. Мигают звезды.

— Триста франков! Оно же удивительной работы... Я так все ясно помню, тот день. Было очень жарко, в июне месяце... сезон в Париже. В «Опера» давали «Гугенотов». У нас было совсем немного денег. Муж ходил в Сорбонну, я ему помогала в языке. В тот день мы отдыхали, были в Лувре... На тротуарах — они широкие в Париже, — под полотняными маркизами, — кафе, все столики, все столики... наряды, столько всякого народу... иностранцев... Прямо не верится, как будто сон... Кучера в цилиндрах, с длинными бичами. За столиками едят мороженое, буше-зефир, крокеточки... пьют цветное что-то... Столько свету!.. как сон... Господи, как сон... Персики в корзинах, абрикосы, клубника такая крупная, даже вот сейчас, как пахнет... Белые шляпы, в золотистых кружевах и лентах,

такая была мода. И цветы, цветы... целые возки, в корзинах, в грудах, на руках... розы, сирени, лилии... Сладкий аромат их помню. Помню, странный старик ходил с тремя подсолнечниками на груди и приставал ко всем: «Вейе, месье!» Ему совали деньги и говорили: «Мерси, месье!» Скоро сорок лет, а я все помню мою весну. Ели мороженое из земляники, и Василий Семеныч уронил в вазочку сигару... как смеялись! Хромой газетчик сказал так бойко: «Бон аппети, месье!» И теперь там так?! Вижу, как дымится политая мостовая и все налитые следки подков... все блестит, блестит... Потом остановились у витрины... и вот, это... вот это самое, лежало там! Вот это самое. Теперь оно... здесь! здесь?!

Я перебираю шарики. Холодные, стучат: чок-чок.

— Так мне понравилось... Стою — смотрю. И вот Василий Семеныч говорит: а, купим! Он никогда мне не отказывал, но тут такая сумма... А я как в трансе... ну, не могу уйти! «Это принесет мне счастье!» Ну вот, должна купить. Зашли... Шикарно в магазине, все сверкает... какие жемчуга... И хозяин такой изящный, милый... Француз. Сейчас вот вижу: черноглазый, в лиловом галстуке с жемчужиной, волосы курчавятся, чуть с проседью... Типа такого... бонвиван! Они какими-то... сладкими духами душатся, эти бонвиваны... нежным апельсином пахнет. «Кэ вуле ву, мадам?» Я говорила, как парижанка, и мы чудесно поболтали. Такая эспаньолка у него — а-ля Наполеон Третий или кто там еще... забыла. Прикинул к шее, подкинул бархат, — дивно! Повел нас в комнатку зеркальную, пустил рожок... Как миллионы бриллиантов, очаровательно-волшебный блеск! И все мне: «О, ля-ля, мадам! И всегда деньги, как в банк положите!» Представьте, это был шедевр! последняя работа какого-то старого итальянца... Вот эти, как это называется... да, грани! который гранил сэ фасет... недавно умер! «Такой работы уже не будет, мадам! Люди стали нетерпеливы и не умеют ценить. Это был — гранд'артист!» И мы купили. Потом смотрели «Гугеноты», я проходила по фойе, и все так на меня глядели... должно быть, принимали за богачку! С ним я не расставалась скоро сорок лет. И вот вчера грек предложил мне за него... Ну, как вы думаете, сколько? Три! три — фунта — хлеба!

— За человека не дали бы и крошки.

— Вы взгляните, зажгите спичку...

Спичку... Давно нет спичек. Я высекаю по кремешку на трут, дымится, но получить огонь — мученье.

— В нем восемьдесят семь камней, и в каждом больше сорока фасеток! Сколько граней! И вот — три фунта!

Чудачка... Граней! А сколько граней в человеческой душе! Какие ожерелья растерты в прах... и мастера побиты...

— Я просила грека: ну, хоть де-сять фунтов! Говорит: ешь камушки! Говорю: есть у вас совесть?! «А что такое совесть? — говорит. — У нас простой коммерческий расчет! это гораздо больше, чем ваша совесть! Нужно везти на Ялту, оттуда пойдет в Америку и в Европу, к настоящим людям, где все на настоящих ногах. А вы знаете, — говорит, — что такое теперь поехать в Ялту?! Это же — на тот свет поехать! Вы думаете — ваши господа большевики такие ангелы? Прежде я через два часа в Ялте, а теперь я через два часа... в балке, если не добыл пропуска! А если я добуду пропуск, я очень чего-то потерял... но об этом надо помолчать! Четыре раза я поехал — три меня ограбил! Вы думаете, не желают кушать в Ялте? Вы думаете — некоторые люди не любят бриллиантов и золота?! И все-таки я не отказываюсь купить эти камушки и даю вам за них три дня... три дня жизни! Вот чего стоит моя совесть!!»

В море играют звезды. Я смотрю. Направо, за Кастелью — Ялта, сменившая янтарное, виноградное свое имя на... какое! Ялта... солнечная морянка, издевкой пьяного палача — Красноармейск отныне! Загаженную казарму, портянку бродяжного солдата, похабство одураченного раба — швырнули в белые лилии, мазнули чудесный лик! Красноармейск. Злобой неутолимой, гнойным плевком в глаза — тянет от этого слова готтентота.

Новые творцы жизни, откуда вы?! С легкостью безоглядной расточили собранное народом русским! Осквернили гроба святых и чуждый вам прах Благоверного Александра, борца за Русь, потревожили в вечном сне. Рвете самую память Руси, стираете имена-лики... Самое имя взяли, пустили по миру, безымянной, родства не помня-

щей. Эх, Россия! соблазнили тебя — какими чарами? споили каким вином?!

Народы гордые! попустите вы стереть имя отчизны вашей?! Крепись, Старая Англия, и ты, роскошная Франция, в мече и шлеме! Крепким щитом прикройся! Не закачайся, Лютеция, корабль пышный! не затони в зашумевшем море человечьего непотребства! Случиться может... И ты, Лондон гордый, крестом и огнем храни Вестминстерское свое аббатство! Придет день туманный — и не узнаешь себя... Много без роду и без креста, — жаждут, жаждут... Много рабов готовых. Груды золота по подвалам, и много пустых карманов.

Я смотрю в сторону бывшей Ялты. Ее не видно. Но знаю я: течет и течет туда награбленное добро, поснятое с живых и мертвых. Течет — к морю. В море стекают реки. Течет через сотни рук, подымается на фелуги, на пароходы — плывет в Европу, на Амстердам, на Лондон... за океаны, на Сан-Франциско... Берегись, старая Европа, скупщица! не растеряй чудесное ожерелье славы! Кто знает?!..

И вы, матери и отцы родину защищавших... да не увидят ваши глаза палачей ясноглазых, одевшихся в платье детей ваших, и дочерей, насилуемых убийцами, отдающихся ласкам за краденые наряды!..

А вы, несущие миру новое, называющие себя вождями, любуйтесь и не отмахивайтесь. Пафосом слов своих оплакиваете страждущих?.. Жестокие из властителей, когда-либо на земле бывших, посягнули на величайшее: душу убили великого народа! Гордые вожди масс, восседаете вы на костях их с убийцами и ворами и, пожирая остатки прошлого, назоветесь вождями мертвых.

А она все сидит и томит-стонет:

— Ну, как же быть-то... с детьми-то как?!.. Михайла Васильич принес горошку, последнее. Сам ест желуди и горький миндаль, мелет на кофейной мельничке виноградные косточки и печет из них какие-то пирожки... опыт над собой производит и пишет работу. Вы понимаете, он уже... не в себе. Ну, как же? Конечно, я отдам ожерелье... пусть хоть три фунта...

Я не могу сидеть, слушать... Я ухожу и брожу по саду, путаюсь по кустам, натыкаюсь на кипарисы, ищу дышать...

Душно от кипарисов, от треска цикад, от неба... Ночь черная, ободок молодой луны давно свалился. Подходит урочный час — ходить начинают, с лицами в тряпках — в саже, поворачивать к стенке, грабить. Защитить некому. Могут прийти с минуты на минуту. Загремят в ворота и крикнут слово, отпирающее все двери:

— Отворяй, с ордером из Отдела!..

А соседи ткнутся головами в подушку и будут слушать...

В ГЛУБОКОЙ БАЛКЕ

В море начинает белеть, — в море рассвет виднее, — но горы еще ночные, в долинах — мгла. Намекают по ним беловатые пятна дач. Время идти в Глубокую балку, по холодку, — рубить.

Топор и ремень со мной. Я поднимаюсь на гребень Горки. Все — на пороге нового дня и — спит. Невесело просыпаться.

Серые виноградники по холмам, мутная галька пляжа... красный огонь на вымпеле!.. Не ушел еще «истребитель». Семеро могут встретить еще одно утро жизни. Я напрягаю глаза — в серую муть рассвета. Видно на посветлевшем море, как суетятся на пристани темные пятнышки. Их ведут, — запоздали? Делают это обычно глухою ночью. Или хотят показать, как встает над родными горами солнце, в последний раз?..

Я неотрывно смотрю. Погасает огонь на вымпеле, начинает дымить труба. Почему петухов не слышно? не погромыхивает с шоссе раннею таратайкой? Или пропали звуки?!.. Дробная сверль свистка — единственный знак рассвета?..

Нет... Я слышу унылый крик — неумирающий голос с минарета. Стоит над городком белая, тонкая свеча — и только одна она еще посылает измученный привет утру. Только она одна кричит воплем, что над горами, над городком, над морем, над всем, что на них и в них, пребывает Великий Бог, и будет пребывать вечно, и все сущее — Его Воля. Вознесите Великому молитву за день грядущий!

Пенится за кормой, и, бросая дугою след, «истребитель» уходит в море. Пошел — на Ялту.

Их было семеро, с поручиком-командиром. Татары больше. Долгие месяцы держались они в лесах и камнях, на перевале, в снегах и ливнях. Грозили и не сдавались. По Крыму их были сотни — не захотевших неведомой им Европы. Ловят перепелов на дудочку, селезней на утиный «кряк». Их поймали заманкой: объявили — прощение. Они спустились с оружием, — своей честью, — почерневшие и худые, с тревожно-сверкающими глазами застигнутой горной птицы. Они ходили по городку тревожно, плечо к плечу, приглядываясь к углам, прислушиваясь к ночным моторам. Они стереглись ночами, не выпуская из рук винтовки. Они поглядывали к горам, где камни были для них — родное: из камня выросли их аулы. Пока — им не разрешали туда вернуться. Их возили на фаэтонах: смотрите — друзья, союзники! покорились! Их кормили бараниной и поили вином — братались. И тенью следовали за ними ясноглазые люди, в коже. Их выпытывали приятельски о лихой жизни на перевале, об оставшихся там глупцах, о тропках... Потом — отобрали оружие: теперь мир, и они завтра поедут в свои деревни. Потом их забрали, ночью. Потом... сегодня уедут дальше. Уехали. С ними могут покончить в море — швырнуть с камнями...

Я долго стою на горке, смотрю на кипящий хвост.

Может быть, тут же, на берегу, их жены, матери... или из деревень горных видят черную лодочку на море и не чуют. Радуются прощенью, ждут: власти нельзя не верить. Слезы выплаканы давно. Теперь — ослепнут. Так ослепла старая татарка, над которою сжалились осенью, отдали задыхающееся тело ее офицера-сына, забитого шомполами. Она вымолила его, выбила головой у камня, в ногах у палачей выла.

— Теперь можешь везти! — сказали.

И она, счастливая, на горной глухой дороге, целовала его в погасающие глаза, приняла его вздох на родных коленях. Глухие буковые леса слушали ее тихий плач — да камни. Да старик возница, сосед-татарин, тер кулаком глаза.

— Не плачь, горькая женщина, — сказал он. — Лучше своя земля.

Этих не выдадут.

Я отрываю себя от моря, иду — высчитываю шаги, чтобы запутать мысли. Вот и Глубокая балка — конец мыслям. Теперь — бить крепче, по пням дубовым, тысячелетним, в земле увязнувшим...

Здесь стены — чашей, по ним — корявые кусты граба, над головою — небо. Рубить, не думать. А толканутся думы — рвать их по зарослям, разметать, рассыпать. Смотреть на странные кусты граба, игру природы. Не кусты, а чудесные превращения, таинственные намеки...

Вот — канделябр стоит, пятисвечник, зеленой бронзы, — кто его сбросил в балку? А вот, если прищуришь глаз, — забытая кем-то арфа, затиснутая в кусты, — заросшее прошлое... рядом — старик горбатый, протягивающий руку. Кольцами подымается змея, живая совсем, когда набегает ветер. Знаки упадка и пустоты, и лжи? А где-то вознесшийся черный крест, заросший... Вон он, не затеряется: прицепилась к нему портянка, и насунутое горлышко бутылки посвистывает-гудит в ветер. Это матросы из Севастополя стреляли здесь в цель — в бутылку. А вот знаменательный знак вопроса: ветром загнуло-выгнуло тонкую поросль граба. Недоуменный вопрос — о чем? Я все повырублю в балке, но крест оставлю, горлышко сниму только. Нет, оставлю и горлышко: в осенний ветер будет гудеть-выть Крест — само естество живое — в опустевшей Глубокой балке. Будет стонать, вопить. А вопросительный знак...

Я ударом срубаю знак: он всегда заставляет что-то решать и думать. Довольно решать и думать! никаких вопросов! Конец и арфе, и канделябру, и старику... Змею я кромсаю на кусочки. Никаких намеков! Пусть пустота — и только.

Я вырубаю дубовые «кутюки» — с визгом летят осколки. Глаз бы хоть выбили... оба глаза... Тьма все накроет. Смотрят на меня ящерки, желтобрюх толстой веревкой медленно уползает с тропки — тихие жильцы балки. С ними люблю молчать. Кузнечики прыгают на меня, ерзают в моих дырьях — по знакомству. И я замираю от изумления, когда примечу в кусту изможденного богомола: в порыжевшей ряске стоит он на умной своей молитве, воздевая иссохшие руки-лапки. Не на Крест

ли он молится, монах усохший? Или не видит, что на Кресте — бутылка?!

Если бы только это: кусты и камни, в камнях и в норах живущее! Но есть и еще, другое...

Я непременно увижу позеленевшую солдатскую гильзу, измятую манерку или лоскут защитного цвета — и все, залившее кровью жизнь, ударяет меня наотмашь. Колышется и плывет балка, текут по ней стеклянные паутины...

Живут вещи в Глубокой балке, живут — кричат.

Здесь когда-то — тому три года! — стояли станом оголтелые матросские орды, грянувшие брать власть. Били отсюда пушкой по деревням татарским, покоряли покорный Крым. Пили завоеванное вино, разбивали о камни и вспарывали штыками жестянки с консервами. Еще можно прочесть на ржавчине — сладкий и горький перец, фаршированные кабачки и баклажаны, компот из персиков и черешни — «Шишман»... Тот самый Шишман, которого расстреляли по дороге. Валялся в пыли, на солнце, фабрикант консервов, в сюртуке и манишке, с вырванными карманами, с разинутым ртом, из которого они выбили золотые зубы. Теперь не найти консервов, но много по балкам и по канавам ржавых жестянок, свистящих дырьями на ветру. Одуревшие от вина, мутноглазые, скуластые толстошеи били о камни бутылки от портвейна, муската и аликанте, — много стекла кругом! — жарили на кострах баранов, вырвав кишки руками, выскоблив нутро камнем, как когда-то их предки. Плясали с гиком округ огней, обвешанные пулеметными лентами и гранатками, спали с девками по кустам...

Славные европейцы, восторженные ценители «дерзаний»!

Охраняемые Законом, за богатыми письменными столами, с которых никто не сбросит портреты дорогих лиц, на которых солидно покоятся начатые работы, с приятным волнением читаете вы о «величайшем из опытов» — мировой перекройке жизни. Повторяете подмывающие слова, заставляющие горделиво биться уставшее от покоя сердце, эти громкие побрякушки — титанические порывы духа, гигантское обновление жизни, стихийные взрывы народных сил, величавые устремления осознавшего свою

мощь гиганта-пролетариата... — кучу гремучих слов, проданных за пятак беспардонно-беспутными строкописцами.

Тоскующие по взлетам, вы рукоплещете и готовы послать привет. Вы даете почетные интервью, восхищаясь и одобряя, извиняя великодушно частности, обязательно повторяя, что не ошибается только тот, кто... Ну, понятно. Ваши громкие имена, меченные счастливым роком, говорят всему миру, что все в порядке вещей. Благосклонные речи ваши наполняют сердца дерзателей, выдают им похвальный лист.

Невысока колокольня ваша: с нее не видно.

Покиньте свои почтенные кабинеты, с успокоительным светом приятных ламп, с тысячами томов, закрывавших золотом переплетов оголенную сущность жизни. Ступайте и досмотрите сами. Увидите не бумагу, засыпанную словами: увидите затекшие кровью живые души, брошенные как сор. Увидите все, если только хотите видеть! Увидите и самих дерзателей, развязно не забывающих, что императорские — дворцы, «роллс-ройсы» и поезда, тонкие вина прошлого, покоящие кресла, поглощающие ковры, белье тончайшего полотна с несорванными коронами, посуда с гербами чужих столов, — добытое дерзаньем, — куда приятней пустых панелей бродяжной жизни; что прекрасные вещи важнее прекрасных слов, а славу можно сорвать и дерзостью; что соблазнительными речами можно замазать глаза рабам, наглухо забить уши, а для охраны — можно нанять штыки.

Пойдите сами!

Но не с именем громким, на мир бряцающим. Громкому имени подадут покойный вагон-салон, сладко баюкающий качаньем, пущенный на последнюю корку, вырванную у нищего. Громкое имя пропишут в зеркальной рамке столичного Гранд'Отель, заботливо сбереженного про себя. Громкое имя оттиснут жирно в «известиях» собственного завода. Будут поить вином высочайшей марки, будут кормить телятами в молоке, стерлядями и дичью лесов сибирских, мастерски изготовленными лейб-поваром а-ля рюсс, — такими деликатесами, которые уже и во сне не снятся миллионам людей без имени. И покажут гордому имени волшебную панораму... в рамке!

Нет! Вы дерзните пойти без имени, пойти в недра... И не глядите через кулак. Увидите! Но осторожны будьте: можете упасть в яму.

Хорошо наблюдать грандиозный пожар с горы, бурю на океане — с берега. Величавое зрелище!

Пусто, глухо в Глубокой балке, но и здесь не уйти от них. А если подняться выше — увидишь белые петли шоссе, на Ялту. Стоят на бугре две палочки, два столба телеграфных. Проволоки на них какой уже год звенят все одно и то же — посылают приказы смерти. Здесь расстреляли на полном солнце только что накануне вернувшегося с германского фронта больного юнкера-мальчугана, не знавшего ни о чем, утомившегося с дороги. Сволокли сонного, привели на бугор, к столбам, поставили, как бутылку, и расстреляли на приз — за краги. А потом опять пили, жрали баранину и спали по кустам с девками. Пьяными глотками выли «тырционал»...

За кустами граба и дубняка виднеется деревянный шпиль и красная крыша разбитой фермы. Недавно шумела молодостью и силой. Помню благодатных коров, бурых и беломордых — Красулек, Полек, томно щурившихся на солнце, с ленцой жующих, когда бойкие бабьи руки позванивали играючи по ведрам. Помню мудрую хлопотню, сверкающие бидоны, громыхающие к закату, когда черная таратайка спускалась с ними, звонко плескавшими. И славных ребяток помню — пузатого мальчугана-трехлетка, обожженного солнцем до черноты, с кусищем пышного ситного в кулачке — убегающего от кур с ревом, и круглоликую голоножку, играющую с телятами. Я и сейчас еще слышу взякий и острый дух коровьего пота и навоза. Что за благодатная сыть! какое море молочное!.. благодатное какое солнце!..

Иссякло море. Согнали коров во всенародное стойло, и... усохло море молочное...

Ветром развеяны коровы. Заглохла ферма. Растаскивают ее соседи. Там — пустота и кровь. Там конопатый Гришка Рагулин, матрос, вихлястый и завидущий, курокрад недавний и словоблуд, комиссар лесов и дорог округи, вошел ночью к работнице погибавшей фермы и недававшуюся заколол штыком в сердце. Нашли свою мать со штыком проснувшиеся с зарею дети... Пели по ней

панихиду бабы, кричали при белом свете, с обиды за трудовую сестру свою, требовали к суду убийцу. Ответили бабам — пулеметом. Ушел от суда вихлястый курокрад Гришка — комиссарить дальше.

Куда ни взгляни — никуда не уйдешь от крови. Она — повсюду. Не она ли выбирается из земли, играет по виноградникам? Скоро закрасит все в умирающих по холмам лесах.

Я рублю и рублю... Довольно: полон мешок «кутюков» дубовых, довольно сучьев. Потяну ремнем в гору, потом с горы, потом в гору... Солнце залило балку, над головой день полный и жарко-жаркий. Сажусь у Креста, на камень. Дремотно зудят цикады. Дремлется на жаре...

ИГРА СО СМЕРТЬЮ

— Добрый день!..

Я вздрагиваю — лечу как в пропасть. Спал я? Солнце совсем высоко, а у меня еще много дела: надо нарвать листу, выпустить курочек; надо идти далеко, к татарину, просить ячменю пять фунтов за проданную рубаху...

— Кажется, вы спали... Помогу вам нести.

Стоит под Крестом оборванный человек, чернявый, с опухшим желтым лицом, давно не бритым, не мытым, в дырявой широкополой соломке, в постолах татарских, показывающих пальцы-когти. Белая ситцевая рубаха подтянута ремешком, и через дырья ее виднеются желтые пятна тела. По виду — с пристани, оборванец.

Я его давно знаю: собрат, молодой писатель, Борис Шишкин. Он присаживается на камень, и мы молчим.

Почему-то мне особенно тяжело при нем. Тянет на меня жутью. Чуется мне, что неумолимое стоит за его спиной, стоит-поигрывает, — смеется: пожмет за горло и неожиданно выпустит — ну, дыши! Его судьба необыкновенно трагична. Я вижу, как она откровенно играет с ним: то — вот отнимает жизнь, то — вот нежданно дарует! И — сыграет наверняка. С ним что-то должно случиться. Что — не знаю. Но с ним что-то случится... Когда я встречаюсь с ним, мне становится его жалко и тяжело. Его мечта — он ее не теряет — уйти хоть под землю от этой жизни и отдаться писательству. Я знаю, что он и теперь пишет — где-нибудь на камне, на берегу моря, в заброшенном

винограднике, в полнолуние — без огня. Между строк, на старых газетах, чернилами из синих каких-то ягод: не достать бумаги, не купить ни за какие деньги.

И теперь, в этой балке, он говорит о том же:

— Если бы очутиться на диком острове, ракушками питаться, кореньями... и никого чтобы, хоть бессрочно! только бы не мешали писать... Сколько у меня тем! Вы знаете... я хочу о другом писать... о детском, о таком чистом, ясном... а это все так давит!..

Я знаю, что он талантлив, душа у него нежна и чутка, а в его очень недлинной жизни было такое страшное и большое, что хватит и на сто жизней.

Он был на великой войне солдатом, в пехоте, и на самом опасном — германском фронте. Душою нежный, любовно рассказывавший о травках, он должен был убивать штыком в брюхо. Он попал в плен на вылазке, три раза бежал, и три раза его ловили. В побегах он переплывал реки, блуждал в лесах, хоронился днями в хлебах, шарил в сараях по деревням, умирая от голода, вырывал у детей куски. В последний побег он дошел до передовых позиций, в ночной обстрел был ранен своею пулей и оказался в немецкой цепи. Его чудом не расстреляли как шпиона. Его подвесили, в наказание, на столбу, за скрученные назад руки, ему «щекотали» скребками ребра до обморока и потом его опустили в шахты. В шахтах морили голодом. Он раздулся как от водянки и едва передвигал ноги, но его заставляли возить вагонеткой уголь. Но судьба поиграла с ним и под землею. Его засыпало взрывом с десятком пленных. Через трое суток его отрыли — единственного живого: счастливо его прикрыла опрокинувшаяся тележка. Он с полгода пролежал в больнице и воротился в Россию при обмене пленных. Он добрался до городка на нижнем Днепре, уже при советской власти, и должен был поступить на службу, — выбрал себе по сердцу — подбирал беспризорных детей-сирот. Город взяли казаки, его захватили на улице с портфелем, признали за комиссара и потащили, но проходивший по улице офицер узнал в нем своего исправного взводного по роте, на германском фронте. Это было, конечно, чудо. Но чего не бывает в жизни! Он перебрался в Крым, где встретил свою семью, попал в армию добровольцев, признан нестроевым и слу-

жил в городке, при комендатуре. При отступлении он не ушел за море. Его арестовали большевики и уже хотели, раздев до подштанников, гнать на Ялту, где ожидал верный расстрел, как опять его спасло чудо: он показал кому-то тощую книжку своих рассказов и рассказал историю своей жуткой жизни. Пьяный палач глядел на него тупо и повторял: «А, черт... его не берет пуля! моя — во-зьмет! — Взял его за плечо, сдавил крепко и, повторив еще раз, жутко: — Моя... возьмет... — Оттолкнул бешено: — Ступай... к черту!» Он опять поступил на службу — по приказу. Он должен был шарить по дачам, и, против воли, совестливый и тихий, он отбирал кровати, столы и стулья, лампы и самовары — для начальства. Он заведовал рабочим клубом, куда никто не ходил, и политической читальней, из которой не брали книги. Но он был честный работник, ему предложили ответственную должность, ему предлагали стать коммунистом, но он подал заявление о болезни и, наконец, получил свободу. Теперь он мог ходить по садам — работать за полфунта хлеба и писать рассказы.

— Теперь я свободен! Совсем уйду из проклятого городишки... не буду ни-чего видеть, слышать... В скалах буду жить. Солнышко, да звезды, да море... У нас там ти-хо! За десять верст отсюда. Пусто под Кастелью. Там была дача у дядюшки... дядюшка еще в прошлом году в Константинополь уехал, и мы отхлопотали, как трудовое хозяйство... будем сад обрабатывать. Отец, мать и я. Братишку на днях от военной службы по чахотке освободили... Посеяли мы кукурузу, виноград снимем, заведем корову... Заходил к вам на дачу проститься, здесь отыскал...

Он был неописуемо счастлив. Он сидел под Крестом, наклонив голову к коленям, и что-то проглядывал в тетрадке.

— Буду писать повесть... «Радость жизни»! Я так ее чувствую теперь... Только не этой жизни, а... ласковой... я ее представляю себе как голубое небо...

Он так счастлив, что не может думать. Он только чувствует.

— Там у нас есть древний «Хаос», обвал давний... в камнях — ниши. Устрою себе там комнатку, а свет будет проходить в щели, сверху... Там хорошо писать! А вместо

стола будет глыба из диорита... На будущий год посеем пшеницу. Только бы зиму перебиться! Теперь печем лепешки из желудей... у нас с прошлого года запасено, но только тошно от них...

Его опухшее желтое лицо — лицо округи — говорит ясно, что голодают. И все-таки он счастлив.

— А лучше бы было, пожалуй, тогда уехать... Европа! Ради семьи остался. Отца, мать жалко было бросать, сестренку... Теперь редко буду приходить в город...

Так мы сидим под Крестом, думаем — свое каждый.

— Да!! — вскрикивает он вдруг. — Слышали, что случилось?!

— Что же случилось? Разве может еще что-нибудь случиться?

— Убежали! сегодня ночью!..

— Они... убежали?!!.. Те?!..

Перед глазами круги, шары...

— Все... все убежали... теперь уж там! — показывает он на горы. — Из-под самой мушки!

Доктор... провидец доктор! Перед смертью ему открылось?.. или ходили слухи? Но если бы были слухи, не прозевали бы те...

— Произошло это около часу ночи. В два часа их собирались забрать на «истребитель»... везти в Ялту. За ними-то и прислали. Ходили слухи, что они стали слабеть от голоду, — всего по четверке хлеба, да и не каждый день! а какого хлеба... вы сами знаете. С ними сидел какой-то француз, за что — неизвестно. Он-то и показал на допросе, как все случилось. А мне знакомый передавал, коммунист. Всю ночь такая каша у них была!.. Будут теперь аресты, возьмут заложников... Вот как было. Они не собирались бежать первое время, надеялись, что подержат и выпустят. Но когда стали слабеть — решили, что хотят заморить их голодом. Что их расстреляют, они не верили. Ведь объявили амнистию! Ну, сошлют... И вот как-то узнали, что в Симферополе расстреляли спустившихся с гор «зеленых», как и они, и главного кого-то, черкеса, кажется... А то ухаживали и соблазняли службой. Тогда — решили бежать, когда выведут из подвала. Что их повезут сегодня ночью, они не знали. Потом передумали: испугались, что скоро ослабнут так, что не в силах

будут бежать. И вот решили бежать этой ночью! Как раз за час до увоза!.. подумайте — какой случай! Составили план и бросили жребий, кому собою пожертвовать... кому с часовым схватиться. Ведь безоружные! Француз не тянул жребия, отказался бежать. Верил, что его непременно освободят, неизвестно, за что схватили... Француз — и только. Теперь его повезли в Ялту: знал о побеге и не донес! Жребий выпал татарину. Они все — там были и русские, и татары, и чеченцы... они обнялись и поцеловались... простились перед судьбой... Как это... хорошо! Совсем одичали, затравлены... всюду кровь, и... такое братство, перед судьбой! Потом нарочно подняли шум в подвале, чтобы выманить часового. Вышло, часовой сунулся... Татарин схватил винтовку... тот на него... и они ринулись! сбили наружного часового и пропали. Ночь была темная, побежали прямо к горам, рассыпались... захватили винтовку... Наружный поднял тревогу, убил татарина, заколол. Теперь ответит за всех француз. В городишке нет лошадей, и ночь... а им все пути известны. Теперь Перевал даст знать! Подпоручик у них лихой!.. Пощады теперь не будет... Все шестеро.

Я благодарно смотрю на горы, затянувшиеся жаркой дымкой. Они уже там теперь! Благодатный камень!.. и вы, леса...

— Коммунисты теперь напуганы, опять Перевал отрезан. И на машине не сиганешь — обстрел! Все повороты пристреляны. Теперь ночевать боятся, будут налеты с гор. Квартиры известны... понятно, у тех есть связь, а не нащупаешь...

Хоть шестеро жизнь отбили! Я с любовью смотрю на горы, благостные, суровые, — покровители храбрых. Храбрых укроют камни. Простая правда у них — своя. Храбрыми Бог владеет! Могут быть милостивы — недвижные. Люди на них живут, укроют люди. Последним куском поделятся. Правда у них — своя. Будет продолжаться борьба, за правду борьба, за душу. И днем, и ночью. На глухих тропках, над пропастями, в орлиных гнездах, на проезжих дорогах... С радостью припадут к ключам светлым, будут слушать чуткую тишину в горах... Чудо могло случиться!

— Жить интересно все-таки! — восторженно говорит счастливец. — Я хорошо понимаю, что значит — уйти от смерти! Счастье сознательного рождения... так чудесно!

Пора выходить из балки. Он помогает мне тянуть хворост, взвалил и мешок с тяжелыми «кутюками». Он переполнен счастьем.

— Я... сво... боден!! Чудесный сегодня день! Какие горы!.. вижу, как они дышат, и праздник у них сегодня, воскресенье... Я напишу о них! Какие бывают случаи...

Я его вижу в последний раз! Ни он и никто не знает, что вот случится... Детски наивное лицо его светится таким счастьем. А где-то плетутся петли, и никто не чует, какая спасет от смерти, какая его задавит.

Так доходим до домика. Нас встречает Павлин тоскливым криком — стоит на воротах, зелено-фиолетово-синий, играет солнцем.

— Ах, красота какая! Сколько всего рассыпано... бери только!

И я не чую, что смерть заглядывает в его радостные глаза, хочет опять сыграть. Четыре раза, шутя, играла! Сыграет в пятый, наверняка, с издевкой.

ГОЛОС ИЗ-ПОД ГОРЫ

Я сижу на пороге своей мазанки, гляжу на море. И тишина, и зной. Не дрогнет паутинка от кедра к кипарису. Я могу часами сидеть, не думать. Колокола в голове и ревы — голодный шум?.. Красные клочья вижу в себе я внутренними глазами — содом жизни...

Но вот, рождается тонкий и нежный звук... Если схватить его чуткой мыслью, он приведет с собой друга, еще, еще... — и в охватывающей дремоте они покроют собой все гулы, и я услышу оркестр... Теперь я знаю музыку снов — не снов, понятны мне «райские голоса» пустынников — небесные инструменты, на которых играют ангелы?..

Поет и поет неведомая гармония...

...П-бáааа!..

Сбил ее в горах выстрел — поймал кого-то? И вот — кровяные клочья... и вот они — действующие сей жизни: стонущие, ревущие...

Белые курочки болью смотрят в мои глаза. Знаю — и в ваших головках шумы, но не уловите тонкий звук, не приведете гармонию. Что вы глядите так? тени стоят за вами?.. Что вы, маленькие друзья мои, вглядываетесь в меня тоскующими глазами? Не надо бояться смерти... За ней истинная гармония! Ты, Жемчужка, не понимаешь, какой и ты чудесный оркестр — ничтожный, и все же — наичудеснейший! Твой черный зрачок, пуговочка-малютка, — величайшее чудо жизни! В этой лаковой точке огромное солнце ходит... миры бескрайние! И море в твоем глазке, и горы, вон эти, серые, в камне, в дымке... и все на них — и леса, и звери, и люди, стерегущие по пустым дорогам, притаивающиеся в камне... и я, у которого в голове вся жизнь. Все уловишь своим глазком, который скоро уснет, все унесешь в неведомое... А твое перышко — оно уже потускнело, но и оно — какая великая симфония! Великий дал тебе жизнь, и мне... и этому чудаку-муравью. И Он же возьмет обратно.

Ах, какой был чудесный оркестр — жизнь наша! какую играл симфонию! А капельмейстером была — мудрая Жизнь-Хозяйка. Пели свое, чудесное, эти камни, камни домов, дворцов, — как орут теперь дырявыми глотками по дорогам! Железо пело — бежало в морях, в горах... звонило по дойникам, на фермах, славной молочной песенкой, и коровы трубили благодатной сытью. Пели сады, вызванные из дикости, смеялись мириадами сладких глаз. Виноградники набирали грезы, пьянели землей и солнцем... Пузатые бочки дубов ленивых, барабаны будущего оркестра, хранили свои октавы и гром литавр... А корабли, с мигающими глазами, не засыпающими в ночи?! А ливнем лившаяся в железное чрево их золотая и розовая пшеница свое пела, тихую песню тихо родивших ее полей... И звоны ветра, и шелест трав, и неслышная музыка на горах, начинающаяся розовым лучом солнца... — какой вселенский оркестр! И плетущийся старик нищий, кусок глины и солнца, осколок человечий, — и он тянул свою песню, доверчиво становился перед чужим порогом... Ему отворяли дверь, и он, чужой и родной, убогая связь людская, засыпал под своим кровом. Ходил по жизни ласковый Кто-то, благостно сеял душевную мудрость в людях...

Или то сон мне снился и не было звуков чарующего оркестра? Я знаю, — не сон это. Все это было в жизни.

Я же ходил и по темным дорогам Севера, и по белым дорогам Юга. Я доверчиво говорил с людьми, и люди доверчиво отвечали мне, и Христос невидимо ходил с нами. Чужие поля были мои поля, и далекая песня незнакомого хутора меня манила. Шаги встречного на глухой дороге были шаги моего товарища по жизни, и не было от них страха. И ночлеги в полях, и ласковость родной речи... Правила всем и всеми старая, мудрая Жизнь-Хозяйка!

И вот — сбился оркестр чудесный, спутались его инструменты — и трубы, и скрипки лопнули... Шум и рев! И не попадись на дороге, не протяни руку, — оторвут и руку, и голову, и самый язык из гортани вырвут, и исколют сердце. Это они в голове — шумы-ревы развалившегося оркестра!

Шуршит за изгородью, шипит... будто змеи ползут на садик. Я вижу через шиповник — ползет гора хвороста и дерев, со свежими остриями рубки. Шипит хвостом по камням дороги. Ползет гора хворосту, придавила человека. Останавливается, передыхает, — и слышу глухой голос из-под горы:

— Добрый день...

Через редкий шиповник я вижу волосатые ноги, в ссадинах, мотающиеся от слабости.

— Добрый день, Дрозд. Свалите пока, передохните.

— Нет уж... потом и не подымешь...

Это почтальон Дрозд. Почтальон когда-то... Теперь?.. Какие теперь и откуда письма?!

Правда, в первый же день прихода завоеватели объявили «сношения со всем миром». Пришел на Горку пьяный Павляк, комиссар-коммунист недавний, бахвалился:

— Установил сношения с Францией... с чем угодно! Пу-усть попишут, покажут связь... Как мух изловим!..

Не овладел Павляк с величием своей власти: выпрыгнул из окна, разбил череп. И прекратились «сношения». Новый начальник, рыжебородый рассыльный, рычит из-за решетки:

— Че... го-о?.. Никакой заграницы нету! одни контриционеры... мало вам пи-сано? Будя, побаловали...

И вот — сложил свою сумку Дрозд и — «занимается по хозяйству».

Каждый день поднимается он мимо моей усадьбы, с топором, с веревкой — идет за шоссе, за топливом, — на зиму запасает. Я слышу его заботливые шаги перед рассветом. Нарубит сухостоя и слег, навалит на себя гору и ползет-шипит по горам, как чудище, через балки, — и вверх, и вниз. За полдень проходит мимо, окликнет и постоит: дух перевести надо.

Это — праведник в окаянной жизни. Таких в городке немного. Есть они по всей растлевающейся России.

При нем жена, дочка лет трех и наследник, году. Мечтал им дать «постороннее» образование, — всестороннее, очевидно, — дочку «пустить по зубному делу», а сына — «на инженера». Теперь... — впору спасти от смерти.

Когда-то разносил почту по пансионам, с гордостью:

«Наша должность — культурная мисси-я!»

Когда-то покрикивал весело:

«Господину Петрову — целых два! Господину агроному... пи-шут!»

Потом говорил торжественно, в изменившемся ходе жизни:

«Гражданке Ранейской... по прошлогоднему званию — Райнес! Товарищу Окопалову... с соци...алистическим приветом-с!»

Потом — прикончилось.

Он с благоговением относился к европейской политике и европейской жизни.

«Господину профессору Коломенцеву... из... Лондона! Приятно в руках держать, какую бумагу производят! Уж не от самого ли Лойд-Жоржа? Очень почерк решительный!..»

Ллойд-Джорджа он считал необыкновенным:

«Вот так... по-ли-тика! Будто и на социализм подводит, а... тонкое отношение! С ним политику делать... не зевать. Пря-мо... необыкновенный гений!..»

И пришло Дрозду испытание: война. Растерянный, задерживался, бывало, он у забора:

«Не по-ни-маю!.. Такой был прогресс образования Европы, и вот... такая некультурная видимость! Опять они частных пассажиров потопили! Это же невозможно пере-

носить!.. такое озверение инстинктов... Надо всем культурным людям сообразить и принести культурный протест... Иначе... Я уже не знаю что! Немыслимо!»

Он ходил в глубокой задумчивости, как с горя. За обедом, хлебая борщ, он вдруг задерживал ложку, ужаленный острой мыслью, и с укоризною взглядывал на жену. Его четырехугольное, скуластое лицо, с мечтательными, голубиного цвета, глазами, какие встречаются у хохлов, сводило горечью.

— Разве не посолила? — спрашивает жена.

— Так, нарушать, прин-ципы, культурной, нравственности! — с укоризной чеканил Дрозд, тряся ложкой и расплескивая борщ на скатерку. — Европа-Европа! Куда ты идешь?! над бездной ходишь!.. Как ниспровергнуто все, аж!..

— Да кушай, Гарасим... борщок стынет. Сдалась тебе твоя Иврóпа, какое лихо!.. Ну, шшо тэбэ... гроши тэбэ дають?..

— Гро-ши! Ну, шо ты у полытике домекаешь? А-ааа... Правильно говорит Прокофий: подходят страшные времена из Апокалипса Ивана Богослова... кони усякие, и черные, и белые... и всадники на них огненные, в железе... в же-ле-зе!

— Зачитал голову твой Прокофий, всем голову морочит. Таня сказывала... всех детей на крышу с собой забрал ночевать и топор унес, чудеса ему чудются...

— Чу-де-са... — с укоризной отвечал Дрозд. — Чудеса могут быть. Если куль-ту-ра так... ниспровергает, то обязательно нужны чудеса, и бу-дут! От...кровение! А почему — от...кровение?! от... кро-ви! Если такая кровь, обязательно будут чудеса! Прокофий чу-ет. Говорит как?.. «Не имею права брать за работу деньгами, в деньгах кровь! Я тебе сапоги сошью — ты мне... хлебушка душевно принеси!» Вот как надо, если по закону духовному... Это — куль-ту-ра! И вот даже Лойд-Жорж...!

— Сирот и оставит Прокофий твой.

— Сирот должны добрые люди подобрать, с любо-вию! Чего ты так понимаешь? Нужна нравственная мораль! Чем люди живы? Ну?! Что граф Лев Толстой велит... его вся Европа уважает, как... ге-ния! А в двадцатом веке... и один дикий инстинкт! А-аааа!..

Он очень любит слова: прогресс, культура. Говорит — «про-грес» и «референ-дум». Он уважал людей образованных и называл себя... прогрессистом. Он не разбирался в партиях: он только хотел — «культуры». И когда налетели большевики и стали хватать по доносам, кого попало, схватили и смиреннейшего Дрозда — «врага народа». То были первые большевики, матросы, дикари, и с ними гимназист из Ялты — командиром. Они посадили Дрозда в сарай, вместе с калекой-нотариусом и Иваном Михайлычем, профессором, которому на днях пожаловали пенсию — по фунту хлеба в месяц. Две ночи сидел Дрозд в сарае, ждал расстрела. Спрашивал «господ»:

— За что?! Политикой не занимался, а только разве про куль-туру. Скажите речь им... про культуру и мораль! обязательно скажите! просветите темных!..

В сарай совались матросьи головы:

— Что, господа енералы........?! Сегодня ночью рыб кормить будете господским мясом...

— Хорошо, братцы... Один Господь Бог и в смерти и в животе волен, а ты только Его орудие... помни и не гордись! Может, для твоего врозумления так дано... каяться потом будешь! Ну, ладно, все едино... ну, мы пусть генералы... хорошо... — покивал им Иван Михайлыч, — хотя ты, друг мой глупый, правой руки от левой не отличишь, а в политику полез. Тебе бы, дурачку, на корабле плавать да с немцами воевать, Россию нашу оборонять, а ты, вон, винцо потягиваешь чужое да охальничаешь! А зачем вот трудового человека, почтальона, убить хотите? У него детки малые, на руках мозоли... Креста на вас нету!..

— А не твоего ума дело, старый черт... разговорился! Ужо с рыбами поговори, дворянская кость! по праздникам кладешь в горсть, по будням размазываешь?..

Не стерпел Иван Михайлыч обиды, схватил через дверь костлявой рукой матроса за синий воротник, — обомлел даже матрос от такой дерзости, крикнул только:

— Пу...сти... по-рвешь, черт!.. чего сдурел?..

— Как — чего? Да я сам вологодский, как ты... православный!

— Как так?! Ужли и ты вологодский?!— обрадовался матрос, и его широкое, как кастрюля, дочерна загорелое лицо раздвинулось еще шире и заиграло зубами.

— Как же не вологодский? Говору своего не чуешь? Смеются-то как про нас!.. «Ковшик менный упал на нно... оно хошь и досанно, ну да ланно — все онно!»

— Ах, шут те дери... верно-прравильно! Ну, старик... наш, вологодской? Покажься мне... — радовался матрос, захватывая Ивана Михайлыча за плечи. — Правильный, наш! А... стой! Уезду?!

— Чего там — стой... ну, Усть-Сысольскова уезду... ну?!

— Ка-ак так?! И я тожа... Ус...сольскова? Н-ну... де-лааа...

— Я сам земельку орал да в школу бегал... да вот и профессор стал, и книжки писал... и опять могу землю драть, не боюсь! А чего вы этого человека забрали, топить сбираетесь?..

— За-чем... мы его на расстрел присудили, за снисхождение...

— Да вы, головы судачьи, глаза-то сперва мылом промойте...

— Да ты чего лаешься-то, не боишься ничего, старый черт?!

— Говорю, — вологодской, весь в тебя! А чего мне бояться-то, милой? Я уж одной ногой давно во гробу стою... а вы вот, видно, сами себя боитесь, — мальчишку-молокососа себе за командира выбрали, стариков убивать! Да его еще за уши рвать нужно... я ему, такому, двойки недавно за диктовку ставил... Вы с него, сопляка, штаны-то поспустите да поглядите: задница, небось, порота, не поджила!..

Дергал нотариус старика, — ку-да! А тут еще подошли матросы. И уж что ни говорил им ялтинский гимназист, как ни взывал к революционному самосознанию и партийной дисциплине, вологодский матрос взял верх. Выпустил из сарая всех:

— Ну вас к лешему!

То было другое время, — другие большевики, первые. То были толпы российской крови, захмелевшей, дикой. Они пили, громили и убивали под бешеную руку. Но им могло вдруг открыться, путем нежданным; через «пустяк», быть может, даже через одно меткое слово, что-то такое, перед чем пустяками покажутся слова, лозунги и програм-

мы, требующие неумолимо крови. Были они свирепы, могли разорвать человека в клочья, но они неспособны были душить по плану и равнодушно. На это у них не хватило бы «нервной силы» и «классовой морали». Для этого нужны были нервы и принципы «мастеров крови» — людей крови не вологодской...

И вот ни в чем не повинный Дрозд получил избавление от смерти. Получил — и умолк навеки. Он уже не говорил о культуре и прогрессе. Он — как воды набрал, и только глаза его, налитые стеклянным страхом, еще что-то хотят сказать. Даже о погоде он не говорит громко и не кричит, как бывало, размахивая газетой:

— Замечательная телеграмма! Рака нашли!.. Немец сыв-ротку открыл!

— Планету новую отыскали! Как-с?.. Да, комету... Звезду пятой величины! пя-той!!

В войну его мучил Верден. Он не спал ночами и что-то выглядывал по карте. Бежит, бывало, — газетой машет:

— Отби-ли!.. семнадцатый штурм-атаку! Геройский дух французов все смел... к исходному положению! к исходному!!.

И все это кончилось — и Верден, и дух... И Дрозд умолк.

Вот он стоит под придавившей его горою. Ноги сочатся кровью, словно его полосовали ножами. Подсученные штаны в дырьях. Из-под горы высматривает с натугою бурое, исхудавшее, взмокшее лицо — мученика лицо!

— Физический сустав совсем заслаб... — таинственно шепчет Дрозд. — Питание... ни белков, ни желтков! Как-с... да, жи-ров! Бывало, двадцать пять пудов с подводы принимал... разве крякнешь только. Курей водил... Дите там заболеет — курячий бульон жизнь может воротить! Соседи всех курей, как бы сказать... дискредитировали... Последнего кочетка сегодня из-под кадушки вынули! Как уж хоронил... Наш народ... — его голос чуть шелестит, — весь развратный в своей психологии... Как-с? Понятно, надо бы на родину. Катеринославский я. Племянник пишет — хлеба мне пудов пять приготовил... а как доставишь? Поехал — то сыпняк, а то ограбили. А совсем собраться — все бросай! А ведь усякой стаканчик, сковородка... сами понимаете, задаром отдать надо, — ни

у кого нет средств. Библиотека тоже у меня... — пудов... на пять наберется! погибнет вся моя культура... — шепчет и шепчет Дрозд, глядит испуганно.

— Да, плохо, Дрозд.

— Позвольте, что я вам хочу сказать... Вся циви...лизация приходит в кризис! И даже... ин-тили-генция! — шипит он в хворосте, глядит пугливо по сторонам. — А ведь как господин Некрасов говорил: «Сейте разумное, доброе, вечное! Скажут спасибо вам бесконечное! Русский народ!!»... А они у стару-хи крадут! Все позиции сдали — и культуры, и морали. К примеру, старушка подо мной живет, Наталья Никифоровна, — может, знаете... блюла приют для сирот, которые от педагога Тихомирова, для народных учителей... и на старости лет ей куска хлеба не положено! И вот один образованный интеллигент сжалился... Да как! «Я, говорит, вам паек добуду. Это безобразие, такому человеку погибать! тогда все ниспровергнуто!» Побежал к докторам, стыдить: старушка святая погибает в голодной смерти! не уйду, покуда не отчислите! Отчислили. Загреб все сладости — к старушке. «Исхлопотал! молитесь за меня!» Заплакала старушка: угодник Божий объявился! Выдал ей четверку сахару, с рисом смешал, мучки фунтик... Четвертую ей часть пайка, а сам себе все кашку рисовую варил на сахаре! Люди усе дознали. Прибег к старушке: «Недоразумение! Я вас не покину, но чтобы компромисса не было для меня... а то как дознают, — и вас под суд за незаконное получение, и докторов в подвал посадят!» Заплакала старушка. «Уйдите от меня, я змеев боюсь!» А ведь он шу-бу на меху имеет и золотые за-понки, с часами! Усе так! Ну, поеду с горки, теперь я — дома...

— Слыхали, Дрозд... бежали сегодня ночью!

Дрогнула гора, хвостом заерзала...

— Ка-ак?!...?! быть того не может!..

Он смотрит в ужасе. Он не говорит, а дышит, и глаза его скосились в сторону. Ни души кругом, никто не слушает.

— Не распространяйте, Бо-же сохрани!.. — шепчет-шелестит он, возя хвостом. — Тут такое может... А верно?.. Та-ак... Ну, поехал...

Шипит шага два и останавливается — лицом на море. Шепчет:

— А дозвольте вас спросить... Как же теперь... Лойд-Жорж?..

— То есть... что вы хотите знать, Дрозд?

Гора молчит, раздумывает — все к морю. Потом хвост ее медленно заворачивается с шипеньем, словно и он все думает, Дрозд приближается ко мне и опять — чуть слышно:

— Так, вообще... существует?!..

Он согнулся под тяжестью горы, вытягивает, как черепаха, бурое лицо и смотрит вывороченными с натуги, кровяными глазами. Пытает ими.

— Это на том свете, Дрозд. Все это — было.

— Значит... по-мер?!

— Жив. И с аппетитом кушает бифштекс и запивает портером.

Дрозд смотрит с ужасом.

— По...ртером?!..

Какой-то жуткий намек улавливает он в этом слове.

— Да, портером. Знайте, Дрозд: каждый народ имеет своих родителей. И они... умеют так говорить и действовать, что, поговорив о человечестве и высоких целях, в результате они приобретают... для своих — лишнюю бочку пор-тера! Вы понимаете?..

— Тце-це-це-це... — пощелкивает языком Дрозд. — Да-аада-аа...

Он совсем валится на шиповник и упирает измученные глаза в мои. Шепчет в страхе:

— А мы-то, дураки... Да без нас немцы бы их еще в четырнадцатом сглотали!.. Вот так... оберну-ул!..

— Бифштекс и портер! А у нас... Так-то, милый Дрозд!.. И ни-кому не нужны. И сами виноваты!

Он испуган насмерть. Он вертит шеей.

— А ведь как Европа... какую куль-ту-ру сеяла! А?! И сам Лойд-Жорж... я читал усе его слова... до слез! Ну, теперь все пропадет... Герцен замечательно пишут: Россия пропадет — все пропадет! И правильно говорит Прокофий... от-кровение! От... кро-ви.

И он уходит, праведник на кладбище нашем.

Праведники... В этой умирающей щели, у засыпающего моря, еще остались праведники. Я знаю их. Их немного.

Их совсем мало. Они не поклонились соблазну, не тронули чужой нитки — и бьются в петле. Животворящий дух в них, и не поддаются они всесокрушающему камню. Гибнет дух? Нет, — жив. Гибнет, гибнет... Я же так ясно вижу!

А там... где нет миндальных садов, блистающего моря и этого смеющегося солнца, пирующего на кладбище? Там — как?..

Я смотрю на север, за Чатырдаг синеющий... Россия, яблочные сады, поля... Если бы очутиться там, далеко-далеко от развалившихся городов, от деревень погибающих... Все идти, идти... Вот луга, росистые луга, к ночи. Какая свежесть! какою нежностью дышат дали! Обещают — чего ни пожелаешь. Так бывало... теперь?.. Что это — темными шапками по лугам? стога ли? Гнилые стога — порезанная сила. Сойти с дороги — и провалиться... Может быть, тихий сон навеют поля ночные, накаркают вороны на рассвете...

НА ПУСТОЙ ДОРОГЕ

Сентябрь отходит. Затихли ветры осеннего равноденствия — жару сбили. В эту пору погода суха, мягка. Воздух прозрачен, тонок. И звонко все, — сухо-звонко. Выгоревшие скаты скользки и жарко блещут. Кузнечишки, сухая мелочь, вспыхивают по ним серыми брызгами. Сбитое ветром перекати-поле звонко треплется по кустам. Днем и ночью зудят цикады, заводят свои пружинки.

Кастель начинает золотиться. В долине, по ближним горкам, — все больше рыжих и красных пятен в подсыхающих виноградниках, по грабу и дубняку. Я всякое утро примечаю, как пятна всползают выше, а серого камня больше выглядывает в лесах: сохнут леса, сквозят. Крепкой, душистой горечью потягивает от гор, горным вином осенним — полынным камнем. Пьешь его на заре — и будто чуть-чуть покалывает шампанским. Вино веселое...

А голая стена Куш-Каи — все та же, все та же летопись: пишет по ней неведомая рука. Все вбирает в себя, все видит. Смотришь на ее камень ясный и думаешь о пустыне... Кругом так тихо... Но знаю я, что во всех этих камнях, по виноградникам, по лощинам, прижались, зажались в щели и затаились букашки-люди, живут — не дышат. Ничего же не слышно! Ни выкрика,

ни стона. Глядят на осень, а осень делает свое дело — раздевает.

Я знаю... знаю, как кругом тихо.

Был я недавно там, — бродил по пустой дороге, по берегу. Так, без цели, как вьется в ветре перекати-поле. Зевали былые дачи. Густо сыпали кипарисы шишки — бери, не жалко. Пчелы звенели на дикой мяте, готовили зимние запасы — маленькие незнайки! Пауки по взгорьям раскинули полотняные навесы, как от солнца, а сами дремлют по уголкам, будто поджидающие по прохладным лавкам заспанные торговцы... Я так все вижу, все мои чувства остры и тонки... Я чувствую даже камни, могу говорить с пустой дорогой. Она мне рассказывает очень много... Может быть, я скоро сольюсь со всеми — и откроются мне пределы?..

Я долго стоял у Черных Камней, где море пробило себе лазейки, сторожил, не увижу ли крабика между камнями. Не выползал крабик. Зачем мне крабик? разве он мне что скажет? Это было очень давно, в сказках детства... Тогда вещие щуки дарили счастье, камни на распутье указывали судьбу, и на могилках тростинки пели... Это было очень давно, так давно, что никто не помнит...

Я отдыхал на камне, полоскало мне ноги море. Старик татарин цапался по откосу, с усилием выдирал какую-то сухую траву — зачем?

— Селям-алекюм!

— А-а-лекюм! — хрипнул старик, взмахивая рукой, словно хотел сказать: про-пал «алекюм», как все!

Я шел и шел, выглядывая какой-нибудь ухоженный татарский виноградник, тая в мешочке, под шишками, заплатанную рубаху. Не даст ли татарин-сторож хоть груш сушеных... Не попадался ухоженный виноградник. Я забирался в ржавые заросли ажины. Не было на ажине ягод. Не было человека на дороге. А вот целых три человека! Дети...

Их было трое — две девочки и мальчик. Старшая, лет двенадцати, тревожно взглянула на меня обведенными синевой, усталыми, ввалившимися глазами, когда я присел рядом. Двое младших раскладывали на тряпке обглодан-

ные бараньи кости, кусок овечьего сыра и татарский чурек, лепешку.

— Мунька, убери! — крикнула старшая, кинув на меня быстрый взгляд карим глазком, и сама, по-хозяйски, завернула тряпку.

Пир нежданный! Не скатерть ли самобранка эта тряпка? И не из сказки ли эти бараньи кости, и брынза, и чебурек пышный — на этой пустой дороге?..

— Ешьте. Я не возьму, не бойтесь.

Они на меня косятся. Мальчуган, лет семи, смотрит ощипанным галчонком, — худой, ротастый. Они все подсушены сильно, но их лица приятно-детски! красивы даже. У старшей лицо серьезно, тонкие губы сжаты, выгнуты чуть в углах, — показывают характер. Но почему этот пир нежданный?! и зачем эти разноцветные ленточки?.. В черных волосах старшей — и за ушами, и на плечах, и по груди яркие ленточки! Она все время сама оглядывает себя: красиво! И даже на замызганной, в дырьях, ситцевой юбочке — всюду нацеплены разноцветные ленточки!

— Почему ты такая, в лентах? Праздник, что ли?

Она плутовато усмехнулась.

— А так... татары нарядили...

Татары?! Я еще ничего не понимаю.

— Да как накорми-ли нас! Всю ночь в кошаре кормили, и все рядили. А потом мы заснули. И вином поили, и барашку ели... И еще и домой дали!

— За что же они тебя вином поили? Татары вина не пьют.

— А так... поили... — повела она плечиком и усмехнулась к морю. — И сами пили. И опять приходить наказали. У них хорошо в кошаре, весело. Барашки, собаки... Еще катык ели... а они на своей зурне играли... зурна, называется.

Слово за слово — она доверчиво рассказала мне свою сказку.

— Мы из-под «Линдена», Глазковы фамилия. Знаете?! Так вы повыше живете? Так это у вас павлин... Теперь знаю. А вы мне перышков дайте!.. Нашего папашу арестовали, будто корову у Коряка зарезал. А это... — поглядела она на меня, решила что-то и сказала: — Мы

не знаем, кто у него Рябку зарезал. Мы с голоду колеем. Миша и Колюк убежали в горы... — вы никому не сказывайте! — братья старшие. А то бы их Коряк заканителил. Камунист он. Отплотим ему... как он папашу бил! Сказать татарам знакомым... Он через Перевал ходил... Хорошо, Колюк покажет!... — сказала она с детской злостью, и у ней задрожали губы...

— Мы... Коляка... убьем! камнем убьем!.. — крикнул галчонок и погрозил кулачком. — Сволочь!

— У него сундуки ховали... все булзуи... мамаса сказет... — отозвалась меньшая.

— Молчи, дура! — крикнула старшая. — Нос вот утри. Все зло от Коряка пошло. Стали мы голодать без папаши... Вот мамаша и послала нас собрать шиповник или что попадется... ажину там. Велела повыше в горы идти, а то тут все погорело. И буковые орешки-пьянки... А такие, буковые. От них голова пьяная бывает, если много грызть, а то они жи-ирные, вку-усные! Пошли мы... шли-шли... — нет ничего, все пересохло. И через лес прошли, на Яйлу вышли, у Куш-Каи... Человечьи кости сколько видели...

— Три кости, вот такие!.. — показал до плеча галчонок.

— Темно уж стало, а через лес ворочаться опять... Заблудились, и есть хочется, ноги не идут. С утра ничего не ели, ягоды только. Мунька реветь стала, не может идти. И Степушка ревет... Что я с ними буду?! И вдруг собака на нас... громадная овчарка! Как закричим! А тут татары, хлопцы... чабаны! Я по-ихнему умею хорошо, — сказала... Они и повели нас в кошару. Вежливые такие. Два хлопца. А у них костер, барашки ходят... Стал он меня целовать... только не безобразия какие, а... понравилась я ему. Невестой меня называл, дурной! — опять усмехнулась девочка и повела головкой. — Мусмэ якши! Досыта накормили. Потом сбегал другой, вина принес и зурну... и вот ленточек... деревня близко ихняя. У старшины сыновья они, бо-гатые! Больше тысячи барашков было, а теперь мало... Потом я спать стала, уморилась. Проснулась к утру, а они смеются, а на мне все ленточки эти!.. Как татарку убрали... у них так невест убирают. Так они нас

жалели! И с собой дали, несем мамаше. Велели и еще приходить. Хлопцы очень хорошие.

Она погладила ленточку на рваной юбке и усмехнулась.

— Не как наши хулиганы. Пашка вон, под нами живет, пошла на кордон, хлебца просить... тоже мамаша послала, а они с ней нехорошо сделали! Она уже теперь... сами знаете... нарушенная стала! Так все к ним и ходит. На год только меня старше. Била ее мать — не ходи, дурнак будет... а она воет-кричит, пойду и пойду! Вот страмота! С голоду подыхать?.. Теперь какая гладкая стала!.. А татары вежливые. Если бы замуж взял... пошла бы! — бойко сказала она, развязно хлопая по земле ладошкой. — Что ж, что чужая вера!

Ну, вот и сказка. Смотрю на нее, сытую на один день, радостную невесту... Сказать — не ходи в кошару?! Я не сказал, пошел.

Я тоже ищу кошары — татарина в винограднике, продаю заплатанную рубаху. Пустая дорога — не пустая: писано по ней осколками человечьих жизней... Вон какой-то еще осколок...

Я узнаю подвал у дороги — когда-то ездили за вином. В рыжьем бурьяне — заржавленная машина, пустая бочка лиловая спускает обручи. Черная кошка-выдра зябко сидит на ней — греет кости. Трещат цикады. Задремывает пустыня. Не совсем пустыня: на ржавом замке красные печати. Вино — что его там осталось! — идет кому-то...

Сидит человек на краю дороги, под туями, накручивает подвертку. Мелкоглазый, в рыженькой бороденке, рваный. Прихлопывает по сухой хвое:

— Скидайте, ваша милость! везде слободно...

По скрипучему говорку и заиканью я узнаю Федора Лягуна, он живет по этой дороге, дальше, — досматривает чье-то покинутое поместье.

— Утихомирили всех господ, теперь слободно... все утрудящии теперь могут, не возбраняется... — Он нашаривает мой мешок. — Шишечкю собираете... — хорошо! Для самовара... Только вот чайкю теперь... не каждый в силах... А вот у господина Голубева пять фунтов отобрали! А какой был профессор... сто сорок десятин у такого места!.. покосы какие, виноградники... какие капиталы?!.

— А что, жив профессор?

Лягун смеется. Рыжеватая бороденка смеется тоже, а крапины на изможденном и злом лице, веснухи, — пояснели.

— Жи-вет! До девяноста годов — живет! Всех пержи-вет, на этот счет настойный! Как первые наши приходили, севастопольские... — потрясли. Старухе его не в чем и в гроб лечь было. Босую клали. Ему не обидно, слепой вовсе. А кре-пкий! Пришли ваши, добровольные... — он опять за свое, книги сочинять! Про человека изучает, насчет кишков. Не видать ему, так он на машинке все стучал. Как ни идешь мимо — чи-чи-чи... чи-жить себе, шпарить по своей науке! А именье ему в свой черед деньгу кует. Ну, и вышла у меня с ним сшибка. Ка-ак матросики наши налетели, се-минут ко мне... потому я здешний пролетарий, законный. «Товарищ Лягун, какого вы взгля-ду об профессоре? как нам с им? казнить его, либо как?..» А время тогда было шатовое... к какому берегу поплы-вешь? Сегодня они, завтра, глядишь, энти подойдут... Теперь закрепились, а тогда... Ну, я, ваша милость, прямо скажу: я человек прямой... живем мы с женой, вроде как в пустыне, самой праведной жизнью... Скажи я тогда одно-о слово... — шабаш! на мушку! У них разговор короткой. Прикрыл! Говорю — я в ихних бумагах не занимаюсь, а, конечно, они по науке что-то в книгах пишут... Беспорядку, я говорю, не замечаю, окроме как пять коров... А сам я, товарищи, — говорю, — вовсе человек больной, в чихотке... у меня чихотка три-дцать пятый год, и самая кровавая чихотка! Дозвольте мне, товарищи, одну коровку, черненькая... комолая... А в коровах я понимаю. Была у него Голанка, ноги у ней сзаду — так, дугой... Дали! Только я от ее телка при-нял — стельная она была... глядь! мать твою за ногу, энти наскочили! А уж я в городе сторожу, пронюхал... ихний минносец у пристани вертится! К себе бежать! Сейчас корову за рога, — к нему.

«Здравствуйте, его превосходительство! наши опять пришли! пожалуйте вам коровку сберег до светлого дня! Уж за прокорм что положите, а телочек преставился, подох!» Съели мы его, понятно. Сдул с него сена тридцать пудов! Тоже и ему страшно, с первого-то дня: может, наши опять наскочут?! Тогда б я с ним что мог!.. Как так —

что?! Что ж, что слепой? Заговоры какие... А у него капиталы! Отчислил, мол, сто милиенов на угнетение утрудящих, на контриреволюцию! Вы что думаете?! Я так могу на митинге сказать... все трепетают от ужасу! Слеза даже во мне тут закипает!

Он стучит себя веснушчатым жилистым кулачком в грудь и так впивается в мои глаза своими вострыми, зелеными глазами, дышит такою злостью, что я отодвигаюсь.

— Я, ваша милость, так могу сказать!.. И чихотка может открыться взраз, до крови... Заперхаю, заперхаю... «До чихотки, — говорю, — могут довести нашего брата, как гнетут!» Кого хочу — могу подвести под мушку. Со мною не годится зубаться, я человек больной... всегда могу расстроиться! Ну, он ни гугу! — про корову. Ла-дно. То-лько это ваши задрапали по морю — на-ши родименькие идут. Я, ни слова не говоря, к нему. А он слепой, ничего не знает, стукает про свое! Всхожу на веранду, где у них лесенка, под виноградником... — его делмилосердие не допускает, девица для ухода у него. Говорю: допускайте, я их спаситель жизни! Всхожу. «Опять, говорю, здрасте, его превосходительство! позвольте вас с праздничком поздравить, наши опять пришли!» Выпрямился так... — он ведь высо-кой! — а ничего не видит. «Что тебе, Федор, надобно?» — «Доверьте мне Голанку, а то могут быть неприятности. Вы меня знаете, какой я человек для вас внимательный, а мне молоко прямо необходимо, как я вовсе в скоротечной чихотке... тридцать пятый год страдаю...» Дал! Очень деликатно, ни сло-ва! Так мне благородное обращение пондравилось, и я им даже от любви сказал: «Вы, говорю, его превосходительство, надейтесь на меня теперь. Я, может быть, бо-ольшую силу у них имею, этого никто не может знать!.. ни одного худого слова про вас не будет доказано! Заштрахую вас коровкой. Могу даже сказать, что коммунистов прикрывали! Даже почет вам будет!» Ка-ак он вспрыгнет! «Вон, — кричит, — с-сук-кин сын!» Затопотал, так и налился, как гусь... руками нащупывает, трясется... Я человек прямой, но ежели со мной зуб за зуб... ладно! Ну скажите!

Он вглядывается в мои глаза, и в его зеленоватом взгляде я чувствую такое, что задыхаюсь, но не могу уйти: я должен все выпить.

— А если я все знаю?! По инструкции я должен объявлять! У коммунистов свой закон... даже на мать обязан донести по партии! А на эту сволочь всю... А я каждый Божий день в кофейнях был или по базару... мне все офицерье известно было, кто где проживал! кто что пожертвовал... какие речи говорили... Нами только и крепко все. А тут самый буржуй, сто-о со-рок десятин у таком месте!.. Ладно. Сейчас в свой комитет. Самого врага нашел! От чихотки гибнем, а никогда молочка стаканчик! А у самого семь коров! Товарищ Дерябин председатель был, стро-гой, у-у!.. Все отобрать! до нитки!! Только что девяносто лет ему, и кто-то из Москвы бумагу написал, а то бы на расстрел! Ну, правда, ничего за ним не мог заметить, и ску-пой был, ни на что рубля не жертвовал. Все отобрали, всех коров. И машинку взяли. Теперь стучи хоть об стол. А намедни делмилосердие попалась, змеем меня обозвала и... вот, ей-Богу, фигу показала! Сво-лочь! Руку нашли в Москве! Будто машинку им вернуть хотят... Верну-ли, для науки ученые исхлопотали. Ему бы помирать давно, а он...

— Все на машинке стукает?

— Старик на-стойный! Нет, со мной нельзя цапаться. Есть у меня враг один... ну, да Господь поможет. Будто я поросенка ихнего собакой изорвал! А они мою телку отравить грозятся... Я их усте-регу! Вы изволите знать Шишкина?.. какие это люди? Борис ихний в добровольцах был, приладился... отвертелся ото всего! Теперь... в камни залезает, чегой-то пи-шет!.. Я с им много разов говорил... У, какой человек хи-трый! И про меня будто сочиняет!.. Не чую?! Да ежели опять ваши верх возьмут... что они с нами исделают?! Бежать — не миновать! Я с ими суседи... и ничего, от меня им вреду не будет... но я человек больной, собой не владаю, когда у меня, может, полведра чистой крови выхлещет... я каждый час перед Господом могу предстать, как вот травка... Господь видит! Они меня выперли с дяденькина сада, господина Богданова... который министром был! а ихний дяденька сущий враг пролетариата, за границу исчезнул! а старик Шишкин сам на хозяйство стал, лишил меня доходу... Я десять лет в сторожах у господина Коробинцева и Богданова служил, мое право законное, а они с Днепровского уезду набегли,

зацапали... хотят корову покупать... На какие капиталы?! — я вас спрошу. Мы темных делов этих не допущаем! У них, может, от англичан огромадные деньги для... нападения на пролетарскую власть?! А?! Я старику давал преду... стережение! Не зубайся! Пущай моя корова гуляет в ихнем месте. «Самим... сена ма-ло!» Ла-дно!

Я слушаю, слушаю, слушаю... Он сильно пьян. Веснухи на его костлявом лице темнеют, глазки совсем запали — щелочки в огне.

— Совесть у меня... в груди, а то... про-пали Шишкины! Страшный суд теперь... Господь-Справедливец... нам препоручил...

Он сечет пальцем по рябой ладони и втягивается в мои глаза. Мне душно от гнилого перегара...

Я больше не хожу по дорогам, не разговариваю ни с кем. Жизнь сгорела. Теперь чадит. Смотрю в глаза животных. Но и их немного.

МИНДАЛЬ ПОСПЕЛ

Кастель золотится гуще — серого камня больше. Осень идет бойчей, — где выкрасит, где разденет. Курлыкают журавли по зорям, тянутся косяками. Уже свистят по садам синицы.

Зори — свежей. Небо — в новом осеннем блеске голубеет ясно. Ночами — черно от звезд и глубоко-бездонно. Млечный Путь сильней и сильней дымится, течет яснее.

Утрами в небе начинают играть орлята. Звонко кричат над долинами, над Кастелью, над самым морем, вертятся через голову, — рады они первому дальнему полету. Парят дозором над ними старые.

И море стало куда темней. Чаще вспыхивают на нем дельфиньи всплески, ворочаются зубчатые черные колеса...

Молодые орлы летают... Значит — подходит осень, грозит Бабуган дождями.

На ранней заре — чуть серо — приходят ко мне человеческие лица, — уже отшедшие... Смотрят они в меня... Глядят на меня — в меня, в каменной тишине рассвета, замученные глаза... И угасающие глаза животных, полные своей муки, непонимания и тоски. Зачем они так глядят? о чем просят?.. В тишине рождающегося дня-смер-

ти понятны и повелительны для меня зовы-взгляды. Я сердцем знаю, чего требуют от меня они — уже нездешние... И перед этой глухой зарей, перед этой пустой зарей, я даю себе слово: в душу принять их муку и почтить светлую память бывших.

Опять начинаем... который день? Ступайте, тихие курочки, и ты, усыхающая индюшка, похожая на скелет. Догуливайте последнее!

По краю сада растут старые миндальные деревья. Они раскидисты, как родные ветлы, и уже роняют желтые узенькие листочки. Через поредевшую сетку их хорошо голубеет небо.

Я взбираюсь на дерево, цапающее меня за лохмотья, царапающее сушью, и начинаю обивать палкой. Море — вот-вот упадешь в него. И горы как будто подступили, смотрят — что за чучело там, на дереве, машет палкой?! Чего они не видали! Глядят и глядят, тысячи лет все глядят на человечье кружало. Всего видали...

Миндаль поспел: полопался, приоткрыл зеленовато-замшевые кожурки, словно речные ракушки, и лупится через щелки розовато-рябенькая костяшка. Густым шорохом сыплется — только поведешь палкой. Туп-туп... туп-туп... — слышу я сухие дробные голоски. Попрыгивают внизу, сбрасывают кожурки. Любо смотреть на веселое прыганье миндаликов по веткам, на пляску там... — первые шаги-голоски ребят старого миндального дерева, пустившихся от него в раздолье. Не скрипи, не горюй, старуха! Коли не срубят — за зимними непогодами снова придет весна, опять розово-белой дымкой окутаешься, как облачком, опять народишь, счастливая, потомство!

Вижу я с миндаля, как у Вербы, на горке, Тамарка жадно вылизывает рассохшуюся кадушку, сухим языком шуршит. А что же не слышно колотушки за пустырем, где старый Кулеш выкраивает из железа печки, менять на пшеницу, на картошку?!

Отстучал положенное Кулеш. Больше стучать не будет.

Голоногая Ляля топочет-гоняется за миндаликами, — попрыгали они в виноградник.

— Добрый день и тебе. Ну, как... едите?

— Плохо... Вчера луковичек накопали, крокусов... Вот скоро Алеша поддержит, привезет из степи хлебца, са-альца!..

Я знаю это. Старший нянькин пустился в виноторговлю, контрабандистом. Поехал с Коряковым зятем за горы, повез на степу вино — выменивать, у кого осталось, на пшеницу. Лихие контрабандисты... Ловят их и на перевале, и за перевалом — все ловят, у кого силы хватит. Пала и на степь смерть, впереди ничего не видно — вином хоть отвести душу. Пробираются по ночам, запрятав вино в солому, держат бутылку наготове — заткнуть глотку, на случай. Хлеб насущный! Тысячи глаз голодных, тысячи рук цепких тянутся через горы за пудом хлеба...

— Копали крокусы?.. Бери камушек, разбивай миндальки...

— Спаа-си-бочка-а!.. ба-альшо-е спасибочко!..

Хлеб насущный! И вы, милые крокусы, золотые глазки, — тоже наш хлеб насущный.

— А Кулеш-то по-мер!.. с голоду помер! — почмокивает Ляля.

— Да, Кулеш наш помер. Теперь не мучается. А ты боишься смерти?..

Она поднимает на меня серые, живые глазки, — но они заняты миндалями...

— Глядите, над вами-то... три миндалика целых!

— Ага... А ты, Ляля, боишься смерти?..

— Нет... Чего бояться... — отвечает она, грызя миндалик. — Мамочка говорит, — только не мучиться, а то как сон... со...он-сон! А потом все воскреснут! И все будут в бе...лых рубашечках, как ангелочки, и вот так вот ручки... Под рукой-то, под рукой-то!.. раз, два... четыре целых миндалика!

Помер Кулеш, пошел получать белую рубашечку, — и так вот ручки. Не мучается теперь.

Последние дни слабей и слабей стучала колотушка по железу. Разбитой походкой подымался Кулеш на горку, на работу. Станет — передохнет. Подбадривала его надежда: подойдут холода, повезут на степь печки — тогда и хлеб, а может, и сало будет! А пока — стучать надо. За каждую хозяйскую печку получал железа себе на печку, — ну, вот и ешь железо!

Остановится у забора, повздыхает.

Он — широкий, медведь медведем, глаза ушли под овчину-брови. Прежде был рыжий, теперь — сивый. Тя-

желые кулаки побиты — свинец-камень. Последние сапоги — разбились, путают по земле. Одежда его... какая теперь одежда! Картуз — блин рыжий, — краска, замазка, глинка. Лицо... — сносилось его лицо: синегубый серый пузырь, воск грязный.

— Что, Кулеш... живешь?

— Помираем... — чуть говорит он, усилием собирая неслушающиеся губы. — Испить нет ли...

Его подкрепляет вода и сухая грушка. С дрожью затягивается крученкой, — последний табак-отрада, золотистый, биюк-ламбатский! — отходит помаленьку. Много у него на душе, а поделиться-то теперь и не с кем. Со мной поделится:

— Вот те дела какие... нет и нет работы! А бывало, на лошади за Кулешом приезжали, возьмись только! На Токмакова работал, на Голубева-профессора... на части рвали. Там крышу починять-лемонтировать, тому водопровод ставить, а то... по отхожей канализации, по сортирному я делу хорош... для давления воды у меня глаз привышный, рука леккая, главно дело: хлюгеря самые хвасонистые мог резать... петушков, коников, андела с трубой мог! Мои хлюгера не скрыпять, чу...ють ветер... кру...тются, аж... по всему берегу, до Ялтов. Потому — рука у меня леккая, работа моя тонкая. Спросите про Кулеша по всему берегу, всякой с уважением... В Ливадии кто работал? Кулеш. Миколай Миколаичу, великому князю... кто крыл? Самый я, Кулеш... трубы в гармонью! Думбадзя меня вином поил, с ампираторского подвалу! «Не изменяй нам, Кулеш... у тебя рука леккая!» Шинпанского вина подноси-ли! Я на неделе два дня обязательно пьянствую, а мне льгота супротив всех идет, всем я ндравлюсь. Я этого вот... дельфина морскова на хлюгер резал, латуни золоченой... царевны могли глядеть... по...биты, царство небесное, ни за что! Вот уж никогда не забуду... пирожка мне печатного с царского стола... с ладонь вот, с ербами! Такой ерб-орел! Боле рубля, ей-Богу... явственный орел-ерб! Орелик наш русский, могущий... И где-то теперь летает! Ливадии управляющий... генерал был, со-лидный из себя... велел подать. «Не изменяй нам, Кулеш... у тебя рука леккая!» А вот... дорезался. У-пор вышел...

Об «упоре» он говорить не любит. А вот прошлое вспомянуть...

— Сотерну я любитель! Два с полтиной в день, а то три... как ценили! На базар, бывало, придешь... Ну, и шо ты мне суешь? Да рази ж то са-ло? Чуток желтит — я и глядеть не стану! Ты мне сливошное давай, розой чтобы пахло... кожица чтобы хрюпала, а не мыло! Тьфу!

Плюет Кулеш, головой мотает.

— Тянет с этого... со жмыху, внутрях жгет. Чистый яд в этих выжмалках виноградных... намедни конторщик помер, кишка зашлась. А-ах, вся сила из мене уходит... голова гудет. Брынза опять была... шесь ко-пеек! Тараньку выберешь... солнышко скрозь видать, чисто как портвейна... балычку не удасть...

Он всплескивает руками, словно хватает мол, и так низко роняет голову, что от плешинки за картузом, от изогнувшейся шеи с острыми позвоночниками, от собравшихся — под ударом — истертых плеч — передается отчаяние и... покорность.

— Голу-бчики мои-и!.. Сласть-то какую проглядели... на что сменяли! Па-дали всякой, соба-чине ради!.. А?! Кто ж это нас подвел-окрутил?! Как псу под хвост... По-няли теперь их, да... Жалуйся поди, жаловаться-то кому? Кому жаловались-то... те-то, бывало, жа-ловали... а теперь и пожалеть некому стало! Жалуйся на их, на куманистов! Волку жалуйся... некому теперь больше. Чуть слово какое — по-двал! В морду ливонвером тычет! Нашего же брата давют... Рыбаков намедни зарестовали... сапоги поотымали, как у махоньких. Как на море гнать — выдают... как с морю воротился — скидывай! Смеются! Да крепостное право лучше было! Там хочь царю прошение писали... а тут откуля он призошел? а? Говорить — его не поймешь, какого он происхождения... порядку нашего не принимает, церковь грабит... попа намедни опять в Ялты поволокли... Женчина наша на базаре одно слово про их сказала, подшел мальчишка с ружьем... цоп! — зарестовал. Могут теперь без суда, без креста... Народу что побили!.. Да где ж она, правда-то?! Нашими же шеями выбили...

Он просит еще водицы. Пьет и сосет грушку.

— В больницу, что ли, толкануться... может, предпишут чего в лекарство... В десятом годе, в Ялтах когда

лежал... легкое было... враспаление, молочко да яичко, а то ко-клеты строго предписали... а подрядчик Иван Московской бутылку портьвейны принес. «Только выправляйся, голубчик Стапан Прокофьич... не изменяй, у тебя рука леккая...» Ну, кто мне теперь из их... такого скажет?! Тырк да тырк!.. Власть ва-ша да власть на-ша!.. А и власти-то никакой... одно хулюганство. Тридцать семь лет все работой жил, а тут... за два года все соки вытянули, как червья гибну! А-аааа!.. Барашку возьмешь. Ты мне с почками подавай, в сальце!.. Борщок со шкварочками... баба как красинькими запра-вить... — рай увидишь! Семья теперь... все девчонки! Не миновать — всем гулять... с камиссарами! Уу-у... сон страшный... Борщика-то бы хоть довелось поесть напоследок вдосталь... а там!..

Не довелось Кулешу борщика поесть.

Вышел Кулеш со двора, шатнулся... Глянул через Сухую балку на горы: ой, не доползти на работу — стучать впустую, — когда еще везти на степу печки! Подумал... — и поплелся в больницу. Пошел вихлять по городку, по стенкам.

Будто все та же была больница — немного разве пооблупилась.

Сказала ему больница:

— Это же не болезнь, когда человек с голоду помирает. Вас таких полон город, а у нас и сурьезным больным пайка не полагается.

Сказал больнице Кулеш:

— Та тэперь вже усенародная больница! Та як же бачили, шо... усе тэперь бу-дэ... бачили, шо...

Посмеялась ему больница:

— Бачили да... пробачили! Полный пролетарский дефицит. Кто желает теперь лечиться, пусть и лекарства себе приносит, и харчи должен припасти, и паек доктору. Не могут голодные доктора лечить! И солому припасти нужно, все тюфяки порастаскали.

Тогда собрался Кулеш с силами, нашел слово:

— У вас... все крыши текут... желоба сорваны на печки... Я с вас... дешево... подкормите только, заслаб... язык хоть поглядите.

Не поглядели ему язык.

Он оглянул больницу через туман... И — пошел. Через весь городок пошел: на другом конце была диковинная больница. Шел-вихлялся по стенкам, цапался за колючую, пропыленную ажину, присаживался на щебень. Пустырем шатнулся — по битому стеклу, по камню...

Стояла на пустыре огромная деревянная конура — ротонда, помост высокий. Совсем недавно рявкала она зычными голосами на митингах, щелкала красным флагом, грозила кровью, — хвалила свои порядки. Вспомнил Кулеш сквозь муть, вспомнил с щемящей жутью... и — плюнул. Потащился по трудной сыпучей гальке... вдоль моря потащился...

Синее, вольное... — играло оно солнечными волнами, играло в лицо прохладой.

Кулеш дотащился до синей глади, примочил голову, освежил замирающие глаза — окрепнет, может... Замутилось в голове старой, всему покорной. Стал Кулеш на колени... Моря ли испить вздумал? морю ли поклониться на прощанье?.. Качнулось к нему все море, его качнуло... — и повалился он набок. И пошел-пополз боком, как ходят крабы, головастый, сизый... Тянуло его к дому, скорей к дому... А далеко до дома!

Спрашивали его встречные — свои, трудовые люди:

— Ты что, Кулеш... ай пьяный?..

Смотрел на встречных Кулеш, мутный, пьяный от своей жизни, от своей красной жизни. Чуть лопотал губами:

— На ноги... постановьте... иду... до дому...

Его поставили на ноги, и он опять зацарапался — до дому. У пустой пристани взяли его какие-то, доволокли до моста, до речушки...

— Сам... теперь... — выдохнул Кулеш последнее свое слово, признал родную свою, Сухую балку.

Сам теперь!..

Пошел твердо. Доткнулся до долгого забора, привалился. Закинулся головой, протяжно вздохнул... и помер. Тихо помер. Так падает лист отживший.

Хорошо на миндальном дереве. Море — стена стеной, синяя стена — в небо. На славный Стамбул дорога, где грузчики завтракают сардинками, швыряют в море недоеденные куски... Кружится голова от синей стены, бескрайной... Так, находит. Надо держаться крепче.

Виден мне с высокого миндаля беленький городок, рыжие, выжженные холмы, кипарисы, камни... и там, вся из стекла, будто дворец хрустальный, — кладбищенская часовня... И там-то теперь Кулеш. Только-только сидел под этим миндальным деревом, рассказывал про борщок с сальцем — и занесло его в гроб хрустальный! Ну и прозвище у него — Кулеш! Отметила его жизнь-чудачка: Кулеш — умер от голода! Полеживает теперь, уважаемый мастер, в хрустальном чуде. Что за глупое человечество! Понаставило хрустальных дворцов по кладбищам, золотыми крестами увенчало... Или уж хлеба с избытком было? Вот и... проторговалось, и человека похоронить не может!

Пятый день лежит Кулеш в человечьей теплице, все ждет отправки: не может добиться ямы. Не один лежит, а с Гвоздиковым, портным, с приятелем; живого, третьего, поджидают. Оба постаивали — шумели на митингах, требовали себе именья. Под народное право все забрали: забрали и винные подвалы — хоть купайся, забрали сады и табаки, и дачи. Куда девали?! Провалились и горы сала, и овечьи отары, и подвалы, и лошади, и люди... И ямы нету?!.

Шипит раздутый Кулеш в теплице: я-а-а... мы-ы-ы...

Говорит Кулешу пьяница, старик сторож:

— Постой-погоди, товарищ... надо дело по правде делать! Закапывать тебя?.. Верно, надо. А то от тебя житья не будет... горой раздуло, шипишь... А ты меня накормил-напоил? Один-разъединый я про всех про вас, сволочей проклятых! Да где ж это видано, чтобы рабочий человек... не пимши — не жрамши... у камне могилу рыл?.. По-стой... Нонче право мое такое... усенародное!.. сам ты могилки себе загодя не вырыл... а пайка мне не полагается... поди-кась, поговори с товарищами... они, мать их... все начистоту докажут!.. Ну и... должен я поснять с тебя хочь покров-саван и на базар оттащить... Хлебушка... плохо-плохо, а хвунтика два... должен добыть?.. да винца, для поминка... мотыжка чтоб веселей ходила... А с тебя, черт... и поснять-то нечего, окромя портков рваных!.. Вот ты и потерпи маленько. Вот которого сволокут в параде, тогда... за канпанию и свалю, в коммунную...

И лежит раздутый Кулеш в хрустальном дворце — ждет свиты.

Рядышком с ним лежит портной Гвоздиков, по прозванию Шест-Глиста, укромно скончавшийся за замкнутою дверкой убогого жилища. Рассказывала Рыбачиха:

— Никто и не приметил. Хозяева-татары носом только учуяли... А уж он в отделке! Лежит третий день, весь-то в мухах!.. Зеленые такие... панихидку над ним поют...

Веселая панихида... И портной выкупа не принес. Пришел во дворец хрустальный в драных подштанниках, за которые не дадут на базаре и орешка.

Спи, старый Кулеш... глупый Кулеш, разинутым ртом ловивший неведомое тебе «усенародное право»! Обернули тебя хваткие ловкачи, швырнули... Не будут они под мухами, на солнце!

И ты, не ведомый никому, Шест-Глиста! И вы, миллионами сгинувшие под землю голодным ртом... — про вас история не напишет. О вас ли пишут историю? Нет истории никакого дела до пустырей, до берегов рек пустынных, до мусорных ям и логовищ, до девчонок русских, меняющих детское тело на картошку! Нет ей никакого дела до пустяков. Великими занята делами-подвигами, что над этими пустяками мчатся! Напишет она о тех, что по радио говорят с миром, принимают парады на площадях, приглашаются на конгрессы, в пристойных фраках от лондонского портного — не от тебя, Шест-Глиста! — и именем вас, погибших, решают судьбу погибающего потомства. Тысячи перьев скрипят приятное для их уха — продажных и лживых перьев, — глушат косноязычные ваши стоны. Ездят они в бесшумных автомобилях, летают на кораблях воздушных... Тысячи мастеров запечатлеют картины их «отхода» — на экранах, тысячи лживых и рабских перьев задребезжат, воспевая хвалу — Великому! Тысячи венков красных понесут рабы к подножию колесницы. Миллионы рваного люда, согнанного с работ, пропоют о «любви беззаветной к народу», трубы будут играть торжественно, и красные флаги снова застелют глаза вам лестью — вождя своего хороните!

Спи же с миром, глупый, успокоившийся Кулеш! Не одного тебя обманули громкие слова лжи и лести. Миллионы таких обмануты, и миллионы еще обманут...

А ведь ты не дурак, Кулеш! Перед ямой-то и ты понял. Перестали приезжать за тобою на лошади и поить портвейном... Но ты все же надеялся хоть на хлеб. Кричали тебе хваткие ловкачи:

— Завалим трудящихся хлебом! Советская власть такие построила лектрические еропланы... каждый по пять тыщ пудов может! Весь Крым завалим!..

Закрыли тебе глаза — на кровь, крепко забили уши. И орал ты весело, как мальчишка:

— Ай да наши! родная власть!..

Недели прошли и месяцы... Не прилетали аэропланы. Гнали твоих девчонок комиссары — нет хлеба! На матерей орали:

— Ну, и что же?! Ребята ваши! ну, и швыряйте в море!..

Спрашивал я тебя:

— А что же, Кулеш, ваши... аэропланы?

Ощеривал ты голодные зубы, синеющие десны, в ниточку узил мертвеющие губы и находил верное теперь, свое слово:

— Опасаются опущаться... Го-ры... а то — мо-ре... Крушения опасаются!

И жутко было твое лицо.

Нет, ты не дурак, Кулеш... Ты — простак.

«ЖИЛ-БЫЛ У БАБУШКИ СЕРЕНЬКИЙ КОЗЛИК»

Внизу обобрано, — надо забираться выше.

С высоты миндаля мне видно, как через вытоптанный коровами виноградник идет от дачи Тихая Пристань близорукая учительница Прибытко, с пустым мешком за плечами, пощелкивает дощечками на ногах. Идет на промысел. Она — человек стойкий. У ней двое ребятишек-голоножек — Вадик и Кольдик. Ее мужа убили в Ялте, но она не знает: не уехал ли на корабле в Европу? Пусть не знает. При ней и неутомимая мать-старушка, сухенькая, подвижная, Марина Семеновна, — с зари до зари воюет на земле с солнцем: отбивает у солнца огородик.

Я хочу отойти от кружащей меня тоски пустыни. Я хочу перенестись в прошлое, когда люди ладили с солнцем, творили сады в пустыне...

Тихая Пристань...

Пустырь был на этом месте — колючка, камень. Приехал старик-чудак, отставной исправник, любитель роз и покоя, сказал — да будет! — и выбил-таки из камня чудесное «розовое царство». Да, исправник. Они тоже — немножко люди. Все, что у него было в кармане и в голове, отдал земле сухой, и вот, к концу его жизни, она подарила ему свою улыбку — Тихую Пристань. С зари до зари возился старик с лопатами и мотыгами, с гравием и бетоном, с водой и солнцем: сажал, прививал и строил, кричал с рабочими, которые воровали у него гвозди и даже камень, тысячу раз грозился все бросить и не бросал, исполосовал сердце, но... дождался: сел на веранду, закурил крученку, полюбовался — все хорошо зело! И помер. И хорошо сделал, вовремя: выволочили бы его, старика, из розового сада, — а, собака-исправник! — и прикончили бы в подвале или овраге.

Погибает «розовое царство». Задичали, заглохли, посохли розы. Полезли из-под корней дикие побеги. Треснуло и осело днище громадного водоема. Посохли сливы, и вишни, и грецкие орехи, и «кальвили»; заржавели-задичали забытые персидские деревья. Треснули трубы водоводов, заросли хрусткие дорожки, полез бурьян в виноградник, сели репейники и крапивы в клумбы — задушили нежную землянику. Плющи завили деревья. Выползла из дубовых тысячелетних пней кудрявящаяся поросль, держидерево дружно с грабом давит и напирает, высасывает соки; гнездится садовая нечисть, плетет коконы, опутывает и точит — сверлит. Голубой цикорий и морковник заполонили луговинки, перекати-поле забрало скаты, и ленивые желтобрюхи нежатся на ступенях каменных лесенок. Серые жабы ржаво кряхтят ночами в зеленой тине былого водоема. Дичает Тихая Пристань, год за годом уходит в камень. Уйди человек — опять пустыня.

Сухенькая старушка тщетно пытается задержать пустыню: лишь бы уберечь виноградник, огородик... Мотыгой и цапкой борется она с солнцем и с бурьяном. Воюет с коровами, прорывающими и рогами, и боками загородку — доглодать не оглоданное солнцем. Висят еще кое-где грушки — «мари-луиз», «фердинанд» и «бэра», а пониже бассейна, по низинке, еще можно схватить травы. Но это — самое дорогое место — «козье».

У Прибытков — слава на всю округу, — чудеснейшая коза, выменянная на одеяло и вышитую рубаху у чабана под Чатырдагом. Взращенная подвигом и молитвой. Ну и коза! Четыре бутылки дает несравненная Прелесть! Вадик и Кольдик круглый день рыщут по саду, по балочкам, носят своей козе травку и прутики, всякую кожуру, бобик...

— Козочка наша! Пре-лесть!

Стоит коза на колу, под грушей, блаженствует, узкие глазки щурит. Дремлет-млеет, пожевывает, молоко набирает, бурое вымя наливает, до копытцев опускает. Не коза — Прелесть.

Когда, перед вечером, я отыскиваю запропавшую индюшку, меня тянет зайти на Тихую Пристань — навестить Прибытков. Господи, козу доят! И я взираю из отдаления. Стоит коза — не шелохнется, понимает, что великое совершается: жует-пожевывает, глазки в блаженстве жмурит. Доит Марина Семеновна, нежно, будто поглаживает, а коза сама помогает, — ноги расставила, ход молоку дает: все берите! А Вадик и Кольдик подсовывают козе грушки:

— Прелесть! Прелесть!

Приятно слушать, как позванивает белая струйка в хрустальный кувшин граненый; приятно смотреть, как растекается молоко по прозрачной стенке, как нахрустывает коза грушки. Таинство совершается... Меркнет вечерний свет, фиолетовая коза стоит, глядит розоватыми глазками, и молоко розовеет в огнистых гранях, радужной пеной пенится. А Вадик и Кольдик кулачки к горлышку подобрали, ждут-смотрят. Глотают слюни, и слышится, как бурчит у кого-то — у козы ли или у голоногих.

А неподалечку стоит на колу «капитал» — спасение и надежда. Это выкормок Прелести, козел-великан, стриженый, сизый, крутобокий, — и Сударь, и Бубик вместе.

Все по округе знают, как выхаживали козла, как его холостили, и сколько теперь в нем сала, и когда будут козла резать. Вот это — счастье! Знают и все завидуют. Когда в школьном союзе муку делили, до золотника вешали, — недодали учительнице Прибытке.

— Ну, что там спорить! У вас же козел имеется, такое счастье!

Так семнадцать золотников и сгибли.

Когда я встречаю Марину Семеновну в Глубокой балке — за «кутюками», мы всегда говорим про Бубика:

— А как ваш Бубик?

— Только не сглазить бы... прямо мешок с салом! И то возьмите: ведь от себя отрываем... Каждый день ему хоть кусочек лепешечки принесешь. Какие уж нонче желуди, ползаешь-ползаешь по балкам — хоть четверочку наберу. Как в банк носим. А вот похолодней будет — сало-то в нем перекипать станет, очищаться... закрупчает. Сало, я вам скажу, козлиное... и свиному не уступит, чистый смалец!

Сосед Верба, сумрачный винодел-хохол, нарочно зашел к Прибыткам. С год не захаживал — все серчал, что перебили у него аренду «Пристани». Не утерпел — пришел:

— До козла вашего прийшов, Марина Семеновна... що це за дыво?!

Покрестила в уме Марина Семеновна козла, отплюнулась влево неприметно: сглазит еще Верба — темный глаз.

— Ну что ж, поглядите, сосед... с доброго глазу. Растет Божья тварь. Козлик, грешить не буду... радостный растет козлик, в мяске да в сальце...

Смотрел Верба на козла пристально, вдумчиво. И так, и этак смотрел. И так руки складывал, и так. И голову по-всякому выворачивал, — в душу вбирал козла.

И Марина Семеновна смотрела и на козла своего, и на Вербу, — и его, и козла своего вбирала в душу, переполнялась. Ждала — готовилась.

— Ну вот шшо я вам, соседка, обязан сказать... — выговаривал-таки Верба вдумчиво, подергав повислый ус. Сердце даже зашлось у Марины Семеновны, — сама после до точки рассказывала в Глубокой балке. — Это я так вам обязан сказать. Марина Семеновна... по-доброму, пососидски если... що не бачу як... мов, це даже и не козел...

— Как — не козел?! — взметнулась Марина Семеновна. — Да який же, по-вашему, козел бувает?!

— Верьте моему слову, Марина Семеновна... не козел, а... государственный банк!

Так и потекло сердце у Марины Семеновны, — растеклось в торжество и гордость: великая была она хозяйка!

— И вот опять шо я вам кажу, соседка... С таким козлом зиму вы вот как переживете! Пудика на полтора — на два...

— Не скажите... на два с гаком! Смальца с него сойдет...

— ...двенадцать фунтов.

— Ну, не скажите! У меня глаз наметанный... Да чтоб у меня никогда ни единой козочки не водилось... — до полпуда выйдет!

— Ни-ни-ни... Марина Семеновна... никак не думаю. А впрочем... к пятнадцати, може, капнет...

— Вы его за ножку потяните, сосед... под пузико...

— Да Боже ж мой, да я ж и так вижу... по його хвисту! Прямо — рента...

Оглядел еще и еще, потянул за бородку и пошел вдумчиво.

Оба — хозяева искони. Оба пропели славу творящей жизни. Кому понятно молитвенное служение на полях, в садах и хлевах, — песнь славословия рождающемуся ягненку, в колос выбивающимся хлебам? Понятна она душе парящей, сердцу, живущему в ласке с землей и солнцем; понятна уху хозяина, которое слушать умеет прозябание почек в весеннем ветре, в благодатных дождях, под радугой. Дики и непонятны эти земные песни душе пустой и сухой, как выветрившийся камень. Жадная до сокровищ скопленных, она назовет молитвенные мечты хозяина пошлым словом — выдуманным, безглазым — мещанство! В хлеве и поле тучном она увидит только одно — корысть.

Отец дьякон, хозяин тоже, нарочно поднимался из городка — лицезреть мифического козла. Сказал:

— На четырех ножках — беспроигрышная лотерея! Вас, Марина Семеновна, во главу угла всякого хозяйства поставить можно. За такого, с позволения сказать, козлофона, медали давали в прежние времена! Этот ваш козел — из иностранцев... швейцарской породы, не иначе. Либо от Фальц-Фейна, либо от Филибера. Я их очень породу знаю. Это... филиберовского заводу козел!

В великую славу вошел козел Марины Семеновны. В такую славу, что другой раз поднялся отец дьякон до Тихой Пристани — сказать одно слово по секрету:

— По долгу совести, Марина Семеновна, ради ваших сирот, счел полезным предупредить: ночами думаю о козле вашем! И тревогу борю в себе, — держите козла крепко! Про вашего козла разговору много по городу. У нас Безрукий всех кошек переловил... у отца Василия собачку недавно переняли... шоколадненькая-то была, под фокса! А тут такой роскошный козел, а вы на-юрту обитаете... Храните как зеницу ока!

— Отведи, Господи! — закрестилась Марина Семеновна, козла покрестила. — Глазу не спускаю. Уж вон у Коряка корову зарезали в нижней балке, к Гаршину дорывались... у Букетовых корову свели... у...

— Про что же я-то вам говорю! Две-над-цатую корову режут... Марина Семеновна! две-надцатую! И сам нехорошие все сны вижу. Вся теперь опора наша... на Господа Бога да, по-земному сказать, на коровку! Электрическую бы тревогу провести в хлевушек, чтобы как коснулся — скрю-чило бы врага! Немцы так проволоку электрическую по границам своим вели... да электрической силы у меня нету!..

— Ох, смотрите, отец дьякон... — предостерегла и в свою очередь Марина Семеновна, расстроенная и уже сердитая на дьякона, — и у вас свести могут!

— И у меня могут, и у вас — козла! Козла легче свести, Марина Семеновна, поверьте моей опытности. Козел — что! Он немое существо и глупое! Коровка... другое дело! она рогом может... затрубит на врага ночного, а козел... он только копытцем простукает тревогу. Нет, Марина Семеновна, опасность чреватая у вас.

Чуть было не поссорились от тревоги. И повесила с того дня Марина Семеновна на хлевушек замок тройной, с музыкой печальной, как у чугунных шкапов. И рогульки ставила перед дверкой, как засеку, и жестянки на них навешивала: темная ночь если, напорется враг на звон, на колючки, — тревога будет.

Учительница останавливается за плетнем и начинает жаловаться: богатый татарин недоплатил полпуда грецких орехов еще с зимы, хоть бы ячменем отдал за уроки!

— Люди теряют честность! Это был самый правоверный татарин. А вчера резал барашка и не дал даже головку...

Потом сообщает об ужасном человеке:

— Дядя Андрей... это ужасный! Выпустил поросенка в сад, и вся наша картошка взрыта. Содрал парусину со всех лонгшезов и все бутылки продал...

Она засыпает кучей тревожного и больного. Слава Богу, что можно собирать падалку по садам. Каждый день она таскает на горку в мешке, — едят сами и кормят козочек. Учителя копают по садам чашки и получают вином, бутылку за день. Что же будет зимой?..

Я слушаю, сидя на миндале, смотрю, как резвятся орлята над Кастелью. Вдруг набегает мысль: что мы делаем? почему я в лохмотьях, залез на дерево? учительница гимназии — босая, с мешком, оборванка в пенсне, ползает по садам за падалкой?.. Кто смеется над нашей жизнью? Почему у ней такие запуганные глаза? И у Дрозда такие...

— Слышали?.. Вчера сторож выволок из часовни Михайлу, который уморил себя угаром... отлучился куда-то, а покойник пропал. Приходит жена — пропал, собаки растаскали... Встретила вчера на базаре Ивана Михайлыча... бредет в своей соломенной широкополке, с корзиночкой, грязный, глаза гноятся... трясется весь. Гляжу — лари обходит и молча кланяется. Один положил раздавленный помидор, другой — горсточку соленой камсы. Увидал меня и говорит: «Вот, голубушка... Христовым именем побираюсь! Не стыдно мне это, старику, а хорошо... Господь сподобил принять подвиг: в людях Христа бужу!..» Еще силу находит, философствует... А когда-то Академия наук премию ему дала и золотую медаль, за книгу о Ломоносове!..

Кружится голова... Я сползаю с миндального дерева. Синяя стена валится на меня, море валится на меня...

Открываю глаза — синие круги ходят, зеленые... Ушла учительница. Горка миндаля рядом. И Ляля убежала... Я собираю в мешочек. Горы — в дымке... Смотрю на них...

...Поездки верхом, привалы... В придорожных кофейнях обжаривают кофе на гремучих жаровнях, тянет шашлычным духом, шипят чебуреки в бараньем сале. Под шелковицей спят синими курдюками вверх шоссейные турки, раскинув медные кулаки. Ослик дремлет, лягает по брюху мух. Жужжит и звенит жара... Бурлыкает вода в камне, собака

догладывает лениво жирный мослак бараний, осыпаемый мухами... Автомобиль рокочет, глотает жару и пыль...

Открываю глаза. Они еще не в мешочке, миндальные орешки, собирать их надо...

...Тешут на земле камни греки и итальянцы, постукивают молоточки, — бьют в голову. Татары, поджарые, на поджарых конях лихо закидываются за поворот, блестя зубами, тянут катык из крынки, придерживая задравшегося, пляшущего коня... «Айда! Алекюм-селям!..» Синие вуалетки вьются из фаэтонов, летит бутылка на камни, брызжет... Скрипит по жаре мажара, волы бодают рогами дорожный камень... Цоб, шайтан! Табаки висят бурыми занавесками на жердях... Сады полны, изнемогают... Шумят пестрые виноградники, ползают татарчата, срезают грозди, а голенастые парни шагают с высокими деревянными бадьями у затылка, несут в давильню... Вино, вино... течет красное вино, залило руки, чаны, пороги, хлещет... Тянет бродильным духом... И виноделы, одуревшие от паров, в синих передниках, помахивают ковшами... Пора, пора на коней сажаться, жара свалила...

Пора... В руке у меня миндалик, давняя радость детская... Теперь я знаю, как он растет... Нет никого, и Ляля убежала. Только земля горячая и сухая да цикады, трещат-трещат...

КОНЕЦ ПАВЛИНА

Уж и октябрь кончается — поблестело снегом на Куш-Кае. Потаяло. Зорями холодеет крепко. Рыжие горы день ото дня чернеют — там листопад в разгаре. А здесь еще золотится груша — пылают сады в закатах. Осыплются с первым ветром. Кузнечики пропадают, и моим курочкам — тройке — не разжиться на гулеве. Будем кормиться виноградными косточками, жмыхом! Его едят люди и умирают. Продают на базаре, как хлеб когда-то. За ним надо идти далеко, выпрашивать. Он горький, кислый и тронут грибком бродильным. Можно молоть его, можно жарить...

Когда солнце встает из моря — теперь оно забирает все правее и ходит ниже, я смотрю в пустую Виноградную балку. Все отдала свое. Набило в нее ветрами вороха перекати-поля. Смотрю за балку: на балконе Павлин уже не встречает солнце. И меня не встретит вольным дикар-

ским криком, не размахнется... Выбрал другое место? Нет, его крика никто не слышит. Пропал Павка. Все-таки оставалось что-то от прежней жизни: грустно поглядывала она глазком павлиньим... Уже четвертый день нет Павки!.. Уходит в прошлое и калека-дачка учительницы екатеринославской, — последнюю раму кто-то вырвал...

Я вспоминаю с укором тот тихий вечер, когда заголодавший Павка доверчиво пришел к пустой чашке, стукнул носом... Стучал долго. С голоду ручнеют. Теперь это всякий знает. И затихают. Так и Павка: он подошел ко мне близко-близко и посмотрел пытливо: «Не дашь?..»

Бедный Павка... Табак! чудесный табак ламбатский! Или — не табак это, а... Я ни о чем не думал. Я хищно схватил его, вдруг отыскал в себе дремавшую, от далеких предков, сноровку — ловца зверя. Он отчаянно крикнул трубой, страхом, а я навалился на него всем телом и вдруг почувствовал ужас от этой красивой птицы, от глазастых перьев, от ее танца, раздражающего перед смертью, от пустынных, зловещих криков... Я вдруг почувствовал, что в нем роковое что-то, связанное со мной... Я давил его шелковое синее скользкое горло, вертлявое, змеиное горло. Он боролся, драл мою грудь когтями, бил крыльями. Он был силен еще, голодный... Потом он завел глаза, затянул беловатой пленкой... Тут я его оставил. Он лежал на боку, чуть дышал и трепетал шеей. Я стоял над ним в ужасе... я дрожал... Так, должно быть, дрожат убийцы.

Слава Богу, я не убил его. Я гладил его по плюшевой головке, по коронованной головке, по атласной шейке. Я поливал на него водой, слушал сердце... Он приоткрыл глазок и посмотрел на меня... и дернулся... Ты прав, Павка... надо меня бояться. Но он был слаб и не имел сил подняться.

Мне теперь будет больно смотреть на него и стыдно. Пусть унесут его.

Его понесла славная девочка... Теперь ее нет на свете. Скольких славных теперь нет на свете! Она сказала:

— Я знаю, на базаре... татарин один богатый... Он, может быть, возьмет детям.

Я видел, как понесла его, как мотался его хвост повисший. Вот и конец Павлина!

Нет, не конец еще. Он пришел, воротился, чтобы напоминать мне прошлое — и доброе, и худое. Он еще покричал мне от пустыря.

С неделю прожил он где-то на базаре, при кофейне, — все поджидал, не возьмет ли его богач татарин. Его не взяли. Поиграли с ним татарские дети. И он вернулся на свой пустырь, к своей вилле... Как всегда, он встретил меня на заре пустынным, как будто победным криком. А хвост?! Где же твой хвост — веер, радужный хвост, с глазками?

...Эоу-аааа!..

Жалуется? тоскует?.. Отняли хвост татарские дети, вырвали. Мне стыдно смотреть туда, больно смотреть... Не надо ни табаку, ни... ничего не надо. Усмешка злая.

Ходил он по своему пустырю, ограбленный и забитый. И уже не поднимался ко мне через балку, не приходил и к воротам: помнил. Он кормился своим трудом, где-то, чем-то. Теперь уже совсем — ничей. Затерялся в днях черных, — кому теперь до Павлина дело!

Шумит Горка: обворовали Тихую Пристань! Бежит в городок Марина Семеновна, остановилась:

— Что только делается... как оголились люди! Да благородные! докторова дочка, учительница... на зорьке заявилась с каким-то, да из флигеля хозяйского исправничью мебель поволокла! Слышу — шумят по саду, чуть свет! а это они кровать волокут! столики... Унесли! Заявлять бегу... я хранительница-то всего именья!.. Из благородного роду, и... «Это, говорит, теперь все-общее! Все равно раскрадут...» Все ворочу, до гвоздика!

Пришел какой-то на петушиных ногах, в обмотках, с винтовкой, тощий. Шел мимо сада, попросил напиться.

— Крадут и крадут — все. А я один на весь городишко... хожу чуть жив. Это нарошно, чтобы зарестовали! Зна-ю ихнюю моду. Только прошибутся! Не зарестоваем воров, кормить нечем. Это тебе не при Микалае! При царе-то бы у нас весь город теперь сидел! Как при царе-то баловали! Борщу давали да хлеба по два фунта! Намедни вот взяли короворeза... Пять ден просидел — не признается, а пайка ему не полагается. Слабнуть стал. Уж мы ему и ванную делали, и мусаж, — не признается!

— Для чего же ванну делали?

— Махонький, что ли... не понимаете? Ну, понятно... подбодряли, чтобы только знаку не было... ну, растяжку ему делали, руки так... — показывает человек с винтовкой руками. — У нас строго, при народной власти, не забалуешь... Не признается и — на! Доктора призвали, товарищ начальник говорит: помрет человек! А тот ему: да, от голоду помрет, кормите. А товарищ начальник говорит ему, дуролому: «Вам же говорят — пайков не полагается!» И придумал: в больницу пишите лицепт! А оттуда его назад: голодной болезни не признаем! Камедь, ей-Богу! На поруки и выпустили. А он взял да и помер! Вот его теперь и суди! А я что? я человек подначальный, как укажут. Черт их... глаза бы не глядели!..

Глаза бы не глядели...

Бежит сынишка Вербы с горки, кричит-машет:

— Павка-то ваш!.. на память!..

Павлин... А где же Павлин?.. Что-то не слышно было последние дни его тоскливых криков, не видно было его одинокого мотанья на пустыре. Что такое — на память?

Я вижу сломанное перо с глазком, новенькое перо, осеннее, явившееся на смену. Он еще хотел жить, бедняга, своими силами хотел жить, — ничей. Я вижу в руке мальчишки и серебристое — из крыла, и розовато-палевое, чудесное!

— На винограднике подобрал, под горкой. Должно быть, доктор с тычка подшиб палкой, а перья на виноградник выкинул... собаки, мол, разорвали!

Последний привет — глазок. Павка со мной простился — прислал на память. Он же был такой добрый, он так доверчиво говорил: «Не дашь?» И отходил покорно. Мы первые с ним начинали утра... Он никогда не ушел бы, — я первый его покинул. И он, одинокий, гордый, отъединился на пустыре, — ничей. Теперь не будет и пустыря — ушел хозяин.

— Все к даче доктора, на тычок ходил Павка, а у них ни крошки. Вчера у нас занимать приходили. И что-то жареным пахло, будто индюшкой. А чего им жарить?..

Доктор съел моего павлина?! Чушь какая... Не дядя ли Андрей? Он ведь недавно спрашивал...

— А у нас другой гусь пропал! Это Андрей проклятый, некому больше... Наш гусь все в их сад забирался, где у

бассейна лягушки квакчут. Убью! Вот подстерегу к ночи, да из двустволки в зад, утятником! Меня не засудят, я мальчишка... Скажу, с курка сорвалось!

Я беру остатки моего — не моего — Павлина и с тихим чувством, как нежный цветок, кладу на веранде — к усыхающему «кальвилю». Последнее из отшедших. Пустоты все больше. Дотепливается последнее. А-а, пустяки какие!..

КРУГ АДСКИЙ

Тянется из неведомого клубка нить жизни, — теплится, догорает. Не таится ли в том клубке надежда? Сны мои — те же сны, нездешние. Не сны ли — моя надежда, намечающаяся нить новой, нездешней жизни?.. Туда не через Ад ли ведет дорога?.. Его не выдумали: есть Ад! Вот он и обманчивый круг его... — море, горы... — экран чудесный. Ходят по кругу дни, — бесцельной, бессменной сменой. Путаются в днях люди, мятутся, ищут... выхода себе ищут. И я ищу. Кружусь по садику, по колючкам, ищу, ищу... Черное, неизбывное, — со мной ходит. Не отойдет до смерти. Пусть и по смерти ходит.

Темнеет в моем саду. Молодой месяц уходит за горб горы. Почернела Кастель, идет с Бабугана ночь. Под ним огневая точка — сухая трава горит, — под будущую пшеницу?.. Не будут сеять пшеницу — последнее. Будут сеять другие, кто выживет и дождется тучной земли, тленьем набравшей силы. Не костер ли горит под Бабуганом? Не страшно ему гореть! Каждую ночь погибают под ножом, под пулей. По всей округе, по всем дорогам. А круг все узится. Везде доживают люди по пустынным дачкам, по шоссейным будкам, по хуторкам. Застрявшие дорожные сторожа и сторожихи, былые прачки, беспомощные старухи, матери с мелюзгой сыпучей. Некуда никому уйти. Пойти за горы? дотащиться до перевала и умереть неслышно? Это они могут сделать дома. А в шоссейной будке чего бояться? Изнасилуют девочку? Изнасилуют... а может, и швырнут хлеба!.. Не убежишь из круга. Камню молиться, чтобы разверзлись горы и поглотили? пожгло солнцем?..

Уйти? Бросить осиротевший домик и балочку, где орех-красавец? Последнее поминание... Размечут, порубят, повырывают — сотрут следы. Я не уйду из круга.

Табак весь вышел. Курю цикорий. Кто-то еще покупает книги, но у меня и книг нет, зачем книги?! А кто-то покупает... кто-то говорил недавно про... что? Да, Большая Энциклопедия!.. Когда-то и я мечтал купить Большую Энциклопедию! Продавали ее в роскошном переплете... Купил кто-то по полфунта хлеба... за том! Кто-то еще читает Большую Энциклопедию... Да, когда-то писали книги... стояли книги в роскошных переплетах, за стеклами... Теперь я вспомнил... у Юрчихи тоже стояли, «в роскошных переплетах». Она и продала за полфунта хлеба. Зачем ей книги, хоть и Большая Энциклопедия! У ней внучек лет двух, — зачем малышу Большая Энциклопедия? Разве он вырастет? без матери, без отца... Старуха голову потеряла... Живет у самого моря, в глухом саду. Сына у ней убили, невестка умерла от холеры. Живет старуха в щели, с внучком. Там пустынно, и море шумит. Слушает она день и ночь свое море. И муж и сын — моряками были, на своем море. Пришли и — убили сына. Не будь лейтенантом! «Пожалуйте, лейтенант, за горы, от моря, — маленькие формальности соблюсти!» Не уехал лейтенант за море, остался у своего моря. Не оставили его у моря. Шумит оно у пустого сада и день и ночь, не дает спать старухе. Сидит старуха, нахохлилась в темноте, — слушает, как шумит море, как дышит мальчик. А жить надо: оставили ей залог — мальчик! У своего моря — мальчик... И продала старуха лейтенантову шубу, запрятанную в камни. Кому-то еще нужна шуба. Хорошая, с воротником шуба... Не старухе же надевать ее! А внучек когда еще вырастет с отца, дорастет до шубы! Да еще и убить могут... Придут и спросят:

— А это у тебя чей мальчик?

Скажет им старуха:

— А это вот этого... того... сына моего, вот которого вы убили... моряка-лейтенанта российского флота! который родину защищал!

— А-а... — скажут, — лейтенанта?! Так ему... и надо! всех изводим... Давай и мальчишку...

Могут. Убили в Ялте древнюю старуху? Убили. Идти не могла — прикладами толкали — пойдешь! Руки дро-

жали, а толкали: при-казано! От самого Бела Куна свобода убивать вышла! Идти не можешь?! На дроги положили, днем, на глазах, повезли к оврагу. И глубокого старика убили, но тот шел гордо. А за что старуху? А портрет покойного мужа на столике держала, — генерала, что русскую крепость защищал от немцев. За то самое и убили. За что!.. Знают они, за что убивать надо. Так и Юрчихина внучка могут. Вот и не нужна шуба. Правильно.

А говорят ли они по радио — всем — всем — всем:

«Убиваем старух, стариков, детей, — всех — всех — всех! бросаем в шахты, в овраги, топим! Планомерно-победоносно! заматываем насмерть!» — ?..

Вчера умер в «Профессорском Уголке» старичок Голубинин... Бывало, в синих очках ходил — ерзал, брюки старенькие, последние, дрожащей щеточкой чистил на порожке... Три месяца выдержали в подвале... за что?! А зачем на море после «октября» приехал? бежать вздумал?! Отмолили старика — выпустили: на ладан дышит! Привезли вчера к вечеру, а в одиннадцать — сподобил Господь — помер в своей квартирке, чайку попил. Хоть чайку удалось попить!

А старуха Юрчиха добрая, как ребенок. Выменяла шубу на хлеб — на молоко — на крупу, — гостей созвала на пир: помяните новопреставленного! Все приползли на пир: хлебца попробовать, в молочко помакать... — нет шубы! Ходит по саду с внучком, на свое море смотрит... Придумывает — чем бы еще попотчевать? Стулья да шкаф зеркальный... Набежит покупатель какой с базара — отвалит хлеба и молока кувшин: опять приятно на людях есть. А если зима придет?.. А можно и без зимы... можно устроить так, что и не придет зима больше...

Ходит старуха по садику, внучка за ручку держит. На свое море смотрят. Рассказывает про дедушку, как он по морю плавал, — вон и портрет его на стене в красной раме... Висел — и уполз со стенки. Пришли — спросили:

— Это у тебя кто, старуха? почему канты на рукаве?

— А муж покойный... капитан, моряк...

Хотели взять капитана. Выплакала старуха: не военный капитан, а торговый, дальнего плаванья. Слово только, что капитан!

И запрятала старуха своего капитана в потайное место. Кружит по саду, кружит... — нет выхода.

Кружу по саду и я. Куда уйдешь?.. Везде все то же!.. Напрягаю воображение, окидываю всю Россию... О, какая, бескрайная! С морей до морей... все та же! все ту же... точат! Ей-то куда уйти?! Хлещет повсюду кровь... бурьяны заполонили пашню...

В сумерках я вижу под кипарисом... белеет что-то! Откуда это?! Мятые папироски... Табак?!. Да, настоящий табак?! Добрая душа прислала... папироски... Это, конечно, Марина Семеновна, кто же больше?.. Она, конечно. Вчера она спросила меня — разве я курить бросил? Принес папиросы Вадик, не смог отворить калитку, не докричался... — и бросил через шиповник, милый... Вот, спасибо. Табак чудесно туманит голову...

НА ТИХОЙ ПРИСТАНИ

В густеющих сумерках я иду на Тихую Пристань. Она успокаивает меня. Там — дети. Там — хоть призрачное — хозяйство. Там — слабенькая старушка еще пытается что-то делать, не опускает руки. Ведет последнюю скрипку разваливающегося оркестра. У ней — порядок. Все часы дня — ручные, и солнце у ней — часы.

Козу уже подоили. Старушка загоняет уток — четыре штуки. Сидит под грушей дядя Андрей, темный хохол, курит и сплевывает в колени. В новом своем костюме — из парусины исправника, в мягкой, его же, шляпе.

— И вам не стыдно, дядя Андрей, — слышу, отчитывает его Марина Семеновна. — А по-нашему, это воровством называется!..

— Ско-рые вы на слово, Марина Семеновна... — отвечает дядя Андрей — заносится. — А чого робить, по-вашему? Я ж голодрабец, оборвався, як... пес! А кому тэпэрь на стульчиках лежать-кохаться? Нема ваших панов-паничей, четыре срока на чердачке пустовають... Ну, товарищи заберуть... легше вам с того будэ? И потом... вже усенароднее, как сказать...

— Как вы испоганились, дядя Андрей! Вы ж были честный человек, работали на виноградниках, завели корову...

— Ну, шшо вы мне голову морочите? Ну, какая тэпэрь работа? И сезон кончился... Пойду по весне на степь!

— Ничего не найдете на степу! ни-чего! Экономии пустуют, мужики на себя сами управятся...

— Верно говорите. Ну и... так и сгадываю... чого мэнэ робить? ну, чого?.. лысого биса тешить?.. Нет у вас сердца настоящего!

Молчание. Утки вперевалочку подвигаются на ночлег.

— Яких утенков навоспитали... с листу будто! Уж вы не иначе слово какое умеете... волшебное...

— Слово, голубчик... — сердится Марина Семеновна. — За-бо-та! вот мое какое слово! Я чужое не обдираю, винцо не сосу...

— О-пять — двадцать пять... Я с вами душевный разговор имею, а вы... свербите! Вино я на свои пью... я поросенка выменял, кровного... А что такое парусина? Полковник помер... Не помри он — здесь ему часу не жить! враз конец, как он был исправник. Нам ученые люди говорили... по-лиция там, попы... купцы, офицеря... — всех чтобы, до корня! Самые умные социалисты... Из вас потом всего понаделаем по свому хвасо-ну! До слез кричали! У Севастополи... Помогайте нам — все ваше будэ... Ну? и чья тэпэрь, выходить, парусина? Вы — богачка против меня... а все парусиной тычете!

— Это я-то богачка? Да вы лучше спать ступайте...

— Это уж я сам знаю, чего... спать ли...

— Вы не выражайтесь похабным словом!

— От-то-то-то!.. Вы... буржуйка против меня! Голому мне ходить? при вас да без портков? А мне стыдно!..

— Ох, дядя Андрей! Попомните вы мое слово... подохнете! будут вас черви есть!

— Червя... она усякого будэ исты... по писанию Закона! И вас будэ исты, и грахва усякого, и... псяку. А поросенка я выменял, себя обеспечил... не будет вам неприятности через его. А выпил я по семейной неприятности, сказать... Я ей голову отмотаю, Лизавете, за мою корову! Хочь ее девчонка, падчеря моя... с матросом спуталась... мне теперь на... плевать! Моя корова!

Жабы в худом водоеме начинают кряхтеть — кто громче. Кряхтит и дядя Андрей. Когда он пьян, начинает в нем закипать смутная на что-то досада-злость.

— Вам, дядя Андрей, время на другой бок валиться. На котором вчера лежали?

— А что вы об себе так понимаете? Бок-бок... Хочу — на брюхо, хочу, — на .... лягу! Не закажете!

— Не смейте мне худых слов говорить!

— И вы мне голову не морочьте, что могете сады садить! Не могете вы сады садить. А я по документу могу... от управления... Государственные Имущества! И печати наложены! Я на Альме у генерала Синявина садил, а он, задави его болячка... не мог! Он по-ученому, а я из прахтики!

— Знаю я Синявина, очень хорошо знаю... и не врите!..

— Вы все-о знаете... А вот вы чого не знаете! Как матросики в восемнадцатом году налетели... Первый допрос: «У вас сады огромадные? кровь народную пьете... исплотация? Нам все известно по телеграхву!» — зараз повели в сады! А у него стро-го было, по-рядку требовал... не дай Боже! Встревают меня немедленно: что вы за человек? Ну, наймыть... ну? — Строгой? — Барин строгой, говорю. Порядок требуют. — Ладно, будет ему порядок! — А был дотошный... На усяком езенпляре обязательно чтобы ярлык, и про насекомое знали. Заплакал, как его в сады привели. Погибнут мои сады! Дозвольте мне, говорит, с любимой грушкой проститься... первый раз на ней плод вяжется! — Трогательно как, до совести... Допрашивают матросы: «А которое ваше дерево дорогое-любимое?» — А вот это! — А у них была гру-ша от ливадийских сортов привита. — Ведите меня к груше — «Императрис»! — А те смеются. Привели. — Самая эта? — Эта. — Только зацветать собирается! Дюжий один ка-ак насутужился... — рраз, с корнями! — Вот вам — «Императрис»! Из винтовки двое пришили — враз. Контриканер! Гляжу — го-тов генерал Синявин, Михал Петрович! Понтсигар из брюк вынули... А еще были у них гуси с шишками на ключве, китайского заводу... Гусей на штыке пожарили. Пир был...

— И вы попировали...

— Ну, я... за упокой души, сказать, помянул. Жалости подобно! Понтсигар был знаменитый, с минограммой, от учеников даренный. За обученье про насекомое. Вред очень понимали для садов. И все с ножичком, бывало,

ходют. И какой сучок вредный, зараз — чик! Са-ды у нас были...

— А чего вы с ними сделали! И с людьми, и с садами?.. Молчите, не переговорите меня! А теперь — нет работы?! Да побий меня Боже, да чтобы вас загодя черви не съели...

— Да ето усе полытика, Марина Семеновна! Я ж говорю, усе глупая полытика. А мы шо? Мы... нам Господь как положил? Усе православные християне... шоб каждый трудывся... А уж за свою корову... голову ей, гадюке, отмотаю! Надо и о зиме подумать... Ладно!..

У него назревает драма — всем известно.

С революцией дядя Андрей «занесся». Пришел с Альмы, из-под Севастополя, к жене — к Лизавете-чернявой, — служила она при пансионе. Не пришел, а верхом приехал! Не вышло из него дрогаля, да и возить стало нечего, — лошадь продал. Пробовали с Одарюком спирт гнать — и тут не вышло. И стал дядя Андрей при Лизавете жить, при корове. Вырастила Лизавета великими трудами корову, с телушки воспитала. Выдала девчонку Гашку за матроса-головореза, с морского пункта. Тут-то дядя Андрей и напоролся: думал корову себе забрать, на свое хозяйство садиться, а тут — матрос!

— А в чеку?! Выведу в расход в две минуты!

Это тебе не господин Синявин!

Засело семь человек матросов в наблюдательный пункт, на докторскую дачу, — смотреть за морем: не едет ли корабль контрреволюционный! Выгнали доктора в пять минут, пчел из улья швырнули-подавили, мед поели. Сад весь запакостили в отделку. Семеро молодцов — бугай бугаем.

— Командное у нас дело! На море в бинокли смотрим!

Народ отборный: шеи — бычьи, кулаки — свинчатки, зубы — слоновая кость. Ходят — баркас баркасом, перекачиваются, — девкам и сласть и гибель. На пальцах перстни, на руках часики-браслетики, в штанах отборные портсигары — квартирная добыча. Кругом голод, у матросов — бараньи тушки, сала, вина — досыта. Дело сурьезное — морской пункт!

Попала Лизавета под высокую руку. Забрал к себе в пункт матрос девку Гашку, забрал и приданое — корову, поставил в подвал под пункт. Стал матрос молоко пить,

девку любить. И сел дядя Андрей на мель: не возьмешь матроса!

Ходят матросы веселые, гладкие, по ночам из винтовок в море палят, по садам остатние розы дорывают — для дам сердца.

— Роза — царица цветов, народное достояние!

Пожгли заборы, загадили сады — доломали. Пошли по садам догладывать коровы.

— Коровы — народное достояние!

Пошли пропадать коровы.

Вот и надумал дядя Андрей, как овладеть коровой.

— Из-под земли достану! Суд теперь наш, народный!

Уходит дядя Андрей к себе, в исправничью дачку-флигель. Мы сидим в темном дворике, под верандой. Вадик и Кольдик спят. Прелесть и Бубик-Сударь — в надежной крепости.

— На глазах погибает человек... — говорит с сердцем Марина Семеновна. — Говорю ему: налаживайте хозяйство! Видите, я — старуха, и то борюсь, а вы и свой и мой огородик стравили поросенку, лень поливать стало! Говорит: порядку нет, не сообразишься! Вот где развал всего! Мы еще напрягаем последние силы, а он готов. Как мухи гибнут! А все кричали — на-ше!

Меня трогает это упорное цеплянье, борьба за жизнь. Не удержать ей мотыжку! Я беру ее сухенькую руку, благодарю за табак...

— Жизнь умирать не хочет, — говорит она с болью. — Ей нужно, нужно помочь!..

Не может она поверить, что жизнь хочет покоя, смерти: хочет покрыться камнем; что на наших глазах плывет, как снег на солнце. На ее глазах умирает «розовое царство», валится черепица, тащат из плетня колья, рубят в саду деревья. Чудачка... Останутся только разумные?! Останутся только — дикие, сумеют урвать последнее. Я не хочу тревожить верующую душу, у ней внучки...

Приходит учительница с добычи. Приносит падалку и мешок виноградных листьев. С утра она ничего не ела. Она хочет испечь лепешку. Хотят угостить меня. Спасибо, я ел сегодня. Я даже пил молоко! Откуда? А добрая душа принесла — сказала:

— Курочки занесутся, может... яичком отдадите.

Нет, мои курочки никогда не занесутся. Они все тают, не обрастают зимним пером: и на перо нет силы...

ЧАТЫРДАГ ДЫШИТ

Всю ночь дьяволы громыхали крышей, стучали в стены, ломились в мою мазанку, свистали, выли... — Чатырдаг ударил!

Вчера кроткое облачко лежало на его гребне. Сегодня он бурно «дышит». Последняя позолота слетела с гор — почернели они зимней смертью. Вымело догола кругом, и хоронившиеся за сенью дачки пугливо забелели. Теперь не спрячешься, когда Чатырдаг дышит. Сколько же их раскидано, сирот горьких! Вышли из лесов камни — смотрят. Теперь будут лежать — смотреть. Открыли горы каменные глаза свои, недвижные и пустые... Когда Чатырдаг дышит, все горы кричат — готовься! Татары это давно знают. И не боятся.

Теперь все боятся. Готовься! К смерти? К чему же еще готовиться?..

Ветер гонит меня к татарину — просить зерна за рубашку, проданную еще летом. Не дает... Хоть табаку достану.

Туда, через городок, под кладбище. Иду по балкам, — глядят зевами на меня. Виноградники ощетинились черными рогами — отдали чубуки на топливо. Вот и сарай-дача, у пшеничной котловины, — жило здесь Рыбачихино семейство.

Прощай, Рыбачихино семейство! Потащились девчонки за перевал, поволокли тощее свое тело — кому-нибудь на радость. Гудит ветер в недостроенной даче, в пустом бетоне. Воет в своей лачуге Рыбачиха — над мальчиком, — над трехлеткой плачет, детолюбивая. Я знаю ее горе: помер мальчик. Послала судьба на конец дней радость: к полдюжине девчонок прикинула мальчишку, — придет время, будет с отцом в море ездить!

Приходила на Горку девочка от Рыбачихи, плакалась:

— Один ведь он у нас, мальчишка-то... все жалеем! Помрет — больше мать-то и сродить не сможет... уж очень теперь харчи плохие! Мать-то у нас еще крепкая, сорок два годочка... еще бы сколько народила, на харчах-то...

Все проели: и корову, и пай артельный. Помер на прошлой неделе старый рыбак, наелся виноградного жмыху досыта, на сковородке жарил. Народил детей полон

баркас, дождался, наконец, своей власти и... ушел в дальнее плавание, а детей оставил.

Гонит меня, сшибает ветром от Чатырдага. Проволока путается в ногах, сорванная с оград. Не думаю я о ветре. Стоит передо мной Николай, рыбак старый. На море никогда не плакал, а гоняло его штормягами и под Одессу, и под Батум — куда только не гоняло! А на земле заплакал. Сидел у печурки, жарил «виноградные пироги». Сбились девчонки в кучку. Сидел и я у печурки, смотрел, как побитым сизым кулаком мешал на сковородке старик «сладкую пищу». Рассказывал — цедил по слову, — как ходил поговорить начистоту с представителем своей власти, с товарищем Дерябой...

— Они... в Ялы-Бахче... все управление... сколько комнат! а мы... дожидаем... из комнаты в комнату нас... гоняют... то девки стрыженыя... то мальчишки с этими... левонверами... печатками все стучат... хазяева наши новые... неведомо откуда... в гроб заколачивают... с бородкой ни одного не видал, солидного... все шатия...

Понимаю твою обиду, старик... понимаю, что и ты мог заплакать. От слез легче. Калечный, кривобокий, просоленный морем, ты таки добился до комнаты № 1, — прошел все камни, все нужные лавировки сделал, и потянуло тебе удачей: увидал товарища Дерябу! Крепкого, в бобровой шапке, в хорьковой шубе — за заслуги перед тобой! — широкорожего, зычного товарища Дерябу! Ты, чудак, товарищем называл его, душу ему открыл... рассказал, что у тебя семеро голодают, а ты — больной, без хлеба и без добычи. Надоел ты ему, старик. Не надо было так хмуро, волком, ворчать, что обещала власть всем трудящимся...

Сказал тебе товарищ Деряба:

— Что я вам... рожу хлеба?!

Кулаком на тебя стучал товарищ Деряба. Не дал тебе ни баранины, ни вина, ни сала. Не подарил и шапки. А когда ты, моряк старый, сел в коридоре и вытянул из рваных штанов грязную тряпицу, мимо тебя ходили в офицерских штанах галифе, после расстрелов поделенных, и колбасу жевали. А ты потирал гноившиеся глаза и хныкал, поводил носом, потягивал колбасный запах... Взяло тебя за сердце, остановил ты одного, тощенького,

с наганом, и попросил тоненьким голоском — откуда взялся!

— Товарищ... Весной на митинге... про народ жалели, приглашали к себе... Припишите уж все семейство в партию... в коммунисты... с голоду подыхаем!..

Тебе повезло: попал ты на секретаря товарища Дерябы. Спросил тебя секретарь с наганом:

— А какой у вас стаж, товарищ?

Ты, понятно, простак, не понял, что над тобой смеются. Ты и слова-то того не понял. А если бы ты и понял, ну, что сказал бы? Твой стаж — полвека работы в море. Этого, старик, мало. Твой стаж — кривой бок, разбитый, когда ты упал в трюм на погрузке, руки в мозолях, ноги, разбитые зимним морем... И этого, чудак, мало! У тебя нет самого главного стажа — не пролил ты ни капли родной крови! А у того имеется главный стаж: расстреливал по подвалам! За это у него и колбасы вдоволь. За это и с наганом ходит, и говорит с тобой властно!

Ты поднялся, оглянул живые его глаза — чужие, его тонкие и кривые ноги... И хрипнул:

— Значит, дохнуть?! Да хошь ребят возьмите!

Ты грозил привести ребят. Тебе сказали:

— Приводи, твое дело. Выведем на крыльцо...

Ты крикнул ему угрозу:

— Та-ак?! В море кину!..

— Дети твои, кидай! Вот чудак... если всем не хватает!

Пошел ты к себе, спустился в свою лачугу... Не пошел к рыбакам своим: у всех ты позабирал, а теперь и у них пусто. Наелся жмыху и помер. Спокойней в земле, старик. Добрая она — всех принимает щедро.

Валит меня ветром на винограднике на лошадиные кости. Стоят на площадке, на всех ветрах остатки дачки-хибарки Ивана Московского, — две стенки. За ними передохнуть можно. Когда Чатырдаг дышит — дышать человеку трудно. Смотрю — хоронится от ветра Пашка, рыбак, лихой парень. Тащит домой добро — выменял где-то на вино пшеницы, сверху запустил соломки, чтобы люди не кляли.

— Ну, как живется?

Он ругается, как на баркасе:

— А-а .... под зябры взяли, на кукане водят! Придешь с моря — все забирают, на всю артель десять процентов оставляют! Ловко придумали — коммуна называется. Они правют, своим места пораздавали, пайки гонят, а ты на их работай! Чуть что — подвалом грозят. А мы... — нас шестьдесят человек дураков-рыбаков, — молчим. Глядели-глядели... не желаем! Еще десять процентов прибавили. Запасу для себя не загонишь, рыба-то временем ход имеет. Пойдешь в море — ладно, думаешь, выгрузим, где поглуше, — стерегут! Пристали за Черновскими Камнями, только баркас выпрастывать принялись — а уж он тут как тут! «Это вы чего выгружаете? против власти?!» Ах, ты, паршивый! Раза дал... не дыхнул бы! А за им — стража! Наши же сволочи, красноармейцы, с винтовками из камней лезут! За то им рыбки дают... Отобрал! Да еще речь произнес, ругал: пролетарскую дисциплину подрываете! Комиссар, понятно...

— Власть-то ваша.

Пашка сверкнул глазами и стиснул зубы.

— Говорю — под зябры ухватили! А вы — ва-ша! Всю нашу снасть, дорожки, крючья, баркасы — все забрали, в комитет, под замок. Прикажут: выходи в море! Рабочие сапоги, как на берег сошли, — отбирают! Совсем рабами поделали. Ладно, не выезжать! В подвал троих посадили, — некуда податься! Депутата послали в центр, шум сделали... Три недели в море не выходили! Отбили половину улова, а уж ход камсы кончился. Седьмой месяц и вертимся, затощали. Что выдумали: «Вы, — говорят, — весь город должны кормить, у нас коммуна!» Присосались — корми! Белужку как-то закрючили... — выдали по кусочку мыла, а белужку... в Симферополь, главным своим, в подарок! Бы-ло когда при царе?! Тогда нам за белужку, бывало... любую цену, как Ливадия знак подаст! Свобода-то когда была, мать их!.. Да раньше-то я на себя, ежели я счастливый, сколько мог добывать? У меня тройка триковая была, часы на двенадцати камнях, сапоги лаковые... от девок отбою не было. А теперь вся девка у них, на прикорме, каких полюбовниц себе набрали... из хорошего даже роду! Попа нашего два раза забирали, в Ялты возили! Уж мы ручательство подавали! Нам без попа нельзя, в море ходим! Уйду, мочи моей не стало... на

Одест подамся, а там — к румынам... А что народу погубили! Которые у Врангеля были по мобилизации солдаты, раздели до гульчиков, разули, голыми погнали через горы! Пла-кали мы, как сбили их на базаре... кто в одеялке, кто вовсе дрожит в одной рубахе, без нижнего... как над людями измывались! В подвалах морили... потом, кого расстрелили, кого куда... не доищутся. А всех, кто в милиции служил из хлеба, простые же солдатики... всех до единого расстрелили! Сколько-то тыщ. И все этот проклятый... Бэла Кун, а у него полюбовница была, секретарша, Землячка прозывается, а настоящая фамилия неизвестна... вот зверь, стерьва! Ходил я за одного хлопотать... показали мне там одного, главного чекиста... Михельсон, по фамилии... рыжеватый, тощий, глаза зеленые, злые, как у змеи... главные эти трое орудовали... без милосердия! Мой товарищ сидел, рассказывал... Ночью — тревога! Выстроят на дворе всех, придет какой в красной шапке, пьяный... Подойдет к какому, глянет в глаза... — р-раз! — кулаком по морде. А потом — убрать! Выкликнут там сколько-нибудь — в расход!

Я говорю Пашке:

— Вашим же именем все творится.

Нет, он не понимает.

— Вашим именем грабили, бросали людей в море, расстреливали сотни тысяч...

— Стойте! — кричит Пашка. — Это самые паскуды!

Мы стараемся перекричать ветер.

— Ва-шим же... именем!

— Подменили! окрутили!

— Воспользовались, как дубиной! Убили лучшее, что в народе было... поманили вас на грабеж... а вы предали своих братьев! Теперь вам же на шею сели! Заплатили и вы!.. и платите! Вон и Николай заплатил, и Кулеш, и...

Он пучит глаза на меня, он уже давно сам чует.

— На Волге уж... миллионы... заплатили! Не проливается даром кровь!.. Возме-рится!

— Дурак наш народ... — говорит Пашка, хмурясь. — Вот когда всех на берегу выстроят, да в руки по ложке дадут, да прикажут — море выхлебывай, туды-т твою растуды-т!.. — вот тогда поймут. Теперь видим, к чему

вся склока. Кому могила, а им светел день. Уйду! На Гирла уйду, ну их, к ляду!..

Пашка забирает мешок. Только теперь я вижу, как его подтянуло и как обносился он.

— Пшени-чка-а... Пять верст гнались...

Голос срывается ветром. Он безнадежно машет и пригибается от вихря к земле, хватается за рогульки на винограднике, путается за них ногами.

Дальше, ниже. Вот и миндальные сады доктора. В ветре мальчишки рубят... а, пусть! Прощай, сады! Не зацветут по весне, не засвищут дрозды по зорям. Шумит Чатырдаг — ...до...лло...йййййй!.. — север по садам свищет, ревет в порубках... И море через сады видно... — погнал Чатырдаг на море купать барашков! Визжат-воют голые миндали, секутся ветками, — хлещет их Чатырдаг бичами — до-лойййй... — давний пустырь зовет, стирает сады миндальные, воли хочет. Забился под горку доктор... да жив ли?..

Ветром срывает меня с тропинки, и я круто срываюсь в балку, цапаюсь за шиповник. Вот куда я попал! Ну, что же... зайду проститься — совершаю последний круг! Взгляну на праведницу в проклятой жизни...

ПРАВЕДНИЦА-ПОДВИЖНИЦА

Лачуга, слепленная из глины. Сухие мальвы треплются на ветру, тряпки рвутся на частоколе. Одноногий цыпленок уткнулся головкой в закрытую сараюшку, стынет — калека. И все — калечное. На крыше — флюгер, работа покойного Кулеша-соседа — арап железный подрыгивает, лягает ногой серебряной, сапогом: веселенькая работа-дар. Помер Кулеш, и сапожник помер, Прокофий, что читал Библию. Остался арап железный лягать сапогом ветер.

Познал Прокофий Антихриста — и помер. Знаю, как он помер. Все ходил по заборам, по пустым окнам — читал приказы, разглядывал печати: «антихристову печать» отыскивал. Придет в лачугу и сядет в угол.

— Ну, чего ты, Прокофья... вон починка! — скажет ему жена Таня.

— Де-крет! декрет!! — шепчет Прокофий в ужасе. — Полотенца, рубахи приносить велит! Жду, все жду...

— Ну, чего ждешь-то, глупый? Хоть бы пожалел детей-то!..

— Знака настоящего жду... тогда!..

— Измучил ты меня!.. Ну, какого тебе знака еще... Господи!

— Декрет готов! Кресты чтобы ему приносили, тогда и печать положит... Слежу...

Понес Прокофий полотенце — «по декрету». Подал полотенце.

— А рубахи нету? — спросили. — Рубахи очень нужны шахтерам, товарищ!..

— По-следняя! — дрогнувшим голосом сказал Прокофий и приложил руку к сердцу. — А когда крест... снимать будете?

Его хотели арестовать, но знающие сказали, что это сумасшедший сапожник. Он вышел на набережную, пошел к военному пункту и запел «Боже, Царя храни»! Его тяжко избили на берегу, посадили в подвал и увезли за горы. Он скоро помер.

Я смотрю на сиротливую лачугу. Вот плетешок на обрывчике — его работы. Пустой хлевок: давно проданы свинки, последнее хозяйство. «Одноножка» одна осталась — детям. Две девочки-голоножки возят на ниточках щепки — играют в пароходы. За окошком мальчик грозится сухою косточкой.

Я хочу повидать Таню. А, вот она. Куда собралась она в такой ветер, сдувающий с гор камни? Она стоит на пороге — уже в пути.

— Здравствуйте. А я за горы, вино менять...

На ней кофта, на голове ситцевый платок, босая. За спиной — бочонок на полотенце, пудовый. На груди на веревках, перевитые тряпками — чтобы не побились! — четыре бутылки. Походное снаряжение.

Я понимаю, что значит это — «за горы». За полсотни верст, через перевал, где уже снег выпал, она понесет трудовое свое вино, — потащит через леса, через мосты над оврагами, где боятся ездить автомобили. Там останавливают проезжих. Там — зеленые, красные, кто еще?.. Там висят над железным мостом, на сучьях, — семеро. Кто они — неизвестно. Кто их повесил — никто не знает. Там прочитывают бумаги, выпрастывают карманы... Ком-

мунист? — в лес уводят. Зеленый? — укладывают на месте. Гражданин? — пошлину заплати, ступай. Там волчья грызня и свалка. Незатихающий бой людей железного века — в камнях.

И она, слабенькая, мать Таня, — идет туда. Сутки идет — не ночует, не останавливается, несет и несет вино. Выгадает пять фунтов хлеба. Идет оттуда с мукой. А через три дня опять — вино, и опять горы, горы...

— Трудно. Да ведь де-ти... Пять раз ходила, в шестой. Сплю когда, во сне вижу — иду, иду... лес да горы, а вино за спиной — буль-буль... плещется. Когда идешь — спишь... буль-буль... Ноги обила, а обувку где же! Кормимся...

Когда-то она жила, как люди, стирала на приезжих. Чисто водила детей, сытенькая всегда была. Прокофий сапожничал, читал Библию и поджидал Правду. Пришла — навалила камень.

— Не обижают на дороге?

— Всего бывало. Вышли из лесу, остановили. Ну, еще молодая я... «Пойдем жить в лес с нами!» Дети у меня, говорю, а то бы с вами осталась! Посмеялись, хлебушка дали... Попались добрые люди, страдающих понимают...

— «Зеленые», что не хотят неволи?

— А не знаю... — робко говорит Таня. — Один сала кусок сунул. Говорит — снеси детям... у меня, говорит, тоже дети... А то было, под городом... вот дойду!.. вино у меня отняли... В ногах валялась... «Молчи, говорит, спикулянка!» Пошла назад, холодная-голодная, насилу добралась... Спасибо, татаре в долг опять вина дали.

Звери, люди — все одинаковые, с лицами человечьими, бьются, смеются, плачут. Выдернутся из камня — опять в камень. Камней, лесов и бурь не боится Таня. Боится: потащат в лес, досыта насмеются, вино все выпьют, ее всю выпьют... — ступай, веселая!

— Приду — испеку им хлебца. Едят, меня дожидаются, одни...

Когда-то мальвы в саду цвели, голуби ворковали, постукивала швейная машинка. Когда-то она, нарядная, ходила с Прокофием к обедне, девочек вела за ручки, а Прокофий нес на руках наследника.

— Боюсь — не выдержу. Только судьбу обманываю. Если помощи не дадут — все погибнем.

Востроносенькая, синеглазая, приветливая, она недавно была красива. Теперь — скелет большеглазый. Большеглазы и девочки. Спасется, если примет повадившегося заглядывать толстошею-матроса с пункта. Пусть, хоть матросом спасет семью. Все летит в прах, горит.

— Ну, живите... хлебца я вам порезала, по бумажкам. Христос с вами... Соседка заглядывает когда...

Прощай, подвижница!

На меня смотрит девочка, показывает на щепку:

— Па... ла... ход... у-у-у...

Мальчик косточкой по стеклу стучит.

Ушла Таня. Смотрю на Чатырдаг — ясный-ясный. Там выпал снег. Туда, за его громаду, полезет с бочонком Таня, а он будет ее сдувать. Будут орлы кружиться... А вино — весело за спиной — буль-буль-буль...

ПОД ВЕТРОМ

Миндальные сады доктора... Надо зайти проститься. Я совершаю последний круг, последнее нисхождение. Делать внизу мне нечего: сидеть на горе легче.

Охлестывает меня ветвями, воет-визжит кругом. Показывает и прячет синее море — играют на нем барашки. Белеет через деревья дом доктора. Дубовые колоды вделаны на века. Стены — крепость. Водоемы хранят и в жару студеную — зимних дождей — воду. Продал доктор свой крепкий дом и перебрался в новый — из тонких досок — в скворешник-гробик.

А вот и доктор. Он стоит перед домиком неподвижно, раскинув руки, как огородное чучело. Ветер треплет его лохмотья.

— Ветром занесло к вам... доктор... проститься перед... зимой!

— Да-да... — бросает он озабоченно, а его, кисель киселем, лицо продолжает смотреть кверху. — Зрение проверяю... Вчера отчетливо различал, а сегодня шишек не вижу...

— Ветром посбивало!

— Вы думаете... Но я и сучков не вижу. Десять дней принимаю один миндаль... горький. Нет, оставьте! Я не

имею охоты продолжаться. Обидно, что не кончу работу, потеряю глаза... Заключительные главы, «апофеоз русской интеллигенции», не успею! Слепну, ясно. Вчера один коллега, который каждый день умеет есть пирожки, прислал пирожок... но такие боли... опиум принял и уснул. Перед утром видел ее, Наталью Семеновну... Положила голову на плечо... «Скоро... Миша!» Конечно — скоро. А ведь должен же быть хоть там какой-нибудь мир, где есть какой-нибудь смысл?! Ибо хотим смысла! И вот под опиумом мне все открылось, но... забыл! Два часа вспоминал... а как я был счастлив! Помню... про «дядюшку» что-то...

— Как про «дядюшку»?!

— Как будто смешно... но... У человечества, у нас, у нас! дядюшки не было! Такого, положительного, с бородой честной, с духом-то земляным, своим... с чемоданчиком-саквояжиком, пусть хоть и рыженьким, потертым, в котором и книги расчетные, и пряники с богомолья, и крестики от преподобного... и во-дица святая... и хорошая плетка!

— Не понимаю, доктор!..

— Может быть, это от миндаля с опиумом? — прищурился доктор хитро. — Я про интеллигенцию говорю! Были в ней только... полюсы, северный и южный! Стойте, ветра не бойтесь... нам с вами ветер не повредит! не может повредить! Один полюс, хоть северный, — «высоты духа»! Рафинад! Они только тем и занимались, что из банкротства в банкротство... и дух испустили! Гнили сладостно и в том наслаждение получали. Одну и ту же гнилушку под разными соусами подавали, — какое же, скажите, питание в... гнилушке, хоть бы и с фимиамами?! А другой полюс... — плоть трепетная и... гну-усная, тоже под соусами ароматными... — дерзатели-рвачи-стервецы! Эти ничего не подавали, а больше по санитарной части: все — долой! и — хочу жрать! Но под музыку! с барабаном! жрать хочу всенародно и даже... всечеловечно! А между ними «болть» колыхалась, молочишко снятое! Оно теперь, понятно, сквасилось и... А «дядюшки»-то и не было! который ни туда, ни сюда! А — погоди, малец: тебя надо в бане выпарить, голову вычесать, рубаху чистую на тебя надеть, вот тебе крестик от преподобного и... букварь! и плетка на случай! Ядра-то не было! Молочишко-то всю посуду заквасило...

Не понимаете?! Ага! Я эту формулу могу содержанием наполнить на двадцать томов, с историческими и всякими комментариями! В лучшем случае у нас вместо дядюшки-то кузен был! А чего от кузена ждать?! Рецептики у кузена всегда больше презервативного и ртутного характера. Он из «Варьете» на две минуты к бабушке перед соборованием, а потом к мадам Анго, на утренний туалет, а там к кузине, а там пищеварением занимается, стишками побалует и в клуб — друзья дожидаются доклад об «устремлениях» послушать... И подметки у него всегда протертые! Да, дядюшка! По нем скоро весь земной шар будет тосковать... ибо уж если ступит — знает, куда нога попадет! И в саквояже у него всегда свое! И в книжке у него все, до «нищему на паперти подано — 2 копейки»! А у кузена больше на манжетке написано: «В «Палермо» метрдотелю 5», и не поймешь, как и за что, да и пять ли!

Он потер глаза и принялся проверять по шишкам.

— Да, слабеют. Вчера дубовую дверь ночью ломали, лезли... да крепка! А окна, как видите, на три аршина, — предусмотрено! Так они все мотыги и лопаты забрали. Так и с культурой! Передком еще тащились, а как передок со шкворня, — задний-то стан и налетел — хряп! Ну... звери сломали клетку, змеи разбили стеклянный ящик.

Я вижу, как задыхается от ветра, пригибающего кипарисы, но уходить не хочет и к себе не зовет. Просит стоять за деревом: так не дует.

— Конечно, отвлеченности теперь страшно утомляют, но без них нельзя даже здесь! А теперь обобщения неизбежны, ибо итоги, итоги подводим! Решать надо! Вот вчера умер уже семнадцатый! от голода! Но... третьего дня в Алупке расстреляли двенадцать офицеров! Вернулись из Болгарии на фелуге, по семьям стосковались. И я как раз видел тот самый автомобиль, как поехали расправляться за то, что воротились к родине, от тоски по ней!! Сидел там... по-эт, по виду! Волосы по плечам, как вороново крыло... в глазах — мечтательное, до одухотворенности! что-то такое — не от мира сего! Героическое дерзание! Он, в каких-то облаках пребывающий, приказал!!! рабам приказал убить двенадцать русских героев, к родине воротившихся! Стойте!! — подбежал ко мне доктор и схватил

за руку... — Чего-то мы не учитываем! Не все ведь умирают! Значит, жизнь будет идти... она идет, идет уже тем, что есть которые убивают! и только! в этом и жизнь — в убивании! Телефоны работают: «Убить?» — «Убить». — «Едем!» — «Торопитесь!» Это уже вид функции принимает!! Значит, ясно: надо... уходить.

— А надежда, доктор? А расплата?!

— Функция! — говорю. Какая может быть тут надежда?! А расплата — укрепление функции. Мерси покорно. Гниение конституциональное! Вы имеете понятие о газоидальной гангрене? Вы не слышите этого шипенья?! Ну, слушайте. Почему вчера не были на собрании? Смотрите, могут и убить! Я вам сейчас...

Доктор вытащил из какой-то складки заплат розовенький листок бумаги, затрещавший в ветре.

— Стой, не дерись... сейчас выпущу... Читайте на розовеньком-то: «Явка обязательна под страхом предания суду революционного трибунала!» Значит, вплоть до... функции! Я не потому пошел, а... выступал сам маэстро! Н-ну, хоть маэстро функций! сам товарищ Дерябин! Раньше парнишка с Путиловского заводу наших профессоров пушил и учителям носы утирал, а они улыбались не без приятности, а тут сам Дерябин! Все козыри ихние! Чтобы вся интеллигенция явилась! Она любит «Голгофу»-то, ну, с ее вкусами-то и считаются. Ведь они-то, центр-то, психологи! Все перепоночки интеллигенции-то знают... Все и явились. С зубками больными даже, с катарами... кашлю что было, насморку! Они не являлись, когда их на борьбу звали, от Дерябиных-то защищать и себя, и... Но тут явились на порку аккуратно, заблаговременно! Хоть и в лоскутках пришли, но в очках! некоторые воротнички надели, может быть, для поддержания достоинства и как бы в протест. Без сапог, но в воротничке, но... покорен! Доктора, учителя, артисты... Эти — с лицом хоть и насмешливо-независимым, но с дрожью губ. В глазах хоть и тревожный блуд, и как бы подобострастие, но и сознание гордое — служение свободному искусству! Кашлянет по-театральному, львенком этаким салонным, будто на сцене, и... испугается — будто поперхнулся. Товарищ Дерябин в бобровой шапке, шуба внакидку, лисья... как у Пугачева!

— Но... у него хорьковая шуба...

— Ну, да! У него и хорьковая есть. А тут в лисьей. Фи-гу-ра! Или мясник он был, или в борцах работал... а может быть, и урядник, в хлебном селе такие попадаются... широкорылый, скуластый... Наган на стол! О просвещении народа! Что уж он говорил!.. Ну... Да ка-ак зы-кнет!.. — так все и... «Такие-сякие... за народную пот-кровь... набили себе головы всяческими науками! Требую!! Раскройте свои мозги и покажите пролетариату! А не рас-кро-ете... тогда мы их... рас-кроим!» И наганом! В гроб прямо положил! Ти-ши-на... Ведь рукоплескать бы надо, а? Дождались какого торжества-то! Власть ведь наконец-то на просвещение народное призывает! Ведь, бывало, самоеды как живут или как свободные американцы гражданские праздники празднуют, и как отдыхают, и развлекаются, через волшебный фонарь народу показать тщились, как бы хоть с кусочком своего ума-знания-мозга поделиться, на ушко шепнуть... из-под полы, за двадцать верст по грязи бежали, показать истину-то как пытались... а тут все мозги требуется показать, а... И как будто недовольны остались! Не то чтобы недовольны, а... потрясение! Готовность-то изображают, а в кашле-то некоторая тень есть. Но... когда пошли, подхихикивали! А доктор один, Шуталов... и говорит: «А знаете... мне это нравится! Почвенно, а главное, непосредственности-то сколько! Душа народная пробуждается! Переварка! Рефлексы пора оставить, не угодно ли... в черную работу!» И за товарищем Дерябиным побежал! ручку потрясти. Что это — подлость или... от благородного покаяния?! В помойке пополоскаться?! Ведь есть такие... Зовут полоскаться и претерпеть. Поклонимся голытьбе бесстыжей и победим... помойкой! Чем и покажем любовь к народу! Правда, у таких головы больше редькой... но если и редька начнет долбить и терзаться — простим-простим и претерпим! — так... Источимся в страдании сладостном! Вот она, гниль-то мозговая! Ну, с таким матерьяльцем только в помойке и полоскаться. Во что Прометей-то, Каин-то прославленный вылился! — в босяка, на сладостной Голгофе-попойке самозабвенно истекающего любовию! К зверям бы ушел... не могу!..

Доктор пускает розовенькую бумажку, и она взмывает кверху и порхает розовой бабочкой. Понесло ее к морю.

— Не спешите. Все хочу главное высказать, а мысли... мозг точат, как мыши... все перегрызают. Не с кипарисами же говорить?! Не с кем говорить стало... Боятся говорить! И думать скоро будут бояться. Я им пакетик хочу оставить, в назидание. Здешние-то, конечно, и не поймут, мавры-то... а вот бы господам журналистам-то бывшим... Они ведь все по журналистике до кровопуска-то... Интересно, когда они один на один с собой?.. Не волк же они или удав? когда пожрет, только бурчание свое слушает в дремоте... Если у них человеческое что-то имеется, не могут они, когда перед зеркалом с глазу на глаз... Плюют в себя? как вы думаете... или ржут?!! Или перед зеркалом себе успокоительные речи произносят? Во имя, дескать... И шахер-махер — во имя?! И — все? Этот вот смо-кинг — от всенародного портного не носят? человечины не едят? Как же не едят?! На каждого из них... сколько сотен тысяч головушек-то российских падает? А они их речами, речами засыпают, песочком красным... Так-таки и не возмерится?! О, как возмерится!.. до седьмого колена возмерится! Вот, и об этом во сне мне было... Те — не задавят! Эти, здешние, что! Но и они наводят на выводы... Вчера иду по мосту. Трое звездоносцев обгоняют, в шлыках витязей... в издевке-то этой над давним нашим, — когда лыком сшивали Русь! Про пенсне мое, как полагается, го-гочут! Молчу. И вот, непристойные звуки стали производить, нарочно! Воздух отравили и го-гочут! Только человеку может такое в башку прийти... Животное есть вонючка... Так она от смерти этим спасается, жидкостью-то своею! Эти так, а те... слово, душу заразили, все завоняли! и еще весь мир приглашают: дружно будем... вонять! И есть, идут!! В вони этой даже какое-то искупление и пострадание находят! возрождение через вонь ждут! Могий вместили! — говорят!! Франциски Ассизские какие... суп себе из вышвырнутых мощей будут кушать и... плакать! А потому — пострадание-то сладостно! Словоблудие-то каково! Что же, уходите?

Он провожает меня, доводит до бассейна и останавливает.

— Тут потише. Я уж в свой... склеп-то и не зову. Да и все прибираюсь, бумажки какие... Да... я вчера Кука читал, про дикарей, и плакал! Живот болел от коллегина

пирожка... Милые дикари, святые! Тоже, угощали Кука человечинкой... от радушия угощали! по-медвежьи... и ящерицу на жертвенном блюде подали! Как эти горы — святы в неведении своем. Горы, падите на нас! Холмы, покройте! От них уходить жалко. Хожу по садам, каждое деревцо оглядываю, прощаюсь. Скверно, что так с трупами, валяются там неделями! И кладбище гнусное, на юру, ветрено... Эту вот руку собаки обгрызут...

— Ведь все же — химия, доктор?

— А неприятно. Эстетика-то... стоит чего-нибудь? Вон художник знакомый говорит... — лучше бы хоть удавили! Приказали плакаты против сыпняка писать... вошей поярче пролетариату изобразить! Написал пару солидных, заработал фунт хлеба... да дорогой детям отдал: не могу, говорит, от этого кормиться! Нет, не говорите... Море-то, море-то каково! И блеск, и трепет...— у Гоголя недавно где-то. Сколько прекрасного было! Ах, на пароход бы сейчас... где-нибудь в Индийском океане... куда-нибудь на Цейлон пристать... в джунгли, в леса забраться... Храмы там заросли, в зеленой тишине дремлют. И Будда, огромный, в зеленом сумраке. Жуки лесные ползают по нем, райские птицы порхают... то на плечо к нему сядут, то на ухо, чирикают про свое... и непременно ручеек журчит... А он, давний-давний... с длинными глазами, смотрит-смотрит бесстрастно. Я на картинках его таким видал. Чувствуется, что он все знает! И все молчит! Не мелкое, гаденькое, копеечное... не великую силу «четыреххвостки» или «диктатуру пролетариата», который звуками воздух отравляет, а... Все знает! Стать бы перед ним так вот... с книгами со всеми в голове, что за целую жизнь прочитал, с муками, какими накормили... и... — он бы все понимал! — и сказать только глазами, руками так... «Ну, что? как с ду-мой-то ты своей?» А он бы — ни ресничкой! Зрячий и мудрый Камень! Вот так подумаю — и не страшно! Ничего не страшно! Мудрый камень, — и вниду в он! Хоть бы на полчаса, для внедрения в... сущее. Ведь я теперь уже кипарисам молюсь! Горам молюсь, чистоте ихней и Будде в них! Если бы я теперь, теперь... миндали сажал, миндальному бы Богу молился! Ведь у миндаля есть свой Бог, миндальный. Есть и кипарисный, и куриный. И все — в Лоне пребывает... Там бы, у подножия,

и скончать дни... упереться в Него глазами и... отойти с миром. Может быть, «тайну» ухватишь — и примиришься. Понимаю, почему и Огню поклоняются! Огонь от Него исходит, к Нему возвращается! И ветер... Его дыхание!

Доктор словно хватает ветер, руками черпает.

— Чатырдагский, чистый. Теперь уж он как приятель... Сегодня ночью как зашумел по крыше... Здравствуй, говорю, друг верный. Шумишь? и меня, старика, не забываешь?.. А вот... с помойкой не примирюсь! Я умирать буду, а они двери с крюков тащить! Вчера две рамы и колоду выворотили в том доме, ночью слышал. А они чужих коров свежевать... а они с девками под моими миндалями валяться? А они граммофон заведут и «барыню» на все корки? Каждый вечер они меня «барыней» терзают! Только-только с величайшим напряжением в свое вглядываться начнешь, муку свою рассасывать... — «барыню» с перехватом! Ужас в том, что они-то никакого ужаса не ощущают! Ну, какой ужас у бациллы, когда она в человеческой крови плавает? Одно блаженство!.. И двоится, и четверится, ядом отправляет и в яде своем плодится! А прекрасное тело юного существа бьется в последних судорогах от какого-то подлого менингита! Оно: «Папа, мама... умираю... темно... где же вы?!» — а она, бацилла-то, уж в сердце, в последнем очажке мозга-сознания канкан разделывает под «барыню»! На автомобилях в мозгу-то вывертывает! У бациллы тоже, может быть, какие-нибудь свои авто имеются, с поправочками, понятно... Я себе такие картины по ночам представляю... череп горит! И не воображал никогда, что в голоде и тоске смертной такие картины приходить могут. На миндале настояно! Нет, вы скажите, откуда они — такие?!.. Бациллы человечьи! Где Пастер великий? Где сильные, добрые, славные? Почему ушли? Молчат... Нет, вы погодите, не уходите... Я вам последнее дерзание покажу... символ заключительный!..

Доктор бежит к водоему: за сарайчик, где у него две цистерны — для лета и для зимы. Таинственно манит пальцем.

— Всем известно, что у меня особо собранная вода, — всегда прозрачная и холодная. И вот глядите! Вы поглядите!!

Он подымает подбитую войлоком прикрышку люка и требует, чтобы я нагнулся.

— Видите эту... гнусность?! Вы видите?!..

Я вижу плавающую «гнусность».

— Это мои соседи с пункта, «барыню»-то которые... Одному я недавно нарыв на пальце вскрывал. И вот они отравили мне мою воду! Обезьяна нагадила, что с обезьяны спрашивать? Дорожка показана «вождями» стада, которые всю жизнь отравили!..

— Ступайте, доктор... нехорошо на ветру.

— Не могу там. Ночью еще могу, читаю при печурке. А днем все хожу...

Он машет рукой. Мы не встречались больше.

ТАМ, ВНИЗУ

Ветер гонит меня мимо Красной Горки. Здесь когда-то был пансион, росли деревья, посаженные писателями российскими! Вырублены деревья. Я вспоминаю Чехова... «Небо в алмазах»! Как бы он, совесть чуткая, теперь жил?! Чем бы жил?!.

Иду мимо Виллы Роз. Все — пустыня. И городишко вымер. Ветер чисто подмел шоссе, все подсолнушки вымел в море. Гладко оно перед береговым ветром, и только в дальней дали чернеет полоса шторма. Пустынной набережной иду, мимо пожарища, мимо витрин, побитых и заколоченных. На них клочья приказов, линючие, трещат в ветре: расстрел... расстрел... без суда... на месте!... под страхом... трибунала... Ни души не видно. И их не видно. Только у дома былой пограничной стражи нахохлившийся, со звездой красной, расставив замотанные ноги, пощелкивает играючи затвором.

Я иду, иду. Гуляет-играет ветер, стучит доской где-то, в телеграфных столбах гудит. Пляжем пустым иду, пустырем, с конурой-ротондой. Воет-визжит она пустотой, ветром. Я делаю крюк, чтобы обойти дом церковный, в проволоке колючей, — там подвалы. Держат еще в себе бьющееся, живое. Там, на свалке, в остатках от «людоедов», роются дети и старухи, ищут колбасную кожицу, обгрызанную баранью кость, селедочную головку, картофельную ошурку...

На подъеме я замечаю высокого старика в башлыке, обмотанного по плечи шалью, с корзинкой и высокой палкой.

— Иван Михайлыч?!

— Ро-дной!.. го-лубчик... — слезливо окает он, и плачут его умирающие, все выплакавшие глаза. — Крошечки собираю... Хлебушко в татарской пекарне режут... крошечки падают... вот набрал с горсточку, с кипяточком попью... Чайком бы согреться... Комодиком топлюсь, последним комодиком... Ящики у меня есть, из-под Ломоносова... с карточками-выписками... хо-роших четыре ящика! Нельзя, матерьялы для истории языка... Последнюю книгу дописываю... план завершаю... Каждый день работаю с зари, по четыре часа. Слабею... На кухоньку хожу советскую, кухарки ругаются... супцу дадут когда, а хлебушка нет... Обещали учителя мучки... да у самих нет...

Мы стоим под ветром, на белом шоссе, одни... Ветер воет и между нами, в дырьях.

— На родину бы, в Вологодскую губернию... Там у меня сестра... коровка у ней была... Молочка бы, кашки бы поел напоследок, с маслицем коровьим, творожку бы... — с дрожью, с удушьем, шепчет он, укутываясь шалью от ветра. — В баньке бы попариться с березовым веничком... Запарши-вел, голубчик мой... три месяца не мылся, обносился... заслаб. Ветром вот сдуло, с ног сбило... В Орле у меня все отняли... библиотека была... дом, капитал в банке, от моих книг все... Умру... Ломоносов пропадет! Все матерьялы. Писал комиссарам... никому дела нет... А-ад, голубчик! Лучше бы меня тогда матросики утопили.

И мы расходимся.

Я иду дальше, дальше... Никого в умирающем городке, — загнало-забило ветром. Едет кто-то... Вижу я нарядного ослика, в красных помпончиках, в ясных бубенчиках. Он бежит-семенит, повиливая ушами, сытенький, легко катит кабриолетик желтый, на резинах. Дама в сером, в кожаных перчатках, в голубом капоре, правит твердо. Нарядные дамы ездят!.. Не все — пустыня! Не все разбитые корабли, баркасы, утлые лодочки... есть и милые яхточки, пришвартовавшиеся умело у тихой бухты, а там... вывертывай песок, камни, шуми-швыряй! Дробно почокивает ослик.

А вот и татарский двор, семнадцать раз перекопанный, перевернутый наизнанку в ночных набегах. Серебро, золото и цветные камни; обитые серебром чеканным — седла, сбруя, дедовские нагайки; пшеница и сено в копнах, табак и мешки грецкого ореха; шелковые подушки и необъятные перины, крытые добротными черкесскими коврами; персидские шелковые занавески, вышитые серебряной арабеской и золотыми желудями, зеленое-золотое; чадры в шашечках и ажуре, пояса в золотых лирах, золото и бирюза в подвесках; чеканная посуда из Дамаска, Багдада, Бахчисарая; кинжалы в оправе из бирюзы, и яшмы, и точеной кости; пузатые, тонкогорлые кувшины аравийской меди, тазы кавказские... — все, что берег-копил богатый татарский дом, — ушло и ушло, раз за разом в заглатывающую прорву. Плывет куда-то — куда-то выплывет. Попадет и за море, найдет себе стенку, полку или окошко. Увидит и Москву, и Питер, — богатые апартаменты нового хозяина — командира жизни, и туманный Лондон, и Париж, ценитель всего прекрасного, и далекое Сан-Франциско: разлетятся всюду блестящие перышки выщипанной российской птицы! Вещи находят руки, а человек могилу. Теперь человек и могилы не находит.

Старый татарин только воротился из мечети. Сидит желтый, с ввалившимися глазами — горной птицы.

Сидим молча, долго.

— Зима говорила ветром: иду скора! Плоха.

— Да, плохо.

— Умирают наши татары... Плоха.

— Да, плохо.

— Груша — нет. Табак — нет. Кукуруз — нет. Орех — нет. Мука — нет. Плоха.

— Плохо.

— Тыква кушал. Вот. Мука вез сын Мемет... Пропал на горах два мешка мука. Плоха.

Да, совсем плохо. И я ухожу с пустым мешочком.

Я делаю великое восхождение на горы. Маленькие они были, теперь — великие. Шаг за шагом, от камня к камню. Ветер назад сбивает. Я выхожу на ялтинскую белую дорогу. Белое облачко крутится мне навстречу. Шумят машины. Одна, другая... Красное донышко папахи,

красное донышко фуражки. Они это. Пулемет смотрит назад дулом. На подножках — с наганами, с бомбами... Они оттуда. Сделали свое дело, решили судьбу приехавших из Варны — двенадцати. Теперь поспешают восвояси, с ветром. На перевал им путь, через грозный для них гребень. И я узнаю длинные, по плечам, волосы воронова крыла, тонкое лицо с мечтательным взглядом неги, — и другое, круглое, красное с ветра, вина и солнца, сытостью налитое лицо. Оба сидят, откинувшись на подушки, неподвижно-важно: поручение важное.

Долго гляжу им вслед. Слушаю, как кричит гудок в пустоте.

КОНЕЦ БУБИКА

Третий день рвет ледяным ветром с Чатырдага, свистит бешено в кипарисах. Тревога в ветре, — кругом тревога. Тревога и на Горке: пропал у Марины Семеновны козел! Пропал ночью.

С зари бегает старушка с учительницей по балкам, по виноградникам и дорогам. По ветру доносит призывный крик:

— Бубик... Бубик... Бубик!..

Увели из сарайчика. Не помогла и засека со звоночками, и замок сигнальный: буря! услышишь разве! То ли матросы с пункта, то ли сам Бубик вырвался — бури испугался? У матросов не доискаться: не сунешься. У Антонины Васильевны — на пшеничной котловине — пропала телка. Дознала Антонина Васильевна: шкурка телкина у матросов на дворе сушилась, а не посмела: больше чего недосчитаешься...

Стоит учительница у изгороди:

— Украли Бубика нашего, всю надежду... Мама лежит, избегалась по балкам. Свой это человек, а то бы кричал козел. Мы спим чутко. Три раза сегодня вставали ночью в бурю. Это, конечно, под утро он. Третью ночь не ночует... сказал, что идет на степь, за каким-то все долгом... Ясно, отвел глаза. Теперь нам гибель... Это не кража, а детоубийство!..

Горе на Тихой Пристани! Вадик и Кольдик ищут вокруг, кричат звонкими голосочками:

— Бу-бик! Милый Бубик! Судаль-Судаль!..

Вот уже и ночь черная. Бешеный ветер самые звезды рвет: вздрагивают они, трясутся в черной бездонности. Выгладил ветер море — холодным стеклом лежит, а звезды дрожат и в нем. Давно все замкнулись, дрожат на стуки, не знают теперь, кто ломится. И доходит в налетах ветра задохнувшийся крик-мольба:

— Бу... у... би... ик... Бу... би... ик!..

Черною ночью стоим мы в буре, на пустыре. Звезды дрожат от ветра. Шуркает в черноте, путается у ног, носится — возится беспокойное перекати-поле, таинственные зверюшки. Пропоротые жестянки ожили: гремят-катаются в темноте, воют, свистят и гукают, стукаются о камни. Стонет на ржавых петлях болтающаяся дверца сарайчика, бухает ветром в калеке-дачке... громыхает железом крыши, дергает ставнями... Унылы, жутки мертвые крики жизни опустошенной — бурною ночью, на пустыре! Нехорошо их слышать. Темные силы в душу они приводят — черную пустоту и смерть. Звери от них тоскуют и начинают кричать, а люди... Их слышать страшно.

Когда же этот свист кончится! Воют, воют...

— А может быть, он ушел за шоссе... забрел от ветра? Стоит где-нибудь в кустах...

— Сударь... Сударь... Бубик-бубик!..

— Может быть, дверь сам выбил, испугался бури?..

— Возможно... Он у вас сильный, а петли... перержавели, истерлись... Ведь замок цел!

— Дал бы Господь... забрел потише от ветра... пасется...

Дни пробегала по дорогам, по балкам и за шоссе Марина Семеновна. Нигде ни клочочка шерсти, ни крови, ни кишочков. Пропал и пропал Бубик — Сударь.

И пошел слух по округе и в городке: пропал козел у Прибытков! А отец дьякон рассказывал на базаре:

— Было у меня предчувствие странное в тот час, как козлом любовался! Не могло статься, чтобы уцелел тот козел... капитал при дороге! От Фи-ли-бера козел... роскошный! Такого козла с собой на кровать класть надо... И до сего дня полна душа предчувствий тяжких.

Не ошибся отец дьякон: в тот же день пропала у него корова.

— Нагадала Марина Семеновна! Вот она, тайная связь событий! В сем мире не так все просто.

Поискал и махнул рукой.

— Не преодолеешь. Весной пойду на степь к мужикам, с семейством. Хоть за дьякона, хоть за всякого! а берите. А не примут, — пойдем по Руси великой, во испытание. Ничего мне не страшно: земля родная, народ русский. Есть и разбойники, а народ ничего, хороший. Ежели ему понравишься — с нашим народом не пропадешь! Что ж, скажу, братцы... все мы жители на земле, от хлебушка да от Господа Бога... Ну, правда, я не простое какое лицо, а дьякон... а не превозношусь. Громок грянул — принимаю от Господа и громок. И все-то мы как деревцо в поле... еще обижать зачем же?

Так подбадривал себя отец дьякон, веселый духом: не боялся ни огня, ни меча, ни смерти. Дерево в поле: Бог вырастил — Бог и вырвет.

И вот за веру и кротость и за веселость духа — получил он свою корову: нашли привязанную в лесу. Заблудилась, а добрые люди привязали?..

— Господь привел! — кротко сказал дьякон.

А Марине Семеновне не привел Господь Бубика. Не домогайся?

Утихла буря — и воротился дядя Андрей со степи. Целый мешок принес. Наменял у мужиков и сала, и ячменю, и требушинки коровьей: отдали за поросенка долг.

Пришел к ночи усталый и сел под грушей. Марина Семеновна уточек загоняла.

— Намаялся, Марина Семеновна... не дай же Боже! А по степу-то все костяки лежат... куда ни ступи — костяки и костяки. Кони, стало быть, повалились. Тут черепушка, а подале нога с подковой. А уж лю-ди... ох, не дай же Боже, как жгутся! На перевале давеча трое с винтовками остановили: «Стой, хозяин! чего несешь?» Ну, видють — костюм на мне майский, в мешочке — ячменьку трошки, сальца шматочек... «Мы, бачут, таких не обижаем! Мы, бачут, рангелевцы! Можете гулять вольно». Вежливо так, за ручку... С холодов настрадался, — не дойду и не дойду...

Говорил он устало, вдумчиво. Лицо раздулось и пожелтело, — на десять лет состарился.

— Дядю Андрей... а что я вам молвить хочу... — сказала проникновенно, глядя ему в глаза, Марина Семеновна.

— А чого вы, Марина Семеновна, молвить хочете?.. — будто даже и дрогнул дядя Андрей и мешок защупал, — приметила глаз с него не спускавшая учительница.

— А вот чего я вам хочу молвить... А у меня, тому уж пятые сутки будут... козла моего свели, Бубика нашего!..

— О-о... ли... шечко!.. Да быть тому не можно!.. — даже поднялся и затрясся даже дядя Андрей. — Да Боже ж мий?!.. Да який же це злодий узявся?! хлопчиков ваших губить! Це таке дило!.. Да його шоб громом побило... да шоб його черви зъилы!.. да шоб вин... Да чи вы правду бачите, Марина Семеновна?!..

— Дядю Андрей... а что я вам еще сказать хочу... — голосом беззвучным, не отпуская убегающих глаз дяди Андрея, продолжала Марина Семеновна. — Да я ж згадываю, який тот злодий... Да вы ж!!

— Я?!! Шоб я... Да побий меня Боже!.. Да я ж на степу усю недилю крутився... голодний да холодний!.. Да ужли ж я тый злодий, шо... Да вы в Бога вируетэ, Марина Семеновна?!

Тут снял дядя Андрей мягкую шляпу, исправничью, что на чердаке приобрел, и закрестился.

— Шоб менэ... ну, шоб здохнуть, як собака... без попапокаяния... шоб и на сем и на тиим свите... шоб мои очи повылазили... шоб менэ черви зъилы!..

— Здохнете, дядю Андрей... попомните мое слово! Я на вас слово знаю! Будут вас черви есть! Как вы моего козлика съели, так и... Подавитесь вы моим козлом!.. Помните!.. Салом подавитесь!

Пошевелил плечами дядя Андрей.

— Бедного человека обижаете, Марина Семеновна...

— В глаза мои почему не глядите?! А-а... Сало от моего козла в глотке у вас стало? Задушит оно вас, дядя Андрей! Вот пусть мои внуки помрут лихой смертью!.. — закричала она истошным голосом. — Младенцы Господни, сиротки... правды пусть на земле не будет, если не сдохнете с моего козла! На моих глазах черви вас глодать будут! Чую!! Скоро, как снег вот будет!..

Тенью пошло лицо дяди Андрея. Повел он запавшими, помутневшими глазами и сказал хрипло к саду:

— Черви усякого человика глодать будут, Марина Семеновна. Это уж я вам казал! Мало меня, старого, обижали? Коровы меня решили, поросенка за полцены отдал... на войне вошь злая меня точила... — ништо! Но вы меня изобидели!.. Конечно, вы господского звания... а мы люди рабочие, как сказать... черной крови... За то ж вас и искоренять надо! Только вы женского полу, а то б я вам го-лову отмотал!..

— Да я тебя... гадюка полосучая, сама мотыжкой побью, как пса! Я чтоб тебя боялась?! Каина?! Я ж тебя наскрозь вижу! Я трудящийся человек... за свое кровное душу из тебя вытащу! Лучше и не проходи мимо... своими руками... Ступай, ступай... не могу на тебя смотреть, на душегуба!..

Много страшного накричала Марина Семеновна в тихом ночном саду. Смотрели-слушали позабытые детишки расширенными глазами.

— На вас будет! — только и сказал дядя Андрей и побрел в свой флигель, полковничий.

— Он! Он, злодей!! Вот не встать мне завтра, без покаяния помереть, если не он моего козла свел! Все дни с татарином крутился в кустах, на горке.

— Да он же на степь ходил...

— Да я ж карты раскидывала на душу его черную! И три разочка как в воде видела! Под Корбеком он крутился, а вчера его на базаре видали, в кофейне! Боюсь я его? Что ночью придет — задушит?! До последней кровинки за свое буду биться! Они, проклятые, только до первой палки глотку дерут, а как показали палку — все хвост поджали! Помудровали... Хлебают теперь! И пусть, так им и надо!

Пропал и пропал козел. А там и два селезня пропали. Пришел дядя Андрей и сказал с укором:

— Скажите теперь, что и селезней ваших съел. Ну, скажите! Головку вот в балочке нашел, и пу-ху там!.. Ведь как пробил-то проклятый... весь мозг выклевал!..

Схватилась Марина Семеновна за сердце и три дня лежала, как при смерти. Приходил старичок доктор, что

на самом тычке живет, сказал — слабость сердца. За визит съел коржик и пареную грушку.

Пропал и пропал козел. Что — козел, когда люди походя пропадают! Убили доктора и жену на Судакской дороге, — золота добивались. Учителя и жену закололи кинжалами — под Корбеком. И еще — топором зарубили — под городком... И еще... и еще...

ЖИВА ДУША!

А вот уж и черный Бабуган — закурился, замутился, укрылся сеткой. И нет его. Полили дожди ноября, сырого мутного «джиль-хабэ», когда белки уходят в норы. Размякли, ползут дороги, почернели выцветшие холмы... Будет тепло — порадует земля травкой.

Радуется Тамарка. С утра и до ночи ходит, ходит... размякшие ветки гложет, чуть теплится, вся в буграх. Всюду ее копытца, налитые водой, всюду — выгрыз в коре, на грабе. Ходит одна — живая.

Сиди дома, возле печурки. Сиди — подкладывай. Сиди и сиди — до света. А далеко до света. Смотри в огонь: в огне бывают видения. И слушай, что дождь говорит по крыше: говорит, говорит-бормочет — и все одно: пустота, темно-та... та-та... Позванивает струя в пустом водоеме под мазанкой. И голод мучить устал, — уснул. И вот — вспыхнет в печурке, и мысль проснется: а что же утро?.. Не надо, не надо думать... Не надо? А если в ворохе этих сучьев все еще шевелятся порубленные мысли?! Надо закрыть глаза и совать в огонь, все — в огонь. Это кусок «змеи» из той балки... — в огонь! Если бы хоть табак... задурить себя, докуриться до сладких снов...

Сидишь у огня и слушаешь: все одно — пустота, темнота... та... та... Застучали ворота... Ветер? Прислушаешься. Все тихо. Бормочет дождь.

А который бы час теперь?.. Темнеет с шести... Десятый?..

И вот, уж не ветром это. Уверенный стук в ворота. Они. Калитка колом подперта... И сами могут. Ну, что же! не все ли равно теперь?.. Пусть — они. Сразу если... готовы! Ворвутся, с матерной руганью... будут тыкать в лицо железом... огня потребуют... а ни лампы, ни спичек

нет... Стыдно, руки будут дрожать... Будут расшвыривать наши тряпки... А силы нет...

Стук упорный. Не могут отворить сами?..

— Вот — конец... — говорю я себе. — Сразу все кончится.

Я твердо беру топор, иззубренный топоришко, шаткий. Твердо выхожу на веранду... Откуда сила?! Я весь — пружина. Я знаю, что буду делать. Собака боится палки! Я открываю дверь в сад... чернота. И шорох: дождик чуть сеется.

— Кто там?..

— К тебе, козяй!.. ат-пирай!

Татарин?! Зачем... татарин?

— Абайдулин я... от кладбища... от хорошего человека!

Знакомое имя называет. Я отнимаю кол. Широкий татарин в шапке...

— Теперь всем трашно. Крутился в балке... черный ночь, коли глаз... Селям-алекюм...

С неба вестник! Старый татарин прислал с корзинкой. Яблоки, грушка-сушка... мука?! и бутылка бекмеса!.. За рубаху... Старый татарин прислал подарок. Не долг это, а подарок.

— Тебе прислал. Иди ночью... велела. Там видит, тут видит, — неко-рошо... убьют. Иди ночью, лутче. А-а-а... — крутит головой татарин. — Смерть пришел... всей земле.

Табак! в серой бумаге, золотистый табак, душистый, биюк-ламбатский!

Нет, не это. Не табак, не мука, не грушки... — Небо! Небо пришло из тьмы! Небо, о Господи!.. Старый татарин послал... татарин...

У печурки сидит татарин. Татарин — старый. Постолы его мокры, в глине... и закрутки мокры. Сидит — дымится. Баранья шапка в бисере от дождя. Трудовое лицо сурово, строго, но... человеческое в глазах его. Я беру его за мокрые плечи и пожимаю. Ушли слова. Они не нужны, слова. Дикарь, татарин? Велик Аллах! Жива человеческая душа! жива!!

Он свертывает курить. Курит, поплевывает в огонь. Сидим, молчим. Он умело подсовывает сучья, сидит на корточках.

— Скажи Гафару... старому Гафару... Скажи, Абайдулин... старому татарину Гафару... Аллах!

— Аллах... — говорит в огонь сумрачное коричневое лицо.— У тебя Аллах свой... у нас Аллах мой... Все — Аллах!

— Скажи, Абайдулин... старому Гафару... скажи...

Он докуривает крученку. Курю и я. Не слышно дождя по крыше. Горят в печурке сухие сучья из Глубокой балки — куски солнца. Смотрит в огонь старый Абайдулин, и я смотрю. Смотрим, двое — одно, на солнце. И с нами Бог.

— Пора, — говорит Абайдулин. — Черный ночь.

Я провожаю его за ворота. Его сразу глотает ночь. Слушаю, как чмокают его ноги.

Теперь ничего не страшно. Теперь их нет. Знаю я: с нами Бог! Хоть на один миг с нами. Из темного угла смотрит, из маленьких глаз татарина. Татарин привел Его! Это Он велит дождю сеять, огню — гореть. Вниди и в меня, Господи! Вниди в нас, Господи, в великое горе наше, и освети! Ты солнце вложил в сучок и его отдаешь солнцу... Ты все можешь! Не уходи от нас, Господи, останься. В дожде и в ночи пришел Ты с татарином, по грязи... Пребудь с нами до солнца!

Тянется светлая ночь у печки. Горят жарко дубовые «кутюки». Будут гореть до утра.

ЗЕМЛЯ СТОНЕТ

Я никак не могу уснуть. Коснулся души Господь — и убогие стены тесны. Я хочу быть под небом — пусть не видно его за тучами. Ближе к Нему хочу... чуять в ветре Его дыхание, во тьме — Его свет увидеть.

Черная ночь какая! Дождь перестал, тишина глухая; но не крепкая, покойная тишина, как в темные ночи летом, а тревожная, в ожидании... — вот-вот случится!.. Но что же случиться может?.. Я знаю, что после дождя может сорваться ветер, сорвется вдруг. А сейчас даже слышно капанье одиночных капель, и с глубокого низу доплескивает волною море, будто дышит. Слышу даже, как чешется у Вербы собака.

Я тихо иду по саду, выглядываю звезды, вот-вот увижу, — чувствуются они за облаками. Пахнет сырой

землей, горною мглою пахнет: сорвется ветер, чуется тугой воздух. Свежая хвоя кедра осыпает лицо дождем... Я затаиваю шаги... болью хватает меня за сердце... Вот он, жуткий, протяжный стон... тянется из далекой балки. И снова — тихо. И снова — тяжкий, глубокий вздох... — кто-то изнемогает в великой муке. Удушаемый вопль покинутого всеми...

Я знаю его, этот тяжкий, щемящий стон. Я слышал его недавно. Он взывает из-под земли, зовет глухо...

О нем все говорят в округе:

— А по ночам-то теперь, в балках к морю... застонет-застонет так — у-у-у... у-х-х-х-х-х... А потом тяжело-о так вздохнет — аааа...а! Сердце захолонет будто! Вроде как земля стонет. Недобитые это стонут, могилки просят... Ох, нехорошо это!..

Я прислушиваюсь в глухой ночи. Тяжко идет из балок:

...уууу... у...

Нет ему выхода, — потянется и уходит в землю, еще, еще...

аааа... а... — замирающий вздох муки...

Мертвой тоскою сжимает сердце. Не они ли это, брошенные в овраги, с пробитою головою, грудью... оголенные человеческие тела?.. Всюду они, лишенные погребения...

Умом я знаю: это кричит тюлень, черноморский тюлень — белуха. Знают его немногие рыбаки, — выводится. И не любят слышать. Он подымает круглую голову из моря, глухою ночью, кладет на камень и стонет-стонет... Не любят его — боятся — черноморские рыбаки, и «рыба его боится».

Умом я знаю... А сердцем... — тяжело его слышать человеку.

Я долго слушаю, затаившись, и мукой кричит во мне. А вот и сорвался ветер, ударил с гор. Зашумели, закланялись, закачались кипарисы, затрепали верхушками, — видно на звездном небе. Продуло тучи. Будет теперь дуть-рвать круглые сутки. Не кончит в сутки — ровно три дня дуть будет. А к третьему дню не кончит — на девять дней зарядит. Знают его татары.

Слышно через порывы, как бьют в городке часы. Не остановились?.. Нет в городке часов: это церковный сторож. Последнее время выбивает редко. Что ему пришло в

голову? Одиннадцать?.. А может быть, и отнесло ветром. Полночь?

Я смотрю в сторону городка. Ни искры, ни огонька, провал черный. А что такое у моря, выше?.. Пожар?! Черно-розовый столб поднялся!.. Пожар!.. Или обманывает темнота ночи, и это ближе, а не на пристани... Не у столяра ли Одарюка, на мазеровской даче... костер в саду?.. Шире и выше столб, языки пламени и черные клубы дыма! Пожар, пожар! Вышка на Красной Горке освещена, круглое окошко видно! Черная сеть миндальных садов сквозит, выскочил кипарис из тьмы, красной свечой качается... полыхает. В миндальных садах пожар?.. Черная крыша Одарюка вырезалась на пламени.

Я бегу за ворота, на маленькую площадку, где кустики. Под моими ногами — даль. Ближние дома городка светятся розовым, и розовая свеча-минарет над ним, с ними... В море широкий отсвет костра-пожарища. Даже пристань выглянула из тьмы! Миндальные сады — как днем, сучья видны и огненные верхушки. Срывает пламя, швыряет в море. Разбушевался там ветер.

— Пожар-то какой... Господи!.. Дахнова дача горит!..

Голоса сзади, из темноты, — соседи. Яшка ковром накрылся. Няня, в лоскутном одеяле. С Вербиной горки доносит:

— Матросы горят... ей-Богу!.. пункт ихний! Нет, Дахнова!

Полянка, где мы стоим, вся розовая, от зарева.

— Ба-тюшки... — вскрикивает няня. — Да это же Михайла Васильич горит!.. Он... Он!.. Новая его дачка, из лучинок-то стряпал! По старому его дому вижу... глядите, дом-то!..

Конечно. Горит доктор, — за его старым домом.

Утихает. Кончилась, сгорела! Много ли ей надо, из лучинок?

Должно быть, рухнула крыша: полыхнуло взрывом, и стало тускло.

— Сбегай, Яша... узнай! — просит няня.

— Ня-ня... — слышится болезненный голос барыни. — Где горит?

— Да сараюшка на берегу... Спите с Богом. Уж и погасло.

— Иди, няня... детей-то перепугали...

Миндальных садов не видно. За ними отсвет. Я стою на крыльце, жду чего-то... Я знаю. Незачем мне идти. Сгорела дача старого доктора... Я же знаю. А может быть, только дача... Доктор переберется в свой старый дом... Мне уже все равно, все — пусто.

Вызвездило от ветра. Млечный Путь передвинулся на Кастель — час ночи. А я все жду...

Шаги, тяжело дышит кто-то, спешит... Это — Яша.

— Ну?..

— Капут! Сгорел доктор! И народу никого нет... Матрос там один, гоняет... которые набежали... Никто ничего не знает... и Михал Василича не видать... Говорят, сгорел, будто... в пять минут все! А он еще накрепко припирался... кольями изнутри... Матрос говорит... снутри горело. У них с пункта видно... Обязательно, говорит, сгореть должен... Хозяин обязан у своего пожара ходить, а его не видали... все говорят! А может, куда забился?.. Все печь по ночам топил! А уж тут-то у него... не хватает. Ну, спать пойду. Слышите... опять он стонет?.. Настонал доктору-то...

Да, стонет... или это ветер жестянками... Сгорел доктор. Ушел в огне. Сам себя сжег... или, быть может, несчастный случай?.. Теперь не страшно. Доктор сгорел, как сучок в печурке.

КОНЕЦ ДОКТОРА

Я не хочу туда. Там теперь только скореженное железо, остовы кипарисов, черные головни. И витает, как бесприютная птица, беспокойный дух бывшего доктора. А уцелевшая оболочка — черепушка, осколок берцовой кости и пружины специального бандажа, от Швабэ, — в картонке от дамской шляпы, лежат в милиции, и ротастые парни ощупывают обгоревший череп, просовывают в глазницы пальцы.

— Вот так... шту-ка!

Сгорел доктор в пышном костре своем, унеслась его душа в вихре.

Его коллега прибыл на сытом ослике, в бубенцах, повертел горелую черепную кость — разве на ней написано! — и сказал вдумчиво:

— Установить личность затрудняюсь.

Кто бы это мог быть — в костре?!

Повертел крючки и пружинки от бандажа, сказал уверенно:

— Теперь для меня совершенно ясно. Хозяин этого бандажа — доктор медицины Михаил Васильевич Игнатьев. Это его специальный бандаж, собственного его рисунка, от Швабэ. Можете писать протокол, товарищ.

Пишите тысячи протоколов! Вертите, ротастые, черепушку... швырните ее куда!.. Нет у нее хозяина: вам оставил.

Няня остановилась с мешком «кутюков», докладывает:

— Михайла Василич-то наш... сго-рел! Черепочек один остался, да какой махонечкий! А глядеть — головка-то у них была кру-упная... Капиталы у них большие, сказывают... на себе носили... Припирался очень на ночь, боялся. А ночь, буря... удушили да пожаром-то и покрыли! Говорить-то нельзя, не знамши. Отмаялся, теперь наш черед. Да уж не вашу ли курочку я видала... на бугорочке, ястреб дерет? Да это еще давеча было, как в город шла. Кричу-кричу — шш, окаянный! Не боится... облютели, проклятые. Всем скоро...

Новое утро, крепкое. Ночью вода замерзла, и на Куш-Кае, и на Бабугане — снег. Сверкает, колет. Зима раскатывает свои полотна. А здесь, под горами, солнечно по сквозным садам, по пустым виноградникам, буро-зелено по холмам. Днями звенят синицы, носятся в пустоте холодной тоскливые птицы осени. На крепком и тонком воздухе, в голоте, четкй звуки и голоса.

Что за горячая работа?! Стучат топорами в стороне миндальных садов. Весело так стучат... Словно былые плотники объявились, обтесывают бревна, постукивают топорами. И по железу кровельщики гремят, споро-споро... Кому это крышу кроют? Давно не слыхали такой работы.

Идет из-под горы няня, дощонку тянет.

— Где это плотники заработали? кому строят?

— Стро-ют!.. По Михал Василичу поминки правят, старый дом растаскивают другой день. Волокут, кто — что. Господи, твоя воля!.. Всю железу начисто ободрали, балки какие выворачивают... уж и лес! А железо-то плотное, двенадцатифунтовое... Ишь как!..

Да, лихо кипит работа.

— Вот уж хозяин-то был... навек строил! А растащили за день. Как так, кто? А народ... и рыбаки, и... кто взялся. Прямо волоком волокут. И милиция, и помощник комиссара... Мальчишья набежало... жи-вы! Кричу одному, — ты что, паршивый чертенок, чужое добро волочишь?! «Теперь, — говорит, — дозволено, всенародно! Мой папанька вот наработал, а я оттаскиваю». Вон что! «И ты, — говорит, — тетенька, отдирай, чего осилишь! Всем можно!..» Возьми вот их! А что ж, подумаешь-то... помирать... Хоть потопиться! С голоду-то за сучьями по балкам лазить...

Поминки правят... Я смотрю на свой домик. Последний угол! Последняя ласка взгляда была на нем... Через узенькие оконца солнце вбегало радостными лучами, играло в родных глазах. Оно и теперь вбегает, все на те же места кидает свои полоски и пятна, — на трескающиеся стены, на половицы, исчерченные шагами, на маленький белый столик в чернильных пятнах и росчерках... Крохотная веранда, опутанная глициниями, оголившимися к зиме... Когда-то воздушные кисти их весело голубели в живых глазах. Заплаканные стекла, давно не мытые... Уйдем... — и завтра же выбьют стекла, развалят стены, раскроют крышу, поволокут, потащат... с довольным гоготом мертвецов. Упадут кедры, кипарисы и миндали, и кучи мусора поползут мутными струйками в ливнях...

Глядит домик: уйдешь?.. Глядит сиротливо, грустно: уйдешь.

Я осматриваюсь, ищу опоры. Стиснуть зубы и умереть?.. Даться покорно смерти... Умирают безмолвные. Какие, куда — дороги?..

Держит дикарь в шлыке обгорелую черепушку, пальцы сует в глазницы... пощелкивает... — был какой-то! На перевале снега, пустые дороги в море... пустые — за горами. И дальше — снега, снега... Ну, какие, куда — дороги?!..

КОНЕЦ ТАМАРКИ

Пошли бури и ливни. На горах зимней грозой гремело. Потоки шумят по балкам, рыкают по камням. Ветры носятся по садам, разметывают плетни, кипарисовые метелки треплют. И море загромыхало штормами.

Стены мазанки дрожат от бури. Ночью глухо гремит по крыше, будто возятся в сапогах железных, бухают кулаками в ставни. Треснувшая печурка совсем задушила дымом. Отсыревшие сучья тлеют, не вспыхивают в огне видения.

Наши тихие курочки дремлют голодным сном, возятся на насесте. Они ослабли. Упадет какая, и долго за стенкой слышно, как она трепыхается в темноте, ищет себе — согреться. Приткнется — и так досидит до утра. Их три осталось. Они, одна за другой, уводят и уводят с собою прошлое. Теперь они жмутся к дому. Стоят и глядят в глаза.

Долгие ночи приводят больные дни. Да бывают ли дни теперь? Солнце еще на небе, и дни приходят. Оно подымается из-за моря, в туче. Выглянет, поиграет холодной жестью — пустит полосу по морю. С тревогой глядят на море ослабевшие рыбаки, — не нагонит ли ветром скумбрии ли — камсы ли... Какая теперь камса! И дельфины не плещутся, не ворочаются черные зубчатые колеса. А что дельфины?! Их из ружья бить надо! а где ружье?.. Только матросы могут. А им не нужно: у них — бараны.

Запали у рыбаков глаза, до земли зачернели лица.

Шумит рыбачья артель у городского дома — «Ялы-Бахча», требует товарища — свою власть.

— Детей кормите!.. Давайте хле-ба!..

С наганом в оттопырившемся кармане, товарищ кричит командно:

— Товарищи рыбаки... не делать паники!..

Ему отвечают гулом:

— Довольно!.. Отдай за ры-бу!..

Он тоже кричать умеет!

— Все в свое время будет! Славные рыбаки! Вы с честью держали дисциплину пролетариата... держите кр-репко!.. Призываю на митинг... ударная задача!.. помочь нашим героям Донбасса!..

Ему отвечают воем:

— Скидай им свою шапку!! Отдай наше... за рыбу!..

Кричи, сколько силы в глотке! Гони ребят за город на бойни: там толстомордый матрос-резака швырнет зеленую отонку или дозволит напиться крови, а подобреет — может налить и в кружку.

Сереет утро, мелким дождем плачет. Ворота забухли, не стучат от ветра.

Стучат ворота! Кому, что надо?..

— Эй, что надо?!..

Детский голос кричит тревожно:

— У вас... нашей Тамарки нету?.. С вечера ищем, свели Тамарку!..

Красавица симменталка, белая, в рыжих пятнах... теплилась — догорела.

Вербененок плачет:

— Покойная мамаша выходила Тамарку... Молока давала... цельную бутылку-у...

Она еще — молока давала?! Свои соки!.. Вылизывала из камня.

Всю ночь всей семьею искали они по балкам, по лесным чащам.

— И Цыганочку увели у Лизавете... Теперь все дознаем, теперь уж матрос возьмется!..

— Из-под самих матросов корову увели! — кричат с горки.

Бежит растрепанная чернявая Лизавета, руками плещет:

— Ночью свели мою корову... десять кувшинов давала!.. Как кормили...

— У матросов да плохо!.. Грабленым вы кормили! — кричит Коряк. — У них в борщу шукать надо! а ты сюда закатилась...

— Да ведь зять ведь!.. Свели-то из-под часового!..

Собираются на Горке люди. Жмется на холоду учительница Прибытко, покачивающая головою няня, старая барыня, накинувшая на плечи коврик, Коряк, заявившийся по тревоге из нижней балки, няньки сын старший, выменивающий вино на пшеничку, в ночь приехавший с контрабанды, и высокий худой Верба, винодел с повислыми усами. У всех лица — мертвецов ходячих.

Лизавета кричит истошно:

— Он, Андрюшка-злодей! Сейчас дознаем... Он! он!..

— Его три дня не видим... ушел на степь, как обычно... — сообщает учительница.

— Вин самый убийца! — кричит Верба. — Таких прямо... поубивать надо, як собак! Вашего козла скушал, моих гусей сожрал, ваших селезнев сожрал... мою Тамарку сожрал!.. Прямо... поубивать к чертовой матери!..

— Погодьте... поубивать! Вы вот тридцать годов коров имеете, допрежде коров сводили, а?! А почему теперь?!.. Поубивать! Людей убивают — не жалеют!

— Не скажите громко!..

— Он, злодей! он!! их шайка... Саня наш сейчас поведет дело... Уж кривого Андрея арестовал, с нижнего виноградника... Видали, как с Гришкой Одарюком все дни шептались...

— Всех их прямо... поубивать надо!

— Вон идет Саня!..

С винтовкой на плече, с наганом в кулаке, подходит широкоскулый крепыш-матрос Санька. За ним девчонка Гашка, в белых открытых туфлях, измазанных грязью, в зеленой шелковой юбке и в плюшевой голубой кофте —саке. Нянька знает: у Дахновой была такая кофта. Убежала дачевладелица Дахнова в Константинополь, нашарил матрос «излишки», — теперь молодая матроска щеголяет.

— Двоих сволочей зарестовал! — кричит матрос еще издали, потрясая наганом.— Все раскопаю, до требухи... а вашу корову найду, мамаша! Из-под самого моего глазу увели!.. Свои!

Он широк, как овсяной куль, красная шея холоду не боится — голая до плеча, в воловьих жилах, огнем горит. От лица жаром пышет. Серые глаза сверлят.

— Бить буду прямо в го-лову... вот этим! а уж язык достану! Мамаша, не сотрясайтесь криками, как баба! Корова у вас будет! достанем для вас корову! Ну, кто что доказать может? Где он живет, сволочь?..

— Прямо всех полевым судом, Саничка! — кричит Гашка. — Это буржуи развратили... кончать всех безмилосердно!..

— Писано им и еще будет! В шомпола возьму всех подозрительных... ванную им устрою! Ежели ты пролетарий... как ты можешь чужих коров воровать? Пролетарий... как святой есть! ежели они из труда коровы?!.. Ведите, которые знают...

— Дай, Санек, телеграмму Мишке, пусть нам автонобиль пришлет! — кричит Гашка, на руке у матроса виснет. — Будем на автонобили искать коровку... телефонируй, право...

— Перво дай... дело официально дознать... Лишние, уходи!

Толпой идут на Тихую Пристань, ломают замок на флигеле. Находят гусиные крылья, косточку с синеватой шерстью...

— Бу-бик!.. Бубик!!.. — кричит Марина Семеновна. — Как я зна-ла!..

Шумит Горка, три дня шумит. Сидят в подвале коровoрезы: старый Андрей Кривой, согнувшийся с голоду Одарюк. Шушукаются на Горке: ванную прописали коровoрезам — не сознаются! И шомполами лечили, и не кормят. Не сознаются.

Шумит Горка: нашли у Григория Одарюка под полом коровью требушину и сало. Взяли. Помер у Одарюка мальчик, промучился, — требушиной объелся будто. Кожу коровью нашел матрос: в земле зарыта была. Признал кожу Верба: Тамаркина.

ХЛЕБ С КРОВЬЮ

Быстрей развертывается клубок, — и сыплется из него день ото дня чернее. Видно, конец подходит. Ни страха, ни жути нет, — каменное взирание. Устало сердце, страх со слезами вытек, а жуть — забита.

Но бывают мгновения, когда холодеет сердце...

Дождь ли, ветер — я хожу и хожу по саду, захаживаю думы. Сошвыриваю с дорожек и складываю в кучу камни — прибираюсь. Приставлю к воротам кол — защиту! Оставшаяся привычка...

Кто-то царапается в ворота, как мышь скребется.

— Кто там?..

— Я... — запуганный детский голос. — Анюта... дочка...

Опять она, маленькая Анюта, добытчица! Нет больше у ней дороги. Ко мне!

— Ну, иди...

Я уже все знаю.

Она неслышно, тенью, идет по саду, закрывает лицо ладошками. От горя, которое она так познала?

— Папашу... взя... ли... Гришуня наш помер сегодня... и все наше сальце взяли... и требушку взяли... на зиму припасали...

Она трясется и плачет в руки, маленькая. А что я могу?! Я только могу сжать руки, сдавить сердце, чтобы не закричать.

Не знаете, не видали вы этого, вы, смакующие — человеческие «прорывы», восторженные ценители «дерзаний»! Все это «смазка» чудесной машины Будущего, отброс и шлак величественной плавильни, где отливается это Будущее! Уже видны его глаза...

Босая стоит она, освещенная половинкою месяца, выбежавшей из тучи. На ней рваный платок мамы Насти и розовенькая кофточка без пуговок. Она трясется от ужаса, который она предчувствует. Она уже все познала, малютка, чего не могли познать миллионы людей — отшедших! И это теперь повсюду... Этот крохотный городок у моря... — это ведь только пятнышко на бескрайних пространствах наших, маковинка, песчинка...

Что я могу?! Не могу сказать даже слова... Кладу на плечо руку.

Она уходит с сухой лепешкой, с горсточкой миндаля и грушки. Уносит в своем платке виноградную кожуру гнилую...

Нет, еще остается ужас. Еще не омертвело сердце, еще сжимается. Стоны ползут из балок... Да, вовсе не тюлень это, а самое сущее, земля стонет. Я вижу под луной черный гребень, гробовую крышку дома Одарюка, где мальчик... Смерть у дверей стоит и будет стоять упорно, пока не уведет всех. Бледною тенью стоит и ждет!

Я вздрагиваю — я вижу бледную тень. Беззвучно движется за плетнем, на месяце, за черными кипарисами... Кто ты?! — хочу окликнуть, и узнаю майский костюм Андрея. Он направляется на Тихую Пристань, в свое жилище. За спиной у него мешок, неизменный его мешок. Из степи идет, с похода. Украдкой хочет войти к себе. Умирал бы в степи, чудак!

Шумит поутру Горка: забрали дядю Андрея — матрос с милицейским взяли. Повели «делать ванную».

Ванная?! Что такое?..

Это знают они, хозяева. Милицейский сообщает «по секрету»:

— Розыскной пункт дело хорошо понимает! Зна-ку чтобы не оставлять... Значит, мешок с песком... и как под

печенку ахнуть!.. — одно потрясение, а знаку настоящего нет! Внутри может полировать, чтобы в сознание привести. Под сердце тоже... Раньше!.. Да раньше таких сурьезных делов и не было. Семнадцатую корову режут... трудовых! Должен себя пролетарий защитить, как вы думаете? Иначе как же... Я, говорит, на степе крутился! Р-раз! Ходил на степу? ...... Ходил! А го-лос-то уж у него не тот... Два! — под душу. Ходил на степу?! ну?! — Ходил... И опять голосу сдал? Понимаете, штука-то какая?! А то в голову, вот это место, под затылок... Тут уж он как в беспамяти, сотрясенье... И вот тут сейчас и есть ему ванная! Водой отливать надо обязательно. Тут-то он обязательно помягчеть должен. Ходил на степу... ррастакой?!.. Молчит... Но только у всех троих их такая крепость... с голоду, что ли? Не поддаются! Зубы только затиснут и... Кривого в шомпола взяли... Старик, а выдержал характер. Захрипел, а не сдался. Обеих выпустили пока... до суда, не сбегут. И Андрея выпустим... Пайков у нас не полагается, сами знаете... голод!

Бежать? Снега на перевале. Босоногая Таня все еще ходит там, поплескивает вино в бочонке. Нельзя ей остановиться: дети. Телом, кровью своею кормит...

Я уже не могу оставаться в саду, за изгородью. В башмаках разбитых хожу я по грязи дорог, постаиваю на мокрых холмах. Что я хочу увидеть? На что надеюсь?.. Никто не придет из далей. И далей нет. Ползут и ползут тяжелые тучи с Бабугана. Чатырдаг закрылся, опять задышит? Задует снегом. Смотрю на море. Свинцовое. Бакланы тянут свои цепочки, снуют над мутью... ходят и ходят шипучие валы гальки. И вот выглянет на миг солнце и выплеснет бледной жестью. Бежит полоса, бежит... и гаснет. Воистину — солнце мертвых! Самые дали плачут.

Притихла Горка. Воет старая нянька соседкина. Ходила с неделю сумрачная, больная, ждала чего-то. Теперь воет. Ее тонкий, будто подземный плач доходит через плетень в садик. Сына у ней убили. Далеко убили, за перевалом, в степи...

Принес эту весть Коряк, тот самый Коряк — дрогаль, который бил-выбивал правду из старика Глазкова. Получил Коряк свою правду: убили в степи его зятя, а с ним убили и нянькина сына Алексея.

А еще совсем недавно стояла нянька у моего забора, радовалась:

— Вздохнем вот скоро... Вот Алеша поехал с Коряковым зятем, на степь повезли вино, в долг у татар заняли... бо-чку! Теперь всего наменяют... и сала, и пшенички... к Рождеству-то бы...

Принес весть Коряк ночью. Сказал:

— Получил вот какое сурьезное известие. Нашли на дороге, на степе... боле ста верст отсюда, зятеву лошадь... и двоих побитых... моего и твоего... приятели были, так вместе и... лежат в канаве. Ну, лошадь не могли стронуть, не пошла от хозяина... Хороший конь, добрый. И товар не могли стащить, помешали им, как с лошадью они бились. Может, чего и расхватали... Ну... и в это самое место, за ухом... две дырки наскрозь... в канаву оттащили. Ну... двое тех было... в хворме, с винтовками... как люди говорят проезжие. Значит, будто стража... про себя выдавали. Ну... и так сдается, шшо сын Глазкова один, Колька... который сбежал... Меня убить за отца грозился. Ну, моего убил. А уж твой... так... наскочил на судьбу... Пшеницы да ячменю мешок... кровью запекши... на них и убили. Теперь надо позабирать все.

Побежали под утро, без хлеба, без одежи, на перевал, в снега: нянькин сын Яшка, вдова — Корякова дочь — и сам Коряк — кнут только захватил по привычке своей дрогальской. Побежали добывать все: пшеницу, тела и лошадь.

Воет другой день нянька. Сидит старая барыня, томится бессонницей и сердцем. Горит печурка, шипят мокрые «кутюки».

Вот они, сны обманные! что — кому! Приснился и няньке сон, пышный, сытный. Видела она так — рассказывала недавно:

...Шла полем. А по полю тому, прямо — земли не видно, — все глыбы сала да жиру. А сын Алеша, в белой будто рубахе... до земли рубаха... с вилами, переваливает глыбы, будто навоз трусит. «Смотрите, — говорит, — мамаша, сала да жиру сколько!» Схватила нянька жирный кусок, есть стала. Ела-ела — в глотку не лезет, уж больно жирен...

Проснулась, а все тошно. Всем про сон рассказала, обхаживала Горку, — не к добру, чуяла! Всю неделю как не своя ходила. Сказала Марина Семеновна, — не ей, — ей не сказала:

— Ох, худо няньке будет, через Алексея... такое ху-до!..

Пришло худо: прислал Алеша пшеницы с кровью. Есть-то надо, промоют и отмоют. Только всего не вымоешь...

ТЫСЯЧИ ЛЕТ ТОМУ...

Падает снег — и тает. Падает гуще, гуще... — и тает, и вьет, и бьет. Ближние горы — пегие. Стали пегими кипарисы, и виноградники, и плетни. А снег все сыплет и заметает в вихре, белит и кроет. И вьет, и метет, и хлещет... Зимой хватило от Бабугана, от Чатырдага — со всех сторон. Крутит метелью и день, и ночь. Не черная Кастель-шапка, а исполинская сахарная гора — голова на блюде, на белой скатерти. Седые, дымные стали горы, чуть видные на белесом небе. И в этом небе — черные точки — орлы летают.

Гонит снегами лесную птицу к жилью. Черные дрозды, с оранжевыми носами, шмыгают по пустым садам, выискивают во двориках. Остатки овечьих стад умные чабаны стерегут в кошарах: опасно пускать в долину. Смотрят на снег с тревогой: валит, а сена нет, — овцы начнут валиться. А над горами орлы летают. Не боятся орлы снегов: корму орлам достанет.

Бежит в снегу маленький татарин в бараньей куртке, лошадь из снега тянет. Кричит-воет в белую пустоту, на всю Горку:

— Йей!.. бери коня... купай!.. Йей!..

Спотыкается на кусты под снегом, волочит в поводу коня, бьется в мои ворота:

— Ко-зяйй... йей! коня бери... клеба давай, карей!.. все памирай... ой, бери... йей!

Еще с порога я вижу, как он стучит себя по груди и топчется — прыгает за шиповником. Татарин крохотный, черноусый, с обезумевшими глазами. Он хватает меня за рукав и тянет:

— Пажалюста... бери коня! Йей!..

Из его горла рвется гортанный клекот. Он дергается лицом, глазами, словно вот-вот заплачет. С носа мутная капля виснет: слеза ли, пот ли — не разобрать. Совсем чумовой татарин. Дрожит-кричит, перекося рот, кривит почерневшее лицо и все охлопывает коня по шее. А конь — под черной шкурой скелет, с втянувшимися ноздрями, — оскаленными зубами дерет шиповник. Запарил коня татарин, и сам запарился.

— Йей! — кричит он с болью в мои глаза, дергает меня за руку. — Ну! твоя нада! пожалюста... бери конь! ну... клеба давай... мала-мала! Снег, зима пришел... Йей!..

Со страхом, с болью гляжу я в его обезумевшие глаза, убегающие от ужаса.

— Друг... — говорю ему, — нет у меня ничего!..

Но он не может понять.

— Пажалюста... бери конь... Арабчук мой... седьмой зима... кароши, золотой! Кормить... ничего нема... снег пришел, зима... жалька... Ией!..

Он машет рукой на город, и я машу. И мы смотрим в глаза друг другу растерянно, безнадежно. Он вырывает слова из глаз, острых, черных, изо рта, кривого от нетерпения и страха, что поздно будет.

— Йой... йой-йой!.. Сами... Быюк-Ламбат бежил! Ну?! Алюшта пошла... ночь будит... ничего не видал... памирал!.. — кричит он звериным криком, отрывается от меня и отдергивает коня — волочит, тянет. Не идет за ним конь, боится... — Йеййй!..

Стоит его визг в ушах. Провалился с конем татарин в снег, в балку. Слышно — и там визжит.

Я иду по глубокому снегу на площадку. Дубовая поросль завалена рыхлым снегом. Далеко внизу путается-чернеет с конем татарин, по снегу катится, за ним снеговая пыль... — в город погнал татарин.

Он — из Биюк-Ламбата?! Страна чудесного золотого табаку... Где такое... Биюк-Ламбат? Да это совсем близко, двенадцать верст. Кто-то о нем говорил недавно?.. Кто-то помер! Да... от голоду померла у татар вдова художника русского... Ушла к татарам — и померла... А его картины... за этими горами. О, снег какой... испугал чумового татарина. Сухую траву засыпал на много дней...

Сумерки надвигаются. Куда побежал татарин, в слепую ночь! Чумовой татарин! Закрыты на базаре лари, будет в кофейнях тыкаться.

А сумерки все густеют. Кастель синеет. У, какая пустыня там! Снеговая пустыня в падающей ночи. Я стою на холме и вглядываюсь в пустыню, пытаюсь ее постигнуть. Море — черное, как чернила, берега — белые. Громыхает поглуше — от снега глохнет. И там пустыня. Одна на другую смотрит: черная, белая.

Тысячи лет тому... — многие тысячи лет — здесь та же была пустыня, и ночь, и снег, и море, черная пустота, погромыхивало так же глухо. И человек водился в пустыне, не знал огня. Руками душил зверье, подшибал камнем, глушил дубиной, прятался по пещерам... на Чатырдаге и под Кастелью, — они дожили и до сего дня. Видела эта вечная стена Куш-Каи, — в себя вбирала, и теперь вбирает: пишет по ней неведомая рука. Смотрю и вбираю я. Снега синеют, чернеет даль. Нигде огонька не видно. Не было и тогда. Пустыня. Вернулась из далеких далей. Пришла и молчанием говорит: я пришла, пустыня.

Я знаю: она пришла. Бегают люди с камнями. Вчера рассказывали про Судак:

— По дорогам горным хоронятся, за камни... подстерегают ребят... и — камнем! И волокут...

Кругом — с камнями. И в славном когда-то Бахчисарае, и в Старом Крыму, и всюду. Каким же чудом швырнулись тысячелетия? Куда свалился великий человеческий путь — на небо?! великое восхождение и это гордое — будем Боги?!

Я смотрю на вздувшийся под снегами камень: какая сила! Вышел из далей... — вот он! —

...Мое!..

Его.

Я брожу по снегам, по балкам, без цели. Ведь я из далей. Я же тот самый дикарь пещерный. Но у меня нет и шкуры. У меня лишь истрепанное пальтишко, лезут змеиные зубки из башмаков, а в них мои зябкие пальцы, завернутые в тряпку... И я — бессильный. Мне так понятна, близка та жизнь, жизнь моих давних предков! Снега и ночь, а у них... огня не было!.. Я сейчас пойду,

затоплю печурку... а у них... не было!!! И... они таки победили?! Какими силами, Господи, это чудо? Твоими, Господи! Ты, Единый, дал им Огонь Небесный! Они победили им. Я это знаю. Я верую! И они же его растопчут. Я это знаю. Камень забил. Огонь. Миллионы лет стоптаны! миллиарды труда сожрали за один день! Какими силами это чудо?! Силами камня-тьмы. Я это вижу, знаю.

Синей Кастели нет: Черная ночь — пустыня. Храпит из балки, из темноты, — конь запаленный дышит? Взрывая снег, у моих ног, из балки выкатывается черное: татарин, за ним его черный конь. Хрипит татарин, и конь хрипит. Я бегу от него к воротам. Татарин бежит за мной...

— Ты... бери... нема люди... ночь черный... Биюк-Ламбат... йей, бери... Аллах...

Я не вижу его лица. Я вижу, как конь головой мотает, хочет поводья вырвать?.. Мотнул и уткнулся в снег. Я вижу парок над ним. Я отмахиваюсь от них, от призраков... стараюсь открыть калитку... Держит меня татарин, рукою молит... И вдруг...

— Йей!.. — вскрикивает татарин и чутко всматривается во что-то в балке.

Я ничего не вижу. Он срыву дергает повод, но конь уснул. Он бьет его кулаком по шее и кидается в сторону. Бежит и кричит кому-то, кого он видит:

— Йей! ханым! козяйк... бери... конь!.. Йей!..

Я напрягаю глаза, не вижу. Кому же кричит татарин? Найдется ли человек, кто снял бы с него напавший на него ужас? Никого не видно. Бежит за кем-то, кричит...

Я захлопываю калитку и ставлю кол.

Человек нашелся. Утро принесло весть: взяли коня у татарина. Понес чумовой татарин шесть фунтов хлеба в Биюк-Ламбат. Быть может, спасут коня. А как же теперь татарин?..

Говорил в городке дьякон:

— Дурак татарин! Повали коня, ешь коня! Ему бы на месяц с семьей хватило, продержатся... Посоли мясо...

— А соли-то нет, отец дьякон!

— Мясо-то прокопти, без соли лопай!

— А может, ему своего коня жалко было?..

— Ко-ня жалко?! Как коня жалко, раз за шесть фунтов хлеба отдал?! Лупоглазый... Жалко?!.. А просто... голову потерял от страху!..

Воистину — голову потерял чумовой татарин.

ТРИ КОНЦА

Снег полежал три дня, тронулся и потек. Плывет грязь в балку. Торчат из грязи мокрые рога виноградника, иссохшие усы-плети. Испугал снег татарина — и плывет. Отрыгнет еще земля травку, — прогреет солнцем.

Помер Андрей Кривой с нижнего виноградника. Ходил после «ванной» с неделю — крякал. Молчал и крякал. Потом прилег. Жаловался — «внутри ломит». А помер тихо.

Помер и Одарюк. Две недели места не мог найти: и ходить, и сидеть, и лечь — все больно. Жаловался, что «клинья вогнали в поясницу» и под сердце давит. За две недели в сухенького старичка обратился, глотнуть не мог. Водицы испить просил: глотнет, а принять не может. Кричал шибко, как отходил:

— Огне-ом... палит!..

Поглядел на детей, и выкатились из его глаз две слезы. А помер тихо.

И дядю Андрея выпустили после «ванной». Во всем сознался. Пришел на Горку, на Тихую Пристань, — тихий, как после большой работы. Бродил по Горке в майском своем костюме, почерневшем, скатавшемся, — пищи себе искал. Прознал, что Антонина Васильевна, из пшеничной котловины, корову со страху режет, пришел под вечер и остановился на пороге. Стоял и молчал — тенью. Не видала его Антонина Васильевна: рубила в корытце студень. Стоял дядя Андрей у притолоки, смотрел, как шипит на плите в корчаге, как на белом сосновом столе разложены — бурая печень, мозги, а в окоренке шершавой тряпкой коровий рубец мокнет.

Повернулась Антонина Васильевна — ахнула: испугалась тени.

— Что... вы?... Вы это... дядя Андрей?! Что с вами?..

— Дайте... за-ради Бога... кишочки...

Дала ему Антонина Васильевна пригоршню «рубки» — для холодца, отрезала и рубца, с ладонь, и ребрышко. Поглядел на нее дядя Андрей плаксиво, сказал хрипом:

— Нутро у мене повернуто... всю утрибку мою поспутало-завязало... какое бы... средство?.. Гляжу, а в глазу трусится... упасть боюсь...

Дала ему Антонина Васильевна перцовки выпить. Пошел дядя Андрей по дачам — за мясорубкой. Нигде не было мясорубки. А зачем голодному мясорубка?

— А жевать нечем... зубы все растерял...

Говорил: «евать» и «убы».

— Где же вы их потеряли-то, так сразу?

— Так... о камень...

Проходил с неделю, стало его сгибать. Узнал, что и Андрей Кривой, и Одарюк Григорий жить приказали, — пришел к ночи к Марине Семеновне на веранду.

Спросила его Марина Семеновна сурово:

— Разве вы чего тут забыли?

— Я тут ничого не забул... — жалобно сказал дядя Андрей, как волк затравленный.

Рассказывала про это свидание Марина Семеновна — жалеть не жалела:

...А ветер был, с Чатырдага, холода завернули. А он стоит и стоит, трясется.

— Чего вы стоите... сядьте на табурет.

Сел он на табурет, на кончик. Оглянул комнату, все глазами прощупал и говорит:

— Одеялы у вас... знаменитыи... найдуть — возьмуть.

А я говорю ему:

— Вы чего это в узелке держите, куда собрались?

Сказал, что проститься зайдет с покойником, с Григорием,— четвертый день все не похоронят. У них и переночует, — дома-то холодно, силы нет дровец нарубить, от холоду не спится. А поутру в больницу — думает.

— Очень, — говорит, — у меня все внутри ломит и как огнем палит. Может, — говорит, — меня параличом расшибло, снутри! Во мне,— говорит, — вроде как крыса завелась, грызется.

— Не от козлиного ли смальца, дядя Андрей? — говорю. Очень меня досада одолела — все ему высказать.

— Не ел я вашего козлика! Зачем вы так?!

А не смотрит. А я ему на это:

— Вы и Тамарку не трогали, и гусей, — говорю,— и уточек моих не пробовали... А помните, — говорю, —

дядя Андрей, как я вам в саду-то нагадала? Как вот снег упадет...

Как затрясется! Страшный как смерть стал.

— Будут вас, дядя Андрей, черви есть! Как вы моего козлика, так и они вас... И будет, будет!

Все во мне поднялось опять, себя не слышу.

— Я,— говорю, — вчера на вас карты раскидывала, на виневого короля... вы! Конец вам вышел! Вот он, конец, и есть!

— Да я ж, — говорит, — вовсе не виневый... Я... жировый!

И тут не сознается! Тут уж я прямо не в себе!..

— Это, — говорю, — жировый-то вы с жиру да смальцу! А вы черный, весь вы черным-черный, как вот... земля! На лице-то у вас... земля выступила!..

— Видите... — говорит, — уж помираю я, а вы... меня добиваете.

— А вы, — говорю, — сироток моих добили! Гаснут!

— Ну, простите, коли так... Не я добил... а нас всех добили... И не сказал, а... всхлипнул! Тут мне его жалко стало.

— Ну, — говорю, — дядя Андрей... я вам простила, а судьба не простила. Не от меня это, что помираете... и дня не проживете, вижу. Судьба. Ну, вот, хлебца я вам дам... от жалости дам хлебца... напоследок покушайте... сегодня пекла, три фунта. Отрезала ему кусочек, теплый еще. Так и вцепился. И... покрестился, как из рук хлебушка взял! Так мне это понравилось!.. Душа-то православная... Я ему еще дала кусочек — в дорогу. А ветер так и гремит, вьюшки прыгают, страсть Божия. Вот он и другой кусок сжевал, отогрелся. И говорит:

— Ну, посидел я. Это вы хорошо, мне теперь легко будет...

И голову опустил. А уж и спать пора давно, двенадцатый час.

— Пойду, — говорит, — к Настасье, вдове... может, мне куртку покойникову надеть займет, а то больно зябко в больницу идти. Я, — говорит, — жил самостоятельно, а вот как эта канитель-то вся пошла, слобода-то ихняя... как обменили всех...

За руку простились. Покрестила я его вослед. Что уж...

Пошел дядя Андрей ночью на мазеровскую дачу. Впустила его Настасья. В свою комнату не допустила, а пусть с покойником ложится. Дала ему накрыться рваную куртку мужнину, кожанку.

Опять на ветер идти? Замерз дядя Андрей в майском костюме из парусины с кресел исправничьих. Остался. Лежал Одарюк на полу, в пустой комнате бывшего пансиона, им же обобранного. Ни свечки, ни каганца. Лег дядя Андрей подальше в угол, узелок в голова́, а кожанкой накрылся. Что он думал, как провел ночь, — этого никто не знает. А когда стало белеть за окнами, надел кожанку и пошел в больницу. Увидала его Настасья, — идет в мужниной кожанке, — нагнала на дороге:

— Снимай, проклятый! Григорья погубил... куртку уворовать хочешь?!

Сорвала с него куртку да еще по лицу курткой. Видали люди, как на ветру, на пустой дороге, у миндальных садов порубленных, хлестала его обезумевшая Настасья по голове курткой. А он только рукою так, прикрывался...

Не дошел дядя Андрей до больницы. У базара, в безлюдном переулке, присел к забору, в майском своем костюме, загвазданном. Нашли прохожие, а он только губами двигает. Доставили в больницу. До полудня не дожил — помер. Так отошли все трое, один за одним, — истаяли. Ожидающие своей смерти, голодные, говорили:

— Налопались чужой коровятины... вот и сдохли.

КОНЕЦ КОНЦОВ

Да какой же месяц теперь — декабрь? Начало или конец? Спутались все концы, все начала. Все перепуталось, и мой «кальвиль» на веранде — праздник Преображения! — теперь ничего не скажет. Было ли Рождество? Не может быть Рождества. Кто может теперь родиться?! И дни никому не нужны.

А дни идут и идут. Низкое солнце порою весну напомнит, но светит жидко. Ему не на чем разыграться: серо и буро — все. Тощее солнце светит, больное, мертвое. А к вечеру — новый месяц. А где же полный? Куда-то прошел, за тучами?..

Я видел смертеныша, выходца из другого мира — из мира Мертвых.

Я сидел на бугре, смотрел через городок на кладбище. Всматривался в жизнь Мертвых. Когда солнце идет к закату, кладбищенская часовня пышно пылает золотом. Солнце смеется Мертвым. Смотрел и решал загадку — о жизни-смерти. Может случиться чудо? Небо — откроется? И есть ли где это Небо? И другое решал — свое. У меня еще крест на шее, а на руке — кольцо. Отнесу греку, татарину, кому нужно ходячее золото, — бери и кольцо, и крест! Я останусь свидетелем жизни Мертвых. Полную чашу выпью. Или бросить тебя, причал последний, наш кроткий домик — с последнею лаской взгляда?.. весны добиться и... начать великое Восхождение — на Горы? Муку в себя принять и разделить ее с миром? А миру нужна ли мука?! У мира свои забавы... Весна... Золотыми ключами, дождями теплыми, в грозах, не отомкнет ли она земные недра, не воскресит ли Мертвых? Чаю Воскресения Мертвых! Я верю в чудо! Великое Воскресение — да будет.

Какое неприятное кладбище! Камень грязный. Чужая земля, татарская.

Собаки рыскают у часовни, засматривают за стекла. И сторож пьяный. Я помню его лицо, тупое лицо могильщика-идиота. Потянет с меня за яму... Нечего взять с меня. А с Ивана Михайлыча потянет...

Когда эти смерти кончатся! Не будет конца, спутались все концы — концы-начала. Жизнь не знает концов, начал...

Умер старик вчера, — избили его кухарки! Черпаками по голове били в советской кухне. Надоел им старик своей миской, нытьем, дрожаньем: смертью от него пахло. Теперь лежит покойно — до будущего века. Аминь. Лежит профессор, строгий лицом, в белой бородке, с орлиным носом, в чесучовом форменном сюртуке, сбереженном для гроба, с погонами генеральскими, с серебряной звездочкой пушистой — на голубом просвете. В небе серебряная звезда! Чудесный символ. Завтра поступит в полную власть — Кузьмы ли, Сидора, — как его там зовут? Кузьма не знает ни звезд, ни «яти», ни Ломоносова, ни Вологодского края; знает одно: надо содрать сюртук, а потом — вали в яму.

Чужая земля, татарская...

Да, смертеныш... Я сидел на бугре и думал. И вдруг — шорох за мной, странный, подстерегающий. За мною стоял, смотрел на меня... смертеныш! Это был мальчик лет десяти — восьми, с большой головой на палочке-шейке, с ввалившимися щеками, с глазами страха. На сером лице его беловатые губы присохли к деснам, а синеватые зубы выставились — схватить. Он как будто смеялся ими и оттопыренными ушами летучей мыши.

Я глядел в ужасе на него — на видение из больного мира. А он смеялся зубами и качался на тонких ножках, как на шарнирах. Он проскрипел мне едва понятное слово:

— Д... вай...

За ним шла женщина, пошатывалась, как пьяная. У живота ее, на усталых руках лежало что-то, завернутое в тряпку. Она совсем упала на бугорке. Они с утра уже идут издалека, — верст шесть, — из-за Черновских Камней, в город, к власти. Двое у ней уже померли, теперь кончается маленький, в этой тряпке.

— А этот еще... красавчик... — говорит женщина про смертеныша, говорит издалека, сонно. — Господь послал... галку вчера подшиб.

— Я... камушком... га... галка... — сонно, пьяно шепчет мне мальчик и все смеется зубами. А глаза в страхе.

— Скажу... проклятым... убейте лучше... Муж-то мой ихним был... семью бросил... спутался с ихней какой-то, вот эти-то вот.. как их... слова-то... голова моя... с интиллигентной... на почте служил... хорошо кушали... Она партийка... а я, говорит... ду-ра...

Она начинает выть, как от боли:

— Петичка... последышек мой... желанный... три годочка... С голоду спится... бужу его: «Проснись, Петичка... за хлебушком пойдем в город...» А Петичка мне... «Ах, мамочка... патиньки нада... я са-ало ел... я мя... а..со ел...» Гляжу, а у подушечки-то... уголочек... сжеван...

Я убежал от них в балку. Следил оттуда — ушли ли? Они долго сидели на бугре.

Да когда же накроет камнем??! Когда размотается клубок?.. Скажут горам: падите на нас! Не падают... Не пришли сроки? Прошли все сроки, а чаша еще не выпита!..

Я кричу странным каким-то существам... — девчонкам?.. —

— Что вы?! зачем?!

Они ползут от меня, от меня, страшного... я помешал им в деле... собирать сухие «тарелки», следы коровьи!..

Почему же такое пустое море?! Такое тихое и — пустое! Где пароходы чудесных, богатых стран?

А все еще ходят мимо, все еще проползают через бугор. Вон идет опять кто-то, снизу, из-под Кастели... Идет ровно, по делу будто. Стучит дрючком по плетню... Кому-то я еще нужен!..

— Что еще нужно?!.. Теперь не время стучать!.. Ну... что вам нужно?! — кричу я какому-то человеку с веселыми глазами, с лицом, как у королька мякоть, — крепким. Чего ему нужно, крепкому?

— Чи не взнаете... ге! А Максим-то!.. Да я ж спиднизу... ге! Да молочко же у менэ покуповалы... ге! Ну, як вы... шше не вымерлы?! Ге!.. Усих положуть, як вот... штабелями положуть, а пo ним танцувать будут... мов мухи на гавну... Ге! Погибае народ хрещеный...

Теперь я его признаю, хитраго мужика-хохла, — из-под Кастели. Дрогаль когда-то, теперь на корове держится. Такой хохол оборотистый, что пробы поставить негде. Наменял у Юрчихи и где придется на молоко всякого добра, выменял в степи на пшеницу загодя, зарыл в потайное место. Ходит рванью и громче других кричит — погибаем, мов тараканы на морозе!

— Вот они... як обкрутылы народ православный... ге! У хати с коровой сплю, топор под голова да дрючок хороший... заместо жинки... ге! А шшо, я вас воспрошу... слыхали? Шишкиных усех зарестовалы! Да як же... Хведор вот заходив, сосид ихний... Лягун. Прямо... ужахается! Нашли кого! Оружье они ховали... народ убивать хрещеный! Ге! Во — подвели-то! Ужахается Хведор, прямо... плаче. Значить, так... С недилю тому, приихали на конях... обыск! Будто разбоем живуть, с ружьями на шошу выходят, в масках. Тысь, все пертрусили у них... не нашли. Зараз в каминья полизли! «Хавос» у нас называется... там, может, какия тыщи годов прошло, гора завалилась. Тут-то тоби и есть! две винтовки!! прочищены, смальцем смазаны... Мов известно им було! Зараз нашлы.

Сам главный чертяка не найшов бы... с версту «Хавос»! Всех и забрали.

Словно сказку рассказывает Максим, и весело! Это Борис-то, освободившийся, наконец, от них! Одного только ждавший — залезть в «Хаос» и писать рассказы! Этот тихий, кроткий счастливец, с которым играла смерть...

— Да як же ж, Боже мий... усех знаю! Вин прямо... мов с иконы сишел! тихой вот... мов телушка. Хведор прямо... ужахается, лица на нем нэма. Прийшов до меня ранэнько, кашель його замучил, чихотка злая. Говорит, поручусь за них, отпустят. Ну, старика отпустили, а этих в Ялты погнали, сынов. Кто им тут путки ставит... «Хочь они мне телку отравить стращали... — Хведор-то мни... а я им вреду не хочу». Рыбаки за Бориса вступались... А энти свое ладють: разберем и на север вышлем! у Харькив! Ге! Они вы-шлють... ге!

Он стоит и высматривает мое «хозяйство».

— А курей-то шшо ж не видать?

— Ушли.

— На молочко, может, поменяем?..

— У-шли! Последнюю отдал в добрые руки...

— Ну, индюшечку уж?..

— Ушла.

Он все высматривает. Видит — только деревья, камни...

— Ну, здоровеньки бувалы. Це гарно, шшо не помэрлы...

На Север вышлют! От скольких смертей ушел, а тут... Не может этого быть.

Черная ночь... которая?.. Тихо, не громыхнет ветром. Устали ветры. Или весна подходит? Но какой же месяц? Все перепуталось, как во сне...

Ветер гремит воротами?.. Не ветер... — они, ночные! Где же топор?.. Куда я его засунул?.. Выменял?! Что же теперь... пойти?.. Все стучат. Сами войдут...

Стучат не сильно. Не они это. Кто-то робкий... Анюта? Мамина дочка! Анюта не постучит теперь, — ушла Анюта. Кому же еще стучать?..

Пришел высокий, худой старик. Глаза у него орлиные, нос горбатый. Смотрит из-под бровей, затравленно. Оборванный, черно-седой и грязный. Встал на пороге и мнется с пустым мешком, комкает его в длинных пальцах.

— Уж к вам позвольте, по дороге вспомнил. В городе задержался до темени, а идти-то еще двенадцать верст...

Кто он такой?.. Все перепуталось в памяти.

— Я... отец Бориса, Шишкин. Борис-то все к вам ходил, бывало...

Он ничего, спокоен и деловит, только словно что вспоминает и мнет мешок. Чаю у меня нет, но есть кусок ячменного хлеба.

— У самих мало... а я, признаться, с утра только водички выпил... ходил в город нащот вина... три ведра у меня вина...

Он выщипывает кусочками и жует вдумчиво, и все вспоминает что-то. Я не могу его спрашивать.

— Сейчас иду в город... сказал мне кто-то... Кашина сына расстреляли в Ялте... виноделова. И отец помер от разрыва сердца. Мальчик был, студент... славный мальчик. На войне был с немцами, а то все здесь жил тихо... рабочие любили... Хорошо. В приказе напечатано... на стенке. Стал читать... Обоих моих.

— Что?!..

— Обоих сынов... — сделал он так, рукой... — Как раз сегодня... две недели. За разбой. Бориса... за разбой!..

Он сложил мешок вчетверо и стал разглаживать на коленке, лица не видно.

— Мать одна осталась, под Кастелью... ночью приду. К вам и зашел. Как ей говорить-то?!.. Этот вопрос очень серьезный. Я вот все... Как раз две недели сегодня... уже две недели!.. Бориса... за разбой!.. я ей не могу говорить.

Ночь далеко ушла. Я выходил под небо, глядел на звезды... Придешь — старик сидит с мешком. А ночь идет. Я сижу у печки. Старик дремлет на кулаках. Говорить не о чем, мы знаем все. Вот уж и заря, щели засинели в ставнях. И слышно муэдзина по заре. Он все кричит о Боге, все зовет к молитве... благодарит за новый день.

— Ну, пойду...

Цветет миндаль. Голые деревья — в розовато-белой дымке. В тени, под туей, распустились подснежники — из белого фарфора будто. На луговинках золотые крокусы глядятся, высыпали дружно. Потеплее где, в кустах, — фиалки начинают пахнуть... Весна? Да, идет весна. Черный дрозд запел. Вон он сидит на пустыре, на старой груше, на маковке, — как уголек! На светлом небе он четко виден. Даже как нос его сияет в заходящем солнце, как у него играет горлышко. Он любит петь один. К морю повернется — споет и морю, и виноградникам, и далям... Тихи, грустны вечера весной. Поет он грустное. Слушают деревья, в белой дымке, задумчивы. Споет к горам — на солнце. И пустырю споет, и нам, и домику, грустное такое, нежное... Здесь у нас пустынно — никто его не потревожит.

Солнце за Бабуган зашло. Синеют горы. Звезды забелели. Дрозда уже не видно, но он поет. И там, где прорубили миндали, другой... Встречают свою весну. Но отчего так грустно?.. Я слушаю до темной ночи.

Март — сентябрь 1923 г.
Грасс

СОДЕРЖАНИЕ

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ

Собрание сочинений

Том 1

СОЛНЦЕ МЕРТВЫХ

Повести. Рассказы. Эпопея

Редактор **В. П. Шагалова**
Художественный редактор **Г. Л. Шацкий**
Технический редактор **И. И. Павлова**
Корректоры **Н. Д. Бучарова, А. З. Лазуткина**
Набор и компьютерная верстка
В. В. Горшкова, Г. Н. Злотникова, А. М. Токер

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 010058 от 23.10.96
Подписано в печать 13.02.98. Формат 84x108/32. Бумага офсетн.
На вкл. - мелов. Гарнитура Петербург. Печать офсетн.
Усл. печ. л. 33, 71 (в т. ч. вкл. 0,11)
Уч.-изд. л. 36, 46 (в т. ч. вкл. 0,04). Тираж 5000 экз. С - 005
Зак. № 117. Изд. инд. ЛХ-126

Издательство «Русская книга»
Комитета Российской Федерации по печати
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38

Отпечатано в типографии издательства «Дом печати»
Комитета Российской Федерации по печати
432601, Ульяновск, ул. Гончарова, 14